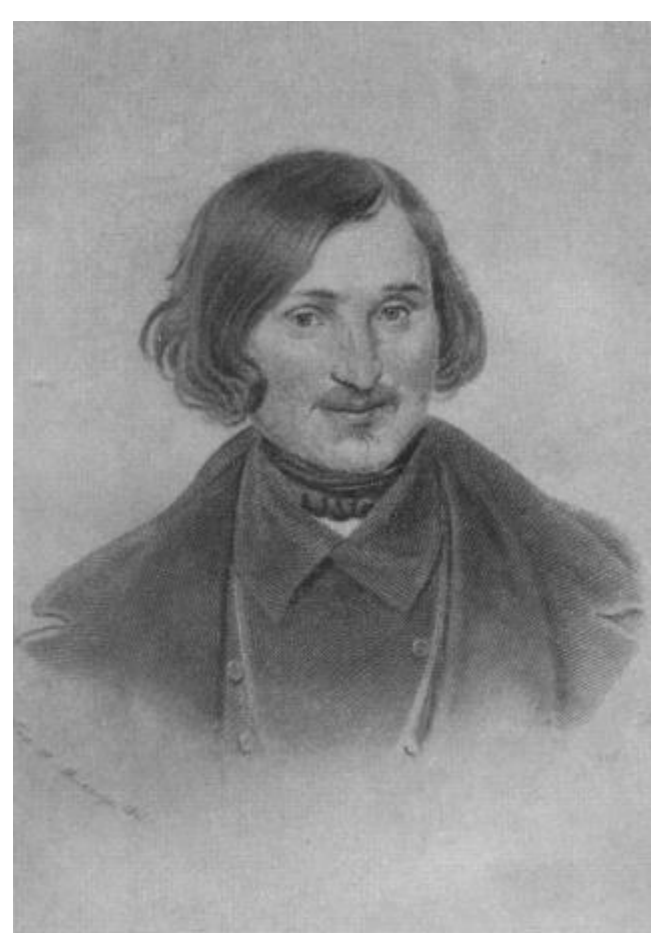
Гоголь в воспоминаниях современников





Н. В. Гоголь Гравюра Ф. Иордана с портрета Ф. Моллера. 1841

С. Машинский. Предисловие

1

Пожалуй, ни один из великих русских писателей XIX века не вызвал вокруг своего творчества столь ожесточенной идейной борьбы, как Гоголь. Эта борьба началась после выхода в свет первых его произведений и продолжалась с неослабевающей силой на протяжении многих десятилетий после его смерти. Белинский справедливо отмечал, что к таланту Гоголя «никто не был равнодушен: его или любили восторженно, или ненавидели».[1]

Творчество Гоголя знаменует собой величайшую после Пушкина веху в развитии русской литературы. Критический, обличительный характер гоголевского реализма был выражением ее идейной зрелости и способности ставить главные, коренные вопросы общественной жизни России. Освободительные идеи, питавшие деятельность Фонвизина и Радищева, Грибоедова и Пушкина, были той традицией русской литературы, которую Гоголь продолжил и обогатил своими гениальными произведениями.

Характеризуя период русской истории «от декабристов до Герцена», Ленин указывал: «Крепостная Россия забита и неподвижна. Протестует ничтожное меньшинство дворян, бессильных без поддержки народа. Но

лучшие люди из дворян помогли *разбудить* народ».[2] К числу этих людей принадлежал и Гоголь. Его творчество было проникнуто живыми интересами русской действительности. С огромной силой реализма писатель выставил «на всенародные очи» всю мерзость и гниль современного ему феодально-помещичьего режима. Произведения Гоголя отразили гнев народа против своих вековых угнетателей.

С болью душевной писал Гоголь о засилье «мертвых душ» в крепостнической России. Позиция бесстрастного летописца была чужда Гоголю. В своем знаменитом рассуждении о двух типах художников, которым открывается седьмая глава «Мертвых душ», Гоголь противопоставляет парящему в небесах романтическому вдохновению — тяжелый, но благородный труд писателя-реалиста, «дерзнувшего вызвать наружу… всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога». Таким художником-реалистом, обличителем был сам Гоголь. С беспощадным сарказмом и ненавистью выставлял он напоказ «кривые рожи» помещичьего и чиновничьего мира. Белинский подчеркивал, что самая характерная и важная черта Гоголя состоит в его страстной и протестующей «субъективности», которая «доходит до высокого и лирического пафоса и освежительными волнами охватывает душу читателя».

С огромной художественной силой Гоголь показал не только процесс разложения феодально-крепостнической системы и духовного оскудения ее представителей, но и ту страшную угрозу, которую нес народу мир Чичиковых — мир капиталистического хищничества. В своем творчестве писатель отразил тревогу передовых сил русского общества за исторические судьбы своей страны и своего народа. Великим патриотическим воодушевлением проникнуты произведения Гоголя. Он писал, по словам Н. А. Некрасова, «не то, что могло бы более нравиться, и даже не то, что было легче для его таланта, а добивался писать то, что считал полезнейшим для своего отечества».[3]

Творческий путь Гоголя был необычайно сложен и противоречив. Он создал произведения, в которых с потрясающей силой разоблачал феодально-крепостнический строй России и в них, по выражению Добролюбова, «очень близко подошел к народной точке зрения».[4] Однако писатель был далек от мысли о необходимости решительного, революционного преобразования этого строя. Гоголь ненавидел уродливый мир крепостников и царских чиновников. В то же время он часто пугался выводов, естественно и закономерно вытекавших из его произведений, — выводов, которые делали его читатели. Гоголю, гениальному художнику-реалисту, была свойственна узость идейного кругозора, на что не раз указывали Белинский и Чернышевский.

В этом была трагедия великого писателя. Но каковы бы ни были заблуждения Гоголя на последнем этапе его жизни, он сыграл колоссальную роль в истории русской литературы и освободительного движения в России.

Раскрывая историческое значение творчества Л. Н. Толстого, В. И. Ленин писал: «…если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях».[5] Это гениальное ленинское положение помогает объяснить и важнейшую проблему гоголевского творчества. Будучи великим художником-реалистом, Гоголь сумел, вопреки узости и ограниченности собственных идейных позиций, нарисовать в своих произведениях изумительно верную картину русской крепостнической действительности и с беспощадной правдивостью разоблачить самодержавно-крепостнический строй. Тем самым Гоголь содействовал пробуждению и развитию революционного самосознания.

М. И. Калинин писал: «Художественная литература первой половины XIX века значительно двинула вперед развитие политической мысли русского общества, познание своего народа».[6] Эти слова имеют прямое отношение к Гоголю.

Под непосредственным влиянием Гоголя формировалось творчество самых выдающихся русских писателей: Герцена и Тургенева, Островского и Гончарова, Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Именем Гоголя Чернышевский назвал целый период в истории русской литературы. На протяжении многих десятилетий это имя служило знаменем в борьбе за передовое, идейное искусство. Гениальные произведения Гоголя служили Белинскому и Герцену, Чернышевскому и Добролюбову, а также последующим поколениям революционеров могучим оружием в борьбе против помещичьего, эксплоататорского строя.

Противоречия Гоголя пытались использовать в реакционном лагере, не щадившем усилий, чтобы фальсифицировать его творчество, выхолостить из него народно-патриотическое и обличительное содержание, представить великого сатирика смиренным «мучеником христианской веры».

Громадную роль в борьбе за Гоголя, в защите его от всевозможных реакционных фальсификаторов, как известно, сыграл Белинский. Он первый увидел новаторское значение произведений Гоголя. Он проницательно раскрыл их глубокое идейное содержание и на материале этих произведений решал наиболее злободневные проблемы современности. Творчество Гоголя дало возможность Белинскому в условиях полицейского режима сделать предметом легального публичного обсуждения самые острые явления общественной жизни

страны. В своей статье «Речь о критике» он, например, прямо заявил, что «беспрерывные толки и споры», возбужденные «Мертвыми душами», — «вопрос, столько же литературный, сколько и общественный».[7] Но наиболее ярким выражением революционной мысли Белинского явилось его знаменитое письмо к Гоголю по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями», с потрясающей силой отразившее политические настроения закрепощенных масс России, их страстный протест против своих угнетателей.

В конце 40-х годов в России началось «роковое семилетие», отмеченное страшным усилением полицейского террора и цензурного гнета. Малейшее проявление свободной, демократической мысли беспощадно каралось. Летом 1848 года умер Белинский. Царские власти не успели привести в исполнение задуманный план расправы с великим критиком. В области литературы и критики особенно жестоким преследованиям подвергались писатели гоголевского направления, традиции Белинского. В печати запрещено было даже упоминать имя критика.

На страницах реакционных газет и журналов с новой силой началась кампания против автора «Ревизора» и «Мертвых душ». Даже «Выбранные места из переписки с друзьями» не могли примирить с ним реакцию. Для нее Гоголь остался ненавистным сатириком, обличителем, сокрушающим основы крепостнического строя.

В 1851 году за границей вышла брошюра А. И. Герцена «О развитии революционных идей в России». Она еще раз поставила вопрос о значении произведений Гоголя для судеб русского освободительного движения. Сурово осудив «Выбранные места», Герцен оценивал автора «Ревизора» и «Мертвых душ» как союзника передовых, демократических сил России, борющихся за социальное освобождение народа.

Книга Герцена привлекла к себе пристальное внимание царского правительства и вызвала усиление репрессий против гоголевского направления.

Когда в 1852 году не стало Гоголя, петербургские газеты и журналы не смогли достойным образом откликнуться на событие, которое потрясло всех честных людей России. Д. А. Оболенский рассказывает в своих воспоминаниях: «Цензорам объявлено было приказание — строго цензуровать все, что пишется о Гоголе, и, наконец, объявлено было совершенное запрещение говорить о Гоголе… Наконец даже имя Гоголя опасались употреблять в печати и взамен его употребляли выражение: «известный писатель» (наст. изд., стр. 553). Тургенев жестоко поплатился за свое «Письмо из Петербурга», чудом проскочившее в «Московских ведомостях». Тургенева обвинили в том, что он осмелился возвеличить «лакейского писателя» и представить его смерть «как

незаменимую утрату». В обстановке цензурного террора едва не пострадал даже М. П. Погодин. Когда в 5-й книжке «Москвитянина» за тот же 1852 год появилась его некрологическая заметка о Гоголе, глава московской цензуры Назимов указал Погодину на неуместность черной траурной каймы в некрологе, посвященном Гоголю.[8]

Борьба против Гоголя и гоголевского направления в литературе стала черным знаменем всего реакционного лагеря. Критики этого лагеря тупо продолжали твердить, что «Мертвые души» представляют собой «сущий вздор и небывальщину» (Булгарин), что «Ревизор» — это «миленькая, но слабенькая по изобретению и плану комедия» и «решительно ничтожная драматически и нравственно» (Сенковский). В 1861 году в Одессе вышла из печати изуверская книжка отставного генерала Н. Герсеванова «Гоголь перед судом обличительной литературы». Этот патологический в своей ненависти к Гоголю пасквиль превзошел подлостью самые грязные измышления Булгарина.

В сущности недалеко от них ушли и критики либерально-дворянского лагеря. Под видом защиты «чистого», «артистического» искусства они повели в 50-е годы ожесточенную кампанию против Гоголя. Ее возглавил критик А. В. Дружинин.

В ряде статей, появившихся в журнале «Библиотека для чтения», Дружинин упорно пытался развенчать Гоголя. «Наша текущая литература, — писал он в 1855 году, — изнурена, ослаблена своим сатирическим направлением». Дружинин призывал русскую литературу отречься от «сатиры и карающего юмора» Гоголя и обратиться к «незамутненным родникам» «искусства для искусства». «Нельзя всей словесности жить на одних «Мертвых душах», — восклицал он. — Нам нужна поэзия».[9]

Дружинин и его единомышленники пытались противопоставить «карающему юмору» Гоголя «незлобивую шутку» Пушкина. Они цинично надругались над памятью гениального поэта, оказавшего огромное влияние на Гоголя и на всю последующую русскую литературу, объявив его певцом «чистого искусства». Фальсифицированный Пушкин должен был в их руках служить орудием в борьбе с гоголевским направлением. Об этом недвусмысленно заявлял сам Дружинин: «Против сатирического направления, к которому привело нас неумеренное подражание Гоголю, поэзия Пушкина может служить лучшим орудием».[10]

Позиция Дружинина поддерживалась В. П. Боткиным и П. В. Анненковым. Они были связаны общей ненавистью к растущим силам революционно-освободительного движения, к обличительным традициям русской литературы, к гоголевскому направлению.

Борьба реакции против Гоголя в 50-е годы велась в самых разнообразных формах. С новой силой, например, предпринимаются попытки оторвать Гоголя от гоголевского направления в литературе, выхолостить критическое, обличительное содержание его творчества и представить великого сатирика кротким, добродушным юмористом. Этим упорно занимался еще в 30-е годы С. П. Шевырев, теперь с подобной идеей выступил М. П. Погодин. В конце 1855 года в статье «Новое издание Пушкина и Гоголя», напечатанной в журнале «Москвитянин», Погодин характеризовал Гоголя как писателя, «пламенно алкавшего совершенствования и выставившего с такой любовью, верностью и силою наши заблуждения и злоупотребления».[11] Впрочем, единомышленники Погодина договаривались порой до нелепостей еще более разительных. Славянофил Ю. Самарин, например, в 1843 г. — год спустя после выхода в свет «Мертвых душ»! — писал Константину Аксакову, что в поэзии Жуковского сатирическое начало выражено гораздо сильнее, чем в произведениях Гоголя, и что вообще «нет поэта, который бы был так далек от сатиры, как Гоголь».[12]

Все эти измышления преследовали совершенно определенную цель: исказить и обезвредить творчество писателя. В 30-е и 40-е годы немало подобных фальсификаций было разоблачено Белинским, на протяжении всей его критической деятельности страстно и самоотверженно боровшимся за Гоголя. В 50-60-е годы дело Белинского было продолжено Герценом, Чернышевским, Добролюбовым, Некрасовым.

2

Над свежей могилой Гоголя С. Т. Аксаков призывал прекратить всякие споры о нем и почтить его память всеобщим примирением. «Не заводить новые ссоры следует над прахом Гоголя, — писал он, — а прекратить прежние, страстями возбужденные несогласия...»[13] Но характерно, что призыв Аксакова первыми же нарушили его друзья и единомышленники. Да и сам С. Т. Аксаков, как увидим ниже, отнюдь не был «бесстрастен»» в своих воспоминаниях о Гоголе.

Помимо врагов явных у Гоголя было немало скрытых, маскировавших свое отрицательное отношение к его произведениям внешней благожелательностью и дружеским к нему расположением. При жизни Гоголя они молчали, когда имя его обливали грязью Булгарины и Сенковские. После смерти писателя они громче всех заговорили о своих правах — духовных наследников Гоголя. Об этих-то «наследниках» превосходно сказал И. С. Тургенев в письме к Е. М. Феоктистову от 26 февраля 1852 года: «Вы мне говорите о поведении друзей Гоголя. Воображаю себе, сколько дрянных самолюбий станут вбираться в его могилу, и примутся кричать петухами, и вытягивать свои головки — посмотрите, дескать, на нас, люди честные, как мы отлично горюем и

как мы умны и чувствительны — бог с ними... Когда молния разбивает дуб, кто думает о том, что на его пне вырастут грибы — нам жаль его силы, его тени...» (наст. изд., стр. 542).

После смерти Гоголя идейная борьба вокруг его наследия продолжалась не только в области критики. Ее участниками стали и мемуаристы.

В первую годовщину со дня смерти Гоголя С. Т. Аксаков обратился со страниц «Московских ведомостей» ко всем друзьям и знакомым писателя с предложением записать «для памяти историю своего с ним знакомства».[14] Обращение Аксакова вызвало немало откликов. В журналах и газетах стали появляться «воспоминания», «заметки», «черты для биографии», «голоса из провинции» и проч. Неведомые авторы этих сочинений торопились поведать о своем знакомстве и встречах с прославленным русским писателем. Значительная часть этой «мемуарной» литературы представляла собой беззастенчивую фальсификацию. В качестве «мемуаристов» порой выступали лица, не имевшие решительно никакого отношения к Гоголю.

Достаточно, например, сказать, что в роли «мемуариста» выступил даже Булгарин. В 1854 году на страницах «Северной пчелы» он неожиданно предался воспоминаниям о своих встречах с Гоголем. Он писал, будто бы Гоголь в конце 1829 или начале 1830 года, отчаявшись найти в Петербурге службу, обратился к нему, Булгарину... за помощью. Эта подлая легенда имела своей целью скомпрометировать Гоголя в глазах передовой, демократической России. Провокационный характер «воспоминаний» Булгарина не мог вызвать ни малейших сомнений. Однакоже находились критики и литературоведы, которые пытались их использовать в качестве источника для биографии Гоголя...

Среди мемуаров, появившихся в первые годы после смерти Гоголя, имелись и ценные материалы. Можно, например, отметить воспоминания Н. И. Иваницкого, М. Н. Лонгинова. А. Т. Тарасенкова. В 1856 году П. Кулиш выпустил двухтомные «Записки о жизни Гоголя». В них было опубликовано более десятка неизвестных дотоле мемуарных свидетельств современников (Ф. В. Чижова, А. О. Смирновой, Н. Д. Мизко, М. А. Максимовича и др.). Они содержали в себе интересные для гоголевской биографии факты.

При всей ценности этих воспоминаний они, однако, недостаточно раскрывали все многообразие противоречивого, сложного духовного облика писателя. Внимание мемуаристов было сосредоточено главным образом на воспроизведении сугубо бытовых, второстепенных подробностей жизни Гоголя. И на это вскоре обратил внимание Чернышевский. Осенью 1857 года в статье о «Сочинениях и письмах Н. В. Гоголя», изданных П. А. Кулишом, Чернышевский писал: «Воспоминаний о Гоголе напечатано довольно много, но все они

объясняют только второстепенные черты в многосложном и чрезвычайно оригинальном характере гениального писателя» (наст. изд., стр. 558).

Следует заметить, что в большей или меньшей степени этот существенный недостаток свойственен многим мемуарам о Гоголе, далеко, впрочем, неравноценным — ни с точки зрения степени своей достоверности, ни по значению содержащегося в них материала.

Часть мемуаров принадлежит людям, находившимся в случайном, непродолжительном соприкосновении с Гоголем. Естественно, эти воспоминания почти не выходят за пределы частных, разрозненных наблюдений (А. П. Стороженко, А. Д. Галахов, Д. М. Погодин и др.). В других мемуарах значительные и достоверные факты, сообщаемые о писателе, соседствуют с мелкими и малоправдоподобными. Вот почему использование мемуаров в качестве историко-биографического источника требует осторожности и сопряжено с необходимостью их тщательной, критической проверки.

Далеко не все периоды жизни Гоголя одинаково обстоятельно освещены в мемуарах. Если бы только по ним надо было написать биографию писателя — в ней оказалось бы много зияющих пробелов.

Неполно отражены в мемуарной литературе юношеские годы Гоголя, период его пребывания в Нежинской гимназии высших наук. Имеется ряд интересных, но очень кратких рассказов нежинских «однокорытников» Гоголя (Г. И. Высоцкого, Н. Я. Прокоповича, К. М. Базили, А. С. Данилевского), записанных с их слов Кулишом[15] и позднее В. Шенроком.[16] В этом же ряду следует назвать помещаемые в настоящем издании воспоминания Т. Г. Пащенко. Некоторые детали находим в мемуарной заметке Л. Мацевича, написанной со слов Н. Ю. Артынова.[17]

Известны мемуары еще одного «нежинца» — В. И. Любич-Романовича, дошедшие до нас в записях М. Шевлякова[18] и С. И. Глебова.[19] Однако свидетельство этого школьного товарища Гоголя, впоследствии малоудачливого реакционного поэта, обесценивается содержащимися в нем грубыми фактическими ошибками и явно враждебными по отношению к Гоголю выпадами. То же самое надо сказать и в отношении известных в свое время воспоминаний преподавателя гимназии И. Г. Кулжинского[20] и надзирателя Периона.[21]

Эти мемуаристы представляют образ Гоголя-гимназиста крайне поверхностно. Он изображается то беззаботным весельчаком, озорным, чудаковатым, то скрытным и ушедшим в себя человеком, живущим обособленно от интересов большинства его школьных сверстников, мало

интересующимся преподаваемыми науками и т. д. Преподаватель латинского языка, туповатый и ограниченный педант И. Г. Кулжинский, недовольный успехами Гоголя по его предмету, вспоминал впоследствии: «Это был талант, неузнанный школою, и ежели правду сказать, не хотевший или не умевший признаться школе».

В этом юношеском портрете Гоголя, нарисованном его современниками, очень мало общего с действительным образом Гоголя-гимназиста и нет ни единой черты, которая давала бы возможность почувствовать будущего Гоголя-писателя. А ведь всего через несколько лет после отъезда из Нежина его уже знала вся Россия.

В Нежинской гимназии Гоголь провел семь лет. В ее стенах формировался его характер, его художественный талант, здесь же впервые пробудилось и его гражданское самосознание во время следствия по так называемому «делу о вольнодумстве». Это весьма шумное политическое дело, в которое оказалась вовлеченной большая группа профессоров и учеников гимназии, представляло собой своеобразный отзвук событий 14 декабря 1825 года. Как выяснилось, некоторые из преподавателей гимназии были связаны с В. Л. Лукашевичем, привлеченным по делу декабристов. В «деле о вольнодумстве» замешано и имя Гоголя. Оказалось, что его конспект лекций по естественному праву, содержавших «зловредные» идеи, ходил по рукам многих учеников. Гоголь часто упоминается в материалах следствия, с него снимали допрос. Причем его симпатии были определенно на стороне прогрессивной части профессуры. Едва ли не единственный среди воспитанников гимназии Гоголь горячо и последовательно защищал от преследований со стороны реакционеров главного обвиняемого по этому делу профессора Н. Г. Белоусова. Событиями в Нежине вскоре заинтересовался сам начальник III отделения Бенкендорф. Они закончились жестокой расправой над группой профессоров и разгромом гимназии высших наук.

«Дело о вольнодумстве» оставило глубокий след в сознании Гоголя. Но в мемуарной литературе, даже у хорошо знавшего его Пащенко, оно не нашло никакого отражения.

В воспоминаниях Т. Г. Пащенко содержится ряд фактов о первых годах пребывания Гоголя в Петербурге.

Особенно интересным является сообщение Пащенко об организованном Гоголем в Петербурге кружке, в состав которого входили некоторые из его бывших нежинских однокашников: Н. Я. Прокопович, А. С. Данилевский, К. М. Базили, Е. П. Гребенка и др. «Товарищи, — пишет Пащенко, — часто сходились у кого-нибудь из своих, составляли тесный, приятельский кружок и приятно проводили время. Гоголь был душою кружка» (наст. изд., стр. 45). Существование кружка подтверждает в

своих воспоминаниях и П. В. Анненков. К сожалению, этот существенный эпизод биографии Гоголя не исследован. Наши сведения о характере гоголевского кружка, его идейном и литературном направлении крайне скудны.

Большинство воспоминаний о первых годах пребывания Гоголя в Петербурге принадлежит перу людей, лишь эпизодически с ним встречавшихся, и преимущественно касается частных моментов, — например, попытки Гоголя поступить на сцену (Н. П. Мундт), его работы в качестве домашнего учителя (М. Н. Лонгинов, В. А. Соллогуб) и т. д.

Ряд важнейших событий в жизни Гоголя этого периода оказался вне поля зрения мемуаристов. Известно, например, каким крупным событием для Гоголя было его знакомство с Пушкиным. Они познакомились 20 мая 1831 года на вечере у Плетнева. Между ними вскоре установились дружественные отношения. Пушкин с величайшим интересом следил за развитием молодого писателя. Они часто встречались, посещали друг друга. О содержании их бесед мы знаем лишь по самым общим и глухим намекам в их переписке. Свидетелями и участниками этих бесед нередко бывали Плетнев и Жуковский. Но оба они не оставили воспоминаний о Гоголе.

Об отношениях Пушкина и Гоголя сохранилось несколько скудных свидетельств Анненкова и Соллогуба. К ним следует прибавить рассказ слуги Гоголя — Якима Нимченко (в записи В. П. Горленко). Он сообщает о частых посещениях Гоголя Пушкиным. Дополнением к этому рассказу является запись беседы с тем же Якимом Нимченко, сделанная Г. П. Данилевским (наст. изд., стр. 459–460).

Документами, характеризующими восприятие Пушкиным творчества Гоголя, являются письмо поэта к А. Ф. Воейкову (конец августа 1831 г.) и рецензия на второе издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки (1836) (наст. изд., стр. 79–80).

Большой интерес представляют заметки Н. И. Иваницкого о педагогической деятельности Гоголя в Петербургском университете. Этот период освещен в научной литературе крайне односторонне. Большинство исследователей склонялось к мысли о совершенной неподготовленности Гоголя как преподавателя истории. С иронической снисходительностью писал о нем, например, Нестор Котляревский: «Наш самоуверенный историк» или «наш самозванный профессор».[22] В утверждении такого взгляда немало повинны мемуаристы, например — А. В. Никитенко,[23] Н. М. Колмаков,[24] отчасти А. С. Андреев.[25]

С легкой руки этих и некоторых других мемуаристов повелось пренебрежительным тоном говорить также и об ученых исторических трудах Гоголя. Между тем дошедшие до нас фрагменты его исследований по истории позволяют судить о серьезности и глубине

исторических интересов Гоголя, свежести и проницательности его научной мысли. Сопоставление работ Гоголя с лекциями и трудами современных ему историков — скажем, Н. А. Полевого, Н. С. Арцыбашева, М. П. Погодина, — убедительно подтверждают этот вывод.

Воспоминания Н. И. Иваницкого — слушателя Гоголя в Петербургском университете, впоследствии педагога и литератора — являются правдивым свидетельством современника о существенной странице биографии Гоголя.

3

Большинство мемуаров о Гоголе касается либо отдельных эпизодов его биографии, либо охватывает хронологически небольшие периоды его жизни. От подобного рода мемуаров выгодно отличаются воспоминания Анненкова. Мы даем в настоящем издании полный текст его работы «Гоголь в Риме летом 1841 года» и отрывки из «Замечательного десятилетия». В совокупности они воссоздают важнейшие события в жизни Гоголя на протяжении двух десятилетий — тридцатых и сороковых годов.

Эти воспоминания были широко задуманы автором. Они имели мало общего с традиционными в западноевропейской литературе интимными мемуарами. Замысел Анненкова состоял в том, чтобы показать не только Гоголя-человека, но и его среду, эпоху во всем их сложном и многообразном взаимодействии. Перед нами необычный тип мемуаров: личные наблюдения переплетаются здесь с историческими экскурсами и философическими размышлениями.

Ценность мемуаров Анненкова состоит в том, что они помогают нам почувствовать атмосферу идейной борьбы вокруг Гоголя, хотя характер и острота этой борьбы не всегда верно раскрываются автором. Обладая крупными литературными достоинствами, работы Анненкова воскрешают портреты многих виднейших участников общественного и литературного движения своего времени, на широком фоне которого воссоздается образ Гоголя. Автор сообщает множество неизвестных ранее фактов, очень существенных для биографии писателя. Эта черта мемуаров Анненкова получила положительную оценку со стороны Чернышевского. Касаясь воспоминаний «Гоголь в Риме», он писал: «…факты, сообщаемые г. Анненковым, значительно объясняют нам Гоголя как человека, и… вообще взгляд г. Анненкова на его характер кажется едва ли не справедливейшим из всех, какие только высказывались до сих пор».[26]

Гоголь однажды заметил, что у Анненкова «много наблюдательности и точности».[27] Анненков был свидетелем важных событий в личной и писательской биографии Гоголя. Он близко наблюдал его в Петербурге, жил в одном доме с ним в течение нескольких месяцев в Риме и

переписывал под его диктовку половину первого тома «Мертвых душ». Наконец он был единственным свидетелем работы Белинского в Зальцбрунне над письмом к Гоголю. Значение сообщаемых Анненковым фактов весьма велико для истории русской литературы. «Гоголь в Риме летом 1841 года» является, например, самым содержательным рассказом очевидца о наименее изученном периоде жизни писателя — пребывании его за границей. И. С. Тургенев писал об этих воспоминаниях Анненкова: «…подробности о Гоголе драгоценны».[28] Очень немногое прибавляют к ним скупые по объему и небогатые по содержанию рассказы Ф. И. Буслаева, Ф. И. Иордана, М. П. Погодина.[29]

И все же мемуары Анненкова не свободны от серьезных недостатков.

Воспоминания «Гоголь в Риме» писались в середине 50-х годов. Имя Гоголя в это время стояло в самом центре литературно-политической борьбы. Либеральная и реакционная критика яростно продолжала свои попытки ниспровергнуть Гоголя и гоголевское направление в литературе. Но ее усилия были тщетны. В. П. Боткин с сожалением писал своему другу и соратнику А. С. Дружинину: «Мы слишком поторопились решить, что гоголевское направление пора оставить в стороне, — нет и 1000 раз нет».[30]

Эти строки писались в августе 1855 года, когда вся читающая Россия горячо обсуждала печатавшиеся на страницах «Современника» «Очерки гоголевского периода русской литературы» Чернышевского, провозгласившие обличительное, гоголевское направление величайшим достижением современной русской литературы и исходной позицией ее дальнейшего развития.

Воспоминания Анненкова содержат множество интересных фактов, подробностей, характеризующих *личность* Гоголя. Но автор оказался неспособным ни понять, ни оценить образ *писателя* в целом, его мировоззрение, а также глубокий идейный смысл его гениальных произведений.

Все это необходимо помнить при чтении мемуаров Анненкова, так как они не просто фиксируют виденное и слышанное, но являются вместе с тем и попыткой критического осмысления личности и творчества Гоголя. Однако именно эта сторона работ Анненкова более всего уязвима. Там, где автор стоит на почве фактов, — его рассказ интересен и ценен. Но как только Анненков начинает анализировать и обобщать эти факты, повествование его облекается либеральным туманом, выводы становятся неопределенными и часто — неправильными.

Анненков начал свою литературную деятельность в 40-е годы. Он был тогда в дружеских отношениях с Белинским, сотрудничал в «Отечественных записках» и «Современнике», но в 50-е годы, в условиях обострившейся классовой борьбы и резкой поляризации

общественных сил, Анненков занял враждебную позицию в отношении революционно-демократического лагеря. Вместе с Дружининым и Боткиным Анненков образует идейный центр дворянского либерализма в борьбе против «партии Чернышевского».

Эстетические позиции Анненкова определяются его враждебным отношением к прогрессивным, демократическим силам русской литературы, и в частности — к гоголевскому направлению.

Он ненавидит «дидактизм» в поэзии, разумея под ним проявление передовой общественной тенденции, и отказывает «простонародной жизни» в праве быть предметом подлинного искусства. Он с горечью жалуется Фету на исчезновение поэтической струи в европейской литературе и винит в этом «проклятую политику».

Анненков считал себя человеком духовно близким Гоголю. Но в действительности он был бесконечно чужд идейному пафосу его великих произведений и оказался не в состоянии понять историческое значение его творчества.

В воспоминаниях содержатся страницы, посвященные исключительно важной теме — истории взаимоотношений Гоголя и Белинского. Анненков был одним из очень немногих современников, находившихся в дружеских связях с этими, по выражению Добролюбова, «литературными вождями» своей эпохи. Фактические сведения, сообщаемые мемуаристом, в высшей степени интересны. Но Анненков не понимал исторического смысла деятельности Белинского, как зачинателя революционно-демократического движения в России, и допускал грубейшие извращения в оценке его личности и деятельности. Он не мог верно раскрыть и принципиального значения борьбы Белинского за Гоголя.

4

В личной и писательской биографии Гоголя большое место занимали его отношения с Аксаковыми, М. П. Погодиным, С. П. Шевыревым, А. С. Хомяковым, Н. М. Языковым.

Различные эпизоды из истории этих отношений освещены в воспоминаниях Н. В. Берга, И. И. Панаева, П. В. Анненкова, М. П. Погодина и его сына — Д. М. Погодина, О. М. Бодянского и наиболее полно — у С. Т. Аксакова.

Из всех мемуаристов, представленных в настоящей книге, С. Т. Аксаков был несомненно ближе всех знаком с Гоголем. Их знакомство началось в 1832 году и продолжалось двадцать лет.[31] Частые встречи с писателем, беседы, споры, интенсивная переписка — все это давало обильный материал для воспоминаний.

«История моего знакомства с Гоголем» выделяется среди многих других мемуаров разнообразием фактического материала. Многие черты облика Гоголя обрисованы Аксаковым ярко и талантливо. С. Т. Аксаков имел в виду не только воссоздать обстоятельства жизни Гоголя, но и раскрыть внутренний его мир — мир писателя и человека, хотя в решении этой последней задачи Аксаков в значительной степени потерпел неудачу.

Анализируя «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука», Добролюбов отмечал органически свойственный Аксакову, как художнику-мемуаристу, недостаток: субъективизм. Он писал, что «…талант г. Аксакова слишком субъективен для метких общественных характеристик, слишком полон лиризма для спокойной оценки людей и произведений, слишком наивен для острой и глубокой наблюдательности».[32]

Эта оценка Добролюбова вполне приложима и к «Истории моего знакомства с Гоголем», являющейся, в сущности, заключительной частью автобиографического цикла С. Т. Аксакова.

Воспоминания Аксакова о Гоголе содержат, как уже отмечалось, большой и интересный фактический материал. Но общее восприятие личности и творчества великого русского писателя у Аксакова субъективно и односторонне. И это обстоятельство лишает возможности пользоваться его мемуарами как вполне надежным, достоверным источником. Сказанное особенно важно иметь в виду при чтении тех страниц воспоминаний, которые посвящены отношениям писателя с его так называемыми «московскими друзьями» — отношениям, представляющим существенную и недостаточно изученную проблему гоголевской биографии. Вот почему на «Истории моего знакомства с Гоголем» необходимо остановиться подробнее.

В этих мемуарах обращают на себя внимание частые жалобы автора на неискренность Гоголя, его замкнутость, на его упорное нежелание раскрыть свою душу перед людьми, наиболее якобы ему близкими. Через две недели после смерти писателя, в открытом «Письме к друзьям Гоголя», С. Т. Аксаков заметил: «Даже с друзьями своими он не был вполне, или, лучше сказать, всегда откровенен».[33] Эта мысль является лейтмотивом и «Истории моего знакомства». Поведение Гоголя представлялось величайшей загадкой для семейства Аксаковых. Гоголя окружали здесь всяческими знаками внимания, выполняли всевозможные его поручения, выручали в денежных затруднениях, которые он часто испытывал. Аксаковы пытались создать атмосферу «искренней и горячей» любви к Гоголю. Но ничто не могло вполне расположить к ним писателя. И хотя Гоголь внешне сохранял дружеские отношения с Аксаковыми, но внутренне он был им чужд. С большой обидой пишет в этой связи Аксаков в своих воспоминаниях:

«Безграничной, безусловной доверенности в свою искренность Гоголь не имел до своей смерти» (наст. изд., стр. 96).

В 40-е годы дом Аксаковых в Москве стал центром славянофилов. Сыновья С. Т. Аксакова — Константин Сергеевич и несколько позднее Иван Сергеевич оказались в числе главных деятелей этого реакционного течения. В условиях крайне обострившейся идейной борьбы между славянофилами и передовыми, демократическими силами общества Аксаковы были особенно заинтересованы в том, чтобы привлечь на свою сторону Гоголя. Они всячески стремились парализовать влияние на него со стороны прогрессивных сил России, прежде всего — Белинского.

Но именно в эти годы дружба Гоголя с Аксаковыми начинает подвергаться серьезным испытаниям. В январе 1842 года состоялось «таинственное свидание» Гоголя с Белинским в Москве, встревожившее славянофильский лагерь. Весьма показательно крайнее раздражение, с каким много лет спустя вспоминает С. Т. Аксаков об этом эпизоде.

Через полгода после упомянутого свидания разразился новый инцидент, в связи с пресловутой брошюрой К. С. Аксакова о «Мертвых душах».

В брошюре доказывалась мысль, что поэма Гоголя своим содержанием, характером, поэтической формой возрождала в русской литературе традиции гомеровского эпоса. «Созерцание Гоголя древнее, истинное, то же, какое и у Гомера... — писал К. Аксаков, — из-под его творческой руки восстает, наконец, древний, истинный эпос».[34] Белинский подверг беспощадной критике антиисторическую схему К. Аксакова, доказав вздорность сопоставления Гоголя с Гомером. Вспыхнула ожесточенная полемика, увенчавшаяся блестящей победой Белинского. Он убедительно доказал, что за туманом историко-литературных сравнений и щедрых комплиментов у Аксакова скрывалось отрицание обличительного смысла «Мертвых душ». Именно это обстоятельство объясняет, почему Белинский с такой энергией и страстью выступил с разоблачением концепции К. Аксакова.

Брошюра К. Аксакова была использована реакционным лагерем в борьбе против Гоголя. «Гомер» сделался на много лет кличкой, которой Булгарин и Сенковский травили Гоголя. Сообщая 26 октября 1846 года отцу о появлении в октябрьской книжке «Библиотеки для чтения» очередного пасквиля Сенковского, И. Аксаков замечает при этом, что автор не называет Гоголя иначе, как Гомером: «Название «Гомер» повторил он раз двадцать на одной страничке. Какой мерзавец!»[35]

Впечатление, произведенное брошюрой Аксакова, было близко к общественному скандалу. Аксаковы встревожились, как отнесется к ней

Гоголь. В конце августа 1842 года прибыло из Гастейна письмо от него, содержавшее недвусмысленную оценку выступления К. Аксакова. Гоголь был им решительно недоволен. Он ожидал, что критика К. Аксакова «точно определит значение поэмы», но надежды эти не оправдались.[36] К. Аксаков оказался неспособным разобраться в сущности гениального произведения и грубо извратил его. Несомненно в этой связи Гоголь писал в конце того же 1842 года автору брошюры: «Вы, любя меня, не любите».[37] Все попытки Аксаковых убедить Гоголя в том, что Константин руководствовался благими намерениями, ни к чему не привели. Свое отрицательное отношение к брошюре Гоголь не изменил.

Борьба за Гоголя между тем продолжалась с неослабевающей силой. Славянофилы надеялись, что им в конце концов удастся обратить Гоголя в свою «веру». Но эти надежды пока не сбывались. В 1844 году были написаны Гоголем характерные строки: «Все эти славянисты и европисты, — или же староверы и нововеры, или же восточники и западники, а что они в самом деле, не умею сказать, потому что покамест они мне кажутся только карикатурами на то, чем хотят быть, — все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу».[38] Гоголю претили узость и догматизм теоретических позиций славянофилов, равно как и ограниченность «европистов». С той и другой стороны, по его мнению, «наговаривается весьма много дичи»; и те и другие не в состоянии подсказать правильного решения волнующих его вопросов, ибо они не могут увидеть и понять «строение» — то есть основы народной жизни.

Отмечая «незрелость» «славянистов» и «европистов», Гоголь при этом подчеркивает, что у первых больше «кичливости»: «они хвастуны; из них каждый воображает о себе, что он открыл Америку, и найденное им зернышко раздувает в репу». Когда в октябре 1845 года Шевырев сообщил Гоголю, что К. Аксаков «бородой и зипуном отгородился от общества и решился всем пожертвовать народу»,[39] Гоголь ответил: «Меня смутило также известие твое о Константине Аксакове. Борода, зипун и проч. Он просто дурачится, а между тем дурачество это *неминуемо должно было случиться... Он должен был неминуемо сделаться фанатиком*, — так я думал с самого начала».[40] (Курсив наш. — *С. М.*)

В конце 1846 года попечителем Московского учебного округа была задержана защита диссертации К. Аксакова «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» за содержащиеся в ней «многие мысли и выражения... весьма резкие и неприличные, относящиеся до Петра Великого и политических его преобразований».[41] Диссертация являлась результатом пятилетнего труда К. Аксакова и должна была стать, по мысли ее автора, чем-то вроде теоретического кредо

славянофильства. Гоголь узнал о содержании работы К. Аксакова еще до того, как она была завершена, и резко ее осудил. В декабре 1844 года он пишет С. Т. Аксакову, что диссертацию Константина «следует просто положить под спуд на несколько лет, а вместо ее заняться другим».[42] Год спустя Гоголь сообщил Шевыреву, что он советовал К. Аксакову не только не представлять диссертацию к защите, но «даже уничтожить ее вовсе».[43]

Отношения Гоголя с семьей Аксаковых становились все более сложными, то и дело обостряясь вспышками взаимного раздражения и отчуждения. Не понимая истинных причин поведения Гоголя, С. Т. Аксаков склонен в своих воспоминаниях искать объяснения его «странностей» в «капризах» «скрытной» натуры писателя. Его безудержно восхваляли, его опутывали паутиной приторной лести. Его пытались изобразить этаким святым великомучеником: «Это — святой человек», — записывает дважды в своем дневнике старшая дочь С. Т. Аксакова — Вера Сергеевна.[44] Но за всеми славословиями скрывалось полное неприятие того, что составляло основу творчества Гоголя. И писатель временами очень остро чувствовал это. Выдающийся интерес представляет его письмо к А. О. Смирновой от 20 мая 1847 года. «Хотя я очень уважал старика и добрую жену его за их доброту, — писал он, — любил их сына Константина за его юношеское увлечение, рожденное от чистого источника, несмотря на неумеренное, излишнее выражение его; но я всегда, однакож, держал себя вдали от них. Бывая у них, я почти никогда не говорил ничего о себе; я старался даже вообще сколько можно меньше говорить и выказывать в себе такие качества, которыми бы мог привязать их к себе. Я видел с самого начала, что они способны залюбить не на живот, а на смерть… Словом, я бежал от их любви, ощущая в ней что-то приторное…»[45]

В «Истории моего знакомства с Гоголем» есть любопытное признание автора: «Во всем круге моих старых товарищей и друзей, во всем круге моих знакомых я не встретил ни одного человека, кому бы нравился Гоголь и кто бы ценил его вполне» (наст. изд., стр. 105). Аксаков имел здесь в виду своих петербургских знакомых и друзей, но по иронии судьбы эти строки с немалым основанием могли бы быть адресованы ко многим московским «друзьям» Гоголя, в их числе — к самим Аксаковым.

Пресловутая «неоткровенность» Гоголя была своеобразной формой самозащиты писателя от людей, не понимавших его и отдаленных от него пропастью разногласий в оценке явлений жизни и искусства. В 30-е и начале 40-х годов эти разногласия были слишком очевидны. Произведения Гоголя отрицали крепостническую действительность, будили яростную ненависть к ней. А московские его «друзья» целиком принимали эту действительность и ее защищали. Аксаковы, как и все

славянофилы, были враждебны общественному пафосу гоголевского творчества, его критическому, обличительному направлению. Белинский с полным правом мог писать о произведениях Гоголя, как о «положительно и резко антиславянофильских».[46]

Через несколько месяцев после упоминавшегося выше письма к Смирновой Гоголь решился высказать горькую истину и самому С. Т. Аксакову. Он писал ему: «Я никогда не был особенно откровенен с вами и ни о чем том, что было близко душе моей, не говорил с вами, так что вы скорее могли меня узнать только как писателя, а не как человека».[47] Шевырев сделал выговор Гоголю за это письмо и сообщил, что Аксаковы остались им недовольны: «Они считали тебя всегда другом семейства. Ты же начинаешь с того, что как будто бы отрекаешься от этой дружбы и потому даешь себе право быть с ними неискренним».[48] Гоголь вскоре снова написал Аксакову: «Что ж делать, если я не полюбил вас так, как следовало бы полюбить вас! Кто же из нас властен над собою?»[49]

Так, шаг за шагом, рушится прекраснодушная легенда об отношениях Гоголя с его «московскими друзьями».

Еще более показательна история отношений писателя с М. П. Погодиным, лишь вскользь и притом далеко не объективно освещенная С. Т. Аксаковым.

Гоголь познакомился с Погодиным в июле 1832 года. Вскоре между ними установились близкие отношения. Погодин начинал свою литературную деятельность в 20-е годы как человек умеренно-либеральных взглядов. Он был хорошо знаком с Пушкиным, сочувственно оценившим его драматургические опыты («Марфа-Посадница», «Петр I»). Но уже со второй половины 30-х годов Погодин начал быстро менять вехи и вскоре стал одним из столпов реакционной идеологии официальной народности и непримиримым идейным противником Белинского.

В 30-е годы Гоголя связывала с Погодиным известная общность интересов в области литературы и особенно — истории. Гоголь посвящал Погодина в свои творческие планы, часто обращался за советами и помощью в вопросах, касающихся истории. Так продолжалось до конца 30-х годов. Но вскоре их отношения резко изменились.

В 1841 году Погодин начал издавать журнал «Москвитянин», ставший одним из воинствующих центров реакции в борьбе против прогрессивных сил русской общественной мысли и литературы. Погодин начинает грубо эксплоатировать свои отношения с Гоголем, настойчиво понуждая его к активному сотрудничеству в своем журнале.

Славянофилы упорно распространяли слухи о предстоящем появлении на страницах «Москвитянина» произведений Гоголя. Один из писателей

в этой связи писал Погодину: «Все ждут, что-то будет в «Москвитянине» Гоголя? Его сотрудничество, кажется, непременно расширит круг журнала; Гоголя любят все, для него между читателями нет партий».[50]

Гоголь по приезде в Москву обычно останавливался и жил у Погодина, в мезонине его дома на Девичьем поле. Погодин не гнушался никакими средствами, чтобы достичь своей цели. С. Т. Аксаков рассказывает в своих мемуарах: «Погодин пилил, мучил Гоголя не только словами, но даже записками…, которые посылал ежедневно к нему снизу наверх. Такая жизнь сделалась мученьем для Гоголя и была единственною причиною скорого его отъезда за границу» (наст. изд., стр. 140–141). В 1941 году были опубликованы двадцать четыре записки, которыми обменялись Погодин и Гоголь. Некоторые из этих записок представляют большой интерес. Вот одна из них, датируемая Е. Казановичем началом 1842 года. Погодин пишет на клочке бумаги Гоголю: «Я устраиваю теперь 2 книжку <«Москвитянина»>. Будет ли от тебя что для нее?» Гоголь кратко и выразительно отвечает на обороте этого же клочка: *«ничего»*.[51] В начале апреля 1842 года Гоголь получил из Петербурга цензурное разрешение на печатание «Мертвых душ». На страницах «Москвитянина» появляется объявление о предстоящем выходе нового произведения. Погодин потребовал от Гоголя разрешения опубликовать в журнале несколько отрывков из поэмы до ее выхода в свет отдельным изданием. Гоголь категорически отказался. Он написал откровенную записку Погодину: «А насчет «Мертвых душ»: ты бессовестен и неумолим, жесток, неблагоразумен. Если тебе ничто и мои слезы, и мое душевное терзанье, и мои убеждения, которых ты не можешь и не в силах понять, то исполни по крайней мере, ради самого Христа, распятого за нас, мою просьбу: имей веру, которой ты не в силах и не можешь иметь ко мне, имей ее хоть на пять-шесть месяцев. Боже! Я думал уже, что буду спокоен хоть до моего выезда…»[52]

Гоголь стал избегать Погодина, по целым неделям не встречаясь с хозяином дома. Даже С. Т. Аксаков вынужден отметить «его мучительное положение в доме Погодина».

За все время Погодину удалось вырвать у Гоголя для «Москвитянина» отрывок из рецензии на альманах «Утренняя заря» (1842, № 1) и повесть «Рим» (1842, № 3); несколько раньше Погодин самовольно, без разрешения автора, напечатал в журнале несколько новых сцен из «Ревизора» (1841, № 4, 6); подобным же актом самоуправства со стороны Погодина явилось опубликование в «Москвитянине» (1843, № 11) портрета Гоголя, вызвавшее необычайно гневную реакцию писателя (см. в наст. изд. воспоминания Н. В. Берга, стр. 501* и примеч. 379*).

В 1844 году Гоголь излил в письме к Н. М. Языкову свое возмущение поведением Погодина: «Написал ли ты в молодости своей какую-нибудь

дрянь, которую и не мыслил напечатать, он, чуть где увидел ее, хвать в журнал свой, без начала, без конца, ни к селу ни к городу, без позволения».[53] Погодину в конце концов важен был лишь факт сотрудничества писателя в «Москвитянине».

В своем знаменитом памфлете «Педант» Белинский высмеял издателя «Москвитянина» в образе «хитрого антрепренера», «ловкого промышленника», «ученого литератора» и «спекулянта». Перечисленные качества Погодина во всей неприглядной наготе проявились в его отношениях с Гоголем.

Старания Погодина привлечь Гоголя к постоянному участию в «Москвитянине» не увенчались успехом. В обстановке ожесточенной идейной борьбы, которая развернулась с начала 40-х годов между прогрессивными силами общества, возглавляемыми Белинским — с одной стороны, славянофилами и идеологами официальной народности — с другой, позиция Гоголя была очень сложной. Своими гениальными обличительными произведениями он помогал делу Белинского, хотя и не возвышался до его страстных революционных убеждений. Связанный узами личной дружбы с деятелями славянофильского лагеря, Гоголь вместе с тем был чужд их политическим взглядам и долго сопротивлялся их попыткам использовать его имя и авторитет в борьбе против Белинского. Еще более далек был Гоголь от Погодина.

Перечисляя Погодину его «вины», Гоголь писал: «Первая — ты сказал *верю* — и усомнился на другой же день, вторая — ты дал клятву ничего не просить от меня и не требовать, но клятвы не сдержал: не только попросил и потребовал, но даже отрекся и от того, что давал мне клятву. Отсюда произошло почти все».[54] Усилия Погодина представить Гоголя в качестве союзника «Москвитянина» кончились провалом. Их личные отношения оказались на грани полного разрыва.

В цитированном выше письме к Языкову от 26 октября 1844 года Гоголь дал выразительную характеристику Погодина как грубого и беспринципного человека: «Такой степени отсутствия чутья, всякого приличия и до такой степени неимения деликатности, я думаю, не было еще ни в одном человеке испокон веку».[55]

С. Т. Аксаков не мог, конечно, целиком игнорировать подобные вопиющие факты. Но в изложении этих фактов он старается всячески ослабить их принципиальное значение, придать конфликту между Гоголем и Погодиным сугубо личный характер, лишенный какого бы то ни было общественного смысла.

Свое отношение к Погодину Гоголь не скрывал и высказался о нем однажды даже публично, в печати — в IV гл. «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Гневные и справедливые строки о Погодине в «Выбранных местах» всполошили весь славянофильский лагерь. Шевырев назвал поступок Гоголя «нехорошим» и ультимативно сообщил, что он отказывается хлопотать о втором издании книги, если не будет в ней уничтожено все, компрометирующее Погодина.[56] Показательна позиция С. Т. Аксакова в этом инциденте. В воспоминаниях он пытается изобразить себя человеком объективным, способным, несмотря на дружбу, осудить Погодина за его непристойное поведение. Однако после выхода «Выбранных мест» обнаружилась с предельной очевидностью цена этой «объективности» Аксакова, решительно ставшего на сторону Погодина. В письме к сыну Ивану от 14 января 1847 года он писал: «Я никогда не прощу Гоголю выходки на Погодина: в них дышит дьявольская злоба...»[57] Так завершается процесс самораскрытия С. Т. Аксакова.

«Друзья» в данном случае, как и во всех других, действовали вполне солидарно. И этот пример лишний раз подтверждает несостоятельность попыток С. Т. Аксакова показать себя инакомыслящим в среде славянофилов, человеком, совершенно беспристрастно относившимся к Гоголю.

Пристрастность воспоминаний Аксакова проявляется во многих случаях, но, пожалуй, всего нагляднее — в стремлении автора всячески подчеркнуть благотворное влияние, оказанное им и его друзьями на Гоголя. Аксаков здесь доходит до кощунственного извращения фактов, указывая, например, что будто бы «дружба с нами и особенно влияние Константина» были единственной причиной «сильного чувства к России» у Гоголя.

Нелепость этого утверждения слишком очевидна. Патриотическое чувство любви к родине было воспитано в Гоголе, конечно, не славянофилами.

«История моего знакомства с Гоголем», как видим, меньше всего может быть названа беспристрастной мемуарной летописью. С. Т. Аксакова в этой работе интересовала не только, или, может, даже не столько личность Гоголя, сколько своя собственная.

5

В середине 40-х годов стали отчетливо обнаруживаться у Гоголя признаки идейного кризиса. Его предвестниками явились все чаще начавшие проскальзывать в письмах фальшивые нотки христианского смирения, а также выражения недовольства своими великими произведениями.

Наиболее сильно идейный кризис писателя отразился в его книге «Выбранные места из переписки с друзьями», вышедшей в начале 1847 года.

Гоголь подолгу жил за границей и был оторван от почвы народной жизни. Людей, которые могли бы помочь ему разобраться в сложных вопросах современной действительности, около него не было. В этих условиях сила сопротивления Гоголя тому систематическому духовному отравлению, которому на протяжении многих лет он подвергался со стороны своих «друзей», стала ослабевать. Их влияние к середине 40-х годов начало сказываться на Гоголе, на его идейном развитии. Московские, как и некоторые другие его друзья — например Жуковский, а также А. О. Смирнова, З. А. Волконская — во многом способствовали росту у писателя реакционных, религиозно-мистических настроений. «Этим знакомствам, — писал Чернышевский, — надобно приписывать сильное участие в образовании у Гоголя того взгляда на жизнь, который выразился «Перепискою с друзьями» (наст. изд., стр. 570).

«Гоголь не устоял против своих поклонников», — заметил однажды В. А. Соллогуб. Справедливость этих слов подтверждается многочисленными фактами.

Н. М. Павлов рассказывает, что ему нередко приходилось слышать подобные разговоры: «Это славянофилы погубили Гоголя! Они виноваты в том, что он издал «Переписку с друзьями».[58] И то обстоятельство, что некоторые из славянофилов (в частности, сам С. Т. Аксаков) лицемерно отмежевались от книги Гоголя, нисколько не противоречит этому выводу. В. П. Боткин правильно писал о том же А. А. Краевскому: «Наши словене книгу Гоголя приняли холодно, но это потому только, что Гоголь имел храбрость быть последовательным и итти до последних результатов, а семена белены посеяны в нем теми же самыми словенами».[59] Более определенно выразил эту мысль Белинский. В письме к Боткину от 6 февраля 1847 года он заметил, что славянофилы напрасно сердятся на автора «Выбранных мест», «им бы вспомнить пословицу: «неча на зеркало пенять, коли рожа крива». Они подлецы и трусы, люди не консеквентные, боящиеся крайних выводов собственного учения».[60]

Насколько проницательны были эти строки Белинского можно судить на примере того же С. Т. Аксакова. В 1847 году под свежим впечатлением ожесточенных споров, возникших вокруг «Выбранных мест из переписки с друзьями», Аксаков счел нужным отозваться о книге отрицательно. В письме к сыну Ивану он высказал мнение, что Гоголь «помешался». Аксаков расценивал «Выбранные места» как измену Гоголя своим прежним убеждениям, и в 1849 году даже написал ему: «Мне показалось несовместным ваше духовное направление с искусством».[61]

Но прошло несколько лет, и точка зрения Аксакова «неожиданно» стала диаметрально противоположной. В статье «Несколько слов для биографии Гоголя» звучат уже слова полного одобрения и всепрощения

«Выбранным местам». В этой статье мы читаем: «Да не подумают, что Гоголь менялся в своих убеждениях; напротив, с юношеских лет он оставался им верен; но Гоголь шел постоянно вперед: его христианство становилось чище, строже; высокое значение цели писателя — яснее, и суд над самим собою — суровее; и так, в этом смысле, Гоголь изменился».[62] С подобной же концепцией мы сталкиваемся и в мемуарах Аксакова, в которых проводится мысль о «постоянном направлении» Гоголя (наст. изд., стр. 173).

Так создавалась еще одна реакционная легенда, искажавшая творчество Гоголя.

«Выбранные места из переписки с друзьями» были с негодованием встречены всей передовой Россией. От ее имени Белинский ответил Гоголю, вначале статьей в «Современнике», а затем — письмом, вошедшим в историю русской общественной мысли как одно «из лучших произведений бесцензурной демократической печати».[63]

Письмо Белинского потрясло Гоголя. Мгновенно вспыхнувшее в нем раздражение и желание резко возразить Белинскому вскоре уступило место сознанию того, что в его словах «может быть… есть часть правды». Неотразимая сила письма заставила Гоголя после глубоких размышлений ответить критику: «Как мне нужно многое узнать из того, что знаете вы и чего я не знаю».[64] Гоголь признал справедливым упрек Белинского в том, что «Выбранные места» явились результатом незнания современной России.

Он решил вернуться на родину и вновь заняться изучением русской жизни. Помещаемое в нашем издании воспоминание Я. К. Грота подтверждает серьезность намерений писателя. Под несомненным влиянием письма Белинского у Гоголя пробуждается критическое отношение к «Выбранным местам». Об этом рассказывают в своих воспоминаниях И. И. Панаев и М. С. Щепкин. В октябре 1851 года в беседе с И. С. Тургеневым и Щепкиным Гоголь, по свидетельству последнего, заявил: «Правда, и я во многом виноват, виноват тем, что послушался друзей, окружавших меня, и если бы можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил всю «Переписку с друзьями». Я бы сжег ее» (наст. изд., стр. 530).

Эти показания нельзя игнорировать при изучении последнего периода жизни писателя, особенно сложного и противоречивого. Они существенны для понимания духовной драмы Гоголя.

В своей книге «О развитии революционных идей в России» Герцен со скорбью и гневом писал о трагической судьбе русского писателя, живущего в условиях полицейско-террористического режима. Он назвал историю русской литературы мартирологом или реестром каторги. Факты, перечисленные Герценом, были известны всей стране. Мимо них

не могла пройти и мысль Гоголя. Он писал: «Три первостепенных поэта: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, один за другим, в виду всех были похищены насильственною смертью в течение одного десятилетия, в поре самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих…»[65]

Многие писатели пали жертвами в ожесточенной борьбе, которую вел русский народ за свое социальное освобождение. Участь этих писателей разделил и Гоголь, которого Максим Горький назвал «жертвой времени».[66]

Большой интерес представляют мемуары актера А. П. Толченова, рассказывающие о встречах с Гоголем зимой 1850/1851 годов в Одессе. Страницы этих воспоминаний рисуют живой, обаятельный облик писателя. Еще при жизни Гоголя распространялись слухи о его недоступности, замкнутости, об его эксцентрических выходках. Толченов рассказывает, с каким изумлением он вспоминал эти слухи после первой же встречи с Гоголем: «Сколько одушевления, простоты, общительности, заразительной веселости оказалось в этом неприступном, хоронящемся в самом себе человеке» (наст. изд., стр. 419).

В упомянутых мемуарах раскрывается еще одна существенная черта Гоголя — органически свойственный его характеру демократизм. Очень скованно чувствуя себя в светском, аристократическом обществе, Гоголь совершенно преображался, становился словно другим человеком, когда попадал в среду простых людей. Толченов пишет: «Неужели, думал я, это один и тот же человек, засыпающий в аристократической гостиной и сыплющий рассказами и заметками, полными юмора и веселости и сам от души смеющийся каждому рассказу смехотворного свойства, в кругу людей, нисколько не участвующих и не имеющих ни малейшей надежды когда-нибудь участвовать в судьбах России» (стр. 419). На основе своих личных впечатлений Толченов пришел к замечательному выводу: «Сколько мне случалось видеть, с людьми, наименее значущими, Гоголь сходился скорее, проще, был более самим собою, а с людьми, власть имеющими, застегивался на все пуговицы» (стр. 426).

Это важное наблюдение Толченова подтверждается многочисленными письмами Гоголя, полными гневного презрения к «надменной гордости безмозглого класса людей», к «благородному нашему аристократству», при одной мысли о котором «сердце… содрогается».

О последних годах жизни Гоголя находим ряд достоверных фактических сведений в мемуарах И. С. Тургенева, М. С. Щепкина, Н. В. Берга, О. М. Бодянского, Д. А. Оболенского. Весьма содержательны воспоминания доктора А. Т. Тарасенкова, получившие положительную оценку Чернышевского.

Последние десять лет жизни Гоголь много и упорно работал над вторым томом «Мертвых душ». В 1845 году почти готовая рукопись была сожжена. Работа началась сызнова. За десять дней до смерти Гоголь снова предал огню уже завершенный результат своего многолетнего труда.

Несколько написанных в разное время черновых глав — вот все, что сохранилось от второго тома «Мертвых душ».

Белинский не знал об этих фрагментах, они были опубликованы лишь семь лет спустя после его смерти. Писательская деятельность Гоголя оборвалась в сознании Белинского на реакционных «Выбранных местах из переписки с друзьями». Свое письмо к Гоголю он заканчивал выражением надежды, что писатель искупит свой «тяжкий грех» новыми творениями, которые напомнили бы его прежние.

Внял ли Гоголь совету Белинского? Смог ли он преодолеть кризис в своем творчестве?

Многие эпизоды второго тома, как справедливо отмечал Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы», решительно слабы и по своему направлению связаны с «Выбранными местами из переписки с друзьями». Таковы, например, страницы, посвященные изображению «идеалов самого автора» (Костанжогло, Муразов). «Изображение идеалов» было вообще самым уязвимым местом в творчестве Гоголя. Но это, указывает Чернышевский, объясняется не односторонностью таланта писателя, а, напротив, — силой этого таланта, «состоявшей в необыкновенно тесном родстве с действительностью». Когда история или современность предоставляли Гоголю «идеальных лиц», они выходили у него превосходно. Чернышевский в качестве примера приводит героев «Тараса Бульбы» или Пискарева из «Невского проспекта».

Но в уцелевших отрывках второго тома «Мертвых душ» помимо слабых эпизодов есть очень много страниц, принадлежащих к лучшему, что когда-либо написал Гоголь, и свидетельствующих о том, что «великий талант Гоголя является с прежнею своею силою, свежестью, с благородством направления, врожденным его высокой натуре». Чернышевский приходит к выводу, что «преобладающий характер в этой книге, когда б она была окончена, остался бы все-таки тот же самый, каким отличается и ее первый том и все предыдущие творения великого писателя».[67]

Страницы «Очерков гоголевского периода», посвященные анализу второго тома «Мертвых душ», — самое важное и глубокое из того, что до сих пор написано на эту тему. Они позволяют правильно оценить картину идейного и художественного развития Гоголя на последнем и самом трудном, трагическом этапе его жизни.

Работая над вторым томом «Мертвых душ», Гоголь читал отдельные главы из него своим знакомым. Среди них были Аксаковы, Шевырев, Погодин, А. О. Смирнова, А. И. Арнольди, Д. А. Оболенский, М. А. Максимович и другие. Однако не все они сочли своим долгом перед памятью писателя рассказать содержание прослушанных глав. Всего удивительнее поведение ближайших «друзей» Гоголя — Шевырева и Погодина. Они не обмолвились на эту тему ни единым словом. Д. А. Оболенский утверждает: «Вероятно, в бумагах Шевырева сохранились какие-либо воспоминания о слышанных им главах второго тома «Мертвых душ»; по крайней мере мне известно, что он намерен был припомнить содержание тех глав, от которых не осталось никаких следов, и изложить их вкратце на бумаге» (наст. изд., стр. 556). Если такое намерение и имелось, то оно, очевидно, не было приведено в исполнение.

Все, что мы знаем о содержании сожженных глав, почерпнуто из воспоминаний Арнольди, Оболенского и отчасти — А. О. Смирновой.[68] Мемуары первых двух особенно важны. Они будут несомненно полезны читателю, интересующемуся творчеством Гоголя.

6

Далеко не все современники, которым выпало счастье общаться с Гоголем, оставили о нем воспоминания. Так, например, среди мемуаристов нет имен Плетнева, Вяземского, Жуковского. С. Т. Аксаков был единственным из московских «друзей» автором воспоминаний о Гоголе. Историю отношений писателя с этими «друзьями» Аксаков называет «долговременной и тяжкой историей неполного понимания». Здесь, видимо, следует искать объяснение того удивительного факта, что ни Шевырев, ни Хомяков, ни Погодин не сочли нужным рассказать о своих встречах с писателем. Погодин, дневники которого испещрены записями о беседах с Гоголем, оставил о нем лишь две частные мемуарные заметки.[69] А Шевырев, которого Н. В. Берг называет «чуть ли не ближайшим к нему <Гоголю> из всех московских литераторов», не оставил ни единой строки воспоминаний. В 1852 году в целях увековечения памяти Гоголя Российская академия наук приняла решение издать его биографию. Написать ее было поручено Шевыреву. Он отправился на родину писателя, собирал материалы. Но биографию все-таки не написал.

Характерная черта подавляющего большинства мемуаров о Гоголе состоит в том, что они принадлежали перу людей, которым был чужд общественный пафос гениальных произведений Гоголя. Эти люди в конце концов мало понимали подлинный масштаб личности Гоголя и значение его творчества для истории литературы и освободительного движения в России. По идейному своему содержанию даже лучшие

мемуары стоят неизмеримо ниже классических статей о творчестве Гоголя, написанных Белинским и Чернышевским.

Во многих мемуарах преобладает интерес к внешнебытовым чертам жизни Гоголя, в них значительно меньше фактов, характеризующих его писательскую биографию. К сожалению, скудно раскрывается в этих материалах творческая лаборатория великого художника слова. Лишь отдельные наблюдения мы находим у Анненкова, Соллогуба и Берга.

Нельзя не обратить внимание на то, как скупо в воспоминаниях освещаются личные отношения Гоголя с некоторыми передовыми деятелями русской литературы — например, Белинским, Некрасовым. Мы очень мало знаем об их встречах, беседах. Этой темы касается лишь Анненков и отчасти — Панаев. Другие современники, несомненно информированные, предпочли отмолчаться. И здесь не простая случайность.

Между Гоголем и Белинским не было личной близости. Но известно, с каким уважением относился писатель к Белинскому, с каким интересом читал его статьи, как ценил его суждения о «Миргороде», «Ревизоре», «Мертвых душах». Гоголь, зная, сколь ненавистно многим из его окружения имя Белинского, предпочитал скрывать свои истинные чувства к критику. Подозревая о них, московские, да и некоторые петербургские, «друзья» Гоголя всячески восстанавливали его против Белинского, стремясь добиться полного разрыва между ними.

Сохранилось в высшей степени интересное письмо П. А. Кулиша к В. И. Шенроку — известному биографу Гоголя, — в котором он сообщает, с каким «крайним негодованием» рассказывал ему однажды П. А. Плетнев, «как Гоголь по возвращении из-за границы поддакивал ему <Плетневу> в его искреннем суде о журналистах, а тайком от него делал визиты Белинскому, Краевскому, Некрасову, Панаеву и другим».[70]

Но примечательно, что об этих «визитах» Кулиш даже не упоминает в своих двухтомных «Записках о жизни Гоголя». Рассказывая в другом письме к В. И. Шенроку об этой сознательной «утайке», он многозначительно добавляет: «Такова была воля тогдашнего министерства общественной нравственности» — то есть С. Т. Аксакова и П. А. Плетнева, считавших нежелательным сообщать публике «темных» <!> сторон жизни Гоголя».[71]

Совершенно недостаточно освещено в воспоминаниях воздействие произведений Гоголя на передовые общественные силы России. В этом отношении исключительно ярким документом является отрывок из воспоминаний критика В. В. Стасова. Он не был лично знаком с Гоголем. Он рассказывает не о личности писателя, но о его произведениях, об огромной силе их идейного влияния на молодое

поколение 30-40-х годов, которое, по выражению Стасова, «подняло великого писателя на щитах с первой же минуты его появления».

О громадной роли произведений Гоголя в формировании мировоззрения передовой революционной молодежи 40-х годов свидетельствуют дневники Чернышевского.

Творчество Гоголя имело очень важное значение в жизни Чернышевского, в истории духовного, политического его развития. Произведения Гоголя способствовали обострению в молодом Чернышевском интереса к социальным вопросам современности и возбуждению его ненависти к феодально-помещичьему строю России.

Юношеские дневники Чернышевского раскрывают перед нами процесс напряженных его раздумий над вопросами русской литературы и в особенности — над творчеством Гоголя. Он тщательно фиксирует свои собственные размышления, содержание бесед и споров с товарищами, перечень прочитанных книг. В этих подневных записях имя Гоголя встречается часто, и в самой различной связи. Например, 2 августа 1848 года двадцатилетний Чернышевский заносит в свой дневник: «Литература: Гоголь и Лермонтов кажутся недосягаемыми, великими, за которых я готов отдать жизнь и честь».[72] Несколько дней спустя, в связи с чтением «Мертвых душ», появляется новая запись: «Дивился глубокому взгляду Гоголя на Чичикова... Велико, истинно велико! ни одного слова лишнего, одно удивительно! вся жизнь русская, во всех ее различных сферах исчерпывается ими...»[73]

Для Чернышевского Гоголь — «чрезвычайный» человек, сравнения с которым никто не в состоянии выдержать в русской и западноевропейской литературе, ибо он «выше всего на свете, со включением в это все и Шекспира и кого угодно».[74] Гоголь становится в его глазах как бы художественным и нравственным критерием в оценке самых различных явлений не только искусства, но и жизни. Приведем в высшей степени интересную выдержку из записи 23 сентября 1848 года:

«Лермонтов и Гоголь, которых произведения мне кажутся совершенно самостоятельны, которых произведения мне кажутся, может быть, самыми высшими, что произвели последние годы в европейской литературе, доказывают для меня, у которого утвердилось мнение, заимствованное из «Отечественных записок» (я вычитал его в статьях о Державине[75]), что только жизнь народа, степень его развития определяет значение поэта для человечества... Итак, Лермонтов и Гоголь доказывают, что пришло России время действовать на умственном поприще, как действовали раньше ее Франция, Германия, Англия, Италия».[76]

Все замечательно в этой юношески восторженной записи: и оценка значения творчества двух великих русских писателей, и сознание органической связи поэзии с историей, с жизнью народа.

С первых же своих выступлений в печати Чернышевский, как известно, становится горячим пропагандистом творчества Гоголя, страстным борцом за гоголевское направление в русской литературе.

Огромное значение для правильного понимания личности Гоголя и его творчества имеет статья Чернышевского о «Сочинениях и письмах Н. В. Гоголя», которой завершается настоящий сборник. С несравненной глубиной вскрывает здесь критик противоречия Гоголя, «многосложный его характер» — писателя и человека.

Критик отмечает поверхностное и ничего не объясняющее противопоставление Гоголя-«художника» — «мыслителю», создателя «Ревизора» и «Мертвых душ» — Гоголю-автору «Выбранных мест». Решительно осуждая реакционные идеи этой последней книги, Чернышевский вместе с тем задается целью выяснить, каким же образом, почему пришел к ней гениальный писатель.

Важнейшую причину Чернышевский усматривает в отсутствии у Гоголя «стройных и сознательных убеждений». Именно поэтому писатель не видел связи между «частными явлениями» и «общею системою жизни». Чернышевский отвергает нелепое предположение, будто бы Гоголь стихийно и бессознательно создавал свои обличительные произведения, что якобы он «сам не понимал смысла своих произведений». Напротив, Гоголь не только сознательно стремился «быть грозным сатириком», он понимал также, сколь недостаточна та сатира, которую он мог позволить себе в «Ревизоре», сколь она «слаба еще и мелка». Больше того, именно в этой неудовлетворенной «потребности расширить границы своей сатиры» критик видит одну из причин недовольства Гоголя своими произведениями.

Правильность выводов Чернышевского подтверждается известным положением Ленина об *идеях Белинского и Гоголя*, «которые делали этих писателей дорогими Некрасову — как и всякому порядочному человеку на Руси».[77]

Выводы Чернышевского не только имели большое теоретическое значение. Они окончательно выбивали из рук врагов гоголевского направления довод, с помощью которого они давно пытались фальсифицировать образ писателя: дескать, Гоголь никогда сознательно не разделял критических устремлений своих произведений, что в своем отношении к господствующему строю жизни России он всегда был благонамерен и, наконец, что основные идеи «Выбранных мест из переписки с друзьями» были свойственны писателю с самого начала его творческой деятельности.

Чернышевский не оставил камня на камне от этой «теории».

Вместе с тем критик отнюдь не считал, что «Выбранные места из переписки с друзьями» явились неожиданным эпизодом в биографии Гоголя. Еще Белинский, анализируя в 1842 году первый том «Мертвых душ», обратил внимание на некоторые намеки в поэме, которые заставили его насторожиться и показались ему тревожными с точки зрения дальнейшего развития творчества Гоголя. Белинский имел в виду высказанное писателем в одиннадцатой главе поэмы предположение относительно того, что в последующих ее частях, обещанных автором, может быть «почуются иные, еще доселе небранные струны» и будут изображены некий муж, «одаренный божественными доблестями», или идеальная русская девица, «какой не сыскать нигде в мире». Критик почувствовал в этих строках намерение Гоголя показать какую-то другую, «положительную» сторону крепостнической действительности России. Белинский встревожился этими «крапинками и пятнышками в картине великого мастера», «которые довольно неприятно промелькивают», и прозорливо предостерег Гоголя от грозящей ему серьезной опасности. «Много, слишком много обещано, — писал Белинский, — так много, что негде и взять того, чем выполнить обещание, потому что того и нет еще на свете…»[78]

Еще более определенно выразил Белинский тревогу за судьбу любимого писателя четыре года спустя, в рецензии на второе издание «Мертвых душ». Подтвердив свою высокую оценку поэмы, как произведения «столько же национального, сколько и высокохудожественного», критик отмечает и некоторые ее недостатки, обнаруживающиеся в «мистико-лирических выходках» Гоголя, то есть в тех местах, где автор из поэта, художника силится «стать каким-то пророком». Ко второму изданию поэмы Гоголь написал специальное предисловие. Оно вызвало восторженную оценку в реакционной среде. «Твое предисловие мне пришлось по сердцу, — писал Шевырев Гоголю, — мне кажется из него, что ты растешь духовно».[79] В прогрессивном лагере это «фантастическое», по определению Белинского, предисловие, написанное в тоне «неумеренного смирения и самоотрицания», было решительно осуждено. Оно вызвало в Белинском «живые опасения за авторскую славу в будущем».

Таким образом, вопрос о противоречиях в мировоззрении и творчестве Гоголя ставился Белинским еще задолго до «Выбранных мест». Этот вопрос всесторонне освещает и Чернышевский в своей статье о «Сочинениях и письмах Н. В. Гоголя».

Несмотря на то, что Гоголь вполне сознательно обличал в своих художественных произведениях русскую крепостническую действительность, он, однако, был лишен стройного мировоззрения, он

поддавался чаще всего «инстинктивному направлению своей натуры». В этой слабости и ограниченности идейного, теоретического развития Гоголя таилась величайшая для него, как художника, опасность. В пору своей наибольшей зрелости Гоголь и сам почувствовал необходимость выработать в себе «систематический взгляд на жизнь», «сознательное мировоззрение». Но сделать этого Гоголь уже не смог.

Идейная позиция Гоголя была крайне сложной и противоречивой. В 30-е и в начале 40-х годов в ней преобладало прогрессивное начало, но во взглядах писателя имелись и некоторые отсталые, консервативные элементы, которые впоследствии в «Выбранных местах» в силу конкретно-исторических причин получили полное развитие. Так произошел резкий перелом в сознании Гоголя и началось в его деятельности «новое направление».

Чернышевский не опрощает Гоголя. Он не вгоняет его в ту или иную догматическую схему. Он берет писателя таким, каким он был, со всеми свойственными ему противоречиями. Не затушевывая этих противоречий, Чернышевский, как и другие революционеры-демократы, поднимал на щит то великое и бессмертное в творчестве Гоголя, что служило народу в его борьбе за освобождение от оков рабства и тирании. В сознании всей передовой России художественный подвиг Гоголя недаром связывался с именем Белинского. Чернышевский прямо указывал, что «Гоголь равняется своим значением для общества и литературы значению автора статей о Пушкине».[80]

Деятели революционно-демократического движения в России испытали на себе могущественное влияние произведений Гоголя. Некоторые из них — Белинский, Некрасов, Герцен, Чернышевский — были его современниками. Они не писали мемуаров о Гоголе, Герцен и Чернышевский не были даже знакомы с ним, Белинский же умер раньше его. Но в их статьях, дневниках, письмах содержится не только теоретический анализ творчества писателя, в них отражено живое, непосредственное восприятие современниками личности и творчества Гоголя. А этот факт сам по себе — мемуарного значения. Вот почему мы сочли возможным в настоящем издании поместить некоторые высказывания о Гоголе Белинского, Герцена, а также Чернышевского, хотя, строго говоря, они выходят за формальные, жанровые границы книги. Эти высказывания восполняют существенные пробелы воспоминаний и помогут советскому читателю более полно и цельно воспринять живой облик великого русского писателя-патриота, «заступника народного», по слову Некрасова, и осмыслить значение его творчества в истории русской культуры.

С. МАШИНСКИЙ

Т. Г. Пащенко. Черты из жизни Гоголя*

«Каждая черта великого художника есть достояние истории».

Виктор Гюго.

Наш знаменитый Гоголь, при замечательной оригинальности своей, был неподражаемый комик, мимик и превосходный чтец. Оригинальность, юмор, сатира и комизм были прирождены, присущи Гоголю. Капитальные черты эти крупно выступают в каждом его произведении и чуть ли не в каждой строке, хотя и не вполне выражают автора, о чем и сам Гоголь сказал: «Письмо никогда не может выразить и десятой доли человека». Поэтому каждая черта знаменитого человека, в которой выражается его внутренний мир действием или живым словом, интересна, дорога и должна быть сохранена для потомства.

Вот некоторые из оригинальностей Гоголя. Гимназия высших наук князя Безбородко разделялась на три музея, или отделения*, в которые входили и выходили мы попарно; так водили нас и на прогулки. В каждом музее был свой надзиратель. В третьем музее надзиратель был немец З<ельднер>*, безобразный, неуклюжий и антипатичный донельзя: высокий, сухопарый, с длинными, тонкими и кривыми ногами, почти без икр; лицо его как-то уродливо выдавалось вперед и сильно смахивало на свиное рыло… длинные руки болтались как будто привязанные; сутуловатый, с глуповатым выражением бесцветных и безжизненных глаз и с какою-то странной прическою волос. Зато же длинными кривушами своими Зельднер делал такие гигантские шаги, что мы и не рады были им. Чуть что, он и здесь: раз, два, три, и Зельднер от передней пары уже у задней; ну просто не дает нам хода. Вот и задумал Гоголь умерить чрезмерную прыткость этого цыбатого (длинноногого) немца и сочинил на Зельднера следующее четырехстишие:

Гицель — морда поросяча,

Журавлини ножки;

Той же чортик, що в болоти,

Тилько приставь рожки!*

Идем, Зельднер — впереди; вдруг задние пары запоют эти стихи — шагнет он, и уже здесь. «Хто шмела петь, што пела?» Молчание, и глазом никто не моргнет. Там запоют передние пары — шагает Зельднер туда — и там тоже; мы вновь затянем — он опять к нам, и снова без ответа. Потешаемся, пока Зельднер шагать перестанет, идет уже молча и только оглядывается и грозит пальцем. Иной раз не выдержим и грохнем со смеху. Сходило хорошо. Такая потеха доставляла Гоголю и всем нам большое удовольствие и поумерила гигантские шаги

Зельднера. Был у нас товарищ Р<иттер>, большого роста, чрезвычайно мнительный и легковерный юноша, лет восемнадцати. У Риттера был свой лакей, старик Семен. Заинтересовала Гоголя чрезмерная мнительность товарища, и он выкинул с ним такую штуку: «Знаешь, Риттер, давно я наблюдаю за тобою и заметил, что у тебя не человечьи, а бычачьи глаза... но все еще сомневался и не хотел говорить тебе, а теперь вижу, что это несомненная истина — у тебя бычачьи глаза...»

Подводит Риттера несколько раз к зеркалу, тот пристально всматривается, изменяется в лице, дрожит, а Гоголь приводит всевозможные доказательства и наконец совершенно уверяет Риттера, что у него бычачьи глаза.

Дело было к ночи: лег несчастный Риттер в постель, не спит, ворочается, тяжело вздыхает, и все представляются ему собственные бычачьи глаза. Ночью вдруг вскакивает с постели, будит лакея и просит зажечь свечу; лакей зажег. «Видишь, Семен, у меня бычачьи глаза...» Подговоренный Гоголем лакей отвечает: «И впрямь, барин, у вас бычачьи глаза! Ах, боже мой! Это Н. В. Гоголь сделал такое наваждение...» Риттер окончательно упал духом и растерялся. Вдруг поутру суматоха. «Что такое?» — «Риттер сошел с ума! Помешался на том, что у него бычачьи глаза!..» — «Я еще вчера заметил это», — говорит Гоголь с такою уверенностью, что трудно было и не поверить. Бегут и докладывают о несчастье с Риттером директору Орлаю; а вслед бежит и сам Риттер, входит к Орлаю и горько плачет: «Ваше превосходительство! У меня бычачьи глаза!..» Ученейший и знаменитый доктор медицины директор Орлай флегматически нюхает табак и, видя, что Риттер действительно рехнулся на бычачьих глазах, приказал отвести его в больницу. И потащили несчастного Риттера в больницу, в которой и пробыл он целую неделю, пока не излечился от мнимого сумасшествия. Гоголь и все мы умирали со смеху, а Риттер вылечился от мнительности.

Замечательная наблюдательность и страсть к сочинениям пробудилась у Гоголя очень рано и чуть ли не с первых дней поступления его в гимназию высших наук. Но при занятии науками почти не было времени для сочинений и письма. Что же делает Гоголь? Во время класса, особенно по вечерам, он выдвигает ящик из стола, в котором была доска с грифелем или тетрадка с карандашом, облокачивается над книгою, смотрит в нее и в то же время пишет в ящике, да так искусно, что и зоркие надзиратели не подмечали этой хитрости. Потом, как видно было, страсть к сочинениям у Гоголя усиливалась все более и более, а писать не было времени и ящик не удовлетворял его. Что же сделал Гоголь? Взбесился!.. Да, взбесился! Вдруг сделалась страшная тревога во всех отделениях — «Гоголь взбесился!..» Сбежались мы, и видим, что лицо у Гоголя страшно исказилось, глаза сверкают каким-то диким блеском, волосы натопорщились, скрегочет зубами, пена изо рта,

падает, бросается и бьет мебель — взбесился! Прибежал и флегматический директор Орлай, осторожно подходит к Гоголю и дотрагивается до плеча: Гоголь схватывает стул, взмахнул им — Орлай уходит… Оставалось одно средство: позвали четырех служащих при лицее инвалидов, приказали им взять Гоголя и отнести в особое отделение больницы. Вот инвалиды улучили время, подошли к Гоголю, схватили его, уложили на скамейку и понесли, раба божьего, в больницу, в которой пробыл он два месяца, отлично разыгрывая там роль бешеного…

У Гоголя созрела мысль и, надо полагать, для «Вечеров на хуторе»*. Ему нужно было время — вот он и разыграл роль бешеного, и изумительно верно! Потом уже догадались.

На небольшой сцене второго лицейского музея лицеисты любили иногда играть по праздникам комические и драматические пьесы. Гоголь и Прокопович — задушевные между собою приятели — особенно заботились об этом и устраивали спектакли. Играли пьесы и готовые, сочиняли и сами лицеисты. Гоголь и Прокопович были главными авторами и исполнителями пьес. Гоголь любил преимущественно комические пьесы и брал роли стариков, а Прокопович — трагические. Вот однажды сочинили они пьесу из малороссийского быта, в которой немую роль дряхлого старика-малоросса взялся сыграть Гоголь. Разучили роли и сделали несколько репетиций. Настал вечер спектакля, на который съехались многие родные лицеистов и посторонние. Пьеса состояла из двух действий; первое действие прошло удачно, но Гоголь в нем не являлся, а должен был явиться во втором. Публика тогда еще не знала Гоголя, но мы хорошо знали и с нетерпением ожидали выхода его на сцену. Во втором действии представлена на сцене простая малороссийская хата и несколько обнаженных деревьев; вдали река и пожелтевший камыш. Возле хаты стоит скамейка; на сцене никого нет.

Вот является дряхлый старик в простом кожухе, в бараньей шапке и смазных сапогах. Опираясь на палку, он едва передвигается, доходит крехтя до скамейки и садится. Сидит трясется, крехтит, хихикает и кашляет; да наконец захихикал и закашлял таким удушливым и сиплым старческим кашлем, с неожиданным прибавлением, что вся публика грохнула и разразилась неудержимым смехом… А старик преспокойно поднялся со скамейки и поплелся со сцены, уморивши всех со смеху…

С этого вечера публика узнала и заинтересовалась Гоголем как замечательным комиком. В другой раз Гоголь взялся сыграть роль дяди-старика — страшного скряги. В этой роли Гоголь практиковался более месяца, и главная задача для него состояла в том, чтобы нос сходился с подбородком… По целым часам просиживал он перед зеркалом и пригинал нос к подбородку, пока наконец не достиг желаемого… Сатирическую роль дяди-скряги сыграл он превосходно,

морил публику смехом и доставил ей большое удовольствие. Все мы думали тогда, что Гоголь поступит на сцену, потому что у него был громадный сценический талант и все данные для игры на сцене: мимика, гримировка, переменный голос и полнейшее перерождение в роли, какие он играл. Думается, что Гоголь затмил бы и знаменитых комиков-артистов, если бы вступил на сцену[*].

Бывший министром юстиции, Трощинский жил в своем богатом и знаменитом имении — Кибинцах, в великолепном дворце.... Отец Гоголя был соседом Трощинского и нередко приезжал к дряхлому старику в гости с женою, матерью Гоголя — дивною красавицею. Брали они с собою и Николая Васильевича[*]. По выходе из лицея Гоголь, Данилевский и Пащенко (Иван Григорьевич) собрались в 1829 году ехать в Петербург на службу. Трощинский дал Гоголю рекомендательное письмо к министру народного просвещения. Вот приехали они в Петербург, остановились в скромной гостинице и заняли в ней одну комнату с передней. Живут приятели неделю, живут и другую, и Гоголь все собирался ехать с письмом к министру; собирался, откладывал со дня на день, так прошло шесть недель, и Гоголь не поехал... Письмо у него так и осталось.

Приехали в Петербург и другие товарищи Гоголя, и собралось их там более десяти человек: Гоголь, Прокопович, <А. С.> Данилевский, <И. Г.> Пащенко, Кукольник, Базили, Гребенка, Мокрицкий и еще некоторые. Определились по разным министерствам и начали служить. Мокрицкий хорошо рисовал и заявил себя замечательным художником по живописи. Товарищи часто сходились у кого-нибудь из своих, составляли тесный, приятельский кружок и приятно проводили время. Гоголь был душою кружка. Гоголь и Кукольник сильно интересовались литературой. После знакомства с Пушкиным[*] Гоголь всецело предался литературе. Вот приходит однажды в этот кружок товарищей Мокрицкий и приносит с собою что-то завязанное в узелке. «А что это у тебя, брате Аполлоне?» — спрашивает Гоголь. Мокрицкий был заика и с трудом отвечает: «Это... это, Николай Васильевич, не по твоей части; это — священне...» — «Как, что такое, покажи!» — «Пожалуйста, не трогай, Николай Васильевич, — говорю тебе нельзя — это священне». (В узелке были костюмчики детей князя N.; костюмчики нужны были Мокрицкому для картины, и он добыл их не без труда.) Гоголь схватил узелок, развязал, увидел, что там такое, плюнул в него и швырнул в окно на улицу. Мокрицкий вскрикнул от ужаса, бросился к окну и хотел выскочить, но было высоко; бросается в дверь, бежит на улицу и схватывает свой узелок... Хохотали все до упаду. Не имея ни призвания, ни охоты к службе, Гоголь тяготился ею, скучал, и потому часто пропускал служебные дни, в которые занимался на квартире литературою. Вот после двух-трех дней пропуска является он в департамент, и секретарь или начальник отделения делают ему

замечания: «Так служить нельзя, Николай Васильевич; службой надо заниматься серьезно». Гоголь вынимает из кармана загодя изготовленное на высочайшее имя прошение об увольнении от службы и подает. Увольняется и определяется в другое место. И так увольнялся и определялся он несколько раз*.

...Проездом через Москву в Малороссию на каникулярное время Гоголь, Данилевский и Пащенко остановились в гостинице. На другой день вбегает к ним лакей их и говорит, что Н. В. Гоголя спрашивает какой-то господин, а вслед за этим входит и самый этот господин и спрашивает: «Здесь г. Гоголь?» Гоголь, Данилевский и Пащенко были неодеты и скорей за ширму: «Извините — мы не одеты», — говорят из-за ширмы. «Ничего; прошу вас не стесняться, я желаю и мне очень приятно познакомиться с вами». А за ширмой суматоха: один другого выпихивают вперед. Наконец выходит Гоголь и рекомендуется тому господину, который оказывается — бывший министр народного просвещения <И. И.> Дмитриев. Старик жил в Москве и желал лично познакомиться с Гоголем, с которым и познакомился, и очень любезно, а также и с товарищами Гоголя и пригласил к себе на вечер*. Дали слово. На вечере у Дмитриева собралось человек двадцать пять московских литераторов, артистов и любителей, в числе которых был и знаменитый Щепкин с двумя своими дочерьми. Гостеприимный хозяин и все просили Гоголя прочесть «Женитьбу». Гоголь сел и начал читать. По одну сторону Гоголя сидел Дмитриев, а по другую Щепкин. Читал Гоголь так превосходно, с такою неподражаемою интонацией, переливами голоса и мимикой, что слушатели приходили в восторг, не выдерживали и прерывали чтение различными восклицаниями. Кончил Гоголь и свистнул... Восторженный Щепкин сказал так: «Подобного комика не видал в жизни и не увижу!» Потом, обращаясь к дочерям, которые готовились поступить на сцену: «Вот для вас высокий образец художника, вот у кого учитесь!»...

А. П. Стороженко. Воспоминание*

Окончив курс ученья, возвращался я в родительский дом счастливейшим человеком, на том основании, что, покидая школьную скамью, считал себя на воле, независимым. Молодо-зелено. Я не понимал тогда, что независимость, как дружба, существует только на словах, но на деле человеку, кто бы он ни был, в каких бы благоприятных обстоятельствах ни находился, определено от колыбельки до могилки нести тяжелую ношу обязанностей, зависимости и подчиненности; и чем выше судьба вознесет его, тем обширнее поприще его деятельности, тем бремя тягче.

В день моего приезда отец мой подарил мне ружье и охотничную суму.

Я так обрадовался подарку, что, не поблагодарив отца, начал осматривать ружье. На замке тянулась надпись: «Козьма Макаров. Тула»; а когда я попробовал приложиться, то с трудом оторвал щеку от приклада, покрытого дурным, липким лаком. Я горел нетерпением отправиться на охоту, но отец засадил меня переписывать апелляцию по делу о подтопленной мельнице, и я едва окончил эту работу к полуночи.

На другой день, довольно рано, я собрался на охоту, как неожиданно вошел в мою комнату отец.

— Оденься поопрятней, — сказал он, — поедем на именины к соседу.

Я стоял как громом пораженный. Не смея возражать, я, однакож, старался придумать средства отделаться от поездки. Смущение так сильно выразилось на моем лице, что отец мой, как будто я высказал ему мои сокрушения, продолжал:

— Успеешь еще наохотиться. Одевайся же скорей: через полчаса я тебя жду.

Несколько минут стоял я, почесывая затылок, потом, с сокрушенным сердцем повесив ружье, принялся за свой туалет. Отец мой, предполагая определить меня в военную службу, во избежание излишних издержек, в последнее время не поновлял моего гардероба, и я был в большом затруднении исполнить волю отца, то есть одеться поопрятнее.

Вытащив из-под кровати чемодан, я со вниманием перебрал поношенную рухлядь. Насчет фрака нечего было беспокоиться — он был в единственном числе и еще не совершенно вышедший из моды: оливкового цвета, с синим бархатным воротником, длинным-предлинным; талия начиналась от лопаток, а узенькие фалды досягали до икор. Но что касалось до исподнего платья, тут нужно было призадуматься: суконные панталоны сильно были изношены, в коленах вытерлись, вытянулись; нанковые не успели вымыть, и выбор, по необходимости, пал на шалоновые, имевшие в своей молодости самый нежный розовый цвет; но от мытья они полиняли и так сели, что с трудом натягивались на мои дебелые ноги. Надевая их, я чувствовал невольный трепет; меня ужасала и преследовала мысль о непрочности швов — положение, согласитесь, крайне критическое!..

Дорогою отец объявил мне, что мы едем к Ивану Федоровичу Г....у; при этом он не поскупился на поучения вести себя скромно, менее говорить, а более слушать, и тому подобное. С трудом и опасностью перебравшись через несколько болотистых ручьев, мы въехали в большое местечко, населенное казаками и помещиками. Дом Ивана Федоровича, построенный на горе, окружен был со всех сторон громадными липами и кленом. Он состоял из нескольких пристроек, высоких, низеньких, с большими и маленькими окнами, без симметрии и малейшей претензии

на правильность архитектуры; крыша местами была гонтовая, тесовая и даже камышевая; но, несмотря на эту пестроту, дом имел что-то привлекательное, патриархальное, картинное.

Пройдя несколько маленьких комнаток, мы вошли в гостиную, большую, светлую комнату, наполненную гостями. Вдоль стены, между двумя печами в углах, на турецком диване помещались дамы, а по сторонам мужчины.

У самых дверей встретил нас хозяин, высокий, благообразный старик, лет семидесяти, еще крепкий и бодрый. После обыкновенных приветствий и пожеланий мы приступили, по обычаю, существовавшему в то время в Малороссии, к целованию ручек у знакомых и незнакомых дам, у всех подряд без изъятия. Я шел за отцом и, не разгибаясь, не смотря в лицо, шаркая, целовал всякие руки и ручки, мясистые, худые, пухленькие с розовыми пальчиками, которые при моем прикосновении дрожали, судорожно отдергиваясь, и это продолжалось до тех пор, пока я не ударился бедром об стол и головою об печь. После дам принялись целоваться с мужчинами, от беспрестанного мотания головой и поклонов я до такой степени одурел, что, отцеловавшись, с минуту еще бессознательно шаркал ногою и, в знак особенного уважения, прижимал картуз к груди.

Придя в себя, я обернулся, чтоб отыскать место, где бы сесть, и увидел юношу лет восемнадцати, в мундире нежинского лицея, с которым я еще не целовался. Мы дружески обнялись; во всем обществе нас только было двое одних лет и каждый из нас радовался, что судьба послала ему товарища. Кроме того, студент с первого взгляда пришелся мне по сердцу. Его лицо, хотя неправильное, но довольно красивое, имело ту могущественную прелесть, какую придает физиономии блестящий взор, одаренный лучом гения. Улыбка его была приветлива, но вместе выражала иронию и насмешку.

Сев возле него, я оглянулся на компанию. Несколько пар черных, жгучих глазок исподлобья глядели на нас, но всякий раз, когда взгляды наши встречались, девушки, потупляясь, краснели. То же делалось и с моим соседом: он сидел как на иголках, понурившись, краснел и хмурился.

— Боже мой! — прошептал он, тяжело вздыхая, — какая скука, тоска; сидим точно как в западне.

— Пойдемте в сад, — сказал я.

— Нельзя, скоро обед подадут. За обедом садитесь возле меня, вместе будет веселей.

Через несколько минут отворилась дверь в столовую, и гости чинно, по старшинству лет, потянулись к обеду. Приборов было много лишних, и мы, заняв места на хазовом конце стола, сидели, отделясь от других несколькими кувертами.

За обедом разговор зашел о персидской войне, и одна дама, около пятидесяти лет, тучная, сварливого вида, рассказывала о небывалых подвигах своего сына, часто повторяя: «Что б они делали без моего Васиньки?»

Сначала слушали ее снисходительно, но мера терпения переполнилась, и один из гостей заметил:

— Странно, Пульхерия Трофимовна, отчего ж о подвигах вашего сына ничего не пишут в газетах?..

— И награды ему никакой до сих пор не вышло? — подхватил другой, сильно заикаясь. — Вот, например, Григория Павлыча сынок отличился и получил Георгия; и Кондрата Иваныча — Владимира с бантом, и другие, которые...

— Как не получил! — вскричала Пульхерия Трофимовна. — Получил, ей-богу получил!

— Не читали, не читали! — послышалось с разных сторон. — Что ж он получил?

— Георгия на сабельку и Андрея в петличку, — отвечала утвердительно Пульхерия Трофимовна.

Раздался общий смех.

— Да этаких и орденов не существует, — возразил заика.

— Не существует! — запальчиво закричала Пульхерия Трофимовна. — Так, по-вашему, я выдумала, солгала? Вы сами лгун и отец ваш и мать лгали; за это-то бог покарал их сына, то есть вас, косноязычием!

— Ме... ме... ме...ня, — начал было заика.

— Ме... ме... ме... — протяжно повторила Пульхерия Трофимовна, раскрыв рот до ушей. — Да, вас, вас, лишил даже человеческой речи, *мекечете*, как баран: ме... ме!..

Заика, сконфуженный, разгневанный, хотел возражать, но от досады только шипел, свистал; лицо его подергивалось судорогами; Пульхерия Трофимовна что было силы ревела, как добрая корова: ме... мее... и не давала ему выговорить ни одного слова.

Во время этой перебранки все хохотали до слез. Сцена, сама по себе забавная, казалась для меня еще смешнее оттого, что сосед мой передразнивал то Пульхерию Трофимовну, то заику, добавлял к их речам свои слова очень кстати и строил гримасы. Хозяину, наконец, удалось прекратить ссору; все понемногу успокоились; один только я хохотал еще, как помешанный. Отец мой строго на меня поглядывал; но едва я начинал успокаиваться, сосед мой мигнет, скажет словцо — и я снова предавался истерическому смеху.

По окончании обеда отец подошел ко мне.

— Есть всему мера, — сказал он с неудовольствием, — в порядочном обществе так не хохочут. Что с тобою сделалось?

— Меня смешил студент, — отвечал я, принимая по возможности серьезный вид.

— Детские отговорки!

— Не говорите этого, — заметил старичок в военном сюртуке, — не поверите, какая спичка[81] этот *скубент*; вчера вечером мы животы надрывали, слушая, как он передразнивал почтенного Карла Иваныча, сахаровара Р….а.

— Кто он?

— Гоголь, сынок Марии Ивановны: не много путного обещает. Говорят, плохо учится и не уважает своих наставников.

Имя великого нашего поэта, громкое впоследствии, но тогда еще неизвестное, не произвело на меня никакого впечатления. В то время он уподоблялся ростку кедра ливанского, едва пробившегося сквозь почву, и никто не мог предвидеть, что со временем величаво вознесется он превыше всего, около него растущего, и своей вершиной досягнет до облака ходячего.

Кто-то дернул меня за фалдочку, оглянувшись, я увидел Гоголя.

— Пойдем в сад, — шепнул он и довольно скоро пошел в диванную; я последовал за ним, и, пройдя несколько комнат, мы вышли на террасу.

Перед нами открылась восхитительная картина: по крутому склону расстилался сад; сквозь купы столетних дубов, клена виднелась глубокая долина с левадами и белыми хатами поселян-казаков, живописно раскинутыми по берегу извилистой реки; в светлых ее водах отражалась гора, вершина которой покрывалась вековым лесом. Было не более трех часов пополудни. Июльское солнце высоко стояло над горизонтом. Трава и верхи деревьев, проникнутые палящими лучами, отливались изумрудом; но там, где ложилась тень, она казалась мрачною, а из

глубины леса глядела ночь. По прямому направлению лес от дома был не более полверсты, так что до нашего слуха долетали пронзительный свист иволги, воркованье горлиц и заунывное кукованье кукушки.

— Очаровательная панорама! — сказал Гоголь, любуясь местоположением. — А лес так и манит к себе: как там должно быть прохладно, привольно — не правда ли? — продолжал он, с одушевлением глядя на меня. — Знаете ли, что сделаем: мы теперь свободны часа на три; пойдемте в лес?

— Пожалуй, — отвечал я, — но как мы переберемся через реку?

— Вероятно, там отыщем челнок, а может быть, и мост есть.

Мы спустились с горы прямиком, перелезли через забор и очутились в узком и длинном переулке, вроде того, какой разделял усадьбы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.

— Направо или налево? — спросил я, видя, что Гоголь с нерешимостью посматривал то в ту, то в другую сторону переулка.

— Далеко придется обходить, — отвечал он.

— Что ж делать?

— Отправимся прямо.

— Через леваду?

— Да.

— Пожалуй.

На основании принятой от поляков пословицы: «шляхтич на своем огороде равен воеводе», в Малороссии считается преступлением нарушить спокойствие владельца; но я был очень сговорчив и первый полез через плетень. Внезапное наше появление произвело тревогу. Собаки лаяли, злобно кидаясь на нас, куры с криком и кудахтаньем разбежались, и мы не успели сделать двадцати шагов, как увидели высокую дебелую молодицу, с грудным ребенком на руках, который жевал пирог с вишнями и выпачкал себе лицо до ушей.

— Эй, вы, школяры! — закричала она. — Зачем? Что тут забыли? Убирайтесь, пока не досталось по шеям!

— Вот злючка! — сказал Гоголь и смело продолжал итти; я не отставал от него.

— Что ж, не слышите? — продолжала молодица, озлобляясь. — Оглохли? Вон, говорю, курохваты, а не то позову *чоловика* (мужа), так он вам ноги поперебивает, чтоб в другой раз через чужие плетни не лазили!

— Постой, — пробормотал Гоголь, — я тебя еще не так рассержу!

— Что вам нужно?.. Зачем пришли, ироды? — грозно спросила молодица, остановясь в нескольких от нас шагах.

— Нам сказали, — отвечал спокойно Гоголь, — что здесь живет молодица, у которой *дитина* похожа на поросенка.

— Что такое? — воскликнула молодица, с недоумением посматривая то на нас, то на свое детище.

— Да вот оно! — вскричал Гоголь, указывая на ребенка. — Какое сходство, настоящий поросенок!

— Удивительное, чистейший поросенок! — подхватил я, захохотав во все горло.

— Как! моя *дитина* похожа на поросенка! — заревела молодица, бледнея от злости. — Шибеники,[82] чтоб вы не дождали завтрашнего дня, сто болячек вам!.. Остапе, Остапе! — закричала она, как будто ее резали. — Скорей, Остапе!.. — и кинулась навстречу мужу, который не спеша подходил к нам с заступом в руках.

— Бей их заступом! — вопила молодица, указывая на нас. — Бей, говорю, шибеников! Знаешь ли, что они говорят?..

— Чего ты так раскудахталась? — спросил мужик, остановясь. — Я думал, что с тебя кожу сдирают.

— Послушай, Остапе, что эти богомерзкие школяры, ироды, выгадывают, — задыхаясь от злобы, говорила молодица, — рассказывают, что наша *дитина* похожа на поросенка!

— Что ж, может быть и правда, — отвечал мужик хладнокровно, — это тебе за то, что ты меня кабаном называешь.

Нет слов выразить бешенство молодицы. Она бранилась, плевалась, проклинала мужа, нас и с ругательствами, угрозами отправилась в хату. Не ожидая такой благополучной развязки, мы очень обрадовались, а Остап, понурившись, стоял, опершись на заступ.

— Что вам нужно, *панычи?* — спросил он, когда брань его жены затихла.

— Мы пробираемся на ту сторону, — сказал Гоголь, указывая на лес.

— Ступайте ж по этой дорожке; через хату вам было бы ближе, да теперь там не безопасно; жена моя не охотница до шуток и может вас поколотить.

Едва мы сделали несколько шагов, Остап остановил нас.

— Послушайте, панычи, если вы увидите мою жену, не трогайте ее, не дразните, теперь и без того мне будет с нею возни на целую неделю.

— Если мы ее увидим, — сказал Гоголь, улыбаясь, — то помиримся.

— Не докажете этого, нет; вы не знаете моей жинки: станете мириться — еще хуже разбесите!

Мы пошли по указанной дорожке.

— Сколько юмору, ума, такта! — сказал с одушевлением Гоголь. — Другой бы затеял драку, и бог знает, чем бы вся эта история кончилась, а он поступил как самый тонкий дипломат: все обратил в шутку — настоящий Безбородко!

Выйдя из левады, мы повернули налево и, подходя к хате Остапа, увидели жену его, стоявшую возле дверей. Ребенка держала она на левой руке, а правая вооружена была толстой палкой. Лицо ее было бледно, а из-под нахмуренных бровей злобно сверкали черные глаза. Гоголь повернулся к ней.

— Не трогайте ее, — сказал я, — она еще вытянет вас палкой.

— Не бойтесь, все кончится благополучно.

— Не подходи! — закричала молодица, замахиваясь палкой. — Ей-богу, ударю!

— Бессовестная, бога ты не боишься, — говорил Гоголь, подходя к ней и не обращая внимания на угрозы. — Ну, скажи на милость, как тебе не грех думать, что твоя *дитина* похожа на поросенка?

— Зачем же ты это говорил?

— Дура! шуток не понимаешь, а еще хотела, чтоб Остап заступом проломал нам головы; ведь ты знаешь, кто это такой? — шепнул Гоголь, показывая на меня. — Это из суда чиновник, приехал взыскивать недоимку.

— Зачем же вы, как *злодии* (воры), лазите по плетням да собак дразните!

— Ну, полно же, не к лицу такой красивой молодице сердиться. — Славный у тебя *хлопчик*, знатный из него выйдет писарчук: когда вырастет, громада выберет его в головы.

Гоголь погладил по голове ребенка, и я подошел и также поласкал дитя.

— Не выберут, — отвечала молодица смягчаясь, — мы бедны, а в головы выбирают только богатых.

— Ну так в москали возьмут.

— Боже сохрани!

— Эка важность! в унтера произведут, придет до тебя в отпуск в крестах, таким молодцом, что все село будет снимать перед ним шапки, а как пойдет по улице, да брязнет шпорами, сабелькой, так дивчата будут глядеть на него да облизываться. «Чей это, — спросят, — служивый?» Как тебя зовут?..

— Мартой.

— Мартин, скажут, да и молодец же какой, точно намалеванный! А потом не придет уже, а приедет к тебе тройкой в кибитке, офицером и всякого богатства с собой навезет и гостинцев.

— Что это вы выгадываете — можно ли?

— А почему ж нет? Мало ли теперь из унтеров выслуживаются в офицеры!

— Да, конечно; вот Оксанин пятый год уже офицером и Петров также, чуть ли городничим не поставили его к Лохвицу.

— Вот и твоего также поставят городничим в Ромен. Тогда-то заживешь! в каком будешь почете, уважении, оденут тебя, как пани.

— Полно вам выгадывать неподобное! — вскричала молодица, радостно захохотав. — Можно ли человеку дожить до такого счастья?

Тут Гоголь с необыкновенной увлекательностью начал описывать привольное ее житье в Ромнах: как квартальные будут перед нею расталкивать народ, когда она войдет в церковь, как купцы будут угощать ее и подносить варенуху на серебряном подносе, низко кланяясь и величая сударыней матушкой; как во время ярмарки она будет ходить по лавкам и брать на выбор, как из собственного сундука, разные товары бесплатно; как сын ее женится на богатой панночке и тому подобное. Молодица слушала Гоголя с напряженным вниманием, ловила каждое его слово. Глаза ее сияли радостно; щеки покрылись ярким румянцем.

— Бедный мой Аверко, — восклицала она, нежно прижимая дитя к груди, — смеются над нами, смеются!

Но Аверко не льнул к груди матери, а пристально смотрел на Гоголя, как будто понимал и также интересовался его рассказом, и когда он кончил, то Аверко, как бы в награду, подал ему свой недоеденный пирог, сказав отрывисто: «На!»

— Видишь ли, какой разумный и добрый, — сказал Гоголь, — вот что значит казак: еще на руках, а уже разумнее своей матери; а ты еще умничаешь, да хочешь верховодить над мужем, и сердилась на него за то, что он нам костей не переломал.

— Простите, паночку, — отвечала молодица, низко кланяясь, — я не знала, что вы такие добрые панычи. Сказано: у бабы волос долгий, а ум короткий. Конечно, жена всегда глупее чоловика и должна слушать и повиноваться ему — так и в святом писании написано.

Остап показался из-за угла хаты и прервал речь Марты.

— Третий год женат, — сказал он, с удивлением посматривая на Гоголя, — и впервые пришлось услышать от жены разумное слово. Нет, панычу, воля ваша, а вы что-то не простое, я шел сюда и боялся, чтоб она вам носов не откусила, аж смотрю, вы ее в *ягничку* (овечку) обернули.

— Послушай, Остапе, — ласково отозвалась Марта, — послушай, что паныч рассказывает!

Но Остап, не слушая жены, с удивлением продолжал смотреть на Гоголя.

— Не простое, ей-ей не простое, — бормотал он, — просто *чаровник* (чародей)! Смотри, какая добрая и разумная стала, и святое писание знает, как будто грамотная.

Я также разделял мнение Остапа; искусство, с которым Гоголь укротил взбешенную женщину, казалось мне невероятным; в его юные лета еще невозможно было проникать в сердце человеческое до того, чтоб играть им как мячиком; но Гоголь, бессознательно, силою своего гения, постигал уж тайные изгибы сердца.

— Расскажите же, паночку, — просила Марта Гоголя умоляющим голосом, — Остапе, послушай!

— После расскажу, — отвечал Гоголь, — а теперь научите, как нам переправиться через реку.

— Я попрошу у Кондрата челнок, — сказала Марта и, передав дитя на руки мужа, побежала в соседнюю хату.

Мы не успели дойти до места, где была лодка, как Марта догнала нас с веслом в руке.

— Удивляюсь вам, — сказал я Гоголю, — когда вы успели так хорошо изучить характер поселян.

— Ах! если б в самом деле это было так, — отвечал он с одушевлением, — тогда всю жизнь свою я посвятил бы любезной моей родине, описывая ее природу, юмор ее жителей, с их обычаями, поверьями, изустными преданиями и легендами. Согласитесь: источник обильный, неисчерпаемый, рудник богатый и еще непочатый.

Лицо Гоголя горело ярким румянцем; взгляд сверкал вдохновенно; веселая, насмешливая улыбка исчезла, и физиономия его приняла выражение серьезное, степенное.

Достигнув противоположного берега, мы вытащили челнок на берег и начали подыматься на крутую гору. Палящий жар был невыносим, но, по мере приближения к лесу, нас освежал прохладный ароматический ветерок; а когда мы достигли опушки, нас обдало даже ощутительным холодом.

В нескольких от нас шагах прорезывалась в лес дорожка, и где она пролегала, виднелся темный, как ночь, фон, окаймленный ветвями.

— Что б вы изобразили на этом фоне? — спросил Гоголь.

— Нимфу, — отвечал я, недолго думая.

— А я бы лешего, или запорожского казака, в красном жупане.

Сказав это, он повалился на мягкую траву, а я, вынув из кармана носовой платок, разостлал его, чтоб не позеленить травою моих панталон. Гоголь громко захохотал, заметив мою предосторожность.

— Чего вы смеетесь? — спросил я.

— Знаете ли, когда вы вошли в гостиную, ваши плюндры произвели на меня странное впечатление.

— А какое именно?

— Мне показалось, что вы были без них!

— Не может быть! — вскричал я, осматривая свои панталоны.

— Серьезно: телесного цвета, в обтяжку... Уверен, что не одного меня поразили они, а и барышень также.

— Какой вздор!

— Да; когда вы вошли, они потупились и покраснели.

Последнее замечание окончательно меня смутило. Еще раз я взглянул на панталоны и не сомневался более в справедливости слов Гоголя. Я был в отчаянии, а он заливался громким смехом. Натешившись моей простотой, он, наконец, сжалился надо мною.

— Успокойтесь, успокойтесь, — сказал он, принимая серьезный вид, — я шутил, право, шутил.

Но уверения Гоголя не поколебали собственного моего убеждения, и замечание его, сказанное, может быть, и в шутку, преследовало меня, как нечистая совесть, до самого отъезда.

— Ударьте лихом об землю, — продолжал он, ложась на спину, — раскиньтесь вот так, как я, поглядите на это синее небо, то всякое сокрушение спадет с сердца и душа просветлеет.

Я последовал его совету; и действительно, едва протянулся и взглянул на небо — раздражение мое притупилось и мне захотелось спать.

— Ну что? — спросил Гоголь после минутного молчания, — что вы теперь чувствуете?

— Кажется, лучше, — отвечал я, закрывая глаза.

— В этом положении фантазия как-то сильнее разыгрывается, в уме зарождаются мысли высокие, идеи светлые — не правда ли?

— Да, сильно клонит ко сну, — пробормотал я, погружаясь в дремоту.

— Не прогневайтесь, я вам не дам спать; чего доброго, оба заснем и проспим до вечера, а между тем возьмут лодку: что мы тогда будем делать? Кричать, как Пульхерия Трофимовна: «ме... ме...»

Он с неимоверным искусством представил в лицах заобеденную сцену и так меня рассмешил, что сон мой совершенно отлетел.

— Долго ли вам еще оставаться в лицее? — спросил я.

— Еще год! — со вздохом отвечал Гоголь. — Еще год!

— А потом?

— Потом в Петербург, в Петербург! Туда стремится душа моя!..

— Что вы, в гражданскую или военную думаете вступить?

— Что вам сказать? В гражданскую у меня нет охоты, а в военную — храбрости.

— Куда-нибудь да надо же; нельзя не служить.

— Конечно, но...

— Что?

Гоголь молчал. Через несколько минут я сделал ему вопрос, ответа не было: он заснул. Мне жаль было его будить, и я, следуя данному совету, устремив взор в голубое небо, задумался. Мысли мои развернулись, воображение указало цветущую перспективу моего будущего; ощущения неиспытанные посетили мое сердце, осветили душу. В первый раз я так замечтался: как мне было весело, отрадно, фантазия моя окрылилась и увлекла меня в неведомый мир. Чего не перечувствовал я в те минуты и чего не посулило мне мое будущее!.. Приводя теперь на память минувшие грезы, невольно вспоминаю мое бесцветное прошедшее,

горестное, безотрадное. При первом вступлении на поприще службы у меня, как говорится, крылья опустились: не до летанья было. Мне объявили, что я даже стоять не умею и на восемнадцатом году от рождения начали учить стойке. Выучив стоять, как подобает человеку, на двух ногах, стали учить стоять, как болотную птицу, на одной; а там повели гусиным шагом: сначала в три приема, потом в два и наконец в один. Таким алюром далеко не уйдешь...

Тень от деревьев протянулась; зной спадал; было около шести часов. Я разбудил Гоголя.

— Славно разделался с храповицким, — сказал он, приподымаясь и протирая глаза. — А вы что делали? тоже спали?

— Нет, — отвечал я, — по вашему совету я лежал на спине и фантазировал.

— Ну что ж? понравилось?

— Очень!..

— Примите к сведению и на будущее время, глядите на небо, чтоб сноснее было жить на земле.

Переправясь обратно через реку, мы пошли к известной хате, чтобы по той же дороге возвратиться к Ивану Федоровичу. На завалине сидел Остап понурясь.

— За что вы меня так обидели, — спросил он Гоголя очень серьезно, — что я вам сделал?

— Чем же я тебя обидел? — сказал Гоголь с недоумением, посматривая на Остапа.

— Чем! *жинку* мою нарядили как пани, подчиваете варенухой на серебряном подносе, величаете сударыней матушкой, а мне — батьку городничего, хотя бы спасибо сказали, чарку горелки поднесли!

Остап разразился громким смехом. Марта вышла из хаты без Аверки и, усмехаясь, низко поклонилась.

— О неблагодарный! — трагически произнес Гоголь, указывая на Марту. — Не я ли обратил волчицу в ягницу?!

— Правда, правда, за это спасибо, ей-богу спасибо!.. готов хату прозакладывать, что сегодня во всем селе нет молодицы разумнее моей *жинки*. А где ж *городничий?* — прибавил Остап, взглянув на жену.

— Уклался спать, — отвечала Марта, засмеявшись.

— Вот какую штуку вы нам выкинули! — продолжал Остап. — Не знаем, что будет с нашего Аверки, а уж городничим наверное останется до смерти.

— А кто знает! может быть… — начала было Марта, но Остап закрыл ей рукою рот.

— Молчи, дура! — сказал он. — Паныч шутит, а ты, глупая баба, уж и зазналась! Молись богу, чтоб был честным человеком — для нас и того довольно.

Остап пустился в рассуждения, острил над женой и рассказывал смешные анекдоты, как жены обманывают своих мужей. Гоголь, со вниманием слушавший Остапа, хохотал, бил в ладони, топал ногами; иногда вынимал из кармана карандаш и бумагу и записывал некоторые слова и поговорки. Я не раз напоминал ему, что пора итти, но Гоголь не мог оторваться от Остапа.

— Помилуйте, — говорил он, — да это живая книга, клад; я готов его слушать трои сутки сряду, не спать, не есть!

Наконец я почти насильно увлек его. Мы пошли по прежней дороге, через леваду, и добродушные хозяева провожали нас до самого перелаза. Марта принялась было просить у нас опять прощения, но Остап ее остановил.

— Перестань, — сказал он, — они тебя дразнили как *цуцика*, им того и хотелось, чтобы ты лаяла на них как собака.

Подымаясь на гору, в саду Ивана Федоровича Гоголь не переставал хвалить Остапа.

— Какая натура! — говорил он. — Какой рассказ! точно вынет человека из-под полы, поставит его перед вами и заставит говорить. Кажется, я не слышал, а видел наяву то, о чем он рассказывал.

В саду играли в горелки; барышни с криком и визгом бегали по дорожкам. Гоголь, более предусмотрительный, повернул влево к флигелю, а я, думая пробраться в дом, попал, как кур во щи: едва меня завидели, как в ту ж минуту поставили в пары и заставили бегать, что, по тесноте моих панталон, крайне было для меня неудобно и даже опасно.

Отец мой заигрался в бостон, и как ночь была темная, а дорога дурная, то по просьбе гостеприимного хозяина он остался переночевать.

После чая мы перешли в комнаты и продолжали играть в фанты. В этот раз Гоголь не мог отделаться и также участвовал в игре. Он был очень неразвязен, неловок, краснел, конфузился, по целому часу отыскивал

колечко, не мог поймать мышки и, наконец, выведенный из терпения неудачами и насмешками, отказался от игры прежде ее окончания.

За ужином мы опять сели рядом с Гоголем. Я был очень огорчен, что отец мой остался ночевать: предположения мои насчет охоты не осуществились.

— О чем вы так задумались? — спросил меня Гоголь. — Вы, кажется, не в своей тарелке.

Я объяснил причину моих сокрушений.

— А вы большой охотник?

— Страстный!

— Часто охотитесь?

— Если удастся, завтрашний день в первый раз буду охотиться.

— Вот как! Так, может быть, вы вовсе не охотник, и если дадите сорок промахов, то и разочаруетесь.

— Дам сорок тысяч промахов, но добьюсь до того, что из сорока выстрелов сряду не сделаю ни одного промаха.

— Ну, это хорошо; это по-нашему, по-казацки!

Для ночлега мне отвели комнату в доме, а Гоголь, приехавший днем прежде, расположился во флигеле. На другой день, часу в восьмом, отец мой приказал запрягать лошадей. Я пошел во флигель, чтоб попрощаться с Гоголем, но мне сказали, что он в саду. Я скоро его нашел: он сидел на дерновой скамье и, как мне издалека показалось, что-то рисовал, по временам подымая голову кверху, и так был углублен в свое занятие, что не заметил моего приближения.

— Здравствуйте! — сказал я, ударив его по плечу. — Что вы делаете?

— Здравствуйте, — с замешательством произнес Гоголь поспешно спрятав карандаш и бумагу в карман. — Я... писал.

— Полноте отговариваться! я видел издалека, что вы рисовали. Сделайте одолжение, покажите, я ведь тоже рисую.

— Уверяю вас, я не рисовал, а писал.

— Что вы писали?

— Вздор, пустяки, так, от нечего делать писал — стишки.

Гоголь потупился и покраснел.

— Стишки! Прочтите: послушаю.

— Еще не кончил, только начал.

— Нужды нет, прочтите что написали.

Настойчивость моя пересилила застенчивость Гоголя; он нехотя вынул из кармана небольшую тетрадку, привел ее в порядок и начал читать.

Я сел возле него с намерением слушать, но оглянулся и увидел почти над головой огромные сливы, прозрачные, как янтарь, висевшие на верхушке дерева. Я забыл о стихах: все мое внимание поглотили сливы. Пока я придумывал средство, как до них добраться, Гоголь окончил чтение и вопросительно смотрел на меня.

— Экие сливы! — воскликнул я, указывая на дерево пальцем.

Самолюбие Гоголя оскорбилось; на лице его выразилось негодование.

— Зачем же вы заставляли меня читать? — сказал он, нахмурясь. — Лучше бы попросили слив, так я вам натрусил бы их полную шапку.

Я спохватился, и только хотел извиниться, как Гоголь так сильно встряхнул дерево, что сливы градом посыпались на меня. Я кинулся подбирать их, и Гоголь также.

— Вы совершенно правы, — сказал он, съев несколько слив, — они несравненно лучше моих стихов... Ух, какие сладкие, сочные!

— Охота вам писать стихи! Что вы, хотите тягаться с Пушкиным? Пишите лучше прозой.

— Пишут не потому, чтоб тягаться с кем бы то ни было, но потому, что душа жаждет поделиться ощущениями. Впрочем, не робей, воробей, дерись с орлом!

Я хотел было отвечать также пословицей: дай бог нашему теляти волка поймати; но Гоголь продолжал:

— Да! не робей, воробей, дерись с орлом.

Взгляд его оживился, грудь от внутреннего волнения высоко поднималась, и я безотчетно повторил слова его, сказанные мне накануне: «Ну, это хорошо, это по-нашему! по-казацки».

Человек прибежал с известием, что отец меня ожидает. Я дружески обнял Гоголя, и мы расстались надолго.

Через несколько лет после этого свидания показались в свет сочинения Гоголя.

С каждым годом талант его более и более совершенствовался, и всякий раз, когда мне случалось читать его творения, я вспоминал одушевленный взгляд Гоголя, и мне слышались последние его слова: «Не робей, воробей, дерись с орлом!»

Н. П. Мундт. Попытка Гоголя*

Прочитав почти все, что было писано о Гоголе, я ни в одной биографической о нем статье не нашел рассказа об одном довольно замечательном обстоятельстве в его жизни. Как самая малейшая подробность о такой знаменитой личности, какою был Гоголь, должна быть интересна для каждого, то я решаюсь передать о нем известное до сих пор только мне и весьма немногим.[83]

В одно утро 1830 или 1831 года, хорошо не помню, мне доложили, что кто-то желает меня видеть*. В то время я занимал должность секретаря при директоре Императорских театров, князе Сергее Сергеевиче Гагарине, который жил тогда на Английской набережной, в доме бывшем Бетлинга, а теперь, кажется, Риттера, где помещалась и канцелярия директора.

Приказав дежурному капельдинеру просить пришедшего, я увидел молодого человека, весьма непривлекательной наружности, с подвязанною черным платком щекою и в костюме, хотя приличном, но далеко не изящном.

Молодой человек поклонился как-то неловко и довольно робко сказал мне, что желает быть представленным директору театров.

— Позвольте узнать вашу фамилию? — спросил я.

— Гоголь-Яновский.

— Вы имеете к князю какую-нибудь просьбу?

— Да, я желаю поступить на театр.

В то время имя Гоголя было совершенно неизвестно, и я не мог подозревать, что предо мною стоял, в смиренной роли просителя, будущий творец «Старосветских помещиков», «Тараса Бульбы» и «Мертвых душ». Я попросил его сесть и обождать.

Было довольно рано; князь еще не одевался. Гоголь сел у окна, облокотился на него рукою и стал смотреть на Неву. Он часто морщился, прикладывал другую руку к щеке, и мне казалось, что у него болят зубы.

— У вас, кажется, болит зуб? — спросил я. — Не хотите ли одеколону?

— Благодарю, это пройдет и так!

Помолчав с полчаса, он спросил:

— А скоро ли могу я видеть князя?

— Полагаю, что скоро. Он еще не одевался.

Гоголь замолчал и опять глядел на Неву, барабаня пальцами по стеклу.

Вышел чиновник Крутицкий, и я попросил его узнать, оделся ли князь. Через минуту он вернулся и сказал, что князь уже в кабинете.

Доложив директору, что какой-то Гоголь-Яновский пришел просить об определении его к театру, я ввел Гоголя в кабинет к князю.

— Что вам угодно? — спросил князь.

Надобно заметить, что князь Гагарин, человек в высшей степени добрый, благородный и приветливый, имел наружность довольно строгую и даже суровую, и тому, кто не знал его близко, внушал всегда какую-то робость. Вероятно, такое же впечатление произвел он и на Гоголя, который, вертя в руках шляпу, запинаясь отвечал:

— Я желал бы поступить на сцену и пришел просить ваше сиятельство о принятии меня в число актеров русской труппы.

— Ваша фамилия?

— Гоголь-Яновский.

— Из какого звания?

— Дворянин.

— Что же побуждает вас итти на сцену? Как дворянин, вы могли бы служить.

Между тем Гоголь имел время оправиться и отвечал уже не с прежнею робостью:

— Я человек небогатый, служба вряд ли может обеспечить меня; мне кажется, что я не гожусь для нее; к тому ж я чувствую призвание к театру.

— Играли ли вы когда-нибудь?

— Никогда, ваше сиятельство[*].

— Не думайте, чтоб актером мог быть всякий: для этого нужен талант.

— Может быть, во мне и есть какой-нибудь талант.

— Может быть! На какое же амплуа думаете вы поступить?

— Я сам этого теперь еще хорошо не знаю; но полагал бы на драматические роли.

Князь окинул его глазами и с усмешкой сказал:

— Ну, господин Гоголь, я думаю, что для вас была бы приличнее комедия; впрочем, это ваше дело.

Потом, обратясь ко мне, прибавил:

— Дайте господину Гоголю записку к Александру Ивановичу, чтоб он испытал его и доложил мне.

Князь поклонился, и мы вышли.

В то время инспектором русской труппы был известный любитель театра Александр Иванович Храповицкий. Он был человек очень добрый, но принадлежал к старой, классической школе. Он сам часто играл в домашних спектаклях, вместе с знаменитой Е. С. Семеновой (княгиней Гагариной), считал себя великим знатоком театра и был убежден, что для истинного трагического актера необходимы: протяжное чтение стихов, декламация, дикие завывания и неизбежные всхлипывания, или, как тогда выражались, *драматическая икота*.

К этому-то великому знатоку драматического искусства адресовал я бедного Гоголя. Храповицкий назначил день для испытания, кажется в Большом театре, утром, в репетиционное время. Там заставил он читать Гоголя монологи из «Дмитрия Донского», «Гофолии и Андромахи»*, перевода графа Хвостова.

Я не присутствовал при этом испытании, но потом слышал, помнится мне, от М. А. Азаревичевой, И. П. Борецкого и режиссера Боченкова, а также, кажется, и от П. А. Каратыгина, что Гоголь читал просто, без всякой декламации; но как чтение это происходило в присутствии некоторых артистов, и Гоголь, не зная напамять ни одной тирады, читал по тетрадке, то сильно конфузился и, действительно, читал робко, вяло и с беспрестанными остановками.

Разумеется, такое чтение не понравилось, и не могло нравиться, Храповицкому, истому поклоннику всякого рода завываний и драматической икоты. Он, как мне сказывали, морщился, делал нетерпеливые жесты и, не дав Гоголю кончить монолог Ореста из «Андромахи», с которым Гоголь никак не мог сладить, вероятно потому, что не постигал всей прелести стихов графа Хвостова, предложил ему прочитать сцену из комедии «Школа стариков»*; но и тут остался совершенно недоволен.

Результатом этого испытания было то, что Храповицкий запискою донес князю Гагарину, «что присланный на испытание Гоголь-Яновский

оказался совершенно неспособным не только к трагедии или драме, но даже к комедии. Что он, не имея никакого понятия о декламации, даже и по тетради читал очень плохо и нетвердо, что фигура его совершенно неприлична для сцены и в особенности для трагедии, что он не признает в нем решительно никаких способностей для театра и что, если его сиятельству угодно будет оказать Гоголю милость принятием его на службу к театру, то его можно было бы употребить разве только *на выход*». (Под этим выражением на театральном языке означались люди, которым поручалось на сцене выносить письма, подавать стулья и составлять толпу гостей, но которым никогда не позволялось разевать рта.)[84]

Гоголь, вероятно, сам чувствовал неуспех своего испытания и не являлся за ответом; тем дело и кончилось.

Через несколько времени потом И. И. Сосницкий, которому Гоголь читал своего «Ревизора», с восторгом отзывался об этой пьесе. Храповицкий, услыхав это, спросил:

— Какой это Гоголь? Уж не тот ли, который хотел быть актером? Хороша же должна быть пьеса! Да он просто дурень и ни на что порядочное не годится.

Каково же было удивление бедного Александра Ивановича, когда «Ревизор», поставленный вскоре потом на сцену, возбудил такой восторг и когда в авторе он узнал того самого Гоголя, которого забраковал и прочил разве только на выход! Потом я часто подтрунивал над Александром Ивановичем.

— Да, да... я точно ошибся, что он ни к чему неспособен; но утверждаю, что он все-таки был бы скверный актер... Да и в «Ревизоре» есть гадости, например, где говорится о монументах и о поднятии рубашонки... ну, на что это похоже, сами посудите![*]

Впоследствии я встречался иногда с Гоголем у князя В. Ф. Одоевского, на его субботних вечерах. Гоголь был тогда уже знаменит, пользовался дружбой Жуковского и других известных писателей. Он или действительно не узнал меня, или делал вид, что не узнает. По крайней мере мне казалось, что каждый раз, когда взоры наши встречались, он отводил глаза в другую сторону, как будто конфузясь, и никогда не заводил со мною разговора, хотя мы и были представлены друг другу князем Одоевским. Впрочем, я не имел никакого права на его внимание. Он был, действительно, великий талант, если еще не более, а я — смиренный литературный труженик, работавший хотя много и усердно, но незаметно и безыменно, в «Отечественных записках», «Энциклопедическом лексиконе» и некоторых других журналах. Сознавая, как-то инстинктивно, что Гоголю не хотелось, чтоб намерение его и попытка сделаться актером были известны, я при жизни его

никогда и никому не говорил об этом. Не знаю, делаю ли и теперь хорошо, решаясь напечатать об этом случае в его жизни, о котором он, может быть, сам желал забыть*.

М. Н. Лонгинов. Воспоминание о Гоголе*

...В первый раз увидел я Гоголя в начале 1831 года. Два старшие мои брата и я поступили в число учеников его. Это было в то же время, когда он сделался домашним учителем и в доме П. И. Балабина, и, сколько помню, несколько раньше, чем знакомство его с домом А. В. Васильчикова*. Гоголь был рекомендован моим родителям покойным В. А. Жуковским и П. А. Плетневым, которые, по дружбе своей к ним, всегда принимали живое участие в деле нашего воспитания и образования.

В то время, о котором я говорю, Гоголь действительно был очень похож на портрет, изображенный автором «Опыта биографии»*. Первое впечатление, произведенное им на нас, мальчиков от девяти до тринадцати лет, было довольно выгодно, потому что в добродушной физиономии нового нашего учителя, не лишенной, впрочем, какой-то насмешливости, не нашли мы и тени педантизма, угрюмости и взыскательности, которые считаются часто принадлежностию звания наставника. Не могу скрыть, что, с другой стороны, одно чувство приличия, может быть, удержало нас от порыва свойственной нашему возрасту смешливости, которую должна была возбудить в нас наружность Гоголя. Небольшой рост, худой и искривленный нос, кривые ноги, хохолок волосов на голове, не отличавшейся вообще изяществом прически, отрывистая речь, беспрестанно прерываемая легким носовым звуком, подергивающим лицо, — все это прежде всего бросалось в глаза. Прибавьте к этому костюм, составленный из резких противоположностей щегольства и неряшества, — вот каков был Гоголь в молодости.

Двойная фамилия учителя Гоголь-Яновский, как обыкновенно бывает в подобных случаях, затруднила нас вначале; почему-то нам казалось сподручнее называть его г. Яновским, а не г. Гоголем; но он сильно протестовал против этого с первого раза.

— Зачем называете вы меня Яновским? — сказал он. — Моя фамилия Гоголь, а Яновский только так, прибавка; ее поляки выдумали*.

Уроки начались немедленно и происходили более по вечерам. Несмотря на то, что такие необыкновенные часы могли бы произвести неудовольствие в мальчиках, привыкших, как мы, учиться только до обеда, классы Гоголя так нас веселили, что мы не роптали на эти вечерние уроки. Сначала предполагалось, что он будет преподавать нам русский язык. Немало удивились мы, когда в первый же урок Гоголь начал толковать нам о трех царствах природы и разных предметах,

касающихся естественной истории. На второй урок он заговорил о географических делениях земного шара, о системах гор, рек и проч. На третий — речь зашла о введении во всеобщую историю. Тогда покойный старший брат мой решился спросить у Гоголя: «Когда же начнем мы, Николай Васильевич, уроки русского языка?» Гоголь усмехнулся своею сардоническою усмешкою и ответил: «На что вам это, господа? В русском языке главное дело — уметь ставить *ѣ* и *е*, а это вы и так знаете, как видно из ваших тетрадей. Просматривая их, я найду иногда случай заметить вам кое-что. Выучить писать гладко и увлекательно не может никто; эта способность дается природой, а не ученьем». После этого классы продолжались на прежнем основании и в той же последовательности, то есть один посвящался естественной истории, другой — географии, третий — всеобщей истории.

Я сказал уже, что уроки Гоголя нам очень нравились. Это немудрено: они так мало походили на другие классы; в них не боялись мы ненужной взыскательности со стороны учителя, слышали от него много нового, для нас любопытного, хотя часто и не очень идущего к делу. Кроме того Гоголь при всяком случае рассказывал множество анекдотов, причем простодушно хохотал вместе с нами. Новаторство было одним из отличительных признаков его характера. Когда кто-нибудь из нас употреблял какое-нибудь выражение, уже сделавшееся давно стереотипным, он быстро останавливал речь и говорил, усмехаясь: «Кто это научил вас говорить так? Это неправильно; надобно сказать так-то». Помню, что однажды я назвал Бальтийское море. Он тотчас же перебил меня: «Кто это научил вас говорить: Бальтийское море?» Я удивился вопросу. Он усмехнулся и сказал: «Надобно говорить: *Бальтическое* море[*]; называют его именем Бальтийского — невежды, и вы их не слушайте». Но какой тон добродушия слышался во всех его замечаниях! Какою неистощимою веселостию и оригинальностию исполнены были его рассказы о древней истории! Не могу вспомнить без улыбки анекдоты его о войнах Амазиса, о происхождении гражданских обществ и проч.

Свидетельство многих опытных людей доказывает, что Гоголь не был сотворен ни профессором, ни педагогом. Кажется, это не подлежит сомнению. Конечно, блестящий талант его мог облекать роскошными красками какие-либо исторические материалы и создать из них исполненную интереса лекцию, подобную той, о которой говорится в «Опыте его биографии». Но от такой попытки, доступной людям, уже знакомым с предметом и ищущим только рассмотрения его лектором с новой стороны, до возможности преподавать целый ученый курс — так же далеко, как и до уменья элементарным образом передавать ученикам какие-либо сведения. В начале тридцатых годов Гоголь занимался сочинением синхронистических таблиц для преподавания истории по новой методе и, кажется, содействовал В. А. Жуковскому в составлении

новой системы обучения этой науке, основания которой были изданы в свет впоследствии. Таблицы свои приносил Гоголь и к нам, но употреблял их только в виде опыта.

Гоголь скоро сделался в нашем доме очень близким человеком. В дни уроков своих он часто у нас обедал и выбирал обыкновенно за столом место поближе к нам, детям, потешаясь и нашею болтовней и сам предаваясь своей веселости. Рассказы его бывали уморительны; как теперь помню комизм, с которым он передавал, например, городские слухи и толки о танцующих стульях в каком-то доме Конюшенной улицы, бывшие тогда во всем разгаре. Кажется, этот анекдот особенно забавлял его, потому что несколько лет спустя вспоминал он о нем в своей повести «Нос»*. (См. Соч. Гоголя, т. III, стр. 124.) Никогда не забуду того нетерпения, с которым ожидали мы появления второй части его «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Любопытство наше так было возбуждено первым томом этих несравненных рассказов! Он иногда читал их сам, принося матушке экземпляр вновь вышедшей своей книги. Это бывал настоящий праздник. Заметим здесь, что Гоголь, так скоро и легко сделавшийся коротким знакомым матушки, которой говорил часто о своих литературных занятиях, надеждах и проч., никак не мог победить какой-то робости в отношении к моему покойному отцу. Причиною этому должно полагать то, что он никак не мог отделить отношений своих как доброго знакомого от мысли о подчиненности: отец мой был начальником его по Патриотическому институту, куда Гоголь определен был учителем*. Черта довольно оригинальная, потому что все знавшие покойного моего отца могут засвидетельствовать, что он с своей стороны никогда не подавал подчиненным повода не только робеть перед ним, но и всячески заставлял, вне служебных отношений, забывать, что он начальник. Но такова уже была странность Гоголя. При отце он, например, ни слова почти не говорил о литературе, хотя предмет этот, как известно, всегда занимал Гоголя.

Если не ошибаюсь, уроки Гоголя продолжались года полтора*. После этого Гоголь пропадал месяца два, и, сколько могу припомнить, в это время было ему передано от матушки удивление об его отсутствии и объяснено, что нам без учителя нельзя долее оставаться. Так как он и после этого не явился, то место его занял П. П. Максимович. Вдруг однажды Гоголь является к обеду. Дело ему немедленно объяснилось; но это нисколько не переменило отношений его к нашему дому. Доказательством тому служит то, что уже в 1835 году, когда я был в Царскосельском лицее, он приносил матушке экземпляры вышедших тогда сочинений своих: «Арабески» и «Миргород».

С поступления в лицей я несколько лет не видал Гоголя. Помню, что слышал от братьев, бывших в здешнем университете, о том, что он читает там лекции, что его чтение слушали Жуковский и Пушкин*.

Когда сыгран был в начале 1836 года «Ревизор»*, все мы в лицее нетерпеливее обыкновенного ожидали праздников, чтобы видеть эту превосходную комедию; это было тем труднее, что в Петербург отпускали нас только на святки, на четыре последние дня масленицы и на пасху. Вскоре после представления «Ревизора» Гоголь уехал за границу.

Весною 1842 года я уже оканчивал курс в Петербургском университете, в который перешел из лицея. В один теплый солнечный день веселый кружок молодежи (в том числе и я) обедал у известного в то время ресторатора Сен-Жоржа. После обеда общество наше продолжало пировать в саду. Туда перешли из комнат и другие обедавшие. Тут-то встретился я с небольшого роста человеком, причесанным à la moujik, в усах и эспаньолетке, и с трудом узнал прежнего своего учителя. Действительно, это был Гоголь, очень переменившийся лицом и похожий на тот портрет его, который помещен при альманахе Бецкого: «Молодик, 1844 года»*. Гоголь только что приехал в Петербург, и в это время вышли в свет «Мертвые души»*. Я подошел к Гоголю, который находился у Сен-Жоржа в обществе нескольких своих приятелей, в числе которых был князь П. А. Вяземский. Он обрадовался, когда я назвал себя. После расспросов о моих домашних он в свою очередь должен был отвечать на разные мои вопросы, которые особенно относились до второй части «Мертвых душ». Восторги мои по случаю первой части, повидимому, доставили ему удовольствие. Он говорил, что осенью надеется напечатать следующий том. Нельзя было не заметить перемены в его характере: беззаботная веселость юноши в десять лет нашей разлуки частию заменилась в нем большею зрелостью мыслей и расположение духа сделалось серьезнее. Через несколько дней после этой встречи я уехал из Петербурга и не видел больше Гоголя; это было последнее наше свидание. Когда он приезжал в Петербург в последние годы своей жизни, я был беспрестанно в отлучках и кочевал по всевозможным концам России. Сказать ли правду? если провидению угодно было прекратить так рано дни любимого моего поэта, то я не сожалею о том, что не видел его под конец его жизни. Храню как светлое воспоминание память о знакомом мне авторе «Вечеров на хуторе», «Ревизора», «Мертвых душ», исполненном свежести, силы и поэзии, и память эта не помрачается горестною мыслию о виде несчастного, мучимого телесными и душевными недугами автора «Переписки с друзьями», в котором не было видно и тени прежнего Гоголя.

В. А. Соллогуб. Первая встреча с Гоголем*

...В 1831 году летом я приехал на вакации из Дерпта в Павловск. В Павловске жила моя бабушка и с нею вместе — покойная тетка моя Александра Ивановна Васильчикова, женщина высокой добродетели, постоянно тогда озабоченная воспитанием своих детей. Один из

сыновей ее <Василий>, ныне умерший, к сожалению родился с поврежденным при рождении черепом, так что умственные его способности остались навсегда в тумане. Все средства истощались, чтоб помочь горю, но все было напрасно. Тетка придумала, наконец, нанять учителя, который бы мог развивать, хотя несколько, мутную понятливость бедного страдальца, показывая ему картинки и беседуя с ним целый день. Такой учитель был найден, и когда я приехал в Павловск, тетка моя просила меня познакомиться с ним и обласкать его, так как, по словам ее, он тоже был охотником до русской словесности и, как ей сказывали, даже что-то пописывал. Как теперь помню это знакомство. Мы вошли в детскую, где у письменного стола сидел наставник с учеником и указывал ему на изображения разных животных, подражая при том их блеянию, мычанию, хрюканью и т. д. «Вот это, душенька, баран, понимаешь ли? баран, — бе, бе… Вот это корова, знаешь, корова, му, му». При этом учитель с каким-то особым оригинальным наслаждением упражнялся в звукоподражаниях. Признаюсь, мне грустно было глядеть на подобную сцену, на такую жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие. Я поспешил выйти из комнаты, едва расслыхав слова тетки, представлявшей мне учителя и назвавшей мне его по имени *Николай Васильевич Гоголь*.

У покойницы моей бабушки, как у всех тогдашних старушек, жили постоянно бедные дворянки, компанионки, приживалки. Им-то по вечерам читал Гоголь свои первые произведения. Вскоре после странного знакомства я шел однажды по коридору и услышал, что кто-то читает в ближней комнате. Я вошел из любопытства и нашел Гоголя посреди дамского домашнего ареопага. Александра Николаевна вязала чулок, Анна Антоновна хлопала глазами, Анна Николаевна по обыкновению оправляла напомаженные виски. Их было еще две или три, если не ошибаюсь. Перед ними сидел Гоголь и читал про украинскую ночь. «Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи!» Кто не слыхал читавшего Гоголя, тот не знает вполне его произведений. Он придавал им особый колорит своим спокойствием, своим произношением, неуловимыми оттенками насмешливости и комизма, дрожавшими в его голосе и быстро пробегавшими по его оригинальному остроносому лицу, в то время как серые маленькие его глаза добродушно улыбались и он встряхивал всегда падавшими ему на лоб волосами. Описывая украинскую ночь, он как будто переливал в душу впечатления летней свежести, синей, усеянной звездами, выси, благоухания, душевного простора. Вдруг он остановился. «Да гопак не так танцуется!» Приживалки вскрикнули: «Отчего не так?» Они подумали, что Гоголь обращался к ним. Гоголь улыбнулся и продолжал монолог пьяного мужика. Признаюсь откровенно, я был поражен, уничтожен; мне хотелось взять его на руки, вынести его на свежий воздух, на настоящее его место. «Майская ночь»

осталась для меня любимым гоголевским творением, быть может, оттого, что я ей обязан тем, что из первых в России мог узнать и оценить этого гениального человека. Карамзины жили тогда в Царском Селе, у них я часто видал Жуковского, который сказал мне, что уже познакомился с Гоголем* и думает, как бы освободить его от настоящего места. Пушкина я встретил в Царскосельском парке. Он только что женился и гулял под ручку с женой, первой европейской красавицей, как говорил он мне после. Он представил меня тут жене и на вопрос мой, знает ли он Гоголя, отвечал, что еще не знает, но слышал о нем и желает с ним познакомиться*.

После незабвенного для меня чтения я, разумеется, сблизился с Гоголем и находился с того времени постоянно с ним в самых дружелюбных отношениях, но никогда не припоминал он о нашем первом знакомстве: видно было, что, несмотря на всю его душевную простоту (отпечаток возвышенной природы), он несколько совестился своего прежнего звания толкователя картинок. Впрочем, он изредка посещал мою тетку и однажды сделал ей такой странный визит, что нельзя о нем не упомянуть. Тетушка сидела у себя с детьми в глубоком трауре, с плёрезами, по случаю недавней кончины ее матери. Докладывают про Гоголя. «Просите». Входит Гоголь с постной физиономией. Как обыкновенно бывает в подобных случаях, разговор начался о бренности всего мирского. Должно быть, это надоело Гоголю: тогда он был еще весел и в полном порыве своего юмористического вдохновения. Вдруг он начинает предлинную и преплачевную историю про какого-то малороссийского помещика, у которого умирал единственный обожаемый сын. Старик измучился, не отходил от больного ни днем, ни ночью по целым неделям, наконец утомился совершенно и пошел прилечь в соседнюю комнату, отдав приказание, чтоб его тотчас разбудили, если больному сделается хуже. Не успел он заснуть, как человек бежит. «Пожалуйте!» — «Что, неужели хуже?» — «Какой хуже! Скончался совсем!» При этой развязке все лица слушавших со вниманием рассказ вытянулись, раздались вздохи, общий возглас и вопрос: «Ах, боже мой! Ну что же бедный отец?» — «Да что ж ему делать, — продолжал хладнокровно Гоголь, — растопырил руки, пожал плечами, покачал головой, да и свистнул: фю, фю». Громкий хохот детей заключил анекдот, а тетушка, с полным на то правом, рассердилась на эту шутку, действительно, в минуту общей печали, весьма неуместную. Трудно объяснить себе, зачем Гоголь, всегда кроткий и застенчивый в обществе, решился на подобную выходку. Быть может, он вздумал развеселить детей от господствовавшего в доме грустного настроения; быть может, он, сам того не замечая, увлекся бившей в нем постоянно струей неодолимого комизма. Впрочем, он очень любил это окончание едва внятным свистом и кончил им свою комедию «Женитьба». Я помню, что он читал ее однажды у Жуковского в одну из тех пятниц, когда собиралось общество (тогда немалочисленное) русских

литературных, ученых и артистических знаменитостей. При последних словах: «Но когда жених выскочил в окно, то уже...» он скорчил такую гримасу и так уморительно свистнул, что все слушатели покатились со смеху. При представлении этот свист заменила, кажется, актриса <Е. И.> Гусева словами: «так уж просто мое почтение», что всегда и говорится теперь[*]. Но этот конец далеко не так комичен и оригинален, как тот, который придуман был Гоголем. Он не завершает пьесы и не довершает в зрителе последней комической чертой общего впечатления после комедии, основанной на одном только юморе.

Пушкин познакомился с Гоголем и рассказал ему про случай, бывший в г. Устюжне Новгородской губернии, о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей. Кроме того Пушкин, сам будучи в Оренбурге, узнал, что о нем получена гр. В. А. Перовским секретная бумага, в которой последний предостерегался, чтоб был осторожен, так как история Пугачевского бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела целью обревизовать секретно действия оренбургских чиновников[*]. На этих двух данных задуман был «Ревизор», коего Пушкин называл себя всегда крестным отцом[*]. Сюжет «Мертвых душ» тоже сообщен Пушкиным.

А. С. Пушкин. Письмо к издателю «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду», август 1831

<Конец августа 1831 г. Царское Село>

Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали[*], что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов. Ради бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на *неприличие* его выражений, на *дурной тон* и проч.[*] Пора, пора нам осмеять les précieuses ridicules[*] нашей словесности, людей, толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у них не бывало, о высшем обществе, куда их не просят, и все это слогом камердинера профессора Тредьяковского.

А. С. Пушкин. Вечера на хуторе близ Диканьки[*]

Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над ними появлением «Вечеров на хуторе»: все обрадовались этому живому описанию племени, поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина! Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов, предоставя сии недостатки на поживу критики. Автор оправдал таковое снисхождение. Он с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал «Арабески», где находится его «Невский проспект», самое полное из его произведений. Вслед за тем явился и «Миргород», где с жадностию все прочли и «Старосветских помещиков», эту шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и «Тараса Бульбу», коего начало достойно Вальтер-Скотта. Г. Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале.[85]

В. П. Горленко. Рассказ Якима Нимченко о Гоголе*

...Вот что рассказывал мне бедный старик, вспоминая то далекое время.

Выехали они в Петербург (в 1829 году*), Гоголь, Данилевский и Яким. По приезде остановились в гостинице, где-то возле Кокушкина моста, а потом поселились на квартире близ того же моста в доме Зверькова. Здесь Гоголь прожил около двух лет. Друг его Данилевский, тогда восемнадцатилетний юноша, поступил в старшие классы школы гвардейских подпрапорщиков и, в качестве родственника Гоголя*, приходил к нему по праздникам. Когда вспыхнуло польское восстание, Данилевскому, Карскому и другим юным воинам, посещавшим Гоголя, пришлось по обязанности службы ехать в Варшаву. Но, вероятно, присмотр родственника не был особенно рачителен и строг, так как юный Данилевский попался на глаза своему начальству в одном из петербургских гуляний, в то время, когда его считали уже выехавшим из столицы. Последовало сиденье на гауптвахте, после которого пришлось все-таки проститься и с Петербургом и с Гоголем. Последний несколько времени жил в одной квартире с живописцем Мокрицким, также земляком. Как в доме Зверькова, так и в следующем своем местожительстве, на углу Гороховой и Малой Морской, Гоголь занимал квартиру комнат в пять. «Сначала Николай Васильевич хотел поступить на театр»*. То же желание имели и два брата Прокоповичи, приехавшие в Петербург после Гоголя. Один из них («он и женат был на актерке») поступил-таки на сцену и пробыл там года два, а Гоголь скоро бросил эту мысль и определился на службу, потом оставил службу и сделался учителем. Он два раза в неделю ходил в Институт, большею частью пешком, а то давал частные уроки, напр. в доме генерала Балабина. К.

нему приходили на дом ученики из дома католической церкви и другие. Из дому он получал очень мало и жил уроками. Когда «сочинял», то писал сначала сам, а потом отдавал переписывать писарю, так как в типографии не всегда могли разобрать его руку. В это время рассказчику часто приходилось бегать в типографию на Большую Морскую, иногда раза по два в день. «Прочтет Николай Васильевич, вписывает еще на печатных листах, тогда несет обратно». Раза два в неделю у Гоголя собирались гости по вечерам; соберутся, бывало, сидят долго. Бывали часто земляки; из прочих Пушкин бывал, «генерал» Жуковский, «полковник» Плетнев, «еще много, позабывал всех». «Пушкин заходил часто». Небольшого роста, курчавый, рябоватый, некрасивый, одевался странно, кое-как. К Пушкину, бывало, на неделю раза три-четыре с запиской хожу или с письмом. Он жил тогда на набережной[*]. Тоже и к генералу Жуковскому во дворец. Летом Николай Васильевич переезжал на дачу на Выборгскую сторону, а чаще оставалась квартира в городе, а Николай Васильевич, бывало, ездит в Царское Село или в Москву, и я с ними. Щепкин, приезжая из Москвы, каждый раз останавливался «у нас». Как идет по лестнице, то уже кричит мне снизу: «Нема лучше як у нас, Якиме; ступыв, уже и в хати, а тут дерысь-дерысь!..» Писал Гоголь иногда днем, но чаще вечером. Тогда никого не пускал. Сидел ночью долго, пока две свечи не сгорят. Здесь, в Яновщине, когда приезжал, то тоже писал у себя во флигеле; тогда Марья Ивановна к нему никого не пускала. По-малороссийски Гоголь говорил хорошо, песни «простые» очень любил, но сам пел плохо. Дома, в Яновщине, совсем не вникал в хозяйство. Больше рисовал да так гулял, садом занимался…

Н. И. Иваницкий. Гоголь — адъюнкт-профессор[*]

М. г. А. А.[*] В 10-м № «Современника» 1852 года напечатана статья г. В. Г<аев>ского, под названием: «Заметки для биографии Гоголя». В ней, между прочим, сказано вот что: «Какого мнения о своих лекциях был сам Гоголь — не знаем; но вот факт, доказывающий, что он не слишком доверял себе в этом отношении. Говорят, что Гоголь просил Пушкина и Жуковского приехать когда-нибудь к нему на лекцию. Оба поэта, очень долго собиравшиеся воспользоваться его приглашением, наконец условились, уведомили об этом предварительно Гоголя и в назначенное время отправились в университет. Поэты нашли полную аудиторию студентов, но Гоголя еще не было; они решились его дожидаться, но прождали напрасно, потому что Гоголь вовсе не являлся. Такой же маневр был употреблен Гоголем и в день, назначенный для испытания студентов по его предмету, с тою только разницею, что за ним послали, но оказалось, что он вовсе уехал из города».

Гоголь читал историю средних веков для студентов 2-го курса филологического отделения. Начал он в сентябре 1834, а кончил в конце 1835 года[*]. На первую лекцию он явился в сопровождении инспектора

студентов. Это было в два часа. Гоголь вошел в аудиторию, раскланялся с нами и, в ожидании ректора, начал о чем-то говорить с инспектором, стоя у окна. Заметно было, что он находился в тревожном состоянии духа: вертел в руках шляпу, мял перчатку и как-то недоверчиво посматривал на нас. Наконец подошел к кафедре и, обратясь к нам, начал объяснять, о чем намерен он читать сегодня лекцию. В продолжение этой коротенькой речи он постепенно всходил по ступеням кафедры: сперва встал на первую ступеньку, потом на вторую, потом на третью. Ясно, что он не доверял сам себе и хотел сначала попробовать, как-то он будет читать? Мне кажется, однакож, что волнение его происходило не от недостатка присутствия духа, а просто от слабости нервов, потому что в то время, как лицо его неприятно бледнело и принимало болезненное выражение, мысль, высказываемая им, развивалась совершенно логически и в самых блестящих формах. К концу речи Гоголь стоял уж на самой верхней ступеньке кафедры и заметно одушевился. Вот в эту-то минуту ему и начать бы лекцию, но вдруг вошел ректор...* Гоголь должен был оставить на минуту свой пост, который занял так ловко, и даже, можно сказать, незаметно для самого себя. Ректор сказал ему несколько приветствий, поздоровался со студентами и занял приготовленное для него кресло. Настала совершенная тишина. Гоголь опять впал в прежнее тревожное состояние: опять лицо его побледнело и приняло болезненное выражение. Но медлить уж было нельзя: он вошел на кафедру, и лекция началась...

Не знаю, прошло ли и пять минут, как уж Гоголь овладел совершенно вниманием слушателей. Невозможно было спокойно следить за его мыслью, которая летела и преломлялась, как молния, освещая беспрестанно картину за картиной в этом мраке средневековой истории. Впрочем, вся эта лекция из слова в слово напечатана в «Арабесках», кажется, под названием: «О характере истории средних веков»*. Ясно, что и в этом случае, не доверяя сам себе, Гоголь выучил наизусть предварительно написанную лекцию, и хотя во время чтения одушевился и говорил совершенно свободно, но уже не мог оторваться от затверженных фраз, и потому не прибавил к ним ни одного слова.

Лекция продолжалась три четверти часа. Когда Гоголь вышел из аудитории, мы окружили его в сборной зале и просили, чтоб он дал нам эту лекцию в рукописи. Гоголь сказал, что она у него набросана только вчерне, но что со временем он обработает ее и даст нам; а потом прибавил: «На первый раз я старался, господа, показать вам только главный характер истории средних веков; в следующий же раз мы примемся за самые факты и должны будем вооружиться для этого анатомическим ножом».

Мы с нетерпением ждали следующей лекции. Гоголь приехал довольно поздно и начал ее фразой: «Азия была всегда каким-то народовержущим вулканом». Потом поговорил немного о великом переселении народов[*], но так вяло, безжизненно и сбивчиво, что скучно было слушать, и мы не верили сами себе, тот ли это Гоголь, который на прошлой неделе прочел такую блестящую лекцию? Наконец, указав нам на кое-какие курсы, где мы можем прочесть об этом предмете, он раскланялся и уехал. Вся лекция продолжалась 20 минут. Следующие лекции были в том же роде, так что мы совершенно, наконец, охладели к Гоголю, и аудитория его все больше и больше пустела[*].

Но вот однажды — это было в октябре — ходим мы по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уж знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратясь к нам, спросили только, в которой аудитории будет читать Гоголь? Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру, и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого, начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая. Она вся из слова в слово напечатана в «Арабесках»[*]. Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию и потому приготовился угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только слово: «увлекательно»...

Все следующие лекции Гоголя были очень сухи и скучны: ни одно событие, ни одно лицо историческое не вызвало его на беседу живую и одушевленную... Какими-то сонными глазами смотрел он на прошедшие века и отжившие племена. Без сомнения, ему самому было скучно, и он видел, что скучно и его слушателям. Бывало, приедет, поговорит с полчаса с кафедры, уедет, да уж и не показывается целую неделю, а иногда и две. Потом опять приедет, и опять та же история. Так прошло время до мая.

Наступил экзамен. Гоголь приехал, подвязанный черным платком: не знаю уж, зубы у него болели, что ли. Вопросы предлагал бывший ректор И. П. Ш<ульгин>. Гоголь сидел в стороне и ни во что не вступался. Мы слышали уж тогда, что он оставляет университет и едет на Кавказ. После экзамена мы окружили его и изъявили сожаление, что должны расстаться с ним. Гоголь отвечал, что здоровье его расстроено и что он должен переменить климат. «Теперь я еду на Кавказ: мне хочется застать там еще свежую зелень; но я надеюсь, господа, что мы когда-нибудь еще встретимся».

Поездка эта, однакож, не состоялась, не знаю почему[*].

Вот все, что я счел нужным сообщить вам, м. г., о лекциях Гоголя, и желал бы, чтоб вы потрудились поправить ошибку автора «Заметок для биографии Гоголя»*.

Примите и проч.

С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем*

ВСТУПЛЕНИЕ*

«История знакомства моего с Гоголем», еще вполне не оконченная мною, писана была не для печати, или, по крайней мере, для печати по прошествии многих десятков лет, когда уже никого из выведенных в ней лиц давно не будет на свете, когда цензура сделается свободною или вовсе упразднится, когда русское общество привыкнет к этой свободе и отложит ту щекотливость, ту подозрительную раздражительность, которая теперь более всякой цензуры мешает говорить откровенно, даже о давнопрошедшем. Я печатно предлагал всем друзьям и людям, коротко знавшим Гоголя, написать вполне искренние рассказы своего знакомства с ним и таким образом оставить будущим биографам достоверные материалы для составления полной и правдивой биографии великого писателя*. Это была бы, по моему мнению, истинная услуга истории русской литературы и потомству. Не знаю, принято ли кем-нибудь мое предложение, но я почти исполнил свое намерение. — Очевидно, возникают вопросы: как можно печатать сочинение, писанное не для печати? Какая причина заставила меня изменить цели, с которою писана книга? Первый вопрос разрешается легко: из «Истории моего знакомства с Гоголем» исключено все, чего еще нельзя напечатать в настоящее время. Причины же, почему я так поступил, состоят в следующем: четыре года прошли, как мы лишились Гоголя; кроме биографии и напечатанных в журналах многих статей, о нем продолжают писать и печатать; ошибочные мнения о Гоголе, как о человеке, вкрадываются в сочинения всех пишущих о нем, потому что из них — даже сам биограф его* — лично Гоголя не знали или не находились с ним в близких сношениях. Я думаю, что мой искренний, никаким посторонним чувством не подкрашенный рассказ может бросить истинный свет не на великого писателя (для которого, говорят, это неважно), а на человека… Мне кажется, что дружба моя к Гоголю и долг его памяти требуют от меня такого поступка. Записки мои потеряют не только большую половину своей занимательности, но и большую половину очевидности, то есть способности изъяснить предмет, о важности которого распространяться не нужно.

* * *

В 1832 году, кажется весною, когда мы жили в доме Слепцова на Сивцевом Вражке, Погодин привез ко мне, в первый раз и совершенно неожиданно, Николая Васильевича Гоголя*. «Вечера на хуторе близ Диканьки» были давно уже прочтены, и мы все восхищались ими. Я

прочел, впрочем, «Диканьку» нечаянно: я получил ее из книжной лавки, вместе с другими книгами, для чтения вслух моей жене, по случаю ее нездоровья. Можно себе представить нашу радость при таком сюрпризе. Не вдруг узнали мы настоящее имя сочинителя; но Погодин ездил зачем-то в Петербург, узнал там, кто такой был «Рудый Панько», познакомился с ним и привез нам известие, что «Диканьку» написал Гоголь-Яновский. Итак, это имя было уже нам известно и драгоценно.

По субботам постоянно обедали у нас и проводили вечер короткие мои приятели. В один из таких вечеров, в кабинете моем, находившемся в мезонине, играл я в карты в четверной бостон, а человека три не игравших сидели около стола. В комнате было жарко, и некоторые, в том числе и я, сидели без фраков. Вдруг Погодин, без всякого предуведомления, вошел в комнату с неизвестным мне, очень молодым человеком, подошел прямо ко мне и сказал: «Вот вам Николай Васильевич Гоголь!» Эффект был сильный. Я очень сконфузился, бросился надевать сюртук, бормоча пустые слова пошлых рекомендаций. Во всякое другое время я не так бы встретил Гоголя. Все мои гости (тут были П. Г. Фролов, М. М. Пинский и П. С. Щепкин[*] — прочих не помню) тоже как-то озадачились и молчали. Прием был не то что холодный, но конфузный. Игра на время прекратилась; но Гоголь и Погодин упросили меня продолжать игру, потому что заменить меня было некому. Скоро, однако, прибежал Константин[*], бросился к Гоголю и заговорил с ним с большим чувством и пылкостью. Я очень обрадовался и рассеянно продолжал игру, прислушиваясь одним ухом к словам Гоголя, но он говорил тихо, и я ничего не слыхал.

Наружный вид Гоголя был тогда совершенно другой и невыгодный для него: хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички придавали совсем другую физиономию его лицу: нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и плутоватое. В платье Гоголя приметна была претензия на щегольство. У меня осталось в памяти, что на нем был пестрый светлый жилет с большой цепочкой. У нас остались портреты, изображающие его в тогдашнем виде, подаренные впоследствии Константину самим Гоголем[*].

К сожалению, я совершенно не помню моих разговоров с Гоголем в первое наше свидание; но помню, что я часто заговаривал с ним. Через час он ушел, сказав, что побывает у меня на-днях, как-нибудь поранее утром, и попросит сводить его к Загоскину, с которым ему очень хотелось познакомиться и который жил очень близко от меня. Константин тоже не помнит своих разговоров с ним, кроме того, что Гоголь сказал про себя, что он был прежде толстяк, а теперь болен; но помнит, что он держал себя неприветливо, небрежно и как-то свысока, чего, разумеется, не было, но могло так показаться. Ему не понравились

манеры Гоголя, который произвел на всех без исключения невыгодное, несимпатичное впечатление. Отдать визит Гоголю не было возможности, потому что не знали, где он остановился: Гоголь не хотел этого сказать.

Через несколько дней, в продолжение которых я уже предупредил Загоскина, что Гоголь хочет с ним познакомиться и что я приведу его к нему, явился ко мне довольно рано Николай Васильевич. Я обратился к нему с искренними похвалами его «Диканьке»; но, видно, слова мои показались ему обыкновенными комплиментами, и он принял их очень сухо. Вообще в нем было что-то отталкивающее, не допускавшее меня до искреннего увлечения и излияния, к которым я способен до излишества. По его просьбе мы скоро пошли пешком к Загоскину. Дорогой он удивил меня тем, что начал жаловаться на свои болезни (я не знал тогда, что он говорил об этом Константину) и сказал даже, что болен неизлечимо. Смотря на него изумленными и недоверчивыми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его: «Да чем же вы больны?» Он отвечал неопределенно и сказал, что причина болезни его находится в кишках. Дорогой разговор шел о Загоскине. Гоголь хвалил его за веселость, но сказал, что он не то пишет, что следует, особенно для театра. Я легкомысленно возразил, что у нас писать не о чем, что в свете все так однообразно, гладко, прилично и пусто, что

…даже глупости смешной

В тебе не встретишь, свет пустой*, —

но Гоголь посмотрел на меня как-то значительно и сказал, что «это неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим; но что, если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его». Может быть, он выразился не совсем такими словами, но мысль была точно та. Я был ею озадачен, особенно потому, что никак не ожидал ее услышать от Гоголя. Из последующих слов я заметил, что русская комедия его сильно занимала и что у него есть свой оригинальный взгляд на нее*. Надобно сказать, что Загоскин, также давно прочитавший «Диканьку» и хваливший ее, в то же время не оценил вполне; а в описаниях украинской природы находил неестественность, напыщенность, восторженность молодого писателя; он находил везде неправильность языка, даже безграмотность. Последнее очень было забавно, потому что Загоскина нельзя было обвинить в большой грамотности. Он даже оскорблялся излишними, преувеличенными, по его мнению, нашими похвалами. Но по добродушию своему и по самолюбию человеческому ему приятно было, что превозносимый всеми Гоголь поспешил к нему приехать. Он принял его с отверстыми объятиями, с криком и похвалами; несколько раз принимался целовать Гоголя, потом кинулся обнимать меня, бил

кулаком в спину, называл хомяком, сусликом и пр. и пр.; одним словом, был вполне любезен посвоему. Загоскин говорил без умолку о себе: о множестве своих занятий, о бесчисленном количестве прочитанных им книг, о своих археологических трудах, о пребывании в чужих краях (он не был далее Данцига), о том, что он изъездил вдоль и поперек всю Русь и пр. и пр. Все знают, что это совершенный вздор и что ему искренно верил один Загоскин. Гоголь понял это сразу и говорил с хозяином, как будто век с ним жил, совершенно в пору и в меру. Он обратился к шкафам с книгами... Тут началась новая, а для меня уже старая история: Загоскин начал показывать и хвастаться книгами, потом табакерками и, наконец, шкатулками. Я сидел молча и забавлялся этой сценой. Но Гоголю она наскучила довольно скоро: он вдруг вынул часы и сказал, что ему пора итти, обещал еще забежать как-нибудь и ушел.

«Ну что, — спросил я Загоскина, — как понравился тебе Гоголь?» — «Ах, какой милый, — закричал Загоскин, — милый, скромный, да какой, братец, умница!»... и пр. и пр.; а Гоголь ничего не сказал, кроме самых обиходных, пошлых слов.

В этот проезд Гоголя из Полтавы в Петербург наше знакомство не сделалось близким. Не помню через сколько времени Гоголь опять был в Москве проездом, на самое короткое время*; был у нас и опять попросил меня ехать вместе с ним к Загоскину, на что я охотно согласился. Мы были у Загоскина также поутру; он попрежнему принял Гоголя очень радушно и любезничал по-своему; а Гоголь держал себя также по-своему, то есть говорил о совершенных пустяках и ни слова о литературе, хотя хозяин заговаривал о ней не один раз. Замечательного ничего не происходило, кроме того, что Загоскин, показывая Гоголю свои раскидные кресла, так прищемил мне обе руки пружинами, что я закричал; а Загоскин оторопел и не вдруг освободил меня из моего тяжкого положения, в котором я был похож на растянутого для пытки человека. От этой потехи руки у меня долго болели. Гоголь даже не улыбнулся, но впоследствии часто вспоминал этот случай и, не смеясь сам, так мастерски его рассказывал, что заставлял всех хохотать до слез. Вообще в его шутках было очень много оригинальных приемов, выражений, складу и того особенного юмора, который составляет исключительную собственность малороссов; передать их невозможно. Впоследствии, бесчисленными опытами убедился я, что повторение гоголевых слов, от которых слушатели валялись со смеху, когда он сам их произносил, — не производило ни малейшего эффекта, когда говорил их я или кто-нибудь другой.

И в этот приезд знакомство наше с Гоголем не подвинулось вперед: но, кажется, он познакомился с Ольгой Семеновной и с Верой*. В 1835 году* мы жили на Сенном рынке, в доме Штюрмера. Гоголь между тем успел уже выдать «Миргород» и «Арабески». Великий талант его оказался в

полной силе. Свежи, прелестны, благоуханны, художественны были рассказы в «Диканьке», но в «Старосветских помещиках», в «Тарасе Бульбе» уже являлся великий художник с глубоким и важным значением. Мы с Константином, моя семья и все люди, способные чувствовать искусство, были в полном восторге от Гоголя. Надобно сказать правду, что кроме присяжных любителей литературы во всех слоях общества, молодые люди лучше и скорее оценили Гоголя. Московские студенты все пришли от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую молву о новом великом таланте.

В один вечер сидели мы в ложе Большого театра; вдруг растворилась дверь, вошел Гоголь и с веселым дружеским видом, какого мы никогда не видели, протянул мне руку с словами: «Здравствуйте!» Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин, едва ли не более всех понимавший значение Гоголя, забыл, где он, и громко закричал, что́ обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта. Вслед за Гоголем вошел к нам в ложу Александр Павлович Ефремов, и Константин шепнул ему на ухо: «Знаешь ли кто у нас? Это Гоголь». Ефремов, выпуча глаза также от изумления и радости, побежал в кресла и сообщил эту новость покойному Станкевичу и еще кому-то из наших знакомых. В одну минуту несколько трубок и биноклей обратились на нашу ложу, и слова «Гоголь, Гоголь» разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он это движение, только, сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое время, Гоголь уехал.

Несмотря на краткость свидания, мы все заметили, что в отношении к нам Гоголь совершенно сделался другим человеком, между тем как не было никаких причин, которые во время его отсутствия могли бы нас сблизить. Самый приход его в ложу показывал уже уверенность, что мы ему обрадуемся. Мы радовались и удивлялись такой перемене. Впоследствии, из разговоров с Погодиным, я заключил (то же думаю и теперь), что его рассказы об нас, о нашем высоком мнении о таланте Гоголя, о нашей горячей любви к его произведениям произвели это обращение. После таких разговоров с Погодиным Гоголь немедленно поехал к нам, не застал нас дома, узнал, что мы в театре, и явился в нашу ложу.

Гоголь вез с собою в Петербург комедию, всем известную теперь под именем «Женитьба»; тогда называлась она «Женихи». Он сам вызвался прочесть ее вслух в доме у Погодина для всех знакомых хозяина*. Погодин воспользовался этим позволением и назвал столько гостей, что довольно большая комната была буквально набита битком. И какая досада, я захворал и не мог слышать этого чудного, единственного чтения. К тому же это случилось в субботу, в мой день, а мои гости не были приглашены на чтение к Погодину. Разумеется, Константин мой был там. Гоголь до того мастерски читал или, лучше сказать, играл свою

пьесу, что многие, понимающие это дело люди, до сих пор говорят, что на сцене, несмотря на хорошую игру актеров, особенно господина Садовского в роли Подколесина, эта комедия не так полна, цельна и далеко не так смешна, как в чтении самого автора. Я совершенно разделяю это мнение, потому что впоследствии хорошо узнал неподражаемое искусство Гоголя в чтении всего комического. Слушатели до того смеялись, что некоторым сделалось почти дурно; но, увы, комедия не была понята! Большая часть говорила, что пьеса неестественный фарс, но что Гоголь ужасно смешно читает*.

Гоголь сожалел, что меня не было у Погодина; назначил день, в который хотел приехать к нам обедать и прочесть комедию мне и всему моему семейству. В назначенный день я пригласил к себе именно тех гостей, которым не удалось слышать комедию Гоголя. Между прочими гостями были Станкевич и Белинский*. Гоголь очень опоздал к обеду, что впоследствии нередко с ним случалось. Мне было досадно, что гости мои так долго голодали, и в 5 часов я велел подавать кушать; но в самое это время увидели мы Гоголя, который шел пешком через всю Сенную площадь к нашему дому. Но, увы, ожидания наши не сбылись: Гоголь сказал, что никак не может сегодня прочесть нам комедию, а потому и не принес ее с собой. Все это мне было неприятно и, вероятно, вследствие того и в этот приезд Гоголя в Москву не последовало такого сближения между нами, какого я желал, а в последнее время и надеялся. Я виделся с ним еще один раз поутру у Погодина на самое короткое время и узнал, что Гоголь на другой день едет в Петербург.

В 1835 году дошли до нас слухи из Петербурга, что Гоголь написал комедию «Ревизор», что в этой пьесе явился талант его, как писателя драматического, в новом и глубоком значении. Говорили, что эту пьесу никакая бы цензура не пропустила, но что государь приказал ее напечатать и дать на театре. На сцене комедия имела огромный успех, но в то же время много наделала врагов Гоголю. Самые злонамеренные толки раздавались в высшем чиновничьем кругу и даже в ушах самого государя. Ни с чем нельзя сравнить нашего нетерпения прочесть «Ревизора», который как-то долго не присылался в Москву. Я прочел его в первый раз самым оригинальным образом. Однажды, поздно заигравшись в английском клубе, я выходил из него вместе с Великопольским. В это время швейцар подал мне записку из дому: меня уведомляли, что какой-то проезжий полковник привез Ф. Н. Глинке печатный экземпляр «Ревизора» и оставил у него до шести часов утра; что Глинка прислал экземпляр нам и что все ожидают меня, чтобы слушать «Ревизора». Сгоряча я сказал об этом Великопольскому и не мог уже отказать ему в позволении услышать «Ревизора», и мы поскакали домой. Я жил тогда в Старой Басманной, в доме Куракина. Было уже около часу за полночь. Никто не спал, все сидели в ожидании меня, в моем кабинете, даже m-lle Potot, жившая у нас с матерью. Я не

мог в первый раз верно прочесть «Ревизора»; но, конечно, никто никогда не читал его с таким увлечением, которое разделяли и слушатели. «Ревизор» был продан петербургской дирекции самим Гоголем за 2 500 рубл. ассигн., а потому немедленно начали его ставить и в Москве*. Гоголь был хорошо знаком с Мих. Сем. Щепкиным и поручил ему письменно постановку «Ревизора», снабдив притом многими, по большей части очень дельными наставлениями. В то же время узнали мы, что сам Гоголь, сильно огорченный и расстроенный чем-то в Петербурге, распродал с уступкой все оставшиеся экземпляры «Ревизора» и других своих сочинений и сбирается немедленно уехать за границу. Это огорчило меня и многих его почитателей. Вдруг приходит ко мне Щепкин и говорит, что ему очень неловко ставить «Ревизора», что товарищи этим как-то обижаются, не обращают никакого внимания на его замечания и что пьеса от этого будет поставлена плохо; что гораздо было бы лучше, если бы пьеса ставилась без всякого надзора, так, сама по себе, по общему произволу актеров; что если он пожалуется репертуарному члену или директору, то дело пойдет еще хуже: ибо директор и репертуарный член ничего не смыслят и никогда такими делами не занимаются; а господа артисты, назло ему, Щепкину, совсем уронят пьесу. Щепкин плакал от своего затруднительного положения и от мысли, что он так худо исполнит поручение Гоголя. Он прибавил, что единственное спасение состоит в том, чтоб я взял на себя постановку пьесы, потому что актеры меня уважают и любят и вся дирекция состоит из моих коротких приятелей; что он напишет об этом Гоголю, который с радостью передаст это поручение мне. Я согласился и ту же минуту написал сам в Петербург к Гоголю горячее письмо, объяснив, почему Щепкину неудобно ставить пьесу и почему мне это будет удобно, прибавя, что, в сущности, всем будет распоряжаться Щепкин, только через меня. Это было первое мое письмо к Гоголю, и его ответ был его первым письмом ко мне. Вот оно:

«Я получил приятное для меня письмо ваше. Участие ваше меня тронуло. Приятно думать, что среди многолюдной неблаговолящей толпы скрывается тесный кружок избранных, поверяющий творения наши верным внутренним чувством и вкусом; еще более приятно, когда глаза его обращаются на творца их с тою любовью, какая дышит в письме вашем. — Я не знаю, как благодарить за готовность вашу принять на себя обузу и хлопоты по моей пиесе. Я поручил ее уже Щепкину и писал об этом письмо к Загоскину. Если же ему точно нет возможности ладить самому с дирекцией и если он не отдавал еще письма, то известите меня, я в ту же минуту приготовлю новое письмо к Загоскину. Сам я никаким образом не могу приехать к вам, потому что занят приготовлениями к моему отъезду, который будет если не 30 мая, то 6 июня непременно. Но по возвращении из чужих краев я постоянный житель столицы древней.

Еще раз принося вам чувствительнейшую мою благодарность, остаюсь навсегда

Вашим покорнейшим слугою

Н. Гоголь».

На конверте:

Мая 15, 1836 Его высокородию[86]

Милостивому Государю

Сергею Тимофеевичу Аксакову

от Гоголя.

Как это странно, что письмо такое простое, искреннее не понравилось всем и даже мне.

Отсюда начинается долговременная и тяжелая история неполного понимания Гоголя людьми самыми ему близкими, искренно и горячо его любившими, называвшимися его друзьями! Безграничной, безусловной доверенности в свою искренность Гоголь не имел до своей смерти. Нельзя предположить, чтоб все мы были виноваты в этом без всякого основания; оно заключалось в наружности обращения и в необъяснимых странностях его духа. Это материя длинная и, чтобы бросить на нее некоторый свет, заранее скажу только, что впоследствии я часто говаривал для успокоения Шевырева и особенно Погодина: «Господа, ну как мы можем судить Гоголя по себе? Может быть, у него все нервы вдесятеро тоньше наших и устроены как-нибудь вверх ногами!» На что Погодин со смехом отвечал: «Разве что так!»

Вследствие письма Гоголя ко мне Щепкин писал к нему, что письмо к Загоскину отдано давно, о чем он его уведомлял; но, кажется, Гоголь не получал этого письма, потому что не отвечал на него и уехал немедленно за границу.

Итак, «Ревизор» был поставлен без моего участия. Впрочем, эта пьеса игралась и теперь играется в Москве довольно хорошо, кроме Хлестакова, роль которого труднее всех. Гоголь всегда мне жаловался, что не находит актера для этой роли*, что оттого пьеса теряет смысл и скорее должна называться «Городничий», чем «Ревизор».[87]

В 1837-м году погиб Пушкин. Из писем самого Гоголя известно, каким громовым ударом была эта потеря. Гоголь сделался болен и духом, и телом*. Я прибавлю, что, по моему мнению, он уже никогда не выздоравливал совершенно и что смерть Пушкина была единственной причиной всех болезненных явлений его духа, вследствие которых он задавал себе неразрешимые вопросы, на которые великий талант его,

изнеможенный борьбою, с направлением отшельника, не мог дать сколько-нибудь удовлетворительных ответов.

В начале 1838-го года распространились по Москве слухи, что Гоголь отчаянно болен в Италии и даже посажен за долги в тюрьму. Разумеется, последнее было совершенная ложь. Во всей Москве переписывался с ним один Погодин; он получил, наконец, письмо от Гоголя, уведомлявшее об его болезни и трудных денежных обстоятельствах. Это письмо было писано из Неаполя от 20-го августа. Между прочим Гоголь писал в нем: «Мне не хотелось пользоваться твоею добротою. Теперь я доведен до того. Если ты богат, пришли вексель на 2000. Я тебе через год, много через полтора их возвращу». Мы решились ему помочь, но под большим секретом: я, Погодин, Баратынский и <Н. Ф.> Павлов сложились по 250 р., и 1000 р. предложил сам, по сердцу весьма добрый человек, И. Е. Великопольский, которому я только намекнул о положении Гоголя и о нашем намерении. Секрет был вполне сохранен. Погодин должен был написать к Гоголю письмо следующего содержания: «Видя, что ты находишься в нужде, на чужой стороне, я, имея свободные деньги, посылаю тебе 2000 р. ассигнациями. Ты отдашь их мне тогда, когда разбогатеешь, что, без сомнения, будет». Деньги были отосланы немедленно. С этими деньгами случилась странная история. Я удостоверен, что они были получены Гоголем, потому что в одном своем письме Погодин очень неделикатно напоминает об них Гоголю, тогда как он дал честное слово нам, что Гоголь никогда не узнает о нашей складчине; но вот что непостижимо: когда финансовые дела Гоголя поправились, когда он напечатал свои сочинения в 4-х томах, тогда он поручил все расплаты Шевыреву и дал ему собственноручный регистр, в котором даже все мелкие долги были записаны с точностью; об этих же двух тысячах не упомянуто; этот регистр и теперь находится у Шевырева.

В 1838-м году, кажется 8-го июня, уехал Константин за границу, намереваясь долго прожить в чужих краях (он не мог прожить долее пяти месяцев). Перед возвращением своим в Россию он написал к Гоголю в Рим самое горячее письмо, убеждая его воротиться в Москву (Гоголь жил в Риме уже более двух лет) и назначая ему место съезда в Кельне, где Константин будет ждать его, чтоб ехать в обратный путь вместе. Гоголь еще не думал возвращаться, да и письмо получил двумя месяцами позднее, потому что куда-то уезжал из Рима. Письмо это, вероятно дышавшее горячей любовью, произвело, однако, глубокое впечатление на Гоголя, и хотя он не отвечал на него, но, по возвращении в Россию, через год, говорил о нем с искренним чувством.

В 1839 году Погодин ездил за границу, имея намерение привезти с собою Гоголя. Он ни слова не писал нам о свидании с Гоголем*, и хотя мы сначала надеялись, что они воротятся в Москву вместе, но потом уже

потеряли эту надежду. Мы жили лето на даче в Аксиньине, в десяти верстах от Москвы. 29-го сентября вдруг получаю я следующую записку от Михаила Семеновича Щепкина:

«Почтеннейший Сергей Тимофеевич, спешу уведомить вас, что М. П. Погодин приехал, и не один; ожидания наши исполнились: с ним приехал Н. В. Гоголь. Последний просил никому не сказывать, что он здесь; он очень похорошел, хотя сомнение о здоровье у него беспрестанно проглядывает. Я до того обрадовался его приезду, что совершенно обезумел, даже до того, что едва ли не сухо его встретил; вчера просидел целый вечер у них и, кажется, путного слова не сказал: такое волнение его приезд во мне произвел, что я нынешнюю ночь почти не спал. Не утерпел, чтобы не известить вас о таком для нас сюрпризе: ибо, помнится, мы совсем уже его не ожидали. Прощайте, сегодня, к несчастию, играю и потому не увижу его. Ваш покорнейший слуга

Михаил Щепкин.

от 28-го сентября 1839 года».

Я помещаю эту записку для того, чтоб показать, что значил приезд Гоголя в Москву для его почитателей. Мы все обрадовались чрезвычайно. Константин, прочитавши записку прежде всех, поднял от радости такой крик, что всех перепугал, а с Машенькой[*] сделалось даже дурно. Он уехал в Москву в тот же день, а я с семейством переехал 1-го октября. Константин уже виделся с Гоголем, который остановился у Погодина в его собственном доме на Девичьем поле. Гоголь встретился с Константином весело и ласково; говорил о письме, которое, очевидно, было для него приятно, и объяснял, почему он не мог приехать в назначенное Константином место, то есть в Кельн. Причина состояла в том, что он уезжал на то время из Рима, а воротясь, целый месяц не получал писем из России, хотя часто осведомлялся на почте; наконец он решился пересмотреть сам все лежащие там письма и между ними нашел несколько адресованных к нему; в том числе находилось и письмо Константина. Бестолковый почтовый чиновник принимал Гоголя за кого-то другого и потому не отдавал до сих пор ему писем.

Разговаривая очень приятно, Константин сделал Гоголю вопрос самый естественный, но, конечно, слишком часто повторяемый всеми при встрече с писателем: «Что вы нам привезли, Николай Васильевич?» — и Гоголь вдруг очень сухо и с неудовольствием отвечал: «Ничего». Подобные вопросы были всегда ему очень неприятны; он особенно любил содержать в секрете то, чем занимался, и терпеть не мог, если хотели его нарушить.

На другой день моего переезда в Москву, 2-го октября, Гоголь приехал к нам обедать вместе с Щепкиным, когда мы уже сидели за столом, совсем

его не ожидая. С искренними, радостными восклицаниями встретили его все, и он сам казался воротившимся к близким и давнишним друзьям, а непросто к знакомым, которые виделись несколько раз и то на короткое время. Я был восхищен до глубины сердца и в тоже время удивлен. Казалось, как бы могло пятилетнее отсутствие, без письменных сношений, так сблизить нас с Гоголем? По чувствам нашим мы, конечно, имели полное право на его дружбу, и, без сомнения, Погодин, знавший нас очень коротко, передал ему подробно обо всем, и Гоголь почувствовал, что мы точно его настоящие друзья.

Наружность Гоголя так переменилась, что его можно было не узнать: следов не было прежнего, гладко выбритого и обстриженного (кроме хохла) франтика в модном фраке! Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение; особенно в глазах, когда он говорил, выражались доброта, веселость и любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то высокому. Сюртук вроде пальто заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности. Самая фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее. Шутки Гоголя, которых передать нет никакой возможности, были так оригинальны и забавны, что неудержимый смех одолевал всех, кто его слушал, сам же он всегда шутил, не улыбаясь.

С этого собственно времени началась наша тесная дружба, вдруг развившаяся между нами. Гоголь бывал у нас почти каждый день и очень часто обедал. Зная, как он не любит, чтоб говорили с ним об его сочинениях, мы никогда об них не поминали, хотя слух о «Мертвых душах» обежал уже всю Россию и возбудил общее внимание и любопытство. Не помню, кто-то писал из чужих краев, что, выслушав перед отъездом из Рима первую главу «Мертвых душ», он хохотал до самого Парижа. Другие были не так деликатны, как мы, и приступали к Гоголю с вопросами, но получали самые неудовлетворительные и даже неприятные ответы.

Гоголь сказал нам, что ему надобно скоро ехать в Петербург, чтоб взять сестер своих из Патриотического института, где они воспитывались на казенном содержании. Мать Гоголя должна была весною приехать за дочерьми в Москву. Я сам вместе с Верой сбирался ехать в Петербург, чтоб отвезть моего Мишу* в Пажеский корпус, где он был давно кандидатом. Я сейчас предложил Гоголю ехать вместе, и он очень был тому рад.

Не зная хорошенько времени, когда должен был последовать выпуск воспитанниц из Патриотического института, Гоголь сначала торопился отъездом. Это видно из записки Погодина ко мне, в которой он пишет, что Гоголь просит меня справиться об этом выпуске; но торопиться было

не к чему: выпуск последовал в декабре. Во всяком случае замедление отъезда происходило от нас. Я писал Гоголю 20-го октября, что, «желая непременно ехать вместе с вами, любезнейший Николай Васильевич, я обращаюсь к вам с вопросом, можете ли вы отложить свой отъезд до вторника? Если не можете, мы едем в воскресенье поутру». На той же записке Гоголь отвечал:

«Коли вам это непременно хочется и нужно и я могу сделать вам этим удовольствие, то готов отложить отъезд свой до вторника охотно».

Но и во вторник отъезд был отложен, и мы выехали в четверг после обеда 26-го октября (1839 г.). Я взял особый дилижанс, разделенный на два купе: в переднем сидел Миша и Гоголь, а в заднем — я с Верой. Оба купе сообщались двумя небольшими окнами, в которых деревянные рамки можно было поднимать и опускать: с нашей стороны в рамках были вставлены два зеркала. Это путешествие было для меня и для детей моих так приятно, так весело, что я и теперь вспоминаю о нем с удовольствием. Гоголь был так любезен, так постоянно шутлив, что мы помирали со смеху. Все эти шутки обыкновенно происходили на станциях или при разговорах с кондуктором и ямщиками. Самый обыкновенный вопрос или какое-нибудь требование Гоголь умел так сказать забавно, что мы сейчас начинали хохотать; иногда даже было нам совестно перед Гоголем, особенно когда мы бывали окружены толпою слушателей. В продолжение дороги, которая тянулась более четырех суток, Гоголь говорил иногда с увлечением о жизни в Италии, о живописи (которую очень любил и к которой имел решительный талант), об искусстве вообще, о комедии в особенности, о своем «Ревизоре», очень сожалея о том, что главная роль, Хлестакова, играется дурно в Петербурге и Москве, отчего пьеса теряла весь смысл (хотя в Москве он не видал «Ревизора» на сцене). Он предлагал мне, воротясь из Петербурга, разыграть «Ревизора» на домашнем театре; сам хотел взять роль Хлестакова, мне предлагал Городничего, Томашевскому (с которым я успел его познакомить), служившему цензором в Почтамте, назначал роль почтмейстера, и так далее. Много высказывал Гоголь таких ясных и верных взглядов на искусство, таких тонких пониманий художества, что я был очарован им. Большую же часть во время езды, закутавшись в шинель, подняв ее воротник выше головы, он читал какую-то книгу, которую прятал под себя или клал в мешок, который всегда выносил с собою на станциях. В этом огромном мешке находились принадлежности туалета: какое-то масло, которым он мазал свои волосы, усы и эспаньолку, несколько головных щеток, из которых одна была очень большая и кривая: ею Гоголь расчесывал свои длинные волосы. Тут же были ножницы, щипчики и щеточки для ногтей и, наконец, несколько книг. Сосед Гоголя, четырнадцатилетний наш Миша, живой и веселый, всегда показывал нам знаками, что делает

Гоголь, читает или дремлет. Миша подсмотрел даже, какую книгу он читал: это был Шекспир на французском языке.

Гоголь чувствовал всегда, особенно в сидячем положении, необыкновенную зябкость; без сомнения, это было признаком болезненного состояния нерв, которые не пришли еще в свое нормальное положение после смерти Пушкина. Гоголь мог согревать ноги только ходьбою и для того в дорогу он надел сверх сапогов длинные и толстые русские шерстяные чулки и сверх всего этого теплые медвежьи сапоги. Несмотря на то, он на каждой станции бегал по комнатам и даже улицам во все время, пока перекладывали лошадей, или просто ставил ноги в печку. Гоголь был тогда еще немножко гастрономом; он взял на себя распоряжение нашим кофеем, чаем, завтраком и обедом. Ехали мы чрезвычайно медленно, потому что лошади, возившие дилижансы, едва таскали ноги, и Гоголь рассчитал, что на другой день, часов в пять пополудни, мы должны приехать в Торжок, следственно должны там обедать и полакомиться знаменитыми котлетами Пожарского, и ради таковых причин дал нам только позавтракать, обедать же не дал. Мы весело повиновались такому распоряжению. Вместо пяти часов вечера мы приехали в Торжок в три часа утра. Гоголь шутил так забавно над будущим нашим утренним обедом, что мы с громким смехом взошли на лестницу известной гостиницы, а Гоголь сейчас заказал нам дюжину котлет с тем, чтоб других блюд не спрашивать. Через полчаса были готовы котлеты, и одна их наружность и запах возбудили сильный аппетит в проголодавшихся путешественниках. Котлеты были точно необыкновенно вкусны, но вдруг (кажется, первая Вера) мы все перестали жевать, а начали вытаскивать из своих ртов довольно длинные белокурые волосы. Картина была очень забавная, а шутки Гоголя придали столько комического этому приключению, что несколько минут мы только хохотали, как безумные. Успокоившись, принялись мы рассматривать свои котлеты, и что же оказалось? В каждой из них мы нашли по нескольку десятков таких же длинных белокурых волос! Как они туда попали, я и теперь не понимаю. Предположения Гоголя были одно другого смешнее. Между прочим он говорил с своим неподражаемым малороссийским юмором, что верно повар был пьян и не выспался, что его разбудили и что он с досады рвал на себе волосы, когда готовил котлеты; а может быть, он и не пьян и очень добрый человек, а был болен недавно лихорадкой, отчего у него лезли волосы, которые и падали на кушанье, когда он приготовлял его, потряхивая своими белокурыми кудрями. Мы послали для объяснения за половым, а Гоголь предупредил нас, какой ответ мы получим от полового: «Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда притти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перушки или пух, и проч., и проч.», В самую эту минуту вошел половой и на предложенный нами вопрос отвечал точно то же, что говорил Гоголь, многое даже теми же самыми словами. Хохот до того

овладел нами, что половой и наш человек посмотрели на нас, выпуча глаза от удивления, и я боялся, чтобы Вере не сделалось дурно. Наконец припадок смеха прошел. Вера попросила себе разогреть бульону; а мы трое, вытаскав предварительно все волосы, принялись мужественно за котлеты.

Так же весело продолжалась вся дорога. Не помню, где-то предлагали нам купить пряников. Гоголь, взявши один из них, начал с самым простодушным видом и серьезным голосом уверять продавца, что это не пряники; что он ошибся и захватил как-нибудь куски мыла вместо пряников, что и по белому их цвету это видно, да и пахнут они мылом, что пусть он сам отведает и что мыло стоит гораздо дороже, чем пряники. Продавец сначала очень серьезно и убедительно доказывал, что это точно пряники, а не мыло, и, наконец, рассердился. В моем рассказе ничего нет смешного, но, слушая Гоголя, не было возможности не смеяться.

Помню я также завтрак на станции в Померани, которая издавна славилась своим кофеем и вафлями, и еще более была замечательна, тогда уже старым, своим слугою, двадцать лет ходившим, повидимому, в одном и том же фраке, в одних и тех же чулках и башмаках с пряжками. Это был лакей высшего разряда, с самой представительной наружностью и приличными манерами. Его знала вся Россия, ездившая в Петербург. В какое бы время дня и ночи ни приехали порядочно одетые путешественники, особенно дамы, лакей-джентльмен являлся немедленно в полном своем костюме. Меня уверяли, что он всегда спал в нем, сидя на стуле. С этим-то интересным для Гоголя человеком умел он разговаривать так мастерски, впадая в его тон, что всегда хладнокровно-учтивый старик, оставляя вечно носимую маску, являлся другим лицом, так сказать, с внутренними своими чертами. В этом разговоре было что-то умилительно-забавное и для меня даже трогательное.

30-го октября* в восемь часов вечера приехали мы в Петербург. Не доезжая до Владимирской, где был дом Карташевских, Гоголь вышел из дилижанса, захватил свой мешок и простился с нами. Он не знал, где остановится: у Плетнева или у Жуковского. Он обещал немедленно прислать за своими вещами и чемоданом и уведомить нас о своей квартире; хотел также скоро побывать и сам. Но обещания Гоголя в этом роде были весьма неверны; в тот же самый вечер, но так поздно, что все уже легли спать, Гоголь приезжал сам, взял свой мешок и еще кое-что и сказал человеку, что пришлет за остальными вещами; но где живет, не сказал. На другой день я поехал его отыскивать, но не успел отыскать. По множеству моих разъездов, я не успел побывать у Плетнева, а у Жуковского Гоголя не оказалось. Наконец, 3-го ноября, я был у Гоголя. Он только что переехал к Жуковскому и обещал на другой день, то есть

4-го, приехать обедать к нам. Он очень мне обрадовался, но казался чем-то смущенным и уже не походил на прежнего, *дорожного* Гоголя. Он развеселился несколько, говоря, что возьмет своих сестер и опять вместе с нами поедет в Москву; хотел немедленно, как только можно будет переехать через Неву, повезти нас в Патриотический институт, чтоб познакомить с своими сестрами. Он не остался у нас обедать, потому что за ним прислал Жуковский. Я познакомил его с моими хозяевами. Гоголь всем не очень понравился, даже Машеньке. Вообще должно сказать, что, кроме Машеньки, никто не понимал и не ценил Гоголя как писателя. Гр. Ив. Карташевский даже и не читал его; но я надеялся, что он может и должен вполне оценить Гоголя, потому что в молодости, когда он был еще моим воспитателем, он страстно любил «Дон-Кихота», обожал Шекспира и Гомера и первый развил в моей душе любовь к искусству. Ожидания мои не оправдались, что увидим впоследствии.

5-го ноября, я еще не сходил сверху, потому что до половины второго просидел у меня Кавелин, только что успели прибежать ко мне Вера и Машенька, чтоб послушать «Арабески» Гоголя, которые я накануне купил для Машеньки, — как вбежал сам Гоголь, до того замерзший, что даже жалко и смешно было смотреть на него (в то время стояла в Петербурге страшная стужа, до двадцати трех градусов при сильном ветре); но потом, посогревшись, был очень весел и забавен с обеими девицами. Сидел очень долго и просидел бы еще дольше, но пришел Ив. Ив. Панаев: это напомнило Гоголю, что ему пора итти. Несмотря на то, что Гоголь показался всем очень веселым, внутренно он был чрезвычайно расстроен. 5-го же ноября он был у меня опять и открыл мне свое затруднительное положение. Он был обнадежен Жуковским, что сестры его получат вспоможение при выходе из института от щедрот государыни; но теперь никто не берется доложить ей о том, ибо по случаю нездоровья она не занимается делами, и беспокоить ее докладами считают неприличным. Гоголь сказал, что насчет его уже начались сплетни и что он горит нетерпением поскорее отсюда уехать. Очень просил, чтоб я с Верой и с ним съездил к его сестрам, и поручил мне в каждом письме писать к моей жене и Константину по пяти поклонов. Я был взволнован его положением и предложил ему все, что тогда у меня было, разумеется, безделицу; он сказал что-то весьма растроганным голосом и убежал. В тот же день я описал все подробно Ольге Семеновне, заметив, что, вероятно, Гоголю надобно много денег, что все это, как я надеюсь, поправится, а в противном случае — я поправлю.

Во всем круге моих старых товарищей и друзей, во всем круге моих знакомых я не встретил ни одного человека, кому бы нравился Гоголь и кто бы ценил его вполне. Даже никого, кто бы всего его прочел! О, Петербург, о, пошло-деловой, всегда равно отвратительный Петербург!

Вот, например, Владимир Иванович Панаев, тоже старый мой товарищ, литератор и член Российской Академии, с которым, разумеется, я никогда о Гоголе не рассуждал, вдруг спрашивает меня при многих свидетелях: «А что Гоголь? Опять написал что-нибудь смешное и неестественное?» Не помню, что я отвечал ему; но, вероятно, присутствие других спасло его от такого ответа, от которого не поздоровилось бы ему*.

В продолжение нескольких дней Гоголь еще надеялся на какие-то благоприятные обстоятельства; мы виделись с ним несколько раз, но на короткое время. Всякий раз уславливались, когда ехать к его сестрам, и всякий раз что-нибудь мешало.

Наконец 13-го ноября обедал у нас Гоголь. Григорий Иванович, который успел прочесть кое-что из него и всю ночь хохотал от «Вия»... увы, также не мог вполне понять художественное достоинство Гоголя; он почувствовал только один комизм его. Это не помешало ему быть вполне любезным по-своему с своим земляком. Гоголь за обедом вдруг спросил меня потихоньку: «Откуда этот превосходный портрет?» и указал на портрет Кирилловны, написанный Машенькой Карташевской. Я, разумеется, сейчас объяснил дело, и Машенька, которой по нездоровью не было за столом, также и Веры, была сердечно утешена отзывом Гоголя. После обеда он смотрел портрет Веры, начатый Машенькой, и портрет нашей Марихен*, сделанный Верой, и чрезвычайно хвалил, особенно портрет Марихен, и в заключение сказал, что им нужно коротко познакомиться с Вандиком, чтоб усовершенствоваться. Оба друга были в восхищении. Я объяснил ему, какое прекрасное существо Машенька Карташевская. После обеда Гоголь долго говорил с Григорием Ивановичем об искусстве вообще: о музыке, живописи, о театре и характере малороссийской поэзии; говорил удивительно хорошо! Все было так ново, свежо и истинно! И какой же вышел результат? Григорий Иванович, этот умный, высоконравственный, просвещенный и доступный пониманию некоторых сторон искусства человек, сказал нам с Верой: что малороссийский народ пустой, что и Гоголь сам точно такой же хохол, каких он представляет в своих повестях, что ему мало одного, что он хочет быть и музыкантом, и живописцем, и начал бранить его за то, что он предался Италии. Это меня сердечно огорчило, и Вера печально сказала мне: «Что после этого и говорить, если Григорий Иванович не может понять, какое глубокое и великое значение имеет для Гоголя вообще искусство, в каких бы оно формах ни проявлялось!»

13-го ноября этого года осталось для меня незабвенным днем на всю мою жизнь. После обеда, часов в семь, мы ушли с Гоголем наверх, чтоб поговорить наедине. Когда я позвал Гоголя, обнял его одной рукою и повел таким образом наверх, то на лице его изобразилось такое

волнение и смущение... Нет, оба эти слова не выражают того, что выражалось на его лице! Я почувствовал, что Гоголь, предвидя, о чем я буду говорить с ним, терзался внутренне, что ему это было больно, неприятно, унизительно. Мне вдруг сделалось так совестно, так стыдно, что я привожу в неприятное смущение, даже какую-то робость этого гениального человека, — и я на минуту поколебался: говорить ли мне с ним об его положении? Но, взойдя наверх, Гоголь преодолел себя и начал говорить сам.

Его обстоятельства были следующие: Жуковский уверил его через письмо еще в Москву, что императрица пожалует его сестрам при выходе из института по крайней мере по тысяче рублей (что, впрочем, я уже отчасти знал). С этой верной надеждой он приехал в Петербург; но она не сбылась по нездоровью государыни, и неизвестно, когда сбудется. К довершению всего, Гоголь потерял свой бумажник с деньгами, да еще записками, для него очень важными. Об этом было публиковано в полицейской газете; но, разумеется, бумажник не нашелся, именно потому, что в нем были деньги. Кроме того, что ему надобно было одеть сестер и довезти до Москвы, он должен заплатить за какие-то уроки... Что делать? К кому обратиться? Все кругом холодно, как лед, а денег ни гроша! У людей близких, то есть у Жуковского и Плетнева, он почему-то денег просить не мог (вероятно, он им был должен). Просить у других, не имея на то никакого права, считал он унизительным, бесчестным и даже бесполезным. Хотя я живо помню, но пересказать не умею, как вскипела моя душа. Прерывающимся от внутреннего чувства, но в то же время твердым голосом я сказал ему, что я могу без малейшего стеснения, совершенно свободно располагать 2000 рублей; что ему будет грех, если он, хотя на одну минуту, усумнится; что не он будет должен мне, а я ему; что помочь ему в затруднительном положении я считаю самою счастливою минутой моей жизни; что я имею право на это счастье по моей дружбе к нему; имею право даже на то, чтобы он взял эту помощь без малейшего смущения, и не только без неприятного чувства, но с удовольствием, которое чувствует человек, доставляя удовольствие другому человеку. — Видно, в словах моих и на лице моем выражалось столько чувства правды, что лицо Гоголя не только прояснилось, но сделалось лучезарным. Вместо ответа он благодарил бога за эту минуту, за встречу на земле со мной и моим семейством, протянул мне обе свои руки, крепко сжал мои и посмотрел на меня такими глазами, какими смотрел, за несколько месяцев до своей смерти, уезжая из нашего Абрамцева в Москву и прощаясь со мной не надолго. Я верю, что в нем это было предчувствие вечной разлуки... Гоголь не скрыл от меня, что знал наперед, как поступлю я; но что в то же время знал через Погодина и Шевырева о моем нередко затруднительном положении, знал, что я иногда сам нуждаюсь в деньгах и что мысль быть причиною какого-нибудь лишения целого огромного семейства его терзала, и потому-то было так ему тяжело признаваться мне в своей

бедности, в своей крайности; что, успокоив его на мой счет, я свалил камень, его давивший, что ему теперь легко и свободно. Он с любовью и радостью начал говорить о том, что у него уже готово в мыслях и что он сделает по возвращении в Москву; что кроме труда, завещанного ему Пушкиным, совершение которого он считает задачею своей жизни, то есть «Мертвые души», — у него составлена в голове трагедия из истории Запорожья, в которой все готово, до последней нитки, даже в одежде действующих лиц; что это его давнишнее, любимое дитя, что он считает, что эта пьеса будет лучшим его произведением и что ему будет слишком достаточно двух месяцев, чтобы переписать ее на бумагу*. Он говорил о моем семействе, которое вполне понимал и ценил; особенно о моем Константине, которого нетерпеливо желал перенести из отвлеченного мира мысли в мир искусства, куда, несмотря на философское направление, влекло его призвание. Сердца наши были переполнены чувством; я видел, что каждому из нас нужно было остаться наедине. Я обнял Гоголя, сказал ему, что мне необходимо надобно ехать, и просил, чтобы завтра, после обеда, он зашел ко мне или назначил мне час, когда я могу приехать к нему с деньгами, которые спрятаны у моей сестры; что никто, кроме Константина и моей жены, знать об этом не должен. Гоголь, спокойный и веселый, ушел от меня. Я, конечно, был вполне счастлив; но денег у меня не было. Надобно было их достать, что не составляло трудности, и я сейчас написал записку и попросил на две недели 2000 рублей[88] к известному богачу, очень замечательному человеку по своему уму и душевным свойствам, разумеется, весьма односторонним — откупщику Бенардаки, с которым был хорошо знаком. Он отвечал мне, что завтра поутру приедет сам для исполнения моего «приказания». Эта любезность была исполнена в точности. В тот же вечер я не вытерпел и нарушил обещание, добровольно данное Гоголю; я не мог скрыть моего восторженного состояния от Веры и друга ее Машеньки Карташевской, которую любил, как дочь (впрочем, они были единственным исключением). Обе мои девицы пришли в восхищение. 14-го ноября Гоголь ко мне не приходил. 15-го я писал ему записку и звал за *нужным*. Гоголь не приходил. 16-го я поехал к нему сам, но не застал его дома. Зная от Бенардаки, который 14-го числа сам привез мне поутру 2000 рублей, что именно 16-го Гоголь обещал у него обедать, я написал записку к Гоголю и велел человеку дожидаться его у Бенардаки; но Гоголь обманул и не приходил обедать. На меня напало беспокойство и сомнение, что Гоголь раздумал взять у меня деньги. Замечательно, что этот грек Бенардаки, очень умный, но без образования, был единственным человеком в Петербурге, который назвал Гоголя гениальным писателем и знакомство с ним ставил себе за большую честь!*

В этот же день, 16-го ноября, обедали у Карташевских два тайных советника: весьма известный и любимый прежде литератор Хмельницкий и другой, тоже литератор, мало известный, но не без

дарования, Марков. Несколько раз разговор обращался на Гоголя. Боже мой, что они говорили, как они понимали его — этому трудно поверить! Я тогда же написал об них в письме к моей жене, что это были калибаны* в понимании искусства, и это совершенная правда. Зная свою горячность, резкость и неумеренность в своих выражениях, я молил только бога, чтоб он дал мне терпение и положил хранение устам моим. Я ходил по зале с Верой и Машенькой, где, однако, были слышны все разговоры, и удивлялся вместе с ними крайнему тупоумию и невежеству высшей петербургской публики, как служебной, так и литературной. Брату Николаю Тимофеевичу было даже совестно за старинного его приятеля Хмельницкого, а Григорию Ивановичу — за Маркова. Наконец терпение мое лопнуло; я подошел к ним и с убийственным выражением сказал: «Ваши превосходительства, сядемте-ка лучше в карты!»

Только что мы кончили игру, в которую я с злобным удовольствием обыграл всех трех тайных советников, как пришел ко мне Гоголь. Я выбежал к нему навстречу и увел его наверх. Слава богу, все исполнилось по моему желанию! Гоголь взял деньги и был спокоен, даже весел. Он не приходил ко мне, потому что переезжал от Плетнева к Жуковскому во дворец. Впрочем, я не вполне поверил его словам, потому что на его переезд достаточно было одного часа, и у меня осталось сомнение, что Гоголь колебался взять у меня деньги и, может быть, даже пробовал достать их у кого-нибудь другого. На другой день мы назначили ехать с ним в Патриотический институт.

Должно упомянуть, что в это время вышли из печати вторые «Три повести» Павлова*, что, сравнивая их с прежними, многие нападали на них, а Гоголь постоянно защищал, доказывая, что они имеют свое неотъемлемое достоинство: наблюдательный ум сочинителя и прекрасный язык, и что они нисколько не хуже первых.

Наконец 17-го ездили мы с Верой и с Гоголем к его сестрам. Гоголь был нежный брат, он боялся, что сестры его произведут на нас невыгодное впечатление; он во всю дорогу приготовлял нас, рассказывая об их неловкости и застенчивости и неумении говорить. Мы нашли их точно такими, как ожидали, то есть совершенными монастырками. Вера старалась обласкать их как можно больше; они были уверены, что в следующий четверг, 23 ноября, едут вместе с нами в Москву. Гоголь просил нас обмануть их, кажется, для того, чтобы заранее взять их из института, с которым они не хотели расстаться, задолго до отъезда. Меньшая, Лиза, веселая и живая, была любимицей брата. Может быть, и сам Гоголь этого не знал, но мы заметили. Из института мы завезли Гоголя на его квартиру у Жуковского, который жил во дворце, потому что Гоголь, давши слово обедать с нами у Карташевских, сказал нам, что ему нужно чем-то дома распорядиться. Мы дожидались его с четверть часа и не вдруг заметили, что он бегал на квартиру для того, чтоб надеть

фрак. Гоголь сказал нам, что на другой день он перевозит сестер своих к княгине Репниной (бывшей Балабиной), у которой они останутся до отъезда. Гоголю совестно было оставлять их там слишком долго, и потому Гоголь просил меня ускорить наш отъезд из Петербурга. Это приводило меня в большое затруднение, потому что судьба моего Миши не была устроена, и отъезд мой мог быть отложен очень надолго. Я не вдруг даже решился сказать об этом Гоголю, потому что такое известие было бы для него ударом. Ему казалось невозможным ехать одному с сестрами, которые семь лет не выезжали из института, ничего не знали и всего боялись. Впоследствии мы испытали на деле, что опасения Гоголя были справедливы. Последующие дни Гоголь не так часто виделся с нами, потому что очень занимался своими сестрами: он сам покупал все нужное для их костюма, нередко терял записки нужных покупок, которые они ему давали, и покупал совсем не то, что было нужно; а между тем у него была маленькая претензия, что он во всем знает толк и умеет купить хорошо и дешево. Когда же Гоголь сидел у меня, то любимый его разговор был о том, как он весною увезет с собою Константина в Италию и как благотворно подействует на него эта классическая страна искусства. Я предупредил его, что мы не можем скоро ехать и чтоб он нас не дожидался. Гоголь с тяжелым вздохом признался мне, что без нас никак не может ехать и потому будет ждать нашего отъезда, как бы он поздно ни последовал. Очень жаловался на юродство институтского воспитания и говорил, что его сестры не умеют даже ходить по-человечески. Он хотел на-днях привести их к нам, чтоб познакомить с сестрой Надиной и ее дочерьми. Гоголь опять читал повести Павлова, опять многое хвалил и говорил, что они имеют свое неотъемлемое достоинство.

24-го ноября Гоголь сидел у меня целое утро и сказал мне между прочим, что здешние мерзости не так уже его оскорбляют, что он впадает в апатию и что ему скоро будет все равно, как бы о нем ни думали и как бы с ним ни поступали. Совестно было мне оставлять его долго в этом положении и отнимать у него время, которое, может быть, была бы творчески плодотворно в Москве. К тому же сестры его грустили по институту, и дальнейшее пребывание их у княгини Репниной было для него тягостно. Но что же было мне делать? Нельзя же мне было пожертвовать для этого существенно важными обстоятельствами для собственного моего семейства!

26-го ноября давали «Ревизора». У нас было два бельэтажа, но я никак не мог уговорить Гоголя ехать с нами. Он верно рассчитал, до чего должно было дойти его представление в течение четырех лет: «Ревизора» нельзя было видеть без отвращения, все актеры впали в отвратительную карикатуру. Сосницкий сначала был недурен; много было естественности и правды в его игре; слышно было, что Гоголь сам два раза читал ему «Ревизора», он перенял кое-что и еще не забыл; но

как скоро дошло до волнений духа, до *страсти*, говоря по-театральному, — Сосницкий сделался невыносимым ломакой, балаганным паясом.

На другой день поутру я поехал к Гоголю. Мне сказали, что его нет дома, и я зашел к его хозяину, к Жуковскому. Я не был с ним коротко знаком, но по Кавелину и Гоголю он хорошо меня знал. Я засиделся у него часа два. Говорили о Гоголе. Я не могу умолчать, несмотря на все мое уважение к знаменитому писателю и еще большее уважение к его высоким нравственным достоинствам, что Жуковский не вполне ценил талант Гоголя. Я подозреваю в этом даже Пушкина, особенно потому, что Пушкин погиб, зная только наброски первых глав «Мертвых душ»*. Оба они восхищались талантом Гоголя в изображении пошлости человеческой, его неподражаемым искусством схватывать вовсе незаметные черты и придавать им такую выпуклость, такую жизнь, такое внутреннее значение, что каждый образ становился живым лицом, совершенно понятным и незабвенным для читателя, восхищались его юмором, комизмом, — и только. Серьезного значения, мне так кажется, они не придавали ему. Впрочем, должно предположить по письмам и отзывам Жуковского, что он не понимал Гоголя вполне. Жуковский также много говорил со мной о Милькееве, принимая теплое участие в его судьбе. Он читал мне многие его письма, которые несравненно лучше его стихов, имеющих также достоинство, хотя одностороннее. Письма Милькеева очень меня разогрели, и я разделял надежды Жуковского, не оправдавшиеся впоследствии. Наконец я простился с ласковым хозяином и сказал, что зайду узнать, не воротился ли Гоголь, которого мне нужно видеть. «Гоголь никуда не уходил, — сказал Жуковский, — он дома и пишет. Но теперь пора уже ему гулять. Пойдемте». И он провел меня через внутренние комнаты к кабинету Гоголя, тихо отпер и отворил дверь. Я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спензер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы очевидно ему помешали. Он долго, *не зря, смотрел* на нас, по выражению Жуковского, но костюмом своим нисколько не стеснялся. Жуковский сейчас ушел, и я, скрепя сердце, сказал Гоголю, что мы поедем из Петербурга после 6-го декабря. Он был очень огорчен, но отвечал, что делать нечего и что он покоряется своей участи. Я звал его гулять, но он возразил, что еще рано. Я, увидев, что ему надобно было что-то кончить, сейчас с ним простился.

29-го ноября, перед обедом, Гоголь привозил к нам своих сестер. Их разласкали донельзя, даже больная моя сестра встала с постели, чтоб

принять их; но это были такие дикарки, каких и вообразить нельзя. Они стали несравненно хуже, чем были в институте: в новых длинных платьях совершенно не умели себя держать, путались в них, беспрестанно спотыкались и падали, от чего приходили в такую конфузию, что ни на один вопрос ни слова не отвечали. Жалко было смотреть на бедного Гоголя.

Мы условились с ним послезавтра в одно время приехать в Эрмитаж: мы с <В. И.> Панаевым, который доставил нам вечный билет для входа, а Гоголь с сестрами и с Балабиной. Гоголь предлагал Верочке и Машеньке осмотреть картины Жуковского, между которыми были очень замечательные, и также его чудесный альбом, стоивший, как говорили, тысяч сорок. Разумеется, это надо было сделать в отсутствие хозяина, что мои девицы находили не совсем удобным. В Эрмитаже мы были 1-го декабря с Панаевым до двух часов, а потом с каким-то чичероне вплоть до сумерек. Уже в последних комнатах, перед самым выходом, встретили мы сестер Гоголя с старухой Балабиной и ее дочерью; но сам Гоголь не приезжал. Сестры его сказали нам, что они сейчас от Жуковского; они, вероятно, осматривали картины и знаменитый альбом.

2-го декабря был у нас Гоголь, и мы вновь опечалили его известием, что и после 6-го декабря отъезд наш на несколько дней отлагается. 3-го декабря я читал «Арабески» Григорию Ивановичу, Машеньке и Верочке. Я прочел «Жизнь», «Невский проспект», с некоторыми выпусками, и «Записки сумасшедшего». Григорий Иванович очень хвалил, а Машенька и Вера были в восхищении и тронуты до слез. До 6-го декабря мы виделись с Гоголем один раз на короткое время. 6-го декабря я ездил в Царское Село, и надежда на помещение Миши в лицей разрушилась. Я решился поместить его или в экстерны Пажеского корпуса, или в Юнкерскую школу. 7-го декабря я написал к Гоголю обо всем случившемся со мной и также о том, что теперь я сам не знаю, когда поеду, и чтоб он не ждал меня. Я получил ответ самый нежный и грустный.[89] Гоголь обвинял в моей неудаче свою несчастную судьбу, не хотел без меня ехать и жалел только о том, что я огорчен. Жестокие морозы повергли его в уныние, и вдобавок он отморозил ухо. Он хотел приехать ко мне на другой день; но я намеревался предупредить его, потому что он очень легко одет. Гоголь не стал дожидаться следующего дня; он приехал ко мне в тот же день после обеда, сильно расстроенный моею неудачей, и утешал меня, сколько мог, даже вызвался разведать об учителях Юнкерской школы. Он так страдал от стужи, что у нас сердце переболело глядя на него.

До 11-го декабря мы не видали Гоголя; морозы сделались сноснее, и он, узнав от меня, что я не могу ничего положительного сказать о своем отъезде, решался через неделю уехать один с сестрами. 13-го Гоголь был у нас, и так как мы решились через несколько дней непременно ехать,

то, разумеется, условились ехать вместе. Федор Иванович Васьков также вызвался ехать с нами. 15-го Гоголь вторично привозил своих сестер; они стали гораздо развязнее, много говорили и были очень забавны. Они нетерпеливо желали уехать поскорее в Москву. Много раз уже назначался день нашего отъезда и много раз отменялся по самым неожиданным причинам, и Гоголь полагал, что именно ему что-то постороннее мешает выехать из Петербурга.

Наконец, дня через два (настоящего числа не знаю), выехали мы из Петербурга*. Я взял два особых дилижанса: один четвероместный, называющийся фамильным, в котором сели Вера, две сестры Гоголя и я; другой двуместный, в котором сидели Гоголь и Фед. Ив. Васьков. Впрочем, в продолжение дня Гоголь станции на две садился к сестрам, а я — на его место к Васькову.

Несмотря на то, что Гоголь нетерпеливо желал уехать из Петербурга, возвратный наш путь совсем не был так весел, как путь из Москвы в Петербург. Во-первых, потому что Васьков, хотя был самое милое и доброе существо, был мало знаком с Гоголем, и во-вторых, потому что последнего сильно озабочивали и смущали сестры. Уродливость физического и нравственного институтского воспитания высказывалась тут выпукло и ярко. Ничего, конечно, не зная и не понимая, они всего боялись, от всего кричали и плакали, особенно по ночам. Принужденность положения в дороге, шубы, платки и теплая обувь наводили на них тоску, так что им делалось и тошно, и дурно. К тому же, как совершенные дети, беспрестанно ссорились между собою. Все это приводило Гоголя в отчаяние и за настоящее и за будущее их положение. Надобно сказать правду, что бедной Верочке много было хлопот и забот, и я удивлялся ее терпению. Я не знаю, что стал бы с ними делать Гоголь без нее. Они бы свели его с ума. Жалко и смешно было смотреть на Гоголя; он ничего не разумел в этом деле, и все его приемы и наставления были некстати, не у места, не во-время и совершенно бесполезны, и гениальный поэт был в этом случае нелепее всякого пошлого человека. Один Васьков смешил меня всю дорогу своими жалобами. Мы пленили его описанием веселого нашего путешествия с Гоголем в Петербург; он ожидал того же на возвратном пути, но вышло совсем напротив. Когда Гоголь садился вместе с Васьковым, то сейчас притворялся спящим и в четверо суток не сказал ни одного слова; а Васьков, любивший спать днем, любил поговорить вечером и ночью.

Он заговорил с своим соседом, но мнимоспящий Гоголь не отвечал ни слова. Всякое утро Васьков прекомически благодарил меня за приятного соседа, которого он досыта наслушался и нахохотался. На станциях, во время обедов и завтраков, чая и кофе, не слыхали мы ни одной шутки от Гоголя. Он и Вера постоянно были заняты около капризных

патриоток, на которых угодить не было никакой возможности, которым все не нравилось, потому что не было похоже на их институт, и которые буквально почти ничего не ели, потому что кушанья были не так приготовлены, как у них в институте. Можно себе представить, что точно такая же история была в Петербурге у княгини Репниной! Каково было смотреть на все это бедному Гоголю? Он просто был мученик.

Наконец на пятые сутки притащились мы в Москву. Натурально сначала все приехали к нам. Гоголь познакомил своих сестер с моей женой и с моим семейством и перевез их к Погодину, у которого и сам поместился. Они занимали мезонин: на одной стороне жил Гоголь, а на другой его сестры.

Тут начались наши почти ежедневные свидания. 2-го января Ольга Семеновна с Верой уехала в Курск. Третьего числа, часа за два до обеда, вдруг прибегает к нам Гоголь (меня не было дома), вытаскивает из карманов макароны, сыр-пармезан и даже сливочное масло и просит, чтоб призвали повара и растолковали ему, как сварить макароны. В обыкновенное время обеда Гоголь приехал к нам с Щепкиным, но меня опять не было дома: я поехал выручать свою шубу, которою обменялся с кем-то в Опекунском совете. По необыкновенному счастью, я нашел свою прекрасную шубу, висящую на той же вешалке: хозяин дрянной шубы, которую я надел вместо своей, видно еще не кончил своих дел и оставался почти уже в опустевшей зале Опекунского совета. Чрезвычайно обрадованный, я возвратился весел домой, где Гоголь и Щепкин уже давно меня ожидали. Гоголь встретил меня следующими словами: «Вы теперь сироты, и я привез макарон, сыру и масла, чтоб вас утешить. Я же слышал, что вы такой славный мех подцепили, что в нем есть не только звери, но и птицы и чорт знает что такое». Когда подали макароны, которые, по приказанию Гоголя, не были доварены, он сам принялся стряпать. Стоя на ногах перед миской, он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и, наконец, сыр и продолжал долго мешать. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя; он так от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло, и я подумал, что если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром. Как скоро оказался признак, что макароны готовы, то есть когда распустившийся сыр начал тянуться нитками, Гоголь с великою торопливостью заставил нас положить себе на тарелки макарон и кушать. Макароны точно были очень вкусны, но многим показались не доварены и слишком посыпаны перцем; но Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувствовал потом никакой тягости, на которую некоторые потом жаловались. В этот день бедный Константин должен был встать из-за стола и, не дообедавши, уехать, потому что он дал слово

обедать у Горчаковых, да забыл. Особенно было это ему тяжело, потому что мы не переставали надеяться, что Гоголь что-нибудь нам прочтет; но это случилось еще не скоро. Во все время пребывания Гоголя в Москве макароны появлялись у нас довольно часто. На другой день получил я письмо от И. И. Панаева, в котором он от имени Одоевского, Плетнева, Врасского, Краевского и от себя умолял, чтоб Гоголь не продавал своих прежних сочинений Смирдину за пять тыс. (и новой комедии в том числе), особенно потому, что *новая комедия* будет напечатана в «Сыне отечества» или «Библиотеке для чтения»; а Врасский предлагает шесть тысяч с правом напечатать новую комедию в «Отечественных записках». Я очень хорошо понял благородную причину, которая заставила Гоголя торопиться продажею своих сочинений, для чего он поручил все это дело Жуковскому; но о новой комедии мы не слыхали. Я немедленно поехал к Гоголю, и, разумеется, ни той, ни другой продажи не состоялось. Под *новой комедией*, вероятно, разумелись разные отрывки из недописанной Гоголем комедии, которую он хотел назвать: «Владимир третьей степени». Я не могу утвердительно сказать, почему Гоголь не дописал этой комедии; может быть, он признал ее в полном составе неудобною в цензурном отношении, а может быть, был недоволен ею, как взыскательный художник*.

Через несколько дней, а именно в субботу, обедал у нас Гоголь с другими гостями; в том числе были <Ю. Ф.> Самарин и Григорий Толстой, давнишний мой знакомый и товарищ по театру, который жил в Симбирске и приехал в Москву на короткое время и которому очень хотелось увидать и познакомиться с Гоголем. Гоголь приехал к обеду несколькими минутами ранее обыкновенного и сказал, что он пригласил ко мне обедать незнакомого мне гостя графа Владимира Соллогуба. Если б это сделал кто-нибудь другой из моих приятелей, то я бы был этим недоволен; но все приятное для Гоголя было и для меня приятно. Дело состояло в том, что Соллогуб был в Москве проездом, давно не видался с Гоголем, в этот же вечер уезжал в Петербург и желал пробыть с ним несколько времени вместе. Гоголь, не понимавший неприличия этого поступка и не знавший, может быть, что Соллогуб, как человек, мне не нравился, пригласил его отобедать у нас. Через несколько минут вошел Толстой и сказал, что Соллогуб стоит в лакейской и что ему совестно войти. Я вышел к нему и принял его ласково и нецеремонно. Гоголь опять делал макароны и был очень весел и забавен. Соллогуб держал себя очень скромно, ел за троих и не позволял себе никаких выходок, которые могли бы назваться неучтивостью по нашим понятиям и которыми он очень известен в так называемом большом кругу. С этого дня Гоголь уже обыкновенно по субботам приготовлял макароны. Он приходил к нам почти всякий день и обедал раза три в неделю, но всегда являлся неожиданно. В это время мы узнали, что Гоголь очень много работал, но сам он ничего о том не говорил. Он приходил к нам отдыхать от своих творческих трудов,

поговорить вздор, пошутить, поиграть на бильярде, на котором, разумеется, играть совершенно не умел, но Константину удавалось иногда затягивать его в серьезные разговоры об искусстве вообще. Я мало помню таких разговоров, но заключаю о них по письмам Константина, которые он писал около 20-го января к Вере в Курск и к Мише в Петербург. Вот что он говорит в одном своем письме: «Чем более я смотрю на него, тем более удивляюсь и чувствую всю важность этого человека и всю мелкость людей, его не понимающих. Что это за художник! Как полезно с ним проводить время! Как уясняет он взгляд в мир искусства! Недавно я написал письмо об этом к Мише, серьезное и важное, которое вылилось у меня из души».

В это время приехал Панов из деревни. Он вполне понимал и ценил Гоголя. Разумеется, мы сейчас их познакомили, и Панов привязался всею своею любящею душою к великому художнику. Он скоро доказал свою привязанность убедительным образом.

Так шло время до возвращения Ольги Семеновны с Верой и с Соничкой Самборской из Обояни. Они воротились, кажется, 2-го или 3-го февраля, вероятно, в субботу, потому что у нас обедал Гоголь и много гостей. Достоверно, что во время их отсутствия, продолжавшегося ровно месяц, Гоголь нам ничего не читал; но когда начал он читать нам «Мертвые души», то есть которого именно числа, письменных доказательств нет. Легко может быть, что он читал один или два раза по возвращении нашем из Петербурга, от 23-го декабря до 2-го января, потому что в письмах Веры к Машеньке Карташевской есть известие, от 14-го февраля, что мы слушали уже итальянскую его повесть («Анунциату») и что 6-го марта Гоголь прочел нам уже четвертую главу «Мертвых душ».

8-го марта, при многих гостях, совершенно неожиданно для нас, объявил Гоголь, что хочет читать. Разумеется, все пришли в восхищение от такого известия, и все соединились в гостиной. Гоголь сел за боковой круглый стол, вынул какую-то тетрадку, вдруг икнул и, опустив бумагу, сказал, *как он объелся грибков*. Это было начало комической сцены, которую он нам и прочел. Он начал чтение до такой степени натурально, что ни один из присутствующих не догадался, что слышит сочинение*. Впрочем, не только начало, но и вся сцена была точно также читана естественно и превосходно. После этого, в одну из суббот, он прочел пятую главу, а 17-го апреля, тоже в субботу, он прочел нам, перед самой заутреней светлого воскресенья, в маленьком моем кабинете, шестую главу, в которой создание Плюшкина привело меня и всех нас в великий восторг. При этом чтении был Армфельд, приехавший просто поиграть со мной в пикет до заутрени, и Панов, который приехал в то время, когда уже Гоголь читал, и чтоб не помешать этому чтению, он сидел у двери другого моего кабинетца. Панов пришел в упоение и тут же решился пожертвовать всеми своими расчетами и ехать вместе с Гоголем в

Италию. Я уже говорил о том, как нужен был товарищ Гоголю и что он напрасно искал его*. После чтения мы все отправились в Кремль, чтоб услышать на площади первый удар колокола Ивана Великого. Похристосовавшись после заутрени с Гоголем, Панов сказал ему, что едет с ним в Италию, чему Гоголь чрезвычайно обрадовался.

Перед святой неделей приехала мать Гоголя с его меньшой сестрой. Взглянув на Марью Ивановну (так зовут мать Гоголя) и поговори с ней несколько минут от души, можно было понять, что у такой женщины мог родиться такой сын. Это было доброе, нежное, любящее существо, полное эстетического чувства, с легким оттенком самого кроткого юмора. Она была так моложава, так хороша собой, что ее решительно можно было назвать только старшею сестрою Гоголя. Натурально, Марья Ивановна жила вместе с своими дочерьми также у Погодина.

В это пребывание свое в Москве Гоголь играл иногда в домино с Константином и Верой, и она проиграла ему дорожный мешок (sac de voyage). Гоголь взял обещание с Веры, что она напишет ему масляными красками мой портрет, на что Вера согласилась с тем, чтобы он прислал нам свой, и он обещал.

Я не говорил о том, какое впечатление произвело на меня, на все мое семейство, а равно и на весь почти наш круг знакомых, когда мы услышали первое чтение первой главы «Мертвых душ». Это был восторг упоения, полное счастье, которому завидовали все, кому не удалось быть у нас во время чтения; потому что Гоголь не вдруг стал читать у других своих знакомых.

Приблизился день именин Гоголя, 9-е мая, и он захотел угостить обедом всех своих приятелей и знакомых в саду у Погодина. Можно себе представить, как было мне досадно, что я не мог участвовать в этом обеде: у меня сделался жестокий флюс от зубной боли, с сильной опухолью. Несмотря на то, я приехал в карете, закутав совершенно свою голову, чтобы обнять и поздравить Гоголя; но обедать на открытом воздухе, в довольно прохладную погоду, не было никакой возможности. Разумеется, Константин там обедал и упросил именинника позвать Самарина, с которым Гоголь был знаком еще мало. На этом обеде, кроме круга близких приятелей и знакомых, были: А. И. Тургенев*, князь П. А. Вяземский, Лермонтов*, М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, Загоскин, профессора Армфельд и Редкин, и многие другие. Обед был веселый и шумный, но Гоголь, хотя был также весел, но как-то озабочен, что, впрочем, всегда с ним бывало в подобных случаях. После обеда все разбрелись по саду, маленькими кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри», и читал, говорят, прекрасно. Константин не слыхал чтения, потому что в это время находился в другом конце обширного сада с кем-то из своих приятелей. Потом все собрались в беседку, где Гоголь,

собственноручно, с особенным старанием, приготовлял жженку. Он любил брать на себя приготовление этого напитка, причем говаривал много очень забавных шуток. Вечером приехали к имениннику пить чай, уже в доме, несколько дам: А. П. Елагина, Е. А. Свербеева, Е. М. Хомякова и Черткова. На вечер многие из гостей отправились к Павловым, куда Константин, будучи за что-то сердит на Павлова, не поехал.

Последнюю неделю своего пребывания в Москве Гоголь был у нас всякий день и пять раз обедал, по большей части с своей матерью и сестрами. Отъезд Гоголя с Пановым был назначен на 17-ое мая.

Гоголь с сестрой своей Лизой был с моими детьми в театре. Играла m-lle Allan, приехавшая из Петербурга; после спектакля он хотел ехать; но, за большим разгоном, лошадей не достали, и Гоголь с сестрою ночевали у нас. На другой день, 18-го мая, после завтрака, в 12 часов, Гоголь, простившись очень дружески и нежно с нами и с сестрой, которая очень плакала, сел с Пановым в тарантас, я с Константином и Щепкин с сыном Дмитрием поместились в коляске, а Погодин с зятем своим Мессингом — на дрожках, и выехали из Москвы. В таком порядке ехали мы с Поклонной горы по Смоленской дороге, потому что путешественники наши отправлялись через Варшаву. На Поклонной горе мы вышли все из экипажей, полюбовались на Москву; Гоголь и Панов, уезжая на чужбину, простились с ней и низко поклонились. Я, Гоголь, Погодин и Щепкин сели в коляску, а молодежь поместилась в тарантасе и на дрожках. Так доехали мы до Перхушкова, то есть до первой станции. Дорогой был Гоголь весел и разговорчив. Он повторил свое обещание, сделанное им у меня в доме за завтраком и еще накануне за обедом, что через год воротится в Москву и привезет первый том «Мертвых душ» совершенно готовый для печати. Это обещание он сдержал, но тогда мы ему не совсем верили. Нам очень не нравился его отъезд в чужие края, в Италию, которую, как нам казалось, он любил слишком много. Нам казалось непонятным уверение Гоголя, что ему надобно удалиться в Рим, чтоб писать об России; нам казалось, что Гоголь не довольно любит Россию*, что итальянское небо, свободная жизнь посреди художников всякого рода, роскошь климата, поэтические развалины славного прошедшего, все это вместе бросало невыгодную тень на природу нашу и нашу жизнь. В Перхушкове мы обедали, выпили здоровье отъезжающих; Гоголь сделал жженку, не потому, чтоб мы любили выпить, а так, ради воспоминания подобных оказий. Вскоре после обеда мы сели, по русскому обычаю, потом помолились. Гоголь прощался с нами нежно, особенно со мной и Константином, был очень растроган, но не хотел этого показать. Он сел в тарантас с нашим добрым Пановым, и мы стояли на улице до тех пор, пока экипаж не пропал из глаз. Погодин был искренно расстроен, а Щепкин заливался слезами. Я, Щепкин, Погодин и Константин сели в коляску, а Митя Щепкин и Мессинг на

дрожки. На половине дороги, вдруг откуда ни взялись, потянулись с северо-востока черные, страшные тучи и очень быстро и густо заволокли половину неба и весь край западного горизонта; сделалось очень темно, и какое-то зловещее чувство налегло на нас. Мы грустно разговаривали, применяя к будущей судьбе Гоголя мрачные тучи, потемнившие солнце; но не более как через полчаса мы были поражены внезапною переменою горизонта: сильный северо-западный ветер рвал на клочки и разгонял черные тучи, в четверть часа небо совершенно прояснилось, солнце явилось во всем блеске своих лучей и великолепно склонялось к западу. Радостное чувство наполнило наши сердца. Не трудно было составить благоприятное толкование небесного знаменья. Каких блистательных надежд, каких великих созданий и какого полного торжества его славы мы не могли ожидать в будущем! Это явление произвело на нас с Константином, особенно на меня, такое сильное впечатление, что я во всю остальную жизнь Гоголя никогда не смущался черными тучами, которые не только затемняли его путь, но даже грозили пресечь его существование, не дав ему кончить великого труда. До самого последнего страшного известия я был убежден, что Гоголь не может умереть, не совершив дела, свыше ему предназначенного.

Обращаюсь назад. По возвращении из Петербурга, прожив несколько времени вместе с матерью и сестрами в доме Погодина, Гоголь уверил себя, что его сестры, *патриотки* (как их называют), которые по-ребячьи были очень несогласны между собой, не могут ехать вместе с матерью в деревню, потому что они будут постоянно огорчать мать своими ссорами. Итак, он решился пристроить как-нибудь в Москве меньшую сестру Лизу, которая была умнее, живее и более расположена к жизни в обществе. Приведение в исполнение этой мысли стоило много хлопот и огорчений Гоголю. Черткова, с которой он был очень дружен, не взяла его сестры к себе, хотя очень могла это сделать; у других знакомых поместить было невозможно. Наконец через Надежду Николаевну Шереметеву, почтенную и благодетельную старушку, которая впоследствии любила Гоголя, как сына, поместил он сестру свою Лизу к г-же Раевской, женщине благочестивой, богатой, не имеющей своих детей, у которой жили и воспитывались какие-то родственницы. Мать Гоголя уехала из Москвы прежде.

Гоголь читал первые главы «Мертвых душ» у Ив. Вас. Киреевского и еще у кого-то. Все слушатели приходили в совершенный восторг, но были люди, которые возненавидели Гоголя с самого появления «Ревизора». «Мертвые души» только усилили эту ненависть. Так, например, я сам слышал, как известный граф Толстой-Американец говорил при многолюдном собрании в доме Перфильевых, которые были горячими поклонниками Гоголя, что он «враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь». В Петербурге было гораздо более таких особ, которые разделяли мнение графа Толстого.

Во второй половине июня получил я первое письмо от Гоголя из Варшавы. Вот оно*:

«Варшава, 10 июня <1840>.

Здравствуйте, мой добрый и близкий сердцу моему друг, Сергей Тимофеевич. Грешно бы было, если бы я не отозвался к вам с дороги. Но что я за вздор несу: грешно! Я бы не посмотрел на то, грешно или нет, прилично или неприлично, и верно бы не написал вам ни слова, особливо теперь, если бы здесь не действовало побуждение душевное. Обнимаю вас и целую несколько раз. Мне не кажется, что я с вами расстался. Я вас вижу возле себя ежеминутно и даже так, как будто бы вы только что сказали мне несколько слов и мне следует на них отвечать. У меня не существует разлуки, и вот почему я легче расстаюсь, чем другой. И никто из моих друзей по этой же причине не может умереть, потому что он вечно живет со мною.

Мы доехали до Варшавы благополучно — вот покамест все, что вас может интересовать. Нигде ни на одной станции не было никакой задержки. Словом, лучше доехать невозможно. Даже погода была хороша: у места дождь, у места солнце. Здесь я нашел кое-каких знакомых, через два дни мы выезжаем в Краков и оттуда, коли успеем, того же дни в Вену. Целую и обнимаю несколько раз Константина Сергеевича и снабжаю следующими довольно скучными поручениями: привезти с собою кое-какие для меня книжки, а именно миниатюрное издание «Онегина», «Горя от ума» и басней Дмитриева и если только вышло компактное издание «Русских песней» Сахарова*, то привезти и его. Еще: если вы достали и если вам случится достать для меня каких-нибудь докладных записок и дел, то привезти и их также. Михаил Семенович, которого также при сей верной оказии целую и обнимаю, обещался с своей стороны достать. Хорошо бы присообщить и их также. Уведомите меня, когда едете в деревню. Корь, я полагаю, у вас уже совершенно окончилась. Перецелуйте за меня все милое семейство ваше, и Ольге Семеновне вместе с самою искреннейшею благодарностью передайте очень приятное известие, именно, что запасов, данных нам, стало не только на всю дорогу, но даже и на станционных смотрителей, и даже в Варшаве мы наделили прислуживавших нам плутов остатками пирогов, балыков, лепешек и прочего.

Прощайте, мой бесценный друг. Обнимаю вас множество раз».

Поручения Константину привезть с собою книги и деловые бумаги показывают, что Гоголь вполне был уверен в скором приезде Константина в Италию. У нас точно было это намерение, хотя не так твердое и непреложное, как это казалось Гоголю.[90] Впрочем, если б оно и было точно таково, то, конечно, не могло бы исполниться, потому что в 1840-м году, 12 августа, умер муж у сестры Надежды Тимофеевны, и мы

с Верой прожили четыре месяца в Петербурге, а в 1841 году, 5 марта, мы потеряли Мишу. Потому разлучаться было не время. Деловые бумаги и разные акты, которых Гоголь добивался постоянно, вероятно, были ему нужны для того, чтоб поверить написанные им в «Мертвых душах» разные судебные сделки Чичикова, которые так и остались неверными с действительностью.

Вскоре по получении этого первого письма я уехал с Гришей за Волгу в свои деревни, и об этом-то отъезде спрашивает меня Гоголь. Вот мое письмо к Гоголю.

«Да, мой милый, мой бесценный друг Николай Васильевич! Между друзьями нет разлуки! Вы так прекрасно высказали мне мои собственные чувства! Письмо ваше из Варшавы от 10 июня нов. ст. обрадовало все наше семейство. Меня не было дома, и не я его получил; зато слова *письмо от Гоголя* радостно и шумно встретили меня, когда я воротился. Не нужно говорить, как драгоценно мне это *душевное побуждение*, которое заставило вас написать его… По непонятной для меня самого какой-то недогадке я не спросил вас, куда писать к вам? Мне так это досадно! Мне так хотелось писать, так было необходимо высказать вам все, что теснилось в душе… Но от глупой мысли, что письмо мое нигде не может вас поймать и пролежит где-нибудь известное время, воротится опять в Москву, опускались у меня руки… Теперь я столько пропустил времени, что, вероятно, это в самом деле случится… Но нужды нет. Если письмо не застанет вас в Вене, то, может быть, если вы оставили свой адрес, настигнет вас на водах или где-нибудь в Германии. Я и все семейство мое здоровы. Корь миновалась благополучно. Все обнимаем вас, а Константин особенно и так крепко, что только заочно могут быть безвредны такие объятия. Все ваши поручения он выполнит с радостью. Он все еще готовится писать диссертацию. Лиза ваша здорова, начинает привыкать к новому своему житью-бытью и хорошо улаживается. Мы видимся нередко. Она гостит у нас другой день: вчера было воскресенье, а сегодня Раевской нет дома. Лиза сама пишет. Погодин, верно, написал вам, что у него родился сын в день рождения Петра Великого и назван Петром и что я крестил его с Лизаветой Григорьевной Чертковой. Это мне было очень приятно, потому что она ваша добрая приятельница. Едва ли я поеду в свои деревни за Волгу. Кажется, мы проведем лето в Москве: к этому есть много побудительных причин и не весьма приятных. Не такой год, чтоб расставаться. Я прочел *Лермонтова «Героя нашего времени»* в связи и нахожу в нем большое достоинство. Живо помню слова ваши, что Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца. Письмо мое написано очень беспорядочно… Нужды нет, не хочу пропустить почты. Михаил Семенович очень было прихворнул, но теперь выезжает и поправляется. Пожалейте: он на строжайшей диэте… Он обнимает вас и

обещает достать много *записок из дел*, к которым я присоединю свои. Все это привезет вам Константин, если не встретится оказии прежде».

Из этого письма очевидно, что мы действительно имели твердое намерение послать Константина в Италию к Гоголю. Оно, вероятно, писано вскоре по получении письма от Гоголя.

Почти через месяц получил я от Гоголя второе письмо, уже из Вены.

«Июля 7 <1840> Вена.

Я получил третьего дня письмо ваше, друг души моей, Сергей Тимофеевич! Оно ко мне дошло очень исправно и дойдет без сомнения и другое так же исправно, если только вам придет желание написать его; потому что я в Вене еще надеюсь пробыть месяца полтора, попить воды и отдохнуть. Здесь покойнее, чем на водах, куда съезжается слишком скучный для меня свет. Тут все ближе, под рукой, и свобода во всем. Нужно знать, что последняя давно убежала из деревень и маленьких городов Европы, где существуют воды и съезды. Парадно — мочи нет! К тому же у меня такая скверная натура, что при взгляде на эту толпу, приехавшую со всех сторон лечиться, — уже несколько тошнит, а на водах это не идет: нужно, напротив, чтобы слабило. Как вспомню Мариенбад и лица, из которых каждое насильно и нахально влезло в память, попадаясь раз по сорока на день, и несносных русских с вечным и непреложным вопросом: «А который стакан вы пьете?» — вопрос, от которого я улепетывал по проселочным дорожкам. Этот вопрос мне показался на ту пору родным братцем другого известного вопроса: «Чем вы подарите нас новеньким?» Ибо всякое слово, само по себе невинное, но повторенное двадцать раз, делается пошлее добродетельного Цинского или романов Булгарина, что все одно и то же… Я замечаю, что я, кажется, не кончил периода. Но вон его! Был ли когда-нибудь какой толк в периодах? Я только вижу и слышу толк в чувствах и душе. Итак, я на водах в Вене, где и дешевле, и покойнее, и веселее. Я здесь один; меня не смущает никто. На немцев я гляжу как на необходимых насекомых во всякой русской избе. Они вокруг меня бегают, лазят, но мне не мешают; а если который из них влезет мне на нос, то щелчок, и был таков! Я совершенно покоен после вашего письма. Первое и главное: вы здоровы; но мне жаль, если вы проведете лето в Москве. Перемена необходимо нужна вам, как и всякому человеку, проведшему зиму в Москве. Мне жаль, если у вас не будет дачи, пруда с рыбами, леса и дорог, которые бы заманили ходить.

Ради бога, сделайте так, чтоб ваше лето не было похоже на зиму; иначе это значит гневить бога и выпускать на него эпиграммы. Вена приняла меня царским образом! Только теперь всего два дня прекратилась опера. Чудная, невиданная. В продолжение целых двух недель первые певцы Италии мощно возмущали, двигали и производили благодетельные

потрясения в моих чувствах. Велики милости бога! Я оживу еще. Обнимаю от души Константина Сергеевича, хотя без сомнения не так крепко, как он меня, но это не без выгоды: бокам несколько легче. И между прочим прошу его к наданным от меня комиссиям прибавить еще несколько, и именно: спросить у Погодина, не нашелся ли мой Шекспир 2-й том, который взять ему с собою и прибавить к этому оба издания песней Максимовича*, а может быть, и третье, коли вышло. А главное, купить или поручить Михаилу Семеновичу купить у лучшего сапожника петербургской выделанной кожи, самой мягкой для сапог, то есть одни передки. Они так уже вырезанные находятся; места не занимают и удобны к взятию. Пары две или три; случилась беда: все сапоги, сделанные мне *Таке*, оказались короткими. Упрямый немец! Я толковал ему, что будут коротки, — не хотел, сапожная колодка, согласиться! и широки так, что у меня ноги распухли. Хорошо было бы, если бы мне были доставлены эти кожи, а делают сапоги здесь не дурно. Товарищ мой* немного было прихворнул, но теперь здоров, заглядывается на Вену и с грустью собирается ее оставить послезавтра для дальнейшего пути. Он теперь сидит за письмом к вам. Целую ручки Ольги Семеновны и посылаю мое душевное объятие всему вашему семейству. Прощайте, мой друг! Будьте здоровы и берегите свое здоровье!»

К этому письму не нужно прибавлять никаких объяснений. Но следует заметить, что здесь продолжается в душе Гоголя то же самое настроение, с каким он уехал из Москвы. Его же увидим мы и в следующем письме в Москву к Ольге Семеновне, ибо я известил Гоголя, что уезжаю с Константином за Волгу, куда я и уехал, кажется, 27 июня. Из этого письма также видно, какое значение имели для Гоголя все искусства и как благодетельно было их влияние на его душу. О сильном стремлении его к живописи я уже имел случай говорить; но здесь видно, как действовала на него музыка и как дороги были ему родные малороссийские песни. Даже третье издание Максимовича, почти одних и тех же песен, просит он Константина привезть ему в Рим. Итак, очень ошибочно это мнение, что будто Гоголь только в последние два года своей жизни вновь обратился к своей прекрасной родине и к ее прелестным песням. Вот его письмо к Ольге Семеновне из Венеции.

«Венеция, августа 10<1840>*.*

Так как Сергея Тимофеевича теперь вероятно нет в Москве, Константин Сергеевич без сомнения тоже с ним; то решаюсь, Ольга Семеновна, осадить вас моими двумя усерднейшими просьбами. Но прежде чем просьба, позвольте поблагодарить вас, вы знаете за что: за все. Позвольте поблагодарить также вас и все ваше семейство за память обо мне; впрочем, в последнем случае благодарить мне незачем, потому что здесь плата тою же монетою с моей стороны, что вам без сомнения известно, — а просьбы мои следующие. Отправьте прилагаемое при сем

письмо к Лизе и вручите Михаилу Семеновичу прилагаемое при сем действие переведенной для него комедии. Еще одна просьба, о которой напоминать мне немножко бессовестно, но нечего делать. Просьба эта относится прямо к Вере Сергеевне, а в чем она заключается — это ей известно. Исполнению ее конечно теперь мешает отъезд Сергея Тимофеевича. Но по приезде… Вера Сергеевна, простите меня за мой докучливый характер. Прощайте. Веселитесь веселее, сколь можно, и отведайте лета более, сколь можно. Я вас вижу очень живо и также вижу всех вас, все ваше семейство.

К Сергею Тимофеевичу я буду писать из Рима; не знаю только, куда адресовать. Впрочем, отправите вы. Целую ваши ручки».

Первое действие комедии, о которой пишет Гоголь, принадлежит к той самой пьесе, которую Щепкин, под названием «Дядька в хлопотах»[*], давал себе в бенефис в прошедшую зиму, через год после кончины Гоголя. Просьба к Верочке относится до моего портрета, который она обещала написать для Гоголя, исполнению которой без сомнения мешало мое отсутствие. Я воротился из-за Волги в исходе августа. Меня ожидало уже печальное известие, что Гр. Ив. Карташевского нет на свете. Через сутки мы уже уехали с Верой в Петербург. Писем от Гоголя долго не было. Наконец пришло известие, что он был отчаянно болен, и вот письмо, которое я получил от него уже в январе 1841 года.

«Рим, декабря 28 <1840>.

Я много перед вами виноват, друг души моей Сергей Тимофеевич, что не писал к вам тотчас после вашего мне так всегда приятного письма. Я был тогда болен. О моей болезни мне не хотелось писать к вам, потому что это бы вас огорчило. Вы же в это время и без того, как я узнал, узнали великую утрату[*]; лгать мне тоже не хотелось, и потому я решился обождать. Теперь я пишу к вам, потому что здоров, благодаря чудесной силе бога, воскресившего меня от болезни, от которой, признаюсь, я не думал уже встать. Много чудного совершилось в моих мыслях и жизни. Вы в вашем письме сказали, что верите в то, что мы увидимся опять. Как угодно будет всевышней силе! Может быть, это желание, желание сердец наших, сильное обоюдно, исполнится. По крайней мере обстоятельства идут как будто бы к тому.

Я, кажется, не получу места, о котором, помните, мы хлопотали и которое могло бы обеспечить мое пребывание в Риме. Я почти, признаюсь, это предвидел, потому что <П. И.> Кривцова, который надул всех, я разгадал почти с первого взгляда: это человек, который слишком любит только одного себя и прикинулся любящим и то и се потому только, чтобы посредством этого более удовлетворить своей страсти, то есть любви к самому себе. Он мною дорожит столько же, как тряпкой. Ему нужно иметь при себе непременно какую-нибудь европейскую

знаменитость в художественном мире, в достоинство внутреннее которой он хотя, может быть, и сам не верит, но верит в разнесшуюся знаменитость: ибо ему, что весьма естественно, хочется разыграть со всем блеском ту роль, которую он не очень смыслит. Но бог с ним! Я рад всему, всему, что ни случается со мною в жизни, и как погляжу я только, к каким чудным пользам и благу вело меня то, что называют в свете неудачами, то растроганная душа моя не находит слов благодарить невидимую руку, ведущую меня.

Другое обстоятельство, которое может дать надежду на возврат мой — мои занятия. Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том «Мертвых душ». Переменяю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе и вижу, что их печатание не может обойтись без моего присутствия. Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят слабые мои силы. По крайней мере верно немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначущий сюжет, которого первые невинные и скромные главы вы уже знаете. Болезнь моя много отняла у меня времени; но теперь, слава богу, я чувствую даже по временам свежесть, мне очень нужную. Я это приписываю отчасти холодной воде, которую я стал пить по совету доктора, которого за это благослови бог и который думает, что мне холодное лечение должно помочь. Воздух теперь чудный в Риме, свежий. Но лето, лето, это я уже испытал, мне непременно нужно провести в дороге. Я повредил себе много, что зажился в душной Вене. Но что же было делать; признаюсь — у меня не было средств тогда предпринять путешествие, и у меня слишком было все рассчитано. О если б я имел возможность всякое лето сделать какую-нибудь дальную, дальную дорогу; дорога удивительно спасительна для меня... Но обратимся к началу. В моем приезде к вам, которого значения я даже не понимал вначале, заключается много, много для меня. Да, чувство любви к России, слышу, во мне сильно. Многое, что казалось мне прежде неприятно и невыносимо, теперь мне кажется опустившимся в свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и спокойный, как я мог их когда-либо принимать близко к сердцу. И то, что я приобрел в теперешний приезд мой в Москву, вы знаете! Что я разумею, вам за этим незачем далеко ходить, чтобы узнать, какое это приобретение. Да, я не знаю, как и чем благодарить мне бога... Но уже когда я мыслю о вас и об этом юноше, так полном сил и всякой благодати, который так привязался ко мне, — я чувствую в этом что-то такое сладкое... Но довольно. Сокровенные чувства как-то становятся пошлыми, когда облекаются в слова. Я хотел было обождать этим письмом и послать вместе с ним перемененные страницы в «Ревизоре» и просить вас о напечатании его вторым изданием, и не успел. Никак не хочется заниматься тем, что нужно к спеху, а все бы хотелось заняться тем, что не к спеху*. А между тем оно

было бы очень нужно скорее. У меня почти дыбом волосы, как вспомню, в какие я вошел долги. Я знаю, что вам подчас и весьма нужны деньги; но я надеюсь через неделю выслать вам переправки и приложения к «Ревизору», которые, может быть, заставят лучше покупать его. Хорошо бы, если бы он выручил прежде должные вам, а потом тысячу, взятую у Панова, которую я пообещал ему уплатить было в феврале. Панов молодец во всех отношениях, и Италия ему много принесла пользы, какой бы он никогда не приобрел в Германии, в чем он совершенно убедился; это не мешает довести между прочим до сведения кое-кого*. А впрочем, если рассудить по правде, то я не знаю, почему вообще молодым людям не развернуться в полноте сил и в русской земле; но почему может увлечь в длинные рассуждения. — Покамест прощайте».

Письмо это написано уже совсем в другом тоне, чем все предыдущие. Этот тон сохранился уже навсегда. Должно поверить, что *много чудного* совершилось с Гоголем, потому что он с этих пор изменился в нравственном существе своем. Это не значит, что он сделался другим человеком, чем был прежде; внутренняя основа всегда лежала в нем, даже в самых молодых годах; но она скрывалась, так сказать, наружностью внешнего человека. Отсюда начинается постоянное стремление Гоголя к улучшению в себе духовного человека и преобладание религиозного направления, достигшего впоследствии, по моему мнению, такого высокого настроения, которое уже несовместимо с телесною оболочкою человека. Я не спрашивал Гоголя в подробности, что с ним случилось: частью из деликатности, не желая насиловать его природной скрытности, а частью потому, что боялся дотрагиваться до таких предметов и явлений, которым я не верил и теперь не верю, считая их порождением болезненного состояния духа и тела. Но я слышал, что Гоголь во время болезни имел какие-то видения, о которых он тогда же рассказал ходившему за ним с братскою нежностью и заботою купцу Н. П. Боткину, который случился на то время в Риме. Что касается до места, которое мы все желали доставить Гоголю, то оно, кажется, вовсе не состоялось. Кривцов был назначен в Риме вроде какого-то попечителя и официального ходатая всех русских художников, там живущих. Гоголь хотел быть его помощником, которому предполагали определить жалованья с лишком две тысячи рублей ассигнац.; получив такое место, Гоголь был бы обеспечен в своем существовании. Что же собственно разумел Гоголь под словами: «к каким чудным пользам и благу вело меня то, что называют в свете неудачами», то это обстоятельство осталось для меня неизвестным. Слова самого Гоголя утверждают меня в том мнении, что он начал писать «Мертвые души» как любопытный и забавный анекдот; что только впоследствии он узнал, говоря его словами, «на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначущий сюжет»; что впоследствии, мало-помалу, составилось это колоссальное создание, наполнившееся болезненными явлениями нашей общественной жизни;

что впоследствии почувствовал он необходимость исхода из этого страшного сборища человеческих уродов, необходимость — примирения... Возможно ли было исполнение такой задачи и мог ли ее исполнить Гоголь — это вопрос другой, к которому я обращусь в конце этих записок. В словах Гоголя, что он слышит в себе *сильное чувство к России*, заключается, очевидно, указание, подтверждаемое последующими словами, что этого чувства у него прежде не было или было слишком мало*. Без сомнения, пребывание в Москве, в ее русской атмосфере, дружба с нами и особенно влияние Константина, который постоянно объяснял Гоголю, со всею пылкостью своих глубоких, святых убеждений все значение, весь смысл русского народа, были единственные тому причины. Я сам замечал много раз, какое впечатление производил он на Гоголя, хотя последний старательно скрывал свое внутреннее движение. Единственно в этом письме, в первый и последний раз, высказался откровенно Гоголь. И прежде и после этого письма он по большей части подшучивал над русским человеком. Есть еще доказательства этого русского движения, образовавшегося в Москве именно в 1840 году: в первом томе «Мертвых душ» многие места в этом духе очевидно вставлены и даже не совсем гармонируют с прежними речами. Под словами «и то, что я *приобрел в теперешний приезд мой в Москву*» Гоголь разумеет дружбу со мной и моим семейством; а под словами *юноша полный всякой благодати* — Константина.

Я не получал писем от Гоголя около двух месяцев. Прилагаемое письмо от 5 марта 1841 года получено мною уже тогда, когда богу было угодно поразить нас ужасным и неожиданным ударом; именно 5 марта потеряли мы сына*, полного крепости телесных сил и всяких блистательных надежд; а потому все поручения Гоголя передал я к исполнению Погодину.

«Марта 5 <1841> Рим.

Мне грустно так долго не получать от вас вести, Сергей Тимофеевич. Но, может быть, я сам виноват. Может быть, вы ожидали высылки мною обещанных изменений и приложений, следуемых ко второму изданию «Ревизора». Но я не мог найти нигде их. Теперь только случаем нашел их там, где не думал. Если б вы знали, как мне скучно теперь заниматься тем, что нужно на скорую руку, как мне тягостно на миг оторваться от труда, наполняющего ныне всю мою душу. Но вот вам, наконец, эти приложения. Здесь письмо, писанное мною к Пушкину по его собственному желанию*. Он был тогда в деревне. Пьеса игралась без него. Он хотел писать полный разбор ее для своего журнала и меня просил уведомить, как она была выполнена на сцене. Письмо осталось у меня неотправленным, потому что он скоро приехал сам. Из этого письма я выключил то, что собственно могло быть интересно для меня и

для него, и оставил только то, что может быть интересно для будущей постановки «Ревизора», если она когда-нибудь состоится. Мне кажется, что прилагаемый отрывок будет нелишним для умного актера, которому случится исполнять роль Хлестакова. Это письмо под таким названием, какое на нем выставлено, нужно отнесть на конец пьесы, а за ним непосредственно следуют две прилагаемые, выключенные из пьесы, сцены. Небольшую характеристику ролей, которая находится в начале книги первого издания, нужно исключить. Она вовсе не нужна. У Погодина возьмите приложенное в его письме изменение четвертого акта, которое совершенно необходимо. Хорошо бы издать «Ревизора» в миниатюрном формате; а впрочем, как найдете лучшим. Теперь я должен с вами поговорить о деле важном, но об этом сообщит вам Погодин. Вы вместе с ним сделаете совещание, как устроиться получше. Я теперь прямо и открыто прошу помощи, ибо имею право и чувствую это в душе. Да, друг мой! Я глубоко счастлив. Несмотря на мое болезненное состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей. Здесь явно видна мне святая воля бога: подобное внушенье не приходит от человека, никогда не выдумать ему такого сюжета. О, если бы еще три года с такими свежими минутами! Столько жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего, больше ни часу не нужно. Теперь мне нужны необходимо дорога и путешествие: они одни, как я уже заметил, восстановляют меня. У меня все средства истощились уже несколько месяцев. Для меня нужно сделать заем. Погодин вам скажет. В начале же 42 года выплатится мною все, потому что одно то, которое уже у меня готово и которое, если даст бог, напечатаю в конце текущего года, уже достаточно для уплаты. Теперь я ваш; Москва мне родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди. Все было дивно и мудро расположено высшею волею. И мой приезд в Москву, и мое нынешнее путешествие в Рим, все было благо. Никому не говорите ничего ни о том, что я буду к вам, ни о том, что я тружусь; словом, ничего. Но я чувствую какую-то робость возвращаться одному. Мне тягостно и почти совершенно невозможно теперь заняться дорожными мелочами и хлопотами. Мне нужно спокойствие и самое счастливое, самое веселое, сколько можно, расположение души; меня теперь нужно беречь и лелеять. Я придумал вот что: пусть за мною приедут Михаил Семенович и Константин Сергеевич; им же нужно: Михаилу Семеновичу для здоровья, Константину Сергеевичу для жатвы, за которую уже пора ему приняться; а милее душе моей этих двух, которые бы могли за мною приехать, не могло бы для меня найтиться никого. Я бы ехал тогда с тем же молодым чувством, как школьник в каникулярное время едет из надоевшей школы домой под родную крышу и вольный воздух. Меня теперь нужно лелеять, не для меня, нет! Они сделают небесполезное дело. Они привезут с собой глиняную вазу; конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится; но в этой вазе теперь

заключено сокровище, стало быть ее нужно беречь. Жду вашего ответа, чем скорее, тем лучше. Если бы вы знали, как я теперь жажду обнять вас. До свиданья! Как прекрасно это слово. Перецелуйте моим поцелуем всех ваших: Ольгу Семеновну, Веру Сергеевну, Ольгу Сергеевну, всех, всех. Письма мне адресуйте на имя банкира Валентини, это будет вернее, чем Poste restante.[91] Адрес его: Piazza Apostoli, Palazzo Valentini».

Это письмо привело в восхищение всех друзей Гоголя, а также меня и мое семейство настолько, насколько наши убитые горестью сердца могли принять в этом участие. Письмо это утверждает обращение Гоголя к России; слова «к русской груди моей» это доказывают. Можно также заключить, что Гоголь переезжал в Москву навсегда, с тем чтобы уже не ездить более в чужие края, о чем он и сам мне говорил сначала, по возвращении из Рима. Как слышна искренность убеждений Гоголя в этом письме в великость своего труда, как в благую, свыше назначенную цель всей своей жизни! Поехать к Гоголю, так сказать, навстречу, чтоб привезть его в Москву, никто не мог: Константину невозможно было разлучиться с нами в это печальное время. Щепкин не имел никаких средств ехать, да и получить заграничный отпуск было бы для него очень затруднительно. Что же касается до займа денег для Гоголя и вообще до его письма об этом предмете, то его не вдруг показали мне, потому что мне было не до того. Общее это письмо было написано ко мне, к Погодину и Шевыреву.

Второе и последнее письмо ко мне в этом году от Гоголя из Рима не имеет числа; но по содержанию его можно догадаться, что оно написано довольно скоро после письма от 5 марта, когда Гоголь еще не знал о нашем несчастье. Вот оно:

«Едва только я успел отправить письмо мое к вам с приложеньями к «Ревизору», как получил вслед за тем ваше. Оно было для меня тем приятнее, что мне казалось уже, будто я от вас бог знает когда не получал вести. Целую вас несколько раз в задаток поцелуев личных. «Ревизора», я полагаю, не отложить ли до осени? Время близится к лету; в это время книги сбываются плохо, и вообще торговля не движется. Отпечатать можно теперь, а выпуском повременить до осени. По крайней мере, так говорит благоразумие и опытность. Вы пишете, чтобы я прислал что-нибудь в журнал Погодину. Боже! Это требование, какую вдруг нагнало оно на меня тоску и мучительное состояние. Теперь на один миг оторваться мыслью от святого своего труда для меня уже беда. Никогда б не предложил мне в другой раз просьбы тот, кто бы мог узнать на самом деле, чего он лишает меня. Если бы я имел деньги, клянусь, я бы отдал все деньги, сколько б у меня их было, вместо отдачи своей статьи. Но так и быть, я отыщу какой-нибудь старый лоскуток и просижу над переправкой и окончательной отделкой его, боже! может быть, две-три недели. Ибо теперь для меня всякая малая вещь почти

такого же требует обдумыванья, как великая, и, может быть, еще большего и тягостно-томительнейшего труда; ибо он будет почти насильственный, и всякую минуту я буду помнить бесплодную великость своей жертвы, преступную свою жертву. Нет, клянусь! грех, сильный грех, тяжкий грех отвлекать меня. Только одному неверующему словам моим и недоступному мыслям высоким позволительно это сделать. Труд мой велик, мой подвиг спасителен; я умер теперь для всего мелочного. И для презренного журнального ли, пошлого, занятого ежедневным дрязгом, я должен совершать непрощаемые преступления? И что поможет журналу моя статья? Но статья будет готова и недели через три выслана. Жаль только, если она усилит мое болезненное расположение; но я думаю, нет. Бог милостив. Дорога, дорога! Я сильно надеюсь на дорогу. Она же так теперь будет для меня вдвойне прекрасна. Я увижу моих друзей, моих родных друзей. Не говорите о моем приезде никому и Погодину скажите, чтоб он также не говорил; если же прежде об этом проговорились, то теперь говорите, что это неверно еще; ничего тоже не сказывайте о моем труде. Обнимите Погодина и скажите ему, что я плачу, что не могу быть полезным ему со стороны журнала; но что он, если у него бьется русское чувство любви к отечеству, он должен требовать, чтоб я не давал ему ничего. Вы, может быть, дивитесь, что я вызываю Константина Сергеевича и Михаила Семеновича; но я делал это в том предположении, что Константину Сергеевичу нужно было и без того ехать, а Мих. Сем. тоже хотел ехать к водам, что ему принесло бы значительную пользу. Я бы их ожидал хоть в самом первом за нашею границею немецком городке. Вы знаете этому причины из письма моего, которое вы уже получили. Насчет денег нужно будет распорядиться скорее. В мае месяце я полагаю выехать из Рима, месяцы жаркие провести где-нибудь в холодных углах Европы, может быть в Швейцарии, и к началу сентября в Москву, обнять и прижать вас сильно. Прощайте, жду с нетерпением ваших писем. Обнимаю крепко все ваше семейство».

Желание Гоголя не исполнилось. «Ревизор» был напечатан Погодиным со всеми приложениями, которые предварительно были помещены в «Москвитянине», что, разумеется, было Гоголю неприятно. Хотя я был тогда в таком положении, что не могу обвинять строго себя, но я должен признаться, что финансовые расчеты журналиста не казались мне тогда так противными, как теперь, и что вообще я не умел понимать во всей полноте страдальческого положения Гоголя. Очевидным доказательством тому служит мое письмо к Гоголю, в котором я просил, чтоб он прислал что-нибудь в журнал Погодину.

Теперь для меня это очень прискорбно, но прошедшего не воротишь. Я особенно должен обвинять себя потому, что только моя просьба (как мне кажется) могла заставить Гоголя оторваться от своего святого труда, пожертвовать своею чудною итальянскою повестью «Анунциата»,

которой начало он нам читал, и сделать из нее отдельную статью под названием «Рим», которая впоследствии была напечатана в «Москвитянине». Впрочем, у Гоголя недостало сил исполнить свое обещание так скоро; он точно оставил было «Мертвые души» и принялся за переделку «Анунциаты». Но он был так занят, так погружен в мир своей поэмы, что работа не спорилась и сделалась для него невыносимою. Он бросил ее и докончил уже в Москве.

Между тем Гоголь получил известие о нашем несчастье. Не помню, писал ли я сам к нему об этом; но знаю, что он написал ко мне утешительное письмо, которое до меня не дошло и осталось для меня неизвестным. Письмо было послано через Погодина; вероятно, оно заключало в себе такого рода утешения, до которых я был большой неохотник, и мог скорее рассердиться за них, чем утешиться ими. Погодин знал это очень хорошо и не отдал письма, а впоследствии или затерял, или обманул меня, сказав, что письмо не нашел.

Гоголя мы уже давно ждали, но, наконец, и ждать перестали; а потому внезапное появление его у нас в доме 18-го октября произвело такой же радостный шум, как в 39-м году письмо Щепкина, извещавшее о приезде Гоголя в Москву: крик Константина точно так же всех напугал.

В этот год последовала сильная перемена в Гоголе, не в отношении к наружности, а в отношении к его нраву и свойствам. Впрочем, и по наружности он стал худ, бледен, и тихая покорность воле божией слышна была в каждом его слове: гастрономического направления и прежней проказливости как будто не бывало. Иногда, очевидно без намерения, слышался юмор и природный его комизм; но смех слушателей, прежде не противный ему или не замечаемый им, в настоящее время сейчас заставлял его переменить тон разговора. Проявление последней его проказливости случилось во время переезда Гоголя из Петербурга в Москву. Он приехал в одной почтовой карете с Петр. Ив. Пейкером и сидел с ним в одном купе. Заметя, что товарищ очень обрадовался соседству знаменитого писателя, он уверил его, что он не *Гоголь*, а *Гогель*, прикинулся смиренным простячком, круглым сиротой и рассказал о себе преплачевную историю. Притом на все вопросы отвечал: «нет, не знаю». Пейкер оставил в покое своего неразговорчивого соседа. Приехав в Москву, Пейкер немедленно посетил нас. Речь зашла о Гоголе, и петербургский гость изъявил горячее желание его видеть. Я сказал, что это очень немудрено, потому что Гоголь бывает у меня почти всякий день. Через несколько минут входит Гоголь своей тогда еще живою и бодрою походкой. Я познакомил его с моим гостем, и что же? Он узнает в Гоголе несносного своего соседа Гогеля. Мы не могли удержаться от смеха, но Пейкер осердился. Он был прав: за что Гоголь дурачил его трое суток? Между тем Гоголь сделал это единственно для того, чтоб избавиться от докучливых вопросов,

предлагаемых обыкновенно писателю: «Что вы теперь пишете? Когда подарите нас новым произведением? Для чего вы не напишете того-то?» и пр. и пр. Можно ли строго осудить за это Гоголя, который так любил уединение дороги? Невинная выдумка возвращала ему полную свободу, и он, подняв воротник шинели выше своей головы (это была его любимая поза), всю дорогу читал потихоньку Шекспира или предавался своим творческим фантазиям. Между тем многие его за это обвиняли. Мы успокоили Пейкера, объяснив ему, что подобные мистификации Гоголь делал со всеми. Впоследствии они обедали у нас вместе, и Гоголь был любезен с своим прежним дорожным соседом.

Гоголь точно привез с собой первый том «Мертвых душ», совершенно конченный и отчасти отделанный. Он требовал от нас, чтоб мы никому об этом не говорили, а всем бы отвечали, что ничего готового нет. Начались хлопоты с перепискою набело «Мертвых душ». Я доставил было Гоголю отличного переписчика, бывшего при мне воспитанником в Межевом институте, Крузе; но не знаю или, лучше сказать, не помню, почему Гоголь взял другого переписчика. Прилагаемая записка служит тому доказательством.

«Я к вам приходил между прочим с просьбою, которую совершенно позабыл. А именно, нельзя ли послать к Крузе взять у него десть или две чистой бумаги, которая ему теперь не нужна, а будет нужна моему переписчику. Из-за нее остановилось дело.

Гоголь».

Покуда переписывались первые шесть глав, Гоголь прочел мне, Константину и Погодину остальные пять глав. Он читал их у себя на квартире, то есть в доме Погодина, и ни за что не соглашался, чтоб кто-нибудь слышал их, кроме нас троих. Он требовал от нас критических замечаний, не столько на частности, как на общий состав и ход происшествия в целом томе. Я решительно не был тогда способен к такого роду замечаниям; частности, мелочи бросались мне в глаза во время чтения, но и об них я забывал после. Итак, я молчал, но Погодин заговорил. Что он говорил, я хорошенько не помню; помню только, что он между прочим утверждал, что в первом томе содержание поэмы не двигается вперед; что Гоголь выстроил длинный коридор, по которому ведет своего читателя вместе с Чичиковым и, отворяя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате урода. Я принялся спорить с Погодиным, доказывая, что тут никакого коридора и никаких уродов нет, что содержание поэмы идет вперед, потому что Чичиков ездит по добрым людям и скупает мертвые души... Но Гоголь был недоволен моим заступлением и, сказав мне: «Сами вы ничего заметить не хотите или не замечаете, а другому замечать мешаете...», просил Погодина продолжать и очень внимательно его слушал, не возражая ни одним словом.

Я говорил Гоголю после, что, слушая «Мертвые души» в первый раз, да хоть бы и не в первый, и увлекаясь красотами его художественного создания, никакой в свете критик, если только он способен принимать поэтические впечатления, не в состоянии будет замечать какие-нибудь недостатки; что если он хочет моих замечаний, то пусть даст мне чисто переписанную рукопись в руки, чтоб я на свободе прочел ее и, может быть, не один раз; тогда дело другое. Но Гоголь не хотел и не мог этого сделать: рукопись поспешно переписывалась и немедленно была отослана в цензуру в Петербург. Тут случилось что-то такое, чего я и теперь объяснить не умею. Гоголь хотел послать первый том «Мертвых душ» в Петербург к Жуковскому или к графу Вьельгорскому для того, чтоб найти возможность представить его прямо к государю: ибо все мы думали, что обыкновенная цензура его не пропустит. Вдруг Гоголь переменил свое намерение и послал рукопись в Петербург прямо к цензору Никитенко и, кажется, послал с Белинским, по крайней мере не сказал нам с кем. У нас возникло подозрение, что Гоголь имел сношение с Белинским, который приезжал на короткое время в Москву, секретно от нас, потому что в это время мы все уже терпеть не могли Белинского, переехавшего в Петербург для сотрудничества в издании «Отечественных записок» и обнаружившего гнусную враждебность к Москве, к русскому человеку и ко всему нашему русскому направлению*.

В это время, то есть в конце 1841 и в начале 1842 года, начали возникать неудовольствия между Гоголем и Погодиным. Гоголь молчал, но казался расстроенным, а Погодин начал сильно жаловаться на Гоголя: на его капризность, скрытность, неискренность, даже ложь, холодность и невнимание к хозяевам, то есть к нему, к его жене, к матери и к теще, которые будто бы ничем не могли ему угодить. Я должен признаться, к сожалению, что жалобы и обвинения Погодина казались так правдоподобными, что сильно смущали мое семейство и отчасти меня самого, а также и Шевырева. Я, однако, объясняя себе поступки Гоголя его природною скрытностью и замкнутостью, его правилами, принятыми сыздетства, что иногда должно не только не говорить настоящей правды людям, но и выдумывать всякий вздор для скрытия истины, я старался успокоить других моими объяснениями. Я приписывал скрытность и даже какую-нибудь пустую ложь, которую употреблял иногда Гоголь, когда его уличали в неискренности, единственно странности его характера и его рассеянности. Будучи погружен в совсем другие мысли, разбуженный как будто от сна, он иногда сам не знал, что отвечает и что говорит, лишь бы только отделаться от докучного вопроса; данный таким образом ответ невпопад надобно было впоследствии поддержать или оправдать, из чего иногда выходило целое сплетение разных мелких неправд. Впрочем, я должен сказать, что странности Гоголя иногда были необъяснимы и остались навсегда для меня загадками. Мне нередко приходилось объяснять самому себе поступки Гоголя точно так, как я объяснял их другим, то

есть что мы не можем судить Гоголя по себе, даже не можем понимать его впечатлений, потому что, вероятно, весь организм его устроен как-нибудь иначе, чем у нас; что нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших: слышат то, чего мы не слышим, и содрогаются от причин, для нас неизвестных. На такое объяснение Погодин с злобным смехом отвечал: «разве что так». Я тогда еще не вполне понимал Погодина и потому не догадывался, что главнейшею причиною его неудовольствия было то, что Гоголь ничего не давал ему в журнал, чего он постоянно и грубо требовал, несмотря на все, уже приведенные мною, письма Гоголя. После объяснилось, что Погодин пилил, мучил Гоголя не только словами, но даже записками, требуя статей себе в журнал и укоряя его в неблагодарности, которые посылал ежедневно к нему снизу наверх. Такая жизнь сделалась мученьем для Гоголя и была единственною причиною скорого его отъезда за границу. Теперь для меня ясно, что грубая, черствая, топорная натура Погодина, лишенная от природы или от воспитания всех нерв, передающих чувства деликатности, разборчивости, нежности, не могла иначе поступать с натурою Гоголя, самою поэтическою, восприимчивою и по преимуществу нежною. Погодин сделал много добра Гоголю, хлопотал за него горячо всегда и везде, передавал ему много денег (не имея почти никакого состояния и имея на руках большое семейство), содержал его с сестрами и с матерью у себя в доме и по всему этому считал, что он имеет полное право распоряжаться в свою пользу талантом Гоголя и заставлять его писать в издаваемый им журнал. Погодин всегда имел добрые порывы и был способен сделать добро даже и такому человеку, который не мог заплатить ему тем же; но как скоро ему казалось, что одолженный им человек может его отблагодарить, то он уже приступал к нему без всяких церемоний, брал его за ворот и говорил: «Я тебе помог в нужде, а теперь ты на меня работай». Я сказал, что были случаи, в которых я никак не умел объяснить себе поступков Гоголя: именно, в течение первых четырех месяцев 1842 года было два таких случая. Приехал в Москву старый мой, еще по гимназии, товарищ и друг, Дмитрий Максимович Княжевич; он был прекраснейший человек во всех отношениях: умный, образованный, живой, добрый, любящий и одаренный сильным эстетическим чувством. Кроме того, что он, по крайней мере до издания «Мертвых душ», понимал и ценил Гоголя, он был с ним очень дружески знаком в Риме и, как гостеприимный славянин, не один раз угощал у себя Гоголя. Княжевич очень обрадовался, узнав, что мы с Гоголем друзья и что он бывает у нас всякий день. Я думал, что и Гоголь этому обрадуется. Что же вышло? В первый раз, когда Княжевич приехал к нам при Гоголе и стал здороваться с кем-то за дверьми маленькой гостиной, в которой мы все сидели, Гоголь неприметно юркнул в мой кабинет, и когда мы хватились его, то узнали, что он поспешно убежал из дому. Такой поступок поразил всех нас, особенно удивил Княжевича. На другой день продолжалась

такая же история, только с тою разницею, что Гоголь не убежал из дому, когда приехал Княжевич, а спрятался в дальний кабинетец, схватил книгу, уселся в большие кресла и притворился спящим. Он оставался в таком положении более двух часов и так же потихоньку уехал. На вопросы, что с ним сделалось, он отвечал самыми детскими отговорками: в первый приезд Княжевича он будто вспомнил какое-то необходимое дело, по которому надобно было ему сейчас уехать, а в другой раз — будто ему так захотелось спать, что он не мог тому противиться, а проснувшись, почувствовал головную боль и необходимость поскорее освежиться на чистом воздухе. Мы все были не только поражены изумлением, но даже оскорблены. Я хотел даже заставить Гоголя объясниться с Княжевичем, но последний упросил меня этого не делать и даже взял с меня честное слово, что я и наедине не стану говорить об этом с Гоголем. Он думал, что, вероятно, Гоголю что-нибудь насказали и что он имеет на него неудовольствие. Княжевич так любил горячо и меня и Гоголя, что буквально счел бы за несчастье быть причиною размолвки между нами. Несмотря на то, наше обращение с Гоголем изменилось и стало холоднее. Гоголь притворился, что не примечает того. На третий день опять приехал Княжевич с дочерью, тогда как мы с Гоголем сидели все в моем кабинете. Мы все сейчас встали, пошли навстречу своему гостю и, затворив Гоголя в кабинете, расположились в гостиной. Через полчаса вдруг двери отворились, вбежал Гоголь и с словами: «Ах, здравствуйте, Дмитрий Максимович!»... — протянул ему обе руки, кажется, даже обнял его, и началась самая дружеская беседа приятелей, не видавшихся давно друг с другом... Точно он встретился с ним в первый раз после разлуки и точно прошедших двух дней не бывало. Покорно прошу объяснить такую странность! Всякое объяснение казалось мне так невыгодным для Гоголя, что я уже никогда не говорил с ним об этом, в чем раскаиваюсь теперь.

Таких недоразумений, оставшихся без объяснений, было много, и, вероятно, они были причиной тому, что Гоголь никогда не бывал со мною вполне откровенен. Другое происшествие состояло в следующем (домашние мои утверждают, что оно случилось в 1840-м году, но это все равно). Гоголь еще не видал на московской сцене «Ревизора»; актеры даже обижались этим, и мы уговорили Гоголя посмотреть свою комедию*. Гоголь выбрал день, и «Ревизора» назначили. Слух об этом распространился по Москве, и лучшая публика заняла бель-этаж и первые ряды кресел. Гоголь приехал в бенуар к Чертковой, первый с левой стороны, и сел или почти лег, так чтоб в креслах было не видно. Через два бенуара сидел я с семейством; пьеса шла отлично хорошо; публика принимала ее (может быть, в сотый раз) с восхищением. По окончании 3-го акта вдруг все встали, обратились к бенуару Чертковой и начали вызывать автора. Вероятно, кому-нибудь пришла мысль, что Гоголь может уехать, не дослушав пьесы. Несколько времени он

выдерживал вызовы и гром рукоплесканий; потом выбежал из бенуара. Я бросился за ним, чтобы провести его в ложу директора, предполагая, что он хочет показаться публике; но вдруг вижу, что он спешит вон из театра. Я догнал его у наружных дверей и упрашивал войти в директорскую ложу. Гоголь не согласился, сказал, что он никак не может этого сделать, и убежал. Публика была очень недовольна, сочла такой поступок оскорбительным и приписала его безмерному самолюбию и гордости автора. На другой день Гоголь одумался, написал извинительное письмо к Загоскину (директору театра), прося его сделать письмо известным публике, благодарил, извинялся и наклепал на себя небывалые обстоятельства. Погодин прислал это письмо на другой день мне, спрашивая, что делать? Я отсоветовал посылать, с чем и Погодин был согласен. Гоголь не послал письма и на мои вопросы отвечал мне точно то же, на что намекал только в письме, то есть что он перед самым спектаклем получил огорчительное письмо от матери, которое его так расстроило, что принимать в эту минуту изъявление восторга зрителей было для него не только совестно, но даже невозможно. Нам казалось тогда, и теперь еще почти всем кажется такое объяснение неискренним и несправедливым. Мать Гоголя вскоре приехала в Москву, и мы узнали, что ничего особенно огорчительного с нею в это время не случилось. Отговорка Гоголя признана была нами за чистую выдумку; но теперь я отступаюсь от этой мысли, признаю вполне возможным, что обыкновенное письмо о затруднении в уплате процентов по имению, заложенному в Приказе общественного призрения, могло так расстроить Гоголя, что всякое торжество, приятное самолюбию человеческому, могло показаться ему грешным и противным. Объяснение же с публикой о таких щекотливых семейных обстоятельствах, которое мы сейчас готовы назвать трусостью и подлостью, или, из милости, крайним неприличием, обличают только чистую, прямую, простую душу Гоголя, полную любви к людям и уверенную в их сочувствии.

Гоголь продолжал бывать у нас очень часто, почти всякий день, и охотно слушал рассказы Константина о том, как он держал себя и действовал в так называемом большом свете, который он начал посещать тогда и в котором искали его знакомства. Константин увлекался мыслью, что истины, которые он проповедовал там, согласно с своим задушевным и глубоким убеждением, произведут благотворное действие. Он ошибался. Свет с любопытством и удовольствием слушал его, как диковинное явление, и только. Это сделалось модою. Правда, некоторые полюбили его за теплоту убеждений, но самые убеждения считали прекрасными мечтами. Гоголь хорошо понимал настоящее значение этого явления и очень им забавлялся.

Докуки Погодина увенчались, однако, успехом. Он <Гоголь> дал ему в журнал большую статью под названием «Рим», которая была

напечатана в 3-м № «Москвитянина». Он прочел ее в начале февраля предварительно у нас, а потом на литературном вечере у князя Дм. Вл. Голицына (у Гоголя не было фрака, и он надел фрак Константина). Несмотря на высокое достоинство этой пьесы, слишком длинной для чтения на рауте у какого бы то ни было генерал-губернатора, чтение почти усыпило половину зрителей; но когда к концу пьесы дело дошло до комических разговоров итальянских женщин между собою и с своими мужьями, все общество точно проснулось и пришло в неописанный восторг, который и остался надолго в благодарной памяти слушателей.

Многие дамы, незнакомые лично с Гоголем, но знакомые с нами, желали его видеть; но Гоголя трудно было уговорить притти в гостиную, когда там сидела незнакомая ему дама. Одна из них*** желала особенно познакомиться с Гоголем; а потому Вера и Константин так пристали с просьбами к Гоголю, что каким-то чудом уговорили его войти в гостиную. Это точно стоило больших трудов Константину и Вере. Они приставали к нему всячески, убеждали его; он отделывался разными уловками: то заговаривал о другом, то начинал им читать вслух что-нибудь из «Московских ведомостей» и т. д. Наконец, видя, что он уступает, Константин громко возвестил его в гостиной, так что ему уже нельзя было не войти, и он вошел; но дама не сумела сказать ему ни слова, и он, оставшись несколько минут, ушел. Константин проводил его и благодарил, но он был не совсем доволен, и на вопрос Константина, как он нашел даму, он сказал, что не может судить о ней, потому что не слыхал от нее ни слова, «а вы мне сказали, что она желает со мною познакомиться».

Еще в январе 1842-го года дошли до нас слухи, что первый том «Мертвых душ» в рукописи ходит по рукам в Петербурге. Гоголь не знал, что и делать. Он писал туда к своим приятелям, даже хотел сам ехать на выручку его; но, наконец, нетерпеливо ожидаемая рукопись, вся без исключения пропущенная цензором, была получена. Я не могу утвердительно сказать, дознались ли мы тогда настоящим образом, где и по чьей милости прогуливался целый месяц первый том «Мертвых душ». У нас оставалось подозрение, что тот господин, которому поручено было его отправить на почту, или почтамтский чиновник, принявший посылку, вздумали наперед прочесть любопытную новость и дать почитать своим приятелям; дело только в том, что рукопись ехала из Петербурга до Москвы целый месяц*. Я уверен, что Никитенко не смел пропустить ее сам и что она была показана какому-нибудь высшему цензору, если не государю. Мы не верили глазам своим, не видя ни одного замаранного слева*; но Гоголь не видел в этом ничего необыкновенного и считал, что так тому и следовало быть. Вначале напечатаны 2500 экземпляров. Обертка была нарисована самим Гоголем. Денег у Гоголя не было, потому «Мертвые души» печатались в типографии в долг, а бумагу взял на себя в кредит Погодин. Печатание

продолжалось два месяца. Несмотря на то, что Гоголь был сильно занят этим делом, очевидно было, что он час от часу более расстраивался духом и даже телом; он чувствовал головокружение и один раз имел такой сильный обморок, что долго лежал без чувств и без всякой помощи, потому что случилось это наверху, в мезонине, где у него никогда никого не было. Вдруг дошли до Константина слухи стороной, что Гоголь сбирается уехать за границу и очень скоро. Он не поверил и спросил сам Гоголя, который сначала отвечал неопределенно «может быть»; но потом сказал решительно, что он едет, что он не может долее оставаться, потому что не может писать и потому что такое положение разрушает его здоровье. Константин был очень огорчен и с горячностью убеждал Гоголя не ездить, а испытать все средства, чтоб приучить себя писать в Москве. Гоголь отвечал ему, что он именно то и делает и проживет в Москве до нельзя. Вера, при которой происходил этот разговор, сказала Гоголю, что никак не должно доводить до нельзя, а лучше уехать немедленно. Я с огорчением и неудовольствием узнал об этом. Все делалось как-то неясно, неоткровенно, непонятно для меня, и моя дружба к Гоголю тем оскорблялась. Теперь я вижу, что в этом виноват был я более всех, что я невнимательно смотрел на положение Гоголя, легкомысленно осуждал его, недостаточно показывал к нему участия, а потому и не пользовался его полной откровенностью. У меня всегда было правило — не навязываться с своим участием, не домогаться ничьей откровенности. Такое правило решительно иногда бывает ложно, а с Гоголем более ложно, чем с кем-нибудь. Будучи сам плохим христианином, я с неудовольствием и недоверчивостью смотрел на религиозное направление Гоголя. Вероятно, это было главною причиною, почему он не открывался мне в своих намерениях. Если б я с любовью и горячностью приставал к Гоголю с расспросами, если б я заставлял его быть с собою откровенным с самого приезда в Москву, то, вероятно, я мог бы не допустить до огромного размера его неудовольствий с Погодиным, и тогда, может быть, Гоголь не уехал бы из России, по крайней мере так скоро. Через несколько дней, перед вечером, уезжал я в клуб, и все меня провожали до передней. Вдруг входит Гоголь с образом спасителя в руках и сияющим, просветленным лицом. Такого выражения в глазах у него я никогда не видывал. Гоголь сказал: «Я все ждал, что кто-нибудь благословит меня образом, и никто не сделал этого; наконец Иннокентий благословил меня. Теперь я могу объявить, куда я еду: ко гробу господню». Он провожал Иннокентия, и тот, прощаясь с ним, благословил его образом. Иннокентию, как архиерею, весьма естественно было благословить Гоголя образом, но Гоголь давно желал, чтоб его благословила Ольга Семеновна, а прямо сказать не хотел. Он все ожидал, что она почувствует к этому влечение, и даже сам подговаривался; но Ольга Семеновна не догадывалась, да и как было догадаться? Признаюсь, я не был доволен ни просветленным лицом Гоголя, ни намерением его ехать ко святым местам. Все это

казалось мне напряженным, нервным состоянием и особенно страшным в Гоголе, как в художнике, — и я уехал в клуб. Без меня было много разговоров об этом предмете, и особенно Вера приставала к Гоголю со многими вопросами, которые, как мне кажется, не совсем были ему приятны. Например, на вопрос: «с каким намерением он приезжал в Россию — с тем ли, чтоб остаться в ней навсегда или с тем, чтоб так скоро уехать?» Гоголь отвечал: «С тем, чтоб проститься». Всем известно, что и письменно и словесно Гоголь высказывал совсем другое намерение. На вопрос, надолго ли едет он, Гоголь отвечал различно. Сначала сказал, что уезжает на два года, потом, что на десять и, наконец, что он едет на пять лет. Ольга Семеновна сказала ему, что теперь она ожидает от него описания Палестины, на что Гоголь отвечал: «Да, я опишу вам ее, но для того мне надобно очиститься и быть достойну». Через несколько времени он ушел,[92] оставя образ у нас, и взял его уже на другой день.

В первых числах мая приехала мать Гоголя с его сестрой Анютой, чтоб взять с собой Лизу, которая целый год жила у Раевской, и чтоб проститься с сыном, который, вероятно, уведомил ее, что уезжает надолго. Она остановилась также у Погодина. 1-го мая вот что случилось. Гоголь у нас обедал, после обеда часа два сидел у меня в кабинете и занимался поправкою корректур, в которых он не столько исправлял типографические ошибки, сколько занимался переменою слов, а иногда и целых фраз. Корректур был огромный сверток. Гоголь не успел их кончить, потому что условился ехать вместе с Шевыревым на гулянье, а Константин уехал ранее с Боборыкиным. В шесть часов мы дали Гоголю лошадь, и он отправился к Шевыреву, поручив мне спрятать и запереть корректуры, так чтоб их никто не видал. Зная, что Гоголь должен воротиться очень поздно и что в этот вечер никто нам не помешает, мы расположились в моем кабинете, и я начал читать вслух именно те главы «Мертвых душ», которых мое семейство еще не знало. Только что мы расчитались, как вдруг Гоголь въехал на двор… Сделалась страшная суматоха, и мы едва успели скрыть наше преступление. Мы переконфузились не на шутку, потому что очень боялись рассердить или, лучше сказать, огорчить Гоголя; по счастью, он ничего не заметил. Он приехал в большой досаде на Шевырева, который не подождал его пяти минут и уехал один, ровно в шесть часов. Поболтав кой о чем с нами и продолжая жаловаться на немецкую аккуратность Шевырева, Гоголь хотел было уже опять засесть за свои корректуры, как вдруг приехала карета четверкой в ряд, которую из Сокольников прислала Екат. Алекс. Свербеева и приказала убедительно просить Гоголя к ним в палатку. Она узнала от Шевырева, что он не подождал Гоголя и что Гоголь у нас. Гоголю не очень хотелось ехать, ему казалось уже поздно, но мы его уговорили, и он уехал.

Перед своими именинами, по случаю прекрасной погоды, еще до приезда матери, Гоголь пригласил к себе в сад некоторых дам и

особенно просил, чтоб приехала Ольга Семеновна с Верой. В шесть часов вечера Ольга Семеновна с Верой и Лизой отправились к Гоголю. Он встретил их на террасе и изъявил сожаление, «что они не приехали раньше, что так было хорошо, а теперь уже солнце садится». Они сошли в сад и гуляли вместе. Вскоре приехали Екатер. Алекс. Свербеева и Авд. Петр. Елагина. Гоголь был очень смешон в роли хозяина, и даже жалко было на него смотреть, как он употреблял всевозможные усилия, чтоб занимать приехавших дам. Ольга Семеновна, Авдотья Петровна и жена Погодина сели в саду у чайного стола, а Гоголь с Екат. Алекс. и за ними Лиза с Верой пошли гулять. Гоголь употреблял все усилия, чтоб занимать свою спутницу, которую можно было занимать только светской болтовней, как он думал. Две девушки шли за ними и посмеивались. Истощив, наконец, как видно, весь свой запас, Гоголь прибегал, например, к следующим разговорам: «Хорошо, если б вдруг из этого дерева выскочил хор песельников и вдруг бы запел», и тому подобным в этом роде. Все было вяло, принужденно и некстати; но спутница его считала долгом находить все очень любезным и забавным и очень привлекательно улыбалась. Я слышал потом, как дамы говорили, что Гоголь был чрезвычайно любезен и остроумен. Наконец пошли пить чай; сделалось холоднее. Гоголь подавал всем дамам салопы и услуживал, как умел. После чаю воротились в комнату; тут Гоголь, для той же цели, принялся рассказывать всякий вздор и пустяки об водяном лечении Присница, чему дамы очень смеялись, хотя, правду сказать, тут ничего не было смешного, потому что слышалось тяжелое принуждение, которое делал себе Гоголь. Ольга Семеновна и Вера не могли не заметить, что он был очень доволен, когда уехали Елагина и Свербеева. Проводя их, он сел в угол дивана, как человек, исполнивший свой долг и довольный, что может отдохнуть. Тут он был совершенно свободен, расспрашивал их про недавно бывший вечер у Хомякова, именно о том, что там делалось после его ухода, про Одоевского, про Боборыкина, которые всегда его забавляли. Наконец, когда сделалось уже совершенно темно, Ольга Семеновна и Вера уехали.

9-го мая сделал Гоголь такой же обед для своих друзей в саду у Погодина, как и в 1840-м году. Погода стояла прекрасная; я был здоров, а потому присутствовал вместе со всеми на этом обеде. На нем были профессора Григорьев (проездом случившийся в Москве), Армфельд, Редкин и Грановский. Был Ст. Вас. Перфильев (особенный почитатель Гоголя), Свербеев, Хомяков, Киреевский, Елагины, Нащокин (известный друг Пушкина, любивший в нем не поэта, а человека, чем очень дорожил Пушкин), Загоскин, Н. Ф. Павлов, Ю. Самарин, Константин, Гриша* и многие другие из общих наших знакомых. Обед был шумный и веселый, хотя Погодин с Гоголем были в самых дурных отношениях и даже не говорили, чего, впрочем, нельзя было заметить в такой толпе. Гоголь шутил и смешил своих соседей. После обеда Гоголь в беседке сам приготовлял жженку, и когда голубоватое пламя горящего рома и

шампанского обхватило и растопляло куски сахара, лежавшего на решетке, Гоголь говорил, что «это Бенкендорф, который должен привесть в порядок сытые желудки». Разумеется, голубое пламя и голубой жандармский мундир своей аналогией подали повод к такой шутке, которая *после обеда* показалась всем очень забавною и возбудила громкий смех. Не помню, тут ли был Перфильев.

Печатанье «Мертвых душ» приходило к концу, и к отъезду Гоголя успели переплесть десятка два экземпляров, которые ему нужно было раздарить и взять с собой. Первые совсем готовые экземпляры были получены 21-го мая, в день именин Константина, прямо к нам в дом, и тут же Гоголь подарил и подписал один экземпляр имениннику, а другой нам с надписью: «Друзьям моим, целой семье Аксаковых». У нас было довольно гостей, и все обедали в саду. Были Погодин и Шевырев. Это был в то же время прощальный обед с Гоголем. Здесь он в третий раз обещал, что через два года будет готов второй том «Мертвых душ», но приехать для его напечатанья уже не обещал. Семейство Гоголя бывало у нас очень часто, почти всякий день. Мать его также собиралась ехать и брала с собой вторую свою дочь Лизу, которая во время пребывания своего у Раевской много переменилась к лучшему, чем Гоголь был очень доволен. Во время еще пребывания своей сестры у Раевской, месяца за два до отъезда, у нее в доме Гоголь познакомился короче с одной почтенной старушкой, Над. Ник. Шереметевой, которая за год перед сим, еще не зная Гоголя лично, упросила Раевскую взять его сестру. Шереметева была глуха и потому, видев Гоголя несколько раз прежде, не говорила с ним и почти совсем его не знала. Но по случаю болезни Раевской, просидев с Гоголем наедине часа два, она была поражена изумлением, найдя в нем горячо верующего и набожного человека. Она, уже давно преданная исключительно молитве и добру, чрезвычайно его полюбила, несколько раз сама приезжала к нему, чтоб беседовать с ним наедине, и, наконец, непременно захотела его проводить. Гоголь, взявши место в дилижансе на 23 мая, сказал, что он едет из нашего дома и пригласил ее без всяких церемоний прямо приехать к нам. Шереметева, побывав поутру у Гоголя, подарив ему шнурок своей работы и отдав прощальное письмо, приехала к нам 23-го мая в субботу, чтоб еще проститься с Гоголем. Через четверть часа нельзя было узнать, что мы не были целый век дружески знакомы с этой почтенной и достойной женщиной. Когда началось прощанье, она простилась с Гоголем прежде всех и уехала, чтоб не мешать Гоголю проститься с матерью и сестрами. Простившись со всеми, Гоголь, выходя из залы, обернулся и перекрестил всех нас. Я, Гоголь, Константин и Гриша сели в четвероместную коляску и поехали до первой станции, до Химок, куда еще прежде поехал Щепкин с сыном и где мы расположились отобедать и дождаться дилижанса, в котором Гоголь отправлялся в Петербург. Подъехав к Тверской заставе, я как-то выглянул из коляски и увидел, что Над. Ник. Шереметева едет за нами в

своих дрожках. Мы остановились, Гоголь вышел и простился с ней очень нежно, а она благословила и перекрестила его, как сына. У самого шлагбаума подбежал к нам солдат и спросил: кто мы и куда едем? Константин, неспособный ни к какому роду лжи, начал было рассказывать: что мы такие-то и едем провожать Гоголя, отправляющегося за границу; но Гоголь поспешно вскочил и сказал, что мы едем на дачу и сегодня же воротимся в Москву. Я засмеялся, Константин несколько сконфузился, а Гоголь пустился объяснять, что в жизни необходима *змеиная мудрость*, то есть что не надобно сказывать иногда никому не нужную правду и приводить тем людей в хлопоты и затруднения; что если б он успел объявить о путешественнике, отъезжающем в чужие края, то у него потребовали бы паспорт, который находился в то время у кондуктора, в конторе дилижансов, и путешественника бы не пропустили*. Потом Гоголь обратился ко мне с просьбами старательно вслушиваться во все суждения и отзывы о «Мертвых душах», предпочтительно дурные, записывать их из слова в слово и все без исключения сообщать ему в Италию. Он уверял меня, что это для него необходимо; просил, чтоб я не пренебрегал мнениями и замечаниями людей самых глупых и ничтожных, особенно людей, расположенных к нему враждебно. Он думал, что злость, напрягая и изощряя ум самого пошлого человека, может открыть в сочинении такие недостатки, которые ускользали не только от пристрастных друзей, но и от людей равнодушных к личности автора, хотя бы они были очень умны и образованны. В такого рода разговорах, но без всяких искренних, дружеских излияний, которым, казалось бы, невозможно было не быть при расставаньи на долгое время между друзьями, из которых один отправлялся с намерением предпринять трудное и опасное путешествие ко святым местам, — доехали мы до первой станции (Химки, в 13 верстах от Москвы). Мих. Сем. Щепкин, приехавши туда прежде нас с сыном, пошел к нам навстречу и точно встретил нас версты за две до Химок. Приехавши на станцию, мы заказали себе обед и пошли все шестеро гулять. Мы ходили вверх по маленькой речке, бродили по березовой роще, сидели и лежали под тенью дерев; говорили как-то мало, не живо, не связно и вообще находились в каком-то принужденном состоянии. Гоголь внутренно был чрезвычайно рад, что уезжает из Москвы, но глубоко скрывал свою радость. Он чувствовал в то же время, что обманул наши ожидания и уезжает слишком рано и поспешно, тогда как обещал навсегда оставаться в Москве. Он чувствовал, что мы, для которых было закрыто внутреннее состояние его души, его мучительное положение в доме Погодина, которого оставить он не мог без огласки, — имели полное право обвинять его в причудливости, непостоянстве, капризности, пристрастии к Италии и в холодности к Москве и России. Он читал в моей душе, а также в душе Константина, что, после тех писем, какие он писал ко мне, его настоящий поступок, делаемый без искренних

объяснений, мог показаться мне весьма двусмысленным, а сам Гоголь — человеком фальшивым. Последнего мы не думали, но, конечно, с неприятным изумлением и некоторою холодностью, в сравнении с прежним, смотрели на отъезжающего Гоголя. Мы воротились с прогулки, довольно скучной, сели обедать, выпили здоровье Гоголя привезенным с собой шампанским и, сидя за столом, продолжали разговаривать о разных пустяках до приезда дилижанса, который явился очень скоро. Увидав дилижанс, Гоголь торопливо встал, начал собираться и простился с нами, равно как и мы с ним, не с таким сильным чувством, какого можно было ожидать. Товарищем Гоголя в купе опять случился военный, с иностранной фамилией, кажется немецкой, но человек необыкновенной толщины. Гоголь и тут, для предупреждения разных объяснений и любопытства, назвал себя *Гонолем* и даже записался так, предполагая, что не будут справляться с его паспортом. Хотя я давно начинал быть иногда недоволен поступками Гоголя, но в эту минуту я все забыл и чувствовал только горесть, что великий художник покидает отечество и нас. Горькое чувство овладело мною, когда захлопнулись дверцы дилижанса; образ Гоголя исчез в нем, и дилижанс покатился по Петербургскому шоссе. В то же время, как мы отправились провожать Гоголя, его мать с дочерьми и Ольга Семеновна, также с дочерьми, отправились в двух экипажах к Троице помолиться богу. Марья Ивановна была очень огорчена: сердце матери предчувствовало долгую разлуку.

Из всего рассказанного мною очевидно, что в этот приезд Гоголя я не был доволен им так, как в первый приезд, хотя по его письмам должно было ожидать, что взаимная дружба наша сделается гораздо сильнее. Повторяю, что, несмотря на некоторые необъяснимые поступки Гоголя, я обвиняю в этом себя. Мне должно было вмешаться в его неудовольствия с Погодиным, стать между ними посредником и судьей. Не надобно было смотреть на то, что Гоголь скрывал их; по рассказам Погодина я должен был понять, как страдал Гоголь. Если б нельзя было уладить их неприятности, то надобно было так устроить, чтоб Гоголь не жил с ним вместе. Здесь кстати сказать, что, возвращаясь в Россию, если не навсегда, то надолго, Гоголь не имел намерения жить у Погодина: он хотел жить вместе с Н. М. Языковым, который по болезни не мог тогда еще воротиться в Россию. Впрочем, и то надо сказать, что впоследствии Гоголь жил вместе с Языковым в чужих краях, но не ужился, и, конечно, в этом должно обвинять не Языкова, у которого был характер очень уживчивый. Причиною неудовольствия был крепостной лакей Николая Михайловича, который ходил за ним во все время болезни усердно, пользовался полной доверенностью своего господина и, по его болезни, полновластно распоряжался домашним хозяйством; Гоголь же захотел сам распоряжаться и вздумал нарушать разные привычки и образ жизни больного. Так, по крайней мере, говорили братья Языкова, к которым будто он писал сам, а также и его доверенный лакей. Когда приехал

Языков на житье в Москву, я спрашивал его об этом; но он отвечал мне решительно, что это совершенный вздор и что никаких неудовольствий между ним и Гоголем не бывало. Нельзя предположить, чтобы братья Языкова выдумали эту историю; но, вероятно, преувеличили, основываясь не на письмах брата, а на письмах его камердинера. Ник. Мих. Языков до кончины своей показывал искреннюю и горячую привязанность к Гоголю. Как бы то ни было, успел ли бы я или нет в своих действиях — вина состоит в том, что я их не начинал и что все это пришло мне в голову гораздо позже.

Вскоре после отъезда Гоголя «Мертвые души» быстро разлетелись по Москве и потом по всей России. Книга была раскуплена нарасхват. Впечатления были различны, но равносильны. Публику можно было разделить на три части. Первая, в которой заключалась вся образованная молодежь и все люди, способные понять высокое достоинство Гоголя, приняла его с восторгом. Вторая часть состояла, так сказать, из людей озадаченных, которые, привыкнув тешиться сочинениями Гоголя, не могли вдруг понять глубокого и серьезного значения его поэмы; они находили в ней много карикатуры и, основываясь на мелочных промахах, считали многое неверным и неправдоподобным. Должно сказать, что некоторые из этих людей, прочитав «Мертвые души» во второй и даже в третий раз, совершенно отказались от первого своего неприятного впечатления и вполне почувствовали правду и художественную красоту творения. Третья часть читателей обозлилась на Гоголя: она узнала себя в разных лицах поэмы и с остервенением вступилась за оскорбление целой России. К сожалению, должно сказать, что некоторые добрые и хорошие люди принадлежали к этой категории и остались в ней навсегда.

Распродажей «Мертвых душ» заведовал Шевырев и по мере выручки денег расплачивался с долгами.

Мы довольно скоро переехали на дачу. Там перечел я «Мертвые души» вслух моему семейству, прочитывал каждый день по одной главе, и тут только я понял всю великость этого творения. Я открыл в нем много красот, которые ускользнули от меня во время чтения Гоголя и даже моего собственного, всегда отрывочного и не вполне внимательного в суете городской жизни. Мать Гоголя с дочерьми уехала в свою Васильевку, или Яновщину, уже после нашего переезда на дачу; Марья Ивановна с дочерьми провожала нас, когда мы уезжали из Москвы, и простилась с нами очень грустно; особенно плакала Лиза, которую сестра Анюта напугала рассказами о жизни в глуши Малороссии. Марья Ивановна — женщина необыкновенная. Она так моложава и хороша собой, что дочери кажутся при ней уродами; она вся исполнена самоотвержения и тихой любви к своим детям: она отдала им свое сердце и сама не только не имеет воли, но даже своих желаний; по

крайней мере не показывает их. Сына любит она более всего на свете и между тем должна от него почти отказаться, видеть изредка, и то на короткое время. Лицо ее постоянно грустно, особенно после отъезда Николая Васильевича; она плачет мало, но видно, как глубоко огорчена, и между тем говорит, что не надобно грустить: ибо у них есть поверье, что тот человек, о котором грустят, будет оттого грустить больше. Вера очень справедливо пишет в письме к М. Карташевской, что как-то странно видеть мать Гоголя и слышать, как она говорит о нем. Например: *«Когда Николинька писал «Мертвые души», он желал только добра людям»* и т. п. выражения в этом роде. В самом деле, соединение подчеркнутых мною слов очень странно отзывается в ушах и в уме слушателя. Она, конечно, не может смотреть на него иначе, как на сына, и во всех словах о нем слышится материнское чувство, даже тогда, когда она говорит о нем как о великом писателе. Как она боится того впечатления, которое произведет на целую Россию его новая книга! Она боится неприязненного впечатления только потому, что это может его расстроить и повредить его здоровью. Как интересны все те мелочные подробности, которые она рассказывает про детство своего Николиньки. Например, как он написал один раз какое-то сочинение и поднес ей, а потом сам же тихонько утащил его и, вероятно, истребил, как она подозревает, и пр. и пр. Как она смотрит на портрет сына, который он оставил ей и который в самом деле похож чрезвычайно! Как она объясняет то, что выражается на лице его. «Он улыбается, — говорит она, — но вместе с тем он думает грустное; как будто хочет сказать людям: вы ошибаетесь во мне, моя душа чиста и ясна, и много любви в ней». Вера прибавляет, что я советовал Марье Ивановне записывать все воспоминания о детстве сына (кажется, всего было бы благонадежнее записывать их самим нам) и продолжает так: как любит Марья Ивановна всех тех, кто принимает участие в ее сыне! Она все старается уверить себя, что он воротится скоро, хотя он сам сказал ей, что это может быть не прежде пяти лет (чего он мне, собственно, никогда не говорил). Она увидала один раз только что вышедший том «Мертвых душ», лежавший на столе у нас в гостиной; она развернула и прочла: «О моя юность, о моя свежесть»... и залилась слезами. Поразительно было видеть, как по наружности молодая, прекрасная и свежая женщина оплакивала увядшую юность и свежесть своего сына. 10 июня, живя на даче в деревне Гаврилкове, я только что кончил вслух чтение «Мертвых душ», как получил первое письмо от Гоголя из Петербурга.

Спб., июня 4 <1842>.

Я получил ваше письмо еще в начале моего приезда в Петербург, милый друг мой Сергей Тимофеевич. Теперь пишу к вам несколько строк перед выездом. Хлопот было у меня довольно. Никак нельзя было на здешнем бестолковье сделать всего вдруг, кое-что я оканчивать оставил Прокоповичу. Он уже занялся печатанием. Дело, кажется, пойдет живо.

Типографии здешние в день набирают до шести листов; все четыре тома к октябрю выйдут непременно. Экземпляр «Мертвых душ» еще не поднесен царю. Все это уже будет сделано по моем отъезде. Обнимаю вас несколько раз. Крепки и сильны будьте душой! Ибо крепость и сила почиют в душе пишущего сии строки, а между любящими душами все передается и сообщается от одной к другой, и потому сила отделится от меня несомненно в вашу душу. Верующие в светлое увидят светлое, темное существует только для неверующих. — Прощайте. Обнимаю Константина Сергеевича, и передайте мое сердечное рукопожатье Ольге Семеновне, а с ним вместе и всему вашему семейству. Обнимите также всех моих знакомых, всех, кого я видал и с кем был в Москве. Прощайте. Пишите в Гастейн».

Первое мое письмо в Петербург, о котором говорит Гоголь, не нашлось в его бумагах. Печатанье всех его сочинений в четырех частях, в числе 5000 экземпляров было поручено школьному товарищу и другу Гоголя, г-ну Прокоповичу. Я его совсем не знаю и никогда не видывал, но дело это он исполнил не совсем хорошо. Во-первых, издание стоило неимоверно дорого, а во-вторых, типография сделала значительную контрфакцию. Когда Шевырев впоследствии, с разрешения Гоголя, вытребовал все остальные экземпляры к себе в Москву, оказалось, что у книгопродавцев в Петербурге, и частью в Москве, находился большой запас «Мертвых душ», не соответствующий числу распроданных экземпляров, так что в течение полутора года ни один книгопродавец не взял у Шевырева ни одного экземпляра, а все получали их из Петербурга с выгодною уступкою. По прошествии же полутора года экземпляры начали быстро расходиться и пересылаться в Петербург.

Теперь следует мое письмо с дачи.

«1842, июля 3-го. Гаврилково.

Вот уже другой месяц живем мы в прелестной деревушке, милый друг Николай Васильевич. Другой месяц или читаем вас, или говорим о вас. Никому не поверю, чтоб нашелся человек, который мог бы с первого раза вполне понять ваши бессмертные «Мертвые души»! Я восхищался ими вместе с другими, а может быть и больше других, или, по крайней мере, многих; но восхищение мое было одностороннее. Некоторые, более выдающиеся (по натуре своей) части закрывали от меня остальное. Это мир божий… Можно ли одним взглядом его рассмотреть? Какое надобно внимание и разумение, чтоб открыть в нем совершенство творчества в малейших подробностях, повидимому и не стоящих большого внимания? Признаю торжественно превосходство эстетического чувства в моем Константине. Он понял вас более меня и более всех, сколько мне известно, из прежних ваших творений. Что казалось восторженностью, доходившею до смешного излишества, то теперь стало истиною, понятою еще немногими, но тем не менее

непреложной истиной! Конечно, молодое поколение образованных юношей, все без исключения почти, кроме несчастных, лишенных всякого чувства изящного, более и полнее вас поймет, чем сорокалетние и пятидесятилетние люди. Все мы, с некоторыми изменениями, успели засорить свой ум, притупить чувство и не можем вдруг стряхнуть с себя сего ложного воззрения и направления. Константин написал статью, которая печатается в «Москвитянине»: в ней верно и ясно указаны причины, отчего порядочные люди, понимавшие и чувствовавшие других поэтов, не могут вдруг и вполне понять и почувствовать «Мертвые души». Я прочел их два раза про себя и третий раз вслух для всего моего семейства; надобно некоторым образом остыть, чтоб не пропустить красот творения, естественно ускользающих от пылающей головы и сильно бьющегося сердца. Теперь мы с жадностью бросились перечитывать все, написанное вами прежде, по порядку, как оно выходило. Расстояние велико, но элементы уже те! Главное: свежесть, ароматность, так сказать, жизни непостижимые!.. Прочту ли я остальные части «Чичикова»? Доживу ли я до этого счастья? Кроме моего семейства, у меня нет другого, столь высокого интереса в остальном течении моей жизни, как желанье и надежда прочесть два тома «Мертвых душ». А трагедия? Помните ли, что вы говорили мне о ней в Петербурге?.. Вы сами тогда считали ее совершеннейшим своим произведением, хотя она не была написана. Неужели толпа новых лиц, живущая в похождениях Чичикова, вероятно после вами созданная, сгладит образы и характеры лиц драмы, которые тогда (как вы сами выразились) предстояли пред вами живые и одетые в полные костюмы *до последней нитки?* Но да будет, что угодно богу. Да сохранит он только вас здрава и невредима.

Я получил ваше письмецо из Петербурга от 4-го июня. Вы намеревались выехать из него ранее, чем предполагали; по крайней мере, я помню, что поднесение экземпляров назначаемо было при вас; мы еще не имеем никакого известия, когда именно выехали вы из этого северного Вавилона. Сердечно вас благодарю, милый друг, за то, что вы побывали у Карташевских; особенно благодарит вас Вера: вы доставили ей истинное удовольствие, давши взглянуть на себя ее другу, Машеньке Карташевской. Эта необыкновенная девушка превзошла все мои ожидания! Как ни высоко я ценил ее эстетическое чувство, но не мог предполагать, чтоб она могла так понять и почувствовать «Мертвые души». Она удивила и восхитила меня своим письмом. Не много таких прекрасных существ можно встретить, не только в Петербурге, но и в Москве, и в целой православной Руси. — Я обещал вам записывать разные толки о Чичикове; я сделал это, сколько мог успеть, ибо через неделю мы уехали из Москвы. Вот они: выписываю их с дипломатическою точностью. С. В. Перфильев сказал мне: «Не смею говорить утвердительно, но признаюсь: «Мертвые души» мне не так нравятся, как я ожидал. Даже как-то скучно читать; все одно и то же,

натянуто: — видно желание перейти в русские писатели; употребление руссицизмов вставочное, не выливается из характера лица, которое их говорит». Он прочел залпом в один день. Я просил его через несколько времени прочесть в другой раз и не искать анекдота. Он хотел прочесть три раза. Уходя, он прибавил, что сальности в прежних сочинениях, даже в «Ревизоре», его не оскорбляли; но что здесь они оскорбительны, потому что как будто нарочно вставляются автором. Ф. И. Васьков говорил, «что состав губернского общества не верен (как и в «Ревизоре», где пропущены: стряпчий, казначей и исправник); что председателей двое; полицеймейстер лицо ничтожное в губернском городе; что, представив сначала все в дрянном и смешном виде, странно сделать такое горячее обращение к России; что часто шутки автора плоски, неблагопристойны, и что порядочной женщине нельзя читать всю книгу»*. Наконец, нашелся один, который обиделся следующими словами: *«посмотрим, что делает наш приятель?»* И кто же этот приятель?.. Селифан или половой!.. Что же они мне за приятели?.. Не сочтите за выдумку последнего выражения; все правда до последней буквы. Есть, впрочем, обвинения и справедливые. Я очень браню себя, что одно просмотрел, а на другое мало настаивал: крестьяне на вывод продаются с семействами, а Чичиков отказался от женского пола; без доверенности, выданной в присутственном месте, нельзя продать чужих крестьян, да и председатель не может быть в одно и то же время и доверенным лицом и присутствующим по этому делу. — Несмотря на лето, «Мертвые души» расходятся очень живо и в Москве и в Петербурге. Погодину отдано уже 4500; в непродолжительном времени и другие получат свои деньги (забавно, что никто не хочет получить первый, а всякий желает быть последним)».

«5-го июля.

Вчера получил Константин письмо от Погодина, который отказывается напечатать его статью о «Мертвых душах», хотя она уже была набрана; будучи сам слеп, боится, что осмеют человека зрячего… Ох, уже эти мне друзья, которые, не понимая хорошенько, вступают не в свое дело и присваивают себе не принадлежащие им права. Константин напечатает свою статью особой брошюркой. Вы знаете, милый друг, что я не допустил бы Константина печатать восторженный вздор; напротив, эта статья указывает истинную точку, с которой надобно смотреть на ваше творение, и открывает причины, почему красоты его не вдруг могут быть доступны испорченному эстетическому чувству большей части людей*. — Погодин, наконец, третьего дни получил отпуск и скоро уезжает. — Банкир ваш, Валентини, умер, итак пришлите мне немедленно ваш адрес в Риме. Жена моя не дождалась моего письма и писала к вам на прошедшей неделе.

Я теперь совершенно предался наслаждениям деревенской жизни. Местоположение у нас чудесное; дожди и грозы всякий день, но мимолетные, после которых еще свежее зелень, еще чище воздух, еще ароматнее цветы и травы. Всякий день встаю в 4 часа утра и спешу удить: и река, и пруды у самого дома. Пекусь на солнце часу до 11 и бросаюсь в реку, чтоб прохладиться и освежиться. До обеда немного вздремну, до вечера сижу и гуляю с своими, а вечером опять удить. Я точно уехал за тысячу верст: ни с кем не вижусь, ни во что не вхожу и ни с кем не переписываюсь... Письмо к вам, милый друг, исключение! С вами я не расстаюсь ни на один час, также и все мое семейство. Желание поговорить с вами не оставляло меня ни на минуту, но я слишком полон был сильных чувств и потому нарочно мешкал несколько, времени. Грустно мне, когда вздумаю, что время вашего возвращения так далеко... Когда мы вас дождемся?.. Много воды утечет в продолжение почти трех лет!.. А кто знает, велик ли запас ее! Притом какое длинное, трудное, со многими опасностями сопряженное путешествие! Часто я думаю, думаю и никак не могу объяснить себе причины этого последнего вашего путешествия. Неправда ли, милый друг, у вас не было и помышления о нем, когда вы воротились в Москву? Оно родилось мгновенно. По крайней мере, я не подозревал его. По моему свойству и правилам я никогда не навязываюсь на доверенность друзей своих; потому не спрашивал и вас о причинах такой быстрой перемены, хотя был поражен ею... Теперь же меня это беспокоит. Может быть, вы желали мне сказать о них и ожидали только моего вопроса; может быть, мое молчание вы растолковали в другую сторону — и жестоко ошиблись!.. Как бы я желал, чтоб срок вашего отсутствия сократился и чтоб мы увидели вас скорее, опять посреди нашего семейства, которое все без исключения привязано к вам как к ближайшему родному. — Сейчас получили письмо от Лизы. Маменька ваша и сестрицы доехали, хотя не скоро, с хлопотами и убытками, но благополучно; они верно к вам пишут. Всем нам очень жаль Лизу: она будет скучать, и ей не сладиться с тамошней, деревенской жизнью. — Константин будет к вам писать особо и скоро; но я не стал его дожидаться, потому что крепко захотелось перемолвить с вами словечко. К нам приехал третий и последний наш сын; часто бывает горько на душе, что уже не дождемся возвращения четвертого... Прощайте, милый, сердечный друг наш! Поминайте нас так же часто, как мы вас; чаще этого нельзя. Я предлагал Погодину, сейчас после вашего отъезда, заплатить весь ваш долг, но он отказался. Если вам понадобятся деньги, то, чур, ни к кому, кроме меня, не писать. Обнимаю вас крепко и долго. Да сохранит вас милосердный бог для всех вообще и для нас особенно! Все вас обнимают. Я был два раза у Шереметевой; она вас помнит и любит сильно. Ваш душою *С. Аксаков*. Погодин едет завтра».

Статья Константина, о которой говорится в этом письме, была принята Погодиным в журнал без всякого сопротивления, но его сбил Шевырев.

Погодин очень боялся, что мы с Константином осердимся за его отказ напечатать статью, и написал об этом большое письмо ко мне, но оно затеряно. Я отвечал очень ласково, что, может быть, он, как журналист, обязанный заботиться о выгодах журнала, поступает очень благоразумно, не помещая статьи, которая, разумеется, озлобит всех недоброжелателей Гоголя. Я умолчал о том, что мы намерены напечатать статью особой брошюркой, и уверял его, что Константин не питает никакого неудовольствия, что и было совершенно справедливо. Погодин очень обрадовался и написал к нам пренежную записку, в которой расхвалил Константина за его скромность и кротость. Погодин немедленно уехал за границу и, уже будучи в Париже, получил известие, что статья Константина напечатана. Ниже я приложу выписки из письма Погодина. С. В. Перфильев исполнил свое обещание, прочел «Мертвые души» три раза и оценил их по достоинству. В словах моих, что отсутствие Гоголя может продолжиться *почти три года*, заключается ясное доказательство, что он никогда не говорил мне о своем отъезде на пять лет. Здесь кстати сказать несколько слов о брошюре Константина. Погодин не ошибся в том, что она будет принята всеми враждебно. Статья называлась: «Несколько слов о поэме Гоголя: «Похождения Чичикова или Мертвые души». Как только она вышла из печати, все журналисты, все неприятели и даже почти все приятели Гоголя, говоря буквально, взбесились. Град ругательств, злобных насмешек и всякого рода оскорблений посыпался печатно и письменно на Константина. Раздражение было так велико, что сначала не было возможности ни с кем спорить. Я ожидал восстания, но не всеобщего и не в такой степени неистового. Я был так удивлен им, что даже на некоторое время усумнился в справедливости моего собственного взгляда и суда. Двенадцать уже лет прошло этому событию; не один раз перечитал я эту брошюру с искренним желанием найти в ней справедливые причины общего раздражения. Собираясь писать эти строки, я еще раз прочел ее и не нахожу ничего, что могло бы оправдать волнение, ею произведенное. Раздавался общий крик, что Константин назвал Гоголя Гомером, что совершенная неправда. Константин сказал только, что у *Гоголя есть эпическое созерцание, древнее, истинное, какое было и у Гомера*. Я спрашиваю по совести каждого: значит ли это, что Гоголь равен Гомеру, что он Гомер? Бесновавшийся тогда Шевырев сам через несколько лет переврал в одной из своих статей именно эту самую мысль Константина, а потом и еще кто-то в одном из петербургских журналов повторил эту же мысль — и никто не обратил даже внимания на них. Этот общий неистовый гнев есть психологическое явление, остающееся неразгаданным: оно, без сомнения, явилось законно, и было бы любопытно объяснить его законность. Гоголь также остался недоволен появлением брошюры Константина, осуждая не столько ее смысл, как то, что она появилась не во-время, в минуту общего недоуменья, поражения, так сказать, произведенного «Мертвыми душами», когда

большинство публики, оскорбленное, раздраженное восторгами поклонников Гоголя, не знало, что делать: хвалить или бранить? Первого не хотелось делать, на второе не смели вдруг решиться. Брошюра Константина как будто развязала им язык, и скрываемая многими злоба на Гоголя излилась сначала на сочинителя брошюры, а потом и на творца поэмы. В этом отношении Гоголь был совершенно прав. Брошюра наделала ему много зла. Нашелся, однако, один добросовестный человек, П. А. Плетнев, который, в издаваемом им журнале «Современник», отозвался с большою похвалою и уважением о статье Константина.

К письму моему к Гоголю, приведенному выше от 3-го и 5-го июля, были приложены выписки из писем Машеньки Карташевской о «Мертвых душах», которые я считаю за нужное приложить здесь, как факт, вполне выражающий то впечатление, какое произвела поэма Гоголя на человеческую душу, одаренную поэтическим чувством.

Выписка из писем Карташевской

«6 июня.

Сегодня мы дочитали «М. д.» Боже мой, что это за совершенство! Я не могу передать тебе, как много я была поражена чтением этой поэмы! Как можно было создать с таким совершенством все характеры этого романа и среди этой пошлой, бесцветной ничтожности отделить всякого такими резкими, отличительными чертами. Что это за разговоры! и что за восхитительные места везде, где автор говорит сам от себя!.. Я перечитывала их по нескольку раз и даже не могла удержаться, чтоб иных мест не прочесть Ваничке; я просила его передать тебе, в каком я полном восхищении. Я даже просила его позволения означить карандашом те места, которые особенно превосходны. Делая это, я воображала, что передам тебе хотя отчасти свои впечатления и что, когда ты взглянешь на эти отмеченные листочки и перечтешь их, мы как будто перечтем их вместе. Воображаю, в каком вы были восхищении! Мне кажется, что только после этого сочинения вполне начинаю я понимать, что такое Гоголь и что это за талант».

Из конца того же письма:

«...Вот и здесь (в деревне) скоро и жадно прочиталась поэма Гоголя. Это было чтение всеобщее. Любопытно слушала его и Надя. Я как-то предчувствовала, что Гоголь не просто едет за границу в Италию, что не эта страна отнимает его у нас; но я не знала ничего, потому что ты не писала мне, что он едет в Палестину. Можно вообразить, как он опишет эту страну! Еще скажи мне, написаны ли уже другие две части «М. д.» и скоро ли мы можем надеяться прочитать их? Что будет в них! Как выше всякого выражения будет то удовольствие, которое обещает он нам! Как

велики должны быть наши надежды, когда он сам объявляет, что *«явятся чудные образы, и все повергнется в прах»*.

«16-го июня.

Как верно угадала я, еще из предыдущего твоего письма, что ты, не сознавая, может быть, сама, боишься, что я не почувствую всего удивительного совершенства «М. д.». Ты думала, что они ускользнут от моего внимания, и между тем стараешься сама найти мне оправдание, говоря, что все достоинство этого сочинения не может быть постигнуто сразу. Вот что говорят твои строки и чего, может быть, ты не знаешь сама... И мысль, что «М. д.» не произведут во мне должного удивления, должна была тебе притти, потому что совсем не так слушала я «Ревизора» и не таково было впечатление на меня этой пьесы, и ты это знала! Этому причиною были совсем другие обстоятельства. Не знаю, передало ли мое предыдущее письмо то глубокое впечатление, которое произвело на меня это сочинение; я чувствую, что полный отчет отдать в нем было бы трудно. Только поверь мне, что я ценю его так высоко, как должно, и что ни одна мелочная подробность из разговоров всех этих ничтожных людей, а еще менее, ни одно из тех восторженных, как ты говоришь, мест, где говорит Гоголь сам от себя, не прошло не замеченным, не почувствованным мною. Ах, как приятно и в разлуке знать, что чувства наши были одинаковы». и проч.

Вот вам точные выписки: выкинуты только нежные названия. Хотел было выбрать из других писем, но устал писать. Обнимаю вас, милый друг, крепко и горячо. Я лучше себя чувствую и привыкаю понемногу.

Погодин писал ко мне из Парижа от 1-го октября <1842>:

«Как горько было мне услышать, что Константин напечатал свою статью о Гоголе! Как досадно мне было на вашу слабость! Неужели и в вас недостало столько литературной доверенности ко мне, чтоб согласиться со мною, что статья не годится для печати в первом виде? Неужели я не напечатал ее без основания? Неужели легко мне было прислать ее назад? Неужели не рад бы я был всякому успеху Константина?» и проч. и проч.

Теперь следует письмо Гоголя, полученное мною 11-го августа.

«Гастейн, июля 27/15 <1842>.

Здоровы ли вы, Сергей Тимофеевич, и что делается со всеми вашими? Напишите мне об этом две-три строчки: это мне нужно. Вы верно знаете и чувствуете, что я об вас думаю часто. Из Москвы никто не догадался написать мне в Гастейн, и я слышу чрез то какую-то пустоту, которая мне несколько мешает вдыхать в себя полную жизнь. — Я пробуду в Гастейне вместе с Языковым еще недели три, и в конце августа хотим

ехать вместе в Венецию, где пробудем недели две, если не больше; и потому вы адресуйте, если почувствуете благодатное желание писать, прямо в Венецию poste restante. Напишите мне все: как вы проводите время, хороша ли дача, хороша ли рыбная ловля и веселы ли как следует ваши дети? Ольге Семеновне скажу, что буду писать к ней, что предмет письма очень светел, и потому прошу ее быть как можно светлее до самого получения письма. Да кстати о письмах. Пошлите кого-нибудь на квартиру Нащокина (у Старого Пимена, в доме Ивановой) узнать, получено ли им письмо мое? Письмо это очень нужно и касается прямо его дела, а потому мне хотелось бы, чтобы оно было получено во всей исправности[*]. — А моему милому Константину Сергеевичу напишу тоже письмо, несколько нужное для нас обоих. — Сделайте милость, обнимите всех, кого увидите из моих знакомых. Если <Н. Ф. и К. К.> Павловы точно едут, то вы мне сделаете большую услугу присланьем чрез них некоторых книг, а именно: «Памятник веры», такой совершенно, как у Ольги Семеновны, и «Статистику России» Андросова[*], и еще, если есть какое-нибудь замечательное сочинение статистическое о России вообще или относительно частей ее, вышедшее в последних годах, то хорошо бы очень присовокупить его к ним. Кажется, вышел какой-то толстый том от Мин. Внут. Дел. — А Григория Сергеевича попрошу присылать мне реестр всех сенатских дел за прошлый год с одной простой отметкой: между какими лицами завязалось дело и о чем дело. Этот реестр можно присылать частями при письмах ваших. Это мне очень нужно. Да чуть было не позабыл еще попросить о книге Кошихина: При царе Алексее Михайловиче[*]. Я прошу вас записать цену их, чтобы я знал, сколько вам должен. — Я уверен, что Павловы не откажутся привезть мне их. Обнимите их от меня обоих. Они верно не сомневаются в том, что я очень хотел бы их увидеть. Около октября 1-го я надеюсь быть в Риме.

Прощайте. Не забывайте меня и пишите. Посылаю вам мой душевный поцелуй.

Ваш Гоголь.

Из Петербурга я писал письма — к вам, Ел. В. Погодиной и к Над. Н. Шереметевой. Если вам случится увидеть последнюю, скажите, что я буду к ней еще писать скоро и дайте ей мой адрес».

Надобно признаться, что почти все поручения Гоголя насчет присылки статистических и других книг, а также выписок из дел и деловых регистров исполнялись очень плохо; а между тем очевидно, что все это было ему очень нужно для второго тома «Мертвых душ». Павловы не поехали за границу, да и не думали ехать, а Гоголь счел их пустые слова за настоящее намерение. Конечно, отъезжающих за границу и кроме их было довольно, но мы плохо верили их аккуратности. Не помню, с кем-то были посланы один раз бумаги и книги, но они совсем не дошли до Гоголя и пропали. Несмотря на такие уважительные причины,

должно сознаться, что все мы без исключения были не довольно внимательны к просьбам Гоголя. Я должен к этому присовокупить, что некоторые сведения, каких требовал Гоголь, мне казались все равно недостаточными для узнания настоящего дела и даже вредными, потому что сообщали неверные понятия.

Теперь следует одно из самых замечательных и самое огромное письмо Гоголя.

Надобно рассказать, как я получил его. Это случилось в начале сентября, именно 2-го. В этот день поутру прочел я вслух переделанную и дополненную повесть Гоголя «Портрет», напечатанную в 3 № «Современника». Не защищаю ее фантастического содержания; но все дополнения, относящиеся к погибающему дарованию художника, привели меня в такой восторг, что слезы несколько раз прерывали мое чтение; тем не менее оно было так выразительно, что все слушавшие меня вполне разделяли мое восхищение*. Целый день мы все были полны того благодатного чувства, которое оставляет по себе художественное создание. Вечером поехал я в Английский клуб и сел, по обыкновению, играть в карты. Вдруг приходит Томашевский и подает мне очень толстое письмо от Гоголя. Продолжая играть, я распечатал его, чтоб пробежать некоторые строки; но я попал на такие слова, которые сделали для меня продолжение игры невозможным. Я нашел на свое место другого игрока и на извозчике прискакал домой; дома не только удивились, но даже встревожились моим необыкновенно скорым возвращением, но я развернул письмо и прочел моей семье следующее:

«Гастейн, 18 (6) августа <1842>.

Я получил ваше милое письмо и уже несколько раз перечитал его. Вы уже знаете, что я уже было соскучился, не имея от вас никакой вести, и написал вам формальный запрос. Но теперь, слава богу, письмо ваше в моих руках. Что же сделалось с тем, что писала, как видно из слов ваших, Ольга Семеновна, — я никак не могу понять: оно не дошло ко мне. Все ваши известия, все, что ни заключалось в письме вашем, все до последнего слова и строчки было для меня любопытно и равно приятно, начиная с вашего препровождения времени, уженья в прудах и реках, и до известий ваших о «Мертвых душах». Первое впечатление их на публику совершенно то, какое подозревал я заране. Неопределенные толки, поспешность быстрая прочесть и ненасыщенная пустота после прочтенья, досада на видимую беспрерывную мелочь событий жизни, которая становится невольно насмешкой и упреком, — все это я знал заране. Бедный читатель с жадностью схватил в руки книгу, чтобы прочесть ее, как занимательный, увлекательный роман, и, утомленный, опустил руки и голову, встретивши никак не предвиденную скуку. Все это я знал. Но при всем этом подробные известия обо всем этом мне всегда слишком интересно слышать. Многие замечания, вами

приведенные, были сделаны не без основания теми, которые их сделали. Продолжайте сообщать и впредь, как бы они ни казались ничтожны. Мне все это очень нужно. Само по себе разумеется, что приятнее всего было мне читать отчет ваших собственных впечатлений, хотя они были мне отчасти известны. Бог одарил меня проницательностью, и я прочел в лице вашем во время чтения все, что мне было нужно. Я не рассердился на вас за неоткровенность. Я знал, что у всякого человека есть внутренняя нежная застенчивость, воспрещающая ему сделать замечания насчет того, что, по мнению его, касается слишком тонких чувствительных струн, прикосновение к которым, как бы то ни было, но все же сколько-нибудь раздражает самое простительное самолюбие. Самая искренняя дружба не может совершенно изгладить этой застенчивости. Я знаю, что много еще протечет времени, пока узнают меня совершенно, пока узнают, что мне можно все говорить и более всего то, что более всего трогает чувствительные струны. Так же, как я знаю и то, что придет наконец такое время, когда все почуют, что нужно мне сказать и то, что (заключается) в собственных душах, не скрывая ни одного из движений, хотя эти движения не ко мне относятся. Но отнесем будущее к будущему и будем говорить о настоящем. Вы говорите, что молодое поколение лучше и скорее поймет. Но горе, если бы не было стариков. У молодого слишком много любви к тому, что восхитило его; а где жаркая и сильная любовь, там уже невольное пристрастие. Старик прежде глядит очами рассудка, чем чувства, и чем меньше подвигнуто его чувство, тем ясней его рассудок и может сказать всегда частную, повидимому, маловажную и простую, но тем не менее истинную правду. Если бы сочиненье мое произвело равный успех и эффект на всех — в этом была бы беда. Толков бы не было; всякий, увлеченный важнейшим и главным, считал бы неприличным говорить о мелочах, считал бы мелочами замечания о незначительных уклонениях, о всех проступках, повидимому ничтожных. Но теперь, когда еще не раскусили, в чем дело, когда не узнали важного и главнейшего, когда сочинение не получило определенного недвижного определения, — теперь нужно ловить толки и замечания; после их не будет. Я знаю, что самые близкие люди, которые более других чувствуют мои сочинения, я знал, что и они все почти ощутят разные впечатления. Вот почему прежде всего я положил прочесть вам, Погодину и Константину, как трем различным характерам, разнородно примущим первые впечатления. То, что я увидел в замечании их, в самом молчании и в легком движении недоуменья, ненароком и мельком проскальзывающего по лицам, то принесло мне уже на другой день пользу, хотя бы оно принесло мне несравненно большую пользу, если бы застенчивость не помешала каждому рассказать вполне характер своего впечатления. Человек, который отвечает на вопрос ограждающими словами: «не смею сказать утвердительно, не могу судить по первому впечатлению», делает хорошо; так предписывает правдивая скромность. Но человек, который

высказывает в первую минуту свое первое впечатление, не опасаясь ни компрометировать себя, ни оскорбить нежной разборчивости и чувствительных струн друга, тот человек великодушен. Такой подвиг есть верх доверия к тому, которому он вверяет свои суждения и которому вместе с тем вверяет, так сказать, самого себя. Иными людьми овладевает просто боязнь показаться глупее, но мы позабыли, что человек уже так создан, чтобы требовать вечной помощи других. У всякого есть что-то, чего нет у другого; у всякого чувствительнее не та нерва, чем у другого, и только дружный размен и взаимная помощь могут дать возможность всем увидеть с равной ясностью и со всех сторон предмет.

Я был уверен, что Конст. Сер. глубже и прежде поймет, и уверен, что критика его точно определит значение поэмы. Но, с другой стороны, чувствую заочно, что Погодин был отчасти прав, не поместив ее, несмотря на несправедливость этого дела. Я думаю просто, что ей рано быть напечатанной теперь. Молодой человек может встретить слишком сильную оппозицию в старых. Уже вопрос, почему многие не могут понять «Мертвых душ», с первого раза оскорбит многих. Мой совет напечатать ее зимою, после двух или трех других критик. Не дурно также рассмотреть, не слышится ли явно: я *первый понял*. Этого слова не любят, и вообще лучше, чтобы не слышалось большого преимущества на стороне прежде понявших. Люди не понимают, что в этом нет никакого греха, что это может случиться с самым глубоко образованным человеком, как случается всякому, в минуты хлопот и мыслей о другом, прослушать замечательное слово. Лучше всего, если бы Кон. Сер. прислал эту критику мне в Рим, переписавши ее на тоненькой бумажке для удобного вложения в письме. Я слишком любопытен читать ее. — Ваше мнение: нет человека, который бы понял с первого раза «Мертвые души», совершенно справедливо и должно распространиться на всех; потому что многое может быть понятно одному только мне. Не пугайтесь даже вашего первого впечатления, что восторженность во многих местах казалась вам доходившею до смешного излишества. Это правда, потому что полное значение лирических намеков может изъясниться только тогда, когда выйдет последняя часть. — Вере Сергеевне скажите, что я был тоже доволен, увидевши в Петербурге ее друга К<арташевскую> и не жалею даже о кратковременности нашего свидания. Есть души, что самоцветные камни; они не покрыты корой и, кажется, как будто и родились уже готовыми и обделанными. Их видит издали зоркий глаз ювелира, только замечает их место, сказавши: слава богу! и спешит к тем, где нужно много работы, чтобы отколоть грубую кору и сколько-нибудь огранить, дабы видел всякий, что это была не простая земля, но дорогой камень, закрытый вековыми накопленьями всего. Слова и мнения ее вы также выпишите и пришлите мне, хотя, натурально, нужно, чтобы она никак не знала этого. Все то, что идет

прямо от души и сердца, мне так же нужно знать, как все то, что идет от рассудка.

Вас устрашает мое длинное и трудное путешествие, вы говорите, что не можете понять ему причины; вы говорите, что несколько раз хотели спросить меня и все останавливались, не решаясь навязываться самому на доверенность. Зачем же вы не спросили; никогда душевная жажда вопросить не должна оставаться в груди; никогда сердечный вопрос не может быть докучен или не у места. Самое большее было бы то, что я ответил бы вам на это молчанием; но если молчание это светло и выражает спокойствие душевное, то стало быть оно уже ответ. А вопрос ваш все-таки был бы мне приятен, потому что он вопрос друга. И что бы мог я вам отвечать? Разве произнес бы слова только: так должно быть! — Рассмотрите меня и мою жизнь среди вас. Что вы нашли во мне похожего на ханжу, или хотя на это простодушное богомольство и набожность, которою дышит наша добрая Москва, не думая о том, чтобы быть лучшею. Разве нашли вы во мне слепую веру во все без различия обычаи предков, не разбирая, на лжи или на правде они основаны, или увлечение новизною, соблазнительной для многих современностью и модою? Разве вы заметили во мне юношескую незрелость или живость в мыслях? Разве открыли во мне что-нибудь похожее на фанатизм и жаркое, вдруг рождающееся увлечение чем-нибудь? И если в душе такого человека, уже по самой природе своей более медлительного и обдумывающего, чем быстрого и торопящегося, который притом хоть сколько-нибудь умудрен и опытом, и жизнью, и познанием людей и свыше; если в душе такого человека родилась подобная мысль, мысль предпринять это отдаленное путешествие: то верно она уже не есть следствие мгновенного порыва; верно уже слишком благодетельна она; верно далеко оглянута она; верно и ум, и душа, и сердце соединились в одно, чтобы послужить такой мысли. Но если бы даже и не могло заключаться в ней никакой обширной цели, никакого подвига во имя любви к братьям, никакого дела во имя Христа: то разве вся жизнь моя не стоит благодарности? Разве небесные минуты тех радостей, которые я слышу, не вызывают благодарности? Разве прекрасная жизнь тех прекрасных душ, с которыми встретилась душа моя, не вызывает благодарности? Разве любовь, обнявшая мою душу и возрастающая в ней более и более с каждым днем, не стоит благодарности? Разве в сих небесных торжественных минутах не присутствует Христос? Разве в сем высоком союзе душ не присутствует Христос? Разве эта любовь не есть уже сам Христос? Разве все, что отрывается от земли и земного, не есть уже Христос? Разве в любви, сколько-нибудь отделившейся от чувственной любви, уже не слышится мелькнувший край божественной одежды Христа? И сие высокое стремление, которым стремятся прекрасные души одна к другой, влюбленные в одни свои божественные качества, а не земные, не есть ли уже стремление ко Христу? «Где вас двое, там есть церковь моя». Или никто не слышит сих божественных

слов? Только любовь, рожденная землей и привязанная к земле, только чувственная любовь, привязанная к образам человека, к лицу, к видимому, к стоящему перед нами человеку, та любовь только не зрит Христа. Зато она временна, подвержена страшным несчастьям и утратам. И да молится вечно человек, чтобы спасли его небесные силы от сей ложной, превратной любви! Но любовь душ — это вечная любовь. Тут нет утраты, нет разлуки, нет несчастий, нет смерти. Прекрасный образ, встреченный на земле, тут утверждается вечно; все, что на земле умирает, то живет здесь вечно, то воскрешается ею, сей любовью в ней же, в любви, — и она бесконечна, как бесконечно небесное блаженство.

Как же вы хотите, чтобы в груди того, который услышал высокие минуты небесной жизни, который услышал любовь, не возродилось желание взглянуть на ту землю, где проходили стопы того, кто первый сказал слово любви сей человекам, откуда истекла она на мир. Мы движемся благодарностью к поэту, подарившему нам наслаждения души своими произведениями; мы спешим принесть ему дань уважения; спешим посетить его могилу, и никто не удивляется такому поступку, чувствуя, что стоит уважения и самый великий прах его. Сын спешит на могилу отца, и никто не спрашивает его о причине, чувствуя, что дарование жизни и воспитание стоят благодарности. Одному только тому, кто рай блаженства низвел на землю, кто виной всех высоких движений, тому только считается как-то странным поклониться в самом месте его земного странствия. По крайней мере, если кто из среды нас предпримет такое путешествие, мы уже как-то с изумлением таращим на него глаза; меряем его с ног до головы, как будто бы спрашивая: не ханжа ли он, не безумный ли он? Признайтесь, вам странно показалось, когда я в первый раз объявил вам о таком намерении. Моему характеру, наружности, образу мыслей, складу ума и речей и жизни, одним словом, всему тому, что составляет мою природу, кажется неприличным такое дело. Человеку, не носящему ни клобука, ни митры, смешившему и смешащему людей, считающему и доныне важным делом выставлять неважные дела и пустоту жизни, такому человеку, не правда ли, странно предпринять такое путешествие? Но разве не бывает в природе странностей? Разве вам не странно было встретить в сочинении, подобном «Мертвым душам», лирическую восторженность? Не смешною ли она вам показалась вначале, и потом не примирились ли вы с нею, хотя не вполне еще узнали <ее> значение? Так, может быть, вы примиритесь потом и с сим лирическим движением самого автора. И как мы можем сказать, чтобы то, которое кажется нам минутным вдохновением, нежданно налетевшим с небес откровением, чтобы оно не было вложено всемогущей волею бога уже в самую природу нашу и не зрело бы в нас невидимо для других? Как можно знать, что нет, может быть, тайной связи между сим моим сочинением, которое с такими погремушками вышло на свет из темной низенькой калитки, а не из победоносных триумфальных ворот в сопровождении трубного грома и

торжественных звуков, и между сим отдаленным путешествием? И почему знать, что нет глубокой и чудной связи между всем этим и всей моей жизнью и будущим, которое незримо грядет к нам и которого никто не слышит. Благоговение же к промыслу! Это говорит вам вся глубина души моей. Помните, что в то время, когда мельче всего становится мир, когда пустее жизнь, в эгоизм и холод облекается все, и никто не верит чудесам, — в то время именно может совершиться чудо чудеснее всех чудес... подобно как буря самая сильная настает только тогда, когда тише обыкновенного станет морская поверхность. Душа моя слышит грядущее блаженство и знает, что одного только стремления нашего к нему достаточно, чтобы всевышней милостью бога оно ниспустилось в наши души. И так светлей и светлей да будут с каждым днем и минутой ваши мысли и светлей всего да будет неотразимая вера ваша в бога, и да не дерзнете вы опечалиться ничем, что безумно называет человек несчастием. Вот что вам говорит человек, смешащий людей. Прощайте, это письмо пусть будет и для Ольги Семеновны вместе. Но не показывайте его другим. Лирические движения души нашей!.. неразумно их сообщать кому бы то ни было. Одна только всемогущая любовь питает к ним тихую веру и умеет беречь, как святыню, в глубине души душевное слово любящего человека. Впрочем, помните, что путешествие мое еще далеко. Раньше окончания моего труда оно не может быть предпринято ни в каком случае, и душа моя для него не в силах быть готова. А до того времени нет никакой причины думать, чтобы <мы> не увиделись опять, если только это будет нужно. — Пишите мне все, что ни делается с вами и что ни делается вокруг вас; все, что ни касается жизни, уже жизнь моя. Толков об «Мертвых душах», я думаю, до зимы вы не услышите. Но если на случай кто-нибудь будет вам писать о них, вы выпишите эти строки в письме ко мне. Прощайте. Целую вас всею силою душевного лобзания; распространите его на всех близких вашему сердцу. Деньги мне не нужны раньше октября. Адресуйте на имя банкира Duc de Torlonia для передачи Гоголю. Шевыреву я написал порядок, как уплачивать по случаю возникшего несогласия насчет первенства. Нужно, чтобы эти деньги были уплачены как можно скорее. Они должны были быть отданы в первые два месяца».

К этому письму почти не нужно никаких объяснений, кроме того, что в нем Гоголь между прочим отвечает на мое письмо, которое, как и многие другие, пропало. Хотя я не помню содержания этого письма, но решительно протестую против того, будто лирические места «Мертвых душ» показались мне смешными. Я никогда так не думал, а потому и не мог написать. Я подозреваю, не принял ли Гоголь мнений других, сообщенных мною в письме, за мои собственные, единственно потому, что я вообще назвал их сделанными *не без основания*. Одно только лирическое место (стран. 58) показалось мне, да и теперь кажется, неуместным, сказанным рановременно. Можно ли говорить о том, что

человек еще намерен произвесть. Разве будущее нам известно? К несчастию, смерть Гоголя и сожжение «Мертвых душ» служат ужасным доказательством справедливости моего замечания. Должно также сказать, что это чудное письмо произвело тогда на нас необыкновенно сильное впечатление, вероятно подготовленное утренним чтением переделанной или почти вновь написанной Гоголем повести «Портрет». Я сам, не совсем довольный религиозным направлением Гоголя, которое мне казалось мистическим, был не то, чтобы убежден, но растроган, умилен, очарован этим письмом. Надобно признаться, что не совсем строго было выполнено желание Гоголя, требовавшего, чтобы мы только двое с Ольгою Семеновной прочли это письмо. Можно ли было не показать его Константину и старшим дочерям? Гоголь узнал об этом и был очень недоволен. Под большим секретом было оно прочтено некоторым нашим друзьям. В 1847 году, когда вышла известная книга: «Избранные места из переписки с друзьями», сильно меня взволновавшая, я имел непростительную слабость и глупость, в пылу спорного разговора, в доказательство постоянного направления Гоголя[*], показать это письмо <Н. Ф.> Павлову... Мне и теперь совестно, что я это сделал. Я был за это жестоко наказан: Павлов выпросил у меня это письмо на несколько часов, чтобы прочесть одному больному человеку, почтенному и достойному, любившему Гоголя, но сомневавшемуся в искренности его религиозных убеждений. Он уверил меня, что прочтение этого письма будет душевным и целебным наслаждением для больного, что это будет истинным добрым делом. Павлов не возвратил мне этого письма до сих пор: сначала говорил, что забывает привезть; потом, что куда-то далеко его запрятал, и, наконец, сказал, что он мне возвратил его, уверяя меня, что я забыл об этом. Я сердился и огорчался постоянно таким поступком и был убежден, что Павлов потерял письмо; но с год тому назад я узнал положительно, что это письмо было найдено в его бумагах, когда их разбирали полицмейстер Бакунин и жандармский капитан Воейков. Теперь я вижу в этом письме лирический порыв, дифирамб, чем назвал сам Гоголь свое путешествие ко святым местам.

На это письмо Константин писал к Гоголю следующее:

«Наконец пишу к вам, дорогой Николай Васильевич... до сих пор не мог собраться. Мы получили ваше последнее большое письмо из Гастейна; мне нечего сказать вам, как только, что ни одно слово письма вашего не пропало для меня даром; все они отозвались глубоко и остались во мне своею благодатною силою. — Бог знает, когда мы вас увидим; но оставайтесь далеко, живите где хотите, идите, куда вас влечет: бог благословит всякий путь ваш и ваше дальнее путешествие. Если же только можете, не уклоняясь от желанного пути, то приезжайте к нам в Москву, которую, верно, вы постоянно видите и чувствуете, где бы вы ни были: она живое сердце нашей великой России; на ней лежит судьба ее,

из нее все великое благо. — Как будем мы рады, мы собственно, когда вас опять увидим. Вы уехали, дорогой Николай Васильевич, и оставили нам книгу, которая произвела необыкновенный шум. Давно не бывало у нас такого движения, какое теперь по случаю «Мертвых душ». Ни один, решительно, человек не остался равнодушен; книга всех тронула, всех подняла, и всякий говорит свое мнение. Хвала и брань раздаются со всех сторон, и того и другого много; но зато полное отсутствие равнодушия. Отовсюду слышны мнения: их говорит всякий; всякий открыл свое суждение и потому, — при этом всеобщем объявлении своих мыслей, взглядов на вещи, при этом всеобщем признании, вынужденном книгою, — произошла такая разность мнений, такие поразительные несходства, что едва веришь ушам своим. Без этой книги и предполагать нельзя бы было такого различия мнений, которое вышло теперь на свет. Одни говорят, что только тут видят они Гоголя, который до сих пор далеко не так поражал их; что только тут почувствовали они его колоссальность; другие провозгласили было в самом начале, что эта книга — падение Гоголя, смерть его таланта; но скоро должны были замолчать, оглушенные всеобщим шумом, поднявшимся над их главами; они ограничиваются тем теперь, что указывают на прежние ваши сочинения, на Малороссию. Для иных здесь колоссально предстает Россия, сквозящая сквозь первую часть и выступившая на конце книги; слезы навертываются у них на глазах при чтении последних строк. Другие с горестью читают, говорят, что надо терзаться и плакать. *Посмотрите,* — говорил мне один, — *какая тяжелая, страшная насмешка в окончании этой книги.* — Какая? — спросил я выпучив глаза. — *В словах, которыми оканчивается книга.* — Как в этих словах? — *Да разве вы не заметили? Русь, куда несешься ты, сама не знаешь, не даешь ответа.* — И это говорят серьезно, с искреннею, глубокою грустью. Мне удалось, однако, поколебать это печальное мнение. — Одни говорят, что «М. д.» поэма, что они понимают смысл этого названия; другие видят в этом насмешку совершенно в духе Гоголя: *на-те вот, грызитесь за это слово.* Многие помещики не на шутку выходят из себя и считают вас своим смертельным, личным врагом. Само собою разумеется, что ко всему этому присоединяются нападения на вас, на неприличие; с другой стороны, дается этим нападениям живой отпор. — Я говорю вам, дорогой Николай Васильевич, пока вообще; но потом постараюсь написать мнения в отдельности — некоторые выражены печатно. Журналы не могут перестать говорить о «Мертвых душах»; не показывается номера, в котором бы не было об них толков. Шевырев написал две, пишет еще третью статью*. «Отечественные записки», беспрестанно говоря и браня все мнения о «Мертвых душах», обещаются написать большую статью. Словом сказать, литераторы, журналисты, книгопродавцы, частные люди — все говорят, что давно не бывало такого страшного шума в литературном мире, одни браня, другие хваля. Из последних, одни со

слезами на глазах от того живого света русской жизни, проникающего наружу теплым лучом, перед которым падает всякое сомнение, и растет надежда, вместе с силами и бодростью духа. — Другие — со слезами на глазах от совершенного отчаяния; они говорят, что тот не русский, у кого сердце не обольется кровью, глядя на безотрадное состояние России; говорят: *Гоголь не любит России; посмотрите, как хороша Малороссия и какова Россия*; прибавляют: *заметьте, что самая природа России не пощажена и погода даже все мокрая и грязная*. Но мне хочется также сказать вам собственно про себя, дорогой Николай Васильевич. Когда я слышал «М. д.», еще никакого впечатления целого не было возбуждено во мне. Я прочел их; я чувствовал, что́ прекрасно; видел красоту создания, жизнь всякой отдельной черты; но что такое самое создание, какой общий смысл его, в котором соединяются в одно целое все эти чудные, живые черты, — этого я не мог себе постигнуть. Мысль была в недоумении; но потом открылась для меня внутренняя гармония всего создания: стали в одно целое все малейшие черты, понятна стала глубочайшая связь всего между собою, основанная не на внешней анекдотической завязке (отсутствие которой смущает с первого разу), но на внутреннем единстве жизни, и тогда мог я наслаждаться самим созданием, целым его образом, который, кажется, стал доступен мне. Очень понятно, что тогда весь был я наполнен моим чувством наслаждения, впечатлением «Мертвых душ». Мне кажется, главная трудность лежит в настоящем уразумении слова: *Поэма*, так по крайней мере, как я его понимаю. Когда стал я говорить о «М. д.», то нашел согласным с собой Хомякова и Самарина. *Это древний эпос с его великим созерцанием, разумеется, современный и свободный, в наше время — но это он»*.

Я сказал Хомякову, что хотел бы написать о «М. д.», он советовал мне то же, и я написал статью. *Несколько слов* для «Москвитянина». Туда не была она принята; тогда я напечатал ее брошюркой, которую не пустил в продажу, раздав только знакомым. Несмотря на то, она сделалась известна многим; брошюрка была написана скоро, может быть не ясно, и на нее многие, почти все напали, искажая сказанные в ней мысли. Многого не досказал я еще там собственно о «М. д.», что думаю и что случалось говорить мне здесь. Белинский умышленно или неумышленно изуродовал слова мои, напечатал на меня ругательную рецензию, на которую надо было мне отвечать для того, чтобы уничтожить ложь, на меня взводимую. Нет, Николай Васильевич, у меня не было чувства: *я первый понял*, и кажется, не видать его в статье моей. Посылаю вам и брошюрку и мое возражение. Далеко и то и другое, не дает еще чувствовать, что такое «Мертвые души». Прочтите и скажите мне, что вы думаете. В этих статейках сказано мое глубокое убеждение... Прощайте, дорогой мой Николай Васильевич, от всего сердца обнимаю вас. Белинский в восторге от «М. д.», но кажется, он их далеко не понимает»[*].

В 1842 году писем Гоголя более не нашлось; но видно из письма Веры к Машеньке, что было письмо в декабре. 1843 год. Письмо без числа, но вероятно писанное в генваре:

«Благодарю вас, добрый друг мой Ольга Семеновна, за прекрасное письмо ваше. В нем слышны все движения души вашей. Всегда в минуты ваших душевных движений пишите ко мне. Все, что изольется из души вашей, останется святыней и тайной в душе моей. Слышите ли вы, что в последних словах заключается упрек вам. Да, я люблю делать упреки тем, которых люблю. Я просил вас, чтобы вы только вдвоем прочитали письмо мое, а письмо это читала вся ваша семья, и кроме того вы даже дали списать с него для себя копию. Я знаю, вы любите отвечать обыкновенно, что в семье вашей нет тайны, и отчасти думаете, что такой просьбой моей водит отчасти маленький каприз. Но бог весть, может быть, иногда не вовсе ничтожная причина двигает капризом. Но дело уже сделано. Исполните же по крайней мере теперь мою просьбу. Просьба отсутствующего должна быть священна. Позабудьте вовсе письмо мое оное! Не читайте его, спрячьте на целые четыре года. Никто из вас пусть не говорит и не упоминает о нем во все это время. Я так хочу, и больше ничего. Еще просьба: не хвалите меня перед другими, по крайней мере, менее сколько можно. Из письма вашего со страхом я увидел, что вы меня считаете чем-то вроде святости и совершенства. Ради бога не думайте так: это грех. В моей душе есть точно стремление к этому; но вы слышите ли, какое страшное пространство между этим стремлением и достижением? Вот все, что вы можете говорить другим: у него добрая душа и есть истинное желание быть лучше, чем он есть. Эти слова вы можете только сказать обо мне. И если услышите нападения на меня, никак не отвергайте их. Нападения не могут быть без причины. Лучше прилежно выслушайте их и передайте потом мне. Прощайте! В минуты сильных ваших движений душевных всегда пишите ко мне. Если у вас родятся какие-нибудь упреки, мне смело их говорите. Упреков любящего человека всегда жаждало, как святыни, мое сердце».

Письмо это должно принадлежать к 1842 году* и, вероятно, было приложено в письме ко мне, которое пропало. Оно, очевидно, есть ответ на письмо Ольги Семеновны, которое было писано к Гоголю перед отъездом на богомолье в Воронеж, что происходило в октябре.

Теперь по хронологическому порядку следует мое письмо к Гоголю от 6-го февраля 1843, которое прилагается здесь в оригинале:

«У, какой хаос в голове! Как давно не писал к вам, милый друг Николай Васильевич, и очень много накопилось всякой всячины, о которой надобно бы написать к вам и подробно, и порядочно... Право, не знаю, с чего начать? Прежде всего надобно сказать вам причину немного долгого моего молчания, а потом, по возможности, рассказать исторически все происшествия (очень жалею, что не вел записки вроде

журнала; но обстоятельства были так важны, и мы принимали их так близко к сердцу, что до благополучного их окончания я не в состоянии был ничего писать). Я и все мои здоровы, но не писал к вам, во-первых, потому, что сначала мы были встревожены слухами, будто государь был недоволен «Мертвыми душами» и запретил второе их издание; будто также недоволен был «Женитьбой», и что 4-й том ваших сочинений задержан, перемаран и вновь должен быть напечатан (все это, как оказалось после, или совершенная неправда, или было, да не так). Во-вторых, не писал я к вам потому, что в бенефис Щепкина ставились на здешнем театре «Женитьба» и «Игроки»; разумеется, я не пропускал репетиций и сколько мог хлопотал, чтобы пьесы были поняты и сколько-нибудь сносно сыграны. Вчера сошел бенефис Щепкина, и сегодня принимаюсь я писать к вам; но, вероятно, ранее понедельника это письмо не отправится в Рим. Еще к 1-му ноября ожидали мы ваших сочинений; даже книгопродавцы московские, не получа еще их, объявили в газетах, что такого-то числа поступят в продажу сочинения Гоголя. Я непременно хотел дождаться их появления, чтоб написать о всем, и о моих собственных впечатлениях, и о том, что произведут они на всю массу читающей московской публики. Но сочинения ваши запоздали своим выходом сами по себе, и потом действительно 4-й том был задержан (так что у нас были получены два первых задолго до получения 4-го; почему не было получено третьего, не знаю). Впрочем, эти задержки произошли вследствие особенных обстоятельств. Два цензора были посажены под арест за пропуск какой-то статьи; это заставило их сделаться еще осторожнее и остановить выпуск некоторых уже отпечатанных книг, в том числе и 4-й том ваших сочинений. Наконец, все было получено без всяких исключений… Все (я разумею людей, способных понимать и чувствовать) были в восхищении, что истина восторжествовала. Все приписывают это самому государю (я то же думаю), и все восхищаются его высоким правительственным разумом. Вообще, появление на сцене и в печати ваших творений будет памятником его царствования*; мы благословляем его от души! — Пьесы, цензурованные для представления на театре, «Женитьба» и «Игроки», были получены гораздо прежде ваших сочинений; я имел случай читать несколько раз в обществе мужчин и дам последнюю и производил восторг и шум необыкновенный, какого не произвела она даже на сцене. На это есть множество причин: 1) На Большом театре, где обыкновенно даются бенефисы, многого нельзя было расслушать; итак, публика только вслушивалась в пьесы. 2) Главные лица: Подколесин и Утешительный дурно были исполнены Щепкиным… Остальных, мелочных причин не нужно исчислять. Но когда подняли занавес, продолжительный гром рукоплесканий приветствовал появление на сцене нового вашего сочинения. Я не понимаю, милый друг, вашего назначения ролей. Если б *Кочкарева* играл Щепкин, а *Подколесина* Живокини, пьеса пошла бы лучше. По свойству своего таланта Щепкин

не может играть вялого и нерешительного творенья, а Живокини, играя живой характер, не может удерживаться от привычных своих фарсов и движений, которые беспрестанно выводят его из характера играемого им лица. Впрочем, надо было отдать ему справедливость: он работал из всех сил, с любовью истинного артиста, и во многих местах был прекрасен. Они желают перемениться ролями. Позволите ли вы?[*] В продолжение великого поста они переучат роли, если вы напишете ко мне, что согласны на то. <А. Н.> Верстовский (который вас обнимает: недавно я прочел ему «Разъезд», и он был в упоении) и другие говорят, что в Петербурге Мартынов в роли Подколесина бесподобен, но все прочие лица несравненно ниже московских. Послезавтра бенефис должен повториться на Большом театре, а потом пьесы ваши навсегда сойдут на Малый театр. Актеры и любители театра нетерпеливо этого ожидают, там они <пьесы> получат настоящую цену и оценку.

Сам вижу, как беспорядочно мое письмо: но получение ваших сочинений, постановка пьес и все вообще так высоко настроили мои нервы, что они дрожат, и предметы путаются и пляшут в голове моей. Лучше начать отчет о спектакле. «Женитьба» была разыграна лучше «Игроков». В первой женихи, особенно Садовский (*Анучин* или *Ходилкин*, как перекрестил его г. цензор Гедеонов, который по глупости своей много кое-чего повымарал в обеих пьесах о купцах, дворянах и гусарах: слово *«гусар»* заменил *«молодцом»*, вместо *Чеботарев* поставил *Чемоданов* и проч.), были недурны. Женщины, кроме Агафьи Тихоновны (Орлова, которая местами была хороша), сваха (Кавалерова)[93] и купчиха (Сабурова 1-я) вообще были хороши. Щепкин, ничуть меня не удовлетворяя в строгом смысле, особенно был дурен в сцене с невестой один на один. Его робость беспрестанно напоминала Городничего, и всего хуже в последней сцене. Переходы от восторга, что он женится, вспыхнувшего на минуту, появление сомнения и потом непреодолимого страха от женитьбы даже в то еще время, когда слова, повидимому, выражают радость, — все это совершенно пропало и было выражено пошлыми театральными приемами… Публика грозно молчала всю сцену, и я едва не свалился со стула. Мне тяжело смотреть на Щепкина…[*] Он так мне жалок: он переслуживает свою прежнюю славу. Хомяков, который был подле нас в ложе, весьма справедливо заметил, что те же самые актеры, появившиеся в средней пьесе (какой-то водевиль) между двумя вашими, показались не людьми, а картонными фигурами, куклами выпускными. — Оставляю писать до завтра; ибо очень устал».

«7-го февраля.

После спектакля я отправился в Дворянский клуб, где я обыкновенно играю в карты и где есть огромная комната Кругелей, Швохневых[*] и других. Они все дожидались нетерпеливо «Игроков» и часто меня

спрашивали: что это за пьеса? Там все без исключения говорили следующее: «Женитьба» не то, что мы ожидали; гораздо ниже «Ревизора», даже скучно, да и не натурально; а «Игроки» хороша, только это старинный анекдот; да и все рассказы игроков известные происшествия». Один сказал, что нынче уже таких штук не употребляют и никто не занимается изучением рисунка обратной стороны. Нашлись такие, которые были в театре, но уехали поранее, и я нашел их уже за картами, уверяющими, что они не могли попасть в театр, но что после непременно посмотрят обе пьесы. — Странное дело: «Женитьбу» слушали с большим участием; удерживаемый смех, одобрительный гул, как в улье пчел, ходил по театру; а теперь эту пьесу почти все осуждают. «Игроков» слушали гораздо холоднее, а пьесу все почти хвалят; все это я говорю о публике рядовой. Вчера был у меня П<авлов>, который, несмотря на больные глаза, приезжал в театр, который был поражен «Игроками» и, сидя подле меня, говорил, что это — трагедия, и ужасно бранил игру Ленского (занимавшего роль Ихарева. Я хотел дать ее Мочалову, но он пьет напропалую; да и Щепкин, по каким-то соображениям или отношениям, не хотел этого); но вчера, то есть на другой день представления, изволил говорить совсем другое, что «Женитьба» шалость большого таланта, а «Игроков» не следовало писать, играть и еще менее печатать; что тут нет игроков, а просто воры, или действие слишком одностороннее и проч., то есть говорил совершенный вздор. Когда же я ему напомнил вчерашнее его мнение, то он сказал, что был *ошеломлен* вчера и сегодня поутру все хорошенько обдумал... то есть признался откровенно во всем. (Хомяков говорит, что это торжество воли!..)»

«8-го февраля.

Загоскин в театре не был, но неистовствует против «Женитьбы» и особенно взбесился за эпиграф к «Ревизору». С пеной у рта кричит: *«да где же у меня рожа крива?»*[118*]Это не выдумка. Верстовский просил меня написать к вам, что он берется поставить «Разъезд», а то дирекция возьмет его по разам. Исполняю его желание, хотя знаю наперед ваш ответ. Обращаюсь к изданию ваших сочинений. Вообще оно произвело выгодное для вас впечатление на целую Москву, ибо главное ожесточение против вас произвели «Мертвые души». «Шинель» и «Разъезд» всем без исключения нравятся; полнейшее развитие «Тараса Бульбы» также[*]. Судя по нетерпению, с которым их ожидали, и по словам здешних книгопродавцев, которые были осаждаемы спрашивающими, должно предполагать, что издание будет иметь сильный расход. — Что касается до меня и до всех моих, то трудно сказать что-нибудь новое о наших чувствах: мы наслаждаемся *вполне*. Конечно, новые ваши творения, например «Шинель» и особенно «Разъезд», сначала так нас поразили, что мы невольно восклицали: «это *выше всего*»; но впоследствии, повторив в несчетный раз старое,

увидели, что и там та же вечная жизнь, те же живые образы. Но я, лично я, остаюсь, однако, при мнении, что «Разъезд», по обширному своему объему, по сжатости и множеству глубоких мыслей, по разумности цели пьесы, *по языку*, по благородству и высокости цели, по важности своего действия на общество — точно выше других пьес. Не говорю о других красотах его, которые он разделяет со всеми вашими сочинениями такого рода или содержания. — Мы слышали, что куда-то прислан экземпляр ваших сочинений для нас. Благодарим вас. Дай бог, чтоб наступило скорее время или, лучше сказать, чтоб оно пришло благополучно, когда вы, сидя посреди всех наших, напишете на первом листочке: *«милым друзьям»* и пр. — Хотя я очень знаю, что действия ваши, относительно появления ваших созданий, заранее обдуманы; что поэт лучше нас, рядовых людей, прозревает в будущее: но (следую, впрочем, более убеждениям других, любящих также вас людей) теперь много обстоятельств требуют, чтоб вы, если это возможно, ускорили выход второго тома «Мертвых душ». Подумайте об этом, милый друг, хорошенько… Много людей, истинно вас любящих, просили меня написать вам этот совет. Впрочем, ведь мы не знаем, такое ли содержание второго тома, чтоб зажать рот врагам вашим? Может быть, полная казнь их заключается в третьем томе…

Вы так давно не писали к нам, что это наводит на меня сомнение; я боюсь, что вы недовольны или досадуете за брошюрку Константина и что чувство досады мешает вам писать. Вы дожидаетесь, может быть, пока она пройдет совершенно. Если так, то, пожалуйста, пишите, не дожидаясь полного исчезновения неприятного чувства. Я сам знаю, что это ошибка, и не маловажная: с его стороны написать, а с моей — позволить печатать. Но что же делать? Нам казалось, что смелое указание истинного взгляда может навести многих на настоящую точку зрения, и если это так, то чего смотреть на толпу, которая заревет, не понимая цели. Впрочем, это не извиняет меня: я, седой дурак, должен был понять, что этот рев будет неприятен вам. Есть люди, которые говорят, что он вам даже повредил; но я решительно не соглашаюсь с ними; вам вредить ничто не может. Одно могло бы быть вредно, и то как отсрочка — полное равнодушие, невнимание; но дело уж давно не так идет.

Теперь о нас самих. Мы здоровы по возможности. Я сижу на диете; только не умею ладить с временем и часто ложусь спать слишком поздно. Жена и все мое семейство вас обнимают. Намерение мое уехать в Оренбургскую губернию сильно поколебалось, и мы ищем купить деревню около Москвы, но до сих пор не находим. Я хочу только приятного местоположения и устроенного дома. Мысль, что вы, милый друг, со временем переселясь на житье в Москву, будете иногда гостить у нас, — много украшает в глазах наших наше будущее уединение. Прощайте. Обнимаю вас крепко, да сохранит вас бог.

До гроба друг ваш

С. Аксаков».

Следующее письмо Гоголя — ответ на мое:

«Рим, марта 18-го <1843>.

Наконец я получил от вас письмо, добрый друг мой, и отдохнул душою; потому что, признаюсь, мне было слишком тягостно такое долгое молчание со всех сторон. Благодарю вас за ваши известия, мне они все интересны. Успех на театре и в чтении пьес совершенно таков, как я думал. Толки о «Женитьбе» и «Игроках» совершенно верны, и публика показала здесь чутье. Относительно перемены ролей актеры и дирекция имеют полное право, и удивляюсь, зачем они не сделали этого сами. Кто же, кроме самого актера, может знать свои силы и средства? Верстовского поблагодарите от души за его участие и расположение; а «Разъезда» натурально не следует давать: и неприлично, и для сцены вовсе неудобно. У Щепкина спросите, получил ли он два письма мои, писанные одно за другим; так же как, получили ли вы сами мое письмо, в котором я просил вас о постановке «Ревизора», дело, которым пожалуйста позаймитесь. Там же я просил дать какой-нибудь отрывок Живокини, по усмотрению Мих. Сем., за его усердные труды. Константину Сергеевичу скажите, что я не думал сердиться на него за брошюрку; напротив, в основании своем она замечательная вещь. Но разница страшная между диалектикою и письменным созданием, и горе тому, кто объявляет какую-нибудь замечательную мысль, если эта мысль еще — ребенок, не вызрела и не получила образа, видного всем, где бы всякое слово можно почти щупать пальцем; и вообще чем глубже мысль, тем она может быть действеннее самой мелкой мысли.

Относительно второго тома «Мертв. душ» я уже дал ответ Шевыреву, который вам его перескажет. Что же до того, что бранят меня, то слава богу: гораздо лучше, чем бы хвалили. Браня, все-таки можно сказать правду и отыскать недостатки; а у тех, которые восхищаются, невольно поселяется пристрастие и невольно заслоняет недостатки. И вы также не должны меня хвалить неумеренно никому и ни перед кем. Поверьте, что́ хвалится горячо, неравнодушно, то уже неумеренно. Меньше всего я бы желал, чтобы вы изменили к кому-нибудь ваши отношения по поводу толков обо мне. Я совершенно должен быть в стороне. Напротив, полюбите от души всех несогласных с вами во мнениях; увидите, вы будете везде в выигрыше. Если только человек имеет одну хорошую сторону, то уже он стоит того, чтобы не расходиться с ним. А те, с которыми вы в сношениях, все более или менее имеют хорошие стороны. Я бы попросил вас передать мой искренний поклон Загоскину и П<авлову>, но чувствую, что они не поверят, подумают, что я

поднялся на шутки, или, пожалуй, примут за насмешку вроде *кривой рожи*, и потому пусть этот поклон останется между нами.

Но поговорим теперь о самом важном деле. Положение мое требует сильного вашего участия и содействия. Я думаю, вы уже знаете из письма моего к Шевыреву, в чем дело. Вы должны принесть для меня жертву, соединившись втроем вместе: вы, Шевырев и Погодин, взять на себя дела мои на три года. От этого все мое зависит, даже самая жизнь. Тысячи важных, слишком важных для меня причин и самая важнейшая, что я не в силах думать теперь о моих житейских делах. Но обо всем этом, я думаю, вы узнали уже от Шевырева. Со вторым изданием распорядитесь, как найдете лучше; но так устройте, чтобы я мог получать по шести тысяч в год в продолжение трех лет, разделив это на два или на три срока и чтоб эти сроки были слишком точны: от этого много зависит. Впрочем, распоряжение относительно этого предоставьте Шевыреву. Он точнее нас всех. Слова эти слишком важны, и во имя бога я молю вас не пренебречь ими. Сроки должны быть слишком аккуратны. Что теперь я полгода живу в Риме без денег, не получая ни откуда, это конечно ничего. Случился Языков, и я мог у него занять. Но в другой раз это может случиться не в Риме; мне предстоят глухие уединения, дальние отлучения. Не теряйте этого из виду; если не достанет, и не случится к сроку денег, соберите их хотя в виде милостыни. Я нищий и не стыжусь своего звания.

А вас вместе с Погодиным я попрошу войти в положение моей маменьки, тем более, что вы уже знакомы с нею и несколько знаете ее обстоятельства. Я получил от нее письмо, сильно меня расстроившее. Она просит меня прямо помочь ей, в то время помочь, когда я вот уже полгода сижу в Риме без денег, занимая и перебиваясь кое-как. Просьба о помощи меня поразила. Маменька всегда была деликатна в этом отношении: она знала, что мне не нужно напоминать об этом, что я могу чувствовать сам ее положение. Она знала это уже потому, что я отказался от своей части имения и отдал ей сто душ крестьян с землями, тогда как сам не был даже на полгода обеспечен. (Последнего обстоятельства натурально она не знала, иначе бы отказалась и от имения, и от всякой со стороны моей помощи, и потому я должен был почти всегда уверять ее, что я не нуждаюсь и что состояние мое обеспечено.) Но и в сей мысли она была однакож очень деликатна и не просила меня о помощи. Теперь это все произошло вследствие невинного обстоятельства. Ольга Семеновна, по доброте души своей, желая, вероятно, обрадовать маменьку, написала, что «Мертвые души» расходятся чрезвычайно, деньги плывут, и предложила ей даже взять деньги, лежащие у Шевырева, которые, вероятно, следовали одному из ссудивших меня на самое короткое время. Маменька подумала, что я богач и могу без всякого отягощения себе сделать ей помощь. Я никогда не вводил маменьку ни в какие литературные мои отношения и не

говорил с нею никогда о подобных делах; ибо знал, что она способна обо мне задумать слишком много. Детей своих она любит до ослепления, и вообще границ у ней нет. Вот почему я старался, чтобы к ней никогда не доходили такие критики, где меня чересчур хвалят. И, признаюсь, для меня даже противно видеть, когда мать хвастается своим сыном: это все равно как бы хвастаться собою и своими добродетелями. Маменька должна меня знать просто, как доброго сына, а судить о талантах моих не принадлежит ей. Письмо маменьки и просьба повергли меня в такое странное состояние, что вот уже скоро третий месяц, как я всякий день принимаюсь за перо писать ей и всякий раз не имею сил, бросаю перо и расстраиваюсь во всем. В самом деле, нужно сказать правду и сделать ей ясным мое положение, а в объяснении моего положения будет уже заключаться ей упрек и беспокойство о моей участи; между тем письмо мое должно быть утешительно и заключать даже в себе умную инструкцию впредь. Но для того, чтобы разумно поступить в этом, для другого может быть незатруднительном деле, мне нужно взглянуть как на совершенно постороннее для меня дело, взглянуть так, как я гляжу на характер и положение лица, которое принимаюсь внесть в мое творение: тогда только предмет может предо мною стать всеми своими сторонами, и слово мое может быть проникнуто светом разума; а без этого слово мое будет глупее слова всякого обыкновеннейшего человека. Вот как еще мне трудно отрешиться от многих, многих, страстных отношений, чтоб стать на ту высоту бесстрастия, без которого все, что ни произносится мною, есть пошло, презренно и несет мне упреки даже от тех, которые, думая доставить мне добро, заставили произвесть его. Итак, войдите вместе с Погодиным в положение этого дела, объясните его маменьке, как признаете лучше. Во всяком случае, как вы ни поступите, вы поступите в двадцать раз умнее меня. Дайте ей знать, что деньги вовсе не плывут ко мне реками и что расход книги вовсе не таков, чтобы сделать меня богачом. Если окажутся в остатке деньги, то пошлите; но не упускайте также из виду того, что маменька, при всех своих прекрасных качествах, довольно плохая хозяйка и что подобные обстоятельства могут случаться всякий год, и потому умный совет с вашей стороны, как людей, все-таки больше понимающих хозяйственную часть, может быть ей полезнее самих денег. Я не знаю, могут ли принести мои сочинения, давно напечатанные в четырех томах, какой-нибудь значительный доход. Одно напечатание их (листов, как я вижу по газетам, оказалось более, чем предполагалось) должно достигнуть до 17-ти т. Притом, как бы то ни было, книга в 25 рублей не так легко расходится, как в десять, особенно если она даже не новость вполне. Я думаю, что в первый год она разве только окупит издание, а потом пойдет тише. Первые деньги после окупления издания я назначил на уплату долгов моих петербургских, которые хоть и не так велики, как московские, но все же требуют давно уплаты. Я знаю, что некоторым, даже близким душе моей и обстоятельствам, казалось странно, отчего у меня завелось так много

долгов, и они всегда пропускали из виду следующее невинное обстоятельство: шесть лет я живу, и большею частью за границей, не получая ни откуда жалованья и никаких совершенно доходов. (Шесть лет я не издавал ничего.) Года эти были года странствия, года путешествия. Откуда же и какими средствами я мог производить все это? Если положить по пяти тысяч в год, так вот уже до тридцати тысяч в шесть лет. Один раз только я получил вспомоществование, которое было от государя и дало мне возможность прожить год. Кроме того я в это время должен был взять моих сестер из Института, одеть их с ног до головы и всякой доставить безбедный запас, хотя по крайней мере на два года. Два раза я должен был в это время помочь маменьке, не говоря уже о том, что должен был дать ей средства два раза приехать в Москву и обратно; должен же я был все это произвести какими-нибудь деньгами и средствами. Итак, немудрено, что у меня набрались такие долги. А вы знаете сами, я вовсе не такой человек, чтобы издерживать деньги на пустяки. И желанья мои довольно ограничены, и при мне нет даже таких вещей, которые бы показались другому совершенно необходимы. Но довольно об этом. Не забудьте моей глубокой, сильной просьбы, которую я с мольбой из недр души моей вам трем поверяю: возьмите на три года попеченье о делах моих. Соединитесь ради меня тесней и больше и сильней друг с другом и подвигнитесь ко мне святой христианской любовью, которая не требует никаких вознаграждений. Всякого из вас бог наградил особой стороной ума. Соединив их вместе, вы можете поступить мудро, как никто. Клянусь, благодеяние ваше слишком будет глубоко и прекрасно. Прощайте. Больше я ничего вам не могу теперь писать, да и без того письмо длинно. Напишите мне ваш адрес и ради бога не забывайте меня письмами. Они очень мне важны, как вы не можете даже себе представить, хотя бы даже были писаны не в минуту расположения и заключались в двух строках, не больше. Не забывайте же меня.

Ваш Н. Гоголь.

Посылаю душевный поклон всему дому вашему. А Ольге Семеновне грех, что она совершенно позабыла меня и не прибавила от себя ни строчки ко мне; Конст. Серг-чу тоже грех. Тем более, что ко мне можно писать, не дожидаясь никакого расположения или удобного времени, а в суматохе, между картами, перед чаем, на запачканном лоскуточке, в трех строчках, с ошибками и со всем, что бог послал на ту минуту.

Если кто-нибудь поедет за Языковым из Москвы, не забудьте прислать мне книг, если вышло что-нибудь относительно статистики России. Известный «Памятник веры», который обещала Ольга Семеновна, и молитвенник самый пространный, где бы находились почти все молитвы, писанные отцами церкви, пустынниками и мучениками.

О моих сочинениях я не имею никаких известий из Петербурга. Прокопович до сих пор не отвечал на мое последнее письмо. К Плетневу я уже писал два письма и ни на одно из них нет ответа.

Вот вам мой маршрут: до первого мая в Рим, потом в Гастейн, в Тироль до 1-го июня. В июне, июле и августе адресуйте в *Дюссельдорф* на имя *Жуковского*, везде poste restante».

Вслед за этим письмом Шевырев привез мне письмо, полученное им от Гоголя, которое, хотя писано к Шевыреву, но равно относится как к нему, так ко мне и Погодину. Я считаю, что имею полное право поместить его в моей книге. Вот оно:

«Наконец, после долгих молчаний со всех сторон, я получил письмо от тебя, бесценный друг мой! Поблагодаривши тебя за него от всей души, я принимаюсь отвечать на все его пункты. 1) Ты говоришь, что я плохо распорядился относительно дел моих и между прочим не сказал: как и в чем плохо и относительно каких именно дел? Что я плохо распорядился, это для меня не новость: я не должен и не могу заниматься моими житейскими делами вследствие многих глубоких душевных и сердечных причин; но об них после. Но тебе ни в каком случае не должно со мною церемониться; ты должен говорить все напрямик, не опасаясь никакими образами задеть каких бы то ни было струн самолюбия ли авторского, или просто человеческого, или чего бы то ни было, что называется обыкновенно чувствительною и щекотливою стороною. Все будет принято благодарно и с любовью. Это я тебе говорю раз навсегда и прошу ради дружбы нашей не заставить меня повторить этого в другой раз. Сколько я могу догадываться, вероятно *плохое распоряжение* относится к изданию моих мелких сочинений и вероятно Прокопович сделал по неопытности какую-нибудь глупость. Впрочем, вот причины, почему я печатание их предпринял в Петербурге и распорядился не так, как бы следовало относительно разных выгод житейских. Издание всех сочинений моих непременно нужно было произвести не откладывая, не затягивая этого дела, к новому году или сейчас после нового года. Взглянувши на все и сообразя все, ты сам, может быть, проникнешь в необходимость этого. Признаюсь, я помышлял было обратиться к тебе, несмотря на то, что совесть кричала против этого; но когда я увидел, что и Погодин едет за границу и что «Москвитянин» взвален на тебя, у меня не достало духу. Я думал обратиться к Сергею Тимофеевичу, но Сер. Тим. сказал, что он будет летом в деревне; впрочем, молодые люди (К. С. и братья) могут, оставаясь в городе, заведывать печатаньем, — я уже думал поручить дело в Москве; но меня вдруг смутила мысль, что дело пойдет на страшную проволочку. Не говоря о медленности московских типографий, меня сильно остановило цензурное дело. Из всех цензоров один только Никитенко был подвигнут ко мне участием искренним; но беспрестанная пересылка мелких пьес из Москвы в Петербург (они же

поступали к цензору не в одно время), письменные объяснения и недоразумения, все это мне предвещало такую возню, что у меня просто не подымались руки и, как я вспомню, чего мне стоило вытребовать и получить из Петербурга рукопись «Мертвых душ», после того как она уже целый месяц была пропущена комитетом! И притом Никитенко, при всем доброжелательстве, малороссиянин и ленив; его нужно было подталкивать беспрестанно личными посещениями. Все это заставило меня печатанье производить в Петербурге. Прокоповичу я поручил, потому что знаю его совершенно с детства как лучшего школьного товарища: это человек во всех отношениях честный и благородный и деятельный, когда того потребуют. Плетнева я просил напутствовать его во всяких затруднениях. У Прокоповича было все лето совершенно свободно, и он мог неутомимо и безостановочно заняться печатаньем. Этой работой я имел отчасти намерение возбудить его к деятельности, усыпленного несколько его черствой и непитательной работой[*].

Доходов от этого издания я не мог ожидать. Хотя, конечно, несколько неизвестных пьес (которых я имел благоразумие не печатать в журналах) могли придать некоторый интерес книге, но все же она не новость. Она из 4-х томов, стало быть высокой цены никак нельзя было назначить: большого куша вынуть из кармана при теперешнем безденежьи не так легко, как вынуть пять или десять рублей. И притом я не имею духа и бессовестности возвысить цену, зная, что мои покупатели большею частью люди бедные, а не богатые, и что иной, может быть, платит чуть ли не последнюю копейку. Тут это мерзкое сребролюбие подлее и гаже, чем в каком-либо другом случае. Итак, несмотря на то, что напечатанье стало свыше 16 тысяч и что в книге 128 листов, я велел ее продавать никак не дороже 25 рублей. Первые экземпляры пойдут, конечно, шибче и окупят, может быть, издание; потом медленнее. Половину экземпляров или треть я хотел было назначить к отправке в Москву к тебе; не знаю, удобно ли тебе и как это сделать — об этом меня уведоми. Итак, вот тебе все причины того распоряжения, которое сделал я относительно этого дела. Конечно, можно было распорядиться и умнее; но у меня не было сил на то. Не было сил потому, что я не могу и не должен заниматься многим, что относится к житейскому. Но об этом будет речь после. Весьма может быть, что Прокопович, как еще неопытный, многое сделал не так, как следует, и потому ты, пожалуйста, извести меня обо всем. Я натурально не скажу Прокоповичу, что слышал от тебя; а издалека дам ему знать быть осмотрительнее и благоразумнее. Но довольно об этом!

Поговорим о втором пункте твоего письма. Ты говоришь, что пора печатать второе издание «Мертвых душ», но что оно должно выйти необходимо вместе со 2-м томом. Но если так, тогда нужно слишком долго ждать. Еще раз я должен повторить, что сочинение мое гораздо важнее и значительнее, чем можно предполагать по его началу. И если

над первою частью, которая оглянула едва десятую долю того, что должна оглянуть вторая часть, просидел я почти пять лет, чего натурально никто не заметил, один ты заметил долговременную и тщательную обработку многих частей… Итак, если над первой частью просидел я столько времени (не думай, чтоб я был когда-либо предан праздному бездействию в продолжение этого времени: я работал головой даже и тогда, когда думали, что я вовсе ничего не делаю и живу только для удовольствия своего)… Итак, если над первой частью просидел я так долго, рассуди сам, сколько должен просидеть я над второй! Это правда, что я могу теперь работать уверенней, тверже, осмотрительней благодаря тем подвигам, которые я предпринимал к воспитанию моему и которых тоже никто не заметил. Например, никто не знал, для чего я производил переделки моих прежних пьес, тогда как я производил их, основываясь на разуменьи самого себя, на устройстве головы своей. Я видел, что на этом одном я мог только навыкнуть производить плотное созданье… твердое, освобожденное от излишеств и неумеренности, вполне ясное и совершенное в высокой трезвости духа. После сих и других подвигов, предпринятых в глубине души, я, разумеется, могу теперь двигать работу далеко успешнее и быстрее, чем прежде; но нужно знать и то, что горизонт мой стал чрез то необходимо шире и пространнее, что мне теперь нужно обхватить более того, что верно бы не вошло прежде. Итак, если предположить самую беспрерывную и ничем не останавливаемую работу, то два года, — это самый короткий срок. Но я не смею об этом и думать, зная мою необеспеченную нынешнюю жизнь и многие житейские дела, которые иногда в силе будут расстроить меня, хотя употребляю все силы держать себя от них подале и меньше, сколько можно, об них думать и заботиться. Понуждение к скорейшему появлению второго тома, может быть, ты сделал вследствие когда-то помещенного в «Москвитянине» объявления, и потому вот тебе настоящая истина: никогда и никому я не говорил, сколько и что именно у меня готово, и когда, к величайшему изумлению моему, напечатано было в «Москвитянине» извещение, что два тома уже написаны, третий пишется, и все сочинение выйдет в продолжение года, тогда не была даже кончена первая часть*. Вот как трудно созидаются те вещи, которые на вид иным кажутся вовсе не трудны. Если ты под словом *необходимость* появления второго тома разумеешь необходимость истребить неприятное впечатление, ропот и негодование против меня, то верь мне: мне бы слишком хотелось самому, чтобы меня поняли в настоящем значении, а не в превратном. Но нельзя упреждать время; нужно, чтобы все излилось прежде само собою, и ненависть против меня, слишком тяжелая для того, кто бы хотел заплатить за нее, может быть, всею силою любви, ненависть против меня должна существовать и быть в продолжение некоторого времени, может быть даже долгого. И хотя я чувствую, что появление второго тома было бы светло и слишком выгодно для меня, но в то же

время, проникнувши глубже в ход всего текущего перед глазами, вижу, что все, и самая ненависть, есть благо. И никогда нельзя придумать человеку умней того, что совершается свыше и чего иногда в слепоте своей мы не можем видеть и чего, лучше сказать, мы и не стремимся проникнуть. Верь мне, что я не так беспечен и неразумен в моих главных делах, как неразумен и беспечен в житейских. Иногда силой внутреннего глаза и уха я вижу и слышу время и место, когда должна выйти в свет моя книга; иногда, по тем же самым причинам, почему бывает ясно мне движенье души человека, становится мне ясно и движенье массы. Разве ты не видишь, что еще до сих пор все принимают мою книгу за сатиру и личность, тогда как в ней и тени сатиры и личности нет; это можно заметить вполне только после нескольких чтений, а книгу мою большею частью прочли по одному разу все те, которые восстают против меня. Еще смотри, как гордо и с каким презрением смотрят все на героев моих. Книга писана долго: нужно, чтобы дали труд всмотреться в нее долго. Нужно, чтобы устоялось мнение. Против первого впечатления я не могу действовать. Против первого впечатления должна действовать критика, и только тогда, когда, с помощью ее, впечатления получат образ, выйдут сколько-нибудь из первого хаоса и станут определительны и ясны, тогда только я могу действовать против них. Верь, что я употребляю все силы производить успешно свою работу, что вне ее я не живу и что давно умер для других наслаждений. Но, вследствие устройства головы моей, я могу работать вследствие только глубоких обдумываний и соображений, и никакая сила не может заставить меня произвести, а тем более выдать, вещь, которой незрелость и слабость я уже вижу сам; я могу умереть с голода, но не выдам безрассудного, необдуманного творенья. Не осуждай меня! Есть вещи, которые нельзя изъяснить; есть голос, повелевающий нам, пред которым ничтожен наш жалкий рассудок; есть много того, что может только почувствоваться глубиною души, в минуты слез и молитв, а не в минуты житейских расчетов. Но довольно.

Теперь я приступаю к тому, о чем давно хотел поговорить и для чего как-то не имел достаточных сил. Но помолясь приступаю теперь твердо. Это письмо прочитайте вместе ты, Погодин и Сергей Тимофеевич. С вами ближе связана жизнь моя, вы уже оказали мне те высокие знаки святой дружбы, которые основаны не на земных отношениях и узах и от которых не раз струились слезы в глубине души моей. От вас я теперь потребую жертвы, но эту жертву вы должны принесть для меня. Возьмите от меня на три или на четыре даже года все житейские дела мои. Тысячи есть причин, внутренних, глубоких причин, почему я не могу и не должен и не властен думать о них. Не в силах я изъяснить вам их; они все находятся в таких соприкосновениях со внутренней моей жизнью, что я не в силах стать в холодное и вполне спокойное состояние души моей, дабы изъяснить все сколько-нибудь понятным языком. Ничего не могу я вам сказать, как только то, что это слишком, слишком

важное дело. Верьте словам моим, и больше ничего. Если человек в полном разуме, в зрелых летах своих, а не в поре опрометчивой юности, человек, — сколько-нибудь чуждый неумеренности и излишества, омрачающих очи, — говорит, не будучи в силах объяснить бессильным словом, говорит только из глубины растроганной глубоко души: «верьте мне», тогда нужно поверить словам такого человека. Не стану вам говорить, что благодарность моя будет за это вам бесконечна, как бесконечна к нам любовь Христа спасителя нашего. Распорядитесь, как найдете лучше, со вторым изданием и с другими, если последуют; но распорядитесь так, чтоб я получал по шести тысяч в продолжение трех лет, всякий год. Это самая строгая смета. Я бы мог издерживать и меньше, если б оставался на месте. Но путешествия и перемены мест мне так же необходимы, как насущный хлеб. Голова моя так странно устроена, что иногда мне вдруг нужно пронестись несколько сот верст и пролететь расстояние для того, чтоб сменить одно впечатление другим, уяснить духовный взор и быть в силах обхватить и обратить в одно то, что мне нужно. Я уж не говорю, что из каждого угла Европы взор мой видит новые стороны России, и что в полный обхват ее обнять я могу, может быть, тогда, когда огляну всю Европу. Поездка в Англию будет слишком необходима мне, хотя внутренно я не лежу к тому, и хотя не знаю еще, будут ли на то какие средства. Издание и пересылку денег ты, как человек точный более других, должен принять на себя. Высылку денег разделить на два срока: первый — к 1-му октября и другой — к 1-му апреля в места, куда я напишу, по три тысячи; если же почему-либо неудобно, то на три срока, по две тысячи. Но ради бога, чтобы сроки были аккуратны: в чужой земле иногда слишком приходится трудно. Теперь, например, я приехал в Рим в уверенности, что уже найду здесь деньги, назначенные мною к 1 октября, и вместо того вот уже шестой месяц я живу без копейки, не получая ниоткуда. В первый месяц мы даже победствовали вместе с Языковым. Но, слава богу, ему прислали сверх ожиданья больше, и я мог у него занять две тысячи с лишком. Теперь мне следует ему уже и заплатить. Ниоткуда не шлют мне; из Петербурга я не получил ни одного из тех подарков, которые я получал прежде, когда был там Жуковский. Вот уже четвертый месяц, как я не получаю даже ни письма, ни известия, и не знаю, что делается с печатаньем. Подобные обстоятельства бывают иногда для меня роковыми: не житейским бедствием и не нищетой стесненной нужды, но состоянием душевным. Это бывает роковым, когда случается в то время, когда мне нужно вдруг сняться и сдвинуться с места: когда я услышал к тому душевную потребность, состояние мое бывает тогда глубоко тяжело и оканчивается иногда тяжелой болезнью. Два раза уже в моей жизни мне приходилось слишком трудно… Не знаю, дадите ли вы веру словам моим; но слова мои душевная правда. И много у меня пропало чрез то времени, за которое, я не знаю, чего бы ни заплатил; я так же расчетлив на него, как расчетлив на ту копейку, которую прошу себе (у меня уже

давно все мое состояние — самый крохотный чемодан и четыре пары белья). Итак, обдумайте и посудите об этом. Если не станет для этого денег за выручку моих сочинений, придумайте другие средства. Рассудите сами: я думаю, я уже сделал настолько, чтобы дали мне возможность окончить труд мой, не заставляя меня бегать по сторонам, подыматься на аферы, чтобы таким образом приводить себя в возможность заниматься делом тогда, как мне всякая минута дорога, и тогда, как я вижу надобность, необходимость скорейшего окончания труда моего. Если же средств не отыщется других, тогда прямо просите для меня; в каком бы ни было виде были мне даны деньги, я их благодарно приму, и, может быть, всякая копейка, брошенная мне, помолится о спасении души тех, которые бросили мне эту копейку. Но если эта копейка будет брошена вследствие отказа в чем-либо нужном себе, тогда не берите этой копейки: я не должен никому стоить лишения и теперь еще не имею права. Относительно другой части дел моих, насчет матери моей и сестер, я буду писать к Сергею Тимофеевичу и Погодину и изложу им, каким образом поступить на случай, если потребуется надобность помочь. Я сделал все, что мог, отдал им свою половину именья, сто душ, и отдал, будучи сам нищим и не получая достаточного для своего собственного пропитанья. Наконец, я одевал и платил за сестер, и это делал не от доходов и излишеств, а занимая и наделав долгов, которые должен уплачивать. Погодин меня часто упрекал, что я сделал мало для семьи и матери; но откуда же и чем я мог сделать больше? Мне не указал никто на это средств. Я даже полагаю, что в делах моей матери гораздо важнее и полезнее будет умный совет, чем другая помощь. Имение хорошо: двести душ; но, конечно, маменька, не будучи хозяйкой, не в силах хорошо управиться; но в помощах такого рода должно прибегать к радикальным средствам, и об этом я буду писать к Сергею Тимофеевичу и Погодину, надеясь на прекрасные души их и на нежное участие их. И дай бог, чтоб я в силах был написать только; но мне кажется, что они лучше могут почувствовать мое положение, если только вникнут глубоко в мое положение. Боже, как часто не достает ни слов, ни выражений мне тогда, как таится в душе много того, что б хотела выразить и сказать моя душа, и как ужасно тяжело бывает мне написать письмо, и есть миллион причин, почему я не могу войти в дела житейские и относящиеся ко мне. Еще раз я должен сказать это: отнимите от меня на три, на четыре года все это.

Если Погодин и Сергей Тимофеевич найдут необходимость точно помочь иногда денежным образом моей матери, тогда разумеется взять из моих денег, вырученных за продажу, если только они окажутся; но нужно помнить тоже слишком хорошо мое положение, взвесить то и другое, как повелит благоразумие. Они на своей земле, в своем имении и, слава богу, ни в каком случае не могут быть без куска хлеба... Я в чужой земле и прошу только насущного пропитания, чтоб не умереть

мне в продолжение каких-нибудь трех, четырех лет. Но да внушит вам бог и вразумит вас! Вы всячески сделаете умнее и лучше меня. Напиши мне, могу ли я надеяться получить в самом коротком времени, то есть накопилось ли в кассе для меня денег? Мне нужны по крайней мере 3500, а две тысячи с лишком я должен отдать Языкову, да тысячу с лишком мне нужно вперед для прожитья и поднятья из Рима.

Что касается до моего приезда в Москву, то ты видишь, что мне для этого необходимости не настоит, и, взглянувши глубоким оком на все, ты увидишь даже, что я не должен этого делать прежде окончания труда моего. Это может быть даже слишком тягостная мысль для сердца, потому что, сказать правду, для меня давно уже мертво все, что окружает меня здесь, и глаза мои всего чаще смотрят только в Россию, и нет меры любви моей к ней, как нет меры любви моей к вам, которой я не в силах и не могу рассказать. Прощайте, пишите мне, хоть по одной строчке, хоть по самой незначительной строчке. Письма ваши очень важны для меня, и они будут после еще важнее и значительнее, когда я останусь один и потребую пустыней и удалений от всего для глубокого воспитания душевного, воспитания, которое совершается внутри меня святой чудесною волею небесного отца нашего. Прощай, я буду к тебе писать, может быть, скоро, вследствие другой уже моей потребности душевной. Целую и обнимаю много раз. На это письмо дай немедленный ответ, чтобы я знал, что ты получил его. И если набрались деньги, то высылай их немедленно на имя Валентини, Piazza Apostoli, Palazzo Valentini, потому что в апреле месяце мы думаем подняться из Рима».

Прочитав теперь внимательно, конечно, не в первый раз, эти оба замечательные, задушевные письма, я должен признаться, что тогда они не были поняты и почувствованы нами, как того заслуживают. Я принял их к сердцу более моих товарищей. Погодин мутил нас обоих своим ропотом, осуждением и негодованием. Он был ужасно раздражен против Гоголя. Впоследствии докажет это его письмо к нему и ответ Гоголя. Шевырев, хотя соглашался со многими обвинениями Погодина, но, по искренней и полной преданности своей к Гоголю, от всего сердца был готов исполнять его желания. Дело в самом деле было затруднительно: все трое мы были люди весьма небогатые и своих денег давать не могли. Сумма, вырученная за продажу первого издания «Мертвых душ», должна была уйти на заплату долгов Гоголя в Петербурге. Выручка денег за полное собрание сочинений Гоголя, печатаемых в Петербурге Прокоповичем (за что мы все на Гоголя сердились), казалась весьма отдаленною и даже сомнительною: ибо надобно было предварительно выплатить типографские расходы, простиравшиеся до 17 000 и более рублей ассигн. Цена непомерная, несмотря на то, что печаталось около 5000 экземпляров. Мы рассчитывали, что в Москве понадобилось бы на все издание не более 11 000.

Если мои записки войдут когда-нибудь, как материал, в полную биографию Гоголя, то, конечно, читатели будут изумлены, что приведенные мною сейчас два письма, написанные словами, вырванными из глубины души, написанные Гоголем к лучшим друзьям его, ценившим так высоко его талант, — были приняты ими с ропотом и осуждением, тогда как мы должны были за счастье считать, что судьба избрала нас к завидной участи: успокоить дух великого писателя, нашего друга, помочь ему кончить свое высокое творение, в несомненное, первоклассное достоинство которого и пользу общественную мы веровали благоговейно. Я сам теперь удивляюсь этому. Все, что можно сказать в объяснение такой странности, заключается в одном слове: не было полной доверенности к Гоголю. Скрытность его характера, неожиданный отъезд из Москвы, без предварительного совета с нами, печатанье своих сочинений в Петербурге, поручение такого важного дела человеку совершенно неопытному, тогда как Шевырев соединял в себе все условия, нужные для издателя, не говоря уже о горячей и преданной дружбе; наконец, свидание Гоголя в Петербурге с людьми нам противными, о которых он думал одинаково с нами (как то с Белинским, Полевым и Краевским)[*], все это вместе поселило некоторое недоверие даже в Шевыреве и во мне; Погодин же видел во всем этом только доказательство своему убеждению, что Гоголь человек неискренний, что ему верить нельзя. Мы с Шевыревым не принимали такого убеждения, особенно я. Я объяснял поступки Гоголя странностью, капризностью его художнической натуры; а чего не мог объяснить, о том старался забыть, не толкуя в дурную сторону.

Первым моим делом было послать деньги Гоголю; на ту пору у меня случились наличные деньги, и я мог отделить из них 1500 руб. Такую же сумму думал я занять у Д<емидо>ва. Я отправился к нему немедленно, рассказал все дело и — получил отказ. Благосостояние его и значительный капитал, лежавший в ломбарде, были мне хорошо известны. Я сделал ему горький упрек; но он, не обижаясь им, твердил одно: «Я принял за правило не давать денег взаймы, а дарить такие суммы я не могу». Я отвечал ему довольно жестко и хотел уйти, но жена его прислала просить меня, чтоб я к ней зашел. Я исполнил ее желание, и хотя не был с ней очень близок, но в досаде на ее супруга я рассказал ей, для чего я просил у него взаймы денег и по какой причине получил отказ. Она вспыхнула от негодования и вся покраснела. Она быстро встала с своего дивана, на котором полулежала в грациозной позе, и, сказав: «Я вам даю охотно эти деньги», вышла в другую комнату и через минуту принесла мне 1500 рублей. Я признаюсь в моей вине: не ожидал от нее такого поступка; поблагодарил ее с волнением и горячностью. Между тем явился муж, и я беспощадно подразнил и пристыдил его поступком жены. Он был очень смешон: пыхтел, отдувался и мог только сказать: «Это ее деньги, она может ими располагать, но других от меня

не получит». Очень довольный, что скоро нашел деньги, я сейчас отправил их в Рим через Шевырева и написал письмо к Гоголю. Через полгода он хотел выслать остальные три тысячи рублей. Не знаю хорошенько, были ли эти деньги высланы к Гоголю, ибо денежные его обстоятельства вскоре переменились. Во-первых, потому, что вследствие представления графа Уварова государь приказал производить Гоголю по три тысячи рублей в продолжение трех лет, и, во-вторых, потому, что продажа полных сочинений Гоголя, несмотря на чрезвычайные расходы и контрфакцию, доставила значительную сумму денег: их доставало и на добавок к содержанию Гоголя, и на уплату его долгов, и даже на добрые тайные дела.[94] Впрочем, я хорошо не знаю денежных дел Гоголя: всем этим заведовал с неусыпным старанием Шевырев.

Следующее письмо Гоголя к Ольге Семеновне, вероятно, писано в апреле 1843 года, потому что писано в ответ на поздравление Гоголя со днем его рождения, 19 марта.

«Благодарю вас, Ольга Семеновна, за поздравление с днем рождения моего. Посылаю вам душевный поклон мой. Вы говорите, что для вас необходимо письмо мое, которое бы в минуту грусти и тревожного состояния души вознесло дух ваш превыше всего окружающего. Но какое письмо в силах это сделать? Глядите просто на мир: он весь полон божиих благодатей, в каждом событии сокрыты для нас благодати; неистощимыми благодатями кипят все несчастия, нам ниспосылаемые; и день, и час, и минута нашей жизни ознаменованы благодатями бесконечной любви. Чего же вам более для возвышения духа? Будьте просто светлы душой, не мудрствуя. И если это вам покажется трудно и невозможно подчас — все равно старайтесь только стремиться к светлости душевной, и она придет к вам. Стремясь к светлости, вы стремитесь к богу, а бог помогает к себе стремиться. Старайтесь просто, безо всякого напряжения душевного быть светлу, как светло дитя в день светлого воскресенья, и вы много, много выиграете и незаметно вознесетесь выше всего окружающего. Если же вы все-таки убеждены в той мысли, что вам нужно письмо мое, то напишите Лизе, чтоб она прислала вам копию с того длинного письма, которое я посылаю к ним в одно время с вашим. Ей нечего секретничать с вами, и она должна прислать добросовестную копию, не выпуская ни одного слова. Хотя в письме этом заключаются обстоятельства, собственно к ним относящиеся, но я молился в то время, когда писал его, и просил бога, чтобы для всякого, кому бы ни случилось читать его, было оно благодетельно: а потому, может быть, вы отыщете в нем что-нибудь собственно для себя. Вы пишете, что не смущают вас никакие толки и речи обо мне и что вы верите душе моей. Конечно, последнее благоразумно. Благоразумнее верить тому, что происходит от души, чем тому, что происходит нивесть из какого угла и баламутицы. Веря в душу человека, вы верите в главное, а веря в пустяки, вы все-таки верите в

пустяки и никогда не узнаете человека. Прощайте! Помните все это и будьте светлы душой. Душевно обнимаю вас и все ваше семейство.

Передайте два при сем следующие письма по принадлежности».

При хладнокровном взгляде на письма Гоголя можно теперь видеть, что большое письмо его о путешествии в Иерусалим, а равно вышеприведенное письмецо к Ольге Семеновне содержат в себе семена и даже всходы того направления, которое впоследствии выросло до неправильных и огромных размеров. Письмо к сестре, о котором упоминает Гоголь, осталось нам неизвестным. Но письма к другой сестре его, Анне Васильевне, написанные без сомнения в том же духе, находятся теперь у Кулиша, и мы их читали.

Вот письмецо без числа, но помеченное, что получено мною от Гоголя 22-го апреля 1843-го года.

«Я получил письмо от маменьки. Дела ее устроились; на этот год по крайней мере она обеспечена. В письме (которое вы без сомнения уже получили от меня чрез Хомякова) я забыл спросить вас, получили ли вы письмо, в котором я просил вас о постановке «Ревизора». В нем было вложено письмецо к Ольге Семеновне и Конст. Сергеевичу; получили <ли> они эти письма и отчего никто из них не отвечал ниже двумя строчками? Что касается до Щепкина, то его просто следует выбранить. Я писал два письма к нему. Я не сержусь на него, если уже у него такой обычай, чтобы не отвечать на письма. Но он должен по крайней мере сказать вам, чтоб вы уведомили меня, что письма точно получены, чтобы я не думал по крайней мере, что пропадают они. Подумайте сами, чего не могло притти в мою голову, когда во время самое трудное для меня и такое время, когда ожидал более всего писем отовсюду, решительно отовсюду, и в это время все будто сговорились и бросили меня на три месяца самого тягостного состояния. Не забывайте меня, бесценный друг. Вы уже знаете из письма, которое получили от Хомякова, как нужно писать ко мне. Да хранит вас бог всех в ненарушимой святости души и здоровьи. Адресуйте в Гастейн (в Тироле), poste restante».

Я не помню, чтоб когда-нибудь получил письмо от Гоголя через Хомякова, и вообще я удивляюсь и не знаю, какая могла быть причина, что мы так долго не писали к Гоголю? Надобно предположить, что письма как-нибудь задерживались на почте или вовсе не доходили.

Следующее небольшое письмецо Гоголя я решительна не знаю, к какому времени отнести.

«Мая 5.

На выезде из Рима пишу к вам несколько слов, почтеннейший друг мой, Сергей Тимофеевич. Еду я для того, чтобы ехать. Езда, как вы знаете, мое всегдашнее средство; а потому и теперь, как я ни хил и болезнен, но надеюсь на дорогу и на бога, и прошу у него быть в дороге, как дома, то есть, как у него самого в покойные минуты души, дабы быть в силах и возможности, чтобы <что-> нибудь произвесть. О том прошу молиться вас и прошу вас также попросить обо мне всех, которые обо мне молились прежде, потому что их молитвами я был доселе чудно сохраняем и среди тяжких и болезненных состояний зрел и укреплялся душой.

Напишите домой к маменьке моей запрос, получила ли она два моих письма, писанные после того, которое было приложено при вашем. Последнее, от 1-го мая здешнего стиля, весьма нужное; об этом пусть немедленно вас уведомит она или сестра, а вы сообщите мне. Обнимаю вас всех.

Ваш Н. Г.».

Это сомнительное письмецо написано так сбивчиво и таким дурным почерком, что должно предполагать, что Гоголь был болен или сильно расстроен нервами. Вероятно, его надо отнести к другому периоду*.

Вот, наконец, письмо с уведомлением о получении денег, писанное, без сомнения, в мае месяце 1843-го года.

«Ваше письмо и деньги, бесценный друг мой, я получил исправно и скоро, и медлил ответом, выжидая писем от Шевырева и Погодина. Наконец спустя две недели после вашего письма получил я письмо от Шевырева от имени вас всех. В нем видна прекрасная душа писавшего, хотя заключается, впрочем, и журьба и что-то вроде не совсем отчетливого нагоняя, который, может быть, и справедлив со стороны вашей или, лучше, со стороны Погодина, от которого, я думаю, проистек он, но все же таки следует подумать и то: однакож мне неизвестна еще (та или другая) его сторона, и странно бы мне по моей натуре судить о натуре другого, когда эта натура так не сходна с моею. Но оставим все это. Смерть не люблю изъяснений. Все это неразумная трата слов, и больше ничего. Лицо я гласное, стало быть и все, что бы я ни делал, будет гласно всем; дурное, если есть у меня, то уж его никак не спрячешь. Шила в мешке не утаишь; оно где-нибудь да выткнется непременно. Оправдываться, значит не доверять времени, которое уяснит все. Вслед за вашими деньгами я получил еще от Прокоповича 1000, стало быть за первый год мне следует получить одну тысячу. Обо всем этом я уведомил уже Шевырева. Прокоповичу я написал выслать немедленно тысячу экземпляров и в продаже находящихся у него давать отчет в Москву всякий раз за два месяца до срочной высылки мне денег, дабы видеть по накопившейся сумме, откуда произвести мне высылку:

из Петербурга или из Москвы? Прокопович находится вместе с экземплярами в полном распоряжении вашем, так что, если бы потребовали и все экземпляры выслать, то он их вышлет; но в этом я не вижу надобности: после вновь их нужно присылать в Петербург для тамошних книгопродавцев. К тому же экземпляры безопасны, если они только все находятся в руках Прокоповича, а не типографии, о проделках которой я узнал только теперь из письма Прокоповича. Он скрывал от меня, не желая меня ничем возмутить и думая расплатиться банковыми билетами покойного своего брата, выдачею которых водили его несколько месяцев в присутственных местах; но довольно толковать. Дела мои, как видите, все теперь в ваших руках. Обратимся собственно к нам самим. Я заехал на несколько дней в Гастейн отдохнуть с дороги и отправлюсь в Дюссельдорф, где проведу часть зимы, а остальную в Голландии, и потому письма адресуйте все в Дюссельдорф. Хорошо бы было, если бы вы прислали что-нибудь из тех книг, которых я просил. Из Москвы, вероятно, отправляются не мало этот год за границу; а так как всякий положил себе за правило побывать на Рейне, то ему не много труда будет стоить завезти посылку в Дюссельдорф и отдать ее Жуковскому. На Константина Сергеевича я решительно теперь сердит. Он мне не пишет ни строчки, но вот лучше к нему самому записка. А вас обнимаю всею душою вместе с милым семейством вашим и жду от вас летних известий о покупке дачи и о прочем.

Н. Г.»

Записка Константину Сергеевичу.

«Что же вы, Константин Сергеевич, мне ни слова? Я нахожусь в совершенном неведении теперь обо всех делах, которые делаются на свете. Не знаю, что делает Москва, ни о чем говорит она, ни что думает, ни о чем спорит, словом не знаю вовсе, о чем идет теперь дело. Если вы несколько смутились письмом моим, которое когда-то было писано вам, то это письмо писано не в строку текущих дел, это письмо писано так, мимо; на него ответ вы мне дадите года через четыре. А известия текущие должны итти своим чередом; а потому вы уведомите меня обо всем, что делали и что слышали с самого того дни, как перестали ко мне писать. И что Николай Филиппович, и что Каролина Карловна <Павловы>, и что Ховрина, и что Самарин, и какие эффекты производите вы в чтениях, и что говорят вообще о чтениях Мих. Семеновича.[95] Все это, вы знаете, мне интересно. Простите, что я вас не благодарил до сих пор за присылку ваших статей о «Мертвых душах». И та, и другая имеют свои достоинства. Писанная, как мне кажется, должна принадлежать Самарину; но в печатной, не погневайтесь, видно много непростительной юности, и писанная кажется перед нею написанною стариком, хотя в ней и нет тех двух-трех истинно поэтических мыслей, как в вашей.

Прощайте. Обнимаю вас».

В приписке к Константину, вероятно, Гоголь говорит о прежнем своем письме. Впрочем, может быть было и другое, как-нибудь затерянное, содержание которого я забыл. Вместе с печатной брошюркой Константина была послана рукописная статья Самарина, вполне заслуживающая отзыв Гоголя*.

Вот ответ Гоголя на письмо Ольги Семеновны от 22 апреля.

«20 июня. Дюссельдорф <1843>.

Я получил от Вас, Ольга Семеновна, письмо, присланное мне из Рима (от 22-го апреля старого стиля), на которое нахожу приличным сей же час отвечать. Вы неправы в том, что упрекаете себя за то, что предложили маменьке взять деньги, вырученные за продажу «М. д.», и разрушили, как вы говорите, деликатные семейственные отношения*. Во-первых, вы не могли знать этих отношений. Во-вторых, в самом поступке вашем ничего нет неблагоразумного и никакого худого намерения. А все то, в чем нет дурного намерения и что вместе с тем не противно здравому рассудку, данному нам богом, не есть уже грех. Если же оно предпринято еще к тому с добрым намерением и желанием истинного добра, то уже оно никогда не может послужить худому. Бог направит его всегда к хорошему, хотя вовсе другим путем, чем мы думаем. В-третьих, в отношении меня вам вовсе не следует руководствоваться ни в каком случае осторожностью оскорбить какие-либо тонкие отношения. Со мной нужно все спроста; и к тому же, все случаи в жизни обращаются мне в пользу. Так по крайней мере было доселе, и так, я верю, будет вперед. Письмо ваше заставило маменьку написать ко мне два такие письма, которые заставили меня строго подумать о другой важнейшей помощи, которой они все вправе ожидать от меня, и я написал наконец то письмо, которое бы мне давно следовало написать, но которое бы я не сумел никогда написать, не получивши прежде этих двух писем... Правда, обдумыванье его у меня отняло много времени, и я ничем не в силах был заняться до тех пор, пока не написал его; но я исполнил свой долг и покоен в душе. И теперь вас благодарю за то, за что вы себя упрекаете. А лучше все поблагодарим бога за все, что ни посылается нам. Ибо все, что ни посылается нам, посылается на вразумление и уяснение очей наших. Прощайте!»

Письмо это объясняется само собою; но сначала Гоголь сам был недоволен, и потому Ольга Семеновна писала к нему письмо, в котором обвиняла себя за то, что вмешалась не в свое дело. Что же касается до письма, писанного Гоголем к матери или вообще к своему семейству, то я его не знаю. Без сомнения, оно было нравственно-поучительного содержания. Очевидно, что мысль наставлять, поучать других уже существовала в голове Гоголя.

<Далее следует письмо из Бадена от 24 июля 1843 года>.

«Благодарю вас за книги, которые получил от кн. Мещер<ского> в исправности. Вообще все посылки доходят до меня исправно: русские встречаются между собой поминутно и имеют всегда возможность препроводить и передать туда, где я. Мне жаль, что вы не дали знать Шевыреву: он бы тоже прислал мне свою речь об воспитании и взгляд на русск<ую> слов<есность> за прошлый год. Может быть, даже накопились и кое-какие критики и разборы моих сочинений. Всего этого мне бы очень хотелось. Какая, между прочим, я скотина: я написал к вам, не размысливши об одном пункте письма, писанного Шевыревым от вас всех. Еще недавно я прочел его вновь. Письмо это так прекрасно и такой исполнено дружбы, что я удивлялся не один раз, как гадок человек: ему достаточно увидеть одно пятнышко какое-нибудь и уж он только и видит пред собою это пятнышко, все прочее ему нипочем. Мне просто показалось, будто до сих пор еще не верят душевному моему слову. Я вспомнил одно обстоятельство Погодина относительно меня, которое просто произошло от простоты его, а не от чего другого, и в это время скользнула мне в письме одна фраза, показавшаяся намеком на то же. Но в сторону об этом. Оно послужит пусть уроком, что ни в каком случае не следует предаваться первому впечатлению, особенно если оно сколько-нибудь не спокойно и если примешалась какая-нибудь оскорбленная мелкая страстишка. Слухи, которые дошли до вас о «М. д.», все ложь и пустяки. Никому я не читал ничего про них в Риме, и верно нет такого человека, который бы сказал, что я читал что-либо вам неизвестное. Прежде всего я бы прочел Жуковскому, если бы что-нибудь было готово. Но увы, ничего почти не сделано мною во всю зиму, выключая немногих умственных материалов, забранных в голову. Дела, о которых я писал вам и которые просил вас взять на себя, слишком у меня отняли времени; ибо я все-таки не мог вполне отвязаться и должен был многое обработать оставшееся на мне, от которого иначе я не мог никак избавиться. Вы уже сами могли чувствовать по той просьбе, по отчаянному выражению той просьбы, какою наполнено было письмо мое к вам, как много значило для меня в те минуты попечение о многом житейском. Но так было верно нужно, чтоб время было употреблено на другое. Может быть, и болезненное мое расположение во всю зиму и мерзейшее время, которое стояло в Риме во все время моего пребывания там, нарочно отдалили от меня труд для того, чтоб я взглянул на дело свое с дальшего расстояния и почти чужими глазами. Но прощайте. Будьте здоровы. Пишите попрежнему в Дюссельдорф poste restante. Я только на одну неделю в Бадене. Жуковский тоже не в Дюссельдорфе, а в Емсе на водах. Уведомьте, купили ли дачу? Мне кажется, что вам поездка в Оренбургскую губернию пригодилась бы лучше всего».

Как много говорит это письмо в пользу Гоголя! Из предыдущего письма ко мне точно можно было заметить, что Гоголь был не совсем доволен

письмом Шевырева, писавшего от себя и от Погодина вместе. Но он выразился так скромно, так кротко, как нельзя более; и со всем тем он раскаялся и в этих немногих словах и в чувстве негодования против Погодина. Вероятно, в письме к Шевыреву Гоголь обвинял себя еще более и выражал еще нежнее чувство своей благодарной дружбы. — Решительно не знаю, какие житейские дела могли отнимать у Гоголя время и могли мешать ему писать?[96] Мне кажется, эта помеха была в его воображении. Я думаю, что Гоголю начинало мешать его религиозное направление. Впрочем, это слово не выражает дело; это собственно не религиозное, а нравственно-наставительное, так сказать, направление. Гоголь, погруженный беспрестанно в нравственные размышления, начинал думать, что он может и должен поучать других и что поучения его будут полезнее его юмористических сочинений. Во всех его письмах тогдашнего времени, к кому бы они ни были писаны, уже начинал звучать этот противный мне тон наставника. В это время сошелся он с графом А. П. Толстым, и я считаю это знакомство решительно гибельным для Гоголя. Не менее вредны были ему дружеские связи с женщинами, большею частью высшего круга. Они сейчас сделали из него нечто вроде духовника своего, вскружили ему голову восторженными похвалами и уверениями, что его письма и советы или поддерживают, или возвращают их на путь добродетели. Некоторых я даже не знаю и назову только Виельгорскую, Соллогуб и Смирнову. Первых двух, конечно, не должно смешивать с последней, но высокость нравственного их достоинства, может быть, была для Гоголя еще вреднее, ибо он должен был скорее им поверить, чем другим. Я не знаю, как сильна была его привязанность к Соллогуб и Виельгорской; но Смирнову он любил с увлечением, может быть потому, что видел в ней кающуюся Магдалину и считал себя спасителем ее души. По моему же простому человеческому смыслу, Гоголь, несмотря на свою духовную высоту и чистоту, на свой строго монашеский образ жизни, сам того не ведая, был несколько неравнодушен к Смирновой, блестящий ум которой и живость были тогда еще очаровательны. Она сама сказала ему один раз: «Послушайте, вы влюблены в меня...» Гоголь осердился, убежал и три дня не ходил к ней. Все это наделала продолжительная заграничная жизнь вне отечества, вне круга приятелей и литераторов, людей свободного образа мыслей, чуждых ханжества, богомольства и всяких мистических суеверий. Впрочем, я считаю, что ему также была очень вредна дружба с Жуковским, которого, без сомнения, погубила та же заграничная жизнь. Так, по крайней мере, я думаю.

Вот еще коротенькое письмецо Гоголя:

«Дюссельдорф. 30 августа <1843>.

Письмо ваше и вместе с ним другие, приобщенные к нему, я получил. Книги получены также в исправности, как через кн. Мещерского, так и

через Валуева. Перешлите мне, если найдете оказию, «Москвитянин» за этот год: там есть статьи, меня интересующие очень. О благодарности за все ваши ласки нечего и заикаться. Константина Сергеевича благодарю также за письмо, хотя не мешало бы ему быть и подлиннее. Если увидите Шевырева, то напомните ему о присылке мне остальной тысячи за прошлый год. Да если можно, вместе с тем и вперед, что есть; ибо 1-го октября, как вы знаете, срок и время высылки. Душевно скорбел я о недугах Ольги Сергеевны и мысленно помолился о ниспослании ей облегчения.

Прощайте, душевно вас обнимаю всех. Адрес попрежнему в Дюссельдорф».

Более писем Гоголя к нам в этом году не нашлось. В это время Погодин, бывший жестоко раздражен против Гоголя и не писавший к нему ни строчки, вдруг прислал мне для пересылки маленькое письмецо, которое я вместе с своим и отослал к Гоголю. Я считаю себя вправе поместить его в моих записках, потому что оно было возвращено мне Гоголем вместе с его ответом Погодину.

«Москва 1843 г. сент. 12.

Наконец нашел я в себе силу увидеть тебя, заговорить с тобою, написать к тебе письмо. Раны сердца моего зажили или, по крайней мере, затянулись… Ну что, каков ты? где ты? что ты? куда? Я чувствую себя теперь довольно хорошо, пил опять марьенбадскую воду, а теперь на простой. Но зима была тяжелая: часто показывалась кровь из горла, и голова беспрестанно тяжела.

Не случилось ли чего особенного в душе у тебя около 3/15 сентября? Ты знаешь, что я немножко по Глинкиной части и верю миру невидимому с его силами[*]. Около 3 числа я как будто примирился с тобою; а до тех пор я не мог подумать о тебе без треволнения! Когда ты затворил дверь, я перекрестился и вздохнул свободно, как будто гора свалилась у меня тогда с плеч; все, что узнавал я после — прибавило мне еще больше муки, и ты являлся, кроме святых и высоких минут своих, отвратительным существом…

Посетив мать твою в прошлом году, я почувствовал, что в глубине сердца моего таилась еще искра любви к тебе, но она лежала слишком глубоко. Наконец, я стал позабывать тебя, успокоивался… и теперь все как рукой снято. Ну слава богу! Я готов опять и ругать и любить тебя.

Твой Погодин»[*].

И. И. Панаев. Из «Литературных воспоминаний»[*]

…Знакомство с Надеждиным, который резко отличался от всех петербургских литераторов, возбудило во мне еще большее желание

познакомиться с московскими литераторами. Москва начала очень занимать меня. На московскую литературу я смотрел всегда с бо́льшим уважением. Направление ее выражалось «Телеграфом», «Телескопом», «Молвою» и, наконец, «Московским наблюдателем», редакцию которого принял на себя впоследствии Белинский; тогда выступали в Москве на литературное поприще молодые люди, только что вышедшие из Московского университета, — с горячею любовию к делу, с благородными убеждениями, с талантами…* Это было самое блестящее время московской литературной деятельности. К Петербургу с его «Библиотекою» и «Северною пчелою» я получил уже совершенное отвращение; петербургские литераторы также не возбуждали во мне никакого интереса. Я был знаком со всеми ими, не исключая даже Николая Иваныча Греча, который всегда обращался со мною с большою благосклонностию, хотя и изъявлял сожаление моему дяде*, что я связываюсь в литературе с людьми неблагонамеренными, которые заразят меня своими вредными идеями. Да, это справедливо: чтобы сохранить чистоту нравов и благонамеренность, я должен был поддерживать только связи с Н. И. Гречем и Ф. В. Булгариным. Теперь я вижу это ясно, но поздно…

Из находившихся в ту минуту в Петербурге литераторов я не был знаком только с Гоголем, который с первого своего шага стал почти впереди всех и потому обратил на себя всеобщее внимание. Мне очень захотелось взглянуть на автора «Старосветских помещиков» и «Тараса Бульбы», с которыми я носился и перечитывал всем моим знакомым, начиная с Кречетова.

Кречетова поразил или, вернее сказать, ошеломил «Бульба». Он во время моего чтения беспрестанно вскакивал с своего места и восклицал:

— Да это chef d’oeuvre[97]…это сила… это мощь… это… это… это…

— Ах, да не перебивайте, Василий Иваныч, — кричали ему другие слушатели.

Но Кречетов не выдерживал и перебивал чтение беспрестанно, засовывал свои пальцы в волосы и раздирал свои волоски с каким-то ожесточением.

Когда чтение кончилось, он схватил себя за голову и произнес:

— Это, батюшка, такое явление, это, это, это… сам старик Вальтер Скотт подписал бы охотно под этим Бульбою свое имя… У-у-у! это уж талант из ряду вон… Какая полновесность, сочность в каждом слове… Этот Гоголь… да это чорт знает что такое — так и брызжет умом и талантом…

Кречетов долго после этого чтения не мог успокоиться.

…Петербургская литература и журналистика, как я замечал уже, по мере моего сближения с нею, теряла для меня ту прелесть, в которой представлялась мне некогда издалека. Я видел, толкаясь за литературными кулисами, какие мелкие человеческие страстишки — самолюбие, корыстолюбие, зависть — двигали теми, которых я некогда считал за полубогов… Статьи Белинского в «Телескопе», в «Молве», повести Гоголя в его «Миргороде», стихотворения Лермонтова начинали несколько расширять мой горизонт, они повеяли на меня новою жизнию, заставляли биться сердце предчувствием чего-то лучшего…

В обществе неопределенно и смутно уже чувствовалась потребность нового слова и обнаруживалось желание, чтобы литература снизошла с своих художественных изолированных высот к действительной жизни и приняла бы хоть какое-нибудь участие в общественных интересах. Художники и герои с реторическими фразами всем страшно прискучили. Нам хотелось видеть человека, а в особенности *русского человека*. И в эту минуту вдруг является Гоголь, огромный талант которого первый угадывает Пушкин своим художественным чутьем и которого уже совсем не понимает Полевой, на которого еще все смотрели в то время как на передового человека*.

«Ревизор» Гоголя имел успех колоссальный, но в первые минуты этого успеха никто даже из самых жарких поклонников Гоголя не понимал вполне значения этого произведения и не предчувствовал, какой огромный переворот должен совершить автор этой комедии. Кукольник после представления «Ревизора» только иронически ухмылялся и, не отрицая таланта в Гоголе, замечал: «А все-таки это фарс, недостойный искусства»*.

Вслед за Гоголем появляется Лермонтов. Белинский своими резкими и смелыми критическими статьями приводит в негодование литературных аристократов и всех отсталых и отживающих литераторов и возбуждает горячую симпатию в новом поколении.

Новый, свежий дух уже веет в литературе…

* * *

…Щепкин был в полном расцвете своего таланта. Он производил тогда фурор в роли «городничего»… Влияние его на молодых людей, вступавших на сцену, было велико и благодетельно: он внушал им серьезную любовь к искусству и своими советами и замечаниями о игре их много способствовал их развитию. Щепкина ценили и любили все литераторы, и все были близки с ним. Шевырев отзывался об нем и его таланте с таким же энтузиазмом, как и Белинский… Блестящие рассказы Щепкина, исполненные малороссийского юмора, его наружное добродушие, вкрадчивость и мягкость в обращении со всеми, его

пламенная любовь к искусству, о которой он твердил всем беспрестанно; толки о его семейных добродетелях, о том, что он, несмотря на свои незначительные средства и огромное семейство, содержит еще на свой счет сирот — детей своего товарища, и т. д., — все это, независимо от его таланта, делало для тогдашней молодежи Щепкина лицом в высшей степени интересным и симпатичным… Темные слухи, робко выходившие откуда-то, о том, что Щепкин будто бы интриган и человек, умеющий ловко и льстиво подделываться к начальству и к сильным мира сего, были с негодованием заглушаемы… Для меня Щепкин казался идеалом артиста и человека. Я даже чувствовал к нему вроде сыновней нежности.

После «Ревизора» любовь Щепкина к Гоголю превратилась в благоговейное чувство. Когда он говорил об нем или читал отрывки из его писем к нему, лицо его сияло и на глазах показывались слезы — предвестники тех старческих слез от расслабления глазных нерв, которые льются у него теперь так обильно, кстати и некстати. Он передавал каждое самое простое и незамечательное слово Гоголя с несказанным умилением и, улыбаясь сквозь слезы, восклицал: «Каков! каков!» И в эти минуты голос и щеки его дрожали…

…Перед отъездом нашим Михайло Семеныч объявил мне, что он на-днях будет обедать у Сергея Тимофеича с Гоголем (который только что приехал в Москву), и с таинственным тоном прибавил умиленным и дрожавшим голосом:

— Ведь он, кажется, намерен прочесть там что-то новенькое!..

Действительно, через несколько дней после этого Сергей Тимофеич пригласил меня обедать, сказав, что у него будет Гоголь и что он обещал прочесть первую главу «Мертвых душ».

Я ожидал этого дня с лихорадочным нетерпением и забрался к Аксаковым часа за полтора до обеда. Щепкин явился, кажется, еще раньше меня…

В исходе четвертого прибыл Гоголь… Он встретился со мною, как с старым знакомым, и сказал, пожав мне руку:

— А, и вы здесь… Каким образом?

Нечего говорить, с каким восторгом он был принят. Константин Аксаков, видевший в нем русского Гомера[*], внушил к нему энтузиазм во всем семействе. Для Аксакова-отца сочинения Гоголя были новым словом. Они вывели его из рутины старой литературной школы (он принадлежал к самым записным литераторам-рутинерам) и пробудили в нем новые, свежие силы для будущей деятельности. Без Гоголя Аксаков едва ли бы написал «Семейство Багровых»[*].

День этот был праздником для Константина Аксакова... С какою любовию он следил за каждым взглядом, за каждым движением, за каждым словом Гоголя! Как он переглядывался с Щепкиным! Как крепко жал мне руки, повторяя:

— Вот он наш Гоголь! Вот он!

Гоголь говорил мало, вяло и будто нехотя. Он казался задумчив и грустен. Он не мог не видеть поклонения и благоговения, окружавшего его, и принимал все это, как должное, стараясь прикрыть удовольствие, доставляемое его самолюбию, наружным равнодушием. В его манере вести себя было что-то натянутое, искусственное, тяжело действовавшее на всех, которые смотрели на него не как на гения, а просто как на человека...

Чувство глубокого, беспредельного уважения семейства Аксаковых к таланту Гоголя проявлялось во внешних знаках с ребяческой, наивной искренностию, доходившей до комизма. Перед его прибором, за обедом, стояло не простое, а розовое стекло; с него начинали подавать кушанье; ему подносили любимые им макароны для пробы, которые он не совсем одобрил и стал сам мешать и посыпать сыром.

После обеда он развалился на диване в кабинете Сергея Тимофеича и через несколько минут стал опускать голову и закрывать глаза — в самом ли деле начинал дремать, или притворялся дремлющим... В комнате мгновенно все смолкло... Щепкин, Аксаковы и я вышли на цыпочках. Константин Аксаков, едва переводя дыхание, ходил кругом кабинета, как часовой, и при чьем-нибудь малейшем движении или слове повторял шопотом и махая руками:

— Тсс! тсс! Николай Васильич засыпает!..

Об обещанном чтении Гоголь перед обедом не говорил ни слова; спросить его, сдержит ли он свое обещание, никто не решался... Покуда Гоголь дремал, у всех только был в голове один вопрос: прочтет ли он что-нибудь и что прочтет?.. У всех бились сердца, как они всегда бьются в ожидании необыкновенного события...

Наконец Гоголь зевнул громко.

Константин Аксаков при этом заглянул в щелку двери и, видя, что он открыл глаза, вошел в кабинет. Мы все последовали за ним.

— Кажется, я вздремнул немного? — спросил Гоголь, зевая и посматривая на нас...

Дамы, узнав, что он проснулся, вызывали Константина Аксакова и шопотом спрашивали — будет ли чтение? Константин Аксаков пожимал плечами и говорил, что ему ничего не известно.

Все томились от этой неизвестности, и Сергей Тимофеич первый решился вывести всех из такого неприятного положения.

— А вы, кажется, Николай Васильич, дали нам обещание?.. вы не забыли его? — спросил он осторожно...

Гоголя подернуло несколько.

— Какое обещание?.. Ах, да! Но я сегодня, право, не имею расположения к чтению и буду читать дурно, вы меня лучше уж избавьте от этого...

При этих словах мы все приуныли; но Сергей Тимофеич не потерял духа и с большою тонкостию и ловкостию стал упрашивать его... Гоголь отговаривался более получаса, переменяя беспрестанно разговор. Потом потянулся и сказал:

— Ну, так и быть, я, пожалуй, что-нибудь прочту вам... Не знаю только, что прочесть?.. — И приподнялся с дивана.

У встрепенувшегося Щепкина задрожали щеки; Константин Аксаков весь просиял, будто озаренный солнцем; повсюду пронесся шопот: «Гоголь будет читать!»

Гоголь встал с дивана, взглянув на меня не совсем приятным и пытливым глазом (он не любил, как я узнал после, присутствия мало знакомых ему лиц при его чтениях) и направил шаги в гостиную. Все последовали за ним. В гостиной дамы уже давно ожидали его.

Он нехотя подошел к большому овальному столу перед диваном, сел на диван, бросил беглый взгляд на всех, опять начал уверять, что он не знает, что прочесть, что у него нет ничего обделанного и оконченного... и вдруг икнул раз, другой, третий...

Дамы переглянулись между собою, мы не смели обнаружить при этом никакого движения и только смотрели на него в тупом недоумении.

— Что это у меня? точно отрыжка? — сказал Гоголь и остановился. Хозяин и хозяйка дома даже несколько смутились... Им, вероятно, пришло в голову, что обед их не понравился Гоголю, что он расстроил желудок...

Гоголь продолжал:

— Вчерашний обед засел в горле, эти грибки да ботвиньи! Ешь, ешь, просто чорт знает, чего не ешь...

И заикал снова, вынув рукопись из заднего кармана и кладя ее перед собою... «Прочитать еще «Северную пчелу», что там такое?..» — говорил он, уже следя глазами свою рукопись.

Тут только мы догадались, что эта икота и эти слова были началом чтения драматического отрывка, напечатанного впоследствии под именем «Тяжбы». Лица всех озарились смехом, но громко смеяться никто не смел… Все только посматривали друг на друга, как бы говоря: «Каково? каково читает?» Щепкин заморгал глазами, полными слез.

Чтение отрывка продолжалось не более получаса. Восторг был всеобщий; он подействовал на автора.

— Теперь я вам прочту, — сказал он, — первую главу моих «Мертвых душ», хоть она еще не обделана…*

Все литературные кружки перед этим уже были сильно заинтересованы слухами о «Мертвых душах». Гоголь, если я не ошибаюсь, прежде всех читал начало своей поэмы Жуковскому. Говорили, что это произведение гениальное… Любопытство к «Мертвым душам» возбуждено было не только в литературе, но и в обществе.

Нечего говорить, как предложение Гоголя было принято его поклонниками…

Гоголь читал неподражаемо. Между современными литераторами лучшими чтецами своих произведений считаются Островский и Писемский: Островский читает без всяких драматических эффектов, с величайшею простотою, придавая между тем должный оттенок каждому лицу; Писемский читает, как актер, — он, так сказать, разыгрывает свою пьесу в чтении… В чтении Гоголя было что-то среднее между двумя этими манерами. Он читал драматичнее Островского и с гораздо большею простотою, чем Писемский…

Когда он окончил чтение первой главы и остановился, несколько утомленный, обведя глазами своих слушателей, его авторское самолюбие должно было удовлетвориться вполне… На лицах всех ясно выражалось глубокое впечатление, произведенное его чтением. Все были и потрясены и удивлены. Гоголь открывал для своих слушателей тот мир, который всем нам так знаком и близок, но который до него никто не умел воспроизвести с такою беспощадною наблюдательностию, с такою изумительною верностию и с такою художественною силою… И какой язык-то! язык-то! Какая сила, свежесть, поэзия!.. У нас даже мурашки пробегали по телу от удовольствия.

После чтения Сергей Тимофеич Аксаков в волнении прохаживался по комнате, подходил к Гоголю, жал его руки и значительно посматривал на всех нас… «Гениально, гениально!» — повторял он.

Глазки Константина Аксакова сверкали, он ударял кулаком о стол и говорил:

— Гомерическая сила! гомерическая!

Дамы восторгались, ахали, рассыпались в восклицаниях.

Гоголь еще более вырос после этого чтения в глазах всех…

На другой день я с Константином Аксаковым отправился к Белинскому…

Аксаков передал ему о вчерашнем чтении с энтузиазмом, он говорил, что после первой главы «Мертвых душ» нельзя уже сомневаться в том, что Гоголь гений и что он подарит русскую литературу колоссальным произведением, в котором отразится вся Русь.

Белинский слушал Аксакова с жадностию и смотрел на нас с завистию.

— Чорт вас возьми, счастливцы! — сказал он. — Я не знаю, чего бы я не дал, чтобы выслушать теперь эту главу…

Белинский в это время еще не был лично знаком с Гоголем. (Он познакомился с ним впоследствии в Петербурге у Прокоповича*.) После выхода «Миргорода» Белинский поражен был художественной силой Гоголя, особенно выразившейся в «Старосветских помещиках» и «Невском проспекте». От «Ревизора» он был вне себя.

Значение этой комедии он понял один из первых. Пушкин восхищался только удивительным комизмом автора…*

Замечательно, что когда впоследствии Белинский начал разъяснять великое общественное значение произведений Гоголя, Гоголь пришел в ужас от этих разъяснений и объявил, что вовсе не имел в виду того, что приписывают ему *некоторые* критики*.

Гоголь, друг Жуковского и других литературных авторитетов, смотревших на Белинского очень неблагосклонно, между прочим боялся, кажется, что энтузиазм к нему молодого, не признаваемого ими критика, может несколько скомпрометировать его в глазах их…

Сергей Тимофеич Аксаков уговорил Загоскина (который не слишком жаловал Гоголя) дать «Ревизора» на московской сцене, по случаю приезда Гоголя в Москву…

Спектакль этот дан был сюрпризом для автора: Щепкин и все актеры наперерыв друг перед другом старались отличиться перед ним. Большой московский театр, редко посещаемый публикою летом, был в этот раз полон. Все московские литературные и другие знаменитости были здесь в полном сборе: в первых рядах кресел и в ложах бельэтажа. Белинский, Боткин и их друзья, еще не принадлежавшие тогда к знаменитостям, помещались в задних рядах. Все искали глазами автора, все спрашивали, где он? Но его не было видно. Только в конце второго действия его открыл Н. Ф. Павлов в углу бенуара г-жи Чертковой.

По окончании третьего акта раздались громкие крики: «Автора! автора!» Громче всех кричал и хлопал К. Аксаков. Он решительно выходил из себя...

— Константин Сергеич!.. Полноте!.. поберегите себя!.. — восклицал Николай Филиппыч Павлов, подходя к нему, смеясь и поправляя свое жабо...

— Оставьте меня в покое, — отвечал сурово Константин Аксаков и продолжал хлопать еще яростнее.

— За что же сердиться? Я желаю вам добра... Вот, — продолжал он, обращаясь ко мне, — Константин Сергеич на меня сердится за то, что я уговариваю его умерить свой энтузиазм, который может повредить его здоровью... В самом деле, ведь это вредно для здоровья так выходить из себя? Правда? а?..

Гоголь при этих неистовых криках (я следил за ним) все спускался ниже и ниже на своем стуле и почти выполз из ложи, чтобы не быть замеченным.

Занавес поднялся.

Актер вышел и объявил, что: «автора нет в театре».

Гоголь, действительно, уехал после третьего действия, к огорчению артистов, употреблявших все богом данные им способности для того, чтобы заслужить похвалу автора*...

И. И. Панаев. Из «Воспоминания о Белинском»*

...К числу общих наших приятелей, которого мы посещали довольно часто и у которого обыкновенно обедал Белинский по воскресеньям, принадлежал А. А. К<омаров>, преподававший русскую словесность в военно-учебных заведениях. А. А. Комаров глубоко уважал Белинского и был предан ему всею душою. Он был между прочим большой гастроном и с особенною любовью и мастерски приготовлял салат. Белинский всегда был очень доволен его обедами и, похваливая их хозяину дома, не упускал случая ввернуть словцо об его двоюродном брате, который имел слабость также приглашать к себе на обеды, но кормил до крайности дурно.

— У Александра Александровича, — говаривал Белинский, — не испортишь желудка. Это не то, что у его двоюродного братца. Тот отравитель! На что желудки у них (он указывал на меня и на <М. А.> Языкова, также очень близкого ему человека), булыжники переваривают, а после обеда вашего братца и они приставляют иногда пиявки к желудкам.

А. А. Комаров был очень хорош с покойным Прокоповичем и через него сошелся очень близко с Гоголем. Первое время своей известности Гоголь обыкновенно, приезжая в Петербург, останавливался у Прокоповича и часто бывал у Комарова. Здесь встречался с ним Белинский…

Малороссийские устные рассказы Гоголя и его чтение (известно, что он был удивительный чтец и превосходный рассказчик) производили на Белинского сильное впечатление…

В то время Гоголь еще нередко позволял себе одушевляться в кругу своих старых несветских товарищей и приятелей и, приготовляя сам в их кухне итальянские макароны, до которых был величайший охотник, тешил их своими рассказами.

Упомянув о неприступности Гоголя и его странном обращении с его старыми приятелями, я кстати позволю себе сделать здесь небольшое отступление и расскажу об одном вечере (это уже было года два или три после смерти Белинского) у А. А. Комарова, на котором присутствовал Гоголь. Гоголь изъявил желание А. А. Комарову приехать к нему и просил его пригласить к себе несколько известных *новых* литераторов, с которыми он не был знаком. Александр Александрович пригласил между прочими Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина*. Я также был в числе приглашенных, хотя был давно уже знаком с Гоголем. Я познакомился с ним летом 1839 года в Москве, в доме Сергея Тимофеевича Аксакова*. В день моего знакомства с ним он обедал у Аксаковых и в первый раз читал первую главу своих «Мертвых душ»*. Мы собрались к А. А. Комарову часу в девятом вечера. Радушный хозяин приготовил роскошный ужин для знаменитого гостя и ожидал его с величайшим нетерпением. Он благоговел перед его талантом. Мы все также разделяли его нетерпение. В ожидании Гоголя не пили чай до десяти часов, но Гоголь не показывался, и мы сели к чайному столу без него.

Гоголь приехал в половине одиннадцатого, отказался от чая, говоря, что он его никогда не пьет, взглянул бегло на всех, подал руку знакомым, отправился в другую комнату и разлегся на диване. Он говорил мало, вяло, нехотя, распространяя вокруг себя какую-то неловкость, что-то принужденное. Хозяин представил ему Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Гоголь несколько оживился, говорил с каждым из них об их произведениях, хотя было очень заметно, что не читал их. Потом он заговорил о себе и всем нам дал почувствовать, что его знаменитые «Письма» писаны им были в болезненном состоянии, что их не следовало издавать, что он очень сожалеет, что они изданы. Он как будто оправдывался перед нами*.

От ужина, к величайшему огорчению хозяина дома, он также отказался. Вина не хотел пить никакого, хотя тут были всевозможные вина.

— Чем же вас угощать, Николай Васильич? — сказал наконец в отчаянии хозяин дома.

— Ничем, — отвечал Гоголь, потирая свою бородку. — Впрочем, пожалуй, дайте мне рюмку малаги.

Одной малаги именно и не находилось в доме. Было уже между тем около часа, погреба все заперты... Однако хозяин разослал людей для отыскания малаги.

Но Гоголь, изъявив свое желание, через четверть часа объявил, что он чувствует себя не очень здоровым и поедет домой.

— Сейчас подадут малагу, — сказал хозяин дома, — погодите немного.

— Нет, уж мне не хочется, да к тому же поздно...

Хозяин дома, однако, умолил его подождать малаги. Через полчаса бутылка была принесена. Он налил себе пол-рюмочки, отведал, взял шляпу и уехал, несмотря ни на какие просьбы...

Ф. И. Иордан. Из «Записок»*

...Во время моего пребывания в Риме туда приехал наша знаменитость Николай Васильевич Гоголь; люди, знавшие его и читавшие его сочинения, были вне себя от восторга и искали случая увидать его за обедом или за ужином, но его несообщительная натура и неразговорчивость помаленьку охладили этот восторг. Только мы трое: Александр Андреевич Иванов, гораздо позже Федор Антонович Моллер и я остались вечерними посетителями Гоголя, которые были обречены на этих ежедневных вечерах сидеть и смотреть на него, как на оракула, и ожидать, когда отверзутся его уста. Иной раз они и отверзались, но не изрекали ничего особенно интересного.

Доброта Гоголя была беспримерна, особенно ко мне и к моему большому труду «Преображение»*. Он рекомендовал меня, где мог. Благодаря его огромному знакомству это служило мне поощрением и придавало новую силу моему желанию окончить гравюру. Гоголь сидел обыкновенно опершись руками о колени, зачастую имея перед собою какие-нибудь мелкие покупки: они развлекали его. Часто встретишь его, бывало, в белых перчатках, щегольском пиджаке и синего бархата жилете; он всегда замечал шутя: «Вы — Рафаэль первого манера», и мы расходились смеясь. Гоголь многим делал добро рекомендациями, благодаря которым художники получали новые заказы. Его портрет, писанный Моллером, — верх сходства; мне пришлось два раза гравировать с него.

В это же время приехал в Рим Ф. А. Моллер, пенсионер академии художеств, красивый молодой дворянин и художник с блестящим

талантом и хорошими средствами, всегда веселый и крайне старательный. Его картина, известная под названием «Поцелуй», заставила говорить о нем весь Рим; «Русалка», по стихотворению Пушкина, была менее удачна; наконец он написал в Риме еще портрет Гоголя.

…Приезд наследника цесаревича* привлек в Рим множество гостей, особенно русских; Н. В. Гоголь, воспользовавшись этим, как известный писатель, желая помочь одному земляку своему, малороссу, весьма посредственному художнику, Шаповаленко, объявил, что будет читать комедию «Ревизор»* в пользу этого живописца, по 5 скуд за билет. Как приезжие русские, так и приятели художника все бросились брать билеты. Говорили, что Гоголь имеет необыкновенный дар читать, особенно «Ревизора», — комедию, обессмертившую его. Княгиня Зинаида Волконская* дала ему в своем дворе, Palazzo Poli, большое зало, с обещанием дарового угощения. Съезд был огромный. Я был восхищен появлением в числе гостей двух сестриц Алферьевых, из коих младшая была ангелом красоты, скромности и несказанной доброты; я все время любовался ею.

В зале водворилась тишина; впереди, полукругом, стояло три ряда стульев, и все они были заняты лицами высшего круга. По середине залы стоял стол, на нем графин с водою и лежала тетрадь; видим, Н. В. Гоголь с довольно пасмурным лицом раскрывает тетрадь, садится и начинает читать, вяло, с большими расстановками, монотонно. Публика, по-видимому, была мало заинтересована, скорее скучала, нежели слушала внимательно: Гоголь время от времени прихлебывал воду; в зале царствовала тишина. Окончилось чтение первого действия без всякого со стороны гостей одобрения; гости поднялись со своих мест, а Гоголь присоединился к своим друзьям. Явились официанты с подносами, на них чашки с отличным чаем и всякого рода печением. Я все посматривал на свой предмет, Алферьеву; увидал, что с нею была какая-то молодая бойкая дама, высокого роста мужчина, средних лет женщина и старушка.

Во время чтения второго действия многие кресла оказались пустыми. Я слышал, как многие, выходя, говорили: «этою пошлостью он кормил нас в Петербурге, теперь он перенес ее в Рим»*.

Доброе намерение Н. В. Гоголя оказалось для него совершенно проигранным. Несмотря на яркое освещение зала и на щедрое угощение, на княжеский лад, чаем и мороженым, чтение прошло сухо и принужденно, не вызвав ни малейшего аплодисмента, и к концу вечера зало оказалось пустым; остались только мы и его друзья, которые окружили его, выражая нашу признательность за его великодушное намерение устроить вечер в пользу неимущего художника…

Ф. И. Буслаев. Из «Моих воспоминаний»[*]

...Однажды утром в праздничный день сговорились мы с <В. А.> Пановым итти за город, и именно, хорошо помню и теперь, в виллу Albani, которую особенно часто посещал я. Положено было сойтись нам в cafe Greco, куда в эту пору дня обыкновенно собирались русские художники[*]. Когда явился я в кофейню, человек пять-шесть из них сидели вокруг стола, приставленного к двум деревянным скамьям, которые соединяются между собою там, где стены образуют угол комнаты. Это было налево от входа. Собеседники болтали и шумели: это был народ веселый и беззаботный. Только в том углу сидел, сгорбившись над книгою, какой-то неизвестный мне господин, и в течение получаса, пока я поджидал своего Панова, он так погружен был в чтение, что ни разу ни с кем не перемолвился ни единым словом, ни на кого не обратил хоть минутного взгляда, будто окаменел в своей невозмутимой сосредоточенности. Когда мы с Пановым вышли из кофейни, он спросил меня: «Ну, видел? познакомился с ним? Говорил?» Я отвечал отрицательно. Оказалось, что я целых полчаса просидел за столом с самим Гоголем. Он читал тогда что-то из Диккенса, которым, по словам Панова, в то время он был заинтересован. Замечу мимоходом, что по этому случаю узнал я в первый раз имя великого английского романиста: так и осталось оно для меня навсегда в соединении с наклоненною над книгой фигурою в полусвете темного угла.

Когда Панов устроился в своей квартире, Гоголь поселился у него и прожил вместе с ним всю зиму 1840–1841 годов. На все это время Панов, забывая, что живет в Риме, вполне предался неустанным попечениям о своем дорогом госте, был для него и радушным, щедрым хозяином, и заботливою нянькою, когда ему нездоровилось, и домашним секретарем, когда нужно было что переписать, даже услужливым приспешником, на всякую мелкую потребу.

В жизни великого писателя всякая подробность может иметь важное значение, особенно если она касается литературы. Гоголь желал познакомиться с лирическими произведениями Франциска Ассизского, и я через Панова доставил их ему в том издании старинных итальянских поэтов, которое... рекомендовал мне мой наставник Франческо Мази.

Как-то случилось, что в течение двух или трех недель ни разу не привелось нам с Пановым видеться: ко мне он перестал заходить, я нигде его не встречал, спрашивал о нем у наших общих знакомых, но и от них о нем ни слуху ни духу — совсем запропастился. Наконец является ко мне, но такой странный и необычный, каким я его никогда не видывал, умиленный и просветленный, будто какая благодать снизошла на него с неба; я спрашиваю его: «Что с тобой? куда ты девался?» — «Все это время, — отвечал он, — был я занят великим делом, таким, что ты и представить себе не можешь; продолжаю его и

теперь». И говорит он это так сдержанно, таинственно, чуть не шопотом, чтобы кто не похитил у него сокровище, которое переполняет его душу светлою радостью. Будучи погружен в свои римские интересы, я подумал, что где-нибудь в развалинах откопан новый Лаокоон или новый Аполлон Бельведерский, и что теперь пришел Панов сообщить мне об этой великой радости. «Нет, совсем не то, — отвечал он, — дело это наше родное, русское. Гоголь написал великое произведение, лучше всех Лаокоонов и Аполлонов; называется оно «Мертвые души», а я его теперь переписываю набело». Тут в первый раз услышал я загадочное название книги, которая стала потом драгоценным достоянием нашей литературы, и сначала вообразил себе, что это какой-нибудь фантастический роман или повесть вроде «Вия»; но Панов разуверил меня, однако не мог ничего сообщить мне о содержании нового произведения, потому что Гоголь желал сохранять это дело в тайне...

Ф. В. Чижов. Встречи с Гоголем*

Я познакомился с Гоголем тогда, как он был сделан адъюнкт-профессором в С.-Петербургском университете*, где я тоже был адъюнкт-профессором. Гоголь сошелся с нами хорошо, как с новыми товарищами; но мы встретили его холодно. Не знаю, как кто, но я только по одному: я смотрел на науку чересчур лирически, видел в ней высокое, чуть-чуть не священное дело, и потому от человека, бравшегося быть преподавателем, требовал полного и безусловного посвящения себя ей. Сам я занимался сильно, но избрал для преподавания искусство, мастерство (начертательную геометрию), не смея взяться за науку высшего анализа, которую мне тогда предлагали. К тому же Гоголь тогда, как писатель-художник, едва показался; мы, большинство, толпа, не обращали еще дельного внимания на его «Вечера на хуторе»; наконец и самое вступление его в университет путем окольным* отдаляло нас от него, как от человека. По всему этому сношения с ним у меня были весьма форменные, и то весьма редкие.

Расставшись с Гоголем в университете, мы встретились с ним в Риме в 1843 году и прожили здесь целую зиму в одном доме, на Via Felice, № 126. Во втором этаже жил покойный Языков, в третьем Гоголь, в четвертом я. Видались мы едва ли не ежедневно. С Языковым мы жили совершенно по-братски, как говорится душа в душу, и остались истинными братьями до последней минуты его; с Гоголем никак не сходились. Почему? я себе определить не мог. Я его глубоко уважал, и как художника, и как человека. Перед приездом в Рим я много говорил об нем с Жуковским и от него первого получил «Мертвые души». Вечера наши в Риме сначала проводили в довольно натянутых разговорах. Не помню, как-то мы заговорили о <А. Н.> М<уравье>ве, написавшем «Путешествие к святым местам» и проч. Гоголь отзывался об нем резко, не признавал в нем решительно никаких достоинств и находил в нем

отсутствие языка. С большею частью этого я внутренно соглашался, но странно резкий тон заставил меня с ним спорить. Оставшись потом наедине с Языковым, я начал говорить, что нельзя не отдать справедливости Муравьеву за то, что он познакомил наш читающий люд со многим в нашем богослужении и вообще в нашей церкви. Языков отвечал:

— Муравьева терпеть не мог Пушкин. Ну, а чего не любил Пушкин, то у Гоголя делается уже заповедною и едва только не ненавистью.

Несмотря, однакож, на наши довольно сухие столкновения, Гоголь очень часто показывал ко мне много расположения. Тут, по какому-то непонятному для самого меня внутреннему упрямству, я, в свою очередь, отталкивал Гоголя. Все это, разумеется, было в мелочах. Например, бывало, он чуть не насильно тащит меня к С<мирнов>ой; но я не иду и не познакомился с нею (о чем теперь искренно сожалею) именно потому, что ему хотелось меня познакомить. Таким образом, мы с ним не сходились. Это, пожалуй, могло случиться очень просто: Гоголь мог не полюбить меня, да и все тут. Так нет же: едва, бывало, мы разъедемся, не пройдет и двух недель, как Гоголь пишет ко мне и довольно настойчиво просит съехаться, чтоб потолковать со мной о многом... Сходились мы в Риме по вечерам постоянно у Языкова, тогда уже очень больного, — Гоголь, Иванов и я. Наши вечера были очень молчаливы. Обыкновенно кто-нибудь из нас троих — чаще всего Иванов — приносил в кармане горячих каштанов; у Языкова стояла бутылка алеатино, и мы начинали вечер каштанами, с прихлебками вина... В обществе, которое он <Гоголь> кроме нашего, посещал изредка, он был молчалив до последней степени. Не знаю, впрочем, каков он был у А. О. Смирновой, которую он очень любил и о которой говаривал всегда с своим гоголевским восхищением: «Я вам советую пойти к ней: она очень милая женщина». С художниками он совершенно разошелся. Все они припоминали, как Гоголь бывал в их обществе, как смешил их анекдотами, но теперь он ни с кем не видался. Впрочем, он очень любил Ф. И. И<орда>на и часто на наших сходках сожалел, что его не было с нами. А надобно заметить, что Иордан очень умный человек, много испытавший и отличающийся большою наблюдательностью и еще большею оригинальностью в выражениях. Однажды я тащил его почти насильно к Языкову.

— Нет, душа моя, — говорил мне Иордан, — не пойду, там Николай Васильевич. Он сильно скуп, а мы всё народ бедный, день-деньской трудимся, работаем, — давать нам не из чего. Нам хорошо бы так вечерок провести, чтоб дать и взять, а он все только брать хочет.

Я был очень занят в Риме и смотрел на вечернюю беседу, как на истинный отдых. Поэтому у меня почти ничего не осталось в памяти от наших разговоров. Помню я только два случая, показавшие мне прием

художественных работ Гоголя и понятие его о работе художника. Однажды, перед самым его отъездом из Рима, я собирался ехать в Альбано. Он мне сказал:

— Сделайте одолжение, поищите там моей записной книжки, вроде истасканного простого альбома; только я просил бы вас не читать.

Я отвечал:

— Однакож, чтоб увериться, что точно эта ваша книжка, я должен буду взглянуть в нее. Ведь вы сказали, что сверху на переплете нет на ней надписи.

— Пожалуй, посмотрите. В ней нет секретов; только мне не хотелось бы, чтоб кто-нибудь читал. Там у меня записано все, что я подмечал где-нибудь в обществе.

В другой раз, когда мы заговорили о писателях, он сказал:

— Человек пишущий так же не должен оставлять пера, как живописец кисти. Пусть что-нибудь пишет непременно каждый день. Надобно, чтоб рука приучилась совершенно повиноваться мысли[*].

В Риме он, как и все мы, вел жизнь совершенно студентскую: жил без слуги, только обедал всегда вместе с Языковым, а мы все в трактире. Мы с Ивановым всегда неразлучно ходили обедать в тот трактир, куда прежде ходил часто и Гоголь, именно, как мы говорили, к Фалькону (al Falcone). Там его любили, и лакей (cameriere) нам рассказывал, как часто signor Niccolo надувал их. В великий пост до Ave Maria, то есть до вечерни, начиная с полудня, все трактиры заперты. Ave Maria бывает около шести часов вечера. Вот, когда случалось, что Гоголю сильно захочется есть, он и стучит в двери. Ему обыкновенно отвечают: «Нельзя отпереть». Но Гоголь не слушается и говорит, что забыл платок, или табакерку, или что-нибудь другое. Ему отворяют, а он там уже остается и обедает…

Вот все, что могу на этот раз припомнить о нашей римской жизни. Общий характер бесед наших с Гоголем может обрисоваться из следующего воспоминания. Однажды мы собрались, по обыкновению, у Языкова. Языков, больной, молча, повесив голову и опустив ее почти на грудь, сидел в своих креслах; Иванов дремал, подперши голову руками; Гоголь лежал на одном диване, я полулежал на другом. Молчание продолжалось едва ли не с час времени. Гоголь первый прервал его:

— Вот, — говорит, — с нас можно сделать этюд воинов, спящих при гробе господнем.

И после, когда уже нам казалось, что время расходиться, он всегда говаривал:

— Что, господа? не пора ли нам окончить нашу шумную беседу?

Жуковский, как известно, очень любил Гоголя, но журил его за небрежность в языке; а уважая и высоко ценя его талант, никак не был его поклонником. Проживая в Дюссельдорфе, я бывал у Жуковского раза три-четыре в неделю, часто у него обедал, и мне не раз случалось говорить с ним о Гоголе. Прочтя наскоро «Мертвые души», я пришел к Жуковскому. Признаюсь, с первого разу я очень мало раскусил их. Я был восхищен художническим талантом Гоголя, лепкою лиц, но, как я ожидал содержания в самом событии, то, на первый раз, в ряде лиц, для которых рассказ о мертвых душах был только внешним соединением, видел какое-то отсутствие внутренней драмы. Я об этом сообщил Жуковскому и из слов его увидел, что ему не был известен полный план Гоголя. На замечание мое об отсутствии драмы в «Мертвых душах», Жуковский отвечал мне:

— Да и вообще в драме Гоголь не мастер. Знаете ли, что он написал было трагедию? (Не могу утверждать, сказал ли мне Жуковский ее имя, содержание и из какого быта она была взята; только, как-то при воспоминании об этом, мне представляется, что она была из русской истории*). Читал он мне ее во Франкфурте. Сначала я слушал; сильно было скучно; потом решительно не мог удержаться и задремал. Когда Гоголь кончил и спросил, как я нахожу, я говорю: «Ну, брат, Николай Васильевич, прости, мне сильно спать захотелось». — «А когда спать захотелось, тогда можно и сжечь ее», — отвечал он и тут же бросил в камин. Я говорю: «И хорошо, брат, сделал»*.

После Италии мы встретились с ним в 1848 году в Киеве*, и встретились истинными друзьями. Мы говорили мало, но разбитой тогда и сильно больной душе моей стала понятна болезнь души Гоголя… Мы встретились у А. О. Данилевского, у которого остановился Гоголь и очень искал меня; потом провели вечер у М. В. Юзефовича. Гоголь был молчалив, только при расставаньи он просил меня, не можем ли мы сойтись на другой день рано утром в саду. Я пришел в общественный сад рано, часов в шесть утра; тотчас же пришел и Гоголь. Мы много ходили по Киеву, но больше молчали; несмотря на то, не знаю, как ему, а мне было приятно ходить с ним молча. Он спросил меня: где я думаю жить? — Не знаю, говорю я: вероятно, в Москве.

— Да, — отвечал мне Гоголь, — кто сильно вжился в жизнь римскую, тому после Рима только Москва и может нравиться.

Тут, не помню, в каких словах, он передал мне, что любит Москву и желал бы жить в ней, если позволит здоровье. Мы назначили вечером сойтись в Лавре, но там виделись только на несколько минут: он торопился.

В Москве — помнится мне, в 1849 году — мы встречались часто у Хомякова, где я бывал всякий день, и у С<амарины>х. Он тоже был всегда молчалив, и тогда уже видно было, что он страдал. Однажды мы сошлись с ним под вечер на Тверском бульваре.

— Если вы не торопитесь, — говорил он, — проводите меня до конца бульвара.

Заговорили мы с ним об его болезни.

— У меня все расстроено внутри, — сказал он. — Я, например, вижу, что кто-нибудь спотыкнулся; тотчас же воображение за это ухватится, начнет развивать — и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы.

П. В. Анненков. Гоголь в Риме летом 1841 года[*]

I

С самой Вены торопился я в Рим, к страстной неделе, и наконец привел свой план в исполнение! Доехав до Анконы, я предпринял оттуда довольно оригинальное путешествие, которое покажется баснословным, когда железные дороги в Италии уничтожат последний отпрыск поколения ветуринов.[98] Я нанял в Анконе одного такого ветурина, человека уже весьма пожилого и обладателя старой кареты, в которую дуло даже из спинки ее, и двух тощих кляч. Мне привел его *cameriere*[99] трактира, где я останавливался в Анконе. Мы уговорились сделать путешествие к вечному городу самым ускоренным способом, именно в одну неделю (200 итальянских миль переезда или около 350 верст), причем попечение на прокормление меня в это время и на доставление ночлегов возложено было тоже на возницу. Таким образом, за 12 скуд, или 60 франков, он делался в продолжение трех суток моим кучером, дядькой, оберегателем и полным хозяином моей воли. В этом отстранении личной свободы, а вместе с тем и ответственности за себя и за свое существование, было что-то очень приятное. Старик, весьма суровый с виду, но плутоватый, как все итальянцы, живущие около трактиров и больших дорог, ни разу не изменил горделивому слову, которым он возразил на мое беспокойное сомнение касательно достоинства будущего провианта. «Signor, son galant'uomo,[100] — сказал он, — и все лучшее, что найдем в гостиницах, будет вам предоставлено». И действительно, он был порядочным человеком в этом смысле, но в другом отношении никак нельзя было его упрекнуть в излишне суровом понимании своего долга. Во-первых, увидав на другой день рыхлую карету у подъезда гостиницы, я никак не мог вообразить, чтоб эта была та покойная, хорошая, красивая и *всем известная* карета, про которую мне говорил ветурино накануне, да и лошади не походили на тех статных, хороших, *любезных* лошадей, какие представлялись моему воображению благодаря его описаниям. Но делать было нечего. Я сел в

карету, скрепя сердце, и покуда привязывали чемодан к запяткам, весьма сурово посматривал на мальчишку в лохмотьях, который, подойдя к самой дверце, требовал милостыни с какой-то удивительной настойчивостью, с непостижимым выражением гордости, точно милостыня была казенная пошлина, взимаемая им по закону. Я решился не давать милостыни, смотрел ему прямо в лицо, и, когда карета тронулась, имел удовольствие видеть, как, метнув свирепый взор, мальчик протянул кулак и сказал вполовину яростно и вполовину с недоумением: «Вот еще, едет в Лоретто, а милостыни не дает». Путь наш лежал через знаменитое Лоретто, славное своим собором и драгоценностию, в нем хранимой. Но продолжая изложение не совсем твердых нравственных оснований моего ветурино, я должен еще прибавить, что накануне я выразил ему желание ехать один-одинешенек в карете и получил на то полное согласие его, заплатив предварительно за все три остальные места условленную плату. Я был действительно один в карете, когда мы тронулись от подъезда гостиницы, но, вероятно, ветурино размыслил, что желание мое принадлежит к числу тех варварских капризов капитала, которые можно не исполнять, хотя бы право на них и было утверждено законным контрактом. У самых ворот города сын ветурино, бойкий мальчик лет двенадцати, взятый им с собою для подмоги и для приобретения опытности в ремесле, отворил дверцы кареты и впустил туда двух калабрийских читадинов,[101] в весьма живописных костюмах, сказав мне с наглостью, обещавшей большие успехи в будущем: «Они до первого города, синьор». Оказалось, что в мысли ветурино и его потомка первый город был Рим, как, впрочем, и следует думать о нем всякому поэту и философу. Дело еще этим не кончилось. У меня было грустное предчувствие, что и третье пустое место будет вскоре занято, — так и случилось. Едва отъехали мы по шоссе несколько сажен, как увидали на дороге в желтом, весьма неживописном и потертом городском сюртуке молодого человека лет восемнадцати, с немецкой физиономией, здорового, мускулистого и несколько робко поджидавшего нашего подъезда. Это был бедный сапожный подмастерье из католических кантонов Швейцарии, отправлявшийся в вечный город искать места в папской гвардии, после неудачных попыток прославиться где-нибудь в провинции. Он влез в карету неуклюже, но уклончиво и стыдливо, словно чувствуя за собой какой-либо проступок. Все места были заняты: я посмотрел в переднее оконце на ветурино. Он сидел на козлах в круглой шляпе с большими полями, в коричневом плаще с откидным капишоном, и с длинным бичом в руке — спокойно, неподвижно и хладнокровно, как будто жизнь и прошедшее его были чище зеркала, но молчание и суровость его выражали все-таки некоторую стыдливость и точно говорили: «Как быть? Мы живем этим». Только мальчишка его часто оборачивался назад и кидал на меня сквозь оконце испытующий взгляд.

И началось долгое путешествие. Происходило это в самой середине итальянской весны, в конце апреля месяца. Начало ее я застал в Венеции, но там она имела совсем другой характер. Еще Гёте заметил, что Венеция город по преимуществу красок, света, тени и ярких живописных противоположностей. В мое время полное весеннее солнце отражалось и играло на его мраморных, разноцветных дворцах и соборах, на мозаиках их стен, на заливе, на колоннах площадей, на флагах и памятниках его, которые сверкали всей своей массой... Это было ослепительно, почти невыносимо для северного глаза. Довольно сказать, что даже и те архитектурные подробности, которые находились в тени и вырезывались резкими очертаниями на плоскости целого здания, залитого солнцем, даже и они были еще пропитаны каким-то голубым светом, словно волновавшимся на поверхности их. В Анконе характер природы изменился. Небо покрылось легкими белыми прозрачными тучами. В воздухе было что-то нежное, пахучее и ласкающее, окрестности лежали в ровном, задумчивом освещении, и только изредка волны мягкого света пробегали по виноградным и фруктовым садам. Ничто не раздражало глаза, но и ничто не заслоняло самой дальней точки горизонта. Все пространство покрыто было не туманом, а какой-то умеренно-яркой пеленой, сохранявшей целиком очертания и формы предметов, но сглаживавшей резкость всех линий. Первые отпрыски Апеннин, вскоре показавшиеся нам, светились как перламутр, а дальние водопроводы, являвшиеся иногда по сторонам на горизонте, словно были написаны белой краской, несколько поблеклой от времени, по белому же, но свежему полю неба. Нега и томление выражались на всем, куда вы ни обращали взор, и вы невольно чувствовали, что при таких днях все должно зреть в земле и многое подыматься в сердце человека. Когда около полудня я всходил пешком на гору, где красовалась Лоретто со своим собором и дворцом, долина, которую мы только что миновали, выступала шаг за шагом перед глазами, со всеми ее белыми каменными хижинами, разбросанными так, как будто они упали с неба и рассыпались между виноградных кустов и фруктовых деревьев. Горы составляли окраину долины, и все вместе погружено было в такую возбуждающую, томительную тишину, в такое мертвое и вместе страстное молчание...

Миновав Лоретто, мы стали подыматься у Серравале на Апеннинские горы. Я большей частию шел пешком. Изредка перепадал теплый дождь, ужасно пугавший итальянцев, которые, как все южные народы, боятся дождя. На всякой покатости ветурино останавливался, оглядывался по сторонам и, завидев вдали волов, уже приготовленных заранее для подмоги проезжающим, кричал: buovi... Мальчик-пастух издалека выговаривал себе байок (две копейки ассигн.) за труд, потом лениво приводил волов, припрягал к нашим лошадкам, и мы тащились вверх. Случалось, что горы готовились запереть нас со всех сторон, врезывались одна в другую и загораживали дорогу, но белая шоссейная

полоса все тянулась по одному боку скалы и к вечеру спускалась вниз — непременно в цветущую долину и фруктовый сад, где мы и заночевывали. Ночлеги эти и полуденные отдыхи в ущелиях составляли не последнюю прелесть нашего патриархального путешествия. Мы останавливались то в бедной австерии,[102] уединенно торчавшей при дороге, то в гостинице какого-либо местечка, имевшей притязание на пышность, как следует горожанке, но везде встречали ту же простоту итальянской жизни. В иных местах было лишнее блюдо, обыкновенно какая-либо зелень или рыба, подаваемая с видимой гордостию на стол самим хозяином; в других фляжка туземного вина, легкого и прозрачного, вызывала особенную похвалу собеседников; случалось также, что кровать совершенно голой комнаты покрыта была ситцевым одеяльцем необычайной и хвастливой пестроты, но везде за стол наш садился вместе с нами первый поселянин, возвращавшийся из соседнего местечка, да обыкновенно и сам хозяин или главный cameriere, поставив блюдо, придвигал стул к посетителям, помещался сзади кого-либо и, опираясь на спинку чужого седалища, вступал в живой и беглый разговор, удивительно выражавший общительность и природное любопытство племени. Ветурино мой почувствовал ко мне глубокое уважение, как только убедился, что я не расположен делать ему упреков за плохое понимание святости контракта: рано утром, когда после кофе выходили мы продолжать наше следование, он уже был на козлах, ласково улыбался мне и даже раз, поджидая остальных путешественников, указал глазами на сына и произнес: «Возьмите его с собой *a Pietroburgo*». — Пожалуй, — отвечал я. «А что он будет там?» — продолжал ветурино. — Он будет солдатом в русской гвардии, — сказал я. «Хочешь ты?» — заметил отец, обращаясь к сыну, который стоял у двери, тоже улыбаясь с свойственным ему лукавством. Мальчик сделал сильный жест рукою и отвечал: «Лучше быть аббатом». Старик разразился хриплым хохотом и дернул лошадей, прибавив che birbone! Экой разбойник! Лаконическая шутка эта окончательно утвердила между нами самые удовлетворительные отношения.

Отношения мои с двумя калабрийцами — моими спутниками в карете — оказались чуть ли еще не лучше и во всяком случае гораздо замечательнее. Оба спутника были в коротеньких бархатных куртках, в панталонах до колена, в чулках и ботинках; классическая круглая шляпа с огромными полями и широкий плащ тоже украшали их, но первый знакомец, высокий, молодой и красивый мужчина, с горбатым носом и черными волосами, вел себя как испанский гранд. Он молча и с достоинством подавал мне руку поутру, мало говорил в карете, но с изысканной учтивостию отвечал на вопросы, почти всегда улыбаясь; вместе с тем он отдавал и принимал взаимные услуги, столь обыкновенные между путешественниками, очень важно и серьезно. Я часто посматривал на него украдкой, стараясь уяснить себе свойства и особенности этого изящества в обращении, которое в торговцах кожами,

какими оба они были, меня чрезвычайно поражало… Я тогда еще не знал этой итальянской природы, носящей в себе самой возможность простого и естественного достижения всех родов красоты и благородства. Гораздо позднее ознакомился я с удивительными типами, которые в нищенской, прорванной куртке, наброшенной на плечо, стоят и смотрят как герои, и с чудными характерами, которые за обухом мясника или за прилавком портного мыслят, как рыцари. Товарищ моего испанского гранда был создан иначе. Это был живой человек, нисколько не красивый, широколицый, с лысиной на голове, уже пожилой и необычайно добродушный — качество, весьма ясно светившееся и в быстрых черных глазах его. Не знаю, за что он привязался ко мне с первого раза. Тут опять действовало врожденное итальянское добросердечие и то непосредственное чувство, которое у свежих народов бывает вообще неугомонно. Его видимо взволновало мое положение путешественника из далекой страны, без знакомых и друзей. Угождениям не было меры. Предупредительность не знала границ. Он суетился от глубокой, сердечной доброты и по действию живого воображения, мгновенно и случайно пораженного. Всю дорогу смотрел он за мной во все глаза и часто, наклоняясь ласково на мою сторону, спрашивал, улыбаясь: «А есть ли такие горы у вас в *Рушии?*» Вопросы подобного рода почти не сходили у него с языка: усматривал ли он признаки внимания и удовольствия на моем лице, как тотчас же обращался с запросом: есть ли в *Рушии* шоссе, реки, лошади, австерии, собаки, деревья, и при моих утвердительных ответах оставался совершенно счастлив, словно ему подарили какое-либо поместье со всеми этими предметами. К этому надо прибавить самое решительное, абсолютное отсутствие всяких сведений и ученой образованности, заставившее его раз спросить: не одну ли веру с турками мы исповедуем? Зато суетливая доброта его не отступала от меня ни на шаг во всю дорогу. Помню, что раз под вечер мы достигли высшей точки Апеннин: я, вместе с моим неотступным провожатым, шел пешком, и мы далеко оставили за собой ветурина. Когда открылась передо мной вся панорама этого хребта с горами, которые составляли бесчисленные перспективы для глаза, прерывая воздушное пространство своими вершинами и слабея в красках все далее и далее — я остановился в невольном изумлении. Тут не было ничего ломаного, угловатого и хаотического, как в Альпах, еще недавно мною покинутых; это было просто словно окаменелое, широкое море, где каждая волна приобрела самостоятельность, отразилась живописно на другой, а последняя уже слилась с белесоватой полосой неба. Оттенок вечерней зари, пробивавшейся сквозь облака, бросал на дальние вершины яркий, багровый свет и оттенял сильнее ближайшее к нам. Я хотел что-то сказать сопутнику моему, но его не было возле меня. В это время подъехал ветурино и строгим голосом приказал нам садиться в карету, под тем предлогом, что теперь мы будем спускаться очень скоро, *рысью*.

Я тотчас же повиновался, а за мной прыгнул в карету и пропавший мой спутник. Он с торжеством держал в руке пучок полевых цветов, набранных им в горах, и, подавая его мне, сказал отлично громким голосом, как обыкновенно говорят итальянцы иностранцу, на способность понимания которого не совсем надеются: «Положите, положите — эти цветы, эти цветы — в книжку свою, в книжку свою — и когда будете в *Рушии*, у себя, — вспомните о них». Я положил цветки в путеводитель Муррая, где они и теперь у меня покоятся.

Что касается до швейцарского подмастерья, то это был *пария* нашего общества. Все мои сопутники чувствовали себя по состоянию и гражданскому положению выше бедного юноши и оказывали ему совершенное невнимание; только один я отводил ему душу несколькими немецкими фразами, погружавшими его постоянно в какой-то трепет. Застенчивость и робость его были непобедимы. Он не конфузился только тогда, когда спал, а спал он много в карете, и спал уже совершенно откровенно. Раскинувшись прямо и по сторонам, он делался тогда почти единственным хозяином кареты, предоставляя в ней товарищам своим, как будто из милости, кой-какие уголки. Вероятно, ветурино принял его в число сопутников за совершенную безделицу, потому что смотрел на него и обращался с ним постоянно с презрением. Следуя привычкам своей родины, молодой швейцарец почти никогда не шел по шоссе, а большей частию карабкался целиком по горам и всегда опереживал возницу, строго придерживавшегося прямой линии. Раз, когда он, выскочив из кареты, прямо полез на скалу, я видел, как ветурино бросил на него невыразимо саркастический взгляд и произнес сквозь зубы, точь-в-точь как Лаблаш в «Севильском цирюльнике»: «Che bestia!»

Таким образом, за час до солнца, когда в горах еще волновалась сырость весенней ночи, начинали мы путешествие, закутываясь в свои шинели и прижимаясь к своим уголкам; но мало-помалу с возрастающей теплотой дня, иногда очень ярко показывавшегося из-за вершин, сбрасывали шинели, вместе с последними остатками дремоты. Тогда останавливались мы в какой-нибудь горной котловине, у подъезда одной из тех каменных хижин, построенных из едва обтесанного булыжника, где внизу у очага живет семейство хозяина, исправляя там и все свои нужды, — и завтракали. Часто случалось мне смотреть, сидя перед уединенной гостиницей, на клочок неба, видимый из ущелья, и любоваться облаками, которые пробегали вверху, точно китайские тени, свертываясь на узком полотне и оставляя по скату гор там и сям оторванные куски и точки прозрачного тумана. Иногда въезжали мы обедать и отдыхать в средневековое местечко, с мрачной башней у моста, перекинутого через обрыв, с романским собором в середине и с остатками полуразрушенного за́мка в конце, где еще иногда сохранялся аристократический донжон…[103] И чем грознее казалась наружность

такого местечка, тем сильнее действовало сонное мертвое спокойствие, царствовавшее на его улицах. Казалось, шумная средневековая жизнь отошла отсюда для того, чтоб оставить за собой пустоту, изредка наполняемую порывами современной жизни, которая иногда мгновенно и бурно проносится над этими местами, позабытыми историей, и снова покидает их на сон и невозмутимую тишину. Было что-то соответственное между нашим медленным, ленивым путешествием и этой летаргической жизнию, которая не заботится о времени, не бегает за ним с судорожной страстию, как остальная Европа, и равнодушно дает ему течь мимо себя... Как будто сам переживаешь это душевное состояние и радуешься, что мог испытать его. Невыразимое наслаждение доставляли мне те счастливые долины, которыми перерезываются Апеннины, оставляя в воображении одно воспоминание своих садов. Читатель может найти в прекрасной книге мистера Миттермайера об Италии описание замечательно человеческих, мягких отношений между владельцами земель в этой стране и их фермерами, между фермерами и их работниками, отношения, удалившие язву сословной вражды, которой страдает Западная Европа. Все эти долины, разбитые на множество владельческих кусков, с их загородами, виноградниками, полями, садами живут как будто одновременной жизнию на всех своих точках. При спуске с горы видны на далекое пространство плоские кровли разбросанных хижин; присутствие человека с его трудом, заботами и радостями чувствуется, так сказать, во всех сторонах картины и дает ей совершенно особенный смысл. Каждая подробность ее словно говорит не только за себя, но и за человека, а все вместе представляется как восхитительный пейзаж и как покров, скрывающий мысль. Олицетворение само напрашивается здесь на каждом шагу. Помню необычайное впечатление, произведенное на меня чудной долиной Фолиньо, которую я видел случайно в полном блеске ясного солнца, в самый полдень. Изумительная тишина лежала на всех полях и огородах, блестевших первою зеленью весны и еще вдобавок омываемых речкой, которая бежала, светясь и скрываясь по временам за кустами. Благоухание лаврового листа неслось к нам на склон горы, по которому мы спускались в долину, развернувшуюся у подошвы ее. Съехав вниз, мы остановились. У самой дороги возвышался необычайно грациозный древний храмик Дианы, в чистом вкусе времен республики, омываемый рекою и чудно отражавшийся белыми колоннами и белыми стенами своими на зелени горы и полей. Нельзя было выбрать лучшего места для жилища чистой богини, и мертвая тишина, царствовавшая как в долине, так и вокруг самого храмика, казалась еще остатком благоговейного уважения и культа, которыми некогда окружали это святилище.

Не стану описывать ни Фолиньо, ни Терни с его каскадом, ни Сполетто, ни других мест, прежде нами осмотренных; все это находится в бесчисленных описаниях Италии и обо всем этом надо говорить много и

долго, если уже решиться говорить. Скажу только, что по приближении к Риму разбросанные деревни все более и более исчезают и появляются каменные хижины, толпящиеся друг к другу, как бы ища защиты от врагов в общинной и городовой жизни. Средневековые башни и укрепления встречаются чаще. Вскоре открылись перед нами и покинутые, бесплодные поля Рима, по которым Тибр три раза извился широкой, мутной лентой прежде вступления своего в вечный город. Мы переехали его сперва у Боргет, затем через *Ponte Mollo* — мост, построенный еще Августом. Какое-то подобие массивного темного колпака, висевшего на небе, указало нам место, где находился Петр, но мы держались левее и через ворота *del Popolo* въехали в Рим, на великолепную площадь, украшенную обелиском, имея перед собой три улицы, начинавшиеся церквами, а налево от себя гору Пинчио с ее чудными виллами, в которых еще не так давно, в XVI столетии, жители Рима видели прохаживающуюся тень Нерона, где-то тут погребенного. Мы приехали в среду на страстной неделе, 28 апреля 1841 года, после однонедельного счастливейшего и в полном смысле насладительного вояжа.

Старомодная карета наша была, однакоже, замечена всеми носильщиками, факинами и cicerone,[104] которые вьются около трактиров в Италии, как досадные и часто невыносимые насекомые. В трактире Hôtel de Russie, на самой площади del Popolo, куда я тотчас бросился, не было ни одного номера, по милости гостей, прибывших к римским праздникам, особенно английских офицеров, смещенных на половину жалованья. Они в фантастических, выдуманных ими самими мундирах наполняли потом церкви и капеллы Рима, радуясь дешевизне его жизни и свободе носить какие угодно самозванные титулы. Я несколько раз изумлялся неутолимому, горячечному любопытству этих мирных воинов, соединенному с оттенком грубой насмешливости и презрения. Не успел, однакож, я убедиться, что не найду пристанища ни в одном из соседних отелей, как какой-то *fachino*[105] подхватил мой чемодан и понесся вдоль Корсо. Волей или неволей я следовал за ним до тех пор, пока он не остановился у одного дома на Корсо, где подхватил меня уже поджидавший хозяин квартиры и приказал нести чемодан вверх, в две пустых и чистых комнатки. Тут произошла одна из тех штук, которые так чернят Италию в глазах людей, привыкших судить о всей стране по первому мошеннику, какой им попадется на дороге. Хозяин потребовал 150 франков платы за квартиру в продолжение Святой недели, и я думал выказать удивительные познания местных цен, предложив ту же сумму за весь месяц. Это было ровно в шесть раз более того, что следовало, — и едва торг состоялся, как хозяин, полагая, вероятно, возможность существования *vendett'ы*[106] и в моей славянской крови, явился ко мне с контрактом, обязывавшим меня не портить ни диванов, ни стульев, ни столов, ни стен, ни рам, ни полов и проч. Подписав это обязательство, я переоделся и тотчас же вышел на улицу,

расспрашивая у всех, куда пройти к русскому посольству, где намеревался взять адрес Н. В. Гоголя. Между тем облачное небо, сопровождавшее нас во все время путешествия, разрешилось проливным дождем, загнавшим всех в дома и кофейни. Промокши до костей, с трудом отыскал я дом посольства, взял адрес у швейцара и еще с большим трудом возвратился домой, потому что ошибся улицей и плутал до тех пор, пока не наткнулся на извозчичью коляску, имевшую твердость не убежать во-свояси от дождя.

На другой день, прежде визита к Гоголю, я отправился в собор Петра. Говорили некогда, что все дороги ведут к Риму; можно сказать, что все дороги в Риме ведут или к Капитолию, или к Петру. Легко узнал я направление, перешел Тибр по мосту, украшенному вычурными статуями, поглядел на колоссальную гробницу Адриана (крепость св. Ангела), похожую на громадную пивную стопу, и по прямой линии достиг великолепной колоннады, пропилей Петра, а затем вступил и в святилище, которое так долго грезилось моему воображению, но воображение ничего подобного и нарисовать не могло. Несмотря на несчастные украшения пиластров, принадлежащие к упадку вкуса, линии собора и сочетания их ясно обозначались и с первого шага как будто отнимали возможность измерить их глазом — так огромны были своды над головой, так страшно тяжело упирались в землю пиластры и росли кверху, к дугам потолка, которых принимали на себя. Многим знакомо двойное чувство, испытанное путешественниками при входе в этот храм — чувство бедности отдельного лица в виду колоссальной, вековой постройки и чувство гордости за мысль и силу человека. Особенно это двойное, смешанное чувство нисходит на вас, когда, следуя по главному проходу (nef), уже поражающему широтой своего дугообразного потолка, вы идете прямо на массу света, которая бьет впереди, вступаете под самый купол и на одно мгновение совершенно теряетесь в этом неизмеримом *пространстве*, охваченном каменным Пантеоном. Размеры так страшны, что почти уничтожается понятие о них, и нужно какое-либо сравнение для ясного их представления. Колоссальный балдахин Бернини в середине, над гробницей апостола, кажется беседкой, и вы с напряженным усилием соображаете меру его вышины, указываемую обыкновенно дорожниками. Долго бродил я по боковым отделам храма, изучая его памятники, большею частию ухищренной, затейливой манеры XVII столетия, останавливаясь перед колоссальными мозаическими картинами его и осторожно обходя исповеднические ложи, пред которыми стояли толпы народа, исполняющего в эти торжественные дни духовные свои обязанности. Особенно занимали меня бесчисленные эффекты, рождаемые в пространствах этого храма перспективой и взаимным сочетанием каменных и мраморных масс, различно освещенных. То из-за угла какого-нибудь пиластра виднелась колоссальная дуга главного прохода, черная и как бы отрезанная на ярком грунте пустого пространства,

образуемого куполом; то выдвигался какой-либо памятник одной частью своей, словно оторвавшейся от общего целого; то открывался вкось балдахин Бернини в темном освещении, а за ним вдали угол папской кафедры, озаренной светлым лучом из окна. Свет окон ложился также на помост, перерезывался густыми тенями массивных пиластров, рождая беспрерывные живописные эффекты, которые благодаря громадности здания имели колоссальный и грандиозный характер. Собор жил своей особенной жизнью... У одной стены я неожиданно наткнулся на моего калабрийского радушного знакомца. Мы обрадовались друг другу. Он рассказал мне, что в нынешнее утро он уже исповедался, был у причастья и завтра, кончив все с Римом, едет далее в Неаполь. С неизменной своей лаской он спрашивал меня о моих похождениях, глубоко опечалился при рассказе о дорогом найме квартиры и, узнав, что я намерен отсюда итти пешком отыскивать одного моего земляка, предложил себя в проводники. Вскоре оказалось, что Strada Felice, близ Monte Pincio, куда мы должны были направлять путь свой, была столь же мало знакома ему, как и мне. Он беспрестанно расспрашивал всех прохожих о дороге и почти всегда брал не в ту сторону, которую указывали: излишнее желание отличиться услугой сбивало его поминутно с толку. Мы остановили даже одного весьма почтенного мужчину с важной физиономией и с зонтиком в руке. Он подробно изъяснил нам путь, а когда, по обыкновению, отойдя несколько шагов, проводник мой вдруг повернул ни с того ни с сего в переулок, совершенно противоположный указанному направлению, почтенный старец, позабыв лета и важность, пустился за ним вдогонку, крича: Ma dové vada, corpo di Bacco? — Да куда же ты идешь, чорт возьми? — Запыхавшись, нагнал он проводника, сделал ему препорядочный выговор, поставил на надлежащий путь и, едва обращая внимание на мои изъявления благодарности, спокойно возвратился на свою дорогу. Наконец мы миновали великолепную церковь Maria Maggiore, за ней дворец Барберини, встречая повсюду народ в необычайном движении и суете, как обыкновенно бывает перед праздниками там, где еще сохранилось понятие о праздниках, и наконец очутились в Strada Felice, у дома, носившего желанный 126 нумер*. Тут, поблагодарив от души моего благороднейшего сопутника, я крепко пожал ему руку, и мы расстались навсегда.

В последнем этаже дома, в просторной передней я наткнулся на сухого краснощекого старичка, почтенного владельца этажа, г. Челли, с которым так дружно жил впоследствии, и спросил его о квартире Гоголя. Старичок объявил, что Гоголя нет дома, что он уехал за город, никому неизвестно, когда будет назад, да и по прибытии, вероятно, сляжет в постель и никого принимать не станет. Видно было, что почтенный старичок выговаривал затверженный урок, который ему крепко-накрепко был внушен Гоголем, боявшимся посетителей, как огня. Но покуда я старался убедить его в своих правах на свидание с его

жильцом, дверь прямо перед нами отворилась, и из нее высунулась голова самого Гоголя. Он шутливо сказал старичку: «Разве вы не знаете, что это Жюль из Петербурга? Его надо впустить. Здравствуйте. Что ж вы не приезжали к карнавалу?» — прибавил он по-русски, вводя меня в свою комнату и затворяя двери. Надо сказать, что около 1832 года, когда я впервые познакомился с Гоголем, он дал всем своим товарищам по Нежинскому лицею и их приятелям прозвища, украсив их именами *знаменитых* французских писателей, которыми тогда восхищался весь Петербург. Тут были Гюго, Александры Дюма, Бальзаки и даже один скромный приятель, теперь покойный, именовался София Ге. Не знаю, почему я получил титул Жюль Жанена, под которым и состоял до конца. Комната Николая Васильевича была довольно просторна, с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни извнутри. Обок с дверью стояла его кровать, посередине большой круглый стол; узкий соломенный диван, рядом с книжным шкафом, занимал ту стену ее, где пробита была другая дверь. Дверь эта вела в соседнюю комнату, тогда принадлежавшую В. А. Панову*, а по отъезде его в Берлин доставшуюся мне. У противоположной стены помещалось письменное бюро в рост Гоголя, обыкновенно писавшего на нем свои произведения стоя. По бокам бюро — стулья с книгами, бельем, платьем в полном беспорядке. Каменный мозаичный пол звенел под ногами, и только у письменного бюро, да у кровати разостланы были небольшие коврики. Ни малейшего украшения, если исключить ночник древней формы, на одной ножке и с красивым желобком, куда наливалось масло. Ночник или, говоря пышнее, римская лампа стояла на окне, и по вечерам всегда только она одна и употреблялась вместо свечей. Гоголь платил за комнату 20 франков в месяц.

Последнее мое свидание с Гоголем было в 1839 году, в Петербурге, когда он останавливался в Зимнем дворце, у Жуковского. Первые главы «Мертвых душ» были уже им написаны, и однажды вечером, явившись в голубом фраке с золотыми пуговицами, с какого-то обеда, к старому товарищу своему Н. Я. Прокоповичу, он застал там всех скромных, безызвестных своих друзей и почитателей, которыми еще дорожил в то время... Мы уже узнали, что он собирался прочесть нам новое свое произведение, но приступить к делу было не легко. Гоголь, как ни в чем не бывало, ходил по комнате, добродушно подсмеивался над некоторыми общими знакомыми, а об чтении и помину не было. Даже раз он намекнул, что можно отложить заседание, но Н. Я. Прокопович, хорошо знавший его привычки, вывел всех из затруднения. Он подошел к Гоголю сзади, ощупал карманы его фрака, вытащил оттуда тетрадь почтовой бумаги в осьмушку, мелко-намелко исписанную, и сказал по-малороссийски, кажется, так: «А що се таке, у вас, пане?» Гоголь сердито выхватил тетрадку, сел мрачно на диван и тотчас же начал читать, при всеобщем молчании. Он читал без перерыва до тех пор, пока истощился весь его голос и зарябило в глазах. Мы узнали таким образом

первые четыре главы «Мертвых душ»… Общий смех мало поразил Гоголя, но изъявление нелицемерного восторга, которое видимо было на всех лицах под конец чтения, его тронуло… Он был доволен. Кто-то сказал, что приветствие Селифана босой девочке, которую он сажает на козлы вместо проводника от Коробочки — приветствие: «ноздря» — не совсем прилично. Все остальные слушатели восстали против этого замечания, как выражающего излишнюю щекотливость вкуса и отчасти испорченное воображение, но Гоголь прекратил спор, взяв сторону критика и заметив: «Если одному пришла такая мысль в голову — значит и многим может притти. Это надо исправить»*. После чтения он закутался, по обыкновению, в шубу до самого лба, сел со мной на извозчика, и мы молча доехали до Зимнего дворца, где я его ссадил. Вскоре потом он опять исчез из Петербурга.

Гоголь обрадовался нашей новой встрече, расспрашивал, каким путем прибыл я в Италию, одобрял переезд из Анконы с ветурином и весьма сожалел, что предварительно я не побывал в Париже. Ему казалось, что после Италии Париж становится сух и безжизнен, а значение Италии бросается само собой в глаза после парижской жизни и парижских интересов. Впоследствии он часто развивал эту мысль. Между тем время было обеденное. Он повел меня в известную историческую австерию под фирмой Lepre (заяц), где за длинными столами, шагая по грязному полу и усаживаясь просто на скамейках, стекается к обеденному часу разнообразнейшая публика: художники, иностранцы, аббаты, читадины, фермеры, принчипе,[107] смешиваясь в одном общем говоре и истребляя одни и те же блюда, которые от долгого навыка поваров действительно приготовляются непогрешительно. Это все тот же рис, барашек, курица, — меняется только зелень по временам года. Простота, общежительность итальянская всего более кидаются тут в глаза, заставляя предчувствовать себя в во всех других сферах жизни. Гоголь поразил меня, однако, капризным, взыскательным обращением своим с прислужником. Раза два менял он блюдо риса, находя его то переваренным, то недоваренным, и всякий раз прислужник переменял блюдо с добродушной улыбкой, как человек, уже свыкшийся с прихотями странного форестьера (иностранца), которого он называл синьором Николо. Получив, наконец, тарелку риса по своему вкусу, Гоголь приступил к ней с необычайною алчностью, наклонясь так, что длинные волосы его упали на самое блюдо, и поглощая ложку за ложкой со страстью и быстротой, какими, говорят, обыкновенно отличаются за столом люди, расположенные к ипохондрии. В середине обеда к нам подсел довольно плотный мужчина, с красивой круглой бородкой, с необычайно умными, зоркими карими глазами и превосходным славянским обликом, где доброта и серьезная, проницательная мысль выражалась, так сказать, осязательно; это был А. А. Иванов, с которым я тут впервые познакомился. Опорожнив свое блюдо, Гоголь откинулся назад, сделался весел, разговорчив и начал шутить с прислужником, еще

так недавно осыпаемым строгими выговорами и укоризнами. Намекая на древний обычай возвещать первое мая и начало весны пушкой с крепости св. Ангела и на соединенные с ним семейные обыкновения, он спрашивал: намеревается ли почтенный сервиторе *plantar il Magio* (слово в слово — сажать май месяц) или нет? Сервиторе отвечал, что будет ждать примера от синьора Николо и т. д. По окончании расчета за обед Гоголь оставил прислужнику, как и все другие посетители, два байока, а когда я с своей стороны что-то переложил против этой скудной суммы, он остановил меня замечанием: «Не делайте этого никогда. Здесь есть обычаи, которые дороже вашей щедрости. Вы можете оскорбить человека. Везде вас поблагодарят за прибавку, а здесь посмеются». Известно, что житейской мудрости в нем было почти столько же, сколько и таланта. Прямо из австерии перешли мы на Piazza d'Espagna, в кофейню «Del buon gusto»,[108] кажется, уселись втроем в уголку за чашками кофе, и тут Гоголь до самой ночи внимательно и без устали слушал мои рассказы о Петербурге, литературе, литературных статьях, журналах, лицах и происшествиях, расспрашивая и возбуждая повествование, как только начинало оно ослабевать. Он был в своей тарелке и, по счастливому выражению гравера Ф. И. Иордана, мог *брать* что ему нужно было или что стоило этого, полной рукой, не давая сам ничего. Притом же ему видимо хотелось исчерпать человека вдруг, чтоб избавиться от скуки возвращаться к нему еще несколько раз. Наслаждение способностию читать в душе и понимать самого человека, по поводу того, что он говорит, — способностию, которой он, как все гениальные люди, обладал в высшей степени, тоже находило здесь материал… Не имея никаких причин размерять себя, а, напротив, считая необходимостью для истины будущих сношений представить полный вид на самого себя, я говорил решительно все то, что знал, и все то, что думал. Гоголь прерывал иногда беседу замечаниями, чрезвычайно глубокими, но не возражал ни на что и ничего не оспаривал. Раз только он обратился ко мне с весьма серьезным, настоятельным требованием, имевшим вместе с тем юмористический оттенок, удивительно грациозно замешанный в его слова. Дело шло о покойном Гребенке, как о подражателе Николая Васильевича, старавшемся даже иногда подделаться под его первую манеру рассказа. «Вы с ним знакомы, — говорил Гоголь, — напишите ему, что это никуда не годится. Как же это можно, чтоб человек ничего не мог выдумать? Непременно напишите, чтоб он перестал подражать. Что ж это такое в самом деле? Он вредит мне. Скажите просто, что я сержусь и не хочу этого. Ведь он же родился где-нибудь, учился же грамоте где-нибудь, видел людей и думал о чем-нибудь. Чего же ему более для сочинения? Зачем же он в мои дела вмешивается? Это неблагородно, напишите ему. Если уже нужно ему за другим ухаживать, так пусть выберет кто поближе к нему живет!.. Все же будет легче. А меня пусть оставит в покое, пусть непременно оставит в покое»*. Но в голосе и в выражении его было так много комического

жара, что нельзя было не смеяться. Так сидели мы до самой ночи. Гоголь проводил меня потом к моей квартире и объявил, что завтра утром он придет за мной и покажет кой-что в городе.

На другой день он действительно явился и добродушнейшим образом исполнил свое обещание. Он повел меня к Форуму, останавливал излишнюю ярость любопытства, обыкновенные новичкам порывы к частностям, и только указывал точки, с которых должно смотреть на целое и способы понимать его. В Колизее он посадил меня на нижних градинах, рядом с собою, и, обводя глазами чудное здание, советовал на первый раз только проникнуться им. Вообще он показывал Рим с таким наслаждением, как будто сам открыл его...

Это был тот же самый чудный, веселый, добродушный Гоголь, которого мы знали в Петербурге до 1836 года, до первого отъезда за границу. (Мы исключаем его быструю поездку в Любек в 1829 году, с столь же быстрым возвращением назад.)* Правда, некоторые черты, как увидим, уже показывали начало нового и последнего его развития, но они еще мелькали на поверхности его характера, не сообщая ему одной, господствующей краски. 1841 год был последним годом его свежей, мощной, многосторонней молодости, и вот почему воспоминание с особенной силой привязывается к этому году. Надо сказать, что в Петербурге около Гоголя составился круг его школьных приятелей и новых, молодых знакомых, которые любили его горячо и были ему по душе. Перед этим кругом Гоголь всегда стоял просто, в обыкновенной своей позиции, хотя сосредоточенный, несколько скрытный характер и наклонность овладевать и управлять людьми не оставляли его никогда. Кроме жаркой привязанности, которую он питал вообще к двум-трем товарищам своего детства, — «ближайшим людям своим»*, как он их называл, — Гоголю должен был нравиться и тот откровенный энтузиазм, который высказывался тут к тогдашней литературной деятельности его, несмотря на совершенно короткое, нецеремонное обращение приятелей между собою. В этом круге он встречал только ласковые, часто им же воодушевленные лица, и не было ему надобности осматриваться, беречься и отклонять от себя взоры. За чертой круга Гоголь открывал себе широкий путь жизни всеми средствами, которые находились в его богатой натуре, не исключая хитрости и сноровки затрагивать наиболее живые струны человеческого сердца. Он сходил с этой арены в безвестный и, так сказать, уединенный круг своих приятелей, если не отдыхать (в это время он не отдыхал почти никогда, но *жил* постоянно всеми своими способностями), то, по крайней мере, сравнивать его бескорыстные суждения о себе и ряд надежд, возлагаемых на него, с тем, что говорилось и делалось по поводу его особы на другом, более обширном поприще. Он был прост перед своим кругом, добродушен, весел, хотя и сохранял тонкий, может быть, невольный оттенок чувства своего превосходства и своего значения. Мало-помалу род поучения,

ободрения и удовольствия, какие он почерпал в этом круге, становились ему менее нужны и менее привлекательны; жизнь начала нестись с такой силой вокруг него, показались такие горячие, страстные привязанности, действовавшие и на общественное мнение, что никем неведомый и запертый в себе самом кружок должен был потерять значение в его глазах. Притом же вскоре явились требования со стороны других приверженцев Гоголя*, на которые старый круг не мог отвечать, и явления в самом Гоголе, которые трудно было понять ему; но почти ко всем его лицам Гоголь сохранил неизменное расположение, доказывавшее теплоту и благородство его сердца. Он даже в минуту развития самостоятельных, наиболее исключительных своих мнений еще вопрошал мысль прежних своих приятелей и прислушивался к ней с большим любопытством. Так, иногда писатель, пресыщенный критикой и разбором своих произведений, охотно склоняет ухо к мнению какого-либо оригинального чудака, живущего вдали партий, литературных вечеров и течения господствующих понятий.

«Записки о жизни Гоголя», изданные г. Кулишом,[109] оценены публикой по достоинству. Это одна из немногих драгоценных книг последнего времени, которая исполнена содержания и способна к обильным выводам. Вообще только те книги и важны в литературе, которые заключают гораздо более того, что в них сказано. Вместе с превосходными воспоминаниями гг. Кульжинского, Иваницкого, Лонгинова, Чижова, г-жи Смирновой и С. Т. Аксакова*, передающими нам физиономию Гоголя в урывках, но удивительно живо и верно, вместе с замечательнейшими подробностями о жизни Гоголя и обстановке его жизни в разные эпохи, наконец с богатой коллекцией писем самого Гоголя, стоившей издателю, вероятно, не малых усилий, — книга представляет запас материалов для биографии Гоголя, какого вряд ли кто и мог ожидать. Имя издателя ее упрочено в нашей литературе этим добросовестным и благородным трудом. Во многих местах своей книги он с замечательным пониманием своей задачи отказывается от роли биографа. Действительно, биография Гоголя еще впереди. Вот почему заметки, которые следуют теперь, относятся совсем не к г. Кулишу, исполнившему все свое дело, а имеют в виду тех будущих составителей биографии Гоголя, которые неизбежно воспитаются по «Запискам» г. Кулиша и с помощью их должны будут построить картину жизни и развития этого во всех отношениях необыкновенного человека.

Прежде всего хотелось бы нам, чтоб навсегда отвергнута была система отдельного изъяснения и отдельного оправдания всех частностей в жизни человека, а также и система горевания и покаяния, приносимого автором за своего героя, когда, несмотря на все усилия, не находится более слов к изъяснению и оправданию некоторых явлений. Направление это бесплодно. Там, где требуется изобразить характер, и характер весьма многосложный, — оно замещает старание понять и

представить живое лицо легкой работой вычисления — насколько лицо подошло к известным, общепринятым понятиям о приличии и благовидности и насколько выступило из них. При этой работе случается, что автор видит прореху между условным правилом и героем своим там, где ее совсем нет, а иногда принимается подводить героя под правило без всякой нужды, только из ложного соображения, что герою лучше стоять на почетном, чем на свободном и просторном месте. Можно весьма легко избегнуть всех этих резких недоразумений, изобразив характер во всей его истине, или, по крайней мере, в той целости, как он нам представляется после долгого обсуждения. Живой характер, глубоко обдуманный и искренно переданный, носит уже в себе самом пояснение и оправдание всех жизненных подробностей, как бы разнообразны, противоречивы или двусмысленны ни казались они, взятые врозь и отдельно друг от друга. Он освобождает биографа от необходимости стоять в недоумении перед каждым пятнышком, придумывая средства, как бы вывести его поскорее, и отстраняет другую, еще важнейшую беду: видеть пятно там, где его совсем нет и где только существует игра света и тени, порождаемая естественным отражением характера на других предметах и лицах. Ввиду цельно изображенного характера умолкает также и всякая литературная полемика, которая без того приведена в необходимость поверять одни свидетельства другими, опровергать одну частность другой частностью, сомнительный приговор — другим, что под конец представляет какую-то длинную цепь фактов, не приводящих ни к какому результату, и где истина кажется на всех точках, потому что ни на одной не остановилась окончательно. Глубоко продуманный, поэтически угаданный и смело изложенный характер имеет еще и ту выгоду, что он точно так же и принимается, как составился в уме жизнеописателя, то есть целиком. Цельно изображенный характер может быть только целиком отвергнут или, наоборот, целиком принят, на основании строгих нравственных соображений. Без соблюдения этих коренных условий хорошего биографа автор будет походить всегда на человека, который стоит у весов день и ночь и беспрестанно обвешивает приходящих, задерживая одну чашку с событиями и обвинениями слишком тяжелыми, или подталкивая другую с явлениями, в моральном смысле, несколько легковесными. Стрелка не придет никогда в свое правильное положение и центральной точки никогда не укажет.

Если с самого детства, со школьнической жизни в Нежине, мы видим, что достижение раз задуманной цели или предприятия приводило в необычайное напряжение все способности Гоголя и вызывало наружу все качества, составившие впоследствии его характер, то будем ли мы удивляться, что вместе с ними появилась врожденная скрытность, ловко рассчитанная хитрость и замечательное по его возрасту употребление чужой воли в свою пользу. Станем ли мы скрывать, или, еще хуже, искать у читателя *отпущения* этим жизненным чертам, которые более

всего предвещают не совсем обыкновенного человека. В школьнической переписке Гоголя с матерью мы видим, по риторическому тону некоторых писем, что в них скрывается какое-то другое дело, чем то, которое излагается на бумаге, и имеем исторические, несомненные свидетельства в подтверждение невольных догадок, возбуждаемых ими. Многие места их, наиболее пышные, держатся за фактические основания совсем не того рода, какие молодой ученик старается выставить перед семейством. Посредством этих пышных фраз он растет в глазах своих родных с одной стороны и исполняет свои собственные намерения с другой. Это раннее проявление неколебимой воли, идущей упорно к своим тайным целям, по-нашему, заключает более поучения и выводов, чем самое прилежное исполнение задачи, спасать ежеминутно его репутацию, которую ни один человек, имеющий смысл в голове, никогда не заподозрит. Приведем один пример из домашней его переписки, подтверждающей слова наши. Вот каким способом изъясняет он причину скорого своего возвращения из внезапной поездки за границу в 1829 году: «Несмотря на ваше желание, я не должен пробыть долее в Любеке: я не могу, я не в силах приучить себя к мысли, что вы беспрестанно печалитесь, полагая меня в таком далеком расстоянии». (Письмо к матери. «Записки о жизни Гоголя», т. I, стр. 80.) Г. Кулиш принимает это объяснение, как единственно достоверное из всех других предположений о быстром возвращении его в отечество. Конечно, никто не станет опровергать, что Гоголь мог испытывать тоску по родным и знакомым, как и всякий другой человек; но кто вник в сущность его характера, тот никогда не согласится думать, что романтическое, сентиментальное чувство могло изменить одно все его намерения. Не лучше ли для самой славы Гоголя предполагать, как мы искренно убеждены, что бесполезность поездки и отсутствие при этом всякой цели погнали его назад. Менее твердый и самостоятельный человек, сделав ложный шаг, продолжал бы следовать далее по одному направлению, ожидая помощи, по обыкновению, от судьбы, случая, людей и проч. Гоголь, почувствовав, что он стоит на скользкой тропе, тотчас же возвращается назад и снова принимается отыскивать в отечестве своем настоящую почву деятельности, которая никак не давалась ему. Он удвоивает силы и находит ее. Так всегда поступают необыкновенные люди, предназначенные к какому-либо роду общественного служения.

Могут ли бросить все эти приемы своеобычного молодого человека, отводящего глаза самых близких людей от истинных своих чувств, от истинных своих намерений, могут ли они, говорим мы, бросить какую-либо тень на известную, страстную привязанность его к матери, на безграничную любовь к семейству, которого он был всю жизнь нравственным и материальным благодетелем, продолжая ту же самую роль покровителя и после смерти? Они открывают только особенности его характера, форму, какую принимали все его поступки и даже

душевные его побуждения, и ими Гоголь гораздо лучше обрисовывается, чем посредством приложения к нему общих, отвлеченных понятий о нежности, чувствительности, доброте, годных для всех натур, как платье, сшитое не по одной известной мерке, пожалуй, может притти на всякий рост.

С 1830 по 1836 год, то есть вплоть до отъезда за границу, Гоголь был занят исключительно одной мыслью — открыть себе дорогу в этом свете, который, по злоупотреблению эпитетов, называется обыкновенно большим и пространным; в сущности, он всегда и везде тесен для начинающего. Гоголь перепробовал множество родов деятельности — служебную, актерскую, художническую, писательскую. С появления «Вечеров на хуторе»*, имевших огромный успех, дорога, наконец, была найдена, но деятельность его еще удваивается после успеха. Тут я с ним и познакомился. Он был весь обращен лицом к будущему, к расчищению себе путей во все направления, движимый потребностью развить все силы свои, богатство которых невольно сознавал в себе. Необычайная житейская опытность, приобретенная размышлениями о людях, выказывалась на каждом шагу. Он исчерпывал людей так свободно и легко, как другие живут с ними. Не довольствуясь ограниченным кругом ближайших знакомых, он смело вступал во все круга, и цели его умножались и росли по мере того, как преодолевал он первые препятствия на пути. Он сводил до себя лица, стоявшие, казалось, вне обычной сферы его деятельности, и зорко открывал в них те нити, которыми мог привязать к себе. Искусство подчинять себе чужие воли изощрялось вместе с навыком в деле, и мало-помалу приобреталось не менее важное искусство направлять обстоятельства так, что они переставали быть препонами и помехами, а обращались в покровителей и поборников человека. Никто тогда не походил более его на итальянских художников XVI века, которые были в одно время гениальными людьми, благородными любящими натурами и — глубоко практическими умами. Ввиду этого напряженного развития всех сил, направленных к одной цели, будем ли мы сомнительно качать головой, когда увидим Гоголя, самонадеянно вступающего на профессорскую кафедру без нужного приготовления к ней, без качеств, составляющих истинного ученого? Станем ли томиться над изысканием *облегчающих обстоятельств*, когда встретим в письмах Гоголя к гг. Максимовичу, Погодину, например, уверение, что он трудится над Историей Малороссии в шести томах, над всеобщей историей и географией, под заглавием «Земля и люди», в трех или двух томах, над «Историей средних веков» в восьми томах (всего семнадцать или шестнадцать томов), между тем как он трудился над «Тарасом Бульбою», над статьями и повестями «Арабесок» и «Миргорода». Нам все равно — верил ли он сам в эти и подобные им обещания, или нет: они составляют для нас только проблески, указывающие смысл тогдашнего его развития, черты характера, способные изъяснить его физиономию. Что

они не лишены своего рода достоинства и поэзии — согласится всякий. В самом деле: картина, представляющая нам гениального человека, занятого устройством своего положения в свете и литературе, изысканием средств для труда на обширном поприще, куда призывает его сознание своей силы, не заключает ли в себе гораздо более нравственной красоты, поэзии и поучения, чем самое кропотливое разбирательство того, что было сказано им хорошего и что не так-то хорошо сказалось. Какую услугу оказывает биограф своему герою, когда, вместо того чтоб пояснить сущность его стремлений и благородство его целей, принимается разрешать противоречия, неизбежные в такой жаркой, лихорадочной жизни, и старается связать их скудной ниткой произвольных толкований, которая еще и рвется ежеминутно в руках исследователя? Как ни редко встречается эта бесплодная работа в превосходной книге г. Кулиша, но он не совсем свободен от нее. Всякий раз, как покидает он роль добросовестного собирателя материалов и приступает к истолкованиям — самые странные недоразумения, самые далекие соображения, совершенно чуждые делу, накопляются под пером его, нисколько не поражая его ум своим неправдоподобием. Таковы, между прочим, вопросы, задаваемые г-м Кулишом самому себе по поводу одного письма Гоголя в 1829 году, где последний рисует собственный портрет в таких чертах: «Часто я думаю о себе: зачем бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере редкое в мире, чистую, пламенеющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачем он дал всему этому такую грубую оболочку? Зачем он одел все это в такую странную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения?»* Слова эти строги, но изображение истинного характера Гоголя должно значительно ослабить краски самой исповеди. Были *законные* причины для его противоречий и переходов. Г-н Кулиш прибавляет свои пояснения к портрету, в которых, между прочим, находится следующая мысль: «Бо́льшую часть жизни употребил Гоголь на анализ самого себя, как нравственного, предстоящего пред лицом бога существа, *и как бы только случайно вдавался иногда в деятельность другого рода, которая составила его земную славу*, — зачем, для чего это?..» («Записки о жизни Гоголя», т. I, стр. 78). Вторая половина этого периода не совсем верна в отношении всей вообще жизни Гоголя, но, встреченная при описании первой эпохи его развития и приложенная к молодому Гоголю, искавшему земной славы всеми силами своей души, — она, с мыслию, в ней заключающеюся, отходит к тому роду толкований, о которых мы говорили сейчас и которые зиждутся на соображениях, взятых вне сущности самого предмета.

Вообще для биографа чрезвычайно важно смотреть прямо в лицо герою своему и иметь доверенность к его благодатной природе. Позволено трепетать за каждый шаг младенца, но шаги общественного деятеля, отыскивающего простора и достойной сцены своим способностям, как

это было с Гоголем между 1830 и 1836 годом, не могут быть измеряемы соображениями педагогического рода. Прежде всего надо знать тут, куда человек идет, что лежит в основании его характера, каков его способ понимания предметов и в чем заключается сущность его *созерцания* вообще. Здесь только и отгадка его физиономии, и одна неопровержимая истина. С другой стороны, охотникам до отрицательных данных, до прозаических фактов, низводящих человека к толпе, следует заметить, что в деле понимания характера эта система столь же мало приведет к цели, как и противоположная ей система ненужной поддержки и оправдания всех его поступков. Можно употребить, например, много времени и много бумаги на перечисление всех доказательств его осторожности в обращении с людьми и снисхождения к любимым их представлениям, посредством которого Гоголь приковывал к себе сердца знакомых в эту эпоху; можно также исписать порядочный лист, подбирая черты, в которых проявляется его врожденная скрытность, наклонность выставлять призраки и за ними скрывать свою мысль, и проч. Но чем более и чем остроумнее станем отыскивать и исторически подтверждать все наши, в сущности, весьма бедные находки, тем сильнее будет затемняться физиономия Гоголя и отходить от нас в даль и в туман. Оно и понятно. Физиономия его, как и физиономия всякого необыкновенного человека, должна освещаться сама собой, своим внутренним огнем. Она тотчас искажается, как подносят к ней со стороны грубый светоч, будь он самого розового или, наоборот, мрачного, гробового цвета. Пример правильной оценки Гоголя дал Пушкин. Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль «Ревизора» и «Мертвых душ», но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. Однакож, в кругу своих домашних, Пушкин говорил смеясь: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя»*. Глубокое слово! Пушкин понимал неписанные права общественного деятеля. Притом же Гоголь обращался к людям с таким жаром искренней любви и расположения, несмотря на свои хитрости, что люди не жаловались, а, напротив, спешили навстречу к нему. Никогда, может быть, не употребил он в дело такого количества житейской опытности, сердцеведения, заискивающей ласки и притворного гнева, как в 1842 году, когда приступил к печатанию «Мертвых душ». Плодом его неутомимого возбуждения и стремлений к одной цели при помощи всяких мер, которые, конечно, далеко отстоят от идеала патриархальной простоты сношений, было скорое появление «Мертвых душ» в печати*. Тот, кто не имеет «Мертвых душ» для напечатания, может, разумеется, вести себя непогрешительнее Гоголя и быть гораздо проще в своих поступках и выражении своих чувств.

Поэтому неудивительно будет, если скажем, что именно в эту страстную, необычайно деятельную эпоху своей жизни Гоголь постоянно оставался существом высокого нравственного характера, не переставал быть ни на

минуту по мысли, образу жизни и направлению благороднейшим человеком в строгом смысле слова. Помирить образ подобного человека с теми частностями, которые приводят втупик поверхностного наблюдателя, не искажая и не перетолковывая их, значит — именно понять и настоящую задачу биографа.

Мы сказали, что Гоголь часто сходил с шумного, трудового своего жизненного поприща в уединенный круг своих приятелей — потолковать преимущественно о явлениях искусства, которые, в сущности, одни только и наполняли его душу. Он никогда не говорил с приятелями об ученых своих предприятиях и других замыслах, потому что хотел оставаться с ними искренним и таким, каким его знали сначала. Гоголь жил на Малой Морской, в доме Лепена, на дворе, в двух небольших комнатах, и я живо помню темную лестницу квартиры, маленькую переднюю с перегородкой, небольшую спальню, где он разливал чай своим гостям, и другую комнату, попросторнее, с простым диваном у стены, большим столом у окна, заваленным книгами, и письменным бюро возле него. В первый раз, как я попал на один из чайных вечеров его, он стоял у самовара и только сказал мне: «Вот, вы как раз поспели». В числе гостей был у него пожилой человек, рассказывавший о привычках сумасшедших, строгой, почти логической последовательности, замечаемой в развитии нелепых их идей. Гоголь подсел к нему, внимательно слушал его повествование, и когда один из приятелей стал звать всех по домам, Гоголь возразил, намекая на своего посетителя: «Ты ступай… Они уже знают свой час, и когда надобно, уйдут». Большая часть материалов, собранных из рассказов пожилого человека, употреблены были Гоголем потом в «Записках сумасшедшего». Часто потом случалось мне сидеть и в этой скромной чайной, и в зале. Гоголь собирал тогда английские кипсеки с видами Греции, Индии, Персии и проч., той известной тонкой работы на стали, где главный эффект составляют необычайная обделка гравюры и резкие противоположности света с тенью. Он любил показывать дорогие альманахи, из которых, между прочим, почерпал свои поэтические воззрения на архитектуру различных народов и на их художественные требования*. Степенный, всегда серьезный Яким состоял тогда в должности его камердинера. Гоголь обращался с ним совершенно патриархально, говоря ему иногда: «Я тебе рожу побью», что не мешало Якиму постоянно грубить хозяину, а хозяину заботиться о существенных его пользах и, наконец, устроить ему покойную будущность. Сохраняя практический оттенок во всех обстоятельствах жизни, Гоголь простер свою предусмотрительность до того, что раз, отъезжая по делам в Москву, сам расчертил пол своей квартиры на клетки, купил красок и, спасая Якима от вредной праздности, заставил его изобразить довольно затейливый паркет на полу во время своего отсутствия. Приятели сходились также друг у друга на чайные вечера, где всякий очередной хозяин старался превзойти другого разнообразием, выбором и

изяществом кренделей, прибавляя всегда, что они куплены *на вес золота*. Гоголь был в этих случаях строгий, нелицеприятный судья и оценщик. На этих сходках царствовала веселость, бойкая насмешка над низостью и лицемерием, которой журнальные, литературные и всякие другие анекдоты служили пищей, но особенно любил Гоголь составлять куплеты и песни на общих знакомых. С помощью Н. Я. Прокоповича и А. С. Данилевского, товарища Гоголя по Лицею, человека веселых нравов, некоторые из них выходили действительно карикатурно метки и уморительны. Много тогда было сочинено подобных песен. Помню, что несколько вечеров Гоголь беспрестанно тянул (мотивы для куплетов выбирались из новейших опер — из «Фенеллы», «Роберта», «Цампы») кантату, созданную для прославления будущего предполагаемого его путешествия в Крым, где находился стих:

И с Матреной наш Яким*

Потянулся прямо в Крым.

В памяти у меня остается также довольно нелепый куплет, долженствовавший увековечить подвиги молодых учителей из его знакомых, отправлявшихся каждый день на свои лекции на Васильевский остров. Куплет, кажется, принадлежал Гоголю безраздельно:

Все *бобрами* завелись,

У Фаге все завились —

И пошли через Неву,

Как чрез мягку мураву, и т. д.

Точно то же происходило и на обедах в складчину, где Гоголь сам приготовлял вареники, галушки и другие малороссийские блюда. Важнее других бывал складчинный обед в день его именин, 9-го мая, к которому он обыкновенно уже одевался по-летнему, сам изобретая какой-то фантастический наряд. Он надевал обыкновенно яркопестрый галстучек, взбивал высоко свой завитой *кок*, облекался в какой-то белый, чрезвычайно короткий и распашной сюртучок, с высокой талией и буфами на плечах, что делало его действительно похожим на *петушка*, по замечанию одного из его знакомых (Белоусова). Как далек еще тогда он был от позднейшей самоуверенности в оценке собственных произведений, может служить то, что на одном из складчинных обедов 1832 года он сомнительно и даже отчасти грустно покачал головой при похвалах, расточаемых новой повести его «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем». — «Это *вы* говорите, — сказал он, — а другие считают ее фарсом». Вообще суждениями так называемых избранных людей Гоголь, по благородно высокой практической натуре своей,

никогда не довольствовался. Ему всегда нужна была публика. Случалось также, что в этих сходках на Гоголя нападала беспокойная, судорожная, горячечная веселость — явное произведение материальных сил, чем-либо возбужденных. Вообще следует заметить, что природа его имела многие из свойств южных народов, которых он так ценил вообще. Он необычайно дорожил внешним блеском, обилием и разнообразием красок в предметах, пышными, роскошными очертаниями, эффектом в картинах и природе. «Последний день Помпеи» — Брюллова* привел его, как и следовало ожидать, в восторг. Полный звук, ослепительный поэтический образ, мощное, громкое слово, все, исполненное силы и блеска, потрясало его до глубины сердца. О метафизическом способе понимания явлений природы и искусства тогда и в помине не было. Он просто благоговел перед созданиями Пушкина за изящество, глубину и тонкость их поэтического анализа, но так же точно с выражением страсти в глазах и в голосе, сильно ударяя на некоторые слова, читал и стихи Языкова. В жизни он был очень целомудрен и трезв, если можно так выразиться, но в представлениях он совершенно сходился со страстными, внешне великолепными представлениями южных племен. Вот почему также он заставлял других читать и сам зачитывался в то время Державина. Чтение его, если уже раз ухо ваше попривыкло к малороссийскому напеву, было чрезвычайно обаятельно: такую поразительную выпуклость умел он сообщать наиболее эффектным частям произведения и такой яркий колорит получали они в устах его! Можно сказать, что он проявлял натуру южного человека даже и светлым, практическим умом своим, не лишенным примеси суеверия… Если присоединить к этому замечательно тонкий эстетический вкус, открывавший ему тотчас подделку под чувство и ложные, неестественные краски, как бы густо или хитро ни положены они были, то уже легко будет понять тот род очарования, которое имела его беседа. Он не любил уже в то время французской литературы, да не имел большой симпатии и к самому народу за «моду, которую они ввели по Европе», как он говорил: «быстро создавать и тотчас же, по-детски, разрушать авторитеты». Впрочем, он решительно ничего не читал из французской изящной литературы и принялся за Мольера только после строгого выговора, данного Пушкиным за небрежение к этому писателю. Также мало знал он и Шекспира (Гёте и вообще немецкая литература почти не существовали для него)*, и из всех имен иностранных поэтов и романистов было знакомо ему не по догадке и не по слухам одно имя — Вальтер Скотта. Зато и окружил он его необычайным уважением, глубокой почтительной любовью. Вальтер Скотт не был для него представителем охранительных начал, нежной привязанности к прошедшему, каким сделался в глазах европейской критики; все эти понятия не находили тогда в Гоголе ни малейшего отголоска и потому не могли задобривать его в пользу автора. Гоголь любил Вальтер Скотта просто с художнической точки зрения, за

удивительное его распределение материи рассказа, подробное обследование характеров и твердость, с которой он вел многосложное событие ко всем его результатам. В эту эпоху Гоголь был наклонен скорее к оправданию разрыва с прошлым и к нововводительству, признаки которого очень ясно видны и в его ученых статьях о разных предметах, чем к пояснению старого или к искусственному оживлению его... В тогдашних беседах его постоянно выражалось одно стремление к оригинальности, к смелым построениям науки и искусства на других основаниях, чем те, какие существуют, к идеалам жизни, созданным с помощью отвлеченной, логической мысли, — словом, ко всем тем более или менее поэтическим призракам, которые мучат всякую деятельную благородную молодость. При этом направлении два предмета служили как бы ограничением его мысли и пределом для нее, именно: страстная любовь к песням, думам, умершему прошлому Малороссии, что составляло в нем истинное охранительное начало[*], и художественный смысл, ненавидевший все резкое, произвольное, необузданно-дикое. Они были, так сказать, умерителями его порывов. В этом соединении страсти, бодрости, независимости всех представлений — со скромностию, отличающей практический взгляд, и благородством художественных требований заключался и весь характер первого периода его развития, того, о котором мы теперь говорим.

Никогда, однакож, даже в среде одушевленных и жарких прений, происходивших в кружке по поводу современных литературных и жизненных явлений, не покидала его лица постоянная, как бы приросшая к нему, наблюдательность. Он, можно сказать, не раздевался никогда, и застать его обезоруженным не было возможности. Зоркий глаз его постоянно следил за душевными и характеристическими явлениями в других: он хотел видеть даже и то, что легко мог предугадать. Сколько было тогда подмечено в некоторых общих приятелях мимолетных черт лукавства, мелкого искательства, которыми трудолюбивая бездарность старается обыкновенно вознаградить отсутствие производительных способов; сколько разоблачено риторической пышности, за которой любит скрываться бедность взгляда и понимания; сколько открыто скудного житейского расчета под маской приличия и благонамеренности! Все это составляло потеху кружка, которому не малое удовольствие доставлял и тогдашний союз денежных интересов в литературе со всеми его изворотами, войнами, триумфами и победными маршами! Для Гоголя как здесь, так и в других сферах жизни ничего не пропадало даром. Он прислушивался к замечаниям, описаниям, анекдотам, наблюдениям своего круга и, случалось, пользовался ими. В этом, да и в свободном изложении своих мыслей и мнений круг работал на него. Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неутомимыми, усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на

покупку хорошего лепажевского ружья рублей в 200 (асс.). В первый раз, как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидал своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никогда вспоминать без смертельной бледности на лице... Все смеялись анекдоту, имевшему в основании истинное происшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первой мыслию чудной повести его «Шинель», и она заронилась в душу его в тот же самый вечер[*]. Поэтический взгляд на предметы был так свойственен его природе и казался ему таким обыкновенным делом, что самая теория творчества, которую он излагал тогда, отличалась поэтому необыкновенной простотой. Он говорил, что для успеха повести и вообще рассказа достаточно, если автор опишет знакомую ему комнату и знакомую улицу. «У кого есть способность передать живописно свою квартиру, тот может быть и весьма замечательным автором впоследствии», говорил он. На этом основании он побуждал даже многих из своих друзей приняться за писательство. Но если теория была слишком проста и умалчивала о многих качествах, необходимых писателю, то критика Гоголя, наоборот, отличалась разнообразием, глубиной и замечательной многосложностию требований. Не говоря уже о том, что он угадывал по инстинкту всякое не живое, а придуманное лицо, сознаваясь, что оно возбуждает в нем почти такое же отвращение, как труп или скелет, но Гоголь ненавидел *идеальничанье* в искусстве прежде критиков, возбудивших гонение на него. Он никак не мог приучить себя ни к трескучим драмам Кукольника[*], которые тогда хвалились в Петербурге, ни к сентиментальным романам г. Полевого[*], которые тогда хвалились в Москве. Поэзия, которая почерпается в созерцании живых, существующих, действительных предметов, так глубоко понималась и чувствовалась им, что он, постоянно и упорно удаляясь от умников, имеющих готовые определения на всякий предмет, постоянно и упорно смеялся над ними и, наоборот, мог проводить целые часы с любым конным заводчиком, с фабрикантом, с мастеровым, излагающим глубочайшие тонкости *игры в бабки*, со всяким специальным человеком, который далее своей специальности и ничего не знает. Он собирал сведения, полученные от этих людей, в свои записочки, которых было гораздо более, чем сколько их видел г. Кулиш, — и они дожидались там случая превратиться в части чудных поэтических картин. Для него даже мера уважения к людям определялась мерой их познания и опытности в

каком-либо отдельном предмете. При выборе собеседника он не запинался между остроумцем, праздным, даже, пожалуй, дельным литературным судьею и первым попавшимся знатоком какого-либо производства. Он тотчас становился лицом к последнему. Но, по нашему мнению, важнее всего этого была в Гоголе та мысль, которую он приносил с собой в это время повсюду. Мы говорим об энергическом понимании вреда, производимого пошлостию, ленью, потворством злу с одной стороны, и грубым самодовольством, кичливостию и ничтожеством моральных оснований — с другой. Он относился ко всем этим явлениям совсем не равнодушно, как можно заключить даже из напечатанных его писем о московской журналистике и об условиях хорошей комедии[*]. В его преследовании темных сторон человеческого существования была страсть, которая и составляла истинное нравственное выражение его физиономии. Он и не думал еще тогда представлять свою деятельность как подвиг личного совершенствования, да и никто из знавших его не согласится видеть в ней намеки на какое-либо страдание, томление, жажду примирения и проч. Он ненавидел пошлость откровенно и наносил ей удары, к каким только была способна его рука, с единственной целью: потрясти ее, если можно, в основании. Этот род одушевления сказывался тогда во всей его особе, составляя и существенную часть нравственной красоты ее. Честь бескорыстной борьбы за добро, во имя только самого добра и по одному только отвращению к извращенной и опошленной жизни, должна быть удержана за Гоголем этой эпохи, даже и против него самого, если бы нужно было. Несомненные исторические свидетельства тут важнее признаний автора, подсказанных другого рода соображениями и сильным подавляющим влиянием новых идей, позднее возникших в его сердце. Мы с своей стороны убеждены, что Гоголь имел, между прочим, в виду и этого рода деятельность, когда накануне 1834 года обращался к своему гению с удивительным поэтическим дифирамбом, вопрошая будущее и требуя у него труда, вдохновения и подвига[*]. Опубликованием этого документа, как и многих других, г. Кулиш получил право на долгую признательность истории литературы нашей. Чудно и многознаменательно звучат последние слова этого воззвания к гению: «О, не разлучайся со мною! Живи на земле со мной хотя два часа каждый день, как прекрасный брат мой! Я совершу, я совершу! *Жизнь кипит во мне*. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество. Я совершу! О, поцелуй и благослови меня!» Но кроме вдохновенных часов, каких Гоголь просил у своего гения, и кроме положительной деятельности, к какой приводило чувство *кипящей жизни и силы*, он еще, по характеру своему, старался действовать на толпу и внешним своим существованием; он любил показать себя в некоторой таинственной перспективе и скрыть от нее некоторые мелочи, которые особенно на нее действуют. Так, после издания «Вечеров», проезжая через Москву, где, между прочим, он был

принят с большим почетом тамошними литераторами, он на заставе устроил дело так, чтоб прописаться и попасть в «Московские ведомости» не «коллежским регистратором», каковым был, а «коллежским ассесором». — Это надо… — говорил он приятелю, его сопровождавшему*.

Таким был или, по крайней мере, таким представлялся нам молодой Гоголь. Великую ошибку сделает тот, кто смешает Гоголя последнего периода с тем, который начинал тогда жизнь в Петербурге, и вздумает прилагать к молодому Гоголю нравственные черты, выработанные гораздо позднее, уже тогда, как свершился важный переворот в его существовании. Не скроем, что такого рода смешения попадаются в книге г. Кулиша довольно часто*. Можно даже сказать, что он вообще смотрит на Гоголя с конца поприща, — недостаток, который смягчается отчасти содержанием представляемых документов и догадливостию, возбуждаемою ими неминуемо в самом читателе.

Между тем, трудясь за устройством своей жизни и особенно за наполнением ее обильнейшим содержанием, какое возможно было добыть, Гоголь встретил три обстоятельства, подсекшие, так сказать, всю эту деятельность в самой средине ее развития и устремившие его за границу. Мы не намерены искать причин его отъезда за границу в психическом настроении его, потому что, благодаря скрытности Гоголя, это осталось навсегда тайной, и всякое заключение тут поражено заранее несостоятельностью. Мы также вполне согласны, что собственные его объяснения, как по этому поводу, так и по всем другим, заключающиеся в безымянной записке («Авторская исповедь») и в других автобиографических документах, *буквально верны и истинны*. Это наше убеждение, почерпнутое из внимательного изучения их; но мы должны сказать, что объяснения Гоголя опираются преимущественно на одну какую-либо поэтическую или моральную черту события, без сомнения, ему присущую, но открытую уже гораздо позднее, после долгого размышления о событии. Фактическая, материальная основа происшествия, живое впечатление, произведенное им с первого раза, цепь разнородных ощущений, им вызванных, пропускаются без внимания, как и следует быть в автобиографии, ищущей показать один только нравственный смысл события. Восстановить пропущенные подробности, доискаться первых причин явления, дополнить заметки автобиографии вводом всех красок действительности, сообщив таким образом плоть и кровь ее общим указаниям, — есть уже дело жизнеописателя. Одна из первых причин, оторвавших Гоголя от Петербурга, был неуспех его университетского преподавания*. Гоголь понадеялся на силу поэтического воссоздания истории, на способ толкования событий a priori, на догадку и прозрение живой мысли, но все эти качества, не питаемые постоянно фактами и исследованиями, достали ему на несколько блестящих статей, на несколько блестящих

лекций, а потом истощились сами собою, как лампа, лишенная огнепитательного вещества. Падение было горько для человека, возбудившего столько надежд и ожиданий, а вслед за ним последовало то ожесточенное преследование новых его книг, «Миргород» и «Арабески», тогдашней критикой, которое возбудило симпатический отголосок в публике, почти безусловно покорявшейся «Телескопу»*, выражавшему ее. Голос Москвы был сначала заглушаем шумом петербургской журналистики, и потребно было мощное, энергическое слово Белинского в «Телескопе, чтоб поддержать автора и ослабить влияние, произведенное многочисленными противниками; но это не могло сделаться скоро. Как ни странно покажется, что к числу причин, ускоривших отъезд Гоголя, мы относим и журнальные толки, но это было так. Мы намекнули прежде о том, что мнением публики Гоголь озабочивался гораздо более, чем мнениями знатоков, друзей и присяжных судей литературы, — черта общая всем деятелям, имеющим общественное значение, а петербургская публика относилась к Гоголю, если не вполне враждебно, то, по крайней мере, подозрительно и недоверчиво. Последний удар нанесен был представлением «Ревизора». Читатель должен хорошо помнить превосходное описание этого театрального вечера, данное самим Гоголем*. Хлопотливость автора во время постановки своей пьесы, казавшаяся странной, выходящей из всех обыкновений и даже, как говорили, из всех приличий, горестно оправдалась водевильным характером, сообщенным главному лицу комедии, и пошло-карикатурным, отразившимся в других. Гоголь пространдал весь этот вечер. Мне, свидетелю этого первого представления, позволено будет сказать — что изображала сама зала театра в продолжение четырех часов замечательнейшего спектакля, когда-либо им виденного. Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах (публика была избранная в полном смысле слова), словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Недоумение это возрастало потом с каждым актом. Как будто находя успокоение в одном предположении, что дается фарс, — большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостию. Однакоже в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два, особенно в местах наименее противоречащих тому понятию о комедии вообще, которое сложилось в большинстве зрителей, раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте: смех по временам еще перелетал из конца залы в другой, но это был какой-то робкий смех, тотчас же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее недоумение уже переродилось почти во всеобщее негодование,

которое довершено было пятым актом. Многие вызывали автора потом за то, что написал комедию, другие за то, что виден талант в некоторых сценах, простая публика за то, что смеялась, но общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: «это — невозможность, клевета и фарс»*. По окончании спектакля Гоголь явился к Н. Я. Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднесть ему экземпляр «Ревизора», только что вышедший из печати, со словами: «Полюбуйтесь на сынку». Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: «Господи боже! Ну, если бы один, два ругали, ну и бог с ними, а то все, все...»

В начале лета 1836 года Гоголь уехал за границу на пароходе*. Он действительно «устал душою и телом», как сам говорит. Шесть лет беспрерывного труда, разнообразных предприятий и волнений, даже не принимая в соображение последних тяжелых ударов, нанесенных всем его ожиданиям, требовали сами собой отдыха. По первым письмам, полученным от него из-за границы, видно, что Гоголь скоро отыскал покой и ровное настроение духа. Это подтверждается и письмами, напечатанными г. Кулишом. Известие о смерти Пушкина в 1837 году потрясло Гоголя до глубины души, оставило навсегда незаместимую пустоту в его жизни*, но нравственных оснований его нисколько не изменило, по крайней мере — письма его, после жарких выражений тоски и боли по невозвратимой общественной и еще более личной для Гоголя утрате, принимают снова характер тихого, спокойного созерцания людей, говорят о заботах, вызываемых плохим состоянием его здоровья, ясно дают подразумевать ровный, размеренный и спокойный труд и во многих местах носят свидетельство, что Гоголь еще наслаждался природой и искусством просто, непосредственно, как человек, продолжающий свободно воспитывать мысль. Пелена известного однообразного цвета еще не распростиралась перед глазами его. Он только вошел в себя, но еще не обратился к самому себе с беспощадно кропотливым анализом; ограничил свою деятельность и установился в ней, но еще не давал ей значения аскетического подвига; сличал жизнь, обычаи, мнения народов и вникал в них, но еще не делался судьей стран и убеждений... Цели чисто человеческие и земные еще мелькали перед ним со всеми очарованиями, какие заключают в себе, и это может показать следующий, неизданный отрывок из общего послания его к приятелям. Оно принадлежит к 1837 году и писано из Парижа, 25 января.

«Да скажи, пожалуйста, — с какой стати пишете вы все про «Ревизора»? В твоем письме и в письме Пащенка, которое вчера получил Данилевский, говорится, что «Ревизора» играют каждую неделю, театр полон и проч... и чтобы это было доведено до моего сведения. Что это за комедия? Я, право, никак не понимаю этой загадки. Во-первых, я на

«Ревизора» — плевать, а во-вторых... — к чему это? Если бы это была правда, то хуже на Руси мне никто бы не мог нагадить. Но, слава богу, это ложь: я вижу через каждые три дни русские газеты. Не хотите ли вы из этого сделать что-то вроде побрякушки и тешить меня ею, как ребенка? И ты!.. Стыдно тебе! — ты предполагал во мне столько мелочного честолюбия! Если и было во мне что-нибудь такое, что могло показаться легко меня знавшему тщеславием, то его уже нет; пространства, которые разделяют меня с тобою, поглотили *все* то, за что поэт слышит упреки во глубине души своей... Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они вроде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры «Ревизора», а с ним «Арабески», «Вечера» и всю прочую чепуху, и обо мне, в течение долгого времени, ни печатно, ни изустно не произносил никто ни слова — я бы благодарил судьбу. *Одна только слава по смерти (для которой увы! не сделал я до сих пор ничего) знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не стоит копейки...*»[*]

Здесь, конечно, виден шаг вперед, но по одному и тому же направлению. Он только перенес жажду славы с современников на потомство. Если письмо это удивило приятелей, знавших, как всегда дорожил он современным успехом и влиянием на публику, то это была их вина: они не поняли обыкновенного явления, замечаемого у всех гениальных писателей — при начале нового труда смотреть с отвращением на путь, уже пройденный. Гоголь еще мало изменился. Только в 1839 году появляются у него фразы вроде следующей: «Германия есть ничто другое, как самая неблаговонная отрыжка гадчайшего табаку и мерзейшего пива»[*]. Тут уже сказалось влияние Италии и особенно Рима, в котором он провел весну 1837 и потом почти беспрерывно два года (с осени 1837 по осень 1839[*]). Влияние начинает все более усиливаться и проявляется отвращением к европейской цивилизации, наклонностию к художническому уединению, сосредоточенностию мысли, поиском за крепким основанием, которое могло бы держать дух в напряженном довольстве одним самим собою. Со всем тем особенности эти, возникающие мало-помалу в характере Гоголя, до такой степени еще слиты с прежним свободным и многосторонним направлением, что указать начало их, первый, так сказать, толчок, подвигнувший ум в эту сторону, — нет никакой возможности. Это все равно, что желать подсмотреть минуту, когда зарождается болезнь в человеке, или уловить мгновение, когда начинается развитие какой-либо части в организме его. Мало-помалу также Гоголь погружается весь в новый свой труд: «Мертвые души». Если эта поэма, по справедливости, может назваться памятником его, как писателя, то с неменьшей основательностию позволено сказать, что в ней готовил он себе и гробницу, как человеку. «Мертвые души» была та подвижническая келья, в которой он бился и страдал до тех пор, пока вынесли его бездыханным из нее. Я постараюсь

далее указать связь «Мертвых душ» со всею последующей судьбой их автора, а теперь повторю прежде сказанное, что летом 1841 года, когда я встретил Гоголя, он стоял на рубеже нового направления, принадлежа двум различным мирам. По тайным стремлениям своей мысли, он уже относился к строгому исключительному миру, открывавшемуся впереди; по вкусам, некоторым частным воззрениям и привычкам художнической независимости — к прежнему направлению. Последнее еще преобладало в нем, но он уже доживал сочтенные дни своей молодости, ее стремлений, борьбы, падений и — ее славы.

На третий день моего приезда* Рим, по случаю наступления праздников святой недели, отдался весь ликованию. Как в эти дни, так и в предшествовавшие им я почти совсем не видал Гоголя, будучи занят глазеньем на все духовные процессии, которыми наполнился город. Много времени, беготни, стоического равнодушия к своей особе потребно было, чтоб не пропустить какой-либо стороны католицизма, показываемой раз в год. Могу сказать только, что ни один англичанин не опередил меня ни в чем. Я присутствовал при «Омовении ног», которое производил папа в приделе Петра, при угощении им бедных священников в одной из сакристий того же храма, при исполнении Stabat Mater в сикстинской часовне, при крещении евреев в Латеране одним из кардиналов св. коллегии, при общем покаянии в иезуитской церкви и проч. Гоголь посвящал меня в церемонии и направлял поиски, но сам не выходил из дома и не переменял образа жизни. Великолепна была физиономия города с наступлением праздников. Ковры и ткани покрыли стены домов, петарды трещали с окон, с балконов, из-под ног пешеходов, улицы запестрели окрестным народонаселением, прибывшим к торжеству в ярких, живописных костюмах и с не менее живописными лицами. В день самого праздника я, как и следовало ожидать, присутствовал при папской литургии и видел, как с высоты балкона св. Петра, окруженный кардиналами, папа дал благословение народу и отпустил ему грехи. Вечером того же дня мы ходили с Гоголем и двумя русскими художниками по площади собора, любуясь на чудное освещенье его купола и перемену огней, внезапно производимую в известный час. Купол горел тихо, ровно в мрачной синеве неба, посреди чудной, теплой весенней ночи, под шопот водопадов соборной площади, под говор народа, двигавшегося во всех направлениях. Тут положено было, между прочим, что я перейду в комнату Панова тотчас, как он уедет в Берлин, и, сделавшись близким соседом Гоголя, посвящу один час каждого дня на переписку, под его диктовку, уже совсем изготовленной первой части «Мертвых душ».

II

Поселившись рядом с Гоголем, в комнате, двери которой почти всегда были отворены, я связан был с Николаем Васильевичем только одним часом дня, когда занимался перепиской «Мертвых душ». Остальное

время мы жили розно и каждый по-своему. Правда, в течение дня сталкивались мы друг у друга довольно часто, а вечера обыкновенно проводили вместе, но важно было то, что между нами существовало молчаливое условие не давать чувствовать себя товарищу ни под каким видом. Гоголь вообще любил те отношения между людьми, где нет никаких связующих прав и обязательств, где от него ничего не требовали. Он тогда только и давал что-либо от себя. В Риме система эта, предоставив каждому полную свободу действий, поставила каждого в нравственную независимость, которою он всего более дорожил.

Гоголь вставал обыкновенно очень рано и тотчас принимался за работу. На письменном его бюро стоял уже графин с холодной водой из каскада Терни, и в промежутках работы он опорожнял его дочиста, а иногда и удвоивал порцию. Это была одна из потребностей того длинного процесса самолечения, которому он следовал всю свою жизнь. Он имел даже особенный взгляд на свой организм и весьма серьезно говорил, что устроен совсем иначе, чем другие люди, и, если не обманывает меня память, с каким-то извращенным желудком. Я относился тогда несколько скептически к его жалобам на свои немощи, и помню, что Гоголь возражал мне с досадой и настойчиво: «Вы этого не можете понять, говорил он, это так: я себя знаю». При наступившем вскоре римском зное Гоголь довольно часто жаловался на особенное свойство болезненной своей природы — никогда не подвергаться испарине. «Я горю, но не потею», говорил он. Все это не мешало ему следовать вполне своим обыкновенным привычкам. Почти каждое утро заставал я его в кофейной «Del buon gusto», отдыхающим на диване после завтрака, состоявшего из доброй чашки крепкого кофе и жирных сливок, за которые почасту происходили у него ссоры с прислужниками кофейни: яркий румянец пылал на его щеках, и глаза светились необыкновенно. Затем отправлялись мы в разные стороны до условного часа, когда положено было сходиться домой для переписки поэмы. Тогда Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от неотразимого южного солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич, разложив перед собой тетрадку на том же столе подалее, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома «Мертвых душ» приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на спокойное, правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета. Николай Васильевич ждал терпеливо моего последнего слова и продолжал новый период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и мыслию. Превосходный тон этой поэтической диктовки был так истинен в самом себе, что не мог быть ничем ослаблен или изменен. Часто рев итальянского осла пронзительно раздавался в комнате, затем слышался удар палки по бокам его и сердитый вскрик женщины: Ecco, ladrone! (вот тебе, разбойник!) — Гоголь останавливался, приговаривал, улыбаясь: «Как

разнежился, негодяй!» — и снова начинал вторую половину фразы с той же силой и крепостью, с какой вылилась у него ее первая половина. Случалось также, что он прекращал диктовку на моих орфографических заметках, обсуживал дело и, как будто не было ни малейшего перерыва в течении его мыслей, возвращался свободно к своему тону, к своей поэтической ноте. Помню, например, что, передавая ему написанную фразу, я вместо продиктованного им слова: «щекатурка» — употребил «штукатурка». Гоголь остановился и спросил: «Отчего так?» — «Да правильнее, кажется». — Гоголь побежал к книжным шкафам своим, вынул оттуда какой-то лексикон, приискал немецкий корень слова, русскую его передачу и, тщательно обследовав все доводы, закрыл книгу и поставил опять на место, сказав: «А за науку спасибо». Затем он сел попрежнему в кресла, помолчал немного, и снова полилась та же звучная, повидимому простая, но возвышенная и волнующая речь. Случалось также, что, прежде исполнения моей обязанности переписчика, я в некоторых местах опрокидывался назад и разражался хохотом. Гоголь глядел на меня хладнокровно, но ласково улыбался и только проговаривал: «Старайтесь не смеяться, Жюль». Действительно, я знал, что переписка замедляется подобным выражением личных моих ощущений, и делал усилия над самим собой, но в те годы усилия эти редко сопровождались успехом. Впрочем, сам Гоголь иногда следовал моему примеру и вторил мне при случае каким-то сдержанным полусмехом, если могу так выразиться. Это случилось, например, после окончания «Повести о капитане Копейкине», первая редакция которой, далеко превосходящая в силе и развитии напечатанную, только недавно сделалась известна публике[*]. Когда, по окончании повести, я отдался неудержимому порыву веселости, Гоголь смеялся вместе со мною и несколько раз спрашивал: «Какова повесть о капитане Копейкине?»

— «Но увидит ли она печать кагда-нибудь?» — заметил я. «Печать — пустяки, — отвечал Гоголь с самоуверенностью: — все будет в печати»[*]. Еще гораздо сильнее выразилось чувство авторского самодовольствия в главе, где описывается сад Плюшкина. Никогда еще пафос диктовки, помню, не достигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художническую естественность, как в этом месте. Гоголь даже встал с кресел (видно было, что природа, им описываемая, носится в эту минуту перед глазами его) и сопровождал диктовку гордым, каким-то повелительным жестом. По окончании всей этой изумительной шестой главы я был в волнении и, положив перо на стол, сказал откровенно: «Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью». Гоголь крепко сжал маленькую тетрадку, по которой диктовал, в кольцо и произнес тонким, едва слышным голосом: «Поверьте, что и другие не хуже ее». В ту же минуту, однакож, возвысив голос, он продолжал: «Знаете ли, что нам до *cenare* (ужина) осталось еще много: пойдемте смотреть сады Саллюстия, которых вы еще не видали, да и в виллу Людовизи постучимся».[110] По светлому выражению его лица, да и по

самому предложению видно было, что впечатления диктовки привели его в веселое состояние духа. Это оказалось еще более на дороге. Гоголь взял с собой зонтик на всякий случай, и как только повернули мы налево от дворца Барберини в глухой переулок, он принялся петь разгульную малороссийскую песню, наконец пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Он быстро поднял отломленную часть и продолжал песню. Так отозвалось удовлетворенное художническое чувство: Гоголь праздновал мир с самим собою, и в значении этого бурного порыва веселости, который вполне напомнил мне старого Гоголя, я не ошибся и тогда. В виллу Людовизи нас, однакож, не пустили, как Гоголь ни стучал в безответные двери ее ворот; решетчатые ворота садов Саллюстия были тоже крепко замкнуты, так как время сиесты[111] и всеобщего бездействия в городе еще не миновалось. Мы прошли далее за город, остановились у первой локанды,[112] выпили по стакану местного слабого вина и возвратились в город к вечернему обеду в знаменитой тогда австерии Фальконе (Сокол).

Важное значение города Рима в жизни Гоголя еще не вполне исследовано. Памятником и свидетельством его воззрения на папскую столицу времен Григория XVI может служить превосходная его статья «Рим», в которой должно удивляться не завязке или характерам (их почти и нет), а чудному противопоставлению двух народностей, французской и итальянской, где Гоголь явился столь же глубоким этнографом, сколько и великим живописцем-поэтом. Сущность его воззрения на Рим излагать нет надобности, так как статья Гоголя хорошо известна всем русским читателям, но следует сказать, что под воззрение свое на Рим Гоголь начинал подводить в эту эпоху и свои суждения вообще о предметах нравственного свойства, свой образ мыслей и, наконец, жизнь свою*. Так, взлелеянный уединением Рима, он весь предался творчеству и перестал читать и заботиться о том, что делается в остальной Европе. Он сам говорил, что в известные эпохи одна хорошая книга достаточна для наполнения всей жизни человека. В Риме он только перечитывал любимые места из Данте, Илиады Гнедича и стихотворений Пушкина. Это было совершенно вровень, так сказать, с городом, который, под управлением папы Григория XVI, обращен был официально и формально только к прошлому. Добродушный пастырь этот, так ласково улыбавшийся народу при церемониальных поездах и с такою любовью благословлявший его, умел остановить все новые почки европейской образованности и европейских стремлений, завязавшиеся в его пастве, и когда умер, они еще поражены были онемением. О том, какими средствами достиг он своей цели, никто из иностранцев не спрашивал: это составляло домашнюю тайну римлян, до которой никому особенного дела не было. Гоголь, вероятно, знал ее: это видно даже по намекам в его статье, где мнение народа о господствующем

клерикальном сословии нисколько не скрыто; но она не тревожила его, потому что если не оправдывалась, то, по крайней мере, объяснялась воззрением на Рим. Вот собственные его слова из статьи: «Самое духовное правительство, этот странный, уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить народ от постороннего влияния… чтобы до времени в тишине таилась его гордая народность». Последующие события доказали, что народ не был сохранен от постороннего влияния, и подтвердили убедительным образом старую истину, что государство, находящееся в Европе, не может убежать от Европы. Оказалось и оказывается с каждым днем более, что Рим никогда не находился в таком уединении и в таком сиротстве, какие признаны были за ним наблюдателями. Необычайными мерами, еще в некоторой степени продолжающимися и теперь, с него была снята только работа, требуемая временем и его необходимостями: и благодаря этому обстоятельству народ предался одним природным своим наклонностям, артистическому веселью, остроумной беспечности и, столь свойственному ему, художническому творчеству. Сильное развитие этой стороны его характера заставило предполагать, что в ней и вся жизнь Рима, но колесо европейской истории не может миновать ни одного уголка нашей части света и неизбежно захватывает людей, как бы ни сторонились они. Стремление римского населения сделаться причастником общих благ просвещения и развития признается теперь законным почти всеми; но оно жило во многих сердцах и тогда. Гоголь знал это, но встречал явление с некоторой грустью. Помню, раз на мое замечание, «что, вероятно, в самом Риме есть люди, которые иначе смотрят на него, чем мы с ним», — Гоголь отвечал почти со вздохом: «Ах, да, батюшка, есть, есть такие». Далее он не продолжал. Видно было, что утрата некоторых старых обычаев, прогреваемая им в будущем и почти неизбежная при новых стремлениях, поражала его неприятным образом. Он был влюблен, смею сказать, в свое воззрение на Рим, да тут же действовал отчасти и малороссийский элемент, всегда охотно обращенный к тому, что носит печать стародавнего или его напоминает. Зато уж и Францию, которую считал родоначальницей легкомысленного презрения к поэзии прошлого, начинал он ненавидеть от всей души. О французском владычестве в Риме, в эпоху Первой империи, когда действительно сподвижники Наполеона I, вместе с истреблением суеверия, принялись истреблять и коренные начала народного характера, Николай Васильевич отзывался после с негодованием. Он много говорил дельного и умного о всесветных преобразователях, не умеющих отличать жизненных особенностей, никогда не уступаемых народом, от тех, с которыми он может расстаться, не уничтожая себя как народ, но упускал из вида заслуги всей истории Франции перед общим европейским образованием. Впрочем, твердого, невозвратного приговора, как в этом случае, так и во всех других, еще не было у Гоголя: он пришел к нему

позднее. Он тогда еще составлял его и потому довольно часто оглядывался на свои мысли и проверял их на противоположных взглядах и на противоречии, он шел только к тому решительному приговору, который с такой силой раздался пять лет спустя в литературе нашей. Для подтверждения наших слов приведем один маловажный случай: кроме маловажных случаев, никаких других между нами и быть не могло, но именно потому, может быть, все случаи, касающиеся Гоголя, имели почти всегда значительную физиономию и сохранили в памяти моей точное выражение. Однажды за обедом, в присутствии А. А. Иванова, разговор наш нечаянно попал на предмет, всегда вызывавший споры: речь зашла именно о пустоте всех задач, поставляемых французами в жизни, искусстве и философии. Гоголь говорил резко, деспотически, отрывисто. Ради честности, необходимой даже в застольной беседе, я принужден был невольно указать на несколько фактов, значение и важность которых для цивилизации вообще признаваемы всеми. Гоголь отвечал горячо и тем, вероятно, поднял тон моего возражения; однакож спор тотчас же упал в одно время с обеих сторон, как только сделалась ощутительна в нем некоторая степень напряжения. Молча вышли мы из австерии, но после немногих задумчивых шагов Гоголь подбежал к первой лавочке лимонадчика, раскинутой на улице, каких много бывает в Риме, выбрал два апельсина и, возвратясь к нам, подал с серьезной миной один из них мне. Апельсин этот меня тронул: он делался, так сказать, формулой, посредством которой Гоголь выразил внутреннюю потребность некоторого рода уступки и примирения.

Вообще следует помнить, что в эту эпоху он был занят внутренней работой, которая началась для него со второго тома «Мертвых душ», тогда же им предпринятого, как я могу утверждать положительно. Значение этой работы никем еще не понималось вокруг него, и только впоследствии можно было разобрать, что для второго тома «Мертвых душ» начинал он сводить к одному общему выражению как свою жизнь, образ мыслей, нравственное направление, так и самый взгляд на дух и свойство русского общества. Результаты этих изысканий и трудов над самим собой и над духовным бытом нашего общества публике известны, и мы покамест их не судим: мы только повторяем, что с подобными эпохами поворотов мысли и направления неизбежно связано колебание воли и суждения, как это и было здесь. Он осматривал и взвешивал явления, готовясь оторваться от одних и пристроиться к другим. Так, например, долго, с великим вниманием и с великим участием слушал он горячие повествования о России, заносимые в Рим приезжими, но ничего не говорил в ответ, оставляя последнее слово и решение для самого себя. Отсюда также и те длинные часы немого созерцания, какому предавался он в Риме. На даче княгини З. Волконской, упиравшейся в старый римский водопровод, который служил ей террасой, он ложился спиной на аркаду богатых, как называл древних

римлян, и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую Кампанью. Так точно было и в Тиволи, в густой растительности, окружающей его *каскателли*;[113] он садился где-нибудь в чаще, упирал зоркие, недвижные глаза в темную зелень, купами сбегавшую по скалам, и оставался недвижим целые часы, с воспаленными щеками. Раз после вечера, проведенного с одним знакомым живописца Овербека, рассказывавшим о попытках этого мастера воскресить простоту, ясность, скромное и набожное созерцание живописцев до-Рафаэлевой эпохи, мы возвращались домой, и я был удивлен, когда Гоголь, внимательно и напряженно слушавший рассказ, заметил в раздумьи: «Подобная мысль могла только явиться в голове немецкого педанта». Так еще никому, собственно, не принадлежал он, и выход из этого душевного состояния явился уже после отъезда моего из Рима. Я застал предуготовительный процесс: борьбу, нерешительность, томительную муку соображений. Письма от этой эпохи, собранные г. Кулишом, уже вполне показывают, куда стремилась его мысль, но письма эти, как магнитная стрелка, обращены к одной неизменной точке, а сам корабль прибегал ко многим уклонениям и обходам, прежде чем вышел на твердый и определенный путь.

Одна только сторона в Гоголе не потерпела ничего и оставалась во всей своей целости — именно художническое его чувство. Гоголь не только без устали любовался тогдашним Римом, но и увлекал неудержимо всех к тому же поклонению чудесам его. Официальные католические праздники пасхи, на которых, по стечению иностранцев, присутствует чуть ли не более насмешливых, чем верующих глаз, уже давно миновались. Значительная часть туристов разъехалась, и настоящий туземный Рим выступил один для новых духовных праздников, совпадающих с летними месяцами. Здесь, в виду итальянского народа, Гоголь не чуждался толпы. Он предупреждал меня о дне Вознесения, когда папа дает благословение полям Рима с высоты балкона Иоанна Латеранского, — и зрелище, на котором мы присутствовали в тот день, было не ниже наших ожиданий. Летнее солнце Италии осветило старые стены Рима, задернув голубой, прозрачной пеленой далекие албанские горы. Ближе к нам и в самую минуту благословения оно ударило нестерпимо ярко на белые головные платки коленопреклоненных женщин, на широкие соломенные шляпы мужчин, на разноцветные перья войска, тоже преклонившего колена, на красные мантии кардиналов — и произвело картину ослепительного блеска и вместе превосходной перспективы. Затем наступили торжества *Corpus-Domini*. В семь часов вечера перед *Ave-Maria*, при самом начале вечерних прогулок наших, мы непременно встречали духовную процессию, импровизированный алтарь на углу улицы, аббата под балдахином с дарохранильницей, которою, после краткой молитвы, он благословлял падающий ниц народ. Вечернее солнце играло опять главную роль в картине, обливая пурпуром знамена, огромные полотна с фигурами

святых, кресты разных величин, фонари, рясы нищенствующих монахов и загорелые лица итальянцев, пылавшие несколько мгновений неизобразимо ярким и теплым светом. О цветочных коврах Дженсано, раскладываемых по пути таких же процессий и составляющих подвижной рисунок с изображениями кардинальских гербов, арабесок, узоров из листьев и лепестков растений, Гоголь упоминает сам в статье о Риме*. Николай Васильевич был неутомим в подметке различных особенностей этого народного творчества, которое окружало тогда духовные торжества, но могло существовать и помимо их. Так, очевидцы происшествий 1848-49 годов рассказывают об удивительных триумфальных арках, строимых в одну ночь неизвестными архитекторами, да и в мое время, как справедливо заметил Гоголь, любая лавочка лимонадчика на площади заслуживала изучения по рисунку украшений из зелени, винограда и лавра. Как велико было уважение Гоголя ко всякому проявлению самородной фантазии или даже сноровки, покажет следующий пример. В одной из кофейных он заметил, что стены и потолок ее покрыты сеткой из полосок бумаги, перегнутых надвое и приставленных к штукатурке. Узнав, что этим способом придумано сохранять заведения от порчи мух, гуляющих преимущественно по внешней стороне клеток, Гоголь долго рассматривал это хозяйственное изобретение и, наконец, воскликнул с чувством: «И этих-то людей называют маленьким народом!» Сметливость и остроумие в народе были для него признаками, свидетельствующими даже об историческом его призвании. Несколько раз повторял он мне, что нынешние римляне, без сомнения, гораздо выше суровых праотцев своих и что последние никогда не знали того неистощимого веселия, той добродушной любезности, какие отличают современных обитателей города. Он приводил в пример случай, им самим подсмотренный. Два молодых водоноса, поставив ушат на землю, принялись с глазу на глаз смешить друг друга уморительными анекдотами и остротами. «Я целый час подсматривал за ними из окна, — говорил Гоголь, — и конца не дождался. Смех не умолкал, прозвища, насмешки и рассказы так и летели, и ничего водевильного тут не было; только сердечное веселие, да потребность поделиться друг с другом обилием жизни». Гоголь был не прочь и от сильных, необузданных страстей, которые затемняют иногда сердце и ум этих любезных людей. Все естественное, самородное, уже по одному этому имело право на его уважение. Вот какой анекдот рассказывал он юмористически, но не без удовольствия. В его глазах один мальчишка пустил чем-то в другого, проходившего мимо, и, чувствуя, вероятно, важность ответственности за поступок, тотчас же шмыгнул в двери близлежащего дома, которые и припер за собою. Обиженный ребенок кинулся к дверям, старался выломать их и, видя невозможность одолеть преграду, стал вызывать оскорбителя на личную расправу. Ответа никакого, разумеется, не последовало; ребенок истощался в бранных эпитетах, в самых ядовитых

прозвищах и в ругательствах и не слыхал ни малейшего отзыва. Тогда он лег у порога двери и зарыдал от ярости, но и слезы не истощили жажду мщения, которая кипела в этой детской груди. Он встал опять на ноги и принялся умолять своего врага хоть подойти к окну, чтоб дать посмотреть на себя, обещая ему за одно это прощение и дружбу… Но, оставляя в стороне анекдоты, скажем, что уважение Гоголя к проблескам цельной и свежей натуры не ограничивалось одними людскими характерами: он и создания искусства ценил еще тогда по признакам силы, обнимающей сразу предмет, и чем менее заметно было в произведении искания, пробованья и щупанья, тем более оно ему нравилось, но он простирал иногда определения свои до парадокса. Так, к великому соблазну А. А. Иванова, он объявил однажды, что известная пушкинская «Сцена из «Фауста» выше всего «Фауста» Гете, вместе взятого. Не должно думать, однакож, чтоб наслаждение Римом и людьми его сделало самого Гоголя слабым и мягкосердечным; напротив, он обращался весьма строго с последними — и это *по принципу*. Притворная суровость его была тут противодействием римской сметливости, народного расположения к сарказму и природной беспечности итальянца. Он был взыскателен, и надо было видеть, как важно примеривал он новые башмаки, сшитые ему молодым парнем с блестящими черными глазами и лукавой улыбкой. Он его почти измучил осмотром и потом говорил мне, смеясь: «Иначе и нельзя с этим народом; чуть оплошай — заговорит тебя. Подсунет мерзость, поставит перед собой башмак, отступит шаг назад и начнет: «О, что за чудная *cosa!* о, какая дивная вещица! Никакой племянник папы не носил такого башмака. Посмотрите, синьор, какая форма каблука! Можно влюбиться до безумия в такую вещь», и так далее». Придирчивость Гоголя была лицемерна уже и потому, что он никогда не сердился на те обыкновенные итальянские надувательства, которым, несмотря на всю свою строгость и сноровку, подвергался не раз. Так, вздумав сделать прогулку за город в обыкновенном нашем обществе, мы подрядили ветурина, дали ему задаток и назначили час отъезда. Но час прошел, а ветурин не являлся, употребив, вероятно, задаток на неотлагательные свои нужды и забыв о поручении. Все присутствующие оказывали ясные знаки нетерпения и громко выражали негодование свое, исключая Гоголя, который оставался совершенно равнодушен, а когда один из общества заметил, что подобной штуки никогда бы не могло случиться в Германии: там-де никто своего не даст и чужого не возьмет, — то Гоголь отвечал с досадой и презрением: «Да, но это только в картах хорошо!»

Еще одна черта. Мы, разумеется, весьма прилежно осматривали памятники, музеи, дворцы, картинные галлереи, где Гоголь почти всегда погружался в немое созерцание, редко прерываемое отрывистым замечанием. Только уже по прошествии некоторого времени развязывался у него язык и можно было услыхать его суждение о виденных предметах. Всего замечательнее, что скульптурные

произведения древних тогда еще производили на него сильное впечатление. Он говорил про них: «То была религия, иначе нельзя бы и проникнуться таким чувством красоты».

Может статься, всего тяжелее было для позднейшего Гоголя победить врожденное благоговение к высокой, непогрешительной, идеальной пластической форме, какое высказывалось у него в мое время поминутно. Он часто забегал в мастерскую известного Тенерани любоваться его «Флорой», приводимой тогда к окончанию, и с восторгом говорил о чудных линиях, которые представляет она со всех сторон и особенно сзади: «Тайна красоты линий, — прибавлял он, — потеряна теперь во Франции, Англии, Германии, сохраняется только в Италии». Так точно и знаменитый римский живописец Камучини, воспитанный на классических преданиях, находил в нем усердного почитателя за чистоту своего вкуса, грацию и теплоту, разлитые в его картинах, похожих на оживленные барельефы. Никогда не забывал Гоголь, при разговоре о римских женщинах или даже при встрече с замечательной женской фигурой, каких много в этой стране, сказать: «А если бы посмотреть на нее в одном только одеянии целомудрия, так скажешь: женщина эта с неба сошла». Не нужно, полагаю, толковать, что поводом ко всем словам такого рода было одно артистическое чувство его: жизнь вел он всегда целомудренную, близкую даже к суровости и, если исключить маленькие гастрономические прихоти, более исполненную лишений, чем довольства. Так еще полно и невредимо сохранял он в себе художнический элемент, который особенно разыгрывался, когда духота, потребность воздуха и гулянья заставляли прекращать переписку «Мертвых душ» и выгоняли нас за город, в окрестности Рима.

Первая наша поездка за город в Альбано возникла, однакож, по особенному поводу, который заслуживает упоминовения. Один молодой русский архитектор (фамилия его совершенно вышла у меня из памяти*) имел несчастие, занимаясь проектом реставрации известной загородной дачи Адриана, простудиться в Тиволи и получить злокачественную лихорадку. Благодаря искусству римских докторов через две недели он лежал без всякой надежды, приговоренный к смерти. Во все время его тяжкой болезни Гоголь с участием справлялся о нем у товарища его по академии и квартире в Риме, скульптора Логановского (теперь тоже покойного), но сам не заходил к умирающему, боясь, может быть, прилипчивости недуга, а может быть, опасаясь слишком сильного удара для своих расстроенных нервов. Бедный молодой человек кончался: я был при последних минутах его и видел, как после одной ложечки прохладительного питья, которое беспрестанно подавала ему, по здешнему обычаю, женщина, сидевшая у его изголовья, он вдруг бодро, необычайно зорко окинул большими глазами комнату и людей, в ней находившихся, но это было последнее усилие молодости; он тотчас же

ослабел и вскоре угас. Мы все собирались отдать бедному нашему соотечественнику последний долг, но Гоголь, вероятно по тем же причинам, о каких было упомянуто, боялся печальной церемонии и хотел освободиться от нее. За день до похорон, утром, после чашки кофе, я подымался по мраморной лестнице Piazza d'Espagna и увидел Гоголя, который задумчиво приближался к ней сверху. Едва только заметили мы друг друга, как Гоголь, ускорив шаги и раздвинув руки, спустился ко мне на площадку и начал с видом и выражением совершеннейшего отчаяния: «Спасите меня, ради бога: я не знаю, что со мною делается… Я умираю… я едва не умер от нервического удара нынче ночью… Увезите меня куда-нибудь, да поскорее, чтоб не было поздно…» Я был поражен неожиданностью известия и отвечал ему: «Да хоть сию же минуту, Николай Васильевич, если хотите. Я схожу за ветурином, а куда ехать, назначайте сами». Через несколько часов мы очутились в Альбано, и, надо заметить, что как дорогой, так и в самом городке Гоголь казался совершенно покоен и ни разу не возвращался к пояснению отчаянных своих слов, точно никогда не были они и произнесены.

С горы Альбано, как известно, открывается изумительный вид на Рим и всю его Кампанью, которому, может быть, только вредит самая его обширность и полнота. Далекое, безмолвное поле, усеянное руинами, по которому, кажется, ходит одно только солнце, меняя ежечасно краски и цвета его в виду недвижной черты города и синего купола Петра! Особенно вечером, при закате, когда длиннее и гуще ложатся на землю тени гробниц и водопроводов, картина эта приобретала строгое художественное величие, почти всегда производившее на Гоголя непостижимое действие: на него ниспадал род нравственного столбняка, который он сам изобразил в статье «Рим» этими чудными чертами: «Долго, полный невыразимого восхищения, стоял он перед таким видом, и потом уже стоял так, просто, не восхищаясь, позабыв все, когда и солнце уже скрывалось, потухал быстро горизонт и еще быстрее потухали вмиг померкнувшие поля, везде устанавливал свой темный образ вечер» и проч. После утренней работы, еще до обеда, Гоголь приходил прямо к превосходной террасе виллы Барберини, господствующей над всею окрестностью, куда являлся и я, покончив с осмотрами города и окрестностей. Гоголь садился на мраморную скамейку террасы, вынимал из кармана книжку, читал и смотрел, отвечая и делая вопросы быстро и односложно. Надо сказать, что Гоголь перечитывал в то время «Историю Малороссии», кажется Каменского[*], и вот по какому поводу. Он писал драму из казацкого запорожского быта, которую потом бросил равнодушно в огонь, недовольный малым действием ее на Жуковского: история Малороссии служила ему пособием[*]. О существовании драмы я узнал случайно. Между бумагами, которые Гоголь тщательно подкладывал под мою тетрадку, когда приготовлялся диктовать, попался нечаянно оторванный лоскуток, мелко-намелко писанный его рукою. Я наклонился к бумажке и прочел

вслух первую фразу какого-то старого казака (имени не припомню), попавшуюся мне на глаза и мною удержанную в памяти: «И зачем это господь бог создал баб на свете, разве только, чтоб казаков рожала баба…» Гоголь сердито бросился ко мне с восклицанием: «Это что?» — вырвал у меня бумажку из рук и сунул ее в письменное бюро; затем мы спокойно принялись за дело. Возвращаюсь к террасе Барберини. Более занятый своею мыслью, чем чтением, Гоголь часто опускал книжку на колени и устремлял прямо перед собой недвижный, острый взгляд, который был ему свойственен. Вообще все окружающие Гоголя чрезвычайно берегли его уединение и пароксизмы раздумья, находившие на него, как бы предчувствуя за ними ту тяжелую, многосложную внутреннюю работу, о которой мы говорили. Иногда уходили мы с ним, и обыкновенно в самый полдень, под непроницаемую тень той знаменитой аллеи, которая ведет из Альбано в Кастель-Гандольфо (загородный дворец папы), известна Европе под именем альбанской *галлереи* и утрудила на себе, неисчерпанная вполне, воображение и кисти стольких живописцев и стольких поэтов. Под этими массами зелени итальянского дуба, платана, пины и проч. Гоголь, случалось, воодушевлялся как живописец (он, как известно, сам порядочно рисовал). Раз он сказал мне: «Если бы я был художник, я бы изобрел особенного рода пейзаж. Какие деревья и ландшафты теперь пишут! Все ясно, разобрано, прочтено мастером, а зритель по складам за ним идет. Я бы сцепил дерево с деревом, перепутал ветви, выбросил свет, где никто не ожидает его, вот какие пейзажи надо писать!» — и он сопровождал слова свои энергическими, непередаваемыми жестами. Не надо забывать, что вместе с полнотой внутренней жизни и творчества Гоголь обнаруживал в это время и признаки самонадеянности, которая высказывалась иногда в быстром замечании, иногда в гордом мимолетном слове, выдававшем тайну его мысли. Он еще тогда вполне сберегал доверенность к себе, наслаждался чувством своей силы и полагал высокие надежды на себя и на деятельность свою. О скромности и христианском смирении еще и помину не было. Так, при самом начале моего пребывания в Риме, разгуливая с ним по отдаленным улицам его, мы коснулись неожиданно Пушкина и недавней его смерти. Я заметил, что кончина поэта сопровождалась явлением, в высшей степени отрадным и поучительным: она разбудила хладнокровный, деловой Петербург и потрясла его… Гоголь отвечал тотчас же каким-то горделивым, пророческим тоном, поразившим меня: «Что мудреного? человека всегда можно потрясти… То ли еще будет с ним… увидите». В самом Альбано, на одной из вечерних прогулок, кто-то сказал, что около шести часов вечера передние всех провинциальных домов в России наполняются угаром от самовара, который кипит на крыльце, и что само крыльцо представляет оживленную картину: подбежит девочка или мальчик, прильнет к трубе, осветится пламенем раздуваемых углей и скроется. Гоголь остановился на ходу, точно кто-нибудь придержал его:

«Боже мой, да как же я это пропустил, — сказал он с наивным недоумением, — а вот пропустил же, пропустил, пропустил», — говорил он, шагая вперед и как будто попрекая себя. В том же Альбано, где мы теперь находимся, вырвалось у Гоголя восклицание, запавшее мне в душу. Два обычные сопутники наши, А. А. Иванов и Ф. И. Иордан, прибыли в Альбано, похоронив бедного своего товарища. За обедом Ф. И. Иордан, сообщая несколько семейных подробностей о покойнике, заметил: «Вот он вместо невесты обручился с римской Кампаньей». — «Отчего с Кампаньей?» — сказал Гоголь. «Да неимущих иноверцев хоронят иногда здесь просто в поле». — «Ну, — воскликнул Гоголь, — значит, надо приезжать в Рим для таких похорон». Но он не в Риме умер и новая цепь идей под конец жизни заслонила перед ним и образ самого города, столь любимого им некогда.

Я еще ни слова не сказал о существенном качестве Гоголя, сильно развитом в его природе и которого он тогда еще не старался подавить в себе насильственно, — о юморе его. Юмор занимал в жизни Гоголя столь же важное место, как и в его созданиях: он служил ему поправкой мысли, сдерживал ее порывы и сообщал ей настоящий признак истины — меру; юмор ставил его на ту высоту, с которой можно быть судьею собственных представлений, и наконец он представлял всегда готовую поверку предметов, к которым начинали склоняться его выбор и предпочтение. Распростившись с юмором, или, лучше, стараясь искусственно обуздать его, Гоголь осуждал на бездействие одного из самых бдительных стражей своей нравственной природы. В то время, которое мы описываем, он сохранял еще юмор в полной свежести, несмотря на возникающую потребность идеализации окружающего и приближающийся перелом в его жизни. Так, мы знаем, что он смотрел на господствующее сословие в папском Риме, как на собрание ограниченных, малосведущих людей, склонных к материальным удовольствиям, но добродушных и мягкосердечных по натуре: лицо каждого аббата представлялось ему с житейской, вседневной стороны его, и он не заботился об официальной его деятельности, где то же простодушное лицо, лакомка и болтун, вырастает в меру своих обширных прав и власти, ему данной. Так же точно мы знаем, по статье «Рим», что Гоголь нашел место в картине и для рыжего капуцина, значение которого, помню, с жаром объяснял В. А. Панову, ссылаясь на эффект, производимый нищенствующим братом, когда он вдруг появляется в среде пестрых итальянских женщин или удалой римской молодежи. Нельзя забыть также, что даже тяжелая красная карета кардинала с пудренными лакеями назади удостаивалась в его разговорах ласкового и пояснительного слова. Все это представление предметов было бы очень далеко от истины и настоящего их достоинства, если бы не поправлялось его юмором, выводившим наружу именно ту резкую родовую черту предмета, по которой он правильнее судится, чем по соображениям и описаниям пристрастного мыслителя.

Когда юмор, стесненный в своей естественной деятельности, замолк окончательно, что действительно случилось с Гоголем в последний период его развития, — критическое противодействие личному настроению ослабело само собой, и Гоголь был увлечен неудержимо и беспомощно своей мыслью… Множество проявлений этого юмора заключено в самой статье о Риме; присутствие его чувствовалось тогда почти в каждом разговоре Гоголя, но собрать проблески этой способности теперь нет никакой возможности. Большая часть их изгладилась из моей памяти, оставив только общее представление о своем характере. Случалось иногда, что это был осколок целого драматического представления, как, например, рассказ Гоголя о знакомстве с кардиналом Меццофанти. Он очень любил этого кардинала-полиглота, маленького, сухощавого и живого старичка, который при первой встрече с Гоголем заговорил по-русски. Гоголь объяснял способ его выпутываться из филологических затруднений, так сказать, наглядно. Кардинал, обдумав фразу, держался за нее очень долго, выворачивая ее во все стороны, не делая шагу вперед, покуда не являлась новая придуманная фраза, и при живости старика это имело комическую сторону, передаваемую Гоголем весьма живописно. Он наклонялся немного вперед и, подражая голосу и движениям президента «Пропаганды»*, начинал вертеть шляпу в руках и говорить итальянской скороговоркой: «Какая у вас прекрасная шляпа… прекрасная, круглая шляпа, также и белая, и весьма удобная — это точно прекрасная, белая, круглая, удобная шляпа» — и проч. Впрочем, Гоголь отдавал справедливость удивительной способности кардинала схватывать отношения частей речи друг к другу в чуждом диалекте, а степень настоящего познания нашего языка у Меццофанти может показать следующая стихотворная записка его, буквально списанная мною с оригинала:

Любя Российских Муз, я голос их внимаю

И некие слова их часто повторяю.

Как дальный Отзыв, я не ясно говорю:

Кто ж может мне сказать, что я стихи творю.

I. Меццофанти.

Возвращаемся к городской нашей жизни. В Риме не было тогда постоянного театра, но какая-то заезжая труппа давала пьесы Гольдони, Нотте и переделки из французских водевилей. Спектакль начинался обыкновенно в десять часов вечера и кончался за полночь. Мы довольно часто посещали его, ради первой его любовницы, красавицы в полном смысле слова, очень хорошего jeune premier,[114] а более ради старика Гольдони, который, по весьма спокойному, правильному развитию сложных завязок в своих комедиях, составлял противоположность с

путаницей и небывальщиной французского водевиля. Гоголь весьма высоко ценил итальянского писателя. Ночь до спектакля проводили мы в прогулках по улицам Рима, освещенным кофейнями, лавочками и разноцветными фонарями тех сквозных балаганчиков с плодами и прохладительными напитками, которые, наподобие небольших зеленых храмиков, растут в Риме по углам улиц и у фонтанов его. В тихую летнюю ночь Рим не ложится спать вовсе, и как бы поздно ни возвращались мы домой, всегда могли иметь надежду встретить толпу молодых людей без курток или с куртками, брошенными на одно плечо, идущих целой стеной и вполголоса распевающих мелодический туземный мотив. Бряцание гитары и музыкальный строй голосов особенно хороши бывали при ярком блеске луны: чудная песня как будто скользила тогда тонкой серебряной струей по воздуху, далеко расходясь в пространстве. Случалось, однакоже, что удушливый *сироко*,[115] перелетев из Африки через Средиземное море, наполнял город палящей, раскаленной атмосферой, тогда и ночи были знойны по-своему: жало удушливого ветра чувствовалось в груди и на теле. В такое время Гоголь видимо страдал: кожа его делалась суха, на щеках выступал яркий румянец. Он начинал искать по вечерам прохлады на перекрестках улиц; опершись на палку, он закидывал голову назад и долго стоял так, обращенный лицом кверху, словно перехватывая каждый свежий ток, который может случайно пробежать в атмосфере. Наскучив прогулками и театрами, мы проводили иногда остаток вечера у себя дома за бостоном. Надо сказать, что ни я, ни хозяин, ни А. А. Иванов, участвовавший в этих партиях, понятия не имели не только о сущности игры, но даже и о начальных ее правилах. Гоголь изобрел по этому случаю своего рода законы, которые и прикладывал поминутно, мало заботясь о противоречиях и происходившей оттого путанице: он даже весьма аккуратно записывал на особенной бумажке результаты игры, неизвестно для чего, потому что с новой игрой всегда оказывалась необходимость изменить прежние законы и считать недействительными все старые приобретения и потери. Лучше всего была обстановка игры: Гоголь зажигал итальянскую свою лампу об одном рожке, не дававшую света даже столько, сколько дает порядочный ночник, но имевшую достоинства напоминать, что при таких точно лампах работали и веселились древние консулы, сенаторы и проч. Затем Гоголь принимал в свое распоряжение фляжку *орвиетто*, захваченную кем-нибудь на дороге, и мастерским образом сливал из нее верхний пласт оливкового масла, заменявший, тоже по древнему обычаю, пробку и укупорку. Вообще у Гоголя была некоторая страсть к рукодельям: с приближением лета он начинал выкраивать для себя шейные платки из кисеи и батиста, подпускать жилеты на несколько линий ниже и проч., и занимался этим делом весьма серьезно. Я заставал его перед столом с ножницами и другими портняжными матерьялами, в сильной задумчивости. Одно обстоятельство только тревожило меня, возбуждая при этом сильное

беспокойное чувство, которое выразить я, однакоже, не смел перед Гоголем, а именно: тогдашняя его причуда — проводить иногда добрую часть ночи, дремля на диване и не ложась в постель. Поводом к такому образу жизни могла быть, во-первых, опасная болезнь, недавно им выдержанная и сильно напугавшая его, а во-вторых, боязнь обморока и замирания, которым он, как говорят, действительно был подвержен. Как бы то ни было, но открыть секрет Гоголя, даже из благодушного желания пособить ему, значило нанести глубочайшую рану его сердцу. Таким образом, Гоголь довольно часто, а к концу все чаще и чаще приходил в мою комнату, садился на узенький плетеный диван из соломы, опускал голову на руку и дремал долго после того, как я уже был в постели и тушил свечу. Затем переходил он к себе на цыпочках и так же точно усаживался на своем собственном соломенном диванчике вплоть до света, а со светом взбивал и разметывал свою постель для того, чтоб общая наша служанка, прибиравшая комнаты, не могла иметь подозрения о капризе жильца своего, в чем, однакоже, успел весьма мало, как и следовало ожидать. Обстоятельство это, между прочим, хорошо поясняет то место в любопытной записке Ф. В. Чижова о Гоголе 1843 года, где автор касается апатических вечеров Н. М. Языкова, на которых все присутствующие находились в состоянии полудремоты и после часа молчания или редких отрывистых замечаний расходились, приглашаемые иногда ироническим замечанием Гоголя: «Не пора ли нам, господа, окончить нашу шумную беседу» («Записки о жизни Гоголя», том I, стр. 330)*. Вечера эти могли быть для Гоголя началом самой ночи, точно так же проводимой, только без друзей и разговоров. Конечно, тут еще нельзя искать обыкновенных приемов аскетического настроения, развившегося впоследствии у Гоголя до необычайной степени, но путь для них был уже намечен. Впрочем, все умерялось еще тогда наслаждениями художнической, созерцательной жизни, и самая бессонница, вызванная мнительностью, имела подчас поэтическую обстановку. Так, однажды во Фраскати мы долго разговаривали, сидя на окне локанды,[116] глядя в темное голубое небо и прислушиваясь к шуму фонтана, который журчал на дворе. Беседа шла преимущественно об отечестве; Гоголь по временам вдыхал в себя ароматический запах итальянской ночи и при воспоминании о некоторых явлениях нашего быта приговаривал задумчиво: «А может быть, все так и нужно покамест». Вообще мысль о России была в то время, вместе с мыслью о Риме, живейшей частью его существования. Он вполне был прав, утверждая впоследствии, что никогда так много не думал об отечестве, как вдали от него, и никогда не был так связан с ним, как живя на чужой почве: чувство, испытываемое многими людьми с гораздо меньшими способностями и меньшим призванием, чем Гоголь. Между тем кроткая свежесть ночи, тишина ее и однообразный плеск фонтана погрузили меня в дремоту: я заснул на окне в то самое время, как мне казалось, что все еще слышу говор фонтана и различаю шопот собеседника…

Вероятно, Гоголь также продремал всю ночь на окне, потому что он разбудил меня поутру точно в том виде и костюме, как был накануне.

Между тем со мной случилось довольно неприятное происшествие. Выкупавшись в Тибре, я захватил сильную простуду, которая разрешилась опухолью горла, или жабой, по простонародному названию. Доктор никак не мог овладеть болезнию и, не зная, что делать, потребовал кровопускания. Я сопротивлялся этому общему итальянскому средству; но раз почтенный доктор вошел ко мне в сопровождении хозяина нашей квартиры, его домашних и фельдшера. По первым словам я убедился, что они решились на насилие, и покорно отдал себя в их распоряжение. Фельдшер быстро перевязал мне руку и с видом какого-то свирепого наслаждения приступил к делу. Всего забавнее, что сам доктор не мог удержаться от восторга при виде крови и закричал: «bel sangue! Ecco-lo» (вот она, кровь-то). Затем, почти прыгая около меня, он подтверждал фельдшеру не жалеть моей крови и просил о том же всех присутствующих, на лицах которых было написано душевное удовольствие. Комическая сцена, поразившая меня своей странностью и неожиданностию!

При первых признаках упорного недуга, сопротивляющегося медицинским средствам, Гоголь уехал тотчас, за город, написав оттуда хозяину нашей квартиры маленькую записочку, в которой просил его заняться больным — nostro povero ammalato,[117] как выразился. Кажется, вид страдания был невыносим для него, как и вид смерти. Картина немощи если не погружала его в горькое лирическое настроение, как это случилось у постели больного графа Иосифа Виельгорского в 1839 году*, то уже гнала его прочь от себя: он не мог вытерпеть природного безобразия всяких физических страданий. Что касается до созерцания смерти, известно, как подействовал на весь организм его гроб г-жи Хомяковой*, за которым он сам последовал вскоре в могилу. Вообще при сердце, способном на глубокое сочувствие, Гоголь лишен был дара и уменья прикасаться собственными руками к ранам ближнего. Ему недоставало для этого той особенной твердости характера, которая не всегда встречается и у самых энергических людей. Беду и заботу человека он переводил на разумный язык доброго посредника и помогал ближнему советом, заступничеством, связями, но никогда не переживал с ним горечи страдания, никогда не был с ним в живом, так сказать, натуральном общении. Он мог отдать страждущему свою мысль, свою молитву, пламенное желание своего сердца, но самого себя ни в каком случае не отдавал. Нельзя и требовать от натуры человека, чего в ней не заключается (довольно, что натура была благородная и любящая по-своему), но замечание это показалось нам совершенно необходимым в виду тех безразличных, ничего не выражающих фраз об «ангельской» душе, «необычайном» сердце и проч., которые расточаются биографами

Гоголя в опытах изображения его характера и характера его нисколько не определяют.

Я скоро выздоровел, а между тем время отъезда моего из Рима приближалось. До того мы успели сделать целым обществом прогулку в Сабинских горах, побывать в Олевано и Субиако, где нашли толпу русских художников, изучающих все эти превосходные и оригинальные местности. Гоголь нам не сопутствовал, он оставался в Риме,[118] и потом весьма пенял на леность, помешавшую ему присоединиться к странническому каравану. Особенно сожалел он, что лишился удобного случая видеть те бедные римские общины, которые еще в средние века поселились на вершинах недоступных гор, одолеваемых с трудом, по каменистой тропинке, привычным итальянским ослом. Другого способа езды здесь нет. Многие живут там и доселе, связываясь с государством только посредством сборщика податей и местного аббата, их всеобщего духовника, сходя в долину для посева и сбора маиса и кукурузы, обмена своих овощей, а иногда, при благоприятных политических обстоятельствах, для разбоя и грабежа на дорогах. Как совершеннейшее проявление той естественной, *непосредственной* жизни, которую так высоко ценил Гоголь, они действительно заслуживали внимания его, особенно если вспомнить истинно живописные стороны, какими они, надо сказать правду, обладают в изобилии. Живописность и всякий проблеск самородной выдумки, как бы малозначительна ни была она, находили в Гоголе почти всегда лучшего и благорасположеннейшего ценителя. Помню, что в одно из наших путешествий по дорогам между Тиволи, Фраскати и Альбано мы наехали на узкую лощину, закраины которой так густо поросли кустами живой изгороди, что составили над тропинкой род зеленого, непроницаемого свода. Гоголь был в восхищении и сказал: «Вот какими дорогами надо бы обзавестись Европе»; но Европа обзавелась дорогами совсем в другом вкусе.

За день до моего отъезда из Рима мы перебрались в Альбано, где решились ожидать прибытия почтовой кареты Перети, в которой я взял место до Неаполя. На другой день после прощального дружеского обеда в обыкновенной нашей локанде Гоголь проводил меня до дилижанса и на расставаньи сказал мне с неподдельным участием и лаской: «Прощайте, Жюль. Помните мои слова. До Неаполя вы сыщете легко дорогу; но надо отыскать дорогу поважнее, чтоб в жизни была дорога; их множество, и стоит только выбрать…» Мы расстались. Я ехал на Неаполь с тем, чтоб осень провести в Верхней Италии, а на зиму переселиться в Париж.

В октябре 1841* года в Париже получено было известие, что Гоголь уехал в Россию для печатания первого тома «Мертвых душ».

Несколько подробностей, касающихся до истории появления этого тома в печати, мы намерены привести здесь же, прерывая на время нить

воспоминаний наших. С. Т. Аксаков в превосходной записке своей о Гоголе, сообщенной г. Кулишом и, к сожалению, разделенной им на отрывки, в которых отчасти теряется общий характер повествования (см. «Записки о жизни Гоголя». Спб. 1856 г.), относит к концу 1840 года замечательную перемену тона в письмах Гоголя, получивших оттенок торжественности и мистического одушевления. С. Т. Аксаков объясняет это обстоятельство, во-первых, болезнию Гоголя в Вене, осенью того же года, открывшей ему, по собственному его признанию, многое, что изменило все существование его, а во-вторых, причину перемены полагает в великом значении, какую возымели «Мертвые души» для их автора, увидавшего, как под рукой его «незначащий сюжет вырастает в колоссальное создание, наполненное болезненными явлениями нашей общественной жизни». Последняя догадка особенно справедлива. С приближением к концу своего заветного труда Гоголь начинает уже смотреть на себя как на человека, в жизни которого слышатся шаги неведомого, таинственного предопределения. Взгляд этот на самого себя все более и более укрепляется по мере развития работы и, наконец, переходит в убеждение, которое нераздельно срастается со всем его существованием. При поверке его писем всеми известными обстоятельствами его жизни, мы видим, как по мере окончания какой-либо части романа, свежих, живых отпрысков, данных им, или обогащения его каким-либо новым представлением, Гоголь проникается каждым из этих явлений, настраивает душу на высокий лад и возвещает друзьям событие торжественными, пророческими намеками, приводившими их в такое недоумение сначала. Он смотрит на самого себя при таких случаях со стороны (объективно) и говорит о себе прямо с благоговением, какое следует питать ко всякому, хотя бы и непонятному, орудию предопределения. Его вдохновенные, лирические возгласы, частое провозвестие близкого и великого будущего до того совпадают с годами и эпохами окончания разных частей романа, с намерениями автора в отношении их, что могут служить несомненными свидетельствами хода его работ и предприятий. Тон писем Гоголя изменяется, как замечено, к концу 1840, именно к тому времени, когда «Мертвые души» (первая часть) были готовы вчерне. В следующем за тем году наступает окончательная отделка и переписка глав, и мы видим, что в марте 1841 года Гоголь зовет к себе в Рим М. С. Щепкина, Конст. Серг. Аксакова и потом М. П. Погодина, возлагая на них обязанность перевезти себя в Россию. В письме его встречаются следующие строки: «Меня теперь нужно беречь и лелеять… Меня теперь нужно лелеять не для меня — нет… Они сделают не бесполезное дело. Они привезут с собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится; но в этой вазе заключено теперь сокровище. Стало быть, ее нужно беречь». Когда, в августе того же года, переписка романа была совсем приведена к окончанию (то есть две недели спустя после моего отъезда из Рима), Гоголь отправляет к

одному из своих лицейских товарищей, А. С. Данилевскому, письмо с советами касательно лучшего устройства его жизни, и вместе с тем из-под пера его выливаются эти вдохновенные черты: «Но слушай: теперь ты должен слушать моего слова, ибо вдвойне властно над тобою мое слово, и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова!.. О, верь словам моим! Властью высшею облечено отныне мое слово… Все может разочаровать, обмануть, изменить тебе, но не изменит мое слово… Прощай! Шлю тебе братский поцелуй мой и молю бога, да снидет вместе с ним на тебя хотя часть той свежести, которою объемлется ныне душа моя, восторжествовавшая над болезнями хворого моего тела» и проч. («Зап. о жизни Гоголя», т. I, стр. 273 и 285). Так возвещал он друзьям своим степени различного состояния своей рукописи, и, конечно, если тут есть часть простого авторского самолюбия, то уже в мере, которая пропадает незаметно в другом, сильнейшем настроении. После 1843 года, при работе за второю частью «Мертвых душ», настроение это приобретает еще большее развитие, и тогда намеки, свидетельствующие о положении дела, о видах, какие имел автор на свое создание, о пути, который приняло его творчество, становятся еще более торжественными и проникаются еще более свойствами мистического, восторженного созерцания. Они делаются вместе с тем чаще, постояннее до тех пор, пока собрание их в одну книгу и издание в 1847 году под именем «Выбранные места из переписки с друзьями», возвещают, по нашему мнению, совершенное окончание второй части «Мертвых душ» и скорое ее появление в свет. Мы еще будем говорить об этой *решительной* эпохе в жизни Гоголя, которая значительно отличается от начальной или *предуготовительной*, в которой находимся, но теперь же скажем, что отыскать соответствие между подробностями тогдашней его переписки и состоянием второй части «Мертвых душ» есть дело, конечно, трудное, но не невозможное для будущего биографа его.

И довольно замечательно, что даже простого сомнения в себе, не только христианского смирения, о котором так много толковали по поводу Гоголя, нет и признаков в его переписке вплоть до 1847 года, то есть до страшного переворота в его жизни, последовавшего за неуспехом выданной им книги. Правда, он учит всех наблюдать за собой, радоваться ударам, наносимым самолюбию, но всякий такой удар отражает от себя тотчас же и весьма решительно. Все его требования упреков, выговоров, просьбы о сообщении бранчивых критик, похвалы несправедливым заключениям литературных врагов его тоже не показывают никакого смирения. Он уже стоял выше этого, играл с безвредным жалом порицателей, даже хвалил их, как хвалит учитель фехтованья мальчика, нанесшего ему знакомый и предвиденный удар, но когда удар действительно был искусно рассчитан и поражал его, он подымался, как гроза, и с великою энергиею возвращал его противнику. Но в письмах Гоголя, скажут нам, есть, между прочим, ясные признаки

упадка сил, есть искренние жалобы на творческую немощь, наконец есть нелицемерная покорность провидению, надежда на него и беспощадная оценка самого себя. — Действительно есть, и все это уже симптомы самого труда, самого процесса работы, столько же, сколько и известного нравственного состояния. Всякий раз, как они появляются, можно подразумевать, как нам кажется, что Гоголь еще занят развитием идеи или представления, что он одолевает творческим образом характер или происшествие, что, наконец, он еще носится в открытом море создания, колеблемый всеми соображениями писателя и без берега в виду. Эти эпохи есть вместе с тем и эпохи самых сильных физических его страданий…

Грозные, карающие письма Гоголя к друзьям и даже к семейству, которые так удивили многих, поясняются тоже состоянием его мысли в эту эпоху. Такими письмами он намекал на сокровища, которые в ней таятся, и, по нашему мнению, они пишутся всякий раз, как труженику, более и более переходившему к мистическому представлению своего призвания, кажется, что он открыл новую сторону в литературной задаче своей и стоит на высшей степени ее понимания. С вершины добытой художнической или мистической истины, что уже делалось для него все равно, он свободно бросает перуны вниз, к людям, еще не просвещенным тою благодатью, присутствие которой он сильно чувствует в себе. Под обаянием исключительной идеи Гоголь начинает придавать, особенно с 1843 года, глубокое значение всякому обстоятельству, касающемуся лично до него или до друзей: таинственные, многознаменующие признаки плодятся вокруг него; каждый простой случай жизни оживает, олицетворяется, получает вещее слово и пропадает, уступая место другому… Помню одно письмо Гоголя к поэту Н. М. Языкову, кажется пропущенное г. Кулишом, в котором он излагает мистическое значение грефенберговского способа лечения холодной водой. Он обращает внимание друга на поучительную историю воды, как всеобщего медицинского средства, от начала веков предложенного человеку самим промыслом. Отвергнутое заумничавшимся человеком, оно вновь открыто, но не академиями, не профессорами и современной наукой, а простым и бедным крестьянином австрийской деревушки! Но когда Гоголь сам попробовал ванны и души Грефенберга, которые отчасти расстроили его слабые нервы, он забывал все свои прежние толкования и в другом письме к Н. М. Языкову откровенно проклинал Грефенберг и его знаменитого доктора[*]. Ошибки не исправляют страстные увлечения: все, что каким-либо образом соприкасается с задачею его жизни, с созданием романа, является в необычайных размерах… Так, поручения его списывать статьи журналов и пересылать ему вместе с заметками о нравах и обычаях с ходячими толками и суждениями о нем самом, являются в свете его вдохновенных пояснений не просто материалами для питания и укрепления его литературной деятельности, а почти

делом, приближающим великое будущее, и спасением для тех людей, которые займутся им. Есть несколько писем Гоголя к г-же Смирновой (жене губернатора, урожденной Розетти) в Калугу, где поручения этого рода представлены в виде нравственного подвига, следствия которого могут быть гораздо важнее для того, кто принял его на себя, чем для того, кто прямо ими воспользуется. Иногда даже малейшие обстоятельства, каким-либо образом ускоряющие движение романа, облекаются тем же таинственным светом, в котором очертания всех предметов ложатся громадными, колоссальными линиями. Один сильный пример этого перевода очень обыкновенных потребностей жизни на высокий язык прозрений, предчувствий и мистических толкований мы берем из переписки покойного Н. Я. Прокоповича с Гоголем. Он относится к 1842, к эпохе печатания «Мертвых душ» в Москве, и таким образом сам собою приводит нас к предмету нашего описания.

Читатель должен вспомнить прежде всего, что в октябре 1841 года Гоголь жил в Москве, представив там и рукопись свою на цензурное одобрение. По затруднениям, которые встретились тогда, рукопись переслана была в Петербург и в марте месяце 1842 года получила полное цензорское одобрение, за исключением повести о капитане Копейкине, которую следовало переделать*. Гоголь приступил к переделке повести и с нетерпением ждал прибытия своей рукописи, высланной в Москву для печатания, как говорили, тоже в марте, но рукопись пришла только в начале апреля, пролежав где-то добрый месяц. Все это время Гоголь томился, страдал, жаловался друзьям на пропажу труда и в неподдельной тоске спрашивал у всех об участи своей рукописи. Наконец приступлено было к печатанию. Дело, таким образом, приходило к развязке; горизонт уяснялся понемногу, и Гоголь задумал кстати выдать новое издание своих «Сочинений», но уже в Петербурге, и предоставил все хлопоты печатания покойному Н. Я. Прокоповичу. 15-го мая он написал ему следующее письмо:

«Благодарю тебя именно за то, что ты в день 9 мая[119] написал письмо ко мне. Это было движенье сердечное; оно сквозит и слышно в твоих строках. Я хорошо провел день сей, и не может быть иначе; с каждым годом торжественней и торжественней он для меня становится. Нет нужды, что не сидят за пиром пировавшие прежде: они присутствуют со мной неотразимо, и много присутствует с ними других, дотоле не бывавших на пире. Ничтожна грусть твоя, которая на мгновенье осенила тебя в сей день; она была поддельная, ложная грусть: ибо ничего, кроме просветленья мыслей и предчувствий чудесного грядущего, не должен заключать сей день для всех, близких моему сердцу. Обманула тебя, как ребенка, мысль, что веселье твое уже сменилось весельем нового поколения. Веселье твое еще и не начиналось. *Запечатлей же в сердце сии слова: ты узнаешь и молодость, и крепкое, разумное мужество, и*

мудрую старость. Узнаешь их прекрасно, постепенно, торжественно спокойно, как, непостижимой божьей властью, я чувствую отныне всех их разом в моем сердце. Девятого же мая я получил письмо от Данилевского. Оно меня утешило. Я за него спокоен. Три-четыре слова, посланные мною еще из Рима, низвели свежесть в его душу.[120] Я и не сомневался в том, чтобы не настало, наконец, для него время силы и деятельности. Он светло и твердо стоит теперь на жизненной дороге. *Очередь твоя. Имей в меня каплю веры, — и живящая сила отделится в твою душу*. Я увижу тебя скоро, может быть через две недели. Книга тоже выйдет к тому времени; все почти готово. Прощай. До свиданья. Твой Г.».

Торжество писателя и гражданина, достигающих последней цели своих стремлений, звучит в этом письме удивительно полным и могучим аккордом: мысль о близком появлении романа низводит небо в душу автора и дает ему чувствовать зараз наслаждения всех возрастов, по его словам. То же самое обещает он и приятелю, для которого приготовляет довольно сложную, хлопотливую, но совсем не блестящую и нисколько не вдохновенную работу — печатание и издание своих «Сочинений» в Петербурге. По поводу этой простой комиссии он заглядывает в будущее и немеет пред необычайными наградами, которые готовятся там за подвиг, доступный всякому только что грамотному и порядочному человеку. Надобно сказать, что по нашему глубокому убеждению, которое желали бы мы сообщить всем, Гоголь был совершенно добросовестен, когда писал эти строки: он сам верил в необъятную важность своего плана! Как в этом случае, так и во всех других ему подобных, нет никакой возможности предположить, что рукой его водил один только голый, безобразный мещанский расчет — притянуть к себе чужие силы и ими воспользоваться. Кто знает свойство вообще исключительных идей литературного, мистического и всякого другого содержания поглощать все другие соображения и становиться всюду на первый план, тот никогда не придет к подобному заключению. Самый тон подобных писем, исполненный теплоты и одушевления, уже отстраняет от них подозрение в сухом обдумывании эгоистического замысла. Мы сейчас увидим, каков был Гоголь, когда действовал от своего лица и по обстоятельствам, а не по внушениям своей неизменной мысли: он становится другим человеком и выказывает новую сторону характера, совершенно противоположную той, которой теперь занимаемся. В настоящем случае, как и во всех с ним схожих, он был выше или, если хотите, ниже расчета. Он говорит с собеседником как *власть имущий*, как судья современников, как человек, рука которого наполнена *декретами*, устраивающими их судьбу по их воле и против их воли.

Но с этой высоты представления своей жизненной задачи Гоголь по временам сходил в толпу людей, когда требовала этого необходимость, и

становился с ними лицом к лицу. Тогда обнаруживалась другая сторона его характера, о которой сейчас упомянули. Для борьбы с нерешительностью, равнодушием и противодействием он употреблял верные, чисто практические средства, и притом с разнообразием, энергией и дальновидностью расчета, заслуживающими изумления. Так было, между прочим, в эпоху печатания первого тома «Мертвых душ». Письмо к Н. Я. Прокоповичу, приведенное нами выше, имело еще приписку следующего содержания: «О книге можно объявить. Постарайся об этом. Попроси Белинского, чтобы сказал что-нибудь о ней в немногих словах, как может сказать не читавший ее. Отправься также к Сенковскому и попроси от меня поместить в литературных новостях известие, что скоро выйдет такая-то книга, такого-то, и больше ничего[*]. В этом, кажется, никто из них не имеет права отказать». Это незначительный образчик его хлопот о книге. Он писал министру просвещения, покойному графу Уварову, известное письмо, в котором, по глубокой сметливости, мельком говорит о нравственном значении нового своего произведения и указывает преимущественно на бедность и беспомощность своего положения, обнаруживая этим немаловажные познания в деловой логике и в материях, на которые она обращает особенное свое внимание. Письмо было без означения года, числа и места, откуда послано, и г. Кулиш в своей книге (т. I, с. 292) думает, что это произошло, может быть, от рассеянности, но это произошло не без умысла. Просьба выражала высшую степень незаслуженного страдания, до которого доведен человек, и могла обойтись без всех формальностей; отсутствие их, не говоря о другом, даже сообщало ей особенный вид искренности. Немного далее г. Кулиш (стр. 294), по поводу этого письма и другого к бывшему попечителю Спб. округа, князю М. А. Дондукову-Корсакову, точно в том же роде[*], замечает: «Перечитывая эти письма, значительно мною сокращенные, удивляешься простодушию поэта и его незнанию самых обыкновенных приемов в сношениях с людьми такого рода, по такому делу и при таких обстоятельствах. Не думаю, однакож, чтобы эти недостатки понижали Гоголя хотя одним градусом во мнении истинно благородно мыслящего человека. Нет, зная ничтожество его в жизни практической, неловкости в сношениях с людьми, мелочные причуды характера, или какие бы то ни было нравственные недостатки, мы тем больше должны почитать пламень его таланта. Глядя таким образом на поэта, мы не оскорбим *его памяти своим любопытством, доискивающимся его высоких поступков или мыслей и самых мелких его слабостей*». Все это место, как и несколько других в книге г-на Кулиша, следует понимать буквально наоборот, и тогда оно будет соответствовать делу и выражать справедливое мнение. Простодушия поэта нет и признаков в обоих письмах; нарушение обыкновенных условий корреспонденции вышло, как нам кажется, совсем из другого источника, чем недостаток опытности; практический смысл Гоголя составлял его отличительное

свойство, пока не пропадал в одной исключительной идее; *к пламенiего таланта* незачем обращаться благонамеренному и добросовестному исследователю, как бы к некоторому облегчительному обстоятельству в своем роде, а доискиваться причины его высоких поступков и мелких слабостей не значит оскорблять памяти Гоголя, перед которой благоговеет всякий образованный русский, а значит только удовлетворить законной потребности в истине и в великом поучении, которое представляет жизнь каждого замечательного человека.

В дополнение, мы приводим здесь из переписки с Н. Я. Прокоповичем один листок, который окончательно показывает, в каком тоне и на каких условиях требовал Гоголь ходатайства друзей перед людьми, от которых зависела судьба его рукописи, а стало быть и его собственная. Листок подтверждает также, что письма его к двум влиятельным лицам эпохи не были произведением минутной вспышки, а, напротив, составляли часть обдуманной системы. «Москва, февраль. — Я получил твое уведомление, но такое же самое, назад тому полторы недели, я получил уже от Плетнева, и с тем вместе было сказано, чтобы я готовился к печати, что на-днях мне пришлется рукопись; а между тем уже две недели прошло. Не затеялась ли опять какая-нибудь умная история? Пожалуйста, зайди к Плетневу и разведай. И попроси его, чтобы он был так добр и заехал бы сам к Уварову и князю Дондукову-Корсакову. Последний был когда-то благосклонен ко мне. Пусть он объяснит им, что все мое имущество, все средства моего существования заключаются в этом, что я прошу их во имя справедливости и человечества, потому что я и без того уже много терпел и терплю, меня слишком истомили, измучили этой историей, и что я теряю много уже через одни проволочки, давно лишенный всяких необходимых <средств существования>. Словом, пусть он объяснит им это. <Неужели> они будут так бесчувственны? Здоровье мое идет пополам: иногда лучше, иногда хуже. Но я устал крепко, всеми силами и, что всего хуже, не могу совсем работать. Чувствую, что мне нужно быть подальше от всего житейского дрязгу: он меня томит». Конечно, материальная сторона предприятия не могла быть лишена всей своей важности в глазах человека, жившего одними своими литературными трудами, но намерение держаться одной этой стороны, как лучшей пособницы в настоящем деле, доказывает уже само по себе сильное познание эпохи и немалую практическую зоркость.

И не одни влиятельные лица того времени вызывали у Гоголя уменье приноровляться к понятиям и взгляду общества, но и на самых друзьях своих он еще испытывал способность говорить языком их помыслов и наклонностей. Зная постоянное желание бывшего издателя «Современника» (Плетнева) украсить свой журнал его именем, Гоголь пишет к старому своему другу и покровителю письмо из Москвы от 6 февраля 1842. На этот раз Гоголь вдруг отказывается от печатания

«Мертвых душ», просит возвратить ему рукопись под предлогом необходимых исправлений, и только требует откровенного мнения друзей насчет достоинства и недостатков романа. Письмо это, если бы получено было своевременно в Петербурге, конечно, поразило бы всех почитателей его таланта, да, вероятно, и рассчитано было на произведение этого эффекта, способного удвоить их ходатайство по общему делу. Не довольствуясь этим, Гоголь, как бы ненароком, бросает еще в конце письма следующие слова:

«P. S. Будет ли в «Современнике» место для статьи около *семи* печатных листов, и согласитесь ли вы замедлить выход этой книжки, выдать ее не в начале, а конце апреля, то есть к празднику? Если так, то я вам пришлю в первых числах апреля. Уведомьте». Надо сказать, что единственная статья, которой он мог располагать, была именно «Рим», в чем удостоверяет нас сам автор, писавший к Прокоповичу 13 марта: «В «Москвитянине» не повесть моя, а небольшой отрывок... Это единственная вещь, которая у меня была годная для журнала». Пообещав ее «Современнику», Гоголь отдал статью в «Москвитянин», по причинам, которые опять сам же излагает: «Погодину я должен был дать что-нибудь, потому что он много сделал для меня, Плетневу я тоже должен, хотя до сих пор еще не выполнил». Статья «Рим» появилась в 3 № «Москвитянина» 1842, а вслед за тем, 17 марта, Гоголь высылает издателю «Современника» старую, хотя и вновь переделанную повесть «Портрет», которая вряд ли могла заменить для журнала подарок, сделанный «Москвитянину», а в извинение пишет, что как ни силился составить для «Современника» статью во многих отношениях современную», но, написав три «беспутных страницы», истребил ее совсем. Можно смело предполагать, что даже к этим трем «беспутным страницам» он никогда не приступал. Вдобавок, Гоголь старается еще убедить редакцию, что старая повесть более идет такому журналу, как «Современник», который должен быть весь обращен к прошлому и почти не иметь другой цели, кроме воспоминания Пушкина и собрания друзей вокруг его могилы («Записки о жизни Гоголя», т. I, стр. 295). Во всей этой, впрочем весьма обыкновенной журнальной истории важно для исследователя только одно обстоятельство, именно следующее: письмо, где Гоголь отказывается от печатания «Мертвых душ» и обещает статью, было им придержано и отослано уже спустя две недели после написания (17 февраля). Гоголь видимо причислял письмо к последним крайним мерам своим и ожидал еще известий. Когда более благоприятные известия достигли до Москвы, письмо потеряло свою самостоятельность и пошло в виде дополнения к другому спокойному и уже частью веселому сообщению (см. «Зап. о Гог.», т. I, стр. 291). Роль, на которую оно предназначалось, была снята с него, характер последнего, решительного удара потерян: оно оставалось только свидетелем протекших волнений писателя, которые должны еще были возбуждать участие и сострадание его друзей!

Мы упомянули раз имя Белинского. Ввиду влияния, которое имел этот замечательный деятель своего времени на значительный класс читателей, Гоголь не мог оставить его без внимания и с первого же знакомства получил от него услугу, немаловажную по своим последствиям. Обычный, формальный ход рукописи «Мертвых душ», как мы уже сказали, встретил в Москве какого-то рода затруднения*. Гоголь еще не знал, на что решиться, когда, пользуясь случайным пребыванием Белинского в Москве, он назначил ему в доме одного общего знакомого свидание, но, как следовало ожидать, под условием величайшего секрета. Пренебречь ропотом друзей, завязав откровенные сношения с критиком, он не мог даже по убеждениям своим. Мы знаем положительно, что Гоголь, вместе с другими членами обыкновенного своего круга, был настроен не совсем доброжелательно к Белинскому, и особенно потому, что критик стоял за суровую, отвлеченную, идеальную истину и, при случае, мало дорожил истиной исторической, а еще менее преданием, связями и воспоминаниями кружков. Гоголь несколько раз выражал недовольство свое критикой Белинского еще в Риме. С другой стороны, несмотря на тогдашнюю бдительность литературных партий и строгий присмотр за людьми, Гоголь понимал опасность оставаться безвыходно в одном кругу, да и сочувствие к деятельности Гоголя, высказанное не раз Белинским, сглаживало дорогу к сближениям: отсюда *секретные* сношения, первый пример которых подал, как известно, Пушкин, посылавший тайком критику нашему свои книги и одобрительные слова*. Не обвиняя никого, можно объяснить подобные явления чрезвычайной молодостью литературы и общества; но, как бы то ни было, при первом *таинственном* свидании Гоголя с Белинским Гоголь решился на пересылку своей рукописи в Петербург, и тогда же обсуждены были меры для сообщения ей правильного и безостановочного хода*. Белинский, возвращавшийся в Петербург, принял на себя хлопоты по первоначальному устройству этого дела, и направление, которое он дал ему тогда, может быть, решило и успех его. С ним, как мы слышали, пошла в Петербург и самая рукопись автора... Впрочем, как мы сказали, миновать известного нашего критика почти и не было возможности: он уже начинал делаться у нас странным анонимом*. Никто не произносил его имени, но литературные прения, где бы они ни завязывались, постоянно имели в виду положения, им высказанные, не говоря уже о множестве статей, невольно и неудержимо направленных в ту сторону, где стоял замечательный аноним, существование и влияние которого они старались покрыть ложным презрением! Несколько позднее явление это еще развилось и обхватило большой круг. В разговорах любителей литературы, в обществе образованных людей, занимавшихся событиями отечественной жизни и ее направлением, даже на профессорских кафедрах красноречия аноним присутствовал неизбежно. Его надобно было непременно обойти, чтоб итти далее или в другую сторону. Точно так поступал и Гоголь: ни разу

не произносит он имени Белинского во всей своей переписке с друзьями, но протягивает ему руку за спиной их. После отъезда Белинского в Петербург Гоголь получил от него длинное, пространное письмо с мыслями, касавшимися, вероятно, внутреннего значения «Мертвых душ» и будущего их продолжения*. Так можно, по крайней мере, заключить из следующего отрывка, писанного Гоголем к Н. Я. Прокоповичу в мае 1842: «Я получил письмо от Белинского. Поблагодари его. Я не пишу к нему, потому что минуты не имею времени и потому, что, как сам он знает, обо всем этом нужно потрактовать и поговорить лично, что мы и сделаем в нынешний мой проезд через Петербург». Действительно, в доме Прокоповича в Петербурге устроено было опять совещание, не требовавшее уже таких предосторожностей, как московский его предшественник, но все-таки носившее характер секрета, без которого Гоголь не мог его ни понять, ни представить себе. Через два месяца после выезда своего из Петербурга за границу, именно из Гастейна (в Тироле), Гоголь делает еще следующую приписку к Прокоповичу, которая, если не ошибаемся, показывает присутствие некоторого чувства доверенности и уважения к критику: «Да, пожалуйста, попроси Белинского отпечатать для меня особенно листки критики «Мертвых душ», если она будет в «Отечественных записках», на бумаге, если можно, потонее, чтобы можно было прислать мне ее прямо в письме, и присылай мне по листам, по мере того, как будет выходить». Конечно, тут есть частью выражение того любопытства, какое обнаруживал вообще Гоголь в отношении суждений и толков о себе, но тут есть вместе с тем, как нам кажется, и кое-что более. Таким образом, под покровом равнодушия и внешней холодности, способных обмануть глаза приятелей, он отдавал должное нравственной силе, не признаваемой другими, и таким образом, скажем еще, люди самых различных положений в обществе самых разнородных стремлений и характеров действовали одинаково в его пользу или в пользу его дела.

Наконец «Мертвые души» вышли из печати: Алекс. Иван. Тургенев, получивший это известие из России, распространил его в Париже, и легко понять, с каким восторгом принято было оно всеми, которые отчасти ознакомились с содержанием и направлением романа. С этих пор начинаются беспрерывные разъезды Гоголя по Европе.

В мае 1842 он покидает Петербург*, направляется к югу, живет довольно долго с больным Н. М. Языковым в Гастейне, и осенью вместе с ним является в Рим, где остается на зиму 1842–1843. Весь следующий остаток 1843 проводит он в беспрерывных разъездах; осенью посещает Дюссельдорф, где жил В. А. Жуковский, и, наконец, является (в декабре 1843) в Ниццу: здесь уже, благодаря обществу А. О. Смирновой, гр. Виельгорского и других близких людей, Гоголь останавливается несколько долее — вплоть до весны 1844. Затем он переселяется во

Франкфурт, в загородный домик Жуковского, основавшего там свое местопребывание, и, с малыми отлучками в Баден, Остенде, Париж и на разные воды, живет у него до лета 1845. Таким образом, Ницца и Франкфурт остаются пунктами самого долгого его пребывания на одном месте. Затем является снова год безостановочных вояжей (от лета 1845 до весны 1846) и вместе с тем это год болезни, лечения, душевной тревоги, сменяемой невыразимыми порывами мистического экстаза, посещающего его все чаще и чаще. Он успокоивается несколько в Риме, но весной выезжает оттуда в Париж, направляясь к морским купаньям в Остенде, изменяет, однакоже, на дороге свой маршрут и поворачивает из Парижа на Дунай, а оттуда через Швальбах (близ Рейна), где ожидает его В. А. Жуковский, с которым он так давно расстался, — достигает цели путешествия. Из Швальбаха (30 июля), между прочим, Гоголь отправляет в Петербург к П. А. Плетневу первую тетрадку «Выбранной переписки с друзьями», заготовленную еще в Риме. Второй период его развития кончился; плоды римского созерцания, определяющий и идеализирующий взгляд на русское общество, теория безграничного самосовершенствования, поражающая художническую производительность в самом источнике, и, наконец, понимание себя, как орудия в руках предопределения, и мучительные догадки о видах и целях его в отношении к себе — все это окончательно воспиталось и созрело среди этих четырехлетних беспрерывных разъездов, перемешанных с остановками... Покажем здесь степени этого развития, сколько позволяют пределы и цель нашей статьи, и воротимся снова к воспоминаниям.

Во второй половине 1842 и в начале 1843 мысль Гоголя еще далеко не достигла последних пределов того пути, по которому устремилась. Он занимается изданием своих «Сочинений», начатом в Петербурге, и входит в мельчайшие подробности касательно этого дела. Распределение статей, условия с книгопродавцами, время выпуска, выгоды, каких можно ожидать от предприятия, и, наконец, употребление будущих сумм — все взвешено и обсуждено им с необычайною аккуратностью: он занят жизнию весьма серьезно. Почта за почтою присылает Гоголь издателю своему перемены, дополнения, прибавки к разным статьям. Так прислано было окончание «Игроков» и велено было включить фразу в речь Утешительного, после слов: «На, немец, возьми, съешь свою семерку»: «Руте, решительное руте; просто карта — фоска». «Эту фразу, — прибавляет Гоголь, — включи непременно — она настоящая армейская и в своем роде не без достоинства». Вероятно, он и услыхал ее где-нибудь тогда же. Так точно, усилив еще выразительность монолога Кочкарева, начинающегося словами: «Да что ж за беда? Ведь иным плевали несколько раз», Гоголь предписывает озаглавить комедию следующим образом: «Женитьба, совершенно невероятное событие, в двух действиях». Затем присылает он подробное описание немой сцены, которая должна быть приложена к

концу «Ревизора» и выполнение которой он хочет сделать обязательной для актеров. Общий характер всех этих перемен и сила самой критической способности в Гоголе весьма хорошо выражаются следующим отрывком из его письма к Н. Я. Прокоповичу: «Гастейн. Июля 27/15 (1842). Я к тебе еще не посылаю остальных двух лоскутков, потому что многое нужно переправить, особливо в «Театральном разъезде после представления новой пиесы». Она написана сгоряча, скоро после представления «Ревизора», и потому немножко нескромна в отношении к автору. Ее нужно сделать несколько идеальней, то есть, чтобы ее применить можно было ко всякой пиесе, задирающей общественные злоупотребления, а потому я прошу тебя не намекать и не выдавать ее, как написанную по случаю «Ревизора».

При корректуре второго тома прошу тебя действовать как можно самоуправней и полновластней: в «Тарасе Бульбе» много есть погрешностей писца. Он часто любит букву *и*; где она не у места, там ее выбрось; в двух-трех местах я заметил плохую грамматику и почти отсутствие смысла. Пожалуйста, поправь везде с такою же свободою, как ты переправляешь тетради своих учеников. Если где частое повторение одного и того же оборота периодов, дай им другой, и никак не сомневайся и не задумывайся, будет ли хорошо, — все будет хорошо. Да вот что самое главное: в нынешнем списке слово: «слышу», произнесенное Тарасом пред казнью Остапа, заменено словом: «чую». Нужно оставить попрежнему, то есть «*Батько, где ты?* Слышишь ли это? — Слышу». Я упустил из виду, что к этому слову уже привыкли читатели и потому будут недовольны переменою, хотя бы она была и лучше». Так еще заботится Гоголь о себе, как о писателе, и презрения ко всей своей прошлой литературной деятельности нет еще тут и признаков.

Совсем другое является с половины 1843… Прежде всего следует заметить, что выпуск второй части «Мертвых душ» откладывается тогда на неопределенное время. Нам уже почти несомненно известно теперь, что эта вторая часть в первоначальном очерке была у него готова около 1842 года (есть слухи, будто она даже переписывалась в Москве в самое время печатания первой части романа*). Вероятно, и тогда она уже носила определяющий и идеализирующий характер. Гоголь не скрывал как этого свойства нового произведения, так и относительной близости его появления. Он писал в 1842, что едет в Иерусалим, как только довершит свое произведение, и несколько раз повторяет эту мысль, намекая и на скорое исполнение плана: «Только по совершенном окончании труда моего могу я предпринять этот путь… Окончание труда моего пред путешествием моим так необходимо мне, как необходима душевная исповедь пред святым причащением».[121] Но с половины 1843 все изменяется: путешествие в Иерусалим уже становится не признаком окончания романа, а представляется как необходимое условие самого

творчества, как поощрение и возбуждение его. Вместе с тем роман уходит в даль, в глубь и тень, а на первый план выступает нравственное развитие автора. В течение недолгого срока оно достигает такой степени, по мнению Гоголя, что сочинение уже не может равняться с ним и стоит неизмеримо ниже мысли творца своего. Николай Васильевич начинает молить бога дать ему силы поднять произведение свое на высоту тех откровений, какие уже получила душа его. В половине 1843 друзья Гоголя извещаются письменно об изменившихся его намерениях касательно второго тома «Мертвых душ» и об устранении всех надежд на скорое его появление. Н. Я. Прокопович тоже получает своего рода предостережение. Пользуясь невинной его заметкой о нетерпении публики видеть продолжение романа, Гоголь отправляет ему следующее строгое и торжественное письмо, как все его письма, заключавшие намеки на видоизменения романа:

«Мюнхен. Мая 28 (1843). Твое письмо меня еще более удивило, чем, вероятно, удивило мое тебя. Откуда и кто распускает всякие слухи обо мне? Говорил ли я когда-нибудь тебе, что буду сам летом в Петербурге? или что буду печатать второй том в этом году? и что значат твои слова: *не хочу тебя обижать подозрением в лености до такой степени, что будто ты не приготовил второго тома «Мертвых душ» к печати?* Точно «Мертвые души» блин, который можно испечь. Загляни в жизнеописание сколько-нибудь знаменитого автора или даже хотя замечательного: что ему стоила большая обдуманная вещь, которой он отдал всего себя, и сколько времени заняла? — Всю жизнь, ни больше, ни меньше. Где ж ты видел, чтобы произведший эпопею произвел, сверх того, пять, шесть других? Стыдно тебе быть таким ребенком и не знать этого! От меня менее всего можно требовать скорости тому, кто сколько-нибудь меня знает, во-первых уже потому, что я терпеливее, склонен к строгому обдумыванию и притом еще во многом терплю всякие помешатель<ства> от всяких болезненных припадков. «Мертвые души» не только не приготовлен второй том к печати, *но даже и не написан*, и раньше двух лет (если только мои силы будут постоянно свежи в это время) не может выдти в свет. А что публика желает и требует второго тома — это не резон; публика может быть умна и справедлива, когда имеет уже в руках, что надобно рассудить и (над чем) поумничать; а в желаниях публика всегда дура, потому что руководствуется только мгновенною минутною потребностью. Да и почему знает она, что такое будет во втором томе? Может быть, то, о чем даже ей не следует и знать и читать в теперешнюю минуту, и ни я, ни она не готовы для второго тома».

Так, после зимы в Ницце, все обращается для Гоголя в вопрос, начиная с его авторской деятельности. Содержание нашего отрывка, несмотря на презрительный и горделивый тон его, все еще держится предметов общественного и литературного свойства, но в письмах к московским

друзьям Гоголь весь отдается мистическому направлению и в нем почерпает доводы для временного прекращения и изменения своей деятельности как писателя. С этой поры также начинает выказываться та наклонность к упрекам и выговорам, которая отличала потом все его сношения с людьми близкими и дальними. Высшее нравственное состояние, до которого он достиг, по его мнению, дозволяло и узаконяло голый упрек: Николай Васильевич потерял даже и представление о его житейском, оскорбляющем свойстве. Рядом с этим встречается, однакоже, весьма трогательная и благородная черта характера в Гоголе. Как только раздавался голос живого человека, отозвавшегося на его удары, как только достигал до него вопль затронутой души, Гоголь вдруг падал с высоты всего предполагаемого своего развития, предавался глубочайшему раскаянию, старался загладить или изменить смысл неосторожного выражения, и при этом все казалось ему хорошо — нежное, ласкающее слово, одобрение, подымающее силы, мольба и лесть… Так действует он постоянно в течение четырех последних лет пребывания за границей со всеми друзьями своими.

К той же последней половине 1843 относим мы первое уничтожение рукописи «Мертвых душ» из трех, какому она подверглась. Если нельзя с достоверностию говорить о совершенном истреблении рукописи второго тома в это время, то, кажется, можно допустить предположение о совершенной переделке его, равняющейся уничтожению. Так, по крайней мере, можно заключить из всех писем Гоголя и особенно из письма к В. А. Жуковскому от 2 декабря 1843: роман, за которым уже около трех лет работал автор, представляет в эту эпоху, по собственному его признанию, один первоначальный хаос: это груд, только что зарождающийся. Вот слова самого Гоголя:

«Я продолжаю работать, то есть *набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание* «Мертвых душ». Труд и терпение, и даже приневоливание себя, награждают меня много. Такие открываются тайны, которых не слышала дотоле душа, и многое в мире становится после этого труда ясно. Поупражняясь хотя немного в науке создания, становишься в несколько крат доступнее к прозрению великих тайн божьего создания, и видишь, что чем дальше уйдет и углубится во что-либо человек — кончит все тем же: одною полною и благодарною молитвою».

В смысле этих слов ошибиться, кажется, нельзя: набрасывание хаоса, из которого должно произойти создание «Мертвых душ», не может относиться ни к продолжению поэмы, ни к отделке какой-либо части ее. Не о постепенности в творчестве или обыкновенном ходе его говорит это место, а о новой творческой материи, из которой начинают отделяться части создания по органическим законам, сходным с законами мироздания. Старая поэма была уничтожена; является другая, при

обсуждении которой открываются тайны высокого творчества с тайнами, глубоко схороненными в недрах русского общества. Обновление поэмы было полное...

Между тем наступил 1844 год, важнейший во втором периоде гоголевского настроения. Одну половину его Гоголь пробыл, как известно, в Ницце, а другую во Франкфурте, с временными отлучками из обоих городов, не заслуживающими упоминовения. Он начинает этот год раздачей экземпляров «Подражания Христу»[*] друзьям, оставшимся в России, и кончает признанием, что за работой самосовершенствования уже никакие земные утраты не в силах огорчить его. (Письма, том VI, стр. 136.) «Сочинения» свои, с такими хлопотами изданные два года тому назад, он неоднократно объявляет произведениями глупой молодости, да и первая часть «Мертвых душ» не избегает почти того же отзыва (см. в Письмах Гоголя, т. VI, стр. 204). Наставления, упреки, идеалы для образа жизни и объяснения их посылаются друзьям в разных видах, перемешанные с тем возвращением на собственные слова и поправкой собственных слов, какие идут у него почти всегда рядом с самым твердым, повидимому неизменным и решительным приговором. Он сосредоточивается весь на переписке с друзьями и на соображениях, касающихся романа. Там и здесь у него одна задача: помочь ближнему, и в его освобождении от пороков и несчастий времени найти собственное спасение; но он ищет общего благодатного лекарства, способного целить злые недуги зараз и награждать больного ничем не заслуженными радостями... Цель, таким образом поставленную, называет он своим житейским подвигом, забывает для нее опыт, науку и мало-помалу начинает выделять самого себя и мысль свою из современного развития, из насущных требований общества, — из жизни. Он усиливается смотреть поверх голов, занятых обыденным, безотлагательным делом времени, открывает новые горизонты, перспективы, светлые сияния в тех сторонах, куда покамест нет никаких путей. Мираж этот кажется ему важнее всего, что делается около него. Торжественно принимает он на себя роль моралиста, но как мало было в нем призвания к этой роли, показала потом его книга «Выбранная переписка». В ней он оскорбляет общее чувство справедливости, проповедуя смирение там, где не было ни малейшей кичливости, требуя любви, жертв и примирения не у тех, которые провинились особенно постоянством отпора, сухости и презрения к другим. Мысль общества начинает уже скрываться от того человека, который первый ее открыл и почувствовал в себе, и это несчастное одиночество Гоголь принимает за высокий успех, рост в вышину, великое нравственное превосходство. Тогда сама собой является необходимость разрешения вопросов и литературных задач посредством призраков и фантомов, что так поражает в оставшейся нам второй части «Мертвых душ». Именно около этой эпохи задуманы лица вроде Костанжогло, который должен был явиться типом совершеннейшего помещика-землевладельца, типом,

возникшим из соединения греческой находчивости с русским здравомыслием и примирения двух национальностей, родных по вере и преданиям. Участие призрака в создании еще виднее на другом лице — откупщике Муразове, который вместе с практическим смыслом, наделившим его монтекристовскими миллионами, обладает высоким нравственным чувством, сообщившим ему дар сверхъестественного убеждения. Крупная разжива со всеми ее средствами, не очень стыдливыми по природе своей, награждена еще тут благодатию понимать таинственные стремления душ, открывать в них вечные зародыши правды и вести их с помощью советов и миллионов к внутреннему миру, к блаженству самодовольствия и спокойствия. Это примирение капитала и аскетизма поставлено, однакоже, на твердом нравственном грунте, и здесь-то нельзя удержаться от глубокого чувства скорби и сожаления. Основная мысль второй части «Мертвых душ», как и все нравственные стремления автора, направлены к добру, исполнены благих целей, ненависти и отвращения ко всякой духовной неурядице. Вторая часть «Мертвых душ» чуть ли не превосходит первую по откровенности негодования на житейское зло, по силе упрека безобразным явлениям нашего быта и в этом смысле, конечно, превосходит все написанное Гоголем прежде поэмы[*]. Самый замысел повести, даже в нынешнем несовершенном своем виде, поражает читателя обширностию размеров, а некоторые события романа, лучше других отделанные, с необычайным мастерством захватывают наиболее чувствительные стороны современного общества: довольно указать, в подтверждение того и другого, на план окончания второй части с одной стороны, на начинавшуюся историю Тентетникова — с другой. Да и в самой «Переписке с друзьями», ныне изданной, сколько попадается заметок, показывающих глубочайшее познание сердца человеческого, изощренное постоянным наблюдением за собой и за другими, сколько светлого пояснения едва приметных душевных волнений, доступных только чувству и глазу опытного, искушенного психолога, наконец сколько отдельных моральных положений неотразимой истины и несомненного достоинства. Ввиду всех этих разбросанных сокровищ, у которых от близости с фальшивыми ценностями отнята или, по крайней мере, значительно ослаблена возможность приносить пользу, грусть и истинное сожаление овладевают читателем, и невольно слышится ему, что жизнь великого и здравомыслящего писателя, осужденного на бесплодие самым направлением своим, должна неминуемо кончиться грозной и мучительной драмой.

К концу этого развития я опять встретился с Гоголем. Надо сказать, что со времени выезда моего из Рима я уже более не видал Гоголя вплоть до 1846 года. Два раза получил я от него по письму, в России, из которых первое заключало обыкновенные его комиссии, касавшиеся присылки книг и сообщения толков о его произведениях, а второе (1844)[*] содержало выговор за резкие суждения о людях, не понимавших или

хуливших его литературную деятельность. Тем и ограничивались все наши сношения в течение пятилетней разлуки. Проезжая через Париж в 1846 году, я случайно узнал о прибытии туда же Николая Васильевича, остановившегося, вместе с семейством гр. <А. П.> Толстого (впоследствии обер-прокурора Синода), в отеле улицы De la Paix. На другой же день я отправился к нему на свидание, но застал его уже одетым и совсем готовым к выходу по какому-то делу. Мы успели перекинуться только несколькими словами. Гоголь постарел, но приобрел особенного рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа. Оно оттенялось, по-старому, длинными, густыми волосами до плеч, в раме которых глаза Гоголя не только что не потеряли своего блеска, но, казалось мне, еще более исполнились огня и выражения. Николай Васильевич быстро перебежал через все обычные выражения радости, неизбежные при свиданиях, и тотчас заговорил о своих петербургских делах. Известно, что после издания своих «Сочинений»[*] Гоголь жаловался на путаницу в денежных расчетах, которой, однакоже, совсем не было: Николай Васильевич забыл только сам некоторые из своих распоряжений. Тогда уже все было объяснено, но Николай Васильевич не желал казаться виноватым и говорил еще с притворным неудовольствием о хлопотах, доставленных ему всеми этими расчетами. Затем он объявил, что через два-три дня едет в Остенде купаться, а покамест пригласил меня в Тюльерийский сад, куда ему лежала дорога. Мы отправились. На пути он подробно расспрашивал, нет ли новых сценических талантов, новых литературных дарований, какого рода и свойства они, и прибавлял, что новые таланты теперь одни и привлекают его любопытство: «Старые все уже выболтали, а все еще болтают». Он был очень серьезен, говорил тихо, мерно, как будто весьма мало занятый своим разговором. При расставании он назначил мне вечер, когда будет дома, исполняя мое желание видеть его еще раз до отъезда в Остенде.

Вечер этот был, однакоже, не совсем удачен. Я нашел Гоголя в большом обществе, в гостиной семейства, которому он сопутствовал. Николай Васильевич сидел на диване и не принимал никакого участия в разговоре, который вскоре завязался около него. Уже к концу беседы, когда зашла речь о разнице поучений, какие даются наблюдением двух разных народов, английского и французского, и когда голоса разделились в пользу того или другого из этих народов, Гоголь прекратил спор, встав с дивана и проговорив длинным, протяжным тоном: «Я вам сообщу приятную новость, полученную мною с почты». Вслед за тем он вышел в другую комнату и возвратился через минуту назад с писанной тетрадкой в руках. Усевшись снова на диван и

придвинув к себе лампу, он прочел торжественно, с сильным ударением на слова, и заставляя чувствовать везде, где можно, букву *о*, новую «Речь» одного из известных духовных витий наших. «Речь» была действительно не дурна, хотя нисколько не отвечала на возникшее прение и не разрешала его нимало. По окончании чтения молчание сделалось всеобщим; никто не мог ни связать, ни даже отыскать нить прерванного разговора. Сам Гоголь погрузился в прежнее бесстрастное наблюдение; я вскоре встал и простился с ним. На другой день он ехал в Остенде.

Все это было весной, когда для туриста открываются дороги во все концы Европы. Следуя общему движению, я направился в Тироль, через Франконию и южную Германию. По обыкновению я останавливался во всех городах на моем пути и прибыл таким образом в Бамберг, где и расположился осмотреть подробнейшим образом окрестности и знаменитый собор его. Последний, как известно, принадлежит XII столетию, времени полного развития так называемого романского стиля, и стоит на горе, у подножия которой раскинулся город, связанный так неразлучно с воспоминаниями молодости, по милости «Геца фон-Берлихингена»*. Романские соборы, признаюсь, действовали на меня еще более готических в Европе: они разнообразнее последних, символика их гораздо затейливее и в мистических их барельефах, перемешанных с забавными фигурами вседневной жизни, более порыва, свежести и молодости. Пищи для любопытства и изучения в каждом романском соборе чрезвычайно много, и вот почему на другой день моего приезда в Бамберг я часа два или три пробыл между массивными столбами его главной церкви. Усталый и измученный более наблюдением и соображениями, чем самою ходьбою, я покинул собор и начал уже спускаться вниз с горы, когда на другом конце спуска увидел человека, подымающегося в гору и похожего на Гоголя как две капли воды. Предполагая, что Николай Васильевич теперь уже в Остенде и, стало быть, позади меня, я с изумлением подумал об этой игре природы, которая из какого-нибудь почтенного бюргера города Бамберга делает совершенное подобие автора «Вечеров на хуторе», но не успел я остановиться на этой мысли, как настоящий, действительный Гоголь стоял передо мною. После первого моего восклицания: «Да здесь следовало бы жертвенник поставить, Николай Васильевич, в воспоминание нашей встречи», он объяснил мне, что все еще едет в Остенде, но только взял дорогу через Австрию и Дунай.[122] Теперь дилижанс его остановился в Бамберге, предоставив немцам час времени для насыщения их желудков, а он отправился поглядеть на собор. Я тотчас поторопился с ним назад и когда, полный еще испытанных впечатлений, стал ему показывать частности этой громадной и великолепной постройки, он сказал мне: «Вы, может быть, еще не знаете, что я сам знаток в архитектуре». Обозрев внутренность, мы принялись за внешние подробности, довольно долго глядели на

колокольни и на огромного каменного человека (чуть ли не изображение строителя), который выглядывал с балкона одной из них; затем мы возвратились опять к спуску. Гоголь принял серьезный, торжественный вид: он собирался послать из Швальбаха, куда ехал, первую тетрадку «Выбранной переписки» в Петербург и, по обыкновению, весь был проникнут важностью, значением, будущими громадными следствиями новой публикации. Я тогда еще и не понимал настоящего смысла таинственных, пророческих его намеков, которые уяснились мне только впоследствии. «Нам остается не много времени, — сказал он мне, когда мы стали медленно спускаться с горы, — и я вам скажу нужную для вас вещь... Что вы делаете теперь?» Я отвечал, что нахожусь в Европе под обаянием простого чувства любопытства. Гоголь помолчал и потом начал говорить отрывисто; фразы его звучат у меня в ушах и в памяти до сих пор: «Это черта хорошая... но все же это беспокойство... надо же и остановиться когда-нибудь... Если все вешать на одном гвозде, так уже следует запастись, по крайней мере, хорошим гвоздем... Знаете ли что?.. Приезжайте на зиму в Неаполь... Я тоже там буду». Не помню, что я отвечал ему, только Гоголь продолжал: «Вы услышите в Неаполе вещи, которых и не ожидаете... Я вам скажу то, что до вас касается... да, лично до вас... Человек не может, предвидеть, где найдет его нужная помощь... Я вам говорю — приезжайте в Неаполь... я открою тогда секрет, за который вы будете меня благодарить». Полагая, что настоящий смысл загадочных слов Гоголя может быть объяснен приближающимся сроком его вояжа в Иерусалим, для которого он ищет теперь товарища, я высказал ему свою догадку. «Нет, — отвечал Гоголь. — Конечно, это дело хорошее... мы могли бы вместе сделать путешествие, но прежде может случиться еще нечто такое, что вас самих перевернет... тогда вы уже и решите сами все... только приезжайте в Неаполь... Кто знает, где застигнет человека новая жизнь...» В голосе его было так много глубокого чувства, так много сильного внутреннего убеждения, что, не давая решительного слова, я обещал, однакоже, серьезно подумать о его предложении. Гоголь перестал говорить об этом предмете и остальную дорогу с какой-то задумчивостью, исполненной еще страсти и сосредоточенной энергии, если смею так выразиться, мерным, отрывистым, но пламенным словом стал делать замечания об отношениях европейского современного быта к быту России. Не привожу всего, что он говорил тогда о лицах и вещах, да и не все сохранилось в памяти моей. «Вот, — сказал он раз, — начали бояться у нас европейской неурядицы — пролетариата... думают, как из мужиков сделать немецких фермеров... А к чему это?.. Можно ли разделить мужика с землею?.. Какое же тут пролетариатство? Вы ведь подумайте, что мужик наш плачет от радости, увидав землю свою; некоторые ложатся на землю и целуют ее как любовницу. Это что-нибудь да значит?.. Об этом-то и надо поразмыслить». Вообще он был убежден тогда, что русский мир составляет отдельную сферу, имеющую свои

законы, о которых в Европе не имеют понятия. Как теперь смотрю на него, когда он высказывал эти мысли своим протяжным, медленно текущим голосом, исполненным силы и выражения. Это был совсем другой Гоголь, чем тот, которого я оставил недавно в Париже, и разнился он значительно с Гоголем римской эпохи. Все в нем установилось, определилось и выработалось. Задумчиво шагал он по мостовой в коротеньком пальто своем, с глазами, устремленными постоянно в землю, и поглощенный так сильно мыслями, что, вероятно, не мог дать отчета себе о физиономии Бамберга через пять минут после выезда из него. Между тем мы подошли к дилижансу: там уже впрягали лошадей, и пассажиры начали суетиться около мест своих. «А что, разве вы и в самом деле останетесь без обеда?» — спросил я. «Да, кстати, хорошо, что напомнили: нет ли здесь где кондитерской или пирожной?» Пирожная была под рукою. Гоголь выбрал аккуратно десяток сладких пирожков, с яблоками, черносливом и вареньем, велел их завернуть в бумагу и потащил с собой этот обед, который, конечно, не был способен укрепить его силы. Мы еще немного постояли у дилижанса, когда раздалась труба кондуктора. Гоголь сел в купе, поместившись как-то боком к своему соседу — немцу пожилых лет, сунул перед собой куда-то пакет с пирожками и сказал мне: «Прощайте еще раз... Помните мои слова... Подумайте о Неаполе». Затем он поднял воротник шинели, которую накинул на себя при входе в купе, принял выражение мертвого, каменного бесстрастия и равнодушия, которые должны были отбить всякую охоту к разговору у сотоварища его путешествия, и в этом положении статуи с полузакрытым лицом, тупыми, ничего не выражающими глазами еще кивнул мне головой... Карета тронулась.

Таким образом, расквитался я с ним с моей стороны за проводы из Альбано. Мы так же расстались у дилижанса в то время, но какая разница между тогдашним живым, бодрым Гоголем и нынешним восторженным и отчасти измученным болезнию мысли, отразившейся и на красивом, впалом лице его.

В 1847 году вышли, наконец, «Выбранные места из переписки с друзьями». В том самом Неаполе, куда звал меня Николай Васильевич, застала его буря осуждений и упреков, которая понеслась на встречу книги, сразила и опрокинула ее автора. Путешествие в Иерусалим было отложено. С высоты безграничных надежд Гоголь падал вдруг в темную, безотрадную пучину сомнений и новых неразрешимых вопросов. Известно, что тогда произошло. Вторая часть «Мертвых душ», созданная под влиянием идей «Выбранной переписки», подверглась новой переделке. Гоголь противопоставляет впервые истинно христианское смирение ударам, которые сыплются на него со всех сторон. Глубоко трогательная и поучительная драма, еще никем и не подозреваемая, получает место и укореняется в его душе. Рассказать все, что знаешь об этом страшном периоде его жизни, и рассказать добросовестно, с

глубоким уважением к великой драме, которая завершила его, есть, по нашему мнению, обязанность каждого, кто знал Н. В. Гоголя и кому дороги самая неприкосновенность, значение и достоинство его памяти.

П. В. Анненков. Из «Замечательного десятилетия»*

...Поселясь в Петербурге, Белинский начал ту многотрудную, работящую жизнь, которая продолжалась для него восемь лет сряду, почти без всякого перерыва, потрясла самый организм и заела его*...

...У Белинского, взамен общества, были тогда три постоянные, неразлучные собеседника, которых наслушаться вдоволь он почти уже и не мог, именно — Пушкин, Гоголь и Лермонтов. О Пушкине говорить не будем: откровения его лирической поэзии, такой нежной, гуманной и вместе бодрой и мужественной, приводили Белинского в изумление, как волшебство или феноменальное явление природы. Он не отделался от обаяния Пушкина и тогда, когда, ослепленный творчеством Лермонтова, весь обратился к новому светилу поэзии и ждал от него переворота в самих понятиях о достоинстве и цели литературного призвания. При отъезде моем за границу в октябре 1840 года Белинский спросил, какие книги я беру с собою. «Странно вывозить книги из России в Германию», — отвечал я. «А Пушкина?» — «Не беру и Пушкина»... — «Лично для себя, я не понимаю возможности жить, да еще и в чужих краях, без Пушкина», — заметил Белинский.

О втором его собеседнике — Гоголе — скажем сейчас несколько пояснительных слов. Но что касается отношений, образовавшихся между Белинским и третьим, самым поздним или самым новым и молодым его собеседником — именно Лермонтовым, то они составляют такую крупную психическую подробность в жизни нашего критика, что о ней следует говорить особо.

Важное значение Белинского в самой жизни Н. В. Гоголя и огромные услуги, оказанные им автору «Мертвых душ», уже были указаны нами в другом месте.[123] Мы уже говорили, что Белинский обладал способностью отзываться, в самом пылу какого-либо философского или политического увлечения, на замечательные литературные явления с авторитетом и властью человека, чувствующего настоящую свою силу и призвание свое. В эпоху шеллингианизма одною из таких далеко озаряющих вспышек была статья Белинского «О русской повести и повестях Гоголя», написанная вслед за выходом в свет двух книжек Гоголя: «Миргород» и «Арабески» (1835 г.). Она и уполномочивает нас сказать, что настоящим восприемником Гоголя в русской литературе, давшим ему имя, был Белинский. Статья эта, вдобавок, пришлась очень кстати. Она подоспела к тому горькому времени для Гоголя, когда, вследствие претензии своей на профессорство и на ученость *по вдохновению*, он осужден был выносить самые злостные и ядовитые

нападки не только на свою авторскую деятельность, но и на личный характер свой. Я близко знал Гоголя в это время и мог хорошо видеть, как, озадаченный и сконфуженный не столько ярыми выходками Сенковского и Булгарина, сколько общим осуждением петербургской публики, ученой братии и даже приятелей, он стоял совершенно одинокий, не зная, как выйти из своего положения и на что опереться. Московские знакомые и доброжелатели его покамест еще выражали в своем органе («Московском наблюдателе»)* сочувствие его творческим талантам весьма уклончиво, сдержанно, предоставляя себе право отдаваться вполне своим впечатлениям только наедине, келейно, в письмах, домашним образом. Руку помощи в смысле возбуждения его упавшего духа протянул ему, тогда никем не прошенный, никем не ожиданный и совершенно ему неизвестный Белинский, явившийся с упомянутой статьей в «Телескопе» 1835-го года. И с какой статьей! Он не давал в ней советов автору, не разбирал, что в нем похвально и что подлежит нареканию, не отвергал одной какой-либо черты, на основании ее сомнительной верности или необходимости для произведения, не одобрял другой, как полезной и приятной, — а, основываясь на сущности авторского таланта и *на достоинстве его миросозерцания*, просто объявил, что в Гоголе русское общество имеет будущего *великого писателя*. Я имел случай видеть действие этой статьи на Гоголя. Он еще тогда не пришел к убеждению, что московская критика, то есть критика Белинского, злостно перетолковала все его намерения и авторские цели, — он благосклонно принял заметку статьи, а именно, что «чувство глубокой грусти, чувство глубокого соболезнования к русской жизни и ее порядкам слышится во всех рассказах Гоголя», и был доволен статьей, и более чем доволен, он был осчастливлен статьей, если вполне верно передавать воспоминания о том времени. С особенным вниманием остановился в ней Гоголь на определении качеств истинного творчества, и раз, когда зашла речь о статье, перечитал вслух одно ее место: «Еще создание художника есть тайна для всех, еще он не брал пера в руки, — а уже видит их (образы) ясно, уже может счесть складки их платья, морщины их чела, изборожденного страстями и горем, а уже знает их лучше, чем вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать, сестру, возлюбленную сердца; также он знает и то, что они будут говорить и делать, видит всю нить событий, которая обовьет и свяжет между собою…» — «Это совершенная истина», — заметил Гоголь, и тут же прибавил с полузастенчивой и полунасмешливой улыбкой, которая была ему свойственна: «Только не понимаю, чем он (Белинский) после этого восхищается в повестях Полевого»*. Меткое замечание, попавшее прямо в больное место критика; но надо сказать, что, кроме участия романтизма в благожелательной оценке рассказов Полевого, была у Белинского и еще причина для нее. Белинский высоко ценил тогда заслуги знаменитого журналиста и глубоко соболезновал о насильственном прекращении его

деятельности по изданию «Московского телеграфа»; все это повлияло на его суждение и о беллетристической карьере Полевого*.

Но решительное и восторженное слово было сказано, и сказано не наобум. Для поддержания, оправдания и укоренения его в общественном сознании Белинский издержал много энергии, таланта, ума, переломал много копий, да и не с одними только врагами писателя, открывавшего у нас реалистический период литературы, а с друзьми его. Так, Белинский опровергал критика «Московского наблюдателя» 1835 года*, когда тот, в странном энтузиазме, объявил, будто за одно «слышу», вырвавшееся из уст Тараса Бульбы в ответ на восклицание казнимого и мучимого сына: «Слышишь ли ты это, отец мой?» будто за одно это восклицание — «слышу», Гоголь достоин был бы бессмертия*; а в другой раз опровергал того же критика, и не менее победоносно, когда тот выразил желание, чтобы в рассказе «Старосветские помещики» не встречался намек на *привычку*, а все сношения между идиллическими супругами объяснялись только одним нежным и чистым чувством, без всякой примеси*.

Вспомним также, что «Ревизор» Гоголя, потерпевший фиаско при первом представлении в Петербурге и едва не согнанный со сцены стараниями «Библиотеки для чтения», которая, как говорили тогда, получила внушение извне преследовать комедию эту, как политическую, несвойственную русскому миру, — возвратился благодаря Белинскому на сцену уже с эпитетом «гениального произведения». Эпитет даже удивил тогда своей смелостью самих друзей Гоголя, очень высоко ценивших его первое сценическое произведение. А затем, не останавливаясь перед осторожными заметками благоразумных людей, Белинский написал еще резкое возражение всем хулителям «Ревизора» и покровителям пошловатой комедии Загоскина «Недовольные», которую они хотели противопоставить первому. Это возражение носило просто заглавие: «От Белинского», и объявляло Гоголя безоглядно великим европейским художником, упрочивая окончательно его положение в русской литературе. Белинский сам вспоминал впоследствии с некоторой гордостью об этом подвиге «прямой», как говорил, критики, опередившей критику «уклончивую» и указавшей ей путь, по которому она и пошла... Таковы были услуги Белинского по отношению к Гоголю; но последний не остался у него в долгу, как увидим.

Николай Васильевич Гоголь жил уже за границей в описываемое нами время, и уже два года как основался в Риме, где и посвятил себя всецело окончанию первой части «Мертвых душ». Правда, он побывал в Петербурге зимой 1839 года и читал нам здесь первые главы знаменитой своей поэмы, у Н. Я. Прокоповича, но Белинского не было на вечере: он находился случайно в Москве. Вряд ли Гоголь и считал тогда

Белинского за какую-либо надежную силу. По крайней мере, в мимолетных отзывах, слышанных мною от него несколько позднее (в 1841 году, в Риме) о русских людях той эпохи, Белинский не занимал никакого места. Услуги критика были забыты, порваны, и благодарные воспоминания отложены в сторону. И понятно — отчего: между ними уже прошли статьи нашего критика о «Московском наблюдателе»*, горькие отзывы Белинского о некоторых людях того кружка, который уже призывал Гоголя спасти русское общество от философских, политических и вообще западных мечтаний. Н. В. Гоголь видимо склонялся к этому призыву и начинал считать настоящими своими ценителями людей надежного образа мыслей, очень дорожащих тем самым строем жизни, который подвергался обличению и осмеянию. Николай Васильевич вспомнил о Белинском только в 1842 году, когда для успеха «Мертвых душ» в публике, уже представленных на цензуру, содействие критика могло быть не бесполезно. Он устроил тогда одно *тайное* свидание с Белинским в Москве, где последний случайно находился, и другое, хотя и не тайное, но совершенно безопасное, в кругу своих петербургских знакомых, не имевших никаких соприкосновений с литературными партиями: секрет свиданий был действительно сохранен*, но, как я узнал после, они нисколько не успели завязать личных дружеских отношений между писателями. Все это было, однакоже, еще впереди и случилось уже в мое отсутствие из Петербурга и России.

Теперь же, накануне моего отъезда за границу в 1840 году, Белинский как-то особенно был погружен в изучение и пересмотр гоголевских сочинений. Он и прежде пропитался молодым писателем настолько, что беспрестанно цитировал разные лаконически-юмористические фразы, столь обильные в его творениях, но теперь Белинский особенно и страстно занимался выводами, какие могут быть сделаны из них и вообще из деятельности Гоголя. Можно было подумать, что Белинский поверяет Гоголем самые начала, свойства, элементы русской жизни и ищет уяснить себе, в каких отношениях стоят произведения поэта к собственным философским его, Белинского, воззрениям и как они с ними могут ужиться. Здесь следует заметить, что время изменения и перелома в созерцании Белинского определить весьма трудно с некоторой точностию. Фактически несомненно, что в следующем 1841 году свершился мгновенный поворот критика к новым убеждениям, но приготовлялся он ранее и тогда, когда критик еще не покидал старой почвы и старой теории. Я сохраняю убеждение, что вместе с другими агентами его отрезвления — уроками жизни, развитием собственной его мысли и внушениями друзей — Лермонтов и Гоголь были не последними агентами, что доказывается и статьями о них, написанными Белинским в течение 1840 года*. Под действием поэта реальной жизни, каким был тогда Гоголь, философский оптимизм Белинского должен был разложиться, как только его серьезно сопоставили с картинами

русской действительности. Никакими логическими изворотами нельзя было помочь беде, — следовало или соглашаться с художником, обещающим еще много новых созданий в том же духе, или покинуть его, как не понимающего той жизни, которую изображает. Притом же обличения Гоголя довершали ряд обличений, начатых уже самым строем жизни и критическим умом Белинского прежде. Конечно, более правильное понимание известной формулы Гегеля о тождестве действительности и разумности, освободившее ум Белинского от философского обмана, дано было совсем не Гоголем, но Гоголь его подкрепил. Таким-то образом расплачивался Николай Васильевич с критиком за все, что получил от него для уяснения своего призвания; но вот что замечательно: обоим им было суждено поменяться ролями и разойтись по тем же дорогам, по которым пришли друг к другу. Пока Белинский, выведенный однажды на почву реализма, прокладывал себе дорогу все далее и далее по одному направлению, — романист, способствовавший ему обрести этот верно намеченный путь, возвращался сам, после долгих блужданий, к той исходной точке, на которой стоял, при самом начале, его критик. Обменявшись местами, они уже, каждый с своей стороны, стремились достичь крайних, последних выводов своего положения, и оба одинаково умерли, страдальцами и жертвами напряженной работы мысли — мысли, обращенной в различные стороны.

...Зиму 40–41 годов мне привелось прожить в меттерниховской Вене. Нельзя теперь почти и представить себе ту степень тишины и немоты, которые знаменитый канцлер Австрии успел водворить благодаря неусыпной бдительности за каждым проявлением общественной жизни и беспредельной подозрительности к каждой новизне, на всем пространстве от Богемских гор до Байского залива и далее. Бывало, едешь по этому великолепно обставленному пустырю, как по улице гробниц в Помпее, посреди удивительного благочиния смерти, встречаемый и провожаемый призраками в образе таможенников, пашпортников, жандармов, чемоданщиков и визитаторов пассажирских карманов. Ни мысли, ни слова, ни известия, ни мнения, а только их подобия, взятые с официальных фабрик, заготовлявших их для продовольствия жителей массами и пускавших их в оборот под своим штемпелем. Для созерцательных людей это молчание и спокойствие было кладом: они могли вполне предаться изучению и самих себя и предметов, выбранных ими для занятий, уже не развлекаясь людскими толками и столкновениями партий. Гоголь, Иванов, Иордан и много других жили полно и хорошо в этой обстановке, осуществляя собою, еще задолго до Карлейля, некоторые черты из его идеала мудрого человека, благоговейно поклоняясь гениям искусства и литературы, сберегая про себя святыню души, отдаваясь всем своим существом избранному делу и не болтая зря со всеми и обо всем, по последнему журналу. Но за мудрецами и за созерцательными людьми виднелась еще шумная,

многоглазая толпа, не терпящая долгого молчания кругом себя, особенно при содействии южных страстей, как в Италии. Забавлять-то ее и сделалось главной заботой и политической мерой правительств. Кто не слыхал об удовольствиях Вены и о постоянной, хотя и степенной, полицейски-чинной и размеренной оргии, в ней царствовавшей? Кто не знает также о праздниках Италии, о великолепных оркестрах, гремевших в ней по площадям главных ее городов каждый день, о духовных процессиях ее и об импрессариях, поставлявших оперы на ее театры, причем шумной итальянской публике позволялось, несмотря на двух белых солдат, постоянно торчавших по обеим сторонам оркестра с ружьями в руках, — беситься как и сколько угодно. Развлекать толпу считалось серьезным административным делом, — но повторить эту картину, вслед за многими уже свидетелями, не предстоит здесь, конечно, никакой надобности.

Одна черта только в этом мире, так хорошо устроенном, беспрестанно кидалась в глаза и поражала меня. Несмотря на всю великолепную обстановку публичной жизни и несмотря на строжайшее запрещение иностранных книг (в моденском герцогстве обладание книгой без цензурного штемпеля наказывалось ни более, ни менее, как *каторгой*), французская беспокойная струя сочилась под всей почвой политического здания Италии и разъедала его. Подземное существование ее не оставляло никакого сомнения даже в умах наименее любопытных и внимательных. Оно не было тайной и для австрийского правительства, которому оно беспрестанно напоминало о грустной необходимости считать себя, несмотря на трактаты, временным, случайным правительством в предоставленных ему провинциях, и умножать, для самосохранения, войско, бюджет, наблюдения, мероприятия и т. д.

В марте 1841 года я уже был в Риме, поселился близ Гоголя и видел папу Григория XVI действующим во всех многочисленных спектаклях римской святой недели, и притом действующим как-то вяло и невнимательно, словно исправляя привычную, домашнюю работу. В промежутках облачения и потом обрядов он, казалось, всего более заботился о себе, сморкался, откашливался и скучным взором обводил толпу сослужащих и любопытных. Старый монах этот точно так же управлял и доставшимся ему государством, как церковной службой: сонно и бесстрастно переполнил он тюрьмы Папской области не уголовными преступниками, которые у него гуляли на свободе, а преступниками, которые не могли ужиться с монастырской дисциплиной, с деспотической и вместе лицемерно-добродушной системой его управления. Зато уже Рим и превратился в город археологов, нумизматов, историков от мала до велика. Всякий, кто успевал продраться до него благополучно сквозь сеть различного рода негодяев и мошенников, его окружавшую, и отыскать в нем, наконец,

спокойный угол, превращался тотчас же в художника, библиофила, искателя редкостей. Я видел наших отдыхающих откупщиков, старых степенных помещиков, офицеров от Дюссо*, зараженных археологией, толкующих о памятниках, камеях, Рафаэлях, перемешивающих свои восторги возгласами об удивительно глубоком небе Италии и о скуке, которая под ним безгранично царствует, что много заставляло смеяться Гоголя и Иванова: по вечерам они часто рассказывали курьезные анекдоты из своей многолетней практики с русскими туристами. К удивлению, я заметил, что французский вопрос далеко не безынтересен даже и для Гоголя и Иванова, повидимому, успевших освободиться от суетных волнений своей эпохи и поставить себе опережающие ее задачи. Намек на то, что европейская цивилизация может еще ожидать от Франции важных услуг, не раз имел силу приводить невозмутимого Гоголя в некоторое раздражение. Отрицание Франции было у него так невозвратно и решительно, что при спорах по этому предмету он терял обычную свою осторожность и осмотрительность и ясно обнаруживал не совсем точное знание фактов и идей, которые затрагивал.

У Иванова доля убеждения в той же самой несостоятельности французской жизни была ничуть не менее, но как часто случается с людьми глубоко-аскетической природы, — искушения и сомнения жили у него рядом со всеми верованиями его. Он никогда не выходил из тревог совести. Можно даже сказать про этого замечательного человека, что все самые горячие попытки его выразить на деле, в творчестве свои верования и убеждения рождались у него так же точно из мучительной потребности подавить во что бы то ни стало волновавшие его сомнения. И не всегда удавалось ему это. Притом же наоборот с Гоголем он питал затаенную неуверенность к себе, к своему суждению, к своей подготовке для решения занимавших его вопросов, и потому с радостию и благодарностию опирался на Гоголя при возникающих беспрестанно затруднениях своей мысли, не будучи, однакоже, в состоянии умиротворить ее вполне и с этой поддержкой. Вот почему при неожиданно возникшем диспуте нашем с Гоголем, за обедом у Фальконе, о Франции (а диспуты о Франции возникали тогда поминутно в каждом городе, семействе и дружеском кругу), Иванов слушал аргументы обеих сторон с напряженным вниманием, но не сказал ни слова. Не знаю, как отразилось на нем наше словопрение и чью сторону он втайне держал тогда. Дня через два он встретил меня на Monte-Pincio и, улыбаясь, повторил не очень замысловатую фразу, сказанную мною в жару разговора: «Итак, батюшка, Франция — очаг, подставленный под Европу, чтобы она не застывала и не плесневела». Он еще думал о разговоре, между тем как Гоголь, добродушно помирившись в тот же вечер со своим горячим оппонентом (он преподнес ему в залог примирения апельсин, тщательно выбранный в лавочке, встретившейся по дороге из Фальконе), забыл и думать о том, что такое говорилось час тому назад.

Надо сказать, что прения по поводу Франции и ее судеб раздавались во всех углах Европы — тогда, да и гораздо позднее, вплоть до 1848 года. Вероятно, они происходили в то же время и там, далеко, в нашем отечестве, потому что с этих пор симпатии к земле Вольтера и Паскаля становятся очевидными у нас, пробивают кору немецкого культурного наслоения и выходят на свет. Но и при этом следует заметить, что русская интеллигенция полюбила не современную, действительную Францию, а какую-то другую — Францию прошлого, с примесью будущего, то есть идеальную, воображаемую фантастическую Францию, о чем говорю далее.

...Еще до возвращения моего на родину, именно в 1842 году, Белинский, вскоре после своего памфлета «Педант»*, о котором я уже упоминал, нанес еще и другой, тяжелый удар одной весьма почтенной личности московского круга — ныне покойному К. С. Аксакову. Известно, что К. С. Аксаков, при появлении первой части «Мертвых душ», в том же 1842 году написал статью, в которой проводил мысль о сходстве Гоголя по акту творчества и силе создания с Гомером и Шекспиром, находя, что только у одних этих писателей, да у нашего автора обнаруживается дар указывать в пошлых характерах и в самом пороке еще некоторую внутреннюю крепость и своего рода силу, которые почерпаются ими уже от принадлежности к мощной и здоровой национальности. К. С. Аксаков, приравнивая Гоголя к Гомеру по акту творчества, позабыл при том упомянуть о множестве гениальных европейских писателей, отличавшихся тоже необычайными творческими способностями, которые, таким образом, как будто ставились все ниже Гоголя, а вдобавок — еще прямо объявлял, что в деле романа, понятого как продолжение древнегреческого эпоса, — уже ни одно *современное европейское имя* не может быть поставлено рядом с именем Гоголя ни в каком случае*. Ничто не могло возмутить Белинского более этих афоризмов. Тот самый Белинский, который первый провозгласил Гоголя гениальным художником, объявлял теперь и печатно, и устно, что гениальность Гоголя, как создателя типов и характеров, хотя и не может быть опровергаема, но имеет все-таки значение относительное. По содержанию и внутреннему смыслу задач, разрешаемых русским автором, она ограничена умственным и нравственным положением страны, и дело, им производимое, не может итти ни в какое сравнение с вопросами и темами европейского искусства, с целями, какие оно себе задавало и задает теперь в лице лучших своих представителей; что затем никакой предполагаемой крепости и силы народного духа в выводимых Гоголем на сцену лицах не обретается, ни о каком таком значении их, вероятно, автор и не думал, а если и думал, то ребячески ошибался. Вдобавок Белинский прибавлял, что Гоголь не только не выше всех европейских романистов, но, превосходя многих из них даром непосредственного творчества, наблюдения и поэтического чувства, уступает в объеме и значении основных идей некоторым, даже и не

очень крупным явлениям европейской литературы. Все эти заметки наносили достаточно сильный удар новому, предпринятому толкованию Гоголя, но Белинский присоединил еще к этому несколько саркастических выводов из положений своего противника и заключал спор насмешкой. Последним ударом — coup de grâce — этой полемики со стороны Белинского было его заявление, что если судить по некоторым лирическим местам первой части «Мертвых душ», в которых обещаются изумительные откровения относительно внутренней и внешней красоты русской жизни, то Гоголь может, пожалуй, утерять и значение великого *русского* художника. С тех пор имя Белинского пронеслось «яко зло» в лагере славянофилов, и даже сделалось у них как бы олицетворением наносной, ни с чем не связанной, чуждой народу петербургской цивилизации, между тем как сами они отписали за собой Москву, как город, где особенно живет и развивается чуткое понимание русского народного духа со всеми его чаяниями и представлениями.

...Как ни важны были, однакоже, все эти вопросы[*], и к какой яркой полемике ни давали они повод, все же они не могли заслонить ни на минуту перед Белинским чисто русского вопроса, который тогда целиком сосредоточивался у него на одном имени Гоголя и на его романе «Мертвые души». Роман этот открывал критике единственную арену, на которой она могла заниматься анализом общественных и бытовых явлений, и Белинский держался за Гоголя и роман его цепко, как за нежданную помощь. Он как бы считал своим жизненным призванием поставить содержание «Мертвых душ» вне возможности предполагать, что в нем таится что-либо другое, кроме художественной, психически и этнографически верной картины современного положения русского общества. Все силы своего критического ума напрягал он для того, чтоб отстранить и уничтожить попытки к допущению каких-либо других, смягчающих выводов из знаменитого романа, кроме тех суровых, строго обличающих, какие прямо из него вытекают. После всех своих отступлений в область европейских литератур, в область славянства и проч., он возвращался с этого поля более или менее удачных битв опять к своему постоянному, домашнему делу, только освеженный предшествующими кампаниями. Домашнее дело это заключалось преимущественно в том, чтоб выбить из литературной арены навсегда, если можно, как диких, коварных и своекорыстных ругателей гоголевской поэмы, так и восторженных ее доброжелателей, прозревающих в ней не то, что она действительно дает. Он не уставал указывать правильные отношения к ней и устно и печатно, приглашая при всяком случае и слушателей и читателей своих подумать, но подумать искренно и серьезно о вопросе — почему являются на Руси типы такого безобразия, какие выведены в поэме; почему могут совершаться на Руси такие невероятные события, какие в ней рассказаны; почему могут существовать на Руси, не приводя никого в ужас, такие речи, мнения, взгляды, какие переданы в ней.

Белинский думал, что добросовестный ответ на вопрос может сделаться для человека, добывшего его, программой деятельности на остальную жизнь и особенно положить прочную основу для его образа мыслей и для правильного суждения о себе и других.

К этому же времени относится и появление в русской изящной литературе так называемой «натуральной школы», которая созрела под влиянием Гоголя, объясняемого тем способом, каким объяснял его Белинский. Можно сказать, что настоящим отцом ее был — последний. Школа эта ничего другого не имела в виду, как указание тех подробностей современного и культурного быта, которые не могли еще быть указаны и разобраны никаким другим способом, ни политическим, ни научным расследованием. Кстати заметить: прозвище «натуральной» дано ей было корифеем риторического, бесталантного, фальшиво-благонамеренного изложения русской жизни, Булгариным, но из вражды к Белинскому прозвищу обрадовались, и прозвище усвоили даже и люди, глубоко презиравшие литературную и критическую деятельность Булгарина. Оно и до сих пор держится у нас, несмотря на свое происхождение и на свою бессмыслицу*.

Покуда все это происходило вокруг имени Гоголя, сам он повернул в такую сторону, куда не пошли за ним и многие из тех, которые считались людьми, разделяющими все его взгляды. В феврале 1844 года я получил от него неожиданно и после долгого молчания следующее письмо:

«Февраля 10-го, Ницца. 1844

Иванов прислал мне ваш адрес и сообщил мне вашу готовность исполнять всякие поручения*. Благодарю вас за ваше доброе расположение, в котором, впрочем, я никогда и не сомневался. Итак, за дело. Вот вам поручения: 1-е… (это первое поручение заключалось в понуждении друга Гоголя, товарища его по Нежину, а теперь поверенного по делу печатания «Мертвых душ» в Петербурге, Н. Я. Прокоповича, к скорейшему доставлению наличных вырученных денег и расчетов. Как мало любопытное, мы его пропускаем и прямо переходим ко второму поручению, как самому существенному для нас, которое уже и выписываем целиком, с сохранением орфографии автора).

2-е. Другая просьба. Уведомьте, в каком положении и какой приняли характер ныне толки, как о «Мертвых душах», так и о сочинениях моих. Это вам сделать, я знаю, будет отчасти трудно, потому что круг, в котором вы обращаетесь, большею частию обо мне хорошего мнения, — стало быть от них, что от козла молока. Нельзя ли чего нибудь достать вне этого круга, хотя чрез знакомых вашим знакомым, через четвертые или пятые руки? Можно много довольно умных замечаний услышать от

тех людей, которые совсем не любят моих сочинений. Нельзя ли при удобном случае также узнать, что говорится обо мне в салонах Булгарина, Греча, Сенковского и Полевого? В какой силе и степени их ненависть или уже превратилась в совершенное равнодушие? Я вспомнил, что вы можете узнать кое-что об этом даже от Романовича,[124] которого, вероятно, встретите на улице. Он, без сомнения, бывает попрежнему у них на вечерах. Но делайте все так, как бы этим вы, а не я интересовался. Не дурно также узнать мнение обо мне и самого Романовича.

За все это я вам дам совет, который пахнет страшной стариной, но тем не менее очень умный совет. Тритесь побольше с людьми и раздвигайте всегда круг ваших знакомых, а знакомые эти, чтобы непременно были опытные и практические люди, имеющие какие-нибудь занятия; а знакомясь с ними, держитесь такого правила: построже к себе и поснисходительней к другим, а в хвост этого совета положите мой обычай не пренебрегать никакими толками о себе, как умными, так и глупыми, и никогда не сердиться ни на что..! Если выполните это, благодать будет над вами, и вы узнаете ту мудрость, которой уж никак не узнаете ни из книг, ни из умных разговоров.

Уведомьте меня о себе во всех отношениях: как вы живете, как проводите время, с кем бываете, кого видите, что делают все и знакомые и незнакомые.

В каком положении находится вообще картолюбие и б…любие, и что ныне предметом разговоров как в больших, так и в малых обществах, натурально — в выраженьях приличных, чтобы не оскорбить никого. Затем, обнимая вас искренно и душевно и желая всяких существенных польз и приобретений, жду от вас скорого уведомления.

Прощайте. — Ваш Г.

Адресуйте во Франкфурт на Майне, на имя Жуковского, который отныне учреждается там и где через месяц я намерен быть сам».

Письмо принадлежало к числу тех, которые удивляли весьма близких к Гоголю людей, как Плетнева, например, своими бесконечными вопросами о толках и мнениях публики по поводу его сочинений. Гоголь требовал особенно перечета наиболее диких и безобразных мнений. Даже и не очень короткие знакомые Гоголя завалены были письмами подобного рода и подали повод думать, что любопытство это, под благовидным предлогом изучения отношений публики к его деятельности, прикрывает у него особый вид едкого тщеславия, которое способно еще доставлять ему некоторого рода наслаждение. Что касается до меня, я обрадовался письму Гоголя и написал ему пространный ответ с откровенностию и добродушием, которые мне самому напоминали незабвенные вечера в Риме, Альбано, Фраскати и

проч., когда мы проводили чудные южные ночи в бесконечных толках и разговорах о всем и о вся, когда за этими разговорами, как не раз случалось в Тиволи, даже вовсе не ложились в постель на ночь, а просиживали до утра на окне траттории,[125] дремля под шум фонтана, который монотонно плескал посреди ее двора, перерезывая великолепные линии древнего греческого храма, высившегося на другом его конце. Тогда все понималось просто и так же говорилось. Но я ошибся жестоко — времена переменились. Не предчувствуя еще нового направления, принятого Гоголем, я неожиданно и невольно попал в больное место его мысли и растревожил ее. Хорошо помню, что, отвечая на его вызов, я представил ему положение партий относительно его романа и передавал полемику Белинского с ними, причем, конечно, не считал нужным отзываться осторожно ни об одной из них. Мне казалось, что я обязан был высказать ему всю мою мысль сполна, как он того просил, и потому, может быть с некоторым излишним пылом и негодованием, говорил и о врагах его из *салонов* Булгарина и Сенковского, и о друзьях его из московской партии. Не подозревая тесных связей, образовавшихся у Гоголя с последней в то время, я впал в одну из тех опрометчивых искренностей, которые заставляют человека раскаиваться в собственной своей правдивости. Гоголь, призывавший искренность, не выдержал этой и не понял дружеского письма.

В конце его, если не изменяет мне память, находилось еще замечание, что в ту переходную эпоху, в которой мы живем, почти невозможно себе и представить такого дела, которое бы получило отзвук в потомстве, так как оно, вероятно, не захочет и знать о некоторых надеждах и стремлениях нашего времени. Конечно, замечание принадлежало к разряду громких, но незрелых и заносчивых афоризмов, какие в частной интимной переписке сливаются нередко с пера у человека, желающего сказать скорее более, чем менее того, что ему кажется нужным, и не предвидящего вдобавок, что слово его будет прочитано не дружеским, а уже подозрительным глазом судьи и цензора. Можно было ожидать опровержения и разъяснения замечания, но, конечно, не того, что я получил.

С спокойной совестью я отправил мое, не в меру откровенное, письмо и через два месяца получил на него ответ. Я был просто приведен в недоумение этим ответом. Он содержал в себе строжайший, более чем начальнический, а какой-то пасторский выговор, точно Гоголь отлучал меня торжественно от общения с верными своей церкви. Вместо мне знакомого добродушного, прозорливого, все понимающего и классифицирующего психолога — стоял теперь передо мною совсем другой человек, да и не человек, а какой-то проповедник на кафедре, им же и воздвигнутой на свою потребу, громящий с нее грехи бедных людей направо и налево, по власти кем-то ему данной и не всегда зная хорошенько, чем они действительно грешат. Тон письма сбил меня

совсем с толка, потому что я еще не знал тогда, что роль пророка и проповедника Гоголь уже давно усвоил себе, что в этой роли он уже являлся г-же Смирновой, Погодину, Языкову, даже Жуковскому и многим другим, громя и по временам бичуя их с ловкостью почти что ветхозаветного человека. Привожу это письмо целиком*.

«Франкфурт, мая 10-го <1844>

Благодарю вас за некоторые известия о толках на книгу. Но ваши собственные мнения… смотрите за собой: они пристрастны. Неумеренные эпитеты, разбросанные кое-где в вашем письме, уже показывают, что они пристрастны. Человек благоразумный не позволил бы их себе никогда. Гнев или неудовольствие на кого бы то ни было всегда несправедливы; в одном только случае может быть справедливо наше неудовольствие — когда оно обращается не против кого-либо другого, а против себя самого, против собственных мерзостей и против собственного неисполнения своего долга. Еще: вы думаете, что вы видите дальше и глубже других, и удивляетесь, что многие, повидимому, умные люди, не замечают того, что заметили вы. Но это еще бог весть кто ошибается. *Передовые люди* — не те, которые видят одно что-нибудь такое, чего другие не видят, и удивляются тому, что другие не видят; *передовыми людьми* можно назвать только тех, которые именно видят все то, что видят другие (все другие, а не некоторые), и, опершись на сумму всего, видят то, чего не видят другие и уже не удивляются тому, что другие не видят того же. В письме вашем отражен человек, просто унывший духом и не взглянувший на самого себя. Если б мы все вместо того, чтоб рассуждать о духе времени, взглянули как должно всякий на самого себя, мы больше бы гораздо выиграли. Кроме того, что мы узнали бы лучше, что в нас самих заключено и есть, мы бы приобрели взгляд яснее и многосторонней на все вещи вообще и увидели бы для себя пути и дороги там, где греховное уныние все темнит перед нами и вместо путей и дорог показывает нам только самое себя, то есть одно греховное уныние. Злой дух только мог подшепнуть вам мысль, что вы живете в каком-то переходящем веке, когда все усилия и труды должны пропасть без отзвука в потомстве и без ближайшей пользы кому. Да если бы только хорошо осветились глаза наши, то мы увидали бы, что на всяком месте, где бы ни довелось нам стоять, при всех обстоятельствах, каких бы то ни было, споспешествующих или поперечных, столько есть дел в нашей собственной, в нашей частной жизни, что, может быть, сам ум наш помутился бы от страху, при виде неисполненья и пренебреженья всего, и уныние не даром бы тогда закралось в душу. По крайней мере, оно бы тогда было более простительно, чем теперь. Признаюсь, я считал вас (не знаю почему) гораздо благоразумнее. Самой душе моей было как-то неловко, когда я читал письмо ваше. Но оставим это и не будем никогда говорить. Всяких мнений о нашем веке и нашем времени я терпеть не могу, потому что они все ложны, потому что

произносятся людьми, которые чем-нибудь раздражены или огорчены… Напишите мне о себе самом, только тогда, когда почувствуете сильное неудовольствие против себя самого, когда будете жаловаться не на какие-нибудь помешательства со стороны людей, или века, или кого бы то ни было другого, но когда будете жаловаться на помешательства со стороны своих же собственных страстей, лени и недеятельности умственной. Еще: и луча веры нет ни в одной строчке вашего письма и малейшей искры смиренья высокого в нем незаметно! И после этого еще хотеть, чтоб ум наш не был односторонен или чтобы был он беспристрастен. Вот вам целый воз упреков. Не удивляйтесь: вы сами на них напросились. Вы желали от меня освежительного письма. Но меня освежают теперь одни только упреки, а потому ими же я прислужился и вам.

А вместо всяких толков о том, чем другой виноват или не выполнил своей обязанности, постарайтесь исполнить те обязанности, которые я наложу на вас. Пришлите мне каталог Смирдинской бывшей библиотеки для чтения, со всеми бывшими прибавлениями. Он полнейший книжный наш реестр, да присовокупите к тому реестр книг всех напечатанных синодальной типографией: это можете узнать в синодальной лавке. Да еще сделайте одну вещь: выпишите для меня мелким почерком все критики Сенковского в «Библиотеке для чтения» на «Мертвые души» и вообще на все мои сочинения, так чтобы их можно послать в письме. Сколько я ни просил об этом, никто не исполнил. Каталог Смирдинский есть, кажется, мой у Прокоповича. Пошлите тоже с почтой, которая ныне принимает посылки. Адресуйте в Берлин на имя служащего при тамошней миссии графа Мих. Мих. Виельгорского для доставки мне, если почта не возьмется доставить во Франкфурт прямо на мое имя. Вот вам обязанности покамест истинно христианские. От вас требует выполнения этого долга прямо, безвозмездно —

Н. Гоголь».

Несмотря на совершенно неожиданный для меня учительский и раздраженный тон этого письма, оно меня все-таки глубоко тронуло: во-первых, и замечательным литературным своим достоинством, а во-вторых — и преимущественно — какой-то беспредельной верой в новое созерцание, им возвещаемое. Загадкой оставалось для меня только следующее: каким процессом мысли Гоголь перенес прямо на меня все, что я говорил вообще о современных людях, и отыскал в моих сообщениях личный вопрос — уныние, ропот, недовольство судьбой и другие качества неудачного честолюбца. Но особенно не мог я понять, откуда тут взялся еще вопрос о религиозных моих убеждениях, о состоянии моей души и совести, так как исповедываться в них я не имел ни малейшего помысла перед Гоголем, да он и не возбуждал такого

вопроса. Передавать толки публики о «Мертвых душах» и по этому поводу представить свидетельство о более или менее удовлетворительном состоянии своего религиозного чувства — кому же это могло притти в голову? Впоследствии все это объяснилось. Письмо Гоголя, как и множество других таких же, полученных разными лицами в России, было одним из той гряды облачков, которая предшествовала появлению роковой книги «Переписка с друзьями». Письма возвещали ее близкое восшествие на горизонт. Гоголь, ужаснувшийся успеха своего романа между западниками и людьми непосредственного чувства, весь погружен был в замысел разоблачить свои настоящие исторические, патриотические, моральные и религиозные воззрения, что, по его мнению, было уже необходимо для понимания готовящейся второй части поэмы. Вместе с тем все более и более созревали в уме его надежда и план наделить, наконец, беспутную русскую жизнь кодексом великих правил и незыблемых аксиом, которые помогли бы ей устроить свой внутренний мир на образец всем другим народам. Но намерение оставалось еще покамест тайной для всех, и служить каким-либо пояснением действий Гоголя не могло. В потемках я отвечал Гоголю, что получил его письмо, благодарю за участие ко мне, не огорчаюсь его выговорами, не отвергаю вовсе его советов, но считаю нужным указать на странную ошибку. Он считает меня человеком весьма высокого мнения о себе, надменным и страдающим гордостью, а между тем мог бы заметить в течение долгих наших сношений, что я скорее имел претензию считать себя ничтожнейшим из детей мира, и без всякого вознаграждения, о котором говорит поэт, употребивший однажды это выражение.

Затем корреспонденция наша прекращается надолго, до 1847 года, когда, живя уже с больным Белинским на водах в Силезии, в Зальцбрунне, я опять получил от Гоголя письмо, но уже мягкое и отчасти грустное письмо. Книга его «Переписка с друзьями» уже вышла и принесла ему такую массу огорчений, упреков, наконец клевет и незаслуженных оскорблений, что он склонился под этой бурей общественного негодования, как тростник — до земли. Состояние его духа отразилось и на письме, но об этом после. С тех пор уже благодушное, ласковое, снисходительное настроение не покидало Гоголя по отношению к старому его корреспонденту и собеседнику, и всякий раз, как мы встречались, до самой его смерти, выказывалось с новой силой. В 1851 году, за год до своей кончины, провожая меня из своей квартиры, в Москве, на Никитском бульваре* (дом графа Толстого), он, на пороге ее, сказал мне взволнованным голосом: «Не думайте обо мне дурного и защищайте перед своими друзьями, прошу вас: я дорожу их мнением».

Страдальческий, умиротворенный и на все уже подготовленный облик Гоголя, — Гоголя последних дней, — остался в моей жизни самым

трогательным воспоминанием, наравне с обликом медленно умирающего и все еще волнующегося Белинского.

Бедный, запутавшийся друг, погибший добровольной и мучительной смертью именно потому, что жил в эпоху столкновения неустановившихся верований, одинаково важных и неустранимых, и которую так горячо защищал против мнения о ее переходном состоянии! Чрезвычайно замечательно следующее обстоятельство. В марте 1848 года, занимаясь обработкой второй части «Мертвых душ» в Москве*, он пишет старому своему товарищу, уже упомянутому Н. Я. Прокоповичу, что труду его мешают, во-первых, недуги, а во-вторых — отражение на авторе всех невыгодных влияний шаткого *переходного* времени, в которое он живет. Итак, ужас и негодование, возбужденные в Гоголе одним намеком на то, что эпоха эта может быть названа переходною, миновались совершенно через четыре года, да и не только миновались, но сама мысль признана еще неоспоримой истиной, на основании личного опыта. Вот это замечательное место письма, с которого я тогда же снял точную копию, конечно, не объясняя никому причин, почему я считаю его особенно важным.

*«Москва, 29 марта <1848>**

Болезни приостановили мои занятия «Мертвыми душами», которые пошли было хорошо. Может быть — болезнь, а может быть — и то, что как поглядишь, какие глупые настают читатели, какие бестолковые ценители, какое отсутствие вкуса... просто не подымаются руки. *Странное дело, хоть и знаешь, что труд твой не для какой-нибудь переходной современной минуты, а все-таки современное неустройство отнимает нужное для него спокойствие*».

Как далеко стоит это признание от восклицания: «Злой дух только мог подшепнуть вам мысль, что вы живете в каком-то переходящем веке, когда все усилия и труды должны пропасть без отзвука в потомстве...» — Увы! Как еще положение это ни казалось опрометчиво, заносчиво и ложно, сказанное неловко и не во-время, сам Гоголь, страстно опровергавший его, испытал еще сомнение в пользе своих усилий и трудов *для потомства*, — сомнение, результатом которого было, как известно, сожжение второй части «Мертвых душ». Если бы дело состояло тогда в его власти, то результатом этого настроения могло бы быть и нечто большее — именно сожжение всех его трудов вообще. Правда, тут примешалась душевная болезнь, патологическое состояние мозговых органов, — но разве переходные эпохи именно и не отличаются этими болезнями, которые сами суть не что иное, как произведение глухой борьбы начал в глубине души и мысли каждого развитого человека.

Со всем тем мне легко сознаться теперь и повторить, что замечание о бесплодности трудов, предпринятых в переходное время, которым я погрешил тогда и которое вызвало такие недоразумения, было вполне необдуманно и ложно в основании. Ни деятельность Гоголя, ни деятельность самого Белинского, а также и людей 40-х годов вообще из обоих лагерей наших не остались без следа и влияния на ближайшее потомство, да найдут, по всем вероятиям, еще не один отголосок и в более отдаленных от нас поколениях. Это убеждение только и могло вызвать составление настоящих «Воспоминаний».

...Приближалось время окончания лечебного курса и нашего отъезда из Зальцбрунна*. Белинский чувствовал себя гораздо лучше, кашель уменьшился, ночи сделались покойнее — он уже поговаривал о скуке житья в захолустьи. Почти накануне нашего выезда из Зальцбрунна в Париж я получил неожиданное письмо от Н. В. Гоголя, извещавшего, что изданная им «Переписка с друзьями» наделала ему много неприятностей, что он не ожидает от меня благоприятного отзыва о его книге, но все-таки желал бы знать настоящее мое мнение о ней, как от человека, кажется, не страдающего заносчивостию и самообожанием. Это было первое письмо после того надменно-учительского, о котором говорено, и первое после короткой встречи нашей в Париже и Бамберге. Оно довольно ясно обнаруживало в Гоголе желание если не утешения и поддержки, то, по крайней мере, тихой беседы. В конце письма Гоголь неожиданно вспоминал о Белинском и кстати посылал ему дружеский поклон*, вместе с письмом прямо на его имя, в котором упрекал его за сердитый разбор «Переписки» во 2-м № «Современника»*. Это и вызвало то знаменитое письмо Белинского о его последнем направлении, какого Гоголь еще и не выслушивал доселе, несмотря на множество перьев, занимавшихся разоблачением недостатков «Переписки», попреками и бранью на ее автора. Когда я стал читать вслух письмо Гоголя, Белинский слушал его совершенно безучастно и рассеянно, — но, пробежав строки Гоголя к нему самому, Белинский вспыхнул и промолвил: «А, он не понимает, за что люди на него сердятся — надо растолковать ему это — я буду ему отвечать».

Он понял вызов Гоголя.

В тот же день небольшая комната, рядом с спальней Белинского, которая снабжена была диванчиком по одной стене и круглым столом перед ним, на котором мы свершали наши довольно скучные послеобеденные упражнения в пикет, превратилась в письменный кабинет. На круглом столе явилась чернильница, бумага, и Белинский принялся за письмо к Гоголю, как за работу, и с тем же пылом, с каким производил свои срочные журнальные статьи в Петербурге. То была именно статья, но писанная под другим небом...

Три дня сряду Белинский уже не поднимался, возвращаясь с вод домой, в мезонин моей комнаты, а проходил прямо в свой импровизированный кабинет. Все это время он был молчалив и сосредоточен. Каждое утро после обязательной чашки кофе, ждавшей его в кабинете, он надевал летний сюртук, садился на диванчик и наклонялся к столу. Занятия длились до часового нашего обеда, после которого он не работал. Не покажется удивительным, что он употребил три утра на составление письма к Гоголю, если прибавить, что он часто отрывался от работы, сильно взволнованный ею, и отдыхал от нее, опрокинувшись на спинку дивана. Притом же и самый процесс составления был довольно сложен. Белинский набросал сперва письмо карандашом на разных клочках бумаги, затем переписал его четко и аккуратно набело, и потом снял еще с готового текста копию для себя. Видно, что он придавал большую важность делу, которым занимался, и как будто понимал, что составляет документ, выходящий из рамки частной, интимной корреспонденции. Когда работа была кончена, он посадил меня перед круглым столом своим и прочел свое произведение.

Я испугался и тона, и содержания этого ответа, и, конечно, — не за Белинского, потому что особенных последствий заграничной переписки между знакомыми тогда еще нельзя было предвидеть; я испугался за Гоголя, который должен был получить ответ, и живо представил себе его положение в минуту, когда он станет читать это страшное бичевание. В письме заключалось не одно только опровержение его мнений и взглядов: письмо обнаруживало пустоту и безобразие всех идеалов Гоголя, всех его понятий о добре и чести, всех нравственных основ его существования — вместе с диким положением той среды, защитником которой он выступил. Я хотел объяснить Белинскому весь объем его страстной речи, но он знал это лучше меня, как оказалось: «А что же делать? — сказал он. — Надо всеми мерами спасать людей от бешеного человека, хотя бы взбесившийся был сам Гомер. Что же касается до оскорбления Гоголя, я никогда не могу так оскорбить его, как он оскорблял меня в душе моей и в моей вере в него».

Письмо было послано, и затем уже ничего не оставалось делать в Зальцбрунне[*]. Мы выехали в Дрезден, по направлению к Парижу.

Здесь, забегая вперед, скажу, что по прибытии в Париж Г<ерцен>, уже поджидавший нас, явился в отель Мишо, где мы остановились, и Белинский тотчас же рассказал ему о вызове, полученном им от Гоголя, и об ответе, который он ему послал. Затем он прочел ему черновое своего письма. Во все время чтения уже знакомого мне письма я был в соседней комнате, куда, улучив минуту, Герцен шмыгнул, чтобы сказать мне на ухо: «Это — гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его».

...В Париж пришел также и ответ Гоголя на письмо Белинского из Зальцбрунна[*]. Грустно замечал в нем Гоголь, что опять повторилась

старая русская история, по которой одно неосновательное убеждение или слепое увлечение непременно вызывает с противной стороны другое, еще более рискованное и преувеличенное, посылал своему критику желание душевного спокойствия и восстановления сил и разбавлял все это мыслями о серьезности века, занимающегося идеей полнейшего построения жизни, какого еще и не было прежде. Что он подразумевал под этим построением, — письмо не высказывало и вообще не отличалось ясностью изложения. Белинский не питал злобы и ненависти лично к автору «Переписки», прочел с участием его письмо и заметил только: «Какая запутанная речь; да, он должен быть очень несчастлив в эту минуту»...

В. Г. Белинский. Из статей и писем

О русской повести и повестях г. Гоголя*

...Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют — простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике: г. Гоголь — поэт, поэт жизни действительной.

...Скажите, какое впечатление прежде всего производит на вас каждая повесть г. Гоголя? Не заставляет ли она вас говорить: «Как все это просто, обыкновенно, естественно и верно и, вместе, как оригинально и ново!» Не удивляетесь ли вы и тому, почему вам самим не пришла в голову та же самая идея, почему вы сами не могли выдумать этих же самых лиц, так обыкновенных, так знакомых вам, так часто виденных вами, и окружить их этими самыми обстоятельствами, так повседневными, так общими, так наскучившими вам в жизни действительной и так занимательными, очаровательными в поэтическом представлении? Вот первый признак истинно художественного произведения. Потом не знакомитесь ли вы с каждым персонажем его повести так коротко, как будто вы его давно знали, долго жили с ним вместе? Не дополняете ли вы своим воображением его портрета и без того уже нарисованного автором во весь рост? Не в состоянии ли прибавить к нему новые черты, как будто забытые автором, не в состоянии ли вы рассказать об этом лице несколько анекдотов, как будто бы опущенных автором? Не верите ли вы на слово, не готовы ли вы побожиться, что все рассказанное автором есть сущая правда, без всякой примеси вымысла? Какая этому причина? Та, что эти создания ознаменованы печатию истинного таланта, что они созданы по непреложным законам творчества. Эта простота вымысла, эта нагота действия, эта скудость драматизма, самая эта мелочность и обыкновенность описываемых автором происшествий — суть верные, необманчивые признаки творчества; это поэзия реальная, поэзия жизни действительной, жизни, коротко знакомой нам. Я нимало не удивляюсь,

подобно некоторым, что г. Гоголь мастер делать все из ничего, что он умеет заинтересовать читателя пустыми, ничтожными подробностями, ибо не вижу тут ровно никакого уменья: уменье предполагает расчет и работу, а где расчет и работа, там нет творчества, там все ложно и неверно при самой тщательной и верной копировке с действительности. И чем обыкновеннее, чем пошлее, так сказать, содержание повести, слишком заинтересовывающей внимание читателя, тем больший талант со стороны автора обнаруживает она*. Когда посредственный талант берется рисовать сильные страсти, глубокие характеры, он может стать на дыбы, натянуться, наговорить громких монологов, насказать *прекрасных вещей*, обмануть читателя блестящею отделкою, красивыми формами, самым содержанием, мастерским рассказом, цветистою фразеологиею — плодами своей начитанности, ума, образованности, опыта жизни. Но возьмись он за изображение повседневных картин жизни, жизни обыкновенной, прозаической — о, поверьте, для него это будет истинным камнем преткновения, и его вялое, холодное и бездушное сочинение уморит вас зевотою. В самом деле, заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, ничтожностию и юродством этих живых пасквилей на человечество — это удивительно; но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: «Скучно на этом свете, господа!» — вот, вот оно, то божественное искусство, которое называется творчеством; вот он, тот художнический талант, для которого где жизнь, там и поэзия! И возьмите почти все повести г. Гоголя: какой отличительный характер их? что такое почти каждая из его повестей? Смешная комедия, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами, и которая, наконец, называется *жизнию*. И таковы все его повести: сначала смешно, потом грустно! И такова жизнь наша: сначала смешно, потом грустно! Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!..

В каждом человеке должно различать две стороны: общую, человеческую, и частную, индивидуальную; всякий человек прежде всего человек, и потом уже Иван, Сидор и т. д. Точно так же и в художественных созданиях должно различать два характера: характер творчества, общий всем изящным произведениям, и характер колорита, сообщенный индивидуальностию автора. Я уже коснулся, в общих чертах, первого характера в повестях г. Гоголя; теперь рассмотрю его подробнее; потом буду говорить об индивидуальном характере его созданий и, наконец, заключу мою статью беглым взглядом на те из его повестей, о которых можно будет сказать что-нибудь в частности.

Я уже сказал, что отличительные черты характера произведений г. Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни, народность,

оригинальность — все это черты общие; потом комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния, — черта индивидуальная.

Простота вымысла в поэзии реальной есть один из самых верных признаков истинной поэзии, истинного и притом зрелого таланта...

Совершенная истина жизни в повестях г. Гоголя тесно соединяется с простотою вымысла. Он не льстит жизни, но и не клевещет на нее; он рад выставить наружу все, что есть в ней прекрасного, человеческого, и в то же время не скрывает нимало и ее безобразия. В том и другом случае он верен жизни до последней степени. Она у него настоящий портрет, в котором все схвачено с удивительным сходством, начиная от экспрессии оригинала до веснушек лица его; начиная от гардероба Ивана Никифоровича до русских мужиков, идущих по Невскому проспекту, в сапогах, запачканных известью; от колоссальной физиономии богатыря Бульбы, который не боялся ничего в свете, с люлькою в зубах и саблею в руках, до стоического философа Хомы, который не боялся ничего в свете, даже чертей и ведьм, когда у него люлька в зубах и рюмка в руках.

...Повести г. Гоголя народны в высочайшей степени; но я не хочу слишком распространяться о их народности, ибо народность есть не достоинство, а необходимое условие истинно художественного произведения, если под народностию должно разуметь верность изображения нравов, обычаев и характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякого народа проявляется в своих, ей одной свойственных, формах, следовательно, если изображение жизни *верно*, то и *народно*. Народность, чтобы отразиться в поэтическом произведении, не требует такого глубокого изучения со стороны художника, как обыкновенно думают. Поэту стоит только мимоходом взглянуть на ту или другую жизнь, и она уже усвоена им. Как малороссу, г. Гоголю с детства знакома жизнь малороссийская, но народность его поэзии не ограничивается одною Малороссиею. В его «Записках сумасшедшего», в его «Невском проспекте» нет ни одного хохла, все русские и вдобавок еще немцы; а каково изображены им эти русские и эти немцы! Каков Шиллер и Гофман! Замечу здесь мимоходом, что, право, пора бы нам перестать хлопотать о народности, так же как пора бы перестать писать, не имея таланта; ибо эта народность очень похожа на тень в басне Крылова: г. Гоголь о ней нимало не думает, и она сама напрашивается к нему, тогда как многие из всех сил гоняются за нею и ловят — одну тривиальность.

Почти то же самое можно сказать и об *оригинальности*: как и народность, она есть необходимое условие истинного таланта. Два человека могут сойтись в заказной работе, но никогда в творчестве, ибо если одно вдохновение не посещает двух раз одного человека, то еще менее, одинаковое вдохновение может посетить двух человек. Вот

почему мир творчества так неистощим и безграничен. Поэт никогда не скажет: «О чем мне писать? уж все переписано!» или:

О боги, для чего я поздно так родился?

Один из самых отличительных признаков творческой оригинальности или, лучше сказать, самого творчества состоит в этом *типизме*, если можно так выразиться, который есть гербовая печать автора. У истинного таланта каждое лицо — тип, и каждый тип для читателя есть *знакомый незнакомец*. Не говорите: вот человек с огромною душою, с пылкими страстями, с обширным умом, но ограниченным рассудком, который до такого бешенства любит свою жену, что готов удавить ее руками при малейшем подозрении в неверности — скажите проще и короче: вот Отелло! Не говорите: вот человек, который глубоко понимает назначение человека и цель жизни, который стремится делать добро, но, лишенный энергии души, не может сделать ни одного доброго дела и страдает от сознания своего бессилия — скажите: вот Гамлет! Не говорите: вот чиновник, который подл по убеждению, зловреден благонамеренно, преступен добросовестно — скажите: вот Фамусов! Не говорите: вот человек, который подличает из выгод, подличает бескорыстно, по одному влечению души — скажите: вот Молчалин! Не говорите: вот человек, который во всю жизнь не ведал ни одной человеческой мысли, ни одного человеческого чувства, который во всю жизнь не знал, что у человека есть страдания и горести, кроме холода, бессонницы, клопов, блох, голода и жажды, есть восторги и радости, кроме спокойного сна, сытного стола, цветочного чаю, что в жизни человека бывают случаи поважнее съеденной дыни, что у него есть занятия и обязанности, кроме ежедневного осмотра своих сундуков, анбаров и хлевов, есть честолюбие выше уверенности, что он первая персона в каком-нибудь захолустьи; о, не тратьте так много фраз, так много слов — скажите просто: вот Иван Иванович Перерепенко, или: вот Иван Никифорович Довгочхун! И поверьте, вас скорее поймут все. В самом деле, Онегин, Ленский, Татьяна, Зарецкий, Репетилов, Хлестова, Тугоуховский, Платон Михайлович Горич, княжна Мими, Пульхерия Ивановна, Афанасий Иванович, Шиллер, Пискарев, Пирогов: разве все эти собственные имена теперь уже не нарицательные? И, боже мой! как много смысла заключает в себе каждое из них! Это повесть, роман, история, поэма, драма, многотомная книга; короче: целый мир в одном, только в одном слове! Что перед каждым из этих слов ваши заветные: «Qu’il mourût», «Moi!»,[126] «Ах, я Эдип!»* И какой мастер г. Гоголь выдумывать такие слова! не хочу говорить о тех, которых и так уже много говорил, скажу только об одном таком его словечке, это — *Пирогов!..** Святители! да это целая каста, целый народ, целая нация! О, единственный, несравненный Пирогов, тип из типов, первообраз из первообразов! Ты многообъемлющее, чем Шайлок, многозначительнее, чем Фауст! Ты представитель просвещения и образованности всех

людей, которые «любят потолковать об литературе, хвалят *Булгарина, Пушкина* и *Греча* и говорят с презрением и остроумными колкостями об *А. А. Орлове*»[*]. Да, господа, дивное словцо этот — Пирогов! Это символ, мистический миф, это, наконец, кафтан, который так чудно скроен, что придет по плечам тысячи человек! О, г. Гоголь большой мастер выдумывать такие слова, отпускать такие bons mots![127] А отчего он такой мастер на них? Оттого, что оригинален. А отчего оригинален? Оттого, что поэт.

Но есть еще другая оригинальность, проистекающая из индивидуальности автора, следствие цвета очков, сквозь которые смотрит он на мир. Такая оригинальность у г. Гоголя состоит, как я уже сказал выше, в комическом одушевлении, всегда побеждаемом чувством глубокой грусти. В этом отношении русская поговорка: «начал во здравие, а свел за упокой» может быть девизом его повестей. В самом деле, какое чувство остается у вас, когда пересмотрите вы все эти картины жизни, пустой, ничтожной, во всей ее наготе, во всем ее чудовищном безобразии, когда досыта нахохочетесь, наругаетесь над нею? Я уже говорил о «Старосветских помещиках» — об этой *слезной комедии* во всем смысле этого слова. Возьмите «Записки сумасшедшего», этот уродливый гротеск, эту странную, прихотливую грезу художника, эту добродушную насмешку над жизнию и человеком, жалкою жизнию, жалким человеком, эту карикатуру, в которой такая бездна поэзии, такая бездна философии, эту психическую *историю болезни*, изложенную в поэтической форме, удивительную по своей истине и глубокости, достойную кисти Шекспира: вы еще смеетесь над простаком, но уже ваш смех растворен горечью; это смех над сумасшедшим, которого бред и смешит и возбуждает сострадание. Я уже говорил также и о «Ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» в сем отношении; прибавлю еще, что, с этой стороны, эта повесть всего удивительнее. В «Старосветских помещиках» вы видите людей пустых, ничтожных и жалких, но по крайней мере добрых и радушных; их взаимная любовь основана на одной привычке: но ведь и привычка все же человеческое чувство, но ведь всякая любовь, всякая привязанность, на чем бы она ни основывалась, достойна участия, следовательно еще понятно, почему вы жалеете об этих стариках. Но Иван Иванович и Иван Никифорович существа совершенно пустые, ничтожные и притом нравственно гадкие и отвратительные, ибо в них нет ничего человеческого; зачем же, спрашиваю я вас, зачем вы так горько улыбаетесь, так грустно вздыхаете, когда доходите до трагикомической развязки? Вот она, эта тайна поэзии! вот они, эти чары искусства! Вы видите жизнь, а кто видел жизнь, тот не может не вздыхать!..

Комизм или гумор г. Гоголя имеет свой, особенный характер: это гумор чисто русский, гумор спокойный, простодушный, в котором автор как бы прикидывается простачком. Г. Гоголь с важностию говорит о бекеше

Ивана Ивановича, и иной простак не шутя подумает, что автор и в самом деле в отчаянии оттого, что у него нет такой прекрасной бекеши. Да, г. Гоголь очень мило прикидывается; и хотя надо быть слишком глупым, чтобы не понять его иронии*, но эта ирония чрезвычайно как идет к нему. Впрочем, это только манера, а истинный-то гумор г. Гоголя все-таки состоит в верном взгляде на жизнь и, прибавлю еще, нимало не зависит от карикатурности представляемой им жизни. Он всегда одинаков, никогда не изменяет себе, даже и в таком случае, когда увлекается поэзиею описываемого им предмета. Беспристрастие его идол. Доказательством этого может служить «Тарас Бульба», эта дивная эпопея, написанная кистию смелою и широкою, этот резкий очерк героической жизни младенчествующего народа, эта огромная картина в тесных рамках, достойная Гомера. Бульба герой, Бульба человек с железным характером, железною волею: описывая подвиги его кровавой мести, автор возвышается до лиризма и в то же время делается драматиком в высочайшей степени, и все это не мешает ему по местам смешить вас своим героем. Вы содрогаетесь Бульбы, хладнокровно лишающего мать детей, убивающего собственною рукою родного сына, ужасаетесь его кровавых тризн над гробом детей, и вы же смеетесь над ним, дерущимся на кулачки с своим сыном, пьющим горелку с своими детьми, радующимся, что в этом ремесле они не уступают батюшке, и изъявляющим свое удовольствие, что их добре пороли в бурсе. И причина этого комизма, этой карикатурности изображений заключается не в способности или направлении автора находить во всем смешные стороны*, но в верности жизни. Если г. Гоголь часто и с умыслом подшучивает над своими героями, то без злобы, без ненависти; он понимает их ничтожность, но не сердится на нее; он даже как будто любуется ею, как любуется взрослый человек на игры детей, которые для него смешны своею наивностию, но которых он не имеет желания разделить. Но тем не менее это все-таки гумор, ибо не щадит ничтожества, не скрывает и не скрашивает его безобразия, ибо, пленяя изображением этого ничтожества, возбуждает к нему отвращение. Это гумор спокойный и, может быть, тем скорее достигающий своей цели. И вот, замечу мимоходом, вот настоящая нравственность такого рода сочинений. Здесь автор не позволяет себе никаких сентенций, никаких нравоучений; он только рисует вещи так, как они есть, и ему дела нет до того, каковы они, и он рисует их без всякой цели, из одного удовольствия рисовать. После «Горя от ума» я не знаю ничего на русском языке, что бы отличалось такою чистейшею нравственностию и что бы могло иметь сильнейшее и благодетельнейшее влияние на нравы, как повести г. Гоголя…

Но какой же общий результат выведу я из всего сказанного мною? Что такое г. Гоголь в нашей литературе? Где его место в ней? Чего должно ожидать нам от него, от него, еще только начавшего свое поприще, и как начавшего? Не мое дело раздавать венки бессмертия поэтам, осуждать

на жизнь или смерть литературные произведения; если я сказал, что г. Гоголь поэт, я уже все сказал, я уже лишил себя права делать ему судейские приговоры. Теперь у нас слово «поэт» потеряло свое значение: его смешали с словом «писатель». У нас много писателей, некоторые даже с дарованием, но нет поэтов. Поэт высокое и святое слово; в нем заключается неумирающая слава! Но дарование имеет свои степени; Козлов, Жуковский, Пушкин, Шиллер: эти люди поэты, но равны ли они? Разве не спорят еще и теперь, кто выше: Шиллер или Гёте? Разве общий голос не назвал Шекспира царем поэтов, единственным и несравненным? И вот задача критики: определить степень, занимаемую художником в кругу своих собратий. Но г. Гоголь еще только начал свое поприще; следовательно, наше дело высказать свое мнение о его дебюте и о надеждах в будущем, которые подает этот дебют. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным. Предоставим времени решить, чем и как кончится поприще г. Гоголя, а теперь будем желать, чтобы этот прекрасный талант долго сиял на небосклоне нашей литературы, чтобы его деятельность равнялась его силе.

В «Арабесках» помещены два отрывка из романа[*]. Об этих отрывках нельзя судить как об отдельном и целом создании; но о них можно сказать, что они вполне могут служить залогом тех надежд, о которых я говорил. Поэты бывают двух родов: одни только доступны поэзии, и она у них бывает более способностию, чем даром или талантом, и много зависит от внешних обстоятельств жизни; у других дар поэзии есть нечто положительное, нечто составляющее нераздельную часть их бытия. Первые, иногда один раз в целую жизнь, выскажут какую-нибудь прекрасную поэтическую грезу и, как будто обессиленные тяжестью свершенного ими подвига, ослабевают и падают в последующих своих произведениях; и вот отчего у них первый опыт, по большей части, бывает прекрасен, а последующие постепенно подрывают их славу. Другие с каждым новым произведением возвышаются и крепнут; г. Гоголь принадлежит к числу этих последних поэтов: этого довольно!

Я забыл еще об одном достоинстве его произведений: это лиризм, которым проникнуты его описания таких предметов, которыми он увлекается. Описывает ли он бедную мать, это существо высокое и страждущее, это воплощение святого чувства любви, — столько тоски, грусти и любви в его описании! Описывает ли он юную красоту — сколько упоения, восторга в его описании! Описывает ли он красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссии — это сын, ласкающийся к обожаемой матери! Помните ли вы его описание безбрежных степей днепровских? Какая широкая, размашистая кисть!

Какой разгул чувства! Какая роскошь и простота в этом описании! Чорт вас возьми, степи, как вы хороши у г. Гоголя!...

Московские записки*

Внезапное оживление нашей сцены составляет теперь самую занимательную новость. Г. Гоголь, заслуживший громкую известность своими повестями, отличающимися высокою художественностью, обратил деятельность своего таланта на другую сторону искусства, комедию. Не нужно говорить, какое обширное, какое славное поле открывается здесь его деятельности; скажем только, что многого надеемся от г. Гоголя на этом поприще. Его оригинальный взгляд на вещи, его уменье схватывать черты характеров, налагать на них печать типизма, его неистощимый гумор — все это дает нам право надеяться, что театр наш скоро воскреснет, скажем более — что мы будем иметь свой национальный театр, который будет нас угощать не насильственными кривляньями на чужой манер, не заемным остроумием, не уродливыми переделками, а художественным представлением нашей общественной жизни; что мы будем хлопать не восковым фигурам с размалеванными лицами, а живым созданиям, с лицами оригинальными, которых, увидевши раз, никогда нельзя забыть. Да, г. Гоголю предлежит этот подвиг, и мы уверены, что он в силах его выполнить. Посмотрите, какие толпы хлынули на его комедию, посмотрите, какая давка у театра; какое ожидание на лицах! Не приписывайте этого одной *новости*: русский человек часто поддается обману, увлекается мишурою, принимает новость за достоинство, но у него есть свое чутье, которое, против его воли, заставляет его ценить истинно изящное, хотя бы это изящное не нравилось ему вследствие его образа мыслей или даже оскорбляло бы его самолюбие. О, пусть только явятся драматические таланты, а то у нас будет театр, будут даже актеры, будет и публика, многочисленная, внимательная, благодарная. Нет ничего нелепее, как обвинять ее в холодности ко всему родному и пристрастии ко всему чужому. Посмотрите, с какою жадностию она читает и покупает все, и хорошее и худое, с каким мученическим терпением зевает в родном театре! Ей нужны только дарования, которые пристрастили бы ее к одному прекрасному, дали бы настоящее направление ее вкусу...

«Ревизор» г. Гоголя был дан *четыре* раза*, но мы пока ничего не будем говорить ни о самой пьесе, ни об ее представлении: мы хотим глубже всмотреться, полнее изучить ее, потому что эта комедия есть истинно-художественное произведение, требующее основательного изучения. Самая игра актеров достойна особенного внимания: она доказывает, что и артисты смотрят на эту пьесу не как на что-нибудь обыкновенное, но обдумывают и изучают свои роли[256]*...

Письмо Аксакову К. С., 10 января 1840

…Бога самого ради, уведомь меня тотчас же, какое произведет впечатление статья о «Горе от ума» на Гоголя*. Я что-то и почему-то не ожидаю хорошего, — но во всяком случае не церемонься: надо все знать.

Радуюсь твоей новой классификации: Гомер, Шекспир и Гоголь, но и дивлюсь ей. Куда же девался Гете? О, юноша! пылка душа твоя, и я люблю ее прекраснодушную пылкость! Вот мы и сошлись с тобою; только у меня на месте Гоголя стоит Пушкин, который всего поглотил меня и которого чем более узнаю, тем более не надеюсь узнать. Это Россия и единственный русский национальный поэт, полный представитель жизни своего народа. Да, велик Гоголь, поэт мировой: это для меня ясно, как 2+2=4; но… Пушкин… Впрочем, надо еще подождать. Эти вещи трудны для выговаривания. Впрочем, личное знакомство с поэтом лучше знакомит с его творениями, или, по крайней мере, усугубляет наслаждение превозносить его…

…Да, в Петербурге таких людей не много. Поклонись от меня Гоголю и скажи ему, что я так люблю его, и как поэта, и как человека, что те немногие минуты, в которые я встречался с ним в Питере, были для меня отрадою и отдыхом. В самом деле, мне даже не хотелось и говорить с ним, но его присутствие давало полноту моей душе, и в ту субботу, как я не увидел его у Одоевского, мне было душно среди этих лиц и пустынно среди множества…

Письмо Боткину В. П., 14 марта 1840

…Гоголь доволен моею статьею о «Ревизоре»*, — говорит — многое подмечено верно. Это меня обрадовало…

Письмо Боткину В. П., 13 июня 1840

…Лермонтов великий поэт: он объектировал современное общество и его представителей. Это навело меня на мысль о разнице между Пушкиным и Гоголем, как *национальными* поэтами. Гоголь велик, как Вальтер Скотт, Купер; может быть, последующие его создания докажут, что и выше их; но только Пушкин есть такой наш поэт, в раны которого мы можем влагать персты, чтобы чувствовать боль своих и врачевать их. Лермонтов обещает то же…

Письмо Аксакову К. С., 14 июня 1840

…Теперь о Гоголе. Он великий художник, о том слова нет. Я и теперь не вижу, чтобы он был ниже Вальтер Скотта и Купера, и не почитаю невозможным, чтобы последующие его создания не доказали, что он выше их. Сверх того, он и ближе их к нам, следовательно, понятнее для нас. Но он не русский поэт в том смысле, как Пушкин, который выразил и исчерпал собою всю глубину русской жизни, и в раны которого мы можем влагать персты, чтобы чувствовать боль своих и врачевать их.

Пушкинская поэзия — наше искупление, а в созданиях Гоголя я вижу только «Тараса Бульбу», которого можно равнять с «Бахчисарайским фонтаном», «Цыганами», «Борисом Годуновым», «Сальери и Моцартом», «Скупым Рыцарем», «Русалкой», «Египетскими Ночами», «Каменным Гостем». В форме все художественные произведения равны, но содержание дает различную ценность: «Ричард II», «Отелло», «Гамлет», «Макбет», «Лир», «Ромео и Юлия» всегда будут выше «Венецианского Купца», а «Тарас Бульба» выше всего остального, что напечатано из сочинений Гоголя...

Письмо Боткину В. П., 11 декабря 1840

...Аксаков сказывал, что Гоголь пишет к нему, что он убедился, что у него чахотка, что он ничего не может делать. Но это, может быть, и пройдет, как вздор. Важно вот что: его начинает занимать Россия, ее участь, он грустит о ней; ибо в последний раз он увидел, что в ней есть люди! А — я торжествую: субстанция общества взяла свое — космополит поэт кончился и уступает свое место русскому поэту...

Русская литература в 1841 году*

...А. — ...С Гоголя начался русский роман и русская повесть, как с Пушкина началась истинно русская поэзия... Гоголь внес в нашу литературу новые элементы, породил множество подражателей, навел общество на истинное созерцание романа, каким он должен быть; с Гоголя начинается новый период русской литературы, русской поэзии...

Б. — Воля ваша, а мне кажется, что вы увлекаетесь и видите в Гоголе далеко больше того, что в нем есть. Что говорить — талант, и талант замечательный, удивительное искусство верно списывать с натуры; но — согласитесь сами — ведь действительная и высокая сторона в искусстве есть идеалы, а что за идеальные лица — какой-нибудь взяточник-городничий, мещанка Пошлепкина, какой-нибудь Иван Иванович или Иван Никифорович?..

А. — Вы очень верно выразили мнение толпы о Гоголе, и, по моему мнению, толпа совершенно права с своей точки зрения...

Б. — Как хотите, но я охотно готов быть представителем толпы в этом случае. Смеяться и смеяться, смешить и смешить — это, право, совсем не то, что умилять сердца, возвышать душу...

А. — Совершенная правда! Смешить — дело весельчаков и забавников, а смеяться — дело толпы. Чем грубее и необразованнее человек, тем он более расположен смеяться всякой плоскости, хохотать всякому вздору. Ничего нет легче, как рассмешить его. Он не понимает, что можно плакать и рыдать, когда сердце хочет выскочить из груди от полноты блаженства и радости, и что можно хохотать до безумия, когда сердце

сдавлено тоскою или разрывается отчаянием. Ступайте в русский театр, когда там дают «Гамлета», — и вы услышите вверху (а иногда и внизу) самый веселый, самый добродушный смех, когда Гамлет, заколов Полония, на вопрос матери: «Кого ты убил?» отвечает: «Мышь!»… Помните ли вы еще разговор Гамлета с Полонием, с актерами и с Офелиею: мне становилось страшно от этих сцен ужасной иронии глубоко оскорбленной и тяжко страдающей души датского принца; а другие, если не дремали, то смеялись… Я хочу сказать этим совсем не то, что Шекспир и Гоголь — одно и то же, или что «Гамлет» Шекспира и «Миргород» Гоголя — одно и то же, — нет, я говорю только, что смех смеху — рознь… Если бы из «Тараса Бульбы» сделать драму, — я уверен, что в страшной сцене казни, когда старый казак на вопль сына: «Слышишь ли, батьку!» отвечает: «Слышу, сынку!», многие от души расхохотались бы… И в самом деле, не смешно ли иному благовоспитанному, милому и образованному чиновнику, который привык называть отца уже не то, чтобы «тятенькою», но *даже* «папенькою», не смешно ли ему слышать это грубое, хохлацкое «батьку» и «сынку»?.. Надо сказать правду: у нас вообще смеяться не умеют и всего менее понимают «комическое». Его обыкновенно полагают в фарсе, в карикатуре, в преувеличении, в изображении низких и пошлых сторон жизни. Я говорю это не в осуждение нашему обществу. Постижение комического — вершина эстетического образования. Шиллер, великий Шиллер признается, что в первой поре своей юности, при начале знакомства с Шекспиром, его возмущала эта холодность, бесстрастие, дозволявшие Шекспиру шутить в самых высоких, патетических местах и разрушать явлением шутов впечатления самых трогательных сцен в «Гамлете», «Лире», «Макбете» и т. д., останавливать ощущение там, где оно желало бы безостановочно стремиться вперед, или хладнокровно отрывать его от тех мест, на которых бы оно так охотно остановилось и успокоилось.[128] Идеальное трагическое открывается юному чувству непосредственно и сразу; идеальное комическое дается только развитому и образованному чувству человека, знающего жизнь не по одним восторженным мечтаниям и не понаслышке. На такого человека комическое часто производит обратное действие: возбуждает в нем не веселый смех, а одно скорбное чувство. Он улыбается, но в его улыбке столько меланхолии…

Комизм еще не составляет основного элемента всех сочинений Гоголя. Он разлит преимущественно в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Это комизм веселый, улыбка юноши, приветствующего прекрасный божий мир. Тут все светло, все блестит радостию и счастием; мрачные духи жизни не смущают тяжелыми предчувствиями юного сердца, трепещущего полнотою жизни. Здесь поэт как бы сам любуется созданными им оригиналами. Однакож эти оригиналы не его выдумка, они смешны не по его прихоти; поэт строго верен в них

действительности. И потому всякое лицо говорит и действует у него в сфере своего быта, своего характера и того обстоятельства, под влиянием которого оно находится. И ни одно из них не проговаривается: поэт математически верен действительности и часто рисует комические черты без всякой претензии смешить, но только покоряясь своему инстинкту, своему такту действительности. Смех толпы для него бывает оскорбителен в таких случаях; она смеется там, где надо удивляться тонкой черте действительности, верно и зорко подмеченной, удачно схваченной. В повестях, помещенных в «Арабесках», Гоголь от веселого комизма переходит к «юмору», который у него состоит в противоположности созерцания истинной жизни, в противоположности идеала жизни — с действительностию жизни. И потому его юмор смешит уже только простяков или детей; люди, заглянувшие в глубь жизни, смотрят на его картины с грустным раздумьем, с тяжкою тоскою... Из-за этих чудовищных и безобразных лиц им видятся другие, благообразные лики; эта грязная действительность наводит их на созерцание идеальной действительности, и то, что есть, яснее представляет им то, что бы должно быть... В «Миргороде» этот юмор особенно проникает собою насквозь дивную повесть о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем; оканчивая ее, вы от души восклицаете с автором: «Скучно на этом свете, господа!» точно, как будто выходя из дома умалишенных, где с горькою улыбкою смотрели вы на глупости несчастных больных... В этом смысле, комедия Гоголя «Ревизор» стоит всякой трагедии*. Что же касается до искусства Гоголя верно списывать с натуры — это из тех бессмысленно пошлых выражений, которые оскорбляют своею нелепостию здравый смысл. Подобная похвала — оскорбление. Гоголь творит верно природе; списывают с природы не живописцы, а маляры, и их списки — чем вернее, тем безжизненнее для всякого, кому неизвестен подлинник. Верность натуре в творениях Гоголя вытекает из его великой творческой силы, знаменует в нем глубокое проникновение в сущность жизни, верный такт, всеобъемлющее чувство действительности. И это уже многие чувствуют, хотя еще и слишком немногие сознают. Теперь все стараются писать верно натуре, все сделались юмористами: таково всегда влияние гениального человека! Новый Коломб, он открывает неизвестную часть мира и открывает ее для удовлетворения своего беспокойно рвущегося в бесконечность духа; а ловкие антрепренеры стремятся по следам его толпою, в надежде разбогатеть чужим добром!...

Письмо Боткину В. П., 31 марта 1842

...*Неуважение к Державину* возмутило мою душу чувством болезненного отвращения к Гоголю*: ты прав — в этом кружке он как раз сделается органом «Москвитянина». «Рим» — много хорошего; но есть фразы, а взгляд на Париж возмутительно гнусен...

Письмо Гоголю Н. В., 20 апреля 1842*

Милостивый Государь, Николай Васильевич!

Я очень виноват перед вами, не уведомляя вас давно о ходе данного мне вами поручения*. Главною причиною этого было желание написать вам что-нибудь положительное и верное, хотя бы даже и неприятное. Во всякое другое время ваша рукопись прошла бы без всяких препятствий, особенно тогда, как вы были в Питере. Если бы даже и предположить, что ее не пропустили бы, то все же можно наверное сказать, что только в китайской Москве могли поступить с вами, как поступил г. Снегирев, и что в Петербурге этого не сделал бы даже Петрушка Корсаков, хоть он и моралист, и пиэтист. Но теперь дело кончено, и говорить об этом бесполезно.

Очень жалею, что «Москвитянин» взял у вас все, и что для «Отечественных записок» нет у вас ничего. Я уверен, что это дело судьбы, а не вашей доброй воли или вашего исключительного расположения в пользу «Москвитянина» и в невыгоду «Отечественных записок». Судьба же давно играет странную роль в отношении ко всему, что есть порядочного в русской литературе: она лишает ума Батюшкова, жизни Грибоедова, Пушкина и Лермонтова — и оставляет в добром здоровье Булгарина, Греча и других подобных им негодяев в Петербурге и Москве; она украшает «Москвитянин» вашими сочинениями — и лишает их «Отечественные записки». Я не так самолюбив, чтобы «Отечественные записки» считать чем-то соответствующим таким великим явлениям в русской литературе, как Грибоедов, Пушкин и Лермонтов; но я далек и от ложной скромности — бояться сказать, что «Отечественные записки» теперь *единственный* журнал на Руси, в котором находит себе место и убежище честное, благородное и — смею думать — умное мнение, и что «Отечественные записки» ни в каком случае не могут быть смешиваемы с холопами знаменитого села *Поречья**. Но потому-то, видно, им то же счастие: не изменить же для «Отечественных записок» судьбе своей роли в отношении к русской литературе!

С нетерпением жду выхода ваших «Мертвых душ». Я не имею о них никакого понятия, мне не удалось слышать ни одного отрывка, чему я, впрочем, и очень рад: знакомые отрывки ослабляют впечатление целого. Недавно в «Отечественных записках» была обещана статья о «Ревизоре». Думаю по случаю выхода «Мертвых душ» написать несколько статей вообще о ваших сочинениях. С особенною любовию хочется мне поговорить о милых мне «Арабесках», тем более, что я виноват перед ними: во время оно с юношескою запальчивостию изрыгнул я хулу на ваши в «Арабесках» статьи ученого содержания, не понимая, что тем изрыгаю *хулу на духа**. Они были тогда для меня слишком просты, а потому и неприступно высоки; притом же на мутном

дне самолюбия бессознательно шевелилось желание блеснуть и беспристрастием. Вообще, мне страх как хочется написать о ваших сочинениях. Я опрометчив и способен вдаваться в дикие нелепости; но — слава богу — я, вместе с этим, одарен и движимостию вперед и способностию собственные промахи и глупости называть настоящим их именем и с такою же откровенностию, как и чужие грехи. И потому надумалось во мне много нового с тех пор, как в 1840 году, в последний раз врал я о ваших повестях и «Ревизоре»*. Теперь я понял, почему вы *Хлестакова* считаете героем вашей комедии, и понял, что он точно герой ее; понял, почему «Старосветских помещиков» считаете вы лучшею повестью своею в «Миргороде»; также понял, почему одни вас превозносят до небес, а другие видят в вас нечто вроде Поль-де-Кока, и почему есть люди, и притом не совсем глупые, которые, зная наизусть ваши сочинения, не могут без ужаса слышать, что вы выше Марлинского и что ваш талант — великий талант. Объяснение всего этого дает мне возможность сказать дело о деле, не бросаясь в отвлеченные и окольные рассуждения; а умеренный тон (признак, что предмет понят ближе к истине) дает многим возможность *сознательно* полюбить ваши сочинения. Конечно, критика не сделает дурака умным, а толпу мыслящею; но она у одних может просветлить сознанием безотчетное чувство, а у других — возбудить мыслию спящий инстинкт. Но величайшею наградою за труд для меня может быть только ваше внимание и ваше доброе, приветливое слово. Я не заношусь слишком высоко, но — признаюсь — и не думаю о себе слишком мало; я слышал похвалы себе от умных людей и — что еще лестнее — имел счастие приобрести себе ожесточенных врагов: и все-таки больше всего этого меня радуют доселе и всегда будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным и, к счастию, дошедших до меня из верных источников. И я чувствую, что это не мелкое самолюбие с моей стороны, а то, что я понимаю, что такое человек, как Пушкин, и что такое одобрение со стороны такого человека, как Пушкин*. После этого вы поймете, почему для меня так дорог ваш *человеческий*, приветливый отзыв...

Дай вам бог здоровья, душевных сил и душевной ясности. Горячо желаю вам этого, как писателю и как человеку, ибо одно с другим тесно связано. Вы у нас теперь *один* — и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связаны с вашею судьбою: не будь вас — и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни моего отечества: я буду жить в одном прошедшем и, равнодушный к мелким явлениям современности, с грустною отрадою буду беседовать с великими тенями, перечитывая их неумирающие творения, где каждая буква давно мне знакома...

Хотелось бы мне сказать вам искренно, мое мнение о вашем «Риме», но, не получив предварительно позволения на откровенность, не смею этого сделать.

Не знаю, понравится ли вам тон моего письма, — и даже боюсь, чтобы он не показался вам более откровенным, нежели сколько допускают то наши с вами светские отношения; но не хочу переменить ни слова в письме моем, ибо в случае, противном моему ожиданию, легко утешусь, сложив всю вину на судьбу, издавна уже не благоприятствующую русской литературе.

С искренним желанием вам всякого счастья, остаюсь готовый к услугам вашим

Виссарион Белинский[*].

Похождения Чичикова или мертвые души[*]

...Из существующих теперь журналов «Отечественные записки» *первые* и *одни* сказали и постоянно, со дня своего появления до сей минуты, говорят, что такое Гоголь в русской литературе... Как на величайшую нелепость со стороны нашего журнала, как на самое темное и позорное пятно на нем, указывали разные критиканы, сочинители и литературщики на наше мнение о Гоголе... Если б мы имели несчастие увидеть гения и великого писателя в каком-нибудь писаке средней руки, предмете общих насмешек и образце бездарности, — и тогда бы не находили этого столь смешным, нелепым, оскорбительным, как мысль о том, что Гоголь — великий талант, гениальный поэт и *первый* писатель современной России... За сравнение его с Пушкиным на нас нападали люди, всеми силами старавшиеся бросать грязью своих литературных воззрений в страдальческую тень первого великого поэта Руси... Они прикидывались, что их оскорбляла одна мысль видеть имя Гоголя подле имени Пушкина; они притворялись глухими, когда им говорили, что сам Пушкин первый понял и оценил талант Гоголя, и что оба поэта были в отношениях, напоминавших собою отношения Гёте и Шиллера... Из всех немногих высоко превозносимых в «Отечественных записках» поэтов только один Лермонтов находился с их издателем в близких, приятельских отношениях и почти исключительно одному ему отдавал свои произведения; так как этого нельзя было поставить в упрек ни издателю, ни его журналу, — то вздумали уверять, что *немногим* (sic!) успехом своим «Отечественные записки» обязаны Лермонтову. Это уверение воспоследовало после многих других уверений в том, что «Отечественные записки» никогда не имели, не имеют и не будут иметь *никакого* успеха... Судя по такому постоянству в мнении об успехе «Отечественных записок», можно думать, что эти люди скоро убедятся в следующей истине: если стихотворения такого поэта, как Лермонтов, не могли не придать собою большого блеска журналу, то еще не было на

Руси (да и нигде) примера, чтоб какой-нибудь журнал держался чьими бы то ни было стихотворениями... При этом, может быть, вспомнят они, что «Московский вестник», в котором Пушкин исключительно печатал свои стихотворения, не имел никакого успеха, ни большого, ни малого, потому что в нем, кроме стихов Пушкина, ничего интересного для публики не было... Издатель «Отечественных записок» всегда сохранит как лучшее достояние своей жизни признательную память о Пушкине, который удостоивал его больше, чем простого знакомства; но признает себя обязанным отречься от высокой чести быть приятелем или, как обыкновенно говорится, «другом» Пушкина: если он высоко ставит поэтический гений Пушкина, так это по причинам чисто литературным... В его журнале читатели не раз встречали восторженные похвалы Крылову и Жуковскому — и это опять по причинам чисто литературным, хотя издатель и пользуется честью знакомства с обоими лауреатами нашей литературы и хотя последний удостоил его журнал помещением в нем нескольких пьес своих... В «Отечественных записках» читатели не раз встречали также восторженные похвалы Батюшкову и особенно Грибоедову: но этих двух поэтов издатель «Отечественных записок» даже никогда и не видывал... Что касается до Гоголя, издатель «Отечественных записок» действительно имел честь быть знаком с ним; но не больше как знаком, — и в то время как «Отечественные записки» своими отзывами о Гоголе возбуждали к себе ненависть и навлекали на себя осуждения разных критиканов, — Гоголь жил в Италии, а возвращаясь на родину, жил преимущественно в Москве, и ни одной строки его еще не было в нашем журнале... Что же заговорят наши критические рыцари печального образа, если когда-нибудь увидят в «Отечественных записках» повесть Гоголя?.. О, тогда они завопят: «видите ли, все хвалят *своих!..*»

Мы не без умысла разговорились по поводу поэмы Гоголя о таких не прямо литературных предметах. Что делать! наша литература еще так молода, общественное мнение так еще не твердо, что нам должно говорить о многом, о чем уже давно не говорится в иностранных литературах и о чем, есть надежда, скоро совсем перестанут говорить и в нашей литературе... Журнал издается не для известного круга, а для всех; «Отечественные записки» имеют такой обширный круг читателей, в котором нельзя никак предполагать единства в мнении. Притом же иногородная публика, которая издалека смотрит на Петербург, как на центр литературной деятельности в России, не может иногда не приходить в смущение от противоречащих журнальных толков, не зная, кому верить, кому не верить: и потому должно давать ей ключ к истине не одними словами, но и фактами. Чего доброго! — может быть, скоро ей начнут превозносить Гоголя те же самые люди, которые поносили нас за похвалы ему и которые теперь, потерявшись от неслыханного успеха «Мертвых душ», подобно утопающему, хватаются даже за соломинку для своего спасения от потопления в волнах Леты и уверяют, что

«Кузьма Петрович Мирошев»[*] выше «Мертвых душ»… Чего доброго! — может быть, скоро эти люди будут упрекать нас в невежестве, безвкусии и пристрастии, если бы нам когда-нибудь случилось какое-нибудь новое произведение Гоголя найти неудовлетворительным… Времена переменчивы… Притом же есть люди, которые думают, что то и хорошо, что в ходу…

Но пока для нас еще существует достоверность, что все знают, *кто* первый оценил на Руси Гоголя…[*] Мы знаем, что если б где и случилось публике встретить более или менее подходящее к истине суждение о Гоголе, особенно в тоне и духе «Отечественных записок», публика будет знать источник, откуда вытекло это суждение, и не приймет его за новость… Теперь все стали умны, даже люди, которые родились неумны, и каждый сумеет поставить яйцо на стол… После появления «Мертвых душ» много найдется литературных Коломбов, которым легко будет открыть новый великий талант в русской литературе, нового великого писателя русского — Гоголя…

Но не так-то легко было открыть его, когда он был еще действительно новым. Правда, Гоголь при первом появлении своем встретил жарких поклонников своему таланту; но их число было слишком мало. Вообще, ни один поэт на Руси не имел такой странной судьбы, как Гоголь: в нем не смели видеть великого писателя даже люди, знавшие наизусть его творения; к его таланту никто не был равнодушен: его или любили восторженно, или ненавидели. И этому есть глубокая причина, которая доказывает скорее жизненность, чем мертвенность нашего общества. Гоголь первый взглянул смело и прямо на русскую действительность, и если к этому присовокупить его глубокий юмор, его бесконечную иронию, то ясно будет, почему ему еще долго не быть понятным и что обществу легче полюбить его, чем понять… Впрочем, мы коснулись такого предмета, которого нельзя объяснить в рецензии. Скоро будем мы иметь случай поговорить подробно о всей поэтической деятельности Гоголя, как об одном целом, и обозреть все его творения в их постепенном развитии. Теперь же ограничимся выражением в общих чертах своего мнения о достоинстве «Мертвых душ» — этого великого произведения.

…Гоголь начал свое поприще при Пушкине и с смертию его замолк, казалось, навсегда. После «Ревизора» он не печатал ничего до половины текущего года. В этот промежуток его молчания, столь печалившего друзей русской литературы и столь радовавшего литературщиков, успела взойти и погаснуть на горизонте русской поэзии яркая звезда таланта Лермонтова. После «Героя нашего времени» только в журналах (читатели знают, в каких) и альманахе Смирдина явилось несколько повестей, более или менее замечательных; но ни в журналах, ни отдельно не явилось ничего капитального, ничего такого, что составляет

вечное приобретение литературы и, как лучи солнечные в фокусе стекла, сосредоточивает в себе общественное сознание, в одно и то же время возбуждая и любовь и ненависть, и восторженные похвалы и ожесточенные порицания, полное удовлетворение и совершенное недовольство, но во всяком случае общее внимание, шум, толки и споры. Какое-то апатическое уныние овладело литературою; торжество посредственности было полное; видя, что никто ей не мешает, она овладела и романом, и повестью, и театром; она выпустила длинную фалангу уродов и недоносков, то передразнивая Марлинского в призраках, то шарлатаня французскою историею и литовскими преданиями, растягивая их на длинные томы скучных россказней; то перебиваясь старою ветошью мнимо-патриотических и мнимо-народных сцен пресловутой старины; то выдавая нам за народность грязь простонародья, за патриотизм сало и галушки, а за юмор и остроумие карикатуры нигде не бывалых идиотов, которые по воле г. сочинителя то глупы, то умны, то опять глупы; то пародируя Шекспира и перелагая его драмы на русские нравы; то переводя на русский язык и русскую сцену мусор и щебень с заднего двора немецкой драматической литературы... И вдруг среди этого торжества мелочности, посредственности, ничтожества, бездарности, среди этих пустоцветов и дождевых пузырей литературных, среди этих ребяческих затей, детских мыслей, ложных чувств, фарисейского патриотизма, приторной народности — вдруг, словно освежительный блеск молнии среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовию к плодовитому зерну русской жизни; творение необъятно художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта, — и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое... В «Мертвых душах» автор сделал такой великий шаг, что все, доселе им написанное, кажется слабым и бледным в сравнении с ними... Величайшим успехом и шагом вперед считаем мы со стороны автора то, что в «Мертвых душах» везде ощущаемо и, так сказать, осязаемо проступает его субъективность. Здесь мы разумеем не ту субъективность, которая, по своей ограниченности или односторонности, искажает объективную действительность изображаемых поэтом предметов, но ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность, которая в художнике обнаруживает человека с горячим сердцем, симпатичною душою и духовно-личною самостию, — ту субъективность, которая не допускает его с апатическим равнодушием быть чуждым миру, им рисуемому, но заставляет его проводить через свою *душу живу* явления внешнего мира, а через то и в них вдыхать *душу живу*... Это преобладание субъективности, проникая и одушевляя собою всю поэму

Гоголя, доходит до высокого лирического пафоса и освежительными волнами охватывает душу читателя даже в отступлениях, как, например, там, где он говорит о завидной доле писателя, «который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собраниям и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы»; или там, где говорит он о грустной судьбе «писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи»; или там еще, где он, по случаю встречи Чичикова с пленившею его блондинкою, говорит, что «везде, где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато-бедных, неопрятно-плеснеющих, низменных рядов ее, или среди однообразно-хладных и скучно-опрятных сословий высших, — везде хоть раз встретится на пути человеку явленье, непохожее на все то, что случалось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чувство, непохожее на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь; везде, поперек каким бы то ни было печалям, из которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как иногда блестящий экипаж с золотою упряжью, картинными конями и сверкающим блеском стекол, вдруг неожиданно промчится мимо какой-нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не видавшей ничего, кроме сельской телеги, — и долго мужики стоят, зевая с открытыми ртами, не надевая шапок, хоть давно уже унесся и пропал из виду дивный экипаж»... Таких мест в поэме много — всех не выписать. Но этот пафос субъективности поэта проявляется не в одних таких высоколирических отступлениях: он проявляется беспрестанно, даже и среди рассказа о самых прозаических предметах, как, например, об известной дорожке, проторенной забубенным русским народом... Его же музыку чует внимательный слух читателя и в восклицаниях, подобных следующему: «Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью!»...

Столь же важный шаг вперед со стороны таланта Гоголя видим мы и в том, что в «Мертвых душах» он совершенно отрешился от малороссийского элемента и стал русским национальным поэтом во всем пространстве этого слова. При каждом слове его поэмы читатель может говорить:

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет![*]

Этот русский дух ощущается и в юморе, и в иронии, и в выражении автора, и в размашистой силе чувств, и в лиризме отступлений, и в пафосе всей поэмы, и в характерах действующих лиц, от Чичикова до Селифана и «подлеца чубарого» включительно, — в Петрушке, носившем с собою свой особенный воздух, и в будочнике, который при фонарном свете, впросонках, казнил на ногте зверя и снова заснул. Знаем, что чопорное чувство многих читателей оскорбится в печати тем, что так субъективно свойственно ему в жизни, и назовет сальностями выходки вроде казненного на ногте зверя; но это значит не понять поэмы, основанной на пафосе действительности, как она есть. Изображайте мещанско-филистерскую жизнь немцев, и вы принуждены будете упоминать (в похвалу или насмешку) о педантизме их опрятности; касаясь же жизни русского простонародья, не отличающегося, как известно, излишнею чистоплотностью, значило бы пропустить одну из характеристических черт ее, если б не заметить, что не только в деревнях, днем, сидя у ворот, бабы усердно занимаются казнением зверей у ребятишек, изъявляя им этим свою нежность и заботливость, но и в столицах извощики на биржах и работники на улицах нередко оказывают друг другу подобную услугу единственно из бескорыстной любви к такому занятию… Мы знаем наперед, что наши сочинители и критиканы не пропустят воспользоваться расположением многих читателей к чопорности и их склонностию находить в себе образованность большого света, выказывая при этом собственное знание приличий высшего общества. Нападая на автора «Мертвых душ» за сальности его поэмы, они с сокрушенным сердцем воскликнут, что и порядочный лакей не станет выражаться, как выражаются у Гоголя благонамеренные и почтенные чиновники… Но мимо их, этих столь посвященных в таинства высшего общества критиканов и сочинителей; пусть их хлопочут о том, чего не смыслят, и стоят за то, чего не видали и что́ не хочет их знать…

«Мертвые души» прочтутся всеми, но понравятся, разумеется, не всем. В числе многих причин есть и та, что «Мертвые души» не соответствуют понятию толпы о романе, как о сказке, где действующие лица полюбили, разлучились, а потом женились и стали богаты и счастливы. Поэмою Гоголя могут вполне насладиться только те, кому доступна мысль и художественное выполнение создания, кому важно содержание, а не «сюжет»; для восхищения всех прочих остаются только места и частности. Сверх того, как всякое глубокое создание, «Мертвые души» не раскрываются вполне с первого чтения даже для людей мыслящих: читая их во второй раз, точно читаешь новое, никогда не виданное произведение. «Мертвые души» требуют изучения. К тому же еще должно повторить, что юмор доступен только глубокому и сильно развитому духу. Толпа не понимает и не любит его. У нас всякий писака так и таращится рисовать бешеные страсти и сильные характеры, списывая их, разумеется, с себя и с своих знакомых. Он считает для себя

унижением снизойти до комического и ненавидит его по инстинкту, как мышь кошку. «Комическое» и «юмор» большинство понимает у нас как шутовское, как карикатуру, — и мы уверены, что многие не шутя, с лукавою и довольною улыбкою от своей проницательности, будут говорить и писать, что Гоголь в шутку назвал свой роман поэмою… Именно так! Ведь Гоголь большой остряк и шутник и что за веселый человек, боже мой! Сам беспрестанно хохочет и других смешит!.. Именно так, вы угадали, умные люди…

Что касается до нас, то, не считая себя вправе говорить печатно о личном характере живого писателя, мы скажем только, что не в шутку назвал Гоголь свой роман «поэмою» и что не комическую поэму разумеет он под нею. Это нам сказал не автор, а его книга. Мы не видим в ней ничего шуточного и смешного; ни в одном слове автора не заметили мы намерения смешить читателя: все серьезно, спокойно, истинно и глубоко… Не забудьте, что книга эта есть только экспозиция, введение в поэму, что автор обещает еще две такие же большие книги, в которых мы снова встретимся с Чичиковым и увидим новые лица, в которых Русь выразится с другой своей стороны…

Библиографическое известие*

Все литературные интересы, все журнальные вопросы сосредоточены теперь на Гоголе. Можно сказать без преувеличения, что «Мертвые души» оживили погруженную в апатию современную русскую литературу. Большая часть журналов по весьма понятным причинам *соревнования* (ибо их издатели сами романисты и нувеллисты, словом — «сочинители»*), большая часть журналов, справедливо и основательно испугавшаяся успехов поэмы Гоголя, употребляет все сродные ей средства к унижению первого поэтического таланта в современной русской литературе. Остальная часть журналов — или просто отдает должную дань достоинству нового творения Гоголя, или, сверх того, принимает на себя обязанность выводить на свежую воду нападателей. У нас так немного журналов, что не нужно объяснять читателям, какой журнал именно играет ту или другую роль в отношении к Гоголю, который между тем, не читая русских журналов, спокойно живет себе в Риме, где была написана им первая часть «Мертвых душ» и где, вероятно, будет написано им еще не одно творение, долженствующее привести многих сочинителей в совершенное отчаяние, заранее возбуждающее самые живые опасения за их умственное здоровье. В предыдущей книжке «Отечественных записок» мы говорили об одной восторженной московской брошюре*, явившейся по поводу «Мертвых душ»: кто знает, не явится ли и еще несколько брошюр pro и contra?[129] Таково свойство всего великого, далеко выдающегося из-под уровня обыкновенности: оно производит движение, возбуждая и обожание и ненависть, восторженные рукоплескания и ожесточенный крик,

преувеличенные похвалы и брань. И если что-нибудь может вредить такому великому явлению в литературе, так уж, конечно, исполненное детского энтузиазма и детской добродушной искренности удивление, видящее в творении не то великое, которое в нем есть действительно, а то великое, которого в нем совсем нет. Что же касается до ожесточенной брани, — чем неосновательнее она, тем более служит в пользу и прославление творения, которое силится она унизить и загрязнить собою. «Герой нашего времени» Лермонтова имел замечательный успех, как все, что ни появляется в России ознаменованного печатью высшего таланта; но успех этого превосходного творения был бы, без сомнения, еще блестящее и прочнее, если б не имел несчастия нигде не встретить себе ожесточенных нападок и если б не имел несчастия встретить написанную слогом афиш похвалу в одном захолустье газетной литературы, откуда бы и должны были раздаться хулительные вопли оскорбленной самолюбивой посредственности[*]. «Мертвые души» избежали подобного несчастия, и зато успех их напоминает собою успех первых произведений Пушкина. Мы здесь разумеем не материальный успех, хотя и достоверно знаем, что «Мертвых душ» скоро нельзя будет достать ни в одной книжной лавке, несмотря на то, что они печатались в большом числе экземпляров, но успех нравственный, состоящий в том, что «Мертвые души» со дня на день более и более раскрываются перед глазами публики во всей бесконечности и глубокости их идеального значения, со дня на день более и более приобретают себе почитателей и приверженцев даже между людьми, не могшими оценить их сразу, при первом чтении, и со дня на день более и более становятся живою новостию минуты, вместо того, чтоб постепенно отступать в архив решенных дел и старых, потерявших свой интерес новостей… Трудитесь же, почтенные сочинители, пишите новые брани на «Мертвые души» и их знаменитого творца, чтоб выше и выше еще становились они, и без вас уже высоко ставшие!…

Письмо Боткину В. П., 23 ноября 1842

…Гоголь прислал во-время *Сцену после представления комедии*[*] — удивительная вещь — умнее я ничего не читывал по-русски…

Русская литература в 1843 году[*]

…Со времени выхода в свет «Миргорода» и «Ревизора» русская литература приняла совершенно новое направление. Можно сказать без преувеличения, что Гоголь сделал в русской романической прозе такой же переворот, как Пушкин в поэзии. Тут дело идет не о стилистике, и мы первые признаем охотно справедливость многих нападок литературных противников Гоголя на его язык, часто небрежный и неправильный. Нет, здесь дело идет о двух более важных вопросах: *о слоге и о создании*. К достоинствам языка принадлежит только правильность, чистота, плавность, чего достигает даже самая пошлая бездарность путем рутины

и труда. Но слог, это — сам талант, сама мысль. Слог — это рельефность, осязаемость мысли; в слоге весь человек; слог всегда оригинален как личность, как характер. Поэтому у всякого великого писателя свой слог: слога нельзя разделить на три рода — высокий, средний и низкий: слог делится на столько родов, сколько есть на свете великих или по крайней мере сильно даровитых писателей. По почерку узнают руку человека и на почерке основывают достоверность собственноручной подписи человека; по слогу узнают великого писателя, как по кисти — картину великого живописца. Тайна слога заключается в уменьи до того ярко и выпукло изливать мысли, что они кажутся как будто нарисованными, изваянными из мрамора. Если у писателя нет никакого *слога*, он может писать самым превосходным *языком*, и все-таки неопределенность и — ее необходимое следствие — многословие будут придавать его сочинению характер болтовни, которая утомляет при чтении и тотчас забывается по прочтении. Если у писателя есть слог, его эпитет резко определителен, всякое слово стоит на своем месте, и в немногих словах схватывается мысль, по объему своему требующая многих слов. Дайте обыкновенному переводчику перевести сочинение иностранного писателя, имеющего слог; вы увидите, что он своим переводом расплодит подлинник, не передав ни его силы, ни определенности. Гоголь вполне владеет слогом. Он не пишет, а рисует; его фраза, как живая картина, мечется в глаза читателю, поражая его своею яркою верностию природе и действительности. Сам Пушкин в своих повестях далеко уступает Гоголю в слоге, имея свой слог и будучи, сверх того, превосходнейшим стилистом, то есть владея в совершенстве языком. Это происходит оттого, что Пушкин в своих повестях далеко не то, что в стихотворных произведениях или в «Истории Пугачевского бунта», написанной по-тацитовски. Лучшая повесть Пушкина — «Капитанская дочка», далеко не сравнится ни с одною из лучших повестей Гоголя, даже в его «Вечерах на хуторе». В «Капитанской дочке» мало творчества и нет художественно очерченных характеров, вместо которых есть мастерские очерки и силуэты*. А между тем повести Пушкина стоят еще гораздо выше всех повестей предшествовавших Гоголю писателей, нежели сколько повести Гоголя стоят выше повестей Пушкина. Пушкин имел сильное влияние на Гоголя — не как образец, которому бы Гоголь мог подражать, а как художник, сильно двинувший вперед искусство и не только для себя, но и для других художников открывший в сфере искусства новые пути. Главное влияние Пушкина на Гоголя заключалось в той народности, которая, по словам самого Гоголя, «состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа». Статья Гоголя «Несколько слов о Пушкине» лучше всяких рассуждений показывает, в чем состояло влияние на него Пушкина. Приученная к тону и манере повестей Марлинского, русская публика не знала, что и подумать о «Вечерах» Гоголя. Это был совершенно новый мир творчества, которого никто не подозревал и возможности. Не знали, что думать о нем, не знали,

слишком ли это что-то хорошее, или слишком дурное. Повести в «Арабесках»: «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего», потом «Миргород» и, наконец, «Ревизор» вполне обрисовали характер гоголевской поэзии, и публика, равно как и литераторы, разделились на две стороны, из которых одна, преусердно читая Гоголя, уверилась, что имеет в нем русского Поль-де-Кока, которого можно читать, но под рукою, не всем признаваясь в этом; другая увидела в нем нового великого поэта, открывшего новый, неизвестный доселе мир творчества. Число последних было несравненно меньше числа первых, но зато последние, в этом случае, представляли собою публику, а первые — толпу. Наша толпа отличается невероятною чопорностию, достойною мещанских нравов: она всего больше хлопочет о хорошем тоне высшего общества и видит дурной тон именно в тех произведениях, которые читаются в салонах высшего общества. Между тем реформа в романической прозе не замедлила совершиться, и все новые писатели романов и повестей, даровитые и бездарные, как-то невольно подчинились влиянию Гоголя. Романисты и нувеллисты старой школы стали в самое затруднительное и самое забавное положение: браня Гоголя и говоря с презрением о его произведениях, они невольно впадали в его тон и неловко подражали его манере. Слава Марлинского сокрушилась в несколько лет, и все другие романисты, авторы повестей, драм, комедий, даже водевилей из русской жизни, внезапно обнаружили столько неподозреваемой в них дотоле бездарности, что с горя перестали писать; а публика (даже большинство публики) стала читать и обращать внимание только на молодых талантливых писателей, которых дарование образовалось под влиянием поэзии Гоголя. Но таких молодых писателей у нас немного, да и они пишут очень мало. И вот еще одна из главных причин бедности современной русской литературы! Если кто больше всего и больше всех виноват в ней, так это, без сомнения, Гоголь. Без него у нас много было бы великих писателей и они писали бы и теперь с прежним успехом. Без него Марлинский и теперь считался бы живописцем великих страстей и трагических коллизий жизни; без него публика русская и теперь восхищалась бы «Девою чудною» барона Брамбеуса, видя в ней пучину остроумия, бездну юмор*у*, образец изящного слог*у*[*], сливки занимательности и пр. и пр.

Гоголь убил два ложные направления в русской литературе: натянутый, на ходулях стоящий идеализм, махающий мечом картонным, подобно разрумяненному актеру, и потом — сатирический дидактизм. Марлинский пустил в ход эти ложные характеры, исполненные не силы страстей, а кривляний поддельного байронизма; все принялись рисовать то Карлов Мооров в черкесской бурке, то Лиров и Чайльд-Гарольдов в канцелярском вицмундире. Можно было подумать, что Россия отличается от Италии и Испании только языком, а отнюдь не цивилизациею, не нравами, не характером. Никому в голову не

приходило, что ни в Италии, ни в Испании люди не кривляются, не говорят изысканными фразами и не беспрестанно режут друг друга ножами и кинжалами, сопровождая эту резню высокопарными монологами. Презрение к простым чадам земли дошло до последней степени. У кого не было колоссального характера, кто мирно служил в департаменте или ловко сводил концы с концами за секретарским столом в земском или уездном суде, говорил просто, не читал стихов и поэзию предпочитал существенности, — тот уже не годился в герои романа или повести и неизбежно делался добычею сатиры с нравоучительною целью. И — боже мой! — как страшно бичевала эта сатира всех простых, положительных людей за то, что они не герои, не колоссальные характеры, а ничтожные пигмеи человечества. Она так безобразно отделывала их своею мочальною кистию, своими грязными красками, что они нисколько не походили на людей и были до того уродливы, что, глядя на них, уже никто не решался брать взяток, ни предаваться пьянству, плутовству и проч. Прошло это время, — и общество, которое так хорошо уживалось с такою литературою, теперь часто ссорится с нею, говоря: как можно писать то-то, выставлять это-то, выдумывать такое-то — и многие из этого общества чуть не со слезами на глазах клянутся, что ничего не бывает, например, подобного тому, что выставлено в «Ревизоре», что все это ложь, выдумка, злая «критика», что это обидно, безнравственно и пр. И все, довольные и недовольные «Ревизором», знают чуть не наизусть эту комедию Гоголя… Такое противоречие стоит того, чтоб обратить на него внимание…

Сатира — ложный род. Она может смешить, если умна и ловка, но смешить, как остроумная карикатура, набросанная на бумагу карандашом даровитого рисовальщика. Роман и повесть выше сатиры. Их цель — изображать верно, а не карикатурно, не преувеличенно. Произведения искусства, они должны не смешить, не поучать, а развивать истину творчески-верным изображением действительности. Не их дело рассуждать, например, об отеческой власти и сыновнем повиновении: их дело — представить или норму истинных семейственных отношений, основанных на любви, на общем стремлении ко всему справедливому, доброму, прекрасному, на взаимном уважении к своему человеческому достоинству, к своим человеческим правам; или изобразить уклонение от этой нормы — произвол отеческой власти, для корыстных расчетов истребляющей в детях любовь к истине и добру, и необходимое следствие этого — нравственное искажение детей, их неуважение, неблагодарность к родителям. Если ваша картина будет верна — ее поймут без ваших рассуждений. Вы были только художником и хлопотали из того, чтоб нарисовать возникшую в вашей фантазии картину как осуществление возможности, скрывавшейся в самой действительности; и кто ни посмотрит на эту картину, всякий, пораженный ее *истинностию*, и лучше *почувствует и сознает* сам все то, что вы стали бы толковать и чего бы никто не захотел от вас

слушать... Только берите содержание для ваших картин в окружающей вас действительности и не украшайте, не перестраивайте ее, а изображайте такою, какова она есть на самом деле, да смотрите на нее глазами живой современности, а не сквозь закоптелые очки морали, которая была истинна во время оно, а теперь превратилась в общие места, многими повторяемые, но уже никого не убеждающие... Идеалы скрываются в действительности; они — не произвольная игра фантазии, не выдумка, не мечты; и в то же время идеалы — не список с действительности, а угаданная умом и воспроизведенная фантазиею возможность того или другого явления. Фантазия есть только одна из главнейших способностей, условливающих поэта; но она одна не составляет поэта; ему нужен еще глубокий ум, открывающий идею в факте, общее значение в частном явлении. Поэты, которые опираются на одну фантазию, всегда ищут содержания своих произведений за тридевять земель в тридесятом царстве или в отдаленной древности; поэты вместе с творческою фантазиею обладающие и глубоким умом, находят свои идеалы вокруг себя. И люди дивятся, как можно с такими малыми средствами сделать так много, из таких простых материалов построить такое прекрасное здание...

Этою творческою фантазиею и этим глубоким умом обладает в замечательной степени Гоголь. Под его пером старое становится новым, обыкновенное — изящным и поэтическим. Поэт национальный более, нежели кто-нибудь из наших поэтов, всеми читаемый, всем известный, Гоголь все-таки не высоко стоит в сознании нашей публики. Это противоречие очень естественно и очень понятно. Комизм, юмор, ирония — не всем доступны, и все, что возбуждает смех, обыкновенно считается у большинства ниже того, что возбуждает восторг возвышенный. Всякому легче понять идею, прямо и положительно выговариваемую, нежели идею, которая заключает в себе смысл, противоположный тому, который выражают слова ее. Комедия — цвет цивилизации, плод развившейся общественности. Чтоб понимать комическое, надо стоять на высокой степени образованности. Аристофан был последним великим поэтом древней Греции. Толпе доступен только внешний комизм; она не понимает, что есть точки, где комическое сходится с трагическим и возбуждает уже не легкий и радостный, а болезненный и горький смех. Умирая, Август, повелитель полумира, говорил своим приближенным: «Комедия кончилась; кажется, я хорошо сыграл свою роль — рукоплещите же, друзья мои!» В этих словах глубокий смысл: в них высказалась ирония уже не частной, а исторической жизни... И толпа никогда не поймет такой иронии. Таким образом, поэт, который возбуждает в читателе созерцание высокого и прекрасного и тоску по идеале изображением низкого и пошлого жизни, в глазах толпы никогда не может казаться жрецом того же самого изящного, которому служат и поэты, изображавшие великое жизни. Ей всегда будет видеться *жарт* в его глубоком юморе, и, смотря на верно

воспроизведенные явления пошлой ежедневности, она не видит из-за них незримо присутствующие тут же светлые образы. И еще много времени пройдет, и много новых поколений выступит на поприще жизни прежде, чем Гоголь будет понят и оценен по достоинству большинством…

Письмо Боткину В. П., 6 февраля 1847

…2-я книжка «Современника» вышла во-время. Она лучше первой. Но Никитенко так поправил одно место в моей статье о Гоголе, что я до сих пор хожу, как человек, получивший в обществе оплеуху*. Вот в чем дело: я говорю в статье, что-де мы, хваля Гоголя, не ходили к нему справляться, как он думает о своих сочинениях, то и теперь мы не считаем нужным делать это; а он, добрая душа! в первом случае *мы* заменил словом *некоторые* — и вышла, во 1-х, галиматья, а, во 2-х что-то вроде подлого отпирательства от прежних похвал Гоголю и сваления вины на других. А там еще цензора подрадели — и все это произвольно, без основания. Вот они — поощрения к труду!

…Читал ли ты *переписку Гоголя?* Если нет, прочти. Это любопытно и даже назидательно: можно увидеть, до чего доводит и гениального человека о… А славяноп… московские напрасно на него сердятся. Им бы вспомнить пословицу: *неча на зеркало пенять, коли рожа крива*. Они подлецы и трусы, люди неконсеквентные, боящиеся крайних выводов собственного учения; а он — человек храбрый, которому нечего терять, ибо все из себя вытряс, он идет до последних результатов…

Письмо Боткину В. П., 28 февраля 1847

…Статья о гнусной книге Гоголя* могла бы выйти замечательно хорошею, если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству. Мне очень нравится статья Губера* (читал ли ты ее?) именно потому, что она писана прямо, без лисьих верчений хвостом. Мне кажется, что она — моя, украдена у меня и только немножко ослаблена. Но мою статью я обдумал, и потому вперед знал, что отличною она не будет, и бился из того только, чтоб она была дельна и показала гнусность подлеца. И она такою и вышла у меня, а не такою, какою ты прочел ее. Вы живете в деревне и ничего не знаете. Эффект этой книги был таков, что Никитенко, ее пропустивший, вычеркнул у меня часть выписок из книги, да еще дрожал и за то, что` оставил в моей статье. Моего он и цензора вычеркнули целую треть, а в статье обдуманной помарка слова — важное дело. Ты упрекаешь меня, что я рассердился и не совладал с моим гневом? Да этого и не хотел. Терпимость к заблуждению я еще понимаю и ценю, по крайней мере в других, если не в себе, но терпимости к подлости я не терплю. Ты решительно не понял этой книги, если видишь в ней *только* заблуждение, а вместе с ним не видишь артистически рассчитанной

подлости. Гоголь совсем не К. С. Аксаков. Это — Талейран, кардинал Феш, который всю жизнь обманывал бога, а при смерти надул сатану. Вообще, ты с твоею терпимостию доходишь до нетерпимости, именно тем, что исключаешь нетерпимость из числа великих благородных источников силы и достоинства человеческого. Берегись впасть в односторонность и ограниченность. Вспомни, что говорит Анненков по поводу новой пьесы Понсара о том, что и здравый смысл может порождать нелепости, да еще скучные. И отзыв Анненкова о книге Гоголя тоже не отзывается терпимостию. Повторяю тебе: умею вчуже понимать и ценить терпимость, но останусь гордо и убежденно нетерпимым. И если сделаюсь терпимым — знай, что с той минуты я — кастрат, и что во мне умерло то прекрасное человеческое, за которое столько хороших людей (а в числе их и ты) любили меня больше, нежели сколько я стоил того...

Письмо Гоголю Н. В., 15 июля н. с. 1847*

Вы только отчасти правы, увидав в моей статье *рассерженного* человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в какое привело меня чтение Вашей книги*. Но Вы вовсе не правы, приписавши это Вашим, действительно не совсем лестным отзывам о почитателях Вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б все дело заключалось только в нем; но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель.

Да, я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И Вы имели основательную причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь мою наградою великого таланта, а потому, что, в этом отношении, представляю не одно, а множество лиц, из которых ни Вы, ни я не видали самого большего числа и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали Вас. Я не в состоянии дать Вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила Ваша книга во всех благородных сердцах, ни о том вопле дикой радости, который издали, при появлении ее, все враги Ваши — и не литературные (Чичиковы, Ноздревы, Городничие и т. п.), и литературные, которых имена Вам известны. Вы сами видите хорошо, что от Вашей книги отступились даже люди, повидимому, одного духа с ее духом*. Если б она и была написана вследствие глубоко искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику то же впечатление. И если ее

принимали все (за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтоб не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но чересчур перетоненную проделку для достижения небесным путем чисто земных целей — в этом виноваты только Вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что Вы находите это удивительным. Я думаю, это от того, что Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек*, роль которого Вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге. И это не потому, чтоб Вы не были мыслящим человеком, а потому, что Вы столько, уже лет привыкли смотреть на Россию из Вашего *прекрасного далека**, а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому, что Вы в этом *прекрасном далеке* живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя или в однообразии кружка, одинаково с Вами настроенного и бессильного противиться Вашему на него влиянию. Поэтому Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр — не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: *Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками*; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), — что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостного кнута треххвостою плетью. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом полусне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на себя самое, как будто в зеркале, — является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их *неумытыми рылами!*.. И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы Вы

обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел Вас за эти позорные строки... И после этого Вы хотите, чтобы верили искренности направления Вашей книги? Нет, если бы Вы действительно преисполнились истиною Христова, а не дьяволова ученья, — совсем не то написали бы Вы Вашему адепту из помещиков. Вы написали бы ему, что так как его крестьяне — его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хоть по крайней мере пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя, в глубине своей совести, в ложном в отношении к ним положении. А выражение: *ах ты неумытое рыло!* Да у какого Ноздрева, какого Собакевича подслушали Вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание русских мужиков, которые, и без того, потому и не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей? А Ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли Вы в словах глупой бабы в повести Пушкина, и по разуму которого должно пороть и правого и виноватого?* Да это и так у нас делается вчастую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления — быть без вины виноватым! И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления!.. Не может быть!.. Или Вы больны, и Вам надо спешить лечиться; или — не смею досказать моей мысли...

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездною... Что Вы подобное учение опираете на православную церковь — это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было *спасением* людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть поборницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем и продолжает быть до сих пор. Но смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные. Неужели Вы этого не знаете? А ведь все это теперь вовсе не новость для всякого гимназиста...

А потому, неужели Вы, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», неужели Вы искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим,

Вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же и в самом деле Вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет: *дурья порода, колуханы*[130]*, жеребцы?* — Попов. Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого Вы не знаете? Странно! По-Вашему, русский народ — самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: *годится — молиться, не годится — горшки покрывать*. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации; но религиозность часто уживается и с ними; живой пример Франция, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков: мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме: и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в нем даже к духовенству; ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличавшихся тихою, холодною аскетическою созерцательностию — ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме; его скорее можно похвалить за образцовый индиферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противуположных по духу своему массе народа и столь ничтожных перед нею числительно.

Не буду распространяться о Вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил Вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к Вам по их направлению. Что касается до меня лично, предоставляю Вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для Вас); только продолжайте благоразумно созерцать ее из Вашего *прекрасного далека*: вблизи-то она не так красива и не так безопасна... Замечу только одно: когда европейцем, особенно католиком, овладевает религиозный дух, — он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных земли. У нас же наоборот, постигнет человека (даже

порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем religiosa mania,[131] он тотчас же земному богу подкурит больше, чем небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы наградить его за рабское усердие, да видит, что этим окомпрометировал бы себя в глазах общества… Бестия наш брат, русский человек!..

Вспомнил я еще, что в Вашей книге Вы утверждаете как великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать Вам на это? Да простит Вас Ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, Вы не знали, что творили…

«Но, может быть, — скажете Вы мне, — положим, что я заблуждался, и все мои мысли ложь; но почему ж отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений?» — Потому, отвечаю я Вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братиею. Конечно, в Вашей книге больше ума и даже таланта (хотя того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях; зато они развили общее им с Вами учение с большей энергиею и большею последовательностию, смело дошли до его последних результатов, все отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане; тогда как Вы, желая поставить по свече тому и другому, впали в противоречия, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театр, которые, с Вашей точки зрения, если б только Вы имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее погибели. Чья же голова могла переварить мысль о тожественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в Вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что Ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого к положительному сумасшествию*. Но они скоро отступились от такого заключения: ясно, что книга писалась не день, не неделю, не месяц, а может быть год, два или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимны властям предержащим хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему распространился в Петербурге слух, будто Вы написали эту книгу с целию попасть в наставники к сыну наследника. Еще прежде этого в Петербурге сделалось известным Ваше письмо к Уварову, где Вы говорите с огорчением, что Вашим сочинениям в России дают превратный толк, затем обнаруживаете недовольство своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда тот, кто и т. д.* Теперь судите сами: можно ли удивляться тому, что Ваша книга уронила Вас в глазах публики и как писателя и, еще больше, как человека?

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример — Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви. И Вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что Ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных Вами всем и каждому[*]. Положим, Вы могли это думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре» и «Мертвых душах» Вы менее резко, с меньшею истиною и талантом и менее горькие правды высказали ей? И она, действительно, осердилась на Вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые души» от этого не пали, тогда как Ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности, и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья; и это же показывает, что у него есть будущность. Если Вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению Вашей книги!..

Не без некоторого чувства самодовольства скажу Вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностию дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать Вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, мои друзья приуныли; но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха, и о ней скоро забудут. И действительно, она теперь памятнее всем статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще, инстинкт истины!

Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно. Но мысль — довести о нем до сведения публики — была самая несчастная. Времена наивного

благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно, и что в Иерусалиме ищут Христа только люди, или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей, — тот носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое Вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой — самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением может быть плодом только или гордости, или слабоумия, и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом Вы позволили себе цинически-грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе — это уже гадко, потому что, если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам самого себя, возбуждает презрение. Нет! Вы только омрачены, а не просветлены; Вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной христианского учения, а болезненною боязнью смерти, чорта и ада веет от Вашей книги. И что за язык, что за фразы! *«Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек!»* Неужели Вы думаете, что сказать *всяк*, вместо всякий, — значит выразиться библейски? Какая это великая истина, что, когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант! Не будь на Вашей книге выставлено Вашего имени и будь из нее выключены те места, где Вы говорите о самом себе как о писателе, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз — произведение пера автора «Ревизора» и «Мертвых душ»?

Что же касается до меня лично, повторяю Вам: Вы ошиблись, сочтя статью мою выражением досады за Ваш отзыв обо мне, как об одном из Ваших критиков*. Если б только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всем остальном выразился бы спокойно и беспристрастно. А это правда, что Ваш отзыв о Ваших почитателях вдвойне нехорош. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только делает меня смешным, но и эта необходимость тяжела, потому что как-то по-человечески неловко даже за ложную любовь платить враждою. Но Вы имели в виду людей, если не с отменным умом, то все же и не глупцов. Эти люди в своем удивлении к Вашим творениям наделали, может быть, гораздо больше восторженных восклицаний, нежели сколько Вы сказали о них дела; но все же их энтузиазм к Вам выходит из такого чистого и благородного источника, что Вам вовсе не следовало бы выдавать их головою общим их и Вашим врагам, да еще вдобавок обвинить их в намерении дать какой-то предосудительный толк Вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главною мыслию Вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, этот князь в

аристократии и холоп в литературе, развил Вашу мысль и напечатал на Ваших почитателей (стало быть, на меня всех больше) чистый донос[*]. Он это сделал, вероятно, в благодарность Вам за то, что Вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько я помню, за его *«вялый, влачащийся по земле стих»*[*]. Все это нехорошо! А что Вы только ожидали времени, когда Вам можно будет отдать справедливость и почитателям Вашего таланта (отдавши ее с гордым смирением Вашим врагам), этого я не знал, не мог, да, признаться, и не захотел бы знать. Передо мною была Ваша книга, а не Ваши намерения. Я читал и перечитывал ее сто раз, и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу.

Если б я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к Вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого и хотя Вы всем и каждому печатно дали право писать к Вам без церемоний, имея в виду одну правду[*]. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние Шпекины распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Но нынешним летом начинающаяся чахотка прогнала меня за границу и N переслал мне Ваше письмо в Зальцбрунн, откуда я сегодня же еду с Ан<ненковым> в Париж через Франкфурт-на-Майне. Неожиданное получение Вашего письма дало мне возможность высказать Вам все, что лежало у меня на душе против Вас по поводу Вашей книги. Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить: это не в моей натуре. Пусть Вы или само время докажет мне, что я ошибался в моих о Вас заключениях — я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал Вам. Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее заключительное слово: если Вы имели несчастие с гордым смирением отречься от Ваших истинно великих произведений, то теперь Вам должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы Ваши прежние[*].

Зальцбрунн,

15-го июля н. с. 1847-го года.

Письмо Боткину В. П., 5 ноября, 1847

...Повести у нас — объядение, роскошь; ни один журнал никогда не был так блистательно богат в этом отношении; а русские повести с гоголевским направлением теперь дороже всего для русской публики, и этого не видят только уже вовсе слепые...

Письмо Кавелину К. Д., 22 ноября 1847

…Насчет вашего несогласия со мною касательно Гоголя и натуральной школы, я вполне с вами согласен, да и прежде думал таким же образом. — Вы, юный друг мой, не поняли моей статьи, потому что не сообразили, *для кого и для чего* она писана. Дело в том, что писана она не для вас, а для врагов Гоголя и натуральной школы, в защиту от их фискальных обвинений. Поэтому я счел за нужное сделать уступки, на которые внутренно и не думал соглашаться, и кое-что изложил в таком виде, который мало имеет общего с моими убеждениями касательно этого предмета. Например, все, что вы говорите о различии натуральной школы от Гоголя, по-моему, совершенно справедливо; но сказать этого печатно я не решусь: это значило бы наводить волков на овчарню, вместо того чтобы отводить их от нее. А они и так нашли на след, и только ждут, чтобы мы проговорились. Вы, юный друг мой, хороший ученый, но плохой политик, как следует быть истому москвичу. Поверьте, что в моих глазах г. Самарин не лучше г. Булгарина, по его отношению к натуральной школе, а с этими господами надо быть осторожну…

Взгляд на русскую литературу 1847 года

Из статьи первой

…Натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы. С одной стороны, нисколько не преувеличивая дела по каким-нибудь пристрастным увлечениям, мы можем сказать, что публика, то есть большинство читателей, за нее: это факт, а не предположение. Теперь вся литературная деятельность сосредоточилась в журналах, а какие журналы пользуются большею известностию, имеют более обширный круг читателей и большее влияние на мнение публики, как не те, в которых помещаются произведения натуральной школы? Какие романы и повести читаются публикою с особенным интересом, как не те, которые принадлежат натуральной школе, или, лучше сказать, читаются ли публикою романы и повести, не принадлежащие к натуральной школе? Какая критика пользуется большим влиянием на мнение публики или, лучше сказать, какая критика более сообразна с мнением и вкусом публики, как не та, которая стоит за натуральную школу против риторической? С другой стороны, о ком беспрестанно говорят, спорят, на кого беспрестанно нападают с ожесточением, как не на натуральную школу? Партии, ничего не имеющие между собою общего, в нападках на натуральную школу действуют согласно, единодушно, приписывают ей мнения, которых она чуждается, намерения, которых у ней никогда не было, ложно перетолковывают каждое ее слово, каждый ее шаг, то бранят ее с запальчивостию, забывая иногда приличие, то жалуются на нее чуть не со слезами. Что общего между заклятыми врагами Гоголя, представителями побежденного риторического направления[*], и между так называемыми славянофилами? — Ничего! — и однакож последние, признавая Гоголя основателем натуральной школы, согласно с первыми,

нападают в том же тоне, теми же словами, с такими же доказательствами, на натуральную школу и почли за нужное отличиться от своих новых союзников только логическою непоследовательностию, вследствие которой они поставили Гоголю в заслугу то самое, за что преследуют его школу, на том основании, что он писал по какой-то «потребности внутреннего очищения»*. К этому должно прибавить, что школы, не приязненные натуральной, не в состоянии представить ни одного сколько-нибудь замечательного произведения, которое доказало бы делом, что можно писать хорошо, руководствуясь правилами, противоположными тем, которых держится натуральная школа. Все попытки их в этом роде послужили к торжеству натурализма и падению риторизма.

...Все сочинения Гоголя посвящены исключительно изображению мира русской жизни, у него нет соперников в искусстве воспроизводить ее во всей ее истинности. Он ничего не смягчает, не украшает вследствие любви к идеалам или каких-нибудь заранее принятых идей, или привычных пристрастий, как, например, Пушкин в «Онегине» идеализировал помещицкий быт. Конечно, преобладающий характер его сочинений — отрицание; всякое отрицание, чтоб быть живым и поэтическим, должно делаться во имя идеала, — и этот идеал у Гоголя также не свой, то есть не туземный, как и у всех других русских поэтов, потому что наша общественная жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобы могла дать литературе этот идеал. Но нельзя же не согласиться с тем, что по поводу сочинений Гоголя уже никак невозможно предположить вопроса: как доказать, что они могли быть написаны только русским поэтом и что их не мог бы написать поэт другой нации? Изображать русскую действительность, и с такою поразительною верностию и истиною, разумеется, может только русский поэт. И вот пока в этом-то более всего и состоит народность нашей литературы.

Литература наша была плодом сознательной мысли, явилась как нововведение, началась подражательностию. Но она не остановилась на этом, а постоянно стремилась к самобытности, народности, из риторической стремилась сделаться естественною, *натуральною*. Это стремление, ознаменованное заметными и постоянными успехами, и составляет смысл и душу истории нашей литературы. И мы не обинуясь скажем, что ни в одном русском писателе это стремление не достигло такого успеха, как в Гоголе. Это могло совершиться только через исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов. Для этого нужно было обратить все внимание на толпу, на массу, изображать людей обыкновенных, а не приятные только исключения из общего правила, которые всегда соблазняют поэтов на идеализирование и носят на себе чужой отпечаток. Это великая заслуга со стороны Гоголя, но это-то люди старого образования и вменяют ему в

великое преступление перед законами искусства. Этим он совершенно изменил взгляд на самое искусство. К сочинениям каждого из поэтов русских можно, хотя и с натяжкою, приложить старое и ветхое определение поэзии, как «украшенной природы»; но в отношении к сочинениям Гоголя этого уже невозможно сделать. К ним идет другое определение искусства — как воспроизведение действительности во всей ее истине. Тут все дело в *типах*, а *идеал* тут понимается не как украшение (следовательно, ложь), а как отношения, в которые автор становит друг к другу созданные им типы, сообразно с мыслию, которую он хочет развить своим произведением.

Искусство в наше время обогнало теорию. Старые теории потеряли весь свой кредит; даже люди, воспитанные на них, следуют не им, а какой-то странной смеси старых понятий с новыми. Так, например, некоторые из них, отвергая старую французскую теорию во имя романтизма, первые подали соблазнительный пример выводить в романе лица низших сословий, даже негодяев, к которым шли имена Вороватиных и Ножовых; но они же потом оправдывались в этом тем, что вместе с безнравственными лицами выводили и нравственные под именем Правдолюбовых, Благотворовых и т. п.* В первом случае видно было влияние новых идей, во втором — старых, потому что по рецепту старой пиитики необходимо было на несколько глупцов отпустить хоть одного умника, а на нескольких негодяев хоть одного добродетельного человека.[132] Но в обоих случаях эти междоумки совершенно упускали из виду главное, то есть искусство, потому что и не догадывались, что их и добродетельные и порочные лица были не люди, не характеры, а риторические олицетворения отвлеченных добродетелей и пороков. Это лучше всего и объясняет, почему для них теория, правило важнее дела, сущности: последнее недоступно их разумению. Впрочем, от влияния теории не всегда избегают и таланты, даже гениальные. Гоголь принадлежит к числу немногих, совершенно избегнувших всякого влияния какой бы то ни было теории. Умея понимать искусство и удивляться ему в произведениях других поэтов, он тем не менее пошел своей дорогою, следуя глубокому и верному художническому инстинкту, каким щедро одарила его природа, и не соблазняясь чужими успехами на подражание. Это, разумеется, не дало ему оригинальности, но дало ему возможность сохранить и выказать вполне ту оригинальность, которая была принадлежностью, свойством его личности и, следовательно, подобно таланту, даром природы. От этого он и показался для многих как бы извне вошедшим в русскую литературу, тогда как на самом деле он был ее необходимым явлением, требовавшимся всем предшествовавшим ее развитием.

Влияние Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только все молодые таланты бросились на указанный им путь, но и некоторые писатели, уже приобретшие известность, пошли по этому же пути,

оставивши свой прежний. Отсюда появление школы, которую противники ее думали унизить названием натуральной. После «Мертвых душ» Гоголь ничего не написал. На сцене литературы теперь только его школа. Все упреки и обвинения, которые прежде устремлялись на него, теперь обращены на натуральную школу, и если еще делаются выходки против него, то по поводу этой школы…

А. И. Герцен. Из дневников, мемуаров и статей*

I

…«Мертвые души» Гоголя — удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную силы национальность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полноте; не типы отвлеченные, а добрые люди, которых каждый из нас видел сто раз. Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле; и там, и тут одно утешение в вере и уповании на будущее. Но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упование ins Blaue,[133] а имеет реалистическую основу: кровь как-то хорошо обращается у русского в груди.

II

Толки о «Мертвых душах»… Есть слова примирения, есть предчувствия и надежды будущего, полного и торжественного, но это не мешает настоящему отражаться во всей отвратительной действительности. Тут переход от Собакевичей к Плюшкиным, — обдает ужас; вы с каждым шагом вязнете, тонете глубже, лирическое место вдруг оживит, осветит и сейчас заменяется опять картиной, напоминающей еще яснее, в каком *рве* ада находимся и как Данте хотел бы перестать видеть и слышать, — а смешные слова *веселого* автора раздаются. «Мертвые души» — поэма, глубоко выстраданная. «Мертвые души», — это заглавие само носит в себе что-то, наводящее ужас. И иначе он не мог назвать; не ревизские — мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы и tutti quanti[134] — вот мертвые души, и мы их встречаем на каждом шагу. Где интересы общие, живые, в которых живут все вокруг нас дышащие мертвые души? Не все ли мы после юности, так или иначе, ведем одну из жизней гоголевских героев? Один остается при маниловской тупой мечтательности, другой буйствует à la Nosdreff, третий — Плюшкин и пр. Один деятельный человек — Чичиков, и тот ограниченный плут. Зачем он не встретил нравственного помещика, *добросерда, стародума*… Да откуда попался бы в этот омут человек столько абнормальный, и как он мог бы быть типом?..

III

…Не будучи по происхождению, подобно Кольцову, из народа, Гоголь принадлежал к народу по своим вкусам и по складу своего ума. Гоголь совершенно независим от иностранного влияния: он не знал никакой

литературы, когда имел уже имя. Он больше сочувствовал народной жизни, чем придворной, что естественно со стороны украинца...

Рассказы, которыми дебютировал Гоголь, составляют ряд картин украинских нравов и видов истинной красоты, полных веселости, грации, движения и любви. Такие повести невозможны в Великороссии за неимением сюжета, оригинала. У нас народные сцены тотчас же принимают мрачный и трагический вид, что угнетает читателя, — я говорю «трагический» только в смысле Лаокоона*. Это — трагическое судьбы, перед которым человек падает без борьбы. В этих случаях скорбь превращается в бешеную злобу и отчаяние, а смех — в горькую и злобную иронию. Кто без негодования и стыда способен прочесть замечательную повесть «Антон-Горемыка»* или шедевр Тургенева — «Записки охотника»?

По мере того как Гоголь выходил из Украйны и близился к средней России, исчезали наивные и прелестные образы. Нет более полудикого героя вроде «Тараса Бульбы»;[135] нет более добродушного, патриархального старика, какого Гоголь так хорошо изобразил в «Старосветских помещиках». С московским небом все становится мрачно, пасмурно, враждебно. Он все смеется, — он смеется даже больше, чем прежде, — но другим смехом, и только люди очень черствые или очень простодушные ошиблись в оценке этого смеха. Переходя от своих украинцев и казаков к русским, Гоголь оставляет в стороне народ и сосредоточивается на двух своих самых заклятых врагах: на чиновнике и помещике. Никто никогда до него не читал такого полного патолого-анатомического курса о русском *чиновнике*. С хохотом на устах он без жалости проникает в самые сокровенные складки нечистой, злобной чиновнической души. Комедия Гоголя «Ревизор», его поэма «Мертвые души» представляют собою ужасную исповедь современной России, напоминающую разоблачения Котошихина в XVII веке.[136]

Император Николай умирал со смеху, присутствуя на представлениях «Ревизора»!!!

Поэт, в отчаянии, что вызвал только августейший хохот и самодовольный смех чиновников, совершенно тождественных с теми, которых он изобразил, но более ограждаемых цензурою, — счел своей обязанностью разъяснить, что его комедия не только очень смешна, но и очень печальна, что за смехом кроются горячие слезы.

После «Ревизора» Гоголь обратился к поместному дворянству и выставил напоказ этот неизвестный народ, державшийся за кулисами вдали от дорог и больших городов, хоронившийся в глуши своих деревень, — эту Россию дворянчиков, которые, хотя и живут без шума и кажутся совсем ушедшими в заботы о своих землях, но скрывают более глубокое развращение, чем западное. Благодаря Гоголю мы, наконец,

увидели их выходящими из своих дворцов и домов без масок, без прикрас, вечно пьяными и обжирающимися; рабы власти без достоинства и тираны без сострадания своих крепостных, высасывающие жизнь и кровь народа с тою же естественностью и наивностью, с какой питается ребенок грудью своей матери.

«Мертвые души» потрясли всю Россию.

Подобное обвинение необходимо было современной России. Это — история болезни, написанная мастерской рукой. Поэзия Гоголя — это крик ужаса и стыда, который испускает человек, унизившийся от пошлой жизни, когда вдруг он замечает в зеркале свое оскотинившееся лицо. Но чтобы такой крик мог раздаться из чьей-либо груди, нужно, чтобы были и здоровые части, и большое стремление к реабилитации. Кто откровенно сознается в своих слабостях и пороках, тот чувствует, что они не составляют сущности его самого, что они еще не окончательно его поглотили, что есть еще в нем кое-что, спасающее от падения и противящееся ему, что он способен еще искупить прошедшее и не только поднять голову, но стать, как в трагедии Байрона, из Сарданапала-обабившегося Сарданапалом-героем...

Автор статьи «Москвитянина»* говорит, что Гоголь «спустился, как горнорабочий, в этот глухой мир, где не слышится ни громовых ударов, ни сотрясений, неподвижный и однообразный, в бездонное болото, медленно, но безвозвратно затягивающее *все, что есть свежего* (это говорит славянофил); он спустился, как горнорабочий, нашедший под землею жилу, еще не початую». Да, Гоголь почуял эту силу, эту нетронутую руду под необработанной землей. Может, он ее и почал бы, но, к несчастию, раньше времени подумал, что достиг дна, и вместо того, чтобы продолжать расчистку, стал искать золото. Что же из этого вышло? Он начал защищать то, что прежде разрушал, оправдывать крепостное право и кончил тем, что бросился к ногам представителя «благоволения и любви».

Пусть славянофилы подумают о падении Гоголя. Они найдут в нем, может, больше логики, чем слабости. От православного смиренномудрия, от самоотречения, переносящего свою индивидуальность на индивидуальность государя, до обожания самодержца один только шаг.

IV

Оставим, однако, идеалистов и гуманистов — мечтателей. Роман и повесть страстно набросились на несравненно более земной, вполне национальный сюжет — на вампира русского общества, чиновника. Повелитель последнего малодушно предал его литературе, предполагая, что она будет касаться только низших рангов. Это новое направление сразу достигло необычайного успеха. Одним из первых его бесстрашных

застрельщиков, который, не боясь ни насекомых, ни заразы, начал с заостренным пером преследовать эту дичь вплоть до канцелярий и трактиров, среди попов и городовых, был казак Луганский (псевдоним Даля.) Малоросс по происхождению, он не чувствовал склонности к чиновничеству и, одаренный выдающимся талантом наблюдения, прекрасно знал свою среду и еще лучше народ. Он имел массу случаев узнать народную жизнь. В качестве врача он изъездил всю Россию, потом служил в Оренбурге, на Урале, долгое время работал в министерстве внутренних дел, все видел, все наблюдал и затем рассказывал об этом с лукавством и своеобразием, которые временами были полны большого комизма.

Вскоре после него явился Гоголь, прививший свое направление и даже свою манеру целому поколению. Иностранцу трудно понять огромное впечатление, произведенное у нас на сцене «Ревизором», который потерпел в Париже полное фиаско. У нас же публика своим смехом и рукоплесканиями протестовала против нелепой и тягостной администрации, против воровской полиции, против общего «дурного правления». Большая поэма в прозе «Мертвые души» произвела в России такое же впечатление, какое во Франции вызвала «Свадьба Фигаро». Можно было с ума сойти при виде этого зверинца из дворян и чиновников, которые слоняются в глубочайшем мраке, покупают и продают «мертвые души» крестьян.

Но и у Гоголя можно иногда уловить звук другой струны: в его душе точно два потока. Пока он находится в комнатах начальников департамента, губернаторов, помещиков, пока его герои имеют, по крайней мере, орден св. Анны или чин коллежского ассесора, до тех пор он меланхоличен, неумолим, полон сарказма, который иной раз заставляет смеяться до судорог, а иной — вызывает презрение, граничащее с ненавистью.

Но когда он, наоборот, имеет дело с ямщиками из Малороссии, когда он переносится в мир украинских казаков или шумно танцующих у трактира парубков, когда рисует перед нами бедного старого писаря, умирающего от огорчения, потому что у него украли шинель, тогда Гоголь — совсем иной человек. С тем же талантом, как прежде, он нежен, человечен, полон любви; его ирония больше не ранит и не отравляет; это — трогательная, поэтическая, льющаяся через край душа, и таким остается он до тех пор, пока случайно не встретит на своем пути городничего, судью, их жены или дочери, — тогда все меняется; он срывает с них человеческую личину и с диким и горьким смехом обрекает их на пытку общественного позора.

V

...Гоголь приподнял одну сторону занавеси и показал нам русское чиновничество во всем безобразии его; но Гоголь невольно примиряет

смехом: его огромный комический талант берет верх над негодованием. Сверх того, в колодках русской цензуры он едва мог касаться печальной стороны этого грязного подземелья, в котором куются судьбы бедного русского народа…

VI

Русская литература… зарождается в сатирах князя Кантемира, пускает корни в комедиях Фонвизина и достигает своего завершения в горьком смехе Грибоедова, в беспощадной иронии Гоголя и в духе отрицания новой школы, не знающем ни страха, ни границ.

…В самый год смерти Лермонтова появились «Мертвые души» Гоголя*.

Наряду с философскими размышлениями Чаадаева и поэтическим раздумьем Лермонтова произведение Гоголя представляет практический курс изучения России. Это — ряд патологических очерков, взятых с натуры и написанных с огромным и совершенно оригинальным талантом.

Гоголь тут не нападает ни на правительство, ни на высшее общество; он расширяет рамки, ценз и выходит за пределы столиц; предметами его вивисекции служат: человек лесов и полей, волк, мелкий дворянчик; чернильная душа, лиса, провинциальный чиновник и их странные самки. Поэзия Гоголя, его скорбный смех — это не только обвинительный акт против подобного нелепого существования, но и мучительный вопль человека, старающегося спастись прежде, чем его заживо похоронят в этом мире безумцев. Подобный вопль мог вырваться из груди человека лишь при условии, если в нем еще не все больное и сохранилась громадная сила возрождения. Гоголь чувствовал — и многие другие чувствовали с ним — позади мертвых душ *души живые*…

VII

…Сам Николай, тридцать лет оборонявший Россию от всякого прогресса, от всякого переворота, ограничился только *фасадом* строя, не порядком, а *видом порядка*. Ссылая Полежаева, Соколовского за смелые стихи, вымарывая слова «вольность», «гражданственность» в печати, он пропустил сквозь пальцы Белинского, Грановского, Гоголя и, сажая на гауптвахту цензора за пустые намеки, не заметил, что литература с двух сторон быстро неслась *в социализм*…

В. В. Стасов. Гоголь в восприятии русской молодежи 30-40-х гг.*

1

…Первое, что я прочитал из Гоголя, это была «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», напечатанная в «Новоселье»*, сборнике, составившемся из статей лучших тогдашних

писателей, по поводу переезда книгопродавца Смирдина в новый магазин. Вот где можно сказать, что новое поколение подняло великого писателя на щитах с первой же минуты его появления. Тогдашний восторг от Гоголя — ни с чем несравним. Его повсюду читали точно запоем. Необыкновенность содержания, типов, небывалый, неслыханный по естественности язык, отроду еще неизвестный никому юмор — все это действовало просто опьяняющим образом. С Гоголя водворился на России совершенно новый язык; он нам безгранично нравился своей простотой, силой, меткостью, поразительною бойкостью и близостью к натуре. Все гоголевские обороты, выражения быстро вошли во всеобщее употребление. Даже любимые гоголевские восклицания: «чорт возьми», «к чорту», «чорт вас знает», и множество других, вдруг сделались в таком ходу, в каком никогда до тех пор не бывали. Вся молодежь пошла говорить гоголевским языком. Позже мы стали узнавать и глубокую поэтичность Гоголя, и приходили от нее в такой же восторг, как и от его юмора. В начале же всех поразил, прежде всего остального, юмор его, с которым нам нельзя было сравнить ничего из всего, до тех <пор> нам известного. Мы раньше всего купили для нашего класса <училища правоведения> «Новоселье», и тотчас же толстый том был совершенно почти в клочках от беспрерывного употребления. Тогда не только в Петербурге, но даже во всей России было полное царство Булгарина, Греча и Сенковского. Но нас мало заинтересовали «Похождения квартального» Булгарина и «Большой выход сатаны» Сенковского, появившиеся в этом томе. Ложный и тупой юмор Брамбеуса был нам только скучен, и мы только и читали, что «Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича»! Скоро потом купили два томика «Арабесок». Тут «Невский проспект», «Портрет» нравились нам до бесконечности, и я разделял общий восторг. Не могу теперь сказать — как другие, но что касается до меня лично, то я был тогда в великом восхищении и от исторических статей Гоголя, напечатанных в «Арабесках». «Шлецер, Миллер и Гердер», «Средние века», «Мысли об изучении истории» — все это глубоко поражало меня картинностью и художественностью изложения. Что, кабы нам на этот манер читали историю в классе, думал я сто раз, сравнивая статьи Гоголя с тою мертвечиною, тоской и скукой, какою нас угощали наши учителя под названием «истории», конечно и не подозревая, что у нас есть воображение, потребность жизни и пластичности. И, мне кажется, эти статьи не пропали даром. Они имели значительное влияние на отношение мое и моих товарищей к истории. Если б нашлись наши тогдашние тетради «сочинений», можно было бы увидать и прочесть там (как ни плохи и ни ординарны были наши детские эти «сочинения»), что, например, на тему русского учителя «О пользе истории» мы именно писали, под влиянием Гоголя, о том, как пластично и картинно надо изображать в наше время историю, оставив в стороне сухую номенклатуру королей и принцев. Я живо помню эти

наши тогдашние сочинения, читанные нами один другому, раньше чем подать учителю. Статьи Гоголя — отрывки из его несостоявшихся лекций в университете. Принесли ли они пользу тогдашнему университету и студентам, того я не ведаю, но что они были, бог знает, как дороги и полезны нам, в училище правоведения, если не всем, то многим — это верно.

Повесть «Нос» мне привелось узнать при совершенно исключительных обстоятельствах. Однажды меня оставили в училище на воскресенье, в наказанье за какую-то шалость, уж и не помню какую. Я, пожалуй, очень-то и не скучал бы об этом, потому что по воскресеньям оставалось довольно много товарищей — у кого родственники были за сотни и тысячи верст, и никого в Петербурге, у кого были только такие знакомые, к которым не хотелось ходить, наконец бывало всегда не мало наказываемых, иногда из лучших товарищей. Притом в воскресенье давали обед гораздо лучше, аппетитнее и обильнее, чем в остальную неделю. Катанье на коньках с горы, гулянье в саду и pas de géant[137] оставались в нашем распоряжении как всегда, книги тоже, да еще сколько часов сряду, без перерыва классами — значит, можно было и не скучать. Воспоминание о семействе, куда не пустили, — ну, да ведь сколько же и вознаграждений, заставляющих забыть это лишение, и притом, ведь это была только отсрочка всего на шесть дней. Я скоро и утешился. Но спустя два-три часа я получил маленькую записку от моего отца (она у меня и до сих пор цела), которая разом отшибла все прекрасное, и немножко бессердечное, веселое расположение духа. Меня мой отец глубоко и сильно любил (хотя никогда не рассказывал этого словами) и не видать меня при себе в воскресенье — это было для него серьезное лишение. Он мне писал, как ему печально, как ему больно мое отсутствие в воскресенье, и как его не веселит в эту минуту даже все остальное семейство наше, веселое и хохочущее рядом в других комнатах. У меня разом сердце упало, меня словно громом пришибло, и я, в глубоком унынии, почти рыдая, принялся писать письмо к моему отцу. Отправив его, я немножко успокоился уже от одного страстного, по-своему, лирического настроения, тут высказанного. И вот, в классе, где я печально сидел один и немножко сентиментально раскисал, до меня долетел громадный хохот, несшийся из зала. Я долго не вытерпел, выскочил из своего пустынного класса и увидал целую толпу наших правоведов, стоявшую около воспитателя, Алексея Симоновича Андреева, и во все горло дружно хохотавшую от того, что он им читал. Я поскорее протеснился вперед, даром что тут большинство было из старших классов, стал жадно слушать, и через две секунды улетели далеко все мои печали, все мое самобичевание, все мои горестные размышления. Алексей Симонович Андреев был у нас один из самых любимых людей во всем училище; мы и всегда-то к нему льнули как к своему, близкому, а тут еще он любезно и милостиво читает нам какие-то чудесные, новые, неслыханно оригинальные вещи! Недавно

только перед тем вышел тот номер «Современника», где напечатан был «Нос»*, и, даром что сам уже пожилой человек, А. С. Андреев разделял восхищение лучшей части России и страстно любил Гоголя. Я не знал в первую минуту, что такое читают, чье это сочинение — спрашивать было некогда, но меня, как и всех, поражала и приводила в безграничный восторг эта изумительная правда, натуральность разговоров, эта неслыханная комичность сцен. Алексей Симонович читал мастерски, и еще тем лучше, что сам был в восхищении и что окружавшая его толпа молодежи аплодировала зараз и читаемому и чтецу. С каким мастерством он воспроизводил нам речи и размышления майора Ковалева! Какой голос он ему придавал! Серьезный, важный, чиновничий, полувоенный, немножко надменный, немножко трусоватый, глупый и подчас подобострастный! Мы были в глубоком восхищении. Когда все кончилось, я спросил: что такое читали, и чье это? А, так вот кто! Опять Гоголь, тот самый, чьи «Иван Иванович и Иван Никифорович» наше вечное восхищение! Еще бы нам не восторгаться. И мы провели потом блаженно остальное воскресенье.

Впоследствии мы также в первый раз в чтении А. С. Андреева узнали «Коляску». Восторг и энтузиазм были те же. Как сам бывший немножко военным, Алексей Симонович не хуже настоящего талантливого актера передал нам голоса, мины, интонации, даже лица всех этих генералов, полковников, майоров и тоненьких офицериков, не заставших хозяина дома и от нечего делать отправившихся смотреть на дворе его лошадь и коляску*.

Некоторые из нас видели тогда тоже и «Ревизора» на сцене. Все были в восторге, как и вся вообще тогдашняя молодежь. Мы наизусть повторяли потом друг другу, подправляя и пополняя один другого, целые сцены, длинные разговоры оттуда. Дома или в гостях нам приходилось нередко вступать в горячие прения с разными пожилыми (а иной раз, к стыду, даже и не пожилыми) людьми, негодовавшими на нового идола молодежи и уверявшими, что никакой натуры у Гоголя нет, что это все его собственные выдумки и карикатуры, что таких людей вовсе нет на свете, а если и есть, то их гораздо меньше бывает в целом городе, чем тут у него в одной комедии. Схватки выходили жаркие, продолжительные, до пота на лице и на ладонях, до сверкающих глаз и глухо начинающейся ненависти или презрения, но старики не могли изменить в нас ни единой черточки, и наше фанатическое обожание Гоголя разрасталось все только больше и больше.

Из училищной библиотеки мы доставали, я помню, в те же самые времена «Бригадира» и «Недоросля», по совету гоголевских оппонентов из учителей или знакомых. Фонвизин нельзя сказать, чтоб нам не нравился, но при сравнении, насколько еще выше и блестящее выходил Гоголь!

...Мне очень памятны пламенные схватки, доставшиеся на мою долю и происходившие по праздникам или на каникулах, всего чаще в доме у нашего родственника, старого архитектора Аничкина дворца, Дильдина, о котором у меня довольно говорено в первой главе. Там я встречал народ самый разнокалиберный и, в числе других, несколько учителей из штатских и военных заведений. Несмотря на значительное расстояние лет (все они были, по малой мере, втрое старше меня), я постоянно вел с ними жаркую войну, и оттого именно любил бывать в этом доме. Всего чаще моим врагом и оппонентом был некто Олимпиев, учитель русского языка и словесности в одной из гимназий, точно такой же смешной и отсталый педант, как наши училищные Георгиевский и Кайданов, человек, никогда не ходивший в гости иначе как с орденом на шее и в белом галстуке. Господи, сколько у меня произошло с ним битв уже из-за одного Гоголя, в особенности за «Ревизора», за «Невский проспект», за всю его «вечную грязь и непристойность»![308*] А тут еще вмешивался от времени до времени, за обедом или в антракте между кофеем и вистом, тот или другой из старших. Иные из них уже кое-что слыхали про Гоголя и даже, может быть, немножко читали его. Натурально, все были на стороне Олимпиева, — ведь он учитель, да и насколько же старше...

2

...В последние три года пребывания в училище наш класс не только продолжал много читать, но читал все больше и больше. Время было такое, когда нельзя было не читать. Почти в каждой новой книжке «Отечественных записок» появлялось одно или несколько стихотворений Лермонтова, отрывки из «Героя нашего времени»[*], непременно — одна большая статья Белинского и целый ряд мелких, его разборы книг. Я помню, с какою жадностью, с какою страстью мы кидались на новую книжку журнала, когда нам ее приносили, еще с мокрыми листами, и подавали обыкновенно в середине дня, после нашего обеда. Тут мы брали книжку чуть не с боя, перекупали один у другого право ее читать раньше всех; потом, все первые дни, у нас только и было разговоров, рассуждений, споров, толков, что о Белинском да о Лермонтове. Большинство чудных мелких пьес этого последнего мы сейчас же знали наизусть. Белинский же был — решительно нашим настоящим воспитателем. Никакие классы, курсы, писания сочинений, экзамены и все прочее не сделали столько для нашего образования и развития, как один Белинский, со своими ежемесячными статьями. Мы в этом не различались от остальной России того времени. Громадное значение Белинского относилось, конечно, никак не до одной литературной части: он прочищал всем нам глаза, он воспитывал характеры, он рубил рукою силача патриархальные предрассудки, которыми жила сплошь до него вся Россия, он издали приготавливал то здоровое и могучее интеллектуальное движение, которое окрепло и поднялось четверть века позже. Мы все — прямые его воспитанники.

Появление «Мертвых душ», в конце лета 1842 года*, было для нас событием необычайной важности. Эта книга пришла к нам в руки в конце лета, когда мы воротились с каникул. Классы еще не начинались, несколько дней оставалось совершенно свободными, и мы могли заниматься чем хотели — тем более что мы только что перешли в первый, то есть высший класс, получили шпаги и были уже чем-то вроде офицеров. Вот мы и употребили свободное время так, как нам было всего дороже: на прочтение залпом «Мертвых душ» всеми нами вместе, одной большой толпой, чтоб прекратить все споры об очереди. Время стояло чудесное, август был в тот год жаркий, и мы все полегли в нашем классе, расстегнув куртки и сняв галстуки, просто на пол, а трое из нас, Оголин, Замятнин и я, как лучшие в классе чтецы, взялись громко читать по очереди — и вот в таком-то порядке мы в продолжение нескольких дней читали и перечитывали это великое, неслыханно оригинальное, несравненное, национальное и гениальное создание. Мы были все точно опьянелые от восторга и изумления. Сотни и тысячи гоголевских фраз и выражений тотчас же были всем известны наизусть и пошли в общее употребление. Гоголевский лексикон наш, уже с 30-х годов столько богатый, еще больше прежнего разрастался…

А. Д. Галахов. Из «Сороковых годов»*

…Припомню несколько моих свиданий с Гоголем. Первое относится к тому времени, когда вслед за «Вечерами на хуторе близ Диканьки» явились «Арабески» и «Миргород». Автор их приехал в Москву*, где у него уже было немало почитателей. В числе их, кроме Погодина и семейства Аксаковых, состоял и короткий их знакомый, А. О. Армфельд, профессор судебной медицины и в то же время инспектор классов в Николаевском сиротском институте, где я преподавал историю русской словесности. Он пригласил на обед близких знакомых, в том числе и меня, жаждавших лицезреть новое светило нашей литературы. Обедом не торопились, зная обычай Гоголя запаздывать, но потом, потеряв надежду на его прибытие, сели за стол. При втором блюде явился Гоголь, видимо смущенный, чтозаставил себя долго ждать. Он сидел серьезный и сдержанный, как будто дичился, встретив две-три незнакомые личности. Но когда зашла речь о повести Основьяненки (Квитки) «Пан Халявский», напечатанной в «Отечественных записках», тогда и он скромно вставил свое суждение. Соглашаясь с замечанием, что в главном лице (Халявском) есть преувеличения, доходящие до карикатуры, он старался, однакож, умалить этот недостаток. Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что он в невыгодном отзыве о Квитке видел как бы косвенную похвалу себе, намерение возвеличить его собственный талант. Вообще он говорил очень умно и держал себя отлично, не в пример другим случаям.

Вторая встреча устроилась в том же доме. Хозяин (Армфельд) играл в карты с С. Т. Аксаковым, а Гоголь, обедавший с ними, спал на кровати. Проснувшись, он вышел из-под полога, и я был представлен ему, как искренний поклонник его таланта, знакомивший институток с его сочинениями, которые читались мною по вечерам в квартире начальницы, разумеется, с исключением некоторых мест, не подлежащих ведению девиц. Гоголь, бывший в хорошем расположении духа, протянул мне руку и сказал, смеясь: «Не слушайтесь вашего инспектора, читайте все сплошь и рядом, не пропускайте ничего». — «Как это можно? — возразил Армфельд. — Всему есть вес и мера». — «Да не все ли равно? Ведь дивчата прочтут же тайком, втихомолку».

Третий раз сошелся я с ним в Москве же, в книжной лавке Базунова, бывшей Ширяева. Он просил показать ему вышедшие в его отсутствие[138] литературные новинки. Базунов выложил на прилавок несколько книг, в том числе и новое издание моей «Русской хрестоматии», в трех книгах, из которых последняя, под названием «примечаний», заключала в себе биографические сведения о важнейших писателях и оценку их деятельности. Гоголь, разумеется, был превознесен выше облака ходячего, но и он польстил мне, когда в число отобранных им книг включил и мой учебник.

Четвертое и последнее свидание было во время летней вакации, не помню какого года. Краевский приехал на побывку в Москву и остановился у В. П. Боткина. Каждое утро я отправлялся к ним на чаепитие и веселую беседу. В один из таких визитов неожиданно является Гоголь, по возврате из чужих краев — каких именно, тоже не помню. Я несколько сконфузился, вспомнив мое письмо к нему, написанное по поводу предисловия его ко второму изданию первого тома «Мертвых душ»* и напечатанное в «Отечественных записках» 1847 года.[139] Гоголь, на мой взгляд, изменился: похудел, стал серьезнее, сдержанней, не выказывая никаких причуд или капризов, как это им делалось нередко в других более знакомых домах. Боткин предложил где бы нибудь сообща пообедать. Гоголь охотно согласился: чего же лучше, — прибавил он, — как не в гостинице Яра, близ Петровского парка? Таким образом, мы провели время вчетвером очень приятно благодаря прекрасной погоде и повеселевшему дорогому гостю…

С этих пор и до самой его кончины мне не удалось с ним встречаться. В последний приезд его в Москву он жил в доме графа Толстого*, его приятеля и одномысленника, где и заболел. Болезнь сначала казалась неважною; по крайней мере, никто не ожидал, что она окончится смертью. Многие навещались о его положении и узнавали, что он держит строгий пост, кушает только просфоры с красным вином, не принимает никаких лекарств. К этим причинам телесного расстройства присоединились внутренние, моральные влияния: отречение от

прежней своей деятельности, дошедшее до намерения сжечь рукопись второго тома «Мертвых душ», пренебрежение жизнию, ничем необъяснимое самоистязание... короче, мрак и тайна облекали его судьбу. Неожиданная скоротечность гибели поразила его почитателей. На панихидах по нем возбуждались не одни горестные, но и мрачные чувства. Ходил слух, что незадолго до смерти Гоголя Шевырев на коленях умолял его принять лекарство. Гоголь, не отвечая, повернулся к нему спиной, а к стенке лицом. Тогда Шевырев не выдержал и громко сказал ему: «Упрямым хохлом ты жил, упрямым хохлом и умрешь».

Заключу двумя анекдотическими рассказами, слышанными от достоверных личностей.

Самые образованные семейства, жившие в Москве, интересовались нашим великим юмористом, ценили его талант и входили с ним в близкие отношения. Таковы были семейства С. Т. Аксакова и А. П. Елагиной, матери Киреевских, великой поклонницы немецкой поэзии. В один из своих визитов Гоголь застал ее за книгой. «Что вы читаете?» — спросил он. «Балладу Шиллера «Кассандра». — «Ах, прочтите мне что-нибудь, я так люблю этого автора». — «С удовольствием», — и Гоголь внимательно выслушал «Жалобу Цереры» и «Торжество победителей». Вскоре после того он уехал за границу, где и пробыл не малое время. Возвратясь, он явился к Елагиной и застал ее опять за Шиллером. Выслушав рассказ о его путешествии и заграничной жизни, она обращается к нему с предложением прочесть что-нибудь из Шиллера: «Ведь вы так любите его». — «Кто? я? Господь с вами, Авдотья Петровна: да я ни бельмеса не знаю, по-немецки; ваше чтение будет не в коня корм»...

А вот второй пассаж, рассказанный мне Щепкиным, нашим гениальным комиком, боготворившим автора «Ревизора». Гоголь жил у Погодина, занимаясь, как он говорил, вторым томом «Мертвых душ». Щепкин почти ежедневно отправлялся на беседу с ним (ведь они оба были хохлы). Раз, — говорит он, — прихожу к нему и вижу, что он сидит за письменным столом такой веселый. — «Как ваше здравие? Заметно, что вы в хорошем расположении духа». — «Ты угадал; поздравь меня: кончил работу». Щепкин от удовольствия чуть не пустился впляс и на все лады начал поздравлять автора. Прощаясь, Гоголь спрашивает Щепкина: «Ты где сегодня обедаешь?» — «У Аксаковых». — «Прекрасно: и я там же». Когда они сошлись в доме Аксакова, Щепкин, перед обедом, обращаясь к присутствовавшим, говорит: «Поздравьте Николая Васильевича». — «С чем?» — «Он кончил вторую часть «Мертвых душ». Гоголь вдруг вскакивает: «Что за вздор! от кого ты это слышал?» — Щепкин пришел в изумление: «Да от вас самих; сегодня утром вы мне сказали». — «Что ты, любезный, перекрестись: ты, верно, белены объелся или видел во сне»[*]...

Д. М. Погодин. Пребывание Гоголя в доме моего отца*

Незабвенный Николай Васильевич Гоголь переселился к нам на Девичье поле прямо из знойной Италии*. Он был изнежен южным солнцем, ему была нужна особенная теплота, даже зной; а у нас кстати случилась, над громадной залой с хорами, большая, светлая комната, с двумя окнами и балконом к восходу солнца, царившего над комнатой в летнее время с трех часов утра до трех пополудни. Хотя наш дом, принадлежавший раньше князю Щербатову, и был построен на большую ногу, но уже потому, что комната приходилась почти в третьем этаже, она была, относительно своей величины, низка, а железная крыша также способствовала ее нагреванию. Я распространяюсь об этом ничтожном для других обстоятельстве на том основании, что для Николая Васильевича это было важно; после итальянского зноя наш русский май не очень-то приятен; а потому наша комната была ему как раз по вкусу. Нечего и говорить, каким почетом и, можно сказать, благоговением был окружен у нас Гоголь. Детей он очень любил и позволял им резвиться и шалить сколько угодно. Бывало, мы, то есть я с сестрою, точно службу служим; каждое утро подойдем к комнате Н. В., стукнем в дверь и спросим: «Не надо ли чего?» — «Войдите», — откликнется он нам. Несмотря на жар в комнате, мы заставали его еще в шерстяной фуфайке, поверх сорочки. «Ну, сидеть, да смирно», — скажет он и продолжает свое дело, состоявшее обыкновенно в вязанье на спицах шарфа или ермолки, или в писании чего-то чрезвычайно мелким почерком на чрезвычайно маленьких клочках бумаги. Клочки эти он, иногда прочитывая вполголоса, рвал, как бы сердясь, или бросал на пол, потом заставлял нас подбирать их с пола и раскладывать по указанию, причем гладил по голове и благодарил, когда ему угождали; иногда же бывало, как бы рассердившись, схватит за ухо и выведет на хоры: это значило — на целый день уже и не показывайся ему. До обеда он никогда не сходил вниз в общие комнаты, обедал же всегда со всеми нами, причем был большею частью весел и шутлив. Особенно хорошее расположение духа вызывали в нем любимые им макароны; он тут же за обедом и приготовлял их, не доверяя этого никому. Потребует себе большую миску и, с искусством истинного гастронома, начнет перебирать их по макаронке, опустит в дымящуюся миску сливочного масла, тертого сыру, перетрясет все вместе и, открыв крышку, с какой-то особенно веселой улыбкой, обведя глазами всех сидящих за столом, воскликнет: «Ну, теперь ратуйте, людие».

Весь обед, бывало, он катает шарики из хлеба и, школьничая, начнет бросать ими в кого-нибудь из сидящих; а то так, если квас ему почему-либо не понравится, начнет опускать шарики прямо в графин. После обеда до семи часов вечера он уединялся к себе, и в это время к нему уже никто не ходил; а в семь часов он спускался вниз, широко распахивал двери всей амфилады передних комнат, и начиналось

хождение, а походить было где: дом был очень велик. В крайних комнатах, маленькой и большой гостиных, ставились большие графины с холодной водой. Гоголь ходил и через каждые десять минут выпивал по стакану. На отца, сидевшего в это время в своем кабинете за летописями Нестора, это хождение не производило никакого впечатления; он преспокойно сидел и писал. Изредка только, бывало, поднимет голову на Николая Васильевича и спросит: «Ну, что, находился ли?» — «Пиши, пиши, — отвечал Гоголь, — бумага по тебе плачет». И опять то же; один пишет, а другой ходит. Ходил же Н. В. всегда чрезвычайно быстро и как-то порывисто, производя при этом такой ветер, что стеариновые свечи (тогда о керосине еще не было и помину) оплывали, к немалому огорчению моей бережливой бабушки. Когда же Н. В. очень уж расходится, то моя бабушка, мать моего отца, сидевшая в одной из комнат, составлявших амфиладу его прогулок, закричит, бывало, горничной: «Груша, а Груша, подай-ка теплый платок, тальянец (так она звала Н. В.) столько ветру напустил, так страсть!» — «Не сердись, старая, — скажет добродушно Н. В., — графин кончу, и баста». Действительно, покончит второй графин и уйдет наверх. На ходу, да и вообще, Гоголь держал голову несколько набок. Из платья он обращал внимание преимущественно на жилеты: носил всегда бархатные и только двух цветов, синего и красного. Выезжал он из дома редко, у себя тоже не любил принимать гостей, хотя характера был крайне радушного. Мне кажется, известность утомляла его, и ему было неприятно, что каждый ловил его слово и старался навести его на разговор; наконец он знал, что к отцу приезжали многие лица специально для того, чтобы посмотреть на «Гоголя», и когда его случайно застигали в кабинете отца, он моментально свертывался, как улитка, и упорно молчал. Не могу сказать, чтобы у Н. В. было много знакомых. Может быть, интеллигентное общество, понимая, как дорог для Гоголя каждый час, не решалось отнимать у него время, а может быть, было дано людям строгое приказание никого не принимать. Гоголь жил у нас скорее отшельником… Большое удовольствие доставил Н. В. приезд его двух сестер: Марии и Анны Васильевны*, поместившихся у нас же, как раз против его комнаты, еще в лучшей, выходившей большим итальянским окном прямо в сад. Гоголь был очень нежный и заботливый брат и сейчас же задумал им что-нибудь подарить; но не знал — что, и прибег к совету моей матери Елизаветы Васильевны, которую он очень уважал и любил. Доказательством служат и письма его к ней, и отзывы о ней в письмах к отцу моему. С общего совета они решили купить два черных шелковых платья, в которых его «сестренки», как он выражался, вскоре и защеголяли. Продажа изданий Н. В., как это ни удивительно, шла все-таки относительно туго, и он постоянно нуждался в деньгах, но прибегал к помощи своих искренних друзей только в крайних случаях; а тогда были около него и считались его друзьями такие личности, как Нащокин, Мельгунов, Павлов,

известные своим богатством; они сочли бы за честь и истинное удовольствие ссудить Н. В. деньгами. В то время вообще денежные расчеты велись как-то особенно от нашего времени; верили больше слову, чем расписке или долговому письму (векселя между дворянами совсем не употреблялись)…

Возвращаюсь опять к Гоголю. В ту зиму приехал из Киева М. А. Максимович, и, — поверит ли кто теперь, — на тройке гнедых, собственных коней. Максимович тоже пристроился у нас, но уже во флигеле. Николай Васильевич страстно к нему привязался, и у нас в доме стало еще приятнее, как бы теплее. Раньше я сказал, что Н. В. посещали немногие, но все-таки их было достаточно; а так как Н. В. был в душе хлебосол, как всякий истинный малоросс, и только обстоятельства сдерживали его, то один день в году он считал своею обязанностью как бы рассчитаться со всеми своими знакомыми наславу, и в этот день он уже ничего не жалел. То был Николин день — его именины 9-го мая. Злоба дня, весь внешний успех пиршества, сосредоточивался на погоде. Дело в том, что обед устраивался в саду, в нашей знаменитой липовой аллее. Пойди дождь, и все расстроится. Еще дня за два до Николы Николай Васильевич всегда был очень возбужден: подолгу беседовал с нашим старым поваром Семеном, но кончалось всегда тем, что старый Семен при составлении меню нес под конец такую галиматью, что Гоголь, выйдя из себя, кричал: «Ты-то уйдешь!» и, быстро одевшись, отправлялся в купеческий клуб к Порфирию. Кроме Порфирия, славился еще повар Английского клуба Басанин, отец молодого талантливого доктора, Ивана Афанасьевича, рано похищенного смертию у науки. Следовательно, выбор был нетруден, и цены брали подходящие. Обыкновенно Н. В. тянуло более к Порфирию на том основании, что он готовил хотя и проще, но зато пожирнее, да и малороссийские кушанья знал отлично. С кулинарною частию дело устраивалось без затруднения, оставалось вино; но тут тоже выходило не по-нынешнему: отец писал такого рода записку: «Любезный Филипп Федорович (Депре), пришлите, пожалуйста, сколько нужно вина человек на 40–50, по вашему выбору, оставшиеся целыми бутылки будут возвращены». Вино присылалось отличное, прекрасно подобранное; со счетом не приставали: были деньги, Гоголь сейчас платил, а нет — ждали. Сад был у нас громадный, на 10 000 квадратных сажен, и весной сюда постоянно прилетал соловей. Но для меня собственно вопрос состоял в том: будет ли он петь именно за обедом; а пел он большею частию рано утром или поздно вечером. Я с детских лет имел страсть ко всякого рода певчим птицам, и у меня постоянно водились добрые соловьи. В данном случае я пускался на хитрость: над обоими концами стола, ловко укрыв ветвями, вешал по клетке с соловьем. Под стук тарелок, лязг ножей и громкие разговоры мои птицы оживали: один свистнет, другой откликнется, и начинается дробь и дудка. Гости

восхищались. «Экая благодать у тебя, Михаил Петрович, умирать не надо. Запах лип, соловьи, вода в виду, благодать, да и только».

Надо сказать, что Н. В. был посвящен в мою соловьиную тайну и сам оставался доволен, когда мой птичий концерт удавался, но никому, даже отцу, не выдавал меня. Кто были гости Гоголя? Всех я не могу припомнить, но в памяти у меня сохранились следующие лица: Нащокин, когда был в Москве, Н. А. Мельгунов, Н. Ф. Павлов, Михаил Семенович Щепкин, Пров Михайлович Садовский, Васильев, С. П. Шевырев, Вельтман, Н. В. Берг, известный остряк Юрий Никитьевич Бартенев, знаменитый гравер Иордан, актеры Ленский и Живокини, С. Т. Аксаков, К. С. Аксаков и много других, которых я уже и не запомню. Обед кончался очень поздно, иногда варили жженку. Разговоры лились неумолкаемо. Пров Михайлович Садовский, нечего таить греха, находился всегда уже в легком подпитии и по общей просьбе начинал рассказывать: о капитане Копейкине, о Наполеандре Бонапарте, или неподражаемый рассказ о том, как пьяному мужику все кажется, что у него в ушах «муха жужжит». Вся тонкость этого последнего рассказа состояла в том, чтобы голос вибрировал на разные тоны. Обоймет он, бывало, одну из лип левой рукой, а правой как бы отмахиваясь от мнимой мухи, лезшей ему в ухо, и начинает на разные лады: «муха жужжит». А мимика, выражение глаз при этом не поддаются никакому описанию. Пров Михайлович был родоначальником всех последующих рассказчиков; но, увы! скольких я ни переслушал после неподражаемого Садовского, всем им было далеко до него. Они даже не напоминали его, разве только даровитый Ив. Ф. Горбунов несколько подходит к нему. До того же момента, как общество все-таки несколько «куликнет», около Юрия Никитьевича Бартенева, служившего подряд при нескольких генерал-губернаторах чиновником особых поручений, собирался тесный кружок слушателей. Юрий Никитьевич начинал чрезвычайно едко и остро передавать различные факты, смешные стороны лиц, с которыми он сталкивался по своей службе и большею частью знакомых слушателям; остротам его не было конца, и злой язык Юрия Никитьевича никому не делал пощады. Между прочим, он любил давать всем своим хорошо знакомым прозвища, и так метко, что раз данное им прозвище навсегда оставалось за тем лицом. Жил он в Москве очень открыто, большим хлебосолом, и кто только не бывал у него на Смоленском бульваре? Сам дорогой именинник Н. В. в этот день из нелюдимого, неразговорчивого в обществе превращался в расторопнейшего, радушнейшего хозяина; постоянно наблюдал за всеми, старался, чтобы всем было весело, чтобы все пили и ели, каждого угощал и каждому находил сказать что-нибудь приятное. Из нескольких именинных дней, празднованных в нашем доме, я помню, что раза два случалась дурная погода, тогда обед происходил в доме, но и это имело свою хорошую сторону: Николая Васильевича, несмотря на сильное сопротивление с его стороны, все-таки удавалось уговорить прочесть

что-нибудь. Долго отбивается Гоголь; но, видя, что ничто не помогает, нервно передергивая плечами, взберется, бывало, в глубь большого, старинного дивана, примостится в угол с ногами и начнет читать какой-нибудь отрывок из своих произведений. Но как читать? — и представить себе невозможно: никто не пошевельнется, все сидят, как прикованные к своим местам… Обаяние чтения было настолько сильно, что когда, бывало, Гоголь, закрыв книгу, вскочит с места и начнет бегать из угла в угол, — очарованные слушатели его остаются все еще неподвижными, боясь перевести дух… И только раз как-то, после подобного чтения, Пров Михайлович глубоко вздохнул, скорчил уморительную физиономию, ему одному только доступную, и тихо пробурчал: «А вот и «муха не жужжит». Все рассмеялись, повеселел и сам Гоголь.

Как на чрезвычайно нервного человека, чтение глубоко продуманных и прочувствованных им очерков производило на Н. В. потрясающее впечатление, и он или незаметно куда-то скрывался, или сидел, опустив голову, как бы отрешаясь от всего окружающего… Общество в день именин расходилось часов в одиннадцать вечера, и Н. В. успокаивался, сознавая, что он рассчитался со своими знакомыми на целый год. Странно, что у меня не сохранилось воспоминания о том, посещал ли Н. В. театр.

Я упоминал, что Н. В. был домосед и знакомых, даже близких, как, например, Степана Петровича Шевырева, М. С. Щепкина, посещал изредка. С прислугою он обращался вежливо, почти никогда не сердился на нее, а своего хохла-лакея ценил чрезвычайно высоко. Меня тоже он любил и называл своим племянником…

В самом конце сороковых годов Н. В. переехал от нас на Никитский бульвар, в бывший дом Талызиной, к графу А. П. Толстому*. Здесь он уже окончательно поддался тому мистическому направлению, которое, к прискорбию всей России, свело гениальнейшего человека в преждевременную могилу…

Я. К. Грот. Воспоминание о Гоголе*

До 1849 года я с Гоголем встречался редко, хотя давно познакомился с ним. Мы оба не жили в Петербурге и, только съезжаясь на короткое время с разных сторон, виделись иногда у П. А. Плетнева. Но в означенном году, летом, я был в Москве, и тут мы посещали друг друга. Гоголь жил тогда у гр. Толстого в д. Талызина на Никитском бульваре, поблизости Арбатских ворот. Из его разговоров мне особенно памятно следующее. Он жаловался, что слишком мало знает Россию; говорил, что сам сознает недостаток, которым от этого страдают его сочинения. «Я нахожусь в затруднительном положении, — рассуждал он, — чтобы лучше узнать, Россию и русский народ, мне необходимо было бы

путешествовать, а между тем уж некогда: мне около сорока лет, а время нужно, чтобы писать»[*]. Отказываясь поэтому от мысли о путешествиях по России[*], Гоголь придумал другое средство пополнить свои сведения об отечестве. Он решился просить всех своих приятелей, знакомых с разными краями России или еще собирающихся в путь, сообщать ему свои наблюдения по этому предмету. О том просил он и меня. Но любознательность Гоголя не ограничивалась желанием узнать Россию со стороны быта и нравов. Он желал изучить ее во всех отношениях. Мысль эта давно занимала Гоголя, и для достижения этой цели он не пренебрегал даже и самыми скудными средствами. Живя за границею, он не переставал читать книги, которые казались ему пособиями для этого… Взяв с меня обещание доставлять ему заметки о тех местах России, которые я увижу, Гоголь стал расспрашивать меня и о Финляндии, где я жил в то время. Между прочим его интересовала флора этой страны; он пожелал узнать, есть ли по этому предмету какое-нибудь хорошее сочинение, и попросил выслать ему, когда я возвращусь в Гельсингфорс, незадолго перед тем появившуюся книгу Нюландера «Flora fennica», что я и исполнил впоследствии.

В Москве жил я у старого приятеля моего, Д. С. П<ротопопо>ва, на Собачьей площадке. Раз вдруг подъезжает к дому красивая карета, и из нее выходит Гоголь. Я рассказал ему, что мой хозяин может доставить ему много материалов для изучения России, потому что долго жил в разных губерниях и по службе имел частые сношения с народом. Гоголь изъявил желание познакомиться с Протопоповым, но в тот раз это было невозможно, так как приятель мой был в это самое время хотя и дома, но занят по должности.

Между тем Гоголь вскоре куда-то уехал, а я, по непредвиденным обстоятельствам, возвратился в Гельсингфорс ранее чем предполагал. Послав Гоголю обещанную книгу о финляндской флоре, я писал ему, что Протопопов ждет его, и с тем вместе сообщил отрывок из одного письма Протопопова ко мне, как образчик взгляда его на русский народ.

Вот что отвечал мне Гоголь, приехавший опять в Москву:

«Очень благодарю вас за ваше доброе письмо, которое нашел по приезде в Москву. Мне самому очень жалко, что не удалось с вами еще повидаться. Благодарю вперед за предстоящее знакомство с Протопоповым, которого я непременно отыщу. Его замечания о русском народе, приложенные в вашем письме, совершенно верны, отзываются большой опытностью, а с тем вместе и ясностью головы. Прощайте и не забывайте меня.

Ваш весь Гоголь»[*].

Вскоре после того Гоголь действительно ездил к моему приятелю, но не застал его дома. Погруженный в дела службы, Протопопов, который

сверх того был всегда немножко нелюдим, не поехал к Гоголю, и они не познакомились лично…

Л. И. Толченов. Гоголь в Одессе 1850–1851 г.*

(Из воспоминаний провинциального актера)

В 1851 году я состоял в числе актеров русской одесской труппы. В начале января мне встретилась надобность повидаться с членом дирекции театра А. И. Соколовым. Дома я его не застал. Дай, думаю, побываю у Оттона (известный в то время ресторатор в Одессе), не найду ли его там?.. Действительно, Соколов оказался у Оттона. Кончив немногосложное дело, по которому мне надо было видеться с Александром Ивановичем, я полюбопытствовал узнать, по какой это причине он так поздно обедает (был час восьмой вечера). «Вы, сколько мне известно, Александр Иванович, враг поздних обедов… Неужели вы заседаете здесь с двух часов?» — «Именно так — заседаю с двух часов!.. Что вы смеетесь? Здесь, батюшка, Гоголь!! Вот что!» — «Я знаю, что Гоголь в Одессе еще с конца прошлого года, но…» — «Да не в том дело, что он в Одессе, а в том, что он здесь, в ресторане… По некоторым дням он здесь обедает и, по своей привычке, приходит поздно — часу в пятом, шестом… Ну, а у меня своя привычка, я так долго ждать не могу обеда, как вам известно, — вот я пообедаю в свое время и сижу, жду; начнут «наши» подходить понемногу, а там и Николай Васильич приходит, садится обедать — а мы составляем ему компанию… Вот почему я здесь и заседаю с двух часов… Хотите, пойдемте, я представлю вас ему… Он хотя терпеть не может новых лиц, но вы человек «маленький», авось при вас он не будет ежиться… Пойдем!» Мы вошли в другую комнату, которая из общей ради Гоголя превратилась в отдельную и отворялась только для его знакомых. Робко, с бьющимся сердцем, переступал я порог заветной комнаты… Все собеседники Гоголя были более или менее хорошо мне знакомы, но при мысли видеть Гоголя, говорить с ним, нервная дрожь пробирала меня и голова кружилась. При входе в заветную комнату я увидел сидящего за столом, прямо против дверей, худощавого человека… Острый нос, небольшие пронзительные глаза, длинные, прямые темнокаштановые, причесанные à la мужик, волосы, небольшие усы… Вот что я успел заметить в наружности этого человека, когда при скрипе затворяемой двери он вопросительно взглянул на нас… Человек этот был — Гоголь.

Соколов представил меня. «А! добро пожаловать, — сказал Гоголь, вставая и с радушной улыбкой протягивая мне руку. — Милости просим в нашу беседу… Садитесь здесь, возле меня», — добавил он, отодвигая свой стул и давая мне место. Я сел, робость моя пропала. Гоголь, с которого я глаз не спускал, занялся исключительно мной. Расспрашивая меня о том, давно ли я на сцене, сколько мне лет, когда я из Петербурга, он, между прочим, задал мне также вопрос: «А любите ли вы

искусство?» — «Если б я не любил искусства, то пошел бы по другой дороге. Да во всяком случае, Николай Васильич, если б я даже и не любил искусства, то наверно вам-то в этом не признался бы». — «Чистосердечно сказано! — сказал, смеясь, Гоголь. — Но хорошо вы делаете, что любите искусство, служа ему. Оно только тому и дается, кто любит его. Искусство требует всего человека. Живописец, музыкант, писатель, актер — должны вполне, безраздельно отдаваться искусству, чтобы значить в нем что-нибудь… Поверьте, гораздо благороднее быть дельным ремесленником, чем лезть в артисты, не любя искусства».[140] Слова эти, несмотря на то, что в них не было ничего нового, произвели на меня сильное впечатление: так просто, задушевно, тепло они были сказаны. Не было в тоне Гоголя ни докторальности, ни напускной важности, с которыми иные почитают делом совести изрекать юношам самые истертые аксиомы поношенной морали. Чувствовалось, что слова эти говорятся не из желания дать молодому человеку приличное наставление в поучение ему, а высказываются как горячее убеждение, благо случай представился высказать это убеждение. Видя в руках моих бумагу, Гоголь спросил: «Что это? Не роль ли какая?» — «Нет, это афиша моего бенефиса, которую я принес для подписи Алесанду Ивановичу». — «Покажите, пожалуйста». Я подал ему афишу, которая, по примеру всех бенефисных афиш, как провинциальных, так и столичных, была довольно великонька. «Гм! а не долго ли продолжится спектакль? Афиша-то что-то велика», — заметил Гоголь, прочитав внимательно афишу. «Нет, пьесы небольшие; только ради обычая и вкуса большинства публики афиша, как говорится, расписана». — «Однако все, что в ней обозначено, действительно будет?» — «Само собою разумеется». — «То-то! Вообще никогда не прибегайте ни к каким пуфам, чтоб обратить на себя внимание. Оно дурно и вообще в каждом человеке, а в артисте шарлатанство просто неприлично… Давно я не бывал в театре, а на ваш праздник приду!» Разговор сделался общим. Гоголь был, как говорится, в ударе. Два или три анекдота, рассказанные им, заставили всю компанию хохотать чуть не до слез. Каждое слово, вставляемое им в рассказы других, было метко и веско… Между прочим, услыхав сказанную кем-то французскую фразу, он заметил: «Вот я никак не мог насобачиться по-французски!» — «Как это насобачиться?» — спросили, смеясь, собеседники. «Да так, насобачиться… другим языком можно учиться, изучать их… и познакомишься с ними… а чтоб говорить по-французски, непременно надо насобачиться этому языку». Разошлись по домам часов в девять. Такова была моя первая встреча с Гоголем. Я с трудом мог притти в себя от изумления: так два часа, проведенные в обществе Гоголя, противоречили тому, что мне до тех пор приходилось слышать о Гоголе как о члене общества. Все слышанное мною про него в Москве и Петербурге так противоречило виденному мною в этот вечер, что на первое время удивление взяло верх над всеми другими впечатлениями. Я столько слышал рассказов про

нелюдимость, недоступность, замкнутость Гоголя, про его эксцентрические выходки в аристократических салонах обеих столиц; так жив еще был в моей памяти рассказ, слышанный мною за два года в Москве, о том, как приглашенный в один аристократический московский дом, Гоголь, заметя, что все присутствующие собрались собственно затем, чтоб посмотреть и послушать его, улегся с ногами на диван и проспал, или притворился спящим, почти весь вечер, — что в голове моей с трудом переваривалась мысль о том, чтоб Гоголь, с которым я только расстался, которого видел сам, был тот же человек, о котором я составил такое странное понятие по рассказам о нем... Сколько одушевления, простоты, общительности, заразительной веселости оказалось в этом неприступном, хоронящемся в самом себе человеке. Неужели, думал я, это один и тот же человек, — засыпающий в аристократической гостиной, и сыплющий рассказами и заметками, полными юмора и веселости и сам от души смеющийся каждому рассказу смехотворного свойства, — в кругу людей, нисколько не участвующих и не имеющих ни малейшей надежды когда-нибудь участвовать в судьбах России?

До окончания бенефиса я не имел возможности, за хлопотами, видеть Гоголя, но он сдержал свое обещание и был в театре в день моего бенефиса, в ложе директора Соколова, и, по словам лиц, бывших вместе с ним, высидел весь спектакль с удовольствием и был очень весел. Вслед за моим бенефисом шел бенефис известной актрисы А. И. Шуберт; она выбрала для постановки «Школу женщин» Мольера. А. И. Соколов, зная, как трудно молодым актерам, воспитавшимся совершенно на иных началах, передавать так называемые классические произведения, просил Николая Васильевича прочесть пьесу актерам, чтоб дать им верный тон и тем облегчить для них не совсем легкую задачу, которая представляется актерам при исполнении мольеровского произведения. Гоголь изъявил свое согласие, и для чтения пьесы положили собраться в квартире режиссера труппы А. Ф. Богданова, знакомого Гоголю еще по Москве, так как Богданов был женат на родной сестре М. С. Щепкина, а известно, как близок был Гоголь к дому Щепкина. В назначенный вечер актеры и актрисы, участвовавшие в «Школе женщин», собрались у Богданова. Из неучаствовавших актрис была приглашена только одна известная актриса П. И. Орлова, а из посторонних театру лиц лишь один Н. П. Ильин. Как прочих артистов, так и знакомых Николая Васильевича не пригласили из опасения испугать Гоголя многолюдством. Часов в восемь вечера пришел Гоголь с Соколовым. Войдя в комнату и увидя столько незнакомых лиц, он заметно сконфузился; когда же ему стали представлять всех присутствующих, то он совершенно растерялся, вертел в руках шляпу, комкал перчатки, неловко раскланивался и, нечаянно увидав меня, — человека уже знакомого ему, — быстро подошел ко мне и как-то нервически стал жать мне руку, отчего я в свою очередь сконфузился. Впрочем,

замешательство Гоголя продолжалось не долго. Как только окончилась скучная церемония взаимного представления, каждый стал продолжать прерванный разговор, поднялся общий говор, шум, смех, как будто между нами и не было *великого* человека!.. Заметив, что на него не смотрят, как на чудо-юдо, что, повидимому, никто не собирается записывать его слов, движений, Гоголь совершенно успокоился, оживился, и пошла самая одушевленная беседа между ним, Л. С. Богдановой, П. И. Орловой, Соколовым, Ильиным и всяким, кто только находил что сказать. Русские и малороссийские анекдоты, поговорки, прибаутки так и сыпались! После чаю все уселись вокруг стола, за которым сидел Гоголь; водворилась тишина, и Гоголь начал чтение «Школы женщин». По совести могу сказать — такого чтения я до тех пор не слыхивал. Поистине, Гоголь читал мастерски, но мастерство это было особого рода, не то, к которому привыкли мы, актеры. Чтение Гоголя резко отличалось от признаваемого при театре за образцовое отсутствием малейшей эффектности, малейшего намека на декламацию. Оно поражало своей простотой, безыскусственностью и вместе с тем необычайной образностью, и хотя порою, особенно в больших монологах, оно казалось монотонным и иногда оскорблялось резким ударением на цезуру стиха, но зато мысль, заключенная в речи, рельефно обозначалась в уме слушателя и, по мере развития действия, лица комедии принимали плоть и кровь, делались лицами живыми, со всеми оттенками характеров. Впоследствии, на одном из вечеров у Оттона (о которых речь впереди), Гоголь читал свою «Лакейскую», и лицо дворецкого еще до сих пор передо мною как живое. Перенять манеру чтения Гоголя, *подражать* ему, — было бы невозможно, потому что все достоинство его чтения заключалось в удивительной верности тону и характеру того лица, речи которого он передавал, в поразительном уменьи подхватывать и выражать жизненные, характерные черты роли, в искусстве оттенять одно лицо от другого, то есть в том, что в сценическом искусстве называется созданием характера, типа. Тут подражанию не может быть места, — тут возможно только сознательное усвоение взгляда на данный характер, облегчение в понимании поэтического произведения, ознакомление с приемами, при помощи которых должно приступать к изучению или созданию роли. Таков, по моему мнению, идеал сценического учителя… Такой учитель не довольствовался бы чтением с его голоса, рутинным уменьем повышать и понижать голос на определенных местах и ловким употреблением раз навсегда установленных эффектов, а потребовал бы верного олицетворения мысли автора, воссоздания в определенной форме, со всем жизненным разнообразием черт созданного поэтом типа. Чтение часто прерывалось замечаниями как со стороны Гоголя, так и со стороны слушателей, а между тем пять действий комедии были прочитаны незаметно. Вечер заключился ужином, составленным, ради Гоголя, почти исключительно из малороссийских блюд. Через

несколько дней, когда уже роли у актеров из «Школы женщин» были тверды, Николая Васильевича пригласили в театр на репетицию, и, несмотря на свое обыкновение ранее четвертого часа из дома не выходить, он пришел на репетицию в десять часов. Кроме участвовавших в пьесе, на сцене никого не было. Гоголь внимательно выслушал всю пьесу и по окончании репетиции каждому из актеров по очереди, отводя их для этого в сторону, высказал несколько замечаний, требуя исключительно естественности, жизненной правды; но вообще одобрил всех играющих; госпожою же Шуберт (Агнеса) остался особенно доволен, но был серьезен, сосредоточен, ежился, кутался в шинель и жаловался на холод, который, как известно, действовал на него неблагоприятно. Да и сам по себе театр днем, тускло освещаемый одним дневным светом, с прибранными декорациями, на месте которых остаются одни голые кулисы, словно остовы, с безмолвной, погруженной в полумрак зрительной залой, в которой как-то дико раздаются голоса говорящих на сцене, способен нагнать тоску на впечатлительного человека. В день представления «Школы женщин», а также и в бенефис Богданова, в который шла «Лакейская», Гоголь, несмотря на свое обещание притти в театр, однако, не был… В кругу театральном Гоголь был еще раз у П. И. Орловой на вечере, устроенном ею нарочно для Николая Васильевича, выразившего однажды желание поесть русских блинов, которыми Прасковья Ивановна, как москвичка, и вызвалась его угостить. Гоголь с большим аппетитом ел блины, похваливая их, смешил других и сам смеялся, нисколько не стесняясь присутствием некоторых, совершенно ему незнакомых господ, внимательно вслушивался в их рассказы, расспрашивал сам об особенностях местной жизни, а меня с любопытством допрашивал о житье-бытье одесских лицеистов (в то время место нынешнего Новороссийского университета занимал Ришельевский лицей), между которыми у меня было много знакомых. Вообще к молодежи Гоголь относился с горячей симпатией, которая сказалась мне и в расспросах меня о моей собственной жизни, о моих наклонностях и стремлениях и в тех советах, которыми он меня подарил. На вечере у Орловой Гоголь оставался довольно поздно и все время был в отличном расположении духа. Кроме этих исключительных случаев, я бывал не менее двух раз в неделю в обществе Гоголя на сходках у Оттона,[141] в той же маленькой комнате, в которой я увидал его впервые и куда Гоголь являлся обедать в известные, свободные от приглашений, дни, раза два-три в неделю. Гоголь приходил часов в пять, иногда позднее, приходил серьезным, рассеянным, особенно в дни относительно холодные, но встречали его обыкновенно так радушно, задушевно, что минут через пять хандра Гоголя пропадала и он делался сообщителен и разговорчив. Постоянными собеседниками Гоголя у Оттона были: профессор Н. Н. Мурзакевич, М. А. Маршанский, А. Ф. Богданов, А. И. Соколов и Н. П. Ильин; иногда бывал еще кто-нибудь из

общих знакомых, но редко. Я присутствовал в этом кружке в качестве юноши, подающего надежды…

Соколов и Ильин со многими другими, в числе которых назову Льва Сергеевича Пушкина*, пользовались в свое время большим влиянием на общественное мнение Одессы как в деле искусства, так и в вопросах справедливости, и даже впоследствии, несмотря на перемену обстоятельств, эти люди до конца своей жизни сохранили свободу слова и мнений, и свой авторитет…

С приходом Гоголя являлся самолично Оттон, массивный мужчина, в белой поварской куртке, с симпатичным лицом. Появление его производило общий восторг, так как он являлся только в торжественных случаях. С подобающей важностью, с примесью добродушного юмора, Оттон вступал с Гоголем в переговоры касательно меню его обеда. Такое-то блюдо рекомендовал, такое-то подвергал сомнению, на том-то настаивал. Но, увы!.. все его усилия склонить Гоголя к вкушению тончайших совершенств кулинарного искусства пропадали даром, и Гоголь составлял свой обед из простых, преимущественно мясных блюд. Оттон, тяжело вздохнув и пожимая плечами, удалялся для нужных распоряжений. Перед обедом Гоголь выпивал рюмку водки, во время обеда рюмку хереса, а так как собеседники его никогда не обедали без шампанского, то после обеда — бокал шампанского. По окончании Гоголем обеда вся компания группировалась около него, и Николай Васильевич принимался варить жженку, которую варил каким-то особенным манером — на тарелках, и надо сознаться, жженка выходила превкусная, хотя сам Гоголь и мало ее пил, часто просиживая целый вечер с одной рюмкой. Тут-то, собственно, и начиналась беседа, веселая, одушевленная, беспритязательная. Анекдот следовал за анекдотом, рассказ за рассказом, острое слово за острым словом. Веселость Гоголя была заразительна, но всегда покойна, тиха, ровна и немногоречива. Все собеседники, как будто сговорясь, старались избегать всякого намека на предметы, разговор о которых мог бы смутить веселость Гоголя. Два раза было нарушено это правило: однажды я рискнул спросить его мнение о современных русских литераторах, на что Гоголь отказался отвечать, ссылаясь на малое знакомство с современной литературой, отозвавшись, впрочем, с большой симпатией о Тургеневе. В другой раз кто-то из присутствующих прямо и просто предложил ему вопрос: «Чему должно приписать появление в печати «Переписки с друзьями»?» — «Так было нужно, господа», — отвечал Гоголь, вдруг задумавшись и таким тоном, который делал неуместными дальнейшие вопросы.

Иногда находили на него минуты задумчивости, рассеянности, но весьма редко; вообще же мне не привелось подметить в Гоголе, несмотря на частые встречи с ним во время его пребывания в Одессе, ни одной

эксцентрической выходки, ничего такого, что подавляло бы, стесняло собеседника, в чем проглядывало бы сознание превосходства над окружающими; не замечалось в нем также ни малейшей тени самообожания, авторитетности. Постоянно он был прост, весел, общителен и совершенно одинаков со всеми в обращении. Новых лиц, новых знакомств он, действительно, как-то дичился. Бывало, когда в комнату, в которой Гоголь обедал с своими постоянными собеседниками, входило незнакомое ему лицо, Гоголь замолкал, круто обрывая разговор. Но если присутствующие встречали вошедшего дружески и радушно, Гоголь сейчас же переставал дичиться и спокойно продолжал разговор. Если же встреча вошедшему была только официально вежлива, то Гоголь уходил в самого себя и решительно не говорил ни слова, пока появившийся господин не скрывался. Говорил охотно Гоголь про Италию, о театре, рассказывал анекдоты, большей частью малороссийские, слушал же с большим вниманием всевозможные рассказы, особенно касавшиеся русской жизни; с заметным удовольствием ловил в рассказах характеристические черты разных сословий, с любопытством расспрашивал об особенностях одесской жизни и, если предмет его интересовал или был ему мало знаком, настойчиво добивался от рассказчика объяснения мельчайшей подробности, но сам старательно избегал разговоров о литературе и о самом себе. Не позволяя себе никаких выводов из приводимых фактов, не могу, однако, не высказать по поводу их двух-трех предположений. Гоголя часто обвиняли в самообожании, скрытности, замкнутости. Не проще ли объяснить его сдержанность в сношениях с людьми условиями русской, особенно петербургской жизни того времени, в которое жил Гоголь? Кто не помнит, как осторожны, осмотрительны, сосредоточены были каждый и каждая в Петербурге в те годы, даже с лицами знакомыми. Не прерывалась ли там всякая беседа, всякий живой разговор при появлении лица неизвестного? Петербургский житель даже в провинции, где языки и тогда работали гораздо свободнее, являлся всегда застегнутым на все пуговицы; его сейчас можно было узнать, куда бы он ни явился — в театр ли, на гулянье ли, в клуб ли! С другой стороны, кому тоже неизвестно, как жадно большинство читающего русского люда сороковых годов ловило каждую подробность, каждую черту из частной жизни общественных деятелей того времени, особенно писателей, даже не такого размера, как Гоголь.

По обстоятельствам, известным каждому, печатное слово принималось более или менее официально, и каждый, кто как умел, старался читать между строк. Отсюда — развитая, как нигде, страсть к письменной литературе, отсюда же и жажда к разузнаванию частной жизни влиятельного писателя, желание, часто назойливое, вызнать сокровенное мнение писателя о данном предмете... Отговоркой: «Я высказываю свое мнение печатно» — нельзя было отделаться от любознательности публики: она хотела знать именно то, что печатно не

высказывалось. Боже мой! каких историй, рассказов, анекдотов не ходило в публике того времени про Белинского, Тургенева, Некрасова, Ф. Достоевского и других. Гоголь без всякого самообожания мог знать, что каждая подробность о его жизни полна интереса для общества, что каждое слово, сказанное им о ком-нибудь или о чем-нибудь, непременно подхватится, разнесется и может получить такое значение, которого он давать ему и не думал.

Надо взять в соображение, что, кроме той части общества, которая действовала на различных поприщах официальной и публичной жизни и на которую, за немногими исключениями, передовые люди того времени и проводившиеся ими идеи имели весьма ограниченное влияние, в большинстве возбуждая даже злобу и ненависть, — кроме этой части общества выдвигалась на жизненную арену другая публика, новое общество, только еще готовившееся действовать. Я говорю про молодежь того времени, молодежь преимущественно недостаточную, даже бедную, трудившуюся и учившуюся в одно и то же время. Вот эта-то новая публика с жадностью ловила каждую подробность из жизни любимого писателя, и вот на эту-то публику, к слову сказать, литература сороковых годов имела огромное и благотворное влияние. Помню и эти годы, помню, сколько знакомых обежишь, бывало, во сколько кондитерских забежишь в первых числах месяца, чтоб только иметь возможность прочитать вышедшую в свет новую книжку «Отечественных записок». С каким терпением, с какою страстною тоской сидишь, бывало, часа два-три в кондитерской, медленно прихлебывая холодный чай в ожидании, пока освободится заветная книжка... И когда попадется она в руки, прежде всего, разумеется, с жадностью читаешь статьи Белинского, узнававшиеся каким-то чутьем, если можно так выразиться, так как Белинский под статьями не подписывался*. Помню также, какое торжество бывало, когда учитель словесности, довольный учениками, приносит книжку «Отечественных записок» со статьей Белинского! Как береглась эта книжка! Сколько раз перечитывалась!.. Какую энергию и жажду к труду возбуждали рассказы о труженнической, почти мученической жизни Белинского... Его неутомимая деятельность, несмотря на всевозможные препятствия, его твердость в перенесении различных невзгод, преследований и физических болезней, его страстная, гуманная, нежная душа, сквозившая в статьях, имели чарующее влияние на молодые, восприимчивые сердца... Это влияние на многих осталось на всю жизнь... Многих знаю я, которые до сих пор, уже потертые, помятые жизнью, без умиления не могут произнести имени Белинского и продолжают честно трудиться во имя его... Мне кажется, литераторы еще мало знают о размере влияния Белинского на ту часть среднего, образованного общества, которое в литературе не высказывается, мемуаров о себе не ведет и вообще таит про себя свои сокровенные убеждения, руководясь только ими в своих действиях на жизненном

поприще. Возвращаюсь к Гоголю. Я лично, при встречах с ним, не заметил в нем ни проявлений колоссальной гордости, ни признаков самообожания, — скорее в нем замечались робость, неуверенность, какая-то нерешительность как в суждениях о каком-нибудь предмете, так и в сношениях с людьми… Слабости к аристократическим знакомствам в это время в нем тоже не было заметно… Сколько мне случалось видеть, с людьми наименее значащими Гоголь сходился скорее, проще, был более самим собою, а с людьми, власть имеющими, застегивался на все пуговицы.

Жил Гоголь в Одессе, за Сабанеевым мостом, в доме <А. А.> Трощинского, где мне привелось быть у него всего один раз. Выходил он из дому, по его собственным словам, не ранее четвертого часа и гулял до самого обеда. Из его же слов знаю, что он часто посещал семейства: князей Репнина и Д. И. Гагарина.

Постоянный костюм Гоголя состоял из темнокоричневого сюртука с большими бархатными лацканами; жилет из темной с разводами материи и черных брюк; на шее красовался или шарф с фантастическими узорами, или просто обматывалась черная шелковая косынка, зашпиленная крест-накрест обыкновенной булавкой; иногда на галстук выпускались отложные, от сорочки, остроугольные воротнички. Шинель коричневая, на легкой вате, с бархатным воротником. В морозные дни енотовая шуба. Шляпа-цилиндр с конусообразной тульей. Перчатки черные. Голос был у Гоголя мягкий, приятный; глаза проницательные… Впрочем, наружность его известна. За несколько дней до отъезда Гоголя из Одессы, на второй или на третьей неделе великого поста, постоянные собеседники Гоголя у Оттона давали ему там же прощальный обед. День выдался солнечный, и Гоголь пришел веселый. Поздоровавшись со всеми, он заметил, что недостает одного из самых заметных, постоянных его собеседников — Ильина. «Где же Николай Петрович?» — спросил Гоголь у Соколова. «Да ночью ему что-то попритчилось… захворал… шибко хватило, и теперь лежит».

Внезапная болезнь Ильина, видимо, произвела дурное впечатление на Николая Васильевича, и хотя он старался быть и любезным и разговорчивым, но это ему не удавалось. Рассеянность и задумчивость, в которые он часто погружался, сообщились и остальному обществу, и потому обед прошел довольно грустно. После обеда Гоголь предложил пойти навестить Ильина. Все охотно согласились и отправились всей компанией. Ильина нашли уже выздоравливающим. Гоголь сказал ему несколько сочувственных слов и тут же хотел распрощаться со всеми нами; но мы единодушно выразили желание проводить его до дому. Вышли вместе. Гоголь был молчалив, задумчив и на половине дороги к дому, на Дерибасовской улице, снова стал прощаться… никто не решился настаивать на дальнейших проводах. Гоголь на прощанье

подтвердил данное прежде обещание: на следующую зиму приехать в Одессу. «Здесь я могу дышать. Осенью поеду в Полтаву, а к зиме и сюда... Не могу переносить северных морозов... весь замерзаю и физически и нравственно!!» Простился с каждым тепло; но и он, и каждый из нас, целуясь прощальным поцелуем, были как-то особенно грустны... Гоголь пошел, а мы молча стояли на месте и смотрели ему вслед, пока он не завернул за угол. Не суждено нам было более его видеть. Через год Гоголя не стало.

О. М. Бодянский. Из дневников*

1

12-го мая <1850>. Наконец я собрался к Н. В. Гоголю. Вечером в часов девять отправился к нему, в квартиру графа Толстого, на Никитском бульваре, в доме Талызиной. У крыльца стояли чьи-то дрожки. На вопрос мой: «Дома ли Гоголь?», лакей отвечал, запинаясь: «Дома, но наверху у графа». — «Потрудись сказать ему обо мне». Через минуту он воротился, прося зайти в жилье Гоголя, внизу, в первом этаже, направо, две комнаты. Первая вся устлана зеленым ковром, с двумя диванами по двум стенам (первый от дверей налево, а второй за ним, по другой стене); прямо печка с топкой, заставленной богатой гардинкой зеленой тафты (или материи) в рамке; рядом дверь у самого угла к наружной стене, ведущая в другую комнату, кажется, спальню, судя по ширмам в ней, на левой руке; в комнате, служащей приемной, сейчас описанной, от наружной стены поставлен стол, покрытый зеленым сукном, поперек входа к следующей комнате (спальне), а перед первым диваном тоже такой же стол. На обоих столах несколько книг кучками одна на другой: тома два «Христианского чтения», «Начертание церковной библейской истории», «Быт русского народа», экземпляра два греко-латинского словаря (один Гедеринов), словарь церковно-русского языка, библия в большую четвертку московской новой печати, подле нее молитвослов киевской печати, первой четверти прошлого века; на втором столе (от внешней стены), между прочим, сочинения Батюшкова в издании Смирдина «русских авторов», только что вышедшие, и проч. Минут через пять пришел Гоголь, извиняясь, что замешкал.

— Я сидел с одним старым знакомым, — сказал он, — недавно приехавшим, с которым давно уже не виделся.

— Я вас не задержу своим посещением.

— О, нет, мы посидим, сколько угодно вам. Чем же вас подчевать?

— Решительно ничем.

— Чаем?..

— Его я не пью никогда. Пожалуйста, не беспокойтесь нимало: я не пью ничего, кроме воды.

— А, так позвольте же угостить вас водицей содовой?..

Тотчас лакей принес бутылку, которую и опорожнил в небольшой стакан.

— Несколько раз собирался я к вам, но все что-нибудь удерживало. Сегодня, наконец, улучил досуг и завернул к вам, полагая, что если и не застану вас, то оставлю вам билетец, чтобы знали вы, что я был-таки в вашей обители.

— Да, подхватил он, чтобы знали, что я был у вас. Сегодня слуга мой говорит мне, что ко мне, около обеденной поры, какая-то старушка заходила и три раза просила передать мне, что вот она у меня была; а теперь я слышу, что она уже покойница. «Да, скажи же Николаю Васильевичу, пожалуйста, скажи, что была у него; была нарочно повидаться с ним». Вероятно, бедненькая, уставши от ходьбы, изнемогла под бременем лет, воротившись в свою светелку, кажется на третьем этаже»*.

Разговаривая далее, речь коснулась литературы русской, а тут и того обстоятельства, которое препятствует на Москве иметь свой журнал; «Москвитянина» давно уже никто не считает журналом, а нечто особенным. «Хорошо бы вам взяться за журнал; вы и опытны в этом деле, да и имеете богатый запас от «Чтений»* — Книжек на 11–12 вперед; только для того нужно, прежде всего, к тому, что у меня, кое-что, без чего никакой журнал не может быть.

— Понимаю, — капитал.

— Года на три вперед, чтобы действовать наверное.

— Конечно, но тогда успех не подлежит сомнению. — Вы бы собрали вокруг себя снова делателей?

— Думаю. Кто за деньги не станет работать, если работали у меня и без денег? Уверен, все пишущее ныне в Петербурге писало бы мне, исключая разве двух-трех неизменных копий питерских предпринимателей. Особливо это вероятно тогда, когда бы плата превышала петербургскую заработку; много значит получить ее на месте, непосредственно, спустя неделю, две после набора статьи, нежели ждать, пока выйдет в Питере книжка, а там когда-то приказано будет уплатить комиссионеру причитающееся поставщику.

— Для большего успеха отечественного нужно, чтобы в журнале было как можно больше своего, особенно материалов для истории, древностей и т. п., как это в ваших «Чтениях». Еще больше. Это были бы те же

«Чтения», только с прибавкой одного отдела, именно «Изящная словесность», который можно было бы поставить спереди или сзади и в котором бы помещалось одно лишь замечательное, особенно по части иностранной литературы (за неимением современного, и старое шло бы). И притом так, чтобы избегать, как можно, немецкого педантства в подразделениях. Чем объемистее какой отдел, тем свободнее издатель, избавленный от кропотливых забот отыскивать статьи для наполнения клеток своего журнала, из коих многие никогда бы без того не были напечатаны.

— Разумеется.

Перед отходом спросил я, где он хочет провести лето?..

— Мне хотелось бы пробраться в Малороссию свою, потом на осень воротиться к вам, зиму провести где-либо потеплее, а на весну снова к вам.

— Что же, вам худо было у нас этой зимой?..

— И очень. Я зяб страшно, хотя первый год чувствовал себя очень хорошо.

— По мне, если не хотите выезжать за границу, лучше всего в Крыму.

— Правда, и я собираюсь попытаться это сделать в следующую зиму.

— Но и там скучно. Говорят, что на южном берегу с недавнего времени стали многие проводить зиму.

— За границу мне бы не хотелось, тем более, что там нет уже тех людей, к которым я привык, все они разбежались.

— Но если придется вам непременно ехать туда, разумеется снова в Рим?

— Нет, там в последнее время было для меня уже холодновато, скорее всего в Неаполь; в нем проводил бы я зиму, а на лето попрежнему убирался бы куда-нибудь на север, на воды или к морю. Купанье морское мне очень хорошо.

Прощаясь, он спросил меня, буду ли я на варениках? «Если что-либо не помешает». Под варениками разумеется обед у С. Тим. Аксакова по воскресеньям, где непременным блюдом были всегда вареники для трех хохлов: Гоголя, М. А. Максимовича и меня, а после обеда, спустя час, другой, песни малороссийские под фортепьяно, распеваемые второю дочерью хозяина, Надеждою Сергеевною, голос которой очень мелодический. Обыкновенно при этом Максимович подпевал. Песни пелись по «голосам малороссийских песен», изданных Максимовичем, и кой-каким другим сборникам (Вацлава из Олеска, где голоса на

фортепьяно положены известным музыкантом Липинским)[*], принесенным мною.

Почти выходя, Гоголь сказал, что ныне как-то разучиваются читать; что редко можно найти человека, который бы не боялся толстых томов какого-нибудь дельного сочинения; больше всего теперь у нас развелось *щелкоперов* — слово, кажется, любимое им и часто употребляемое в подобных случаях...

2

31-го октября[*]*<1851>*. Вечер у Аксакова с г. Погорецким, штаб-лекарем в 6-м пехотном корпусе (родом из-под Василькова, Киевской губернии, и моим старым знакомым) и Г. П. Данилевским, тоже малороссом (из Екатеринославской губернии), служащим чиновником при товарище министра народного просвещения (Норове); пение разных малороссийских песен, к чему приглашены были Гоголем, с коим я познакомил Данилевского[*]. Перед началом Гоголь, пришедший в восемь часов, вечером, при разговоре между прочим заметил, что первую идею к «Ревизору» его подал ему Пушкин, рассказав о Павле Петровиче Свиньине, как он из Бессарабии, выдавал себя за какого-то петербургского важного чиновника, и только зашедши уж далеко (стал было брать прошения от колодников), был остановлен. «После слышал я, — прибавил он, — еще несколько подобных проделок, например о каком-то Волкове»...

3

Ноября 6 <1852>. В бытность у А. П. Елагиной слышал я вместе с К<улишом>, что Гоголь просил ее и еще кого-то принять на себя труд — те деньги, которые выручат за последнее издание его сочинений, раздать бедным. Вечером читал с П. А. Кулишем статью <Г. П.> Данилевского, помещенную в 12 № «Московских ведомостей» под заглавием «Хутор близ Диканьки». В ней исправил все неверности и промахи, а также по поводу ее вошел в некоторые подробности о последнем моем свидании с Гоголем, что все записано было Кулишом, со слов моих, для составления особой статьи в ответ Данилевскому и В. П. Г<аев>скому на его «Заметки для биографии Гоголя», помещенные в «Современнике» 1852 года, книга X[328*]...

Января 31-го дня <1854>. П. А. Кулиш, бывши у М. С. Щепкина с письмом от молодого Маркевича, А. Н. (сына историка Малороссии), которого Щепкин очень ценит, как отличного музыканта, между прочим сказал, что М. С. на слова его: «Я приехал просить у вас позволения прочесть вам несколько отрывков из биографии Н. В. Гоголя, память которого для вас, как короткого его знакомого и почитателя, должна быть, конечно, драгоценна; а мне не хотелось бы сказать что-нибудь такого, что было бы не так или неприятно вам», — рассказал тотчас следующее. Когда покойный Гоголь напечатал свой «Рим» в

«Москвитянине»[*], то, по условию, выговорил себе у Погодина двадцать оттисков, но тот, по обыкновению своему, не оставил, сваливая вину на типографию. Однако Гоголь непременно хотел иметь их, обещав наперед знакомым по оттиску. И потому, настаивая на своем, сказал, разгорячаясь мало-помалу: «А если вы договора не держите, так прикажите вырвать из своего журнала это число оттисков». — «Но как же, — заметил издатель, — ведь тогда я испорчу двадцать экземпляров?» — «А мне какое дело до этого?… Впрочем, хорошо: я согласен вам за них заплатить, — прибавил Гоголь, подумав немного, — только чтоб непременно было мне двадцать экземпляров моей статьи, слышите? двадцать экземпляров!» Тут я увел его в его комнату, наверх, где сказал ему: «Зачем вам бросать эти деньги так на ветер? Да за двадцать целковых вам наберут вновь вашу статью». — «В самом деле? — спросил он с живостью. — Ах, вы не знаете, что значит иметь дело с кулаком». — «Так зачем же вы связываетесь с ним?» — подхватил я. «Затем, что я задолжал ему шесть тысяч рублей ассигнациями: вот он и жмет меня. Терпеть не могу печататься в журналах, — нет, вырвал-таки у меня эту статью! И что же, как же ее напечатал? Не дал даже выправить хоть в корректуре. Почему уж это так, он один это знает!» — «Ну, подумал я, — прибавил тут Щепкин, — потому это так, что иначе он и не сумеет: это его природа делать все, как говорится, тяп да ляп»…

Г. П. Данилевский. Знакомство с Гоголем[*]

(Из литературных воспоминаний)

I

Впервые в жизни я увидел Гоголя за четыре месяца до его кончины.

Это случилось осенью в 1851 году. Находясь тогда, в конце октября, в Москве, с служебным поручением бывшего в то время товарищем министра народного просвещения А. С. Норова, я получил от старого своего знакомого, покойного московского профессора О. М. Бодянского, записку, в которой он извещал меня, что один из наших земляков-украинцев, г. А-й, которого перед тем я у него видел, предполагал петь малорусские песни у Гоголя и что Гоголь, узнав, что и у меня собрана коллекция украинских народных песен, с нотами, просил Бодянского пригласить к себе и меня.

Нежданная возможность выпавшего мне на долю свидания с великим писателем сильно меня обрадовала. Автор «Мертвых душ» находился в то время на верху своей славы, и мы, тогдашняя молодежь (мне в то время было двадцать два года), питали к нему безграничную любовь и преданность. У меня с детства не выходило из головы добродушное обращение к читателям пасечника Рудого Панька. «Когда кто из вас будет в наших краях, — писал в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» веселый пасечник, — то заверните ко мне; я вас напою удивительным грушевым квасом».

Это забавное приглашение, как я помню, необыкновенно заняло меня в деревне моей бабки, где ее слуга Абрам, учившийся перед тем в Харькове переплетному мастерству и потому знавший грамоте, впервые прочел мне, шестилетнему мальчику, украинские повести Гоголя; но я не мог принять приглашения Рудого Панька. В 1835 году у меня был один только конь — липовая ветка, верхом на которой я гарцовал по саду, и в то время я отлучался из родного дома не далее старой мельницы, скрип тяжелых крыльев которой слышался с выгона в моей детской комнате.

Я тогда был в полной и искренней уверенности, что на свете, действительно, где-то, в сельской, таинственной глуши, существует старый пасечник, рудый, т. е. рыжий Панько, и что он, в длинные зимние вечера, сидит у печи и рассказывает свои увлекательные сказки. Перед моим воображением живо развертывалась дивная история «Красной свитки», проходила бледная утопленница «Майской ночи» и на высотах Карпатских гор вставал грозный мертвый всадник «Страшной мести».

А теперь, в 1851 году, мне предстояло увидеть автора не только «Вечеров на хуторе», но и «Мертвых душ» и «Ревизора».

В назначенный час я отправился к О. М. Бодянскому, чтобы ехать с ним к Гоголю. Бодянский тогда жил у Старого Вознесения на Арбате, на углу Мерзляковского переулка, в доме ныне Е. С. Мещерской, № 243. Он встретил меня словами: «Ну, земляче, едем; вкусим от благоуханных, сладких сотов родной украинской музыки». Мы сели на извозчичьи дрожки и поехали по соседству на Никитский бульвар, к дому Талызина, где, в квартире гр. А. П. Толстого, в то время жил Гоголь. Теперь* этот дом, № 314, принадлежит Н. А. Шереметевой. Он не перестроен, имеет, как и тогда, шестнадцать окон во двор и пять на улицу, в два этажа, с каменным балконом на колоннах во двор.

Было около полудня. Радость предстоявшей встречи несколько, однако, затемнялась для меня слухами, которые в то время ходили о Гоголе, по поводу изданной незадолго перед тем его известной книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Я невольно припоминал злые и ядовитые нападки, которыми тогдашняя руководящая критика преследовала эту книгу. Белинский в ту пору был нашим кумиром, а он первый бросил камнем в Гоголя за его «Переписку с друзьями». По рукам в Петербурге ходило в списках его неизданное письмо к Гоголю, где знаменитый критик горячо и беспощадно бичевал автора «Мертвых душ», укоряя его в измене долгу писателя и гражданина.

Хотя обвинения Белинского для меня смягчались в кружке тогдашнего ректора Петербургского университета П. А. Плетнева, друга Пушкина и Жуковского, отзывами иного рода, тем не менее я и мои

товарищи-студенты, навещавшие Плетнева, не могли вполне отрешиться от страстной и подкупающей своим красноречием критики Белинского. Плетнев, защищая Гоголя, делал что мог. Он читал нам, студентам, письма о Гоголе живших в то время в чужих краях Жуковского и князя Вяземского, объяснял эти письма и советовал нам, не поддаваясь нападкам врагов Гоголя, самостоятельно решить вопрос, прав ли был Гоголь, издавая то, о чем он счел долгом открыто высказаться перед родиной? — «Его зовут фарисеем и ренегатом, — говорил нам Плетнев, — клянут его, как некоего служителя мрака и лжи, оглашают его, наконец, чуть не сумасшедшим... И за что же? За то, что, одаренный гением творчества, родной писатель-сатирик дерзнул глубже взглянуть в собственную свою душу, проверить свои сокровенные помыслы и самостоятельно, никого не спросясь, открыто о том поведать другим... Как смел он, создатель Чичикова, Хлестакова, Сквозника и Манилова, пойти не по общей, а по иной дороге, заговорить о духовных вопросах, о церкви, о вере? В сумасшедший дом его! Он — помешанный!» — Так говорил нам Плетнев.

Молва о помешательстве Гоголя, действительно, в то время была распространена в обществе. Говорили странные вещи: будто Гоголь окончательно отрекся от своего писательского призвания, будто он постится по целым неделям, живет, как монах, читает только ветхий и новый завет и жития святых и, душевно болея и сильно опустившись, относится с отвращением не только к изящной литературе, но и к искусству вообще.

Все эти мысли, по поводу Гоголя, невольно проносились в моей голове в то время, когда извозчичьи дрожки по Никитскому бульвару везли Бодянского и меня к дому Талызина. Одно меня несколько успокаивало: Гоголь пригласил к себе певца-малоросса, этот певец должен был у него петь народные украинские песни, — следовательно, думал я, автор «Мертвых душ» не вполне еще стал монахом-аскетом, и его душе еще доступны произведения художественного творчества.

Въехав в каменные ворота высокой ограды, направо, к балконной галлерее дома Талызина, мы вошли в переднюю нижнего этажа. Старик-слуга графа Толстого приветливо указал нам дверь из передней направо.

— Не опоздали? — спросил Бодянский, обычною своею, ковыляющею походкой проходя в эту дверь.

— Пожалуйте, ждут-с! — ответил слуга.

Бодянский прошел приемную и остановился перед следующею, затворенною дверью в угольную комнату, два окна которой выходили во двор и два на бульвар. Я догадывался, что это был рабочий кабинет Гоголя. Бодянский постучался в дверь этой комнаты.

— Чи дома, брате Миколо? — спросил он по-малорусски.

— А дома ж, дома! — негромко ответил кто-то оттуда.

Сердце у меня сильно забилось. Дверь растворилась. У ее порога стоял Гоголь.

Мы вошли в кабинет. Бодянский представил меня Гоголю, сказав ему, что я служу при Норове и что с ним, Бодянским, давно знаком через Срезневского и Плетнева.

— А где же наш певец? — спросил, оглядываясь, Бодянский.

— Надул, к Щепкину поехал на вареники! — ответил с видимым неудовольствием Гоголь. — Только что прислал извинительную записку, будто забыл, что раньше нас дал слово туда.

— А может быть, и так! — сказал Бодянский. — Вареники не свой брат.

Что еще при этом некоторое время говорили Гоголь и Бодянский я тогда, кажется, не слышал и почти не сознавал. Ясно помню одно, что я не спускал глаз с Гоголя.

Мои опасения рассеялись. Передо мной был не только не душевнобольной или вообще свихнувшийся человек, а тот же самый Гоголь, тот же могучий и привлекательный художник, каким я привык себе воображать его с юности.

Разговаривая с Бодянским, Гоголь то плавно прохаживался по комнате, то садился в кресло к столу, за которым Бодянский и я сидели на диване, и изредка посматривал на меня. Среднего роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица, он был одет в темнокоричневое длинное пальто и в темнозеленый бархатный жилет, наглухо застегнутый до шеи, у которой, поверх атласного черного галстука, виднелись белые, мягкие воротнички рубахи. Его длинные каштановые волосы прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие, темные, шелковистые усики чуть прикрывали полные, красивые губы, под которыми была крохотная эспаньолка. Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно и не улыбаясь даже тогда, когда он говорил что-либо веселое и смешное. Длинный, сухой нос придавал этому лицу и этим, сидевшим по его сторонам, осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее и вместе добродушно-горделивое. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты.

Гоголь в то время, как я отлично помню, был очень похож на свой портрет, писанный с него в Риме, в 1841 году, знаменитым Ивановым. Этому портрету он, как известно, отдавал предпочтение перед другими.

Успокоясь от невольного, охватившего меня смущения, я стал понемногу вслушиваться в разговор Гоголя с Бодянским.

— Надо, однакоже, все-таки вызвать нашего Рубини, — сказал Гоголь, присаживаясь к столу. — Не я один, и Аксаковы хотели бы его послушать... особенно Надежда Сергеевна.

— Устрою, берусь, — ответил Бодянский, — если только тут не другая причина и если наш земляк от здешних угощений не спал с голоса... А что это у вас за рукописи? — спросил Бодянский, указывая на рабочую, красного дерева, конторку, стоявшую налево от входных дверей, за которою Гоголь, перед нашим приходом, очевидно, работал стоя.

— Так себе, мараю по временам! — небрежно ответил Гоголь.

На верхней части конторки были положены книги и тетради; на ее покатой доске, обитой зеленым сукном, лежали раскрытые, мелко исписанные и перемаранные листы.

— Не второй ли том «Мертвых душ»? — спросил, подмигивая, Бодянский.

— Да... иногда берусь, — нехотя проговорил Гоголь, — но работа не подвигается; иное слово вытягиваешь клещами.

— Что же мешает? У вас тут так удобно, тихо.

— Погода, убийственный климат! Невольно вспоминаешь Италию, Рим, где писалось лучше и так легко. Хотел было на зиму уехать в Крым, к <Вл. Макс> Княжевичу[*], там писать, думал завернуть и на родину, к своим, — туда звали на свадьбу сестры, Елизаветы Васильевны...

Ел. В. Гоголь тогда вышла замуж за саперного офицера <Вл. И.> Быкова.

— Зачем же дело стало? — спросил Бодянский.

— Едва добрался до Калуги и возвратился. Дороги невозможные, простудился; да и времени пришлось бы столько потратить на одни переезды. А тут еще затеял новое полное издание своих сочинений.

— Скоро ли оно выйдет?

— В трех типографиях начал печатать, — ответил Гоголь, — будет четыре больших тома. Сюда войдут все повести, драматические вещи и обе части «Мертвых душ». Пятый том я напечатаю позже, под заглавием «Юношеские опыты». Сюда войдут некоторые журнальные статьи, статьи из «Арабесок» и прочее[*].

— А «Переписка»? — спросил Бодянский.

— Она войдет в шестой том; там будут помещены письма к близким и родным, изданные и неизданные... Но это уже, разумеется, явится... после моей смерти.

Слово «смерть» Гоголь произнес совершенно спокойно, и оно тогда не прозвучало ничем особенным, ввиду полных его сил и здоровья.

Бодянский заговорил о типографиях и стал хвалить какую-то из них. Речь коснулась и Петербурга.

— Что нового и хорошего у вас, в петербургской литературе? — спросил Гоголь, обращаясь ко мне.

Я ему сообщил о двух новых поэмах тогда еще молодого, но уже известного поэта Ап. Ник. Майкова, «Савонаролла» и «Три смерти». Гоголь попросил рассказать их содержание. Исполняя его желание, я наизусть прочел выдержки из этих произведений, ходивших тогда в списках*.

— Да это прелесть, совсем хорошо! — произнес, выслушав мою неумелую декламацию, Гоголь. — Еще, еще...

Он совершенно оживился, встал и опять начал ходить по комнате. Вид осторожно-задумчивого аиста исчез. Передо мною был счастливый, вдохновенный художник. Я еще прочел отрывки из Майкова.

— Это так же законченно и сильно, как терцеты Пушкина, во вкусе Данта, — сказал Гоголь. — Осип Максимович, а? — обратился он к Бодянскому. — Ведь это праздник! Поэзия не умерла. Не оскудел князь от Иуды и вождь от чресл его... А выбор сюжета, а краски, колорит? Плетнев присылал кое-что, я и сам помню некоторые стихи Майкова.

Он прочел, с оригинальною интонацией, две начальные строки известного стихотворения из «Римских очерков» Майкова:

Ах, чудное небо, ей-богу, над этим классическим Римом!

Под этаким небом невольно художником станешь!

— Не правда ли, как хорошо? — спросил Гоголь.

Бодянский с ним согласился.

— Но то, что вы прочли, — обратился ко мне Гоголь, — это уже иной шаг. Беру с вас слово — прислать мне из Петербурга список этих поэм.

Я обещал исполнить желание Гоголя.

— Да, — продолжал он, прохаживаясь, — я застал богатые всходы...

...Вторично я увидел Гоголя вскоре после первого с ним свидания, а именно, 31-го октября. Повод к этому подала новая моя встреча у Бодянского с украинским певцом и полученное мною вслед за тем от Бодянского нижеследующее письмо, сохраненное у меня в целости, как и другие, нижеприводимые письма.

«30-го октября, 1851 года, вторник.

Извещаю вас, что земляк, с которым вы на-днях виделись у меня, поет и теперь, и охотно споет нам у Гоголя. Я писал этому последнему; только пение он назначил не у себя, а у Аксаковых, которые, узнав об этом, упросили его на такую уступку. Если вам угодно, пожалуйте ко мне завтра, часов в 6 вечера; мы отправимся вместе. Ваш О. Б.»

В назначенный вечер, 31-го октября, Бодянский, получив приглашение Аксаковых, привез меня в их семейство, на Поварскую. Здесь он представил меня седому, плотному господину, с бородой и в черном, на крючках, зипуне, знаменитому автору «Семейной хроники», Сергею Тимофеевичу Аксакову; его добродушной, полной и еще бодрой жене, Ольге Семеновне; их молодой и красивой, с привлекательными глазами дочери, девице Надежде Сергеевне, и обоим их сыновьям, в то время уже известным писателям-славянофилам, Константину и Ивану Сергеевичам. О моем дальнейшем знакомстве с этою замечательною литературного семьей я расскажу когда-нибудь в другое время. Здесь же ограничусь рассказом только о том, что касается моих встреч с Гоголем.

Гоголь в назначенный вечер приехал к Аксаковым значительно позже Бодянского и меня. До его приезда С. Т. Аксаков и его сыновья, разговорясь со мною о Петербурге, расспрашивали о Норове, Плетневе, Срезневском и других знакомых им писателях. Все посматривали на дверь, ожидая Гоголя и приглашенного певца. Ни тот, ни другой еще не являлись. Пока Бодянский говорил со стариками, ко мне подсел Иван Сергеевич. Сообщив ему о моем заезде с Бодянским к Гоголю, я спросил его, что слышно о втором томе «Мертвых душ», который всех тогда занимал. И. С. Аксаков ответил мне, что в начале октября Гоголь был у них в деревне, Абрамцеве, под Сергиевской лаврой, где читал отрывки из этого тома их отцу и потом Шевыреву, но взял с них обоих слово не только никому не говорить о прочитанном, но даже не сообщать предмета картин и имен выведенных им героев.

— Батюшка нам передавал одно, — прибавил И. С. Аксаков, — что эта часть поэмы Гоголя по содержанию, по обработке языка и выпуклости характеров показалась ему выше всего, что доныне написано Гоголем. Надо думать, что Чичиков, в конце этой части, вероятно, попадет за новые проделки в ссылку в Сибирь, так как Гоголь у нас и у Шевырева взял много книг с атласами и чертежами Сибири. С весны он затевает большое путешествие по России; хочет на многое взглянуть самолично,

собственными глазами, назвучаться русскими звуками, русскою речью и затем уже снова выступить на литературной сцене, с своими новыми образами. Все твердит: «жизнь коротка, не успею»; встает рано, с утра берется за перо и весь день работает; ночью, в одиннадцать часов, уже в постели.

— Мы видели у него груду исписанных бумаг, — сказал я.

— Он марает целые дести, — сказал И. С. Аксаков, — переделывает, пишет и опять обрабатывает; как живописец с кистью, то подойдет и смотрит вблизи, то отходит и вглядывается, не бросается ли какая-либо частность слишком резко в глаза? Его только смущают несправедливые нападки.

— За «Переписку с друзьями»? — спросил я.

— Да, эти злобные клеветы, будто он возгнушался искусством, считает его низким и бесполезным! Вы его видели — это ли не истинный, преданный долгу художник? А его чуть не в глаза называли, за его душевную исповедь, изменником, обманщиком, приписывали ему низкие и подлые цели. Жалкая, оторванная от родной почвы кучка западников-либералов! Им чужда Россия, чужд ее своеобразный, верящий народ*.

Подошел старик Аксаков. Он передал, что Гоголь все ждет от него живых «птиц», говоря, что и свои «души» он постарается сделать столь же живыми. Подъехал, наконец, Гоголь. Любезно поздоровавшись и пошутив насчет нового запоздания певца, он, после первого стакана чаю, сказал Над. С. Аксаковой: «Не будем терять дорогого времени», я просил ее спеть. Она очень мило и совершенно просто согласилась. Все подошли к роялю. Н. С. Аксакова развернула тетрадь малорусских песен, из которых некоторые были ею положены на ноты, с голоса самого Гоголя.

— Что спеть? — спросила она.

— «Чоботы», — ответил Гоголь.

Н. С. Аксакова спела «Чоботы», потом «Могилу», «Солнце низенько» и другие песни.

Гоголь остался очень доволен пением молодой хозяйки, просил повторять почти каждую песню и был вообще в отличном расположении духа. Заговорили о малорусской народной музыке вообще, сравнивая ее с великорусскою, польскою и чешскою. Бодянский все посматривал на дверь, ожидая появления приглашенного им певца.

Помню, что спели какую-то украинскую песню даже общим хором. Кто-то в разговоре, которым прерывалось пение, сказал, что кучер

Чичикова, Селифан, участвующий, по слухам, во втором томе «Мертвых душ», в сельском хороводе, вероятно, пел и только что исполненную песню. Гоголь, взглянув на Н. С. Аксакову, ответил с улыбкой, что несомненно Селифан пел и «Чоботы», и даже при этом лично показал, как Селифан высокоделикатными, кучерскими движениями, вывертом плеча и головы, должен был дополнять, среди сельских красавиц, свое «заливисто-фистульное» пение. Все улыбались, от души радуясь, что знаменитый гость был в духе. Но не прошло после того и десяти минут, Гоголь вдруг замолк, насупился, и его хорошее настроение бесследно исчезло. Усевшись в стороне от чайного стола, он как-то весь вошел в себя и почти уже не принимал участия в общей, длившейся беседе. Это меня поразило. Зная его обычай, Аксаковы не тревожили его обращениями к нему и, хотя видимо были смущены, покорно ждали, что он снова оживится.

Что вызвало в Гоголе эту нежданную перемену в его настроении, новая ли, непростительная небрежность приглашенного певца, который и в этот вечер так и не явился, или случайное напоминание в дорогой ему семье о неконченной и мучившей его второй части «Мертвых душ», — не знаю. Только Гоголь пробыл здесь еще с небольшим полчаса, посидел молча, как бы сквозь дремоту прислушиваясь к тому, о чем говорили возле него, встал и взял шляпу.

— В Америке обыкновенно посидят, посидят, — сказал он, через силу улыбаясь, — да и откланиваются.

— Куда же вы, Николай Васильевич, куда? — всполошились хозяева.

— Насладившись столь щедрым пением обязательного земляка, — ответил он, — надо и во-свояси. Нездоровится что-то. Голова — как в тисках.

Его не удерживали.

— А вы долго ли еще здесь пробудете? — спросил Гоголь, обратившись, на пути к двери, ко мне.

— Еще с неделю, — ответил я, провожая его с Бодянским и И. С. Аксаковым.

— Вы, по словам Осипа Максимовича, перевели драму Шекспира «Цимбелин». Кто вам указал на эту вещь?

— Плетнев.

— Узнаю его... «Цимбелин» был любимою драмой Пушкина; он ставил его выше «Ромео и Юлии».

Гоголь уехал.

— Вот и ваш певец! Это он причиной! — напустились дамы на Бодянского. — Второй раз не сдержал слова.

Бодянский не оправдывал земляка.

— Действительно, из рук вон, даже вовсе грубо и неприлично! — сказал он с сердцем. — То я винил Щепкина и его вареники; а тут, вижу, нечто иное, — затесался, вероятно, в какую-нибудь невозможную компанию… Я же ему задам!…

На другой день после этого вечера тогдашний сотрудник «Москвитянина» Н. В. Берг пригласил меня, от имени С. П. Шевырева, на вечер к последнему. Здесь зашла опять речь о Гоголе, и Шевырев сообщил, что Гоголь, оставшись на-днях недоволен игрою некоторых московских актеров в «Ревизоре», предложил, по совету Щепкина, лично прочесть главные сцены этой комедии Шумскому, Самарину и другим артистам.

Прошло еще два дня. Я уже со всеми простился и собирался уехать из Москвы, когда получил от Бодянского следующее письмо:

«4-го ноября, 1851 года, воскресенье. Мне поручили просить вас завернуть к Аксаковым. Они имеют к вам просьбу о доставке одного письма к кому-то в Малороссию. Ваш весь — О. Б.». К этому письму, доставленному мне слугою Аксаковых, была приложена следующая записка, писанная в третьем лице Н. С. Аксаковою, от имени ее матери: «Ольга Семеновна Аксакова, узнав, что г. Данилевский еще в Москве, просит его очень заехать к ней, если только у него есть свободная минута». Я ответил Бодянскому, что уезжаю 6-го ноября и что завтра постараюсь быть в назначенное время у О. С. Аксаковой.

Вечером 5-го ноября, в понедельник, я подъехал на Поварскую к квартире Аксаковых. Вышедший на мой звонок слуга объявил, что О. С. Аксакова очень извиняется, так как по нездоровью не может меня принять, а просит, от имени Сергея Тимофеевича и Ивана Сергеевича, пожаловать к Гоголю, куда они оба только что уехали и куда, по желанию Гоголя, они приглашают и меня. «Что же там?» — спросил я слугу. «Чтение какое-то». Я вспомнил слова Шевырева о предположенном чтении «Ревизора» и, от души обрадовавшись случаю не только снова увидеть Гоголя, но и услышать его чтение, поспешил на Никитский бульвар.

Это чтение описано И. С. Тургеневым, в отрывках из его литературных воспоминаний. В описание И. С. Тургенева вкрались некоторые неверности, особенно в изображении Гоголя, на которого он в то время глядел, очевидно, глазами тогдашней, враждебной Гоголю и дружеской ему самому критики. Он не только в лице Гоголя усмотрел нечто хитрое, даже лисье, а под его «остриженными» усами — ряд «нехороших зубов»,

чего в действительности не было, но даже уверяет, будто в ту пору Гоголь «в своих произведениях рекомендовал хитрость и лукавство раба». Вечер чтения он, также ошибочно, отнес к 22 октября; оно, как удостоверяют сохраненные у меня письма, было 5 ноября.

Чтение «Ревизора» происходило во второй комнате квартиры гр. А. П. Толстого, влево от прихожей, которая отделяла эту квартиру от помещения самого Гоголя.

Стол, вокруг которого на креслах и стульях уселись слушатели, стоял направо от двери, у дивана, против окон во двор. Гоголь читал, сидя на диване. В числе слушателей были: С. Т. и И. С. Аксаковы, С. П. Шевырев, И. С. Тургенев, Н. В. Берг и другие писатели, а также актеры М. С. Щепкин, П. М. Садовский и Шумский. Никогда не забуду чтения Гоголя. Особенно он неподражаемо прочел монологи Хлестакова и Ляпкина-Тяпкина и сцену между Бобчинским и Добчинским. «У вас зуб со свистом», — произнес серьезно и внушительно Гоголь, грозя кому-то глазами и даже пришептывая при этом, будто и у него свистел зуб. Неудержимый смех слушателей изредка невольно прерывал его. Высокохудожественное и оживленное чтение под конец очень утомило Гоголя. Его сил как-то вообще хватало не надолго. Когда он дочитал заключительную сцену комедии, с письмом, и поднялся с дивана, очарованные слушатели долго стояли группами, вполголоса передавая друг другу свои впечатления. Щепкин, отирая слезы, обнял чтеца и стал объяснять Шумскому, в чем главные силы роли Хлестакова. Я подошел к С. Т. Аксакову и спросил его, какое письмо он или его жена, по словам Бодянского, предполагали доставить через меня в Малороссию?

— Не мы, а вот Николай Васильевич имеет к вам просьбу, — ответил С. Т. Аксаков, указывая мне на Гоголя. — Бодянский не понял слов моей жены, ошибся. Нам поручили вас предупредить, если вы еще не уехали.

— Да, — произнес, обращаясь ко мне, Гоголь, — повремените минуту; у меня есть маленькая посылка в Петербург, к Плетневу. Я не знал вашего адреса. Это вас не стеснит?

Я ответил, что готов исполнить его желание и остался. Когда все разъехались, Гоголь велел слуге взять свечи со стола из комнаты, где было чтение, и провел меня на свою половину. Здесь, в знакомом мне кабинете, он предложил мне сесть, отпер конторку и вынул из нее небольшой сверток бумаг и запечатанный сюргучом пакет.

— Вы когда окончательно едете из Москвы? — спросил он меня.

— Завтра, уже взято место в мальпосте.

— Отлично, это как раз устраивает мое дело. Не откажите, — сказал Гоголь, подавая мне пакет, — если только вас не затруднит, вручить это лично, при свидании, Петру Александровичу Плетневу.

Увидев надпись на пакете «со вложением», я спросил, не деньги ли здесь?

— Да, — ответил Гоголь, запирая ключом конторку, — небольшой должок Петру Александровичу. Мне бы не хотелось через почту.

Видя усталость Гоголя, я встал и поклонился, с целью уйти.

— Вы мне читали чужие стихи, — сказал Гоголь, приветливо глянув на меня, и я никогда не забуду этого взгляда его усталых, покрасневших от чтения глаз, — а ваши украинские сказки в стихах? Мне о них говорили Аксаковы. Прочтите что-нибудь из них.

Я, смутясь, ответил, что ничего своего не помню. Гоголь, очевидно желая во что бы то ни стало сделать мне что-либо приятное, опять посадил меня возле себя и сказал: «Кто пишет стихи, наверное их помнит. В ваши годы, они у меня торчали из всех карманов». — И он, как мне показалось, даже посмотрел на боковой карман моего сюртука. Я снова ответил, что положительно ничего не помню наизусть из своих стихов.

— Так расскажите своими словами.

Я передал содержание написанной мною перед тем сказки «Снегурка».

— Слышал эту сказку и я; желаю успеха, пишите! — сказал Гоголь, — в природе и ее правде черпайте свои краски и силы. Слушайте Плетнева… Нынешние не ценят его и не любят… а на нем, не забывайте, почиет рукоположение нашего первоапостола, Пушкина…

Я простился с Гоголем и более в жизни уже не видел его. Возвратясь в Петербург, я в тот же день вечером отвез врученные мне сверток и пакет к Плетневу. О свертке он сказал: «Знаю», и положил его на стол. Распечатав пакет и увидев в нем пачку депозиток, Плетнев спросил меня: «А письма нет?» — Я ответил, что Гоголь, передавая мне пакет, сказал только: «Должок Плетневу». Плетнев запер деньги в стол, помолчал и с обычною своею добродушною важностью сказал: «Как видите, он и здесь верен себе; это — его обычное, с оказиями, пособие через меня нашим беднейшим студентам. Фицтум раздает и не знает, откуда эти пособия». — А. И. Фицтум был в те годы инспектором студентов Петербургского университета.

При отъезде из Москвы мне и в голову не приходило, что дни Гоголя сочтены. Он на глаза мои и всех, видевших его тогда и говоривших со

мною о нем, был на вид совершенно здоров и только изредка впадал в недовольство собою и в хандру и легко уставал.

Помня обещание, данное мною Гоголю при Бодянском, а именно о присылке ему новых произведений А. Н. Майкова, я обратился к последнему с просьбою — дать мне, для снятия верной копии, рукопись его поэм. А. Н. Майков, по совету общего нашего ментора, профессора А. В. Никитенко, решил дать мне эти вещи для доставления в Москву не прежде, как он ознакомит с ними тогдашнего нашего общего начальника, А. С. Норова. Он прибавил, что кстати в это время займется и окончательною отделкой поэм. В конце января 1852 года я получил обещанное и известил Бодянского, что на-днях высылаю Гоголю обе поэмы А. Н. Майкова, которые перед новым годом, как я писал Бодянскому, были посылаемы от Плетнева Жуковскому и заслужили большие похвалы последнего. Бодянский на это ответил мне нижеследующим письмом, которое лучше всего может показать, как мало в то время московские друзья Гоголя помышляли о близкой утрате последнего. Это письмо писано за девятнадцать дней до смерти Гоголя и, упоминая о нем «вскользь» — как об «источнике сладостей», — тем самым как бы говорило, что в обиходе этого источника все пока обстояло благополучно.

«Москва, 1852 года, февраля 2. — Да, почтеннейший земляк, время летит, а с ним и мы летим и улетучиваемся. Славные часы были по осени у нас, редкие часы! Хотя я тут же, у источника этих сладостей, а все с тех пор ни разу не привелось отведать от него. Причина простая — семейство певуньи (Н. С. Аксаковой) живет большею частью в подмосковной. — Что до Гоголя, то он, как вы знаете, живет на Никитском бульваре, в доме Талызина. Посылая ему произведения Майкова, не обойдите и меня. Я так мало имею случаев отведать подобного плода. Вкус Жуковского хорош; стало быть, вдвойне наслаждение — познакомиться с хвалимым и проверить хвалителя. Не забывайте вашего земляка. О. Б-й».

Недели через две с половиной по получении мною этого письма в Петербурге нежданно, с особым упорством, заговорили о болезни Гоголя. Хотя этой болезни в то время не придавали особого значения, 18-го февраля я обратился с письмом к И. С. Аксакову, прося его сообщить, чем именно заболел Гоголь и что сталось с его дальнейшею работой над «Мертвыми душами»? Ответ от Аксакова не приходил. И вдруг 24-го февраля разнеслась потрясающая весть, что Гоголь 21-го февраля скончался. Пораженный этим, я тогда же написал к Бодянскому, прося его скорее сообщить хотя некоторые сведения об этой нежданной, великой утрате. Вот ответ Бодянского:

«28-го февраля, 1852 года, Москва. Вы желаете, чтобы я написал вам о последних минутах Гоголя, о моих последних свиданиях с ним, о его

смерти и бумагах на Москве, потерявшей его. Не скажу, добродию, не скажу! И теперь я хожу, как угорелый, и на лекции по сю пору не соберусь никоим путем. Все он, один он — в уме и в глазах! Когда-нибудь, может быть, соберусь с духом порассказать вам. Нынче же замечу только: недели за две до смерти покойник видимо чах; он предчувствовал недоброе и потому на масляной говел и приобщился. В половине первой недели поста соборовался, а 21-го, в четверг, в восемь часов утра, его не стало. Болезнь — несварение желудка, от которой он не хотел вовсе лечиться. Последовало воспаление, за коим он впал в беспамятство. Всем нам едино — умрети. Но вот беда: он в ночь, часу во втором-третьем, сжег все свои бумаги дотла. Премного провинились окружавшие его, из коих одному он отдавал весь свой портфель, туго набитый; а тот, разумеется, поцеремонился, как сам потом имел еще дух рассказывать. Нема нашего Рудого Панька больше, дай не буде, поки свит стоять буде. Не забывайте вашего щирого земляка, О. Бодянского». После я узнал, что Гоголь свои бумаги отдавал было хозяину своей квартиры, гр. А. П. Толстому; но тот, не желая показать виду, что считает положение своего гостя опасным, отказался их принять*.

И. С. Аксаков, на мои вопросы о болезни Гоголя, ответил мне в том же феврале, но послал свой ответ уже в начале марта. Вот этот ответ: «Ваше письмо, любезнейший Г. П., было получено мною 21 февраля, в самый день смерти Гоголя. И как странно было мне читать это письмо, в котором вы беспрестанно о нем говорите, в котором просите матушку помолиться за Гоголя и за «Мертвые души». Ни того, ни другого больше не существует. «Мертвые души» сожжены, самая жизнь Гоголя сгорела от постоянной душевной муки, от беспрерывных духовных подвигов, от тщетных усилий — отыскать обещанную им светлую сторону, от необъятности творческой деятельности, вечно происходившей в нем и вмещавшейся в таком скудельном сосуде. Сосуд не выдержал. Гоголь умер, без особенной болезни. Со временем вы узнаете все подробности его жизни, мученичества и кончины. В настоящее время едва ли прилично будет рассказывать о нем печатно нашему языческому обществу. Гоголь был истинный мученик искусства и мученик христианства. Художественная деятельность этого монаха-художника была истинно подвижническая. Теперь нам надо начинать новый строй *жизни — без Гоголя*. — Весь ваш душою — *Ив. Аксаков*».

Началась жизнь — «без Гоголя»... Отлично помню тогдашнее наше настроение. Мы, искренние поклонники великого писателя, были в неописанном горе еще потому, что он умер, осыпаемый бессердечными, злыми укоризнами и клеветами, не успев довести до конца своей главной, заветной работы. Вышла литография с изображением Гоголя в гробу*. Ее раскупили нарасхват. Вслед за похоронами Гоголя произошел известный арест при полиции И. С. Тургенева и его высылка в деревню, за напечатание им в Москве заметки об умершем Гоголе, не

пропущенной цензурою в Петербурге. Некоторые придавали этому объяснение, будто бы Тургенев поплатился за то, что в своей невинной заметке назвал *«великим»* Гоголя, которого, как сатирика, недолюбливало тогда высшее начальство. Дело было несколько иначе. Автор заметки поплатился не за ее содержание, а за несоблюдение формальностей цензурного устава*. Когда статью И. С. Тургенева цензура не пропустила в «С.-Петербургских ведомостях», я получил от тогдашнего издателя последних, А. А. Краевского, следующее письмо: «Мне бы очень нужно было сказать вам два слова, Г. П. Не можете ли завернуть ко мне сегодня, между 6 и 7 часами вечера? Пятница, 29-го февраля. Ваш А. Краевский». Навестив г. Краевского, я узнал от него, что статью И. С. Тургенева, после ее задержания цензором, не одобрил и М. Н. Мусин-Пушкин, тогдашний попечитель С.-Петербургского учебного округа и председатель с. — петербургского цензурного комитета. Мусин-Пушкин, к сожалению, как и некоторые другие его сверстники, смотрел тогда на Гоголя глазами враждебной последнему «Северной пчелы» и потому не особенно высоко ценил произведения автора «Мертвых душ» и «Ревизора». А. А. Краевский горячо восстал в защиту как Гоголя, так и И. С. Тургенева, автора поминальной заметки о нем. Он, вручив мне оттиск задержанной статьи Тургенева, обратился ко мне с просьбою сообщить о ее задержании высшей инстанции, а именно товарищу министра просвещения А. С. Норову, при коем я тогда состоял на службе, и просить о его ходатайстве за пропуск этой вполне невинной статьи перед министром просвещения князем П. А. Ширинским-Шихматовым, которому в то время был предоставлен высший надзор за цензурою. Норов, совершенно разделяя взгляд г. Краевского, охотно взялся исполнить желание последнего и при первом же своем докладе сообщил это дело министру, ходатайствуя о пропуске остановленной статьи. Князь Ширинский-Шихматов не согласился на отмену распоряжения графа Мусина-Пушкина. Издатель «С.-Петербургских ведомостей» А. А. Краевский и их редактор А. Н. Очкин покорились этому решению. Но задержанная статья, однако, мимо их, 13-го марта, явилась в «Московских ведомостях», где ее пропустил к печатанию попечитель Московского учебного округа В. И. Назимов. Послали запрос в Москву. Назимов ответил, что ему не было известно о задержании статьи попечителем С.-Петербургского учебного округа и самим министром просвещения. Начальство сочло себя обиженным. Статья, остановленная в одном цензурном округе, не могла явиться в другом. Нашли, что автор заметки сознательно нарушил это цензурное правило, и ему, после его ареста в половине апреля, предложили даже выехать из Петербурга в его орловское поместье. Я был тогда уже вне Петербурга. Эта высылка всех поразила. Толковали не о простом нарушении цензурных формальностей, а о том, будто автор «Записок охотника» написал по поводу кончины Гоголя нечто невозможно резкое. Его статья недавно помещена в его

«Воспоминаниях». В ней, кроме нескольких сердечных, теплых слов о Гоголе, ничего более нет.

Проездом в отпуск через Москву я навестил Бодянского и съездил с ним в Данилов монастырь, на могилу Гоголя*.

— Вы едете в Харьковскую губернию? — спросил меня при этом Бодянский.

— Да, в окрестности Чугуева.

— Что бы вам, с вашего Донца, проехать в Полтаву? Побывали бы в деревне Гоголя. Там теперь его мать и сестры. Им будет приятно услышать о нем; вы лично видели его осенью.

— А и в самом деле, — сказал я, — Рудый Панько не одного меня, с нашего детства, звал к себе на хутор. Но как туда проехать?

Бодянский вызвался справиться о пути на родину Гоголя, предупредить о моем заезде его мать и сестер и прислать мне к ним письмо, а также подробный туда маршрут, по почтовой дороге и проселкам. Он сдержал слово. Недели через две по прибытии на родину я получил от него обещанное письмо и маршрут и решил навестить манивший меня с детства «хутор близ Диканьки».

II

Это было через два с половиною месяца по кончине Гоголя, в мае 1852 года.

Из-под Чугуева, где я гостил у своей матери, я отправился на почтовой перекладной через Харьков, в Миргород, а оттуда на Колонтай, Опошню и Воронянщину, в село Яновщину (Васильевка тож), на родину Гоголя, близ Диканьки. Дорога от реки Ворсклы шла Кочубеевскими степями. Поля в ту весну еще не видели косы и пышно зеленели. Цветы пестрели роскошными коврами. Голова кружилась от их благоухания.

Был полдень. Лошади лениво тащились, срывая на ходу головки махровых султанчиков. Из тележки, слегка нагибаясь, я нарвал целый их букет. Невольно вспоминались картины из «Тараса Бульбы». Те же пышные кусты репейника, будто косари в алых шапках, торчали над травой, с своими колючими косами; тот же длинный желтый дрок и белая кашка. Огромная дрохва, как страус, подняв голову, осторожно пробиралась по зеленеющей пшенице, невдали от телеги. Стаи кузнечиков, поднимаясь с дороги, перед лошадьми, летели и падали в траву голубыми и розовыми, крылатыми ракетами.

— Где хутор Гоголя? — спрашивал я изредка встречавшихся путников.

— Гоголя? Не знаем! — отвечали они.

Я догадался объяснить, что хутор называется Васильевка или Яновщина.

— Яновщина? Знаем, пане, знаем! Вот туда дорога.

И мне указали проселок к Гоголю-Яновскому, в село Васильевку Рудого Панька.

От Опошни до с. Воронянщины я ехал, вследствие нестерпимого жара, почти шагом. Всю дорогу за мною, сидя на возу с корзинами спелой шелковицы, ехал на волах толстый поселянин-казак, свесив ноги с воза, лениво сгорбясь, напевая и покачиваясь от одолевавшей его дремоты. Встречавшиеся на пути толчки будили его; он просыпался и снова пел одно и то же.

Стало прохладнее. Я поехал рысью.

До села Яновщины оставалось версты три. Оно было спрятано за косогором.

Я остановился в соседнем хуторе Воронянщина вследствие соскочившей колесной гайки, которую ямщик пошел отыскивать. Я присел в тени, на призбе ближайшей хаты. Ее хозяйка, с грудным ребенком на руках, приветливо разговорилась со мною из сеней, где в прохладе сидели ее другие дети. Зашла речь о ее соседе, Гоголе-Яновском.

— То не правда, что толкуют, будто он умер, — сказала она, — похоронен не он, а один убогий старец; сам он, слышно, поехал молиться за нас, в святой Иерусалим. Уехал и скоро опять вернется сюда.

Странная вещь. Соседние хуторяне, как я удостоверился в то время, действительно, может быть, ввиду частого и продолжительного пребывания Гоголя за границей, долго были убеждены, что он не умер, а находился в чужих краях. Некоторые из них, обязанные ему чем-нибудь в жизни, даже гадали по нем, ставя на ночь пустой поливянный горшок и сажая в него паука. Об этом мне передала мать Гоголя, которую все соседи близко знали и любили. По местному поверью, если паук вылезет ночью из горшка с выпуклыми, скользкими стенками, то человек, по котором гадают, жив и возвратится. Паук, на которого хуторянами было возложено решить, жив ли Рудый Панько, ночью заткал паутиною бок горшка и по ней вылез; но Гоголь, к огорчению гадавших, не возвратился.

Хутор Яновщина выглянул, наконец, между двух зеленых, отлогих холмов. С дороги стала видна на широкой поляне каменная церковь с зеленою крышей. За церковью, спадая в долину, виднелись белые избы хутора, вперемежку с садами; слева от церкви — левада, род огромного огорода, обсаженная со стороны хутора липами и вербами. Ограда церкви — сквозная, в виде решетки, из окрашенных желтою и белою краскою кирпичей. На пути к церкви, примыкая к избам хутора,

виднелась другая ограда. За нею показался, господский деревянный дом с красною деревянною крышею, в один этаж; направо от него — флигель, налево — хозяйские постройки: кухня, амбар и конюшня. За домом, спускаясь к болотистому логу, зеленел старый, тенистый сад; за садом виднелись вырытые в долине пруды; за ними — неоглядные зеленые равнины украинской степи. Пруды вырыл отец Гоголя, бывший усердным хозяином.

Я въехал во двор. По его траве бегали дворовые ребятишки. Телега остановилась у крыльца. Я встал, отряхая с себя густую дорожную пыль. Никто не слышал стука телеги, и я тщетно посматривал, к кому обратиться с вопросом о хозяевах. Все было тихо. Чуть шелестели листья ясеней у садовой ограды. Звонко куковала кукушка в деревьях за церковью. Я вошел в дом. Меня встретили в трауре мать и две девицы — сестры покойного Гоголя, Анна Васильевна и Ольга Васильевна. Его третья сестра, Елизавета Васильевна, при его жизни, минувшею осенью, вышла замуж за г. <Вл. И.> Быкова и тогда находилась в Киеве. Я вручил матери Гоголя письмо Бодянского. После первых приветствий, мне дали умыться, переодеться, закусить. В гостиной, за чаем, меня осыпали вопросами о моих осенних встречах с Николаем Васильевичем. Оказалось, что Шевырев, видевшийся с Бодянским после моего проезда через Москву, предупредил мать Гоголя о моем заезде, и меня здесь уже ожидали. Эти черные шерстяные платья, эти полные горькой скорби лица и эти слезы близких великого писателя потрясли меня до глубины души. Марья Ивановна, мать Гоголя, говорила о сыне с глубоким, почти суеверным благоговением.

— Моего сына, — сказала она, отирая слезы, — знал сам государь и за его писательство велел считать его на службе и отпускать ему жалованье[*]. Не пожил покойный, не послужил родине!

— Ваш сын долго отсутствовал за границей?

— Почти восемнадцать лет; но он и там служил пером своей родине.

Мы прошли в сад. Но прежде опишу дом. Гоголь в последние четыре года в свои приезды к матери обыкновенно помещался во флигеле, направо от большого дома. Здесь он, по словам его близких, работал и над вторым томом «Мертвых душ», с 20-го апреля по 22-е мая 1851 года, в последнее свое пребывание в Яновщине.

Флигель — низенькое, продолговатое строение, с крытою галлереей, выходящею во двор. Ветхие ступени вели на крыльцо; из небольших сеней был вход в пространную комнату, род залы, а отсюда в гостиную.

В этой гостиной и в кабинете — поочередно — работал и отдыхал Гоголь. Постоянно тревожное его настроение, по словам его матери, в последний его заезд сюда заставляло его нередко менять свои рабочие

комнаты. Так же точно он, по ее словам, не мог несколько ночей сряду и спать в одной и той же комнате. Трудно это приписать, как это объясняли впоследствии, мухам, которых на юге весною почти не бывает, или беспокойству от солнечных лучей; во всех комнатах флигеля я застал в мой заезд на окнах занавески. Окна гостиной выходили в особый палисадник у флигеля, огражденный высокими тополями. За ними был вид на избы хутора и на степь.

Кабинет во флигеле был расположен в другом конце здания и имел особый выход в сад. Здесь более всего оставался Гоголь. В последнее свое пребывание в Васильевке он отсюда не выходил иногда по целым дням, являясь в дом только к обеду и вечернему чаю. Это — комната в десять шагов длины и в четыре шага ширины. Два небольших ее окна выходят во двор; между ними зеркало. На окнах белые кисейные занавески. Влево от двери — печь; вправо — дубовый шкаф для книг. Этот шкаф был заказан Гоголем летом 1851 года и окончен уже без него. Влево от печи стояла деревянная, простая кровать, покрытая ковром. Кроме писания, во флигеле Гоголь усердно занимался в последнее время улучшением фабрикации домашних ковров, — сам рисовал для них узоры, — и это занятие, с разведением деревьев в саду, составляло его главное удовольствие в немногие часы его отдыха. Над кроватью в углу висел образ св. угодника Митрофания. Рабочий стол Гоголя помещался между печью и кроватью, у забитой, лишней двери. Это — на высоких ножках конторка из грушевого дерева, с косою доской, покрытою кожей. На верхней части конторки с двух сторон вделаны чернильница и песочница. На стене, над конторкою, висел привезенный Гоголем из Италии нерукотворенный образ Спасителя, писанный масляными красками.

Дом, где помещались мать и сестра Гоголя, выстроен удобно. По стенам были развешаны старинные портреты Екатерины Великой, Потемкина и Зубова и английские гравюры, изображающие рыночные и рыбачьи сцены в Англии. В зале стоял рояль, за которым Гоголь, по словам его матери, иногда любил наигрывать и петь свои любимые украинские песни, особенно веселые и плясовые.

— Он иногда смешил нас доупаду, — сказала мне М. И. Гоголь, — сам казался весел, хотя в душе оставался постоянно задумчивым и печальным.

Кстати о матери Гоголя. Она — урожденная Косяровская, дочь чиновника. Когда я впервые увидел ее, по приезде в Яновщину, меня поразило ее близкое сходство с ее покойным сыном: те же красиво очерченные, крупные губы, с чуть заметными усиками, и те же карие, нежно-внимательные глаза. Она была в белом чепце и без малейшей седины. Ее полные, румяные, без морщин, щеки говорили, как была в

молодости красива эта, еще и в то время замечательно красивая женщина.

— Покойный брат, — сказала мне старшая сестра Гоголя, когда мы вышли в сад, — все затевал исправить, перестроить дом — переделать в нем печи, переменить двери, увеличить окна и перебрать полы. Зимою у вас холодно, писал он, надо иначе устроить сени. Оштукатурили мы дом особым составом, по присланному им из-за границы рецепту. Сам он не выносил зимы и любил лето — ненатопленное тепло.

Старый, дедовский сад, где так любил гулять Гоголь, расположен во вкусе всех украинских сельских садов. Его деревья высоки и ветвисты. По сторонам тенистой дорожки, идущей вправо от садового балкона, Гоголь в последнее здесь пребывание посадил с десяток молодых деревцов клена и березы. Далее, на луговой поляне, он посадил несколько желудей, давших с новою весной свежие и сильные побеги. Влево от балкона другая, менее тенистая, дорожка идет над прудом и упирается во второй, смежный с ним пруд. По этой дорожке особенно любил гулять Гоголь. Возле нее, на пригорке, стояла деревянная беседка, разрушенная бурею вскоре за последним отъездом Гоголя из Яновщины. Тут же, недалеко, в тени нависших лип и акаций, был устроен небольшой грот, с огромным диким камнем у входа. На этом камне Гоголь, по словам его матери, играл, будучи еще ребенком по третьему году. Через сорок лет после этой поры он любил садиться на этот камень, любуясь с него видом прудов и окрестных полей.

На дальнем пруде, за садом, стояла купальня. К ней ездили на небольшом, двухвесельном плоту. Купальню Гоголь устроил для себя, но пользовался ею не более трех раз. За прудом — широкая поляна, обсаженная над берегом вербами и серебристыми тополями, за которыми Гоголь ухаживал с особым участием.

— Вот туда, за церковь, — заметила Марья Ивановна, указывая, — сын любил по вечерам один ходить в поле.

Это был проселок в деревни Яворовщину и Толстое, куда нередко, в прежнее время бывая здесь, Гоголь хаживал пешком в гости, своеобразно рассказывая друзьям, как он совершал возвратный путь, пополам «с подседом на чужие телеги», а потом опять «с напуском пехондачка». За последние годы он почти никого не посещал из соседей.

Гоголь в деревне вставал рано; в воскресные дни посещал церковь; в будни тотчас принимался за работу, не отрываясь от нее иногда по пяти часов сряду. Напившись кофе, он до обеда гулял. За обедом старался быть веселым, шутил, рассказывал импровизованные анекдоты, и все передвечернее время оставался в кругу семьи, хотя иногда среди близких, как и среди знакомых, любил и просто помолчать, слушая разговоры других. Вечером он опять гулял, катался на плоту по прудам

или работал в саду, говоря, что телесное утомление, «рукопашная работа» на вольном воздухе — освежают его и дают силу писательским его занятиям. Гоголь в деревне ложился спать рано, не позже десяти часов вечера. Оставаясь среди семьи, он в особенности любил приниматься за разные домашние работы; кроме рисования узоров для любимого его матерью тканья ковров, он кроил сестрам платья и принимал участие в обивке мебели и в окраске оштукатуренных при его пособии стен. Я застал гостиную в доме его матери раскрашенную его рукой в виде широких голубых полос по белому полю, зал с белыми и желтыми полосами.

Из соседей Гоголя немногие посещали его. Иные боялись обеспокоить его среди литературных занятий, другие, из старых друзей, в то время не жили в своих поместьях, а третьи, по странному мнению о характере сатирических писателей, просто боялись его. Вообще соотечественники-полтавцы чуждались и недолюбливали его. Да и Гоголь, особенно после изданной им «Переписки с друзьями», упорно избегал свидания с соседями, говоря в шутку сестрам, что, прежде чем явится кто-либо из окрестных знакомых, того и гляди уже выскочит «длинноязыкая бестия — чорт», распускающий сплетни. Посторонними собеседниками Гоголя из его соседей изредка были, большею частью, простолюдины-хуторяне, убогие и несчастные, которым он часто помогал. Оба священника села Васильевки, в последние заезды сюда Гоголя, были отъявленные пьяницы. Поневоле он переписывался с отдаленным священником города Ржева.

К украшениям дома в Яновщине, в последнее здесь пребывание Гоголя, прибавились: его чрезвычайно схожий портрет, писанный в 1840 году масляными красками Моллером (этот портрет был привезен Гоголем в подарок матери из Петербурга), и трость из пальмовой ветви, с которою Гоголь путешествовал по Святой земле.

— Мы его с прошлой осени ждали на всю зиму в деревню, — сказала мне мать Гоголя, — он сперва думал ехать в Крым, хотя говорил, что Крым прелесть, но без людей там — тоска. Зимою он почти никогда не жил в деревне.

— Почему?

— Он это объяснял тем, что в деревне в ненастную погоду он более хворает, чем в городе. Ему каждый день были нужны прогулки, и он предпочитал Москву, где все дома просторнее и теплее и где для прогулок пешком устроены хорошие тротуары.

— Он и при мне выражал сожаление Бодянскому, — сказал я, — что не попал на свадьбу сестры по нездоровью и из-за осенней погоды.

— А уж как он этого хотел, — заметила мать Гоголя, — мечтал в подарок новобрачной купить небольшую коляску и в ней приехать на свадьбу. На покупку у него, очевидно, нехватило денег.

Гоголь, посылавший через меня Плетневу пособие бедным студентам, действительно сам нуждался в средствах к жизни. Надо вспомнить, что в то же время книгопродавцы, скупившие остатки последнего издания его сочинений, распускали слух, что нового издания почему-то не будет, и продавали каждый его экземпляр по сто рублей.

Гоголь, по словам его матери, родился 19-го марта[*], в 1809 году, в селе Сорочинцах, в двадцати верстах от Яновщины. Через три года исполнится восемьдесят лет со дня его рождения. Марья Ивановна Гоголь имела до него других детей, из которых ни один не жил более недели, вследствие чего появление на свет нового дитяти она ожидала с грустным и тяжелым раздумьем, будет ли ему суждено остаться в живых? Родился мальчик, которого назвали Николаем. Новорожденный был необыкновенно слаб и худ. Долго опасались за его жизнь. Через шесть недель он был перевезен в родную Васильевку-Яновщину. Несмотря на слабый организм, он, однако, скоро показал, что не в теле сила человека. Трех лет от роду он уже сносно разбирал и писал слова мелом, запомнив алфавит по рисованным, игрушечным буквам.

Пяти лет от роду Гоголь, по словам его матери, вздумал писать стихи. Никто не помнил, какого рода стихи он писал. У его домашних осталось воспоминание, что известный украинский литератор <В. В.> Капнист, заехав однажды к отцу Гоголя, застал его пятилетнего сына за пером[*]. Малютка Гоголь сидел у стола, глубокомысленно задумавшись над каким-то писанием. Капнисту удалось, просьбами и ласками, склонить ребенка-писателя прочесть свое произведение. Гоголь отвел Капниста в другую комнату и там прочел ему свои стихи. Капнист никому не сообщил о содержании выслушанного им. Возвратившись к домашним Гоголя, он, лаская и обнимая маленького сочинителя, сказал: «Из него будет большой талант, дай ему только судьба в руководители учителя-христианина!» Склонность Гоголя к стихам проявлялась в нем впоследствии еще не один раз. По словам его матери, он в Нежинском лицее написал стихотворение «Россия под игом татар». Эту никогда не напечатанную вещь Гоголь тщательно переписал в изящную книжечку, украсил ее собственными рисунками и переслал матери из Нежина по почте. Из всего содержания этой поэмы, увезенной им впоследствии из Яновщины и, вероятно, истребленной, мать покойного вспомнила мне только окончание, а именно следующие два стиха:

Раздвинув тучки среброрунны,

Явилась трепетно луна.

Гоголь, начав впоследствии писать исключительно прозою, обыкновенно молчал о своих первых стихотворных попытках[*]. О сожжении им изданной своей поэмы «Ганц Кюхельгартен» мне рассказал свидетель этого аутодафе, его бывший камердинер и повар Яким, состоявший во время моего приезда в Яновщину дворецким и ключником. Застенчивый и робкий Яким передал мне, что его покойный барин однажды, в Петербурге, пришел домой сильно не в духе и послал его скупать и отбирать по книжным лавкам отданные на комиссию книгопродавцам синенькие книжки, на которых было заглавие: «Ганц Кюхельгартен». Были собраны, привезены и без всякого сожаления сожжены около шестисот этих книжек[*]. Кстати об этом Якиме. Узнав, в 1837 году, о смерти Пушкина, он неутешно плакал в передней Гоголя.

— О чем ты плачешь, Яким? — спросил его кто-то из знакомых.

— Как же мне не плакать… Пушкин умер.

— Да тебе-то что? Разве ты его знал?

— Как что? И знал, и жалко. Помилуйте, они так любили барина. Бывало, снег, дождь и слякоть в Петербурге, а они в своей шинельке бегут с Мойки, от Полицейского моста, сюда, в Мещанскую. По целым ночам у барина просиживали, слушая, как наш-то читал им свои сочинения, либо читая ему свои стихи.

Зная об этом слуге Гоголя от Плетнева, я стал расспрашивать Якима о времени знакомства Гоголя с Пушкиным. По словам Якима, Пушкин, заходя к Гоголю и не заставая его, с досадою рылся в его бумагах, желая знать, что он написал нового. Он с любовью следил за развитием Гоголя и все твердил ему: «Пишите, пишите», а от его повестей хохотал и уходил от Гоголя всегда веселый и в духе. Накануне отъезда Гоголя, в 1836 году, за границу, Пушкин, по словам Якима, просидел у него в квартире, в доме каретника Иохима, на Мещанской, всю ночь напролет. Он читал начатые им сочинения. Это было последнее свидание великих писателей[*]. В 1837 году Пушкин скончался. Гоголь, по возвращении из чужих краев, уже не застал его в живых.

Мать Гоголя мне передавала, что первые годы отрочества он провел со своим младшим, рано умершим братом, Иваном[*]. Отец Гоголя, ездя в поле с сыновьями, иногда задавал им дорогою темы для стихотворных импровизаций: «солнце», «степь», «небеса». Старший сын отличался находчивостью в ответах на такие задачи. Гоголь-отец сам сочинял театральные комические пьесы для домашней сцены в семействе Трощинских, которые оказывали особенное внимание ему и его старшему сыну. Комедии своего покойного отца Гоголь взял с собою от матери при отъезде в Петербург, для того чтобы их напечатать. Неизвестно, какой участи они подверглись, так как впоследствии никто

их не видел, за исключением выписок из них, послуживших эпиграфами к некоторым из повестей Гоголя*.

Смерть младшего брата до того поразила отрока Гоголя, что были принуждены отвезти его в Нежинский лицей*, чтобы отвлечь мысли его от могилы брата. Здесь Гоголь вскоре оправился и из хилого, болезненного ребенка стал сильным, веселым и падким до разных потех и шалостей юношей. Страстный поклонник всего высокого и изящного, он на школьной скамейке тщательно переписывал для себя на самой лучшей бумаге, с рисунками собственного изобретения, выходившие в то время в свет поэмы: «Цыганы», «Полтава», «Братья разбойники» и главы «Евгения Онегина». По окончании курса в Нежинском лицее Гоголь у матери отпросился в Петербург, где некоторое время усердно занимался живописью* и иностранными языками.

В 1829 году Гоголь неожиданно уехал за границу. Добравшись до Любека, он написал матери покаянное письмо (она мне давала его читать)*, изложил в нем свои разочарования в местах, к которым он так жадно стремился, приложил к письму очерк улицы, в которой остановился, и, увидев близкий конец своих скудных денежных средств, с грустью возвратился в Петербург.

...Набросав давно эти воспоминания, я не решался их печатать, не собрав сведений о дальнейшей судьбе семейства Гоголя.

...Минувшим летом* я узнал, что в настоящее время в Полтавской губернии благополучно здравствуют две сестры Гоголя, которых я тридцать четыре года назад видел в Яновщине, а именно: Анна Васильевна Гоголь — в городе Полтаве и Ольга Васильевна Головня — в родном их селе Васильевке.

На мои обращения с вопросами в Полтаву, я получил от почтенной Анны Васильевны Гоголь ответ, за который приношу ей глубочайшую признательность. Привожу отрывки из ее писем ко мне, давших мне возможность значительно дополнить мою статью. Ан. В. Гоголь мне написала, между прочим, в августе и сентябре этого года следующее:

«Как я вам благодарна, что вы прислали мне прочесть ваши воспоминания! Отвечаю по пунктам на ваши вопросы.

Наша мать умерла, 76-ти лет, в 1868 году, в деревне Васильевке, скоропостижно, на первый день Светлого праздника; вероятно, не побереглась после семинедельного поста. Она до смерти была очень моложава и бодра; у нее не было морщин и седины. С нею тогда жила меньшая наша сестра Ольга, с мужем, отставным майором Головня, который держал наше имение в аренде. Сестра Ольга с тех пор овдовела и имеет трех детей, замужнюю дочь и двух сыновей, Николая и Василия Яковлевичей, служащих в Ахтырском драгунском полку, в Белой

Церкви. Наша деревня Васильевка разделилась на две части — сестре Ольге и старшему сыну покойной сестры Елизаветы Васильевны Быковой, Ник. Влад. Быкову, который женат на Марье Александровне Пушкиной, *внучке поэта*.

По жребию, старая усадьба (двор, сад и пр.) досталась сестре Ольге, а племянник Николай Быков построил себе новую усадьбу, за прудом, в другом саду, где теперь и живет, имея двух малолетних детей, сына Александра и дочь Елизавету. Он служил в Нарвском гусарском полку, во время командования им А. А. Пушкиным (сыном поэта), где и женился на его дочери. Недавно он был в Москве и уступил там от нас право на издание сочинений покойного брата книгопродавцу Думнову, наследнику фирмы братьев Салаевых. До этого изданиями сочинений брата заведовал И. С. Аксаков.

Старая наша усадьба в запустении, особенно флигель для гостей, в котором брат останавливался в последнее время. Сад запущен, заглох; гротик завалился. Старый повар Яким умер в прошлом 1885 году, в деревне, у женатого своего сына…

Ник. Павл. Трушковский, сын старшей нашей сестры, Марьи Васильевны, умершей в 1844 году, остался круглым сиротой с одиннадцати лет; учился в гимназии, потом в Казанском университете, по факультету восточных языков; кончил курс в С.-Петербургском университете, кандидатом. Он занимался изданием сочинений покойного брата*, но заболел и умер в помешательстве. Я с моею матерью ездила за ним в Москву. Это была славная личность! Я его очень любила.

Из соседей, знакомых брата, никого уже нет в живых. В деревне Толстое, в шести верстах от нас, жили Черныши, которых брат любил. Особенно же был дружен с детства с А. С. Данилевским.[142] Не знаю, жив ли последний?352*Он ослеп и жил в Сумском уезде, у родных жены; у них было трое детей. Приезжая в деревню летом, в последние четыре года брат прежних знакомых уже не нашел, а новых знакомств не любил; рад был, что наша деревня в глуши, не на большой дороге.

…Брат никогда не любил говорить о своих сочинениях; даже намека о них не допускал. Если, бывало, кто-нибудь заговорит о них, он хмурился, переменял разговор или уходил. В последнее время его письма были всегда грустные и строгие, а прежде в институт* он нам писал веселые письма и часто шутил, особенно с сестрою Е. В. Быковой. Письма брата к нам потом в деревню были наполнены наставлениями. Он боялся, чтобы мы не скучали, весь день были бы в занятиях и более делали бы моциона; боялся, чтобы нас не занимали наряды, и внушал нам, что очень стыдно при ком-нибудь говорить о нарядах.

…Брат считал нас, двух сестер (Елизавету и Анну), своими воспитанницами, потому что сам поместил нас в институт в Петербурге. Он заставлял нас переводить. Дал мне раз немецкую статью, где сравнивали брата с Погодиным. И когда я затруднилась перевести фразу: «Pogodin ist ein umgekehrter Gogol», он посоветовал мне перевести так: «Погодин — вывороченный Гоголь». При этом он старался нас уверить, что наши переводы «очень нужны», сам их поправлял и давал нам награды за них. Бумаги брата, бывшие в его чемодане, пропали; цел один чемодан».

…Русские читатели, без сомнения, с особым удовольствием узнают из вышеприведенных мною писем Анны Васильевны Гоголь, что внучка великого нашего поэта, Пушкина, сочеталась браком с племянником другого великого русского писателя, Гоголя, бывшего некогда в искренней дружбе с Пушкиным. Последний, как известно, еще при жизни уже духовно сроднился с Гоголем: он дал ему сюжеты лучших его произведений — «Мертвых душ» и «Ревизора».

А. О. Смирнова-Россет. Из «Воспоминаний о Гоголе»*

Париж 25/13 сентября 1877 г.

Каким образом, где именно и в какое время я познакомилась с Николаем Васильевичем Гоголем, совершенно не помню. Это должно показаться странным, потому что встреча с замечательным человеком обыкновенно нам памятна; у меня же память прекрасная. Когда я однажды спросила Гоголя: «Где мы с вами познакомились?» он отвечал: «Неужели вы не помните? вот прекрасно! так я же вам не скажу. Это значит, что мы были всегда знакомы». Сколько раз я пробовала выспросить его о нашем знакомстве. Он всегда отвечал: «Не скажу, мы всегда были знакомы». В 1837 году я проводила зиму в Париже: Rue du Mont Blanc, 21, на дворе, то есть entre cour et jardin,[143] но Гоголь называл этот hotel трущобой. Он приехал с лицейским товарищем Данилевским, был у меня раза три, и я уже обходилась с ним дружески, как <с> человеком, которого ни в грош не ставят. Опять странность, потому что я читала с восторгом «Вечера на хуторе близ Диканьки». Они так живо переносили меня в нашу великолепную Малороссию. Оставив восьми лет этот чудный край, я с необыкновенным удовольствием прислушивалась ко всему, что его напоминало, а «Вечера на хуторе» так ею и дышат. С ним в это время я обыкновенно заводила разговор о высоком камыше, о бурьяне, белых журавлях с красным носиком, которые при захождении солнца прилетают на хаты, крытые в старновку, о том, как гонит плечистый Яким с чубом лошадей в поле, и какая пыль поднимается их копытами. Потом заводилась речь о галушках, варениках, пампушках, коржиках, вспоминали хохлацкое пение:

Грицко, не ходи на вечерницы,

Там увси дивки чаровницы, — или:

На бережку у стрелочка…

Цвыли лози при дорози…

Или любимая его песня:

Ходи козак по улицы в свитлой белой котулицы…

Он вообще не был говорлив и более любил слушать мою болтовню. Вообще он был охотник заглянуть в чужую душу. Я полагаю, что это был секрет, который создал его бессмертные типы в «Мертвых душах». В каждом из нас сидит Ноздрев, Манилов, Собакевич и прочие фигуры его романа. О Париже мало было речи, он уже тогда не любил его. Он, однако, посещал театры с Данилевским, потому что рассказывал мне, как входят в оперу à la queue[144] и как торгуют правом на хвост, со свойственной ему способностью замечать то, что другим не кажется ни замечательным, ни смешным. Раз говорили о разных комфортах в путешествии, и он сказал мне, что на этот счет всего хуже в Португалии, и еще хуже в Испании, и советовал мне туда не соваться с моими привычками. «Вы как это знаете, Николай Васильевич?» — спросила я его. «Да я там был, пробрался из Испании, где также очень гадко в трактирах. Все едят с прогорклым прованским маслом. Раз слуга подал мне котлетку, совсем холодную. Я попросил его подогреть ее. Он преспокойно пощупал рукой и сказал, что она должна быть так. Чтобы не спорить, я спросил шоколаду, который оказался очень хорошим, и ушел». — «Неправда, Николай Васильевич, вы там не были, там все дерутся …, все в смуте, и все, которые оттуда приезжают, много рассказывают, а вы ровно ничего». На все это он очень хладнокровно отвечал: «Вы привыкли, чтобы вам все рассказывали и занимали публику, чтобы с первого раза человек все выложил, что знает, что пережил, даже то, что у него на душе». Я осталась при своем, что он не был в Испании, и у нас осталось это русской шуткой (Жуковский говорил, что русская шутка только тем и хороша, что повторяется). В Испании он точно был* и, кажется, там познакомился с Боткиным. Он оставался недолго, ни климат, ни природа, ни картины не могли произвести особенного впечатления. Испанская школа для него, так же как и болонская, как в отношении красок, так и рисунка, была противна. Он называл Болонскую школу пекарской. Понятно, что такой художник, как Гоголь, раз взглянувши на Рафаэля, не мог слишком увлекаться другими живописцами. Его приводил в восторг сжатый, строгий рисунок Рафаэля, он не любил Перуджино из Ранционгли. Один Джон Bellini нравился своей бессмертной наивностью. Но все это не может сравниться с нашими византийцами, у которых краски ничего, а все в выражении и чувстве. Вообще у него была некоторая сдержка в оценке

произведений художника. Надобно было, чтобы все струны его души признали вещь за прекрасную, чтобы он ее признал гармоническою. «Стройность, гармония во всем, вот что прекрасно», — говорил он. Лето того же 1837 года я провела в Бадене, и Николай Васильевич приехал*. Он не лечился, но пил по утрам холодную воду в Лихтентальской аллее. Мы встречались всякое утро. Он ходил или, вернее, бродил по лугу зигзагами. Часто он был так задумчив, что я не могла дозваться его, и не хотел гулять со мной, прибирая самые нелепые причины. Он был во всю жизнь мастер на нелепые причины.

В июле месяце он неожиданно предложил собраться вечерком и объявил, что пишет роман под названием «Мертвые души». Андрей Карамзин, граф Лев Сологуб, Валериан Платонов собрались на нашу дачу. День простоял знойный, мы уселись, и Гоголь вынул из кармана тетрадку в четвертку и начал первую главу своей бессмертной поэмы. Между тем гром гремел, разразилась одна из самых сильных гроз, какую я запомню. Дождь лил ливнем, с гор потекли потоки. Смиренная Мур, по которой куры ходили посуху, бесилась и рвалась из берегов. Мы были в восторге. Однако Гоголь не кончил второй главы и просил Карамзина довести его до Грабена, где он жил. Дождь начал утихать, и они отправились. После Карамзин сказал, что Николай Васильевич боялся итти один, что на Грабене большие собаки, и он их боится, и не взял своей палки. На Грабене же не оказалось собак, а просто гроза действовала на его слабые нервы. На другой день я его просила прочитать дальше, но он решительно отказал и даже просил не просить. Мы уехали осенью <в> Баден-Баден, и Гоголь с другими русскими провожали нас до Карлсруэ, где Гоголь ночевал с моим мужем и был болен желудком и бессонницей. О первой и страшной болезни он не любил говорить. Его спас приезд Боткина, который усадил его полумертвого в дилижанс, и… он после двух месяцев выпил чашку бульона. Ехали день и ночь, и в Венеции Гоголь был почти здоров, сидел на Пиацетте и грелся итальянским солнцем, не палящим, но ласкающим.

В 1838 году я была в России, потеряла Гоголя из виду и не переписывалась с ним. В 1841 году он явился ко мне в весьма хорошем расположении духа, но о «Мертвых душах» не было и помину. Я узнала, что он был в коротких сношениях с Виельгорским. Они часто собирались там, объедались, и Жуковский называл это «макаронными утехами». Николай Васильевич готовил макароны, как у Лепри в Риме: «Масло и пармезан, вот что нужно». В этом же году я получила от него опять длинное письмо, все исполненное слез, почти вопля, в котором жалуется на московскую цензуру… «Мертвые души» вышли в свет tel quel,[145] без глупых поправок и вычеркивания цензоров*. Весной 1842 года Гоголь приехал в Петербург и остановился у Плетнева. Приходил довольно часто и уже совсем на дружеской ноге. Он тогда сблизился с моим

братом Аркадием, изъявил желание прочесть нам отрывки уже отпечатанных «Мертвых душ». У Вяземского он читал разговор двух дам. Никто так не читал, как Гоголь, и свои, и чужие произведения. Мы смеялись неумолкаемо. В нем был залог великого актера. Мы смеялись, не подозревая, что смех вызван у него плачем души любящей и скорбящей, которая выбрала орудием своим смех…

Осенью <1842 г.> я поехала с братом Аркадием в Италию и остановилась во Флоренции. Неожиданно получила письмо от Гоголя, который писал: «Точно ли вы во Флоренции? Приезжайте скорее в Рим, вы увидите, как будете самой себе благодарны». В генваре брат мой определил меня в Рим для приискания квартиры*. Мы потянулись в собственных экипажах с веттурино. Переночевавши в Romiglione, мы были празднично расположены, погода была великолепная, солнечная и tiède.[146] Я опустила все окна, выглядывая <то> в одно окно, то в другое. Наконец мы поравнялись с гробницей Нерона, vetturino мне крикнул: «Вот святой Петр справа».

На одну минуту появился купол св. Петра в сизом тумане. Я начала помышлять о квартире, о помещении детей и еде. Начинало вечереть, мы проехали по знаменитому Ponto Мальво и въехали после пятидневного похода через Porto del Popolo. У чиновника заплатили по десяти франков в догану[147] и потянулись на Корсо, где еще тянулись тяжелые кареты и коляски римских принчипе и маркизов. В догане мне передали письмо брата, который извещал, что надобно ехать на форо Трояно в palazetto Валентини. Первый этаж был освещен. На лестницу выбежал Николай Васильевич с протянутыми руками и лицом, исполненным радости. «Все готово, — сказал он, — обед вас ожидает. Квартиру эту я нашел, воздух будет хорош. Corso под рукой, а что всего лучше, вы близки от Колизея, форо Боарио». Немного поговоривши, он отправился домой с обещанием притти на другой день. В самом деле он пришел, спросил бумажку и карандаш и начал писать: «Куда следует понаведываться А. О. и с чего начать». Были во многих местах и кончали Петром. Он взял бумажку с собой и написал: «Петром осталась А. О. довольна». Таким образом он нас возил целую неделю и направлял всегда так, что все кончалось Петром. «Это так следует. На Петра никогда не наглядишься, хотя фасад у него комодом». При входе в Петра Гоголь подкалывал свой сюртук, и эта метаморфоза преобразовывала его во фрак, потому что кустоду[148] приказано было требовать церемонный фрак из уважения к апостолам, папе и Микель-Анджело. Когда мы осмотрели Рим en gros,[149] он стал реже являться ко мне.

…Николаю Васильевичу Рим, как художнику, говорил особенным языком. Это сильно чувствуется в его отрывках о «Риме». St. Beuve встретил его на пароходе, когда, после смерти Иосифа Виельгорского, они ехали в Марсель навстречу бедной матери*. St. Beuve говорил, что ни

один путешественник не делал таких точных и вместе оригинальных наблюдений. Особенно поразили его знания Гоголя о транстиверияннах. Едва ли сами жители города знают, чти транстиверияне никогда не сливались с ними, что у них свои язык, patois.[150] Заметив, что Гоголь так хорошо знал то, что относилось к языческой древности, я его мучила, чтобы узнать побольше. Он мне советовал читать Тацита. Я все его спрашивала, что такое история; карты, планы, Nybby, Canina, Peronezi лежали на нашем столе, все беспрестанно перечитывалось. Мне хотелось перенестись в эту историческую даль. Что таилось в Нероне? И я часто к нему приставала.

Однажды, гуляя в Колизее, я ему сказала: «А как вы думаете, где сидел Нерон? Вы должны это знать, и как он сюда являлся: пеший, или в колеснице, или на носилках?» Гоголь рассердился и сказал. «Да вы зачем пристаете ко мне с этим подлецом? Вы, кажется, воображаете, что я жил в то время, воображаете, что я хорошо знаю историю, — совсем нет. Историю еще не писали так, чтобы живо обрисовался народ или личности. Вот один Муратори понял, как описать народ, у одного него слышится связь, весь быт его народа, его связь с землею, на которой он живет». Потом он продолжал разговор об истории и советовал читать Cantu «Историю республики» и прибавил: «Histoire universelle»[151] Боссюэта превосходно написана, только с духовной стороны в ней не видна свобода человека, которому создатель предоставил действовать хорошо или дурно. Он был ревностный католик. Guizot не хорошо написал «Histoire des révolutions»,[152] то слишком феодально, а то с революционной точки зрения. Надобно бы найти середину и написать ярче, рельефнее. Я всегда думал написать географию*. В этой предполагаемой географии можно было бы видеть, как писать историю. Но об этом после, друг мой, я заврался по привычке передавать вам все мои бредни. Между прочим, я скажу вам, что мерзавец Нерон являлся в Колизей в свою ложу в золотом венке, в красной хламиде и золоченых сандалиях. Он был высокого роста, очень красив и талантлив, пел и аккомпанировал себе на лире. Вы видели его статую в Ватикане, она изваяна с натуры». Но нечасто и недолго он говорил. Обыкновенно шел один поодаль от нас, поднимал камушки, срывал травки или размахивал руками, попадал на кусты, деревья, ложился навзничь и говорил: «Забудем все, посмотрите на это небо!» и долго задумчиво, но как-то вяло глазел на голубой свод, безоблачный и ласкающий.

…Зимой мужа моего назначили губернатором в Калугу*. Он вывез всю нашу мебель, закупил много посуды, люстры и аплике на сто человек и отправился в Калугу. Я переехала на квартиру Карамзина и на зимние месяцы; получила от Гоголя письмо, в котором он просит не смущаться предстоящей новой жизнью. «Вы можете сделать много добра, в моих советах не будет недостатка, замечайте со вниманием все… Утешайте себя возможностью делать плодотворное добро»…

Весной он выехал из Москвы с Левой и Климой*. Последний на одной станции потерял тарантас, который пропал без вести. А Гоголь и Лева остановились в Малом Ярославце менять лошадей*. Городничий спросил брата: «Кто этот господин, ваш попутчик?» — «Это Гоголь». — «Как Гоголь, тот самый, который написал «Ревизора»?» — «Да». — «Ну, так, пожалуйста, представьте меня ему». Мы уже перебрались в загородный дом и назначили помещение Гоголю в домике, где жил Нелединский. Он был очень доволен устройством комнаты и говорил: «Вид прекрасный, под ногами прозрачная речка, а затем этот великолепный бор». Ему служил Афанасий, который тотчас потрафил свою должность. Гоголь вставал в пять часов, пил кофий в восемь, запивал его холодной водой. Это служило для него лекарством. К нам он являлся в два часа. В воскресенье он пил кофий с нами и приходил в полном параде, в светложелтых нанковых панталонах, светлоголубом жилете с золотыми пуговками и в темном синем фраке с большими золотыми пуговицами и в белой пуховой шляпе. Он купил эту шляпу в рядах, куда сопровождал его Лева, старую шляпу он оставил в лавке. Все рядовые один за другим пробовали эту шляпу, нашли, что его голова была более других, потому что он писал такие умные книги, и решили поставить ее под стеклянным колпаком на верхней полке счастливца, у которого великий писатель купил шляпу. Я, чаю, она и теперь стоит на этом месте. Из рядов они пошли в книжную лавку, где нашли тридцать томов, в том числе и его сочинения, в мусака[153] переплете. Наш переплетчик все переплетал очень дурно в этот цвет. Если он приходил, люди докладывали, что пришел «мусака». Гоголь, где бы ни был в России и за границей, заходил в книжную лавку и перелистывал каталог. «Это, говорил он, самый верный пробный камень умственного развития города. Где в Германии две и три тысячи книг, в России в губернских городах тридцать или много сто книг». В Москве он всякий день ходил к Ферапонтову на Никольской. Там он встречал коротенького и плотного человека, по выбору книг и по произношению он догадался, что перед ним Михаил Семенович Щепкин, ударил его по плечу и сказал: «Гей, чи живы, чи здоровы, уси родичи гарбузовы»*. Это оригинальное знакомство кончилось дружбой самой тесной. Я часто ездила с ним в Лаврентьевскую рощу, он вытаскивал тетрадку и записывал виды. Скромный архиерейский дом осеняла Лаврентьевская роща, и в самом деле пейзаж был великолепный. «So rueful and calm»...[154]

В конце лета Гоголь предложил нам собраться в два часа у меня*. Граф Алексей Толстой послан был в Калугу с сенатором Давыдовым для ревизии нашей губернии. Он <Гоголь> читал нам первую главу второго тома «Мертвых душ», всякий день в два часа. Тентетников, Вороного-Дрянного, Костанжогло, Петух, какой-то помещик, у которого было все на министерскую ногу, причем он убивал драгоценное время для посева, жнитвы и косьбы и все писал об агрикультуре. Чичиков уже

ездил с Платоновым, который от нечего делать присоединился к этому труженику и вовсе не понимал, что значила покупка мертвых душ. Наконец приезд в деревню Чаграновых, где Платонов влюбился в портрет во весь рост этой петербургской львицы. Обед управляющего из студентов с высшими подробностями. Стол был покрыт: хрусталь, серебро, фарфор саксонский. Бедный студент запил и тут высказал то, что тайно подрывало его энергию и жизнь. Сцена так была трагически жива, что дух занимало. Все были в восторге. Когда он читал главу о Костанжогло, я ему сказала: «Дайте хоть кошелек жене его, пусть она шали вяжет». — «А, — сказал он, — вы заметили, что он обо всем заботится, но о главном не заботится»...

Л. И. Арнольди. Мое знакомство с Гоголем*

...Я жил тогда в Москве; сестра моя приехала из Калуги и остановилась в гостинице Дрезден*. При первом же свидании она объявила мне, что Гоголь здесь и в шесть часов вечера будет к ней. Я, разумеется, остался обедать и ждал Гоголя с нетерпением. Ровно в шесть часов вошел в комнату человек маленького роста с длинными белокурыми волосами, причесанными à la moujik, маленькими карими глазками и необыкновенно длинным и тонким птичьим носом. Это был Гоголь! Он носил усы, чрезвычайно странно тарантил ногами, неловко махал одною рукой, в которой держал палку и серую пуховую шляпу; был одет вовсе не по моде и даже без вкуса. Улыбка его была очень добрая и приятная, в глазах замечалось какое-то нравственное утомление. Сестра моя познакомила нас, и Гоголь дружески обнял меня, сказав сестре: «Ну теперь я знаком, кажется, со всеми вашими братьями; это, кажется, самый младший». Действительно, я был младший. Мы сели вокруг стола; разговор завязался о здоровьи; Гоголь внимательно расспрашивал сестру о ее положении, давал какие-то советы и не сказал ничего замечательного. Вечером я проводил его домой; нам было по дороге, потому что он жил тогда на Никитском бульваре у графа А. П. Толстого, а я у Никитских ворот. Гоголь говорил со мною о моей службе и советовал не брать видных мест. «На них всегда найдутся охотники, — прибавил он, — а вы возьмите должность скромную, не блестящую, и постарайтесь быть именно в этой должности полезным; тогда вы увидите, как будет вам весело на душе». Я отвечал, что надеюсь скоро быть советником в губернском правлении. «Вот и хорошо, отвечал Гоголь, тут работы будет много и пользу принести можно; это не то что франты чиновники по особым поручениям или служба министерская; очень, очень рад за вас и душевно поздравляю вас, когда получите это место». На другой день вечером Гоголь опять был у сестры, но почти все время молчал. Пришел <Ю. Ф.> С<амарин>; говорили много о немцах, шутили, смеялись. Самарин со двойственным ему остроумием представлял все в лицах и смешил нас до слез. Так прошел почти весь вечер. Гоголь упорно молчал и наконец сказал: «Да, немец вообще не

очень приятен; но ничего нельзя себе представить неприятнее немца-ловеласа, немца-любезника, который хочет нравиться; тогда может он дойти до страшных нелепостей. Я встретил однажды такого ловеласа в Германии. Его возлюбленная, за которою он ухаживал долгое время без успеха, жила на берегу какого-то пруда и все вечера проводила на балконе перед этим прудом, занимаясь вязанием чулок и наслаждаясь вместе с тем природой. Мой немец, видя безуспешность своих преследований, выдумал, наконец, верное средство пленить сердце неумолимой немки. Ну, что вы думаете? Какое средство? Да вам и в голову не придет что́! Вообразите себе, он каждый вечер, раздевшись, бросался в пруд и плавал перед глазами своей возлюбленной, обнявши двух лебедей, нарочно им для сего приготовленных! Уж право не знаю, зачем были эти лебеди, только несколько дней сряду, каждый вечер он все плавал и красовался с ними перед заветным балконом. Воображал ли он в этом что-то античное, мифологическое, или рассчитывал на что-нибудь другое, только дело кончилось в его пользу: немка действительно пленилась этим ловеласом и вышла скоро за него замуж». Все мы расхохотались, Гоголь же очень серьезно уверял, что это не выдумка, а факт и что он может даже назвать и немца и немку, которые живут и теперь еще счастливо на берегу все того же пруда. Когда мы остались втроем, сестра попросила Гоголя рассказать ей что-нибудь о его путешествии в Иерусалим. «Теперь уже поздно, — отвечал он, — вам пора и на отдых, лучше когда-нибудь в другой раз. Скажу вам только, что природа там не похожа нисколько на все то, что мы с вами видели; но тем не менее поражает вас своим великолепием, своей шириной. А Мертвое море — что за прелесть! Я ехал с Базили, он был моим путеводителем. Когда мы оставили море, он взял с меня слово, чтоб я не смотрел назад, прежде чем он мне скажет. Четыре часа продолжали мы наше путешествие от самого берега, в степях, и точно шли по ровному месту, а между тем незаметно мы поднимались в гору; я уставал, сердился, но все-таки сдержал слово и ни разу не оглянулся. Наконец Базили остановился и велел мне посмотреть на пройденное нами пространство. Я так и ахнул от удивления! Вообразите себе что́ я увидал! На несколько десятков верст тянулась степь все под гору; ни одного деревца, ни одного кустарника, все ровная, широкая степь; у подошвы этой степи, или, лучше сказать — горы, внизу, виднелось Мертвое море, а за ним прямо, и направо, и налево, со всех сторон опять то же раздолье, опять та же гладкая степь, поднимающаяся со всех сторон в гору. Не могу вам описать, как хорошо было это море при захождении солнца! Вода в нем не синяя, не зеленая и не голубая, а фиолетовая. На этом далеком пространстве не было видно никаких неровностей у берегов; оно было правильно овальное и имело совершенный вид большой чаши, наполненной какою-то фиолетовою жидкостию».

Рассказывая это, Гоголь оживился, говорил с жаром, глаза его блестели; я узнал поэта и вспомнил лучшие лирические места в его произведениях! На другой день я с сестрой заехал к Гоголю утром. В комнате его был большой беспорядок; он был занят чтением какой-то старинной ботаники. Покуда он разговаривал с сестрой, я нескромно заглянул в толстую тетрадь, лежавшую на его письменном столе, и прочел только: *Генерал-губернатор*, — как Гоголь бросился ко мне, взял тетрадь и немного рассердился. Я сделал это неумышленно и бессознательно и тотчас же попросил у него извинения. Гоголь улыбнулся и спрятал тетрадь в ящик. «А что ваши «Мертвые души», Николай Васильевич?» — спросила у него сестра. «Да так себе, подвигаются понемногу. Вот приеду к вам в Калугу, и мы почитаем». Вообще Гоголь был очень весел и бодр в этот день. Вечером он опять явился к нам в гостиницу. Мы пили чай, а он красное вино с теплою водой и сахаром. В одиннадцать часов я провожал его снова до Никитских ворот. Ночь была чудная, светлая, теплая...

В продолжение двух недель я виделся с Гоголем почти каждый день; он был здоров, весел, но ничего не говорил ни о «Мертвых душах», ни о «Переписке с друзьями», и вообще, сколько я помню, ничего не сказал все это время особенно замечательного. Раз только ночью, когда я по обыкновению провожал его до Никитских ворот и нам опять попалось навстречу несколько таинственных лиц женского пола, выползающих обыкновенно на бульвар при наступлении ночи, Гоголь сказал мне: «Знаете ли, что́ на-днях случилось со мной? Я поздно шел по глухому переулку, в отдаленной части города: из нижнего этажа одного грязного дома раздавалось духовное пение. Окна были открыты, но завешены легкими кисейными занавесками, какими обыкновенно завешиваются окна в таких домах. Я остановился, заглянул в одно окно и увидал страшное зрелище! Шесть или семь молодых женщин, которых постыдное ремесло сейчас можно было узнать по белилам и румянам, покрывающим их лица, опухлые, изношенные, да еще одна толстая старуха отвратительной наружности, усердно молились богу перед иконой, поставленной в углу на шатком столике. Маленькая комната, своим убранством напоминающая все комнаты в таких приютах, была сильно освещена несколькими свечами. Священник в облачении служил всенощную, дьякон с причтом пел стихиры. Развратницы усердно клали поклоны. Более четверти часа простоял я у окна... На улице никого не было, и я помолился вместе с ними, дождавшись конца всенощной. Страшно, очень страшно, — продолжал Гоголь, — эта комната в беспорядке, имеющая свой особенный вид, свой особенный воздух, эти раскрашенные развратные куклы, эта толстая старуха, и тут же — образа, священник, евангелие и духовное пение! Не правда ли, что все это очень страшно?»[366*]Этот рассказ Гоголя напомнил мне сцену из «Клариссы Гарло». Там тоже Ричардсон описывает сцену в этом роде!

Наконец сестра моя уехала в свою калужскую деревню, и Гоголь дал ей слово приехать погостить к ней на целый месяц. Я собирался тоже туда, и мы сговорились с ним ехать вместе. На неделе два или три раза Гоголь заходил ко мне, но не заставал дома. В последний раз он приказал сказать мне, что готов ехать, и просил меня дать ему знать, как, в чем и когда мы отправимся. У меня был прекрасный, большой тарантас вроде коляски на дрогах. Гоголь был очень доволен экипажем и уверял меня, что в телегах и тарантасах ездить очень здорово, особенно людям, подверженным ипохондрии и геморою. Когда наступил день отъезда, Гоголь приехал ко мне с своим *маленьким* чемоданом и *большим* портфелем. Этот знаменитый портфель заключал в себе второй том «Мертвых душ», тогда уже почти конченных вчерне.

Мог ли думать Гоголь, что никто не прочтет того, над чем он в то время так бодро трудился, что та же участь, какая постигла *первый второй* том*, ожидает и эти разрозненные листы, тщательно от всех скрываемые до времени.

Портфеля не покидал Гоголь во всю дорогу. На станциях он брал его в комнаты, а в тарантасе ставил всегда подле себя и опирался на него рукою. Немудрено, что он так заботился о нем: здесь было все его достояние, все прошедшее и будущее, вся его слава! Грустно подумать, что все это погибло навсегда, — и зачем погибло? Кто из нас даст ответ на это «зачем»? Кто может сказать утвердительно, что знает: какая мысль, какое чувство руководили поэта, когда он предавал пламени свое любимое детище, плод долгой борьбы и мучительных вдохновений!

Я взял с собою в Калугу одного француза вместо камердинера, предоброго малого, но до чрезвычайности тупого и глупого. Он никогда не выезжал из Москвы, и кроме того, будучи слабого здоровья, с великим удовольствием отправлялся со мной, чтобы подышать деревенским воздухом. Наконец в пять часов вечера мы уселись с Гоголем в тарантас, француз взобрался на козлы, ямщик стегнул лошадей, и все пошло плясать и подпрыгивать по мостовой до самой Серпуховской заставы. Француз, не привыкший к такому экипажу, беспрестанно вскрикивал, держась за бока, и ругался на чем свет стоит. Мы только и слышали: Sacristie!.. Diable de tarantasse![155] Гоголь смеялся от души и при всяком новом толчке все приговаривал: «Ну еще!.. Ну, хорошенько его, хорошенько… вот так!.. А что`, француз, будешь помнить тарантас?» Ямщика тоже забавлял гнев моего француза, и он не только не сдерживал лошадей, но как нарочно ехал крупною рысью через весь город. Наконец потянулось перед нами прямое, как вытянутая лента, шоссе, и мы поскакали, качаясь, как в люльке, в нашем легком тарантасе. Даже французу понравилась такая шибкая езда, и он, закурив сигару, беспрестанно поворачивался к нам и как-то весело улыбался, причем называл Гоголя — M-r Gogo. Я несколько раз

поправлял его, но он извинялся и через пять минут опять называл его так же. В продолжение всего месяца, пока мы оставались в Калуге, он никак не мог запомнить, что Гоголя зовут Гоголь, а не Gogo. Так ехали мы до Малоярославца. Гоголь много беседовал со мной; мы говорили о русской литературе, о Пушкине, в котором он любил удивительно доброго и снисходительного человека и умного, великого поэта. Говорили о Языкове, о Баратынском. Гоголь превосходно прочел мне два стихотворения Языкова: «Землетрясение» и еще другое. По его мнению, «Землетрясение» было лучшее русское стихотворение. Потом говорил Гоголь о Малороссии, о характере малороссиянина и так развеселился, что стал рассказывать анекдоты, один другого забавнее и остроумнее... Особенно забавен показался мне анекдот о кавказском герое, генерале Вельяминове, верблюде и военном докторе малороссиянине. Мы много смеялись, Гоголь был в духе, беспрестанно снимал свою круглую серую шляпу, скидывал свой зеленый камлотовый плащ и, казалось, вполне наслаждался чудным теплым июньским вечером, вдыхая в себя свежий воздух полей. Наконец, когда совершенно стемнело, мы оба задремали и проснулись только в 12 часов утра от солнечных лучей, которые стали сильно жарить лица наши. Малоярославец был уже в виду. Вдруг ямщик остановился, передал вожжи французу и соскочил с козел. «Что случилось?» — спросил я. «Тарантас сломался, — отвечал хладнокровно ямщик, заглядывая под тарантас. — Одна дрога треснула, да заднее колесо не совсем-то здорово... не доедешь, барин, здесь чинить надоть!..» Экая досада, а мы хотели поспеть вечером в деревню; но делать было нечего, надо было кое-как доехать до станции, и мы шажком поплелись по скверной городской мостовой. Когда тарантас наш остановился перед станционным домом, толпа ямщиков с любопытством окружила его, и каждый почел долгом осмотреть дрогу, заднее колесо, а потом сказать свое мнение. Гоголь тоже очень внимательно рассматривал экипаж. В это время я заметил вдали какие-то дрожки и на них человека в военной шинели. Узнав от станционного смотрителя, что это городничий, я вспомнил, что знал его прежде, когда служил в Калуге, а потому стал знаками просить его подъехать к нам. Он был так любезен, что велел кучеру ехать в нашу сторону. Я пошел к нему навстречу и, объяснив наше положение, просил помочь нам своим влиянием. Городничий, барон Э., кликнул ямщиков, послал за кузнецами, условился в цене и велел, чтобы все было готово через час. Успокоив меня таким образом, он вдруг спросил меня совсем неожиданно: «Позвольте узнать, кто едет с вами в серой шляпе?» — «Гоголь», — отвечал я. «Какой Гоголь? — вскрикнул городничий. — Уж не писатель ли Гоголь, сочинивший «Ревизора»?» — «Он самый». — «Ах, сделайте одолжение, познакомьте меня с ним; я много уважаю этого сочинителя, читал все его сочинения, и был бы совершенно счастлив, если б мог поговорить с ним». Я знал странный характер Гоголя, не любившего никаких новых знакомств, и

потому боялся, что он после будет сердиться на меня, если я представлю ему городничего; но отказать любезному майору в такой пустой вещи за все его хлопоты не было возможности, и я повел его прямо к Гоголю. «Николай Васильевич, позвольте вам представить начальника здешнего города барона Э., по милости которого мы еще можем поспеть сегодня в деревню». К моему удивлению, Гоголь весьма любезно поклонился майору и протянул ему руку, прибавив: «Очень рад с вами познакомиться». — «А я совершенно счастлив, что вижу нашего знаменитого писателя, — отвечал городничий, — давно желал где-нибудь вас увидеть; читал все ваши сочинения и «Мертвые души», но в особенности люблю «Ревизора», где вы так верно описали нашего брата городничего. Да, встречаются до сих пор еще... встречаются такие городничие».

Гоголь улыбнулся и тотчас переменил разговор.

— Вы давно здесь?

— Нет, только полтора года.

— А городок, кажется, порядочный?

— Помилуйте, прескверный городишка, скука смертная, общества никакого!

— Ну а кроме чиновников, живут ли здесь помещики?

— Есть, но немного, всего три семейства, но от них никакого прока, все между собой в ссоре.

— Отчего это, за что поссорились?

Тут я оставил Гоголя с городничим и пошел на станцию. Через четверть часа я застал их еще на том же месте. Гоголь говорил с ним уже о купцах и внимательно расспрашивал, кто именно и чем торгует, где сбывает свои товары, каким промыслом занимаются крестьяне в уезде; бывают ли в городе ярмарки и тому подобное. Я перебил их живой разговор предложением Гоголю позавтракать. Услыхав это, городничий стал извиняться, что уже отобедал, и потому жалеет, что не может просить нас к себе; но, кликнув будочника, послал его вперед в трактир, приготовить нам особенную комнату и обед, а сам пошел провожать нас. Гоголь впился в моего городничего, как пиявка, и не уставал расспрашивать его обо всем, что его занимало. У трактира городничий с нами раскланялся. На сцену явился половой и бойко повел нас по лестнице в особый нумер. Гоголь стал заказывать обед, выдумал какое-то новое блюдо из ягод, муки, сливок и еще чего-то, помню только, что оно вовсе не было вкусно. Покуда мы обедали, он все время разговаривал с половым, расспрашивал его, откуда он, сколько получает жалованья, где его родители, кто чаще других заходит к ним в трактир,

какое кушанье больше любят чиновники в Малоярославце и какую водку употребляют, хорош ли у них городничий и тому подобное. Расспросил о всех живущих в городе и близ города и остался очень доволен остроумными ответами бойкого парня в белой рубашке, который лукаво улыбался, сплетничал наславу и, как я полагаю, намеренно отвечал всякий раз так, чтобы вызвать Гоголя на новые расспросы и шутки. Наконец, ровно через час, тарантас подкатил к крыльцу, и мы, простившись с шоссе, поехали уже по большой калужской дороге. Гоголь продолжал быть в духе, восхищался свежею зеленью деревьев, безоблачным небом, запахом полевых цветов и всеми прелестями деревни. Мы ехали довольно тихо, а он беспрестанно останавливал кучера, выскакивал из тарантаса, бежал через дорогу в поле и срывал какой-нибудь цветок; потом садился, рассказывал мне довольно подробно, какого он класса, рода, какое его лечебное свойство, как называется он по-латыни и как называют его наши крестьяне. Окончив трактат о цветке, он втыкал его перед собой за козлами тарантаса и через пять минут опять бежал за другим цветком, опять объяснял мне его качества, происхождение и ставил на то же место. Таким образом, через час с небольшим образовался у нас в тарантасе целый цветник желтых, лиловых, розовых цветов. Гоголь признался, что всегда любил ботанику и в особенности любил знать свойства, качества растений и доискиваться, под какими именами эти растения известны в народе и на что им употребляются. Терпеть не могу, прибавил он, эти новые ботаники, в которых темно и ученым слогом толкуют о вещах самых простых. Я всегда читаю те старинные ботаники и русские и иностранные, которые теперь уже не в моде, а которые между тем сто раз лучше объясняют вам дело.

Но вот мы свернули с большой дороги и поехали проселком. Солнце садилось. Гоголь то и дело спрашивал меня, да где же это Бегичево? Наконец направо от дороги показалось белое каменное строение, блеснул между деревьями пруд, и через пять минут мы подъехали к крыльцу господского дома. Нам, разумеется, очень обрадовались, напоили нас чаем, и мы скоро улеглись спать. На другой день Гоголь уже бегал по старинному, стриженному саду с прямыми аллеями и вернулся усталый.

Четыре дня, проведенные нами в деревне, не оставили во мне никаких особенных воспоминаний... Помню, что мы ходили в большом обществе за грибами, помню, что ездили в длинной, восьмиместной линейке в именье г. Гончарова в пяти верстах от Бегичева, где одно время, кажется, вскоре после свадьбы своей, жил Пушкин; помню, что каждый вечер читал нам Гоголь «Одиссею» в переводе Жуковского и восхищался каждой строчкой. Читал он стихи превосходно и досадовал, когда мы не восхищались теми местами, на которые он особенно указывал; вот и все.

На пятый день мы переехали в Калугу, в загородный губернаторский дом...

По приезде в Калугу Гоголь и я поместились во флигеле, в двух комнатках рядом. По утрам Гоголь запирался у себя, что-то писал, всегда стоя, потом гулял по саду один и являлся в гостиную перед самым обедом. От обеда до позднего вечера он всегда оставался с нами или с сестрой, гулял, беседовал и был большую часть времени весел; с чиновниками и их женами он знакомился мало и неохотно, а они смотрели на него с любопытством и некоторым удивлением. Иногда Гоголь поражал меня своими странностями. Вдруг явится к обеду в ярких желтых панталонах и в жилете светлоголубого, бирюзового цвета; иногда же оденется весь в черное, даже спрячет воротничок рубашки и волосы не причешет, а на другой день, опять без всякой причины, явится в платье ярких цветов, приглаженный, откроет белую, как снег, рубашку, развесит золотую цепь по жилету и весь смотрит каким-то именинником. Одевался он вообще без всякого вкуса и, казалось, мало заботился об одежде, а зато в другой раз наденет что-нибудь очень безобразное, а между тем видно, что он много думал, как бы нарядиться покрасивее. Знакомые Гоголя уверяли меня, что иногда встречали его в Москве у куаферов и что он завивал свои волосы. Усами своими он тоже занимался немало. Странно все это в человеке, который так тонко смеялся над смешными привычками и слабостями других людей, от внимания которого ничего не ускользало и который подмечал не только душевные качества и недостатки человека, не только его наружность в совершенстве, но и как он говорит, ходит, ест, спит, одевается, всю его внешность до последней булавки, до самой ничтожной вещи, отличающей его от других людей. Кто знал Гоголя коротко, тот не может не верить его признанию, когда он говорит, что бо́льшую часть своих пороков и слабостей он передавал своим героям, осмеивал их в своих повестях и таким образом избавлялся от них навсегда. Я решительно верю этому наивному откровенному признанию. Гоголь был необыкновенно строг к себе, постоянно боролся с своими слабостями и от этого часто впадал в другую крайность и бывал иногда так странен и оригинален, что многие принимали это за аффектацию и говорили, что он рисуется. Много можно привести доказательств тому, что Гоголь действительно работал всю свою жизнь над собою, и в своих сочинениях осмеивал часто самого себя. Вот, покуда, что известно и чему я был свидетелем. Гоголь любил хорошо поесть и в состоянии был, как Петух, толковать с поваром целый час о какой-нибудь кулебяке; наедался очень часто до того, что бывал болен; о малороссийских варениках и пампушках говорил с наслаждением и так увлекательно, что *у мертвого рождался аппетит*, в Италии сам бегал на кухню и учился приготовлять макароны. А между тем очень редко позволял себе такие увлечения и был в состоянии довольствоваться самою скудною пищей, и постился иногда как самый строгий отшельник, а во время говенья

почти ничего не ел. Гоголь очень любил и ценил хорошие вещи и в молодости, как сам он мне говорил, имел страстишку к приобретению разных ненужных вещиц: чернильниц, вазочек, пресс-папье и проч. Страсть эта могла бы, без сомнения, развиться в громадный порок Чичикова — хозяина-приобретателя. Но, отказавшись раз навсегда от всяких удобств, от всякого комфорта, отдав свое имение матери и сестрам, он уже никогда ничего не покупал, даже не любил заходить в магазины и мог, указывая на свой маленький чемодан, сказать скорей другого: omnia mea mecum porto,[156] — потому что с этим чемоданчиком он прожил почти тридцать лет, и в нем действительно было все его достояние. Когда случалось, что друзья, не зная его твердого намерения не иметь ничего лишнего и затейливого, дарили Гоголю какую-нибудь вещь красивую и даже полезную, то он приходил в волнение, делался скучен, озабочен и решительно не знал, что ему делать. Вещь ему нравилась, она была в самом деле хороша, прочна и удобна; но для этой вещи требовался и приличный стол, необходимо было особое место в чемодане, и Гоголь скучал все это время, покуда продолжалась нерешительность, и успокаивался только тогда, когда дарил ее кому-нибудь из приятелей. Так в самых безделицах он был тверд и непоколебим. Он боялся всякого увлечения. Раз в жизни удалось ему скопить небольшой капитал, кажется, в 5000 р. с., и он тотчас же отдает его, под большою тайною, своему приятелю профессору* для раздачи бедным студентам, чтобы не иметь никакой собственности и не получить страсти к приобретению; а между тем через полгода уже сам нуждается в деньгах и должен прибегнуть к займам. Вот еще один пример. Глава первого тома «Мертвых душ» оканчивается таким образом: один капитан, страстный охотник до сапогов, полежит, полежит и соскочит с постели, чтобы примерить сапоги и походить в них по комнате, потом опять ляжет и опять примеряет их. Кто поверит, что этот страстный охотник до сапогов не кто иной, как сам Гоголь? И он даже нисколько не скрывал этого и признавался в этой слабости, почитая слабостью всякую привычку, всякую излишнюю привязанность к чему бы то ни было. В его маленьком чемодане всего было очень немного, и платья и белья ровно столько, сколько необходимо, а сапогов было всегда три, часто даже четыре пары, и они никогда не были изношены. Очень может быть, что Гоголь тоже, оставаясь у себя один в комнате, надевал новую пару и наслаждался, как и тот капитан, формою своих сапогов, а после сам же смеялся над собою.

Через неделю с небольшим после нашего приезда в Калугу в одно утро я захотел войти к сестре моей в кабинет; но мне сказали, что там Гоголь читает свои сочинения и что сестра просила, по желанию Гоголя, никого не впускать к ней. Постояв у дверей, я действительно услыхал чтение Гоголя. Оно продолжалось до обеда. Вечером сестра рассказывала мне, что Гоголь прочел ей несколько глав из второго тома «Мертвых душ» и что все им прочитанное было превосходно. Я, разумеется, просил ее

уговорить Гоголя допустить и меня к слушанию; он сейчас же согласился, и на другой день мы собрались для этого в одиннадцать часов утра, на балконе, уставленном цветами. Сестра села за пяльцы, я покойно поместился в кресле против Гоголя, и он начал читать нам сначала ту первую главу второго тома, которая вышла в свет после его смерти уже. Сколько мне помнится, она начиналась иначе и вообще была лучше обработана, хотя содержание было то же. Хохотом генерала Бетрищева оканчивалась эта глава, а за нею следовала другая, в которой описан весь день в генеральском доме. Чичиков остался обедать. К столу явились, кроме Уленьки, еще два лица: англичанка, исправлявшая при ней должность гувернантки, и какой-то испанец или португалец, проживавший у Бетрищева в деревне с незапамятных времен и неизвестно для какой надобности. Первая была девица средних лет, существо бесцветное, некрасивой наружности, с большим тонким носом и необыкновенно быстрыми глазами. Она держалась прямо, молчала по целым дням и только беспрерывно вертела глазами в разные стороны с глупо-вопросительным взглядом. Португалец, сколько я помню, назывался Экспантон, Хситендон или что-то в этом роде; но помню твердо, что вся дворня генерала называла его просто — Эскадрон. Он тоже постоянно молчал, но после обеда должен был играть с генералом в шахматы. За обедом не произошло ничего необыкновенного. Генерал был весел и шутил с Чичиковым, который ел с большим аппетитом; Уленька была задумчива, и лицо ее оживлялось только тогда, когда упоминали о Тентетникове. После обеда генерал сел играть с испанцем в шахматы и, подвигая шашки вперед, беспрерывно повторял: «Полюби нас беленькими...» «Черненькими, ваше превосходительство», — перебивал его Чичиков. «Да, повторял генерал, полюби нас черненькими, а беленькими нас сам господь бог полюбит». Через пять минут он опять ошибался, и начинал опять: «Полюби нас беленькими» и опять Чичиков поправлял его, и опять генерал, смеясь, повторял: «Полюби нас черненькими, а беленькими нас сам господь бог полюбит». После нескольких партий с испанцем генерал предложил Чичикову сыграть одну или две партии, и тут Чичиков выказал необыкновенную ловкость. Он играл очень хорошо, затруднял генерала своими ходами, и кончил тем, что проиграл; генерал был очень доволен тем, что победил такого сильного игрока, и еще более полюбил за это Чичикова. Прощаясь с ним, он просил его возвратиться скорее и привезти с собою Тентетникова. Приехав к Тентетникову в деревню, Чичиков рассказывает ему, как грустна Уленька, как жалеет генерал, что его не видит, что генерал совершенно раскаивается и, чтобы кончить недоразумение, намерен сам первый к нему приехать с визитом и просить у него прощения. Все это Чичиков выдумал. Но Тентетников, влюбленный в Уленьку, разумеется, радуется предлогу и говорит, что если все это так, то он не допустит генерала до этого, а сам завтра же готов ехать, чтобы предупредить его визит. Чичиков это одобряет, и они

условливаются ехать вместе на другой день к генералу Бетрищеву. Вечером того же дня Чичиков признается Тентетникову, что соврал, рассказав Бетрищеву, что будто бы Тентетников пишет историю о генералах. Тот не понимает, зачем это Чичиков выдумал, и не знает, что ему делать, если генерал заговорит с ним об этой истории. Чичиков объясняет, что и сам не знает, как это у него сорвалось с языка; но что дело уже сделано, а потому убедительно просит его, ежели он уже не намерен лгать, то чтобы ничего не говорил, а только бы не отказывался решительно от этой истории, чтоб его не скомпрометировать перед генералом. За этим следует поездка их в деревню генерала; встреча Тентетникова с Бетрищевым, с Уленькой и наконец обед. Описание этого обеда, по моему мнению, было лучшее место второго тома. Генерал сидел посредине, по правую его руку Тентетников, по левую Чичиков, подле Чичикова Уленька, подле Тентетникова испанец, а между испанцем и Уленькой англичанка; все казались довольны и веселы. Генерал был доволен, что помирился с Тентетниковым и что мог поболтать с человеком, который пишет историю отечественных генералов; Тентетников — тем, что почти против него сидела Уленька, с которою он по временам встречался взглядами; Уленька была счастлива тем, что тот, кого она любила, опять с ними и что отец опять с ним в хороших отношениях, и наконец Чичиков был доволен своим положением примирителя в этой знатной и богатой семье. Англичанка свободно вращала глазами, испанец глядел в тарелку и поднимал свои глаза только тогда, как вносили новое блюдо. Приметив лучший кусок, он не спускал с него глаз во все время, покуда блюдо обходило кругом стола или покуда лакомый кусок не попадал к кому-нибудь на тарелку. После второго блюда генерал заговорил с Тентетниковым о его сочинении и коснулся 12-го года. Чичиков струхнул и со вниманием ждал ответа. Тентетников ловко вывернулся. Он отвечал, что не его дело писать историю кампании, отдельных сражений и отдельных личностей, игравших роль в этой войне, что не этими геройскими подвигами замечателен 12-й год, что много было историков этого времени и без него; но что надобно взглянуть на эту эпоху с другой стороны: важно, по его мнению, то, что весь народ встал как один человек на защиту отечества; что все расчеты, интриги и страсти умолкли на это время; важно, как все сословия соединились в одном чувстве любви к отечеству, как каждый спешил отдать последнее свое достояние и жертвовал всем для спасения общего дела; вот что̀ важно в этой войне и вот что́ желал он описать в одной яркой картине, со всеми подробностями этих невидимых подвигов и высоких, но тайных жертв! Тентетников говорил довольно долго и с увлечением, весь проникнулся в эту минуту чувством любви к России. Бетрищев слушал его с восторгом, и в первый раз такое живое, теплое слово коснулось его слуха. Слеза, как бриллиант чистейшей воды, повисла на седых усах. Генерал был прекрасен; а Уленька? Она вся впилась глазами в Тентетникова, она, казалось, ловила

с жадностию каждое его слово, она, как музыкой, упивалась его речами, она любила его, она гордилась им! Испанец еще более потупился в тарелку, англичанка с глупым видом оглядывала всех, ничего не понимая. Когда Тентетников кончил, водворилась тишина, все были взволнованы… Чичиков, желая поместить и свое слово, первый прервал молчание. «Да, — сказал он, — страшные холода были в 12-м году!» — «Не о холодах тут речь», — заметил генерал, взглянув на него строго. Чичиков сконфузился. Генерал протянул руку Тентетникову и дружески благодарил его; но Тентетников был совершенно счастлив тем уже, что в глазах Уленьки прочел себе одобрение. История о генералах была забыта. День прошел тихо и приятно для всех. — После этого я не помню порядка, в котором следовали главы; помню, что после этого дня Уленька решилась говорить с отцом своим серьезно о Тентетникове. Перед этим решительным разговором, вечером, она ходила на могилу матери и в молитве искала подкрепления своей решимости. После молитвы вошла она к отцу в кабинет, стала перед ним на колени и просила его согласия и благословения на брак с Тентетниковым. Генерал долго колебался и наконец согласился. Был призван Тентетников, и ему объявили о согласии генерала. Это было через несколько дней после мировой. Получив согласие, Тентетников, вне себя от счастия, оставил на минуту Уленьку и выбежал в сад. Ему нужно было остаться одному, с самим собою: счастье его душило!.. Тут у Гоголя были две чудные лирические страницы. — В жаркий летний день, в самый полдень, Тентетников — в густом, тенистом саду, и кругом его мертвая, глубокая тишина. Мастерскою кистью описан был этот сад, каждая ветка на деревьях, палящий зной в воздухе, кузнечики в траве и все насекомые, и наконец все то, что чувствовал Тентетников, счастливый, любящий и взаимно любимый! Я живо помню, что это описание было так хорошо, в нем было столько силы, колорита, поэзии, что у меня захватывало дыхание. Гоголь читал превосходно! В избытке чувств, от полноты счастья, Тентетников плакал и тут же поклялся посвятить всю свою жизнь своей невесте. В эту минуту в конце аллеи показывается Чичиков. Тентетников бросился к нему на шею и благодарит его. «Вы мой благодетель, вам обязан я моим счастием; чем могу возблагодарить вас?.. всей моей жизни мало для этого…» У Чичикова в голове тотчас блеснула своя мысль: «Я ничего для вас не сделал, это случай, — отвечал он, — я очень счастлив, но вы легко можете отблагодарить меня!» — «Чем, чем? — повторил Тентетников. — Скажите скорее, и я все сделаю». Тут Чичиков рассказывает о своем мнимом дяде, о том, что ему необходимо хотя на бумаге иметь триста душ. «Да зачем же непременно мертвых?» — говорит Тентетников, не хорошо понявший, чего, собственно, добивается Чичиков. «Я вам на бумаге отдам все мои триста душ, и вы можете показать наше условие вашему дядюшке, а после, когда получите от него имение, мы уничтожим купчую». Чичиков остолбенел от удивления! «Как, вы не боитесь сделать это?.. Вы не

боитесь, что я могу вас обмануть... употребить во зло ваше доверие?» Но Тентетников не дал ему кончить. «Как? — воскликнул он, — сомневаться в вас, которому я обязан более чем жизнию!» Тут они обнялись, и дело было решено между ними. Чичиков заснул сладко в этот вечер. На другой день в генеральском доме было совещание, как объявить родным генерала о помолвке его дочери, письменно или через кого-нибудь, или самим ехать. Видно, что Бетрищев очень беспокоился о том, как примут княгиня Зюзюкина и другие знатные его родные эту новость. Чичиков и тут оказался очень полезен: он предложил объехать всех родных генерала и известить о помолвке Уленьки и Тентетникова. Разумеется, он имел в виду при этом все те же мертвые души. Его предложение принято с благодарностию. Чего лучше? думал генерал, он человек умный, приличный; он сумеет объявить об этой свадьбе таким образом, что все будут довольны. Генерал для этой поездки предложил Чичикову дорожную двухместную коляску заграничной работы, а Тентетников четвертую лошадь. Чичиков должен был отправиться через несколько дней. С этой минуты на него все стали смотреть в доме генерала Бетрищева, как на домашнего, как на друга дома. Вернувшись к Тентетникову, Чичиков тотчас же позвал к себе Селифана и Петрушку и объявил им, чтоб они готовились к отъезду. Селифан в деревне Тентетникова совсем изленился, спился и не походил вовсе на кучера, а лошади совсем оставались без присмотра. Петрушка же совершенно предался волокитству за крестьянскими девками. Когда же привезли от генерала легкую, почти новую коляску и Селифан увидел, что он будет сидеть на широких козлах и править четырьмя лошадьми в ряд, то все кучерские побуждения в нем проснулись и он стал с большим вниманием и с видом знатока осматривать экипаж и требовать от генеральских людей разных запасных винтов и таких ключей, каких даже никогда и не бывает. Чичиков тоже думал с удовольствием о своей поездке: как он разляжется на эластических с пружинами подушках, и как четверня в ряд понесет его легкую, как перышко, коляску.

Вот все, что читал при мне Гоголь из второго тома «Мертвых душ». Сестре же моей он прочел, кажется, девять глав*. Она рассказывала мне после, что удивительно хорошо отделано было одно лицо в одной из глав; это лицо: эманципированная женщина-красавица, избалованная светом, кокетка, проведшая свою молодость в столице, при дворе и за границей. Судьба привела ее в провинцию; ей уже за тридцать пять лет, она начинает это чувствовать, ей скучно, жизнь ей в тягость. В это время она встречается с везде и всегда скучающим Платоновым, который также израсходовал всего себя, таскаясь по светским гостиным. Им обоим показалась их встреча в глуши, среди ничтожных людей, их окружающих, каким-то великим счастием; они начинают привязываться друг к другу, и это новое чувство, им незнакомое, оживляет их; они думают, что любят друг друга, и с восторгом предаются этому чувству. Но это оживление, это счастие было только на минуту, и через месяц

после первого признания они замечают, что это была только вспышка, каприз, что истинной любви тут не было, что они и не способны к ней, и затем наступает с обеих сторон охлаждение и потом опять скука и скука, и они, разумеется, начинают скучать в этот раз еще более, чем прежде. Сестра уверяла меня, а С. П. Шевырев подтвердил, что характер этой женщины и вообще вся ее связь с Платоновым изображены были у Гоголя с таким мастерством, что ежели это правда, то особенно жаль, что именно эта глава не дошла до нас, потому что мы все остаемся теперь в том убеждении, что Гоголь не умел изображать женские характеры; и действительно везде, где они являлись в его произведениях, они выходили слабы и бледны. Это было замечено даже всеми критиками*.

Когда Гоголь окончил чтение, то обратился ко мне с вопросом. «Ну, что вы скажете? Нравится ли вам?» — «Удивительно, бесподобно! — воскликнул я. — В этих главах вы гораздо ближе к действительности, чем в первом томе; тут везде слышится жизнь, как она есть, без всяких преувеличений; а описание сада — верх совершенства». — «Ну, а не сделаете ли вы мне какого-либо замечания? Нет ли тут вещи, которая бы вам не совсем понравилась?» — возразил снова Гоголь. Я немного подумал и откровенно отвечал ему, что Уленька кажется мне лицом немного идеальным, бледным, неоконченным. «К тому же, — прибавил я, — вы изобразили ее каким-то совершенством, а не говорите между тем, отчего она вышла такою, кто в этом виноват, каково было ее воспитание, кому она этим обязана... Не отцу же своему и глупой молчаливой англичанке». Гоголь немного задумался и прибавил: «Может быть, и так. Впрочем, в последующих главах она выйдет у меня рельефнее. Я вообще не совсем доволен; еще много надо будет дополнить, чтобы характеры вышли покрупнее». Он не был доволен, а мне казалось, что я не выбросил бы ни единого слова, не прибавил ни одной черты: так все было обработано и окончено, кроме одной Уленьки.

...Вскоре после чтения второго тома «Мертвых душ» я уехал в Москву, а Гоголь остался в Калуге еще на две недели. Прошел месяц с небольшим. Я был зван на именинный обед в Сокольники, к почтенному И. В. К<апнисту>. Гостей было человек семьдесят. Обедали в палатке, украшенной цветами; в саду гремела полковая музыка. Гоголь опоздал и вошел в палатку, когда уже все сидели за столом. Его усадили между двумя дамами, его великими почитательницами. После обеда мужчины, как водится, уселись за карты; девицы и молодежь рассыпались по саду. Около Гоголя образовался кружок; но он молчал и, развалившись небрежно в покойном кресле, забавлялся зубочисткой. Я сидел возле зеленого стола, за которым играли в ералаш три сенатора и военный генерал. Один из сенаторов, в военном же мундире, с негодованием посматривал на Гоголя. «Не могу видеть этого человека, — сказал он,

наконец, обращаясь к другому сенатору во фраке. — Посмотрите на этого гуся, как важничает, как за ним ухаживают! Что *за аттитюда*,[157] что за *аплон!*[158] — и все четверо взглянули на Гоголя с презрением и пожали плечами. «Ведь это революционер, — продолжал военный сенатор, — я удивляюсь, право, как это пускают его в порядочные дома? Когда я был губернатором и когда давали его пиесы в театре, поверите ли, что при всякой глупой шутке или какой-нибудь пошлости, насмешке над властью, весь партер обращался к губернаторской ложе. Я не знал, куда деться, наконец не вытерпел и запретил давать его пиесы. У меня в губернии никто не смел и думать о «Ревизоре» и других его сочинениях. Я всегда удивлялся, как это правительство наше не обращало внимания на него: ведь его стоило бы, за эти «Мертвые души», и в особенности за «Ревизора», сослать в такое место, куда ворон костей не заносит!» Остальные партнеры почтенного сенатора совершенно были согласны с его замечаниями и прибавили только: «Что и говорить, он опасный человек, мы давно это знаем».

Через несколько дней я встретил Гоголя на Тверском бульваре, и мы гуляли вместе часа два. Разговор зашел о современной литературе. Я прежде никогда не видал у Гоголя ни одной книги, кроме сочинений отцов церкви и старинной ботаники, и потому весьма удивился, когда он заговорил о русских журналах, о русских новостях, о русских поэтах. Он все читал и за всем следил. О сочинениях Тургенева, Григоровича, Гончарова отзывался с большою похвалой. «Это все явления утешительные для будущего, — говорил он. — Наша литература в последнее время сделала крутой поворот и попала на настоящую дорогу. Только стихотворцы наши хромают, и времена Пушкина, Баратынского и Языкова возвратиться не могут!»

— Вы вчера, кажется, читали несколько глав из второго тома И. В. Капнисту? — сказал я.

— Читал, а что?

— Я не понимаю, Николай Васильевич, какую вы имеете охоту читать ему ваши сочинения! Он вас очень любит и уважает, но как человека, а вовсе не как писателя! Знаете ли, что он мне сказал вчера? Что, по его мнению, у вас нет ни на грош таланта! Несмотря на свой обширный ум, И. В. ничего не смыслит в изящной литературе и поэзии; я не могу слышать его суждений о наших писателях. Он остановился на «Водопаде» Державина и дальше не пошел. Даже Пушкина не любит; говорит, что стихи его звучны, гладки, но что мыслей у него нет и что он ничего не произвел замечательного.

Гоголь улыбнулся... «Вот что он так отзывается о Пушкине, я этого не знал; а что мои сочинения он не любит, это мне давно известно, но я уважаю И. В. и давно его знаю. Я читал ему мои сочинения именно

потому, что он их не любит и предупрежден против них. Что мне за польза читать вам или другому, кто восхищается всем, что я ни написал? Вы, господа, заранее предупреждены в мою пользу и настроили себя на то, чтобы находить все прекрасным в моих сочинениях. Вы редко, очень редко сделаете мне дельное, строгое замечание, а И. В., слушая мое чтение, отыскивает только одни слабые места и критикует строго и беспощадно, а иногда и очень умно. Как светский человек, как человек практический и ничего не смыслящий в литературе, он иногда, разумеется, говорит вздор, но зато в другой раз сделает такое замечание, которым я могу воспользоваться. Мне именно полезно читать таким умным не литературным судьям. Я сужу о достоинстве моих сочинений по тому впечатлению, какое они производят на людей, мало читающих повести и романы. Если они рассмеются, то, значит, уже действительно смешно, если будут тронуты, то, значит, уже действительно трогательно, потому что они с тем уселись слушать меня, чтобы ни за что не смеяться, чтобы ничем не трогаться, ничем не восхищаться»*.

Слушая Гоголя, я невольно вспомнил о кухарке Мольера*.

Зимой я видался с Гоголем редко и не знаю, что он делал, чем занимался; но вот наступила весна, и Гоголь стал чаще заходить ко мне, в послеобеденное время. Сестра моя переехала в подмосковную, в двадцати пяти верстах от Коломны*. В одно утро Гоголь явился ко мне с предложением ехать недели на три в деревню к сестре. Я на несколько дней получил отпуск, и мы отправились. Гоголь был необыкновенно весел во всю дорогу и опять смешил меня своими малороссийскими рассказами; потом, не помню уже каким образом, от смешного разговор перешел в серьезный. Гоголь заговорил о монастырях, о их общественном значении в прошедшем и настоящем. Он говорил прекрасно о монастырской жизни, о той простоте, в какой живут истинные монахи, о том счастьи, какое находят они в молитве, среди прекрасной природы, в глуши, в дремучих лесах! «Вот, например, сказал он, вы были в Калуге, а ездили ли вы в Оптину пустынь, что подле Козельска?» — «Как же, отвечал я, был». — «Ну, не правда ли, что за прелесть! Какая тишина, какая простота!» — «Я знаю, что вы бывали там часто, Николай Васильевич, и в последний раз, когда хотели ехать в Малороссию, не доехали и остановились в Оптиной пустыни, кажется, на несколько дней». — «Да, я на перепутьи всегда заезжаю в эту пустынь и отдыхаю душой. Там у меня в монастыре есть человек, которого я очень люблю... Я хорошо знаю и настоятеля отца Моисея». — «Кто же этот друг ваш?» — «Некто Григорьев*, дворянин, который был прежде артиллерийским офицером, а теперь сделался усердным и благочестивым монахом и говорит, что никогда в свете не был так счастлив, как в монастыре. Он славный человек и настоящий христианин; душа его такая детская, светлая, прозрачная! Он вовсе не пасмурный монах, бегающий от людей, не любящий беседы. Нет, он,

напротив того, любит всех людей как братьев; он всегда весел, всегда снисходителен. Это высшая степень совершенства, до которой только может дойти истинный христианин. Покуда человек еще не выработался, не совершенно воспитал себя, хотя он и стремится к совершенству, в нем все еще слишком много строгости, слишком много угловатого и много отталкивающего.[159] Если же раз он успеет, с божьею помощью, уничтожить в себе все сомнения, примирится с жизнью и дойдет до настоящей любви, то сделается тогда совершенно спокоен, весел, ко всем добр, со всеми ласков. Таковы все эти монахи в пустыне: отец Моисей, отец Антоний, отец Макарий; таков и мой друг Григорьев». — «А не знаете ли вы, какая причина заставила его оставить свет и поступить в монастырь? Не было ли в его жизни какого-нибудь особенного обстоятельства, которое дало ему эту мысль?» — «Этого я хорошенько не знаю, — отвечал мне Гоголь, — только знаю, что он всегда был поэтом и мечтателем. Он всегда поступал по увлечению и способен был на всякие внезапные порывы. Вот я вам расскажу про него один очень забавный анекдот, который случился с ним, когда ему было лет восьмнадцать, не более, но который объяснит вам всю страстную натуру этого человека. Григорьев, как я вам уже сказал, служил в армейской артиллерии. Батарея, в которой он числился, была расположена с другими войсками в одной из великороссийских губерний; весь корпус был в сборе, в лагерях, и корпусный командир производил учение, маневры и артиллерийскую практическую пальбу. Григорьев тогда очень любил чтение и бредил стихами. Этому направлению способствовал в то время Пушкин, которого поэмы расходились в множестве по всем углам и закоулкам России. Вы знаете, с какою жадностию везде читались, переписывались и затверживались наизусть его стихи. Имя Пушкина было тогда у всякого порядочного человека и на языке и в сердце. Григорьев, как и все другие, был в восторге от «Кавказского пленника», «Бахчисарайского фонтана» и прочего. Вот раз был он дежурным, что ли, или взвод его был выведен на ученье, я право не умею вам сказать, только случилось так, что он один находился на линейке, а все офицеры были еще по своим палаткам. Артиллерийская прислуга стояла по местам, фитили курились. Григорьев в задумчивости ходил подле своих двух орудий. Вдруг видит он: с большой дороги свернула коляска, за нею взвилось облако пыли, коляска катит прямо на батарею. В нескольких шагах от Григорьева экипаж остановился: из него вышел молодой человек, небольшого роста, черноволосый, кудрявый, с быстрыми, умными черными глазами. Слегка поклонившись, он вежливо подошел к Григорьеву с вопросом: «Позвольте узнать, где могу я отыскать полковника N?» — «Он в нескольких верстах отсюда, в другой деревне», — отвечал Григорьев и стал объяснять, как ближе проехать до деревни. Выслушав это объяснение со вниманием, молодой человек поблагодарил за услугу и хотел уже удалиться, как Григорьев,

почувствовав внезапно необыкновенную симпатию к незнакомцу, спросил его: «Извините за нескромность, я желал бы знать, с кем имею удовольствие говорить?»

— Пушкин...

— Какой Пушкин?.. — вскрикнул Григорьев.

— Александр Сергеевич Пушкин, — отвечал молодой человек улыбаясь.

— Вы Александр Сергеевич Пушкин, вы наш поэт, наша гордость, честь и слава... Вы сочинитель «Бахчисарайского фонтана», «Руслана и Людмилы»... — и Григорьев, весь красный от восторга, замахал руками и вдруг крикнул: «Орудие! Первая пли...», и вслед за тем раздался выстрел... «Вторая... пли...», и опять выстрел. На эти выстрелы, конечно, высыпали и солдаты и офицеры из своих палаток, где-то забили тревогу, прискакал сам батарейный командир, и бедного моего Григорьева, страстного поклонника поэзии, за неуместный восторг, посадили под арест, несмотря на все просьбы А. С. Пушкина, который, вероятно, много смеялся этому неожиданному происшествию».

— И поделом посадили молодца под арест, — сказал я смеясь, — вот и выходит, что городничий прав. Положим, что Александр Македонский — герой, да зачем же стулья-то ломать!

Подмосковная деревня, в которой мы поселились на целый месяц, очень понравилась Гоголю. Все время, которое он там прожил, он был необыкновенно бодр, здоров и доволен. Дом прекрасной архитектуры, построенный по планам Гр. Растрелли, расположен на горе; два флигеля того же вкуса соединяются с домом галлереями, с цветами и деревьями; посреди дома круглая зала с обширным балконом, окруженным легкою колоннадой. Направо от дома стриженый французский сад с беседками, фруктовыми деревьями, грунтовыми сараями и оранжереями; налево английский парк с ручьями, гротами, мостиками, развалинами и густою прохладною тенью. Перед домом, через террасу, уставленную померанцами и лимонами, и мраморными статуями, ровный скат, покрытый ярко-свежею зеленью, и внизу — Москва-река, с белою купальнею и большим красивым паромом. За речкой небольшие возвышенности, деревушка соседа с усадьбою, сереньким городским домиком, маленьким садом и покачнувшимися набок крестьянскими избами. На одной линии с господским домом, по сю сторону реки, на расстоянии четверти версты от сада, скотный двор, белый дом с красною крышей, где помещалась контора и жил управляющий и, наконец, десять или двенадцать кирпичных не оштукатуренных крестьянских домиков, с огородами, коноплянниками и прочими хозяйскими заведениями. По другую сторону дома зеленый луг, цветники, качели и китайская беседка, с видом на господское поле, и темный сосновый лес. Вот и все. Гоголь жил подле меня во флигеле, вставал рано, гулял один в

парке и в поле, потом завтракал и запирался часа на три у себя в комнате. Перед обедом мы ходили с ним купаться. Он уморительно плясал в воде и делал в ней разные гимнастические упражнения, находя это очень здоровым. Потом мы опять гуляли с ним по саду, в три часа обедали, а вечером ездили иногда на дрогах гулять, к соседям или в лес. К сожалению, сестра моя скоро захворала, и прогулки наши прекратились. Чтобы рассеять ее, Гоголь сам предложил прочесть окончание второго тома «Мертвых душ»; но сестра откровенно сказала Гоголю, что ей теперь не до чтения и не до его сочинений. Мне показалось, что он немного обиделся этим отказом; я же был в большом горе, что не удалось мне дослушать второго тома до конца, хотя и ожидал тогда его скорого появления в печати; но одно уже чтение Гоголя было для меня истинным наслаждением. Я все надеялся, что здоровье сестры поправится и что Гоголь будет читать; но ожидания мои не сбылись. Сестре сделалось хуже, и она должна была переехать в Москву, чтобы начать серьезное лечение. Гоголь, разумеется, тоже оставил деревню.... В Москве он каждый вечер бывал у сестры и забавлял нас своими расказами. — Однажды он пришел к нам от С. Т. Аксакова, где автор «Семейной хроники» читал ему свои «Записки ружейного охотника». Это было года за два до их появления в свет*. Гоголь говорил тогда, что никто из русских писателей не умеет описывать природу такими сильными, свежими красками, как Аксаков. В другой раз я встретил Гоголя у сестры и объявил ему, что иду в театр, где дают «Ревизора», и что Шумский в первый раз играет в его комедии роль Хлестакова. Гоголь поехал с нами, и мы поместились, едва достав ложу, в бенуаре*. Театр был полон. Гоголь говорил, что Шумский лучше всех других актеров петербургских и московских передавал эту трудную роль, но не был доволен, сколько я помню, тою сценой, где Хлестаков начинает завираться перед чиновниками. Он находил, что Шумский передавал этот монолог слишком тихо, вяло, с остановками, а он желал представить в Хлестакове человека, который рассказывает небылицы с жаром, с увлечением, который сам не знает, каким образом слова вылетают у него изо рта, который, в ту минуту как лжет, не думает вовсе, что он лжет, а просто рассказывает то, что грезится ему постоянно, чего он желал бы достигнуть, и рассказывает как будто эти грезы его воображения сделались уже действительностию, но иногда в порыве болтовни заговаривается, действительность мешается у него с мечтами, и он от посланников, от управления департаментом, от приемной залы переходит, сам того не замечая, на пятый этаж, к кухарке Марфуше. «Хлестаков, это — живчик, — говорил Гоголь, — он все должен делать скоро, живо, не рассуждая, почти бессознательно, не думая ни одной минуты, что из этого выйдет, как это кончится и как его слова и действия будут приняты другими»*. Вообще комедия в этот раз была разыграна превосходно. Многие в партере заметили Гоголя, и лорнеты стали обращаться на нашу ложу. Гоголь, видимо, испугался

какой-нибудь демонстрации со стороны публики и, может быть, — вызовов, и после вышеописанной сцены вышел из ложи так тихо, что мы и не заметили его отсутствия. Возвратившись домой, мы застали его у сестры распивающим, по обыкновению, теплую воду с сахаром и красным вином. Тут он и передал мне свое мнение об игре Шумского, которого талант он ставил очень высоко.

Зимой этого года я видался с Гоголем довольно часто, бывал у него по утрам и заставал его почти всегда за работой. Раз только нашел я у него одного итальянца, с которым он говорил по-итальянски довольно свободно, но с ужасным выговором. Впрочем, по-французски он говорил еще хуже и выговаривал так, что иной раз с трудом можно было его понять. Этот итальянец был очень беден и несчастлив, и Гоголь помогал ему и принимал в нем живое участие. В последний раз я был у Гоголя в новый год; он был немного грустен, расспрашивал меня очень долго о здоровье сестры, говорил, что имеет намерение ехать в Петербург, когда окончится новое издание его сочинений и когда выйдет в свет второй том «Мертвых душ», который, по его словам, был совершенно окончен. Потом тут же при мне взял почтовый лист бумаги и написал сестре несколько поздравительных слов, запечатал и, отдавая его мне, просил переслать в Петербург. Этим письмом оканчивается переписка его с сестрой, продолжавшаяся четырнадцать лет. Обстоятельства заставили меня скоро оставить Москву: я переменил род службы и должен был отправиться в Петербург. В хлопотах о переезде я не имел времени заходить к Гоголю и совершенно потерял его из виду. Так прошел февраль месяц, и только на первой неделе поста узнал я, что Гоголь болен. Один раз заезжал на Никитскую спросить о его здоровья, но мне сказали, что он в постели и что видеть его нельзя. Я и не думал, что он в опасности и близок к смерти. Через несколько дней захожу я проститься к И. В. Капнисту, и он встречает меня грустный и встревоженный... У него был граф <А. П.> Толстой. «Как здоровье Николая Васильевича?» — спрашиваю я у графа. «Он очень плох, почти без надежды, — отвечал граф. — Сегодня будет еще консультация, посмотрим, что скажут доктора. Гоголь никого не слушается, не принимает никаких лекарств и никакой пищи, и я пришел просить И. В., которого Гоголь очень любит и уважает, заехать к нему еще раз и уговорить его послушаться приказаний медиков. Не знаю, удастся ли нам?..» Я поехал в присутствие и, окончив свои дела, отправился к Гоголю. У подъезда стояло несколько экипажей. Человек сказал мне, что доктора все здесь, что консультация кончилась и что все присутствовавшие на ней отправились наверх в кабинет графа. «А что Николай Васильевич?» — «Все в одном положении». — «Можно его видеть?» — «Войдите», — отвечал он мне, отворяя дверь. Гоголь видно переменил комнаты в последнее время или был перенесен туда уже больной, потому что прежде я бывал у него от входной двери направо, а теперь меня ввели налево, в том же первом этаже. В первой комнате никого не было; во

второй, на постели, с закрытыми глазами, худой, бледный, лежал Гоголь; длинные волосы его были спутаны и падали в беспорядке на лицо и на глаза; он иногда вздыхал тяжело, шептал какую-то молитву и по временам бросал мутный взор на икону, стоявшую у ног на постели, прямо против больного. В углу, в кресле, вероятно утомленный долгими бессонными ночами, спал его слуга, малороссиянин. Долго стоял я перед Гоголем, вглядывался в лицо его и, не знаю отчего, почувствовал в эту минуту, что для него все кончено, что он более не встанет. Раза два Гоголь вскинул глазами вверх, взглянул на меня, но, не узнав, закрыл их опять. «Пить... дайте пить», — проговорил он, наконец, хриплым, невнятным голосом. Человек, вошедший вслед за мною в комнату, подал ему в рюмке воду с красным вином. Гоголь немного приподнял голову, обмочил губы и опять, с закрытыми глазами, упал на подушку. Человек графа разбудил мальчика, который, увидев меня, оробел и подошел к постели больного. Тут я был свидетелем страшного разговора между двумя служителями, и не знаю, чем бы кончилась эта сцена, если бы меня тут не было.

— Если его так оставить, то он не выздоровеет, — говорил один из них, — поверь, что не встанет, умрет, беспременно умрет.

— Так что ж, по-твоему... — отвечал другой.

— Да вот возьмем его насильно, стащим с постели, да и поводим по комнате, поверь, что разойдется, и жив будет.

— Да как же это можно? он не захочет... кричать станет.

— Пусть его кричит... после сам благодарить будет, ведь для его же пользы!

— Оно так, да я боюсь... как же это без его воли-то?

— Экой ты неразумный; что нужды, что без его воли, когда оно полезно. Ведь ты рассуди сам, какая у него болезнь-то?.. никакой нет, просто так... не ест, не пьет, не спит и все лежит, ну как тут не умереть? У него все чувства замерли, а вот как мы размотаем его, — он очнется, поверь, что очнется... на свет божий взглянет и сам жить захочет. Да что долго толковать, бери его с одной стороны, а я вот отсюда, и все хорошо будет!

Мальчик, кажется, начинал колебаться.... Я, наконец, не вытерпел и вмешался в их разговор.

— Что вы хотите это делать, как же можно умирающего человека тревожить? Оставьте его в покое, — сказал я строго.

— Да право лучше будет, сударь! Ведь у него вся болезнь от этого, что как пласт лежит который уж день без всякого движения. Позвольте... Вы увидите, как мы его раскачаем, и жив будет.

Я насилу уговорил их не делать этого опыта с умирающим Гоголем, но, прекратив их разговор, кажется, нисколько не убедил того, который первый предложил этот новый способ лечения, потому что, выходя, он все еще говорил про себя: «Ну, умрет, беспременно умрет… вот увидите, что умрет». И действительно, на другой день, когда я ехал по железной дороге в Петербург, Гоголь умирал в Москве…

Н. В. Берг. Воспоминания о Гоголе*

В первый раз встретился я с Гоголем у С. П. Шевырева — в конце 1848 года. Было несколько человек гостей, принадлежавших к московскому кружку литераторов, которых называли славянофилами. Сколько могу припомнить, все они были приглашены на обед для Гоголя, только что воротившегося из Италии и находившегося тогда в апогее своего величия и славы… Московские друзья Гоголя, точнее сказать *приближенные* (действительного друга у Гоголя, кажется, не было во всю жизнь), окружали его неслыханным, благоговейным вниманием. Он находил у кого-нибудь из них во всякий свой приезд в Москву все, что нужно для самого спокойного и комфортабельного житья: стол с блюдами, которые он наиболее любил; тихое, уединенное помещение и прислугу, готовую исполнять все его малейшие прихоти. Этой прислуге с утра до ночи строго внушалось, чтоб она отнюдь не входила в комнату гостя без требования с его стороны; отнюдь не делала ему никаких вопросов; не подглядывала (сохрани бог!) за ним. Все домашние снабжались подобными же инструкциями. Даже близкие знакомые хозяина, у кого жил Гоголь, должны были знать, как вести себя, если неравно с ним встретятся и заговорят. Им сообщалось, между прочим, что Гоголь терпеть не может говорить о литературе, в особенности о своих произведениях, а потому никоим образом нельзя обременять его вопросами «что он теперь пишет?» а равно «куда поедет?» или: «откуда приехал?» И этого он также не любил. Да и вообще, мол, подобные вопросы в разговоре с ним не ведут ни к чему: он ответит уклончиво или ничего не ответит. Едет в Малороссию — скажет: в Рим; едет в Рим — скажет: в деревню к такому-то… стало быть, зачем понапрасну беспокоить!

Я достаточно был «намуштрован» по этой части и как-то так сжился с понятиями московских друзей Гоголя, что к нему нужно относиться именно так, как они относились, что это было для меня в высшей степени естественно и просто. Шум имени Гоголя, эффект его приездов в Москву (по крайней мере в известных кружках), желание многих взглянуть на него хоть в щелку — все это производило на меня в ту пору весьма сильное впечатление. Признаюсь: подходя к двери, за которою я должен был увидеть Гоголя, я почувствовал не меньше волнения, с каким, одиннадцать лет спустя, подходил в первый раз к двери марсальского героя*.

Гостиная была уже полна. Одни сидели, другие стояли, говоря между собою. Ходил только один, небольшого роста человек, в черном сюртуке и брюках, похожих на шаровары, остриженный в скобку, с небольшими усиками, с быстрыми и проницательными глазами темного цвета, несколько бледный. Он ходил из угла в угол, руки в карманы, и тоже говорил. Походка его была оригинальная, мелкая, неверная, как будто одна нога старалась заскочить постоянно вперед, отчего один шаг выходил как бы шире другого. Во всей фигуре было что-то несвободное, сжатое, скомканное в кулак. Никакого размаху, ничего открытого нигде, ни в одном движении, ни в одном взгляде. Напротив, взгляды, бросаемые им то туда, то сюда, были почти что взглядами исподлобья, наискось, мельком, как бы лукаво, не прямо другому в глаза, стоя перед ним лицом к лицу. Для знакомого немного с физиономиями хохлов — хохол был тут виден сразу. Я сейчас сообразил, что это Гоголь, больше так, чем по какому-либо портрету. Замечу здесь, что ни один из существующих портретов Гоголя не передает его как надо. Лучший — это литография Горбунова с портрета Иванова, в халате.[160] Она, случайно, вышла лучше оригинала; что до сходства: лучше передала эту хитрую, чумацкую улыбку — не улыбку, этот смех мудреного хохла, как бы над целым миром… Гоголевская мина вообще схвачена вернее всего в очерке Э. А. Мамонова, сделанном *наизусть*[*]. Но этот очерк страдает недостатками, свойственными произведениям такого рода: многое неверно, нос длиннее, чем был у Гоголя; он так длинен, как Гоголь (одно время занимавшийся своею физиономией) его воображал. Волосы не совсем так. Зато галстук повязан точь-в-точь как повязывал его Гоголь.

Хозяин представил меня. Гоголь спросил: «Долго ли вы в Москве?» — И когда узнал, что я живу в ней постоянно, заметил: «Ну, стало быть, наговоримся, натолкуемся еще!» — Это была обыкновенная его фраза при встречах со многими, фраза, ровно ничего не значившая, которую он тут же и забывал.

В обед, за который мы все скоро сели, Гоголь говорил не много, вещи самые обыденные.

Затем я стал видать его у разных знакомых славянофильского кружка. Он держал себя большей частью в стороне от всех. Если он сидел и к нему подсаживались с умыслом «потолковать, узнать: не пишет ли он чего-нибудь нового?» — он начинал дремать, или глядеть в другую комнату, или просто-запросто вставал и уходил. Он изменял обыкновенным своим порядкам, если в числе приглашенных вместе с ним оказывался один малороссиянин, член того же славянофильского кружка[*]. Каким-то таинственным магнитом тянуло их тотчас друг к другу: они усаживались в угол и говорили нередко между собою целый вечер, горячо и одушевленно, как Гоголь (при мне по крайней мере) ни разу не говорил с кем-нибудь из великоруссов[*].

Если ж не было малороссиянина, о котором я упомянул, — появление Гоголя на вечере, иной раз нарочно для него устроенном, было почти всегда минутное. Пробежит по комнатам, взглянет; посидит где-нибудь на диване, большей частью совершенно один; скажет с иным приятелем два-три слова, из благоприличия, небрежно, бог весть где летая в то время своими мыслями, — и был таков.

Ходил он вечно в одном и том же черном сюртуке и шароварах. Белья не было видно. Во фраке, я думаю, видали Гоголя немногие. На голове, сколько могу припомнить, носил он большей частью шляпу, летом — серую, с большими полями.

Однажды, кажется в том же 1848 году, зимой, был у Погодина вечер, на котором Щепкин читал что-то из Гоголя. Гоголь был тут же. Просидев совершенным истуканом в углу, рядом с читавшим, час или полтора, со взглядом, устремленным в неопределенное пространство, он встал и скрылся…*

Впрочем, положение его в те минуты было точно затруднительное: читал не он сам, а другой; между тем вся зала смотрела не на читавшего, а на автора, как бы говоря: «А! вот ты какой, господин Гоголь, написавший нам эти забавные вещи!»

Другой раз было назначено у Погодина же чтение комедии Островского «Свои люди сочтемся»,[161] тогда еще новой, наделавшей значительного шуму во всех литературных кружках Москвы и Петербурга, а потому слушающих собралось довольно: актеры, молодые и старые литераторы, между прочим графиня Ростопчина, только что появившаяся в Москве после долгого отсутствия и обращавшая на себя немалое внимание. Гоголь был зван также, но приехал середи чтения; тихо подошел к двери и стал у притолоки. Так и простоял до конца, слушая, повидимому, внимательно*.

После чтения он не проронил ни слова. Графиня подошла к нему и спросила: «Что вы скажете, Николай Васильевич?» — «Хорошо, но видна некоторая неопытность в приемах. Вот этот акт нужно бы подлиннее, а этот покороче. Эти законы узнаются после и в непреложность их не сейчас начинаешь верить».

Больше ничего он не говорил, кажется, ни с кем во весь тот вечер. К Островскому, сколько могу припомнить, не подходил ни разу. После, однако, я имел случай не раз заметить, что Гоголь ценит его талант и считает его между московскими литераторами самым талантливым*. Раз, в день его именин, которые справлял он, в бытность свою в Москве, постоянно у Погодина в саду, ехали мы с Островским откуда-то вместе на дрожках и встретили Гоголя, направлявшегося к Девичьему полю*. Он соскочил со своих дрожек и пригласил нас к себе на именины; мы тут же и повернули за ним. Обед, можно сказать, *в исторической аллее*, где

я видел потом много памятных для меня других обедов с литературным значением, — прошел самым обыкновенным образом. Гоголь был ни весел, ни скучен. Говорил и хохотал более всех Хомяков, читавший нам, между прочим, знаменитое объявление в «Московских ведомостях» *о волках с белыми лапами*, явившееся в тот день*. Были молодые Аксаковы, Кошелев, Шевырев, Максимович...

Графиня <Е. П.> Ростопчина завела в том году субботние литературные вечера, на которых бывали все молодые московские литераторы, того времени. Из прежних являлся изредка один Погодин. Впрочем, раз я видел там еще Н. Ф. Павлова. Гоголь не заглянул почему-то ни разу, несмотря на старое знакомство с хозяйкой, у которой, по ее словам, очень часто бывал в Риме. Ему *первому* прочла она своего *Барона*. Гоголь выслушал очень внимательно и просил повторить. После того сказал: «Пошлите без имени в Петербург: не поймут и напечатают».[162] Она так и сделала. Понял или нет тот, кто получил, этого я не знаю, но стихи были напечатаны и прошли нисколько не замеченные большинством. *Тень Наполеона* видели в рисунке немногие. Когда явилось истолкование за границей, полиции было приказано отобрать где можно курьезный листок, и это послужило к большему распространению и славе сказанные стихов*.

В следующем 1850 году я видал Гоголя чаще всего у Шевырева. Говорили, что он пишет второй том «Мертвых душ», но никому не читает, или уж крайне избранным. Вообще в это время, в этот *последний* период жизни Гоголя в России, очень редко можно было услышать его чтение. Как он был избалован тогда относительно этого и как раздражителен, достаточно покажет следующий случай. Одно весьма близкое к Гоголю семейство, старые, многолетние друзья, упросили его прочесть что-то из «второго тома». Приняты были все известные меры, чтобы не произошло какой помехи. Отпит заранее чай, удалена прислуга, которой приказано более без зова не входить; забыли только упредить няньку, чтобы она не являлась в обычный час с детьми *прощаться*. Едва Гоголь уселся и водворилась вожделенная тишина — дверь скрипнула, и нянька, с вереницею ребят, не примечая никаких знаков и маханий, пошла от отца к матери, от матери к дядюшке, от дядюшки к тетушке... Гоголь смотрел-смотрел на эту патриархальную процедуру вечернего прощания детей с родителями, сложил тетрадь, взял шляпу и уехал. Так рассказывали.

В ту эпоху слыхал Гоголя читающим чаще других Шевырев, чуть ли не самый ближайший к нему из всех московских литераторов. Он заведовал обыкновенно продажею сочинений Гоголя. У него же хранились и деньги Гоголя; между прочим <ему> был вверен какой-то особый капитал, из которого Шевырев мог, по своему усмотрению, помогать бедным студентам, не говоря никому, чьи это деньги. Я узнал

об этом от Шевырева только по смерти Гоголя. Наконец Шевырев исправлял, при издании сочинений Гоголя, даже самый слог своего приятеля, как известно, не особенно заботившегося о грамматике. Однако, исправив, должен был все-таки показать Гоголю, что́ и как исправил, разумеется, если автор был в Москве. При этом случалось, что Гоголь скажет: «Нет, уж оставь попрежнему!» Красота и сила выражения иного живого оборота для него всегда стояли выше всякой грамматики.

Жил в то время Гоголь крайне тихо и уединенно у графа <А. П.> Толстого (что после был обер-прокурором) в доме Талызина, на Никитском бульваре, занимая переднюю часть нижнего этажа, окнами на улицу; тогда как сам Толстой занимал весь верх. Здесь за Гоголем ухаживали как за ребенком, предоставив ему полную свободу во всем. Он не заботился ровно ни о чем. Обед, завтрак, чай, ужин подавались там, где он прикажет. Белье его мылось и укладывалось в комоды невидимыми духами, если только не надевалось на него тоже невидимыми духами. Кроме многочисленной прислуги дома, служил ему, в его комнатах, собственный его человек, из Малороссии, именем Семен, парень очень молодой, смирный и чрезвычайно преданный своему барину. Тишина во флигеле была необыкновенная. Гоголь либо ходил по комнате из угла в угол, либо сидел и писал, катая шарики из белого хлеба, про которые говорил друзьям, что они помогают разрешению самых сложных и трудных задач. Один друг собрал этих шариков целые вороха и хранят благоговейно... Когда писание утомляло или надоедало, Гоголь подымался наверх, к хозяину, не то — надевал шубу, а летом испанский плащ, без рукавов, и отправлялся пешком по Никитскому бульвару, большею частью налево из ворот. Мне было весьма легко делать эти наблюдения, потому что я жил тогда как раз напротив, в здании коммерческого банка.

Писал он в то время очень вяло. Машина портилась с каждым днем больше и больше. Гоголь становился мрачнее и мрачнее...

Однажды, кажется у Шевырева, кто-то из гостей, несмотря на принятую всеми знавшими Гоголя систему не спрашивать его ни о чем, особенно о литературных работах и предприятиях, — не удержался и заметил ему, что это он смолк: ни строчки вот уже сколько месяцев сряду! Ожидали простого молчания, каким отделывался Гоголь от подобных вопросов, или ничего не значащего ответа. Гоголь грустно улыбнулся и сказал: «Да! как странно устроен человек: дай ему все, чего он хочет, для полного удобства жизни и занятий, тут-то он и не станет ничего делать; тут-то и не пойдет работа!»

Потом, помолчавши немного, он сообщил следующее:

«Со мною был такой случай: ехал я раз между городками Дженсано и Альбано,[163] в июле месяце*. Середи дороги, на бугре, стоит жалкий трактир, с билльярдом в главной комнате, где вечно гремят шары и слышится разговор на разных языках. Все проезжающие мимо непременно тут останавливаются, особенно в жар. Остановился и я. В то время я писал первый том «Мертвых душ» и эта тетрадь со мною не расставалась. Не знаю почему, именно в ту минуту, когда я вошел в этот трактир, захотелось мне писать. Я велел дать столик, уселся в угол, достал портфель и под гром катаемых шаров, при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере, забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места. Я считаю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко писал с таким одушевлением. А вот теперь никто кругом меня не стучит, и не жарко, и не дымно…»

В другой раз, в припадке подобной литературной откровенности, тоже, кажется, у Шевырева. Гоголь рассказал при мне, как он обыкновенно пишет, какой способ писать считает лучшим.

«Сначала нужно набросать *все* как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно *все*, и забыть об этой тетради. Потом через месяц, через два, иногда более (это скажется само собою) достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего и недостает. Сделайте поправки и заметки на полях — и снова забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее новые заметки на полях, и где нехватит места — взять отдельный клочок и приклеить сбоку. Когда все будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищения слога. Между прежних вскочат слова, которые необходимо там должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего или хоть пишите другое. Придет час — вспомнится заброшенная тетрадь: возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом, и когда снова она будет измарана, перепишите ее собственноручно. Вы заметите при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очисткой фраз — как бы крепчает и ваша рука; буквы ставятся тверже и решительнее. Так надо делать, по-моему, *восемь раз*. Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного и еще больше. Я делаю восемь раз. Только после восьмой переписки, непременно собственною рукою, труд является вполне художнически законченным, достигает перла создания. Дальнейшие поправки и пересматриванье, пожалуй, испортят дело; что называется у живописцев: *зарисуешься*. Конечно, следовать постоянно таким правилам нельзя, трудно. Я говорю об идеале. Иное пустишь и скорее. Человек все-таки человек, а не машина».

Писал Гоголь довольно красиво и разборчиво, большею частью на белой почтовой бумаге большого формата. Такими бывали по крайней мере последние, доведенные до полной отделки его рукописи.

Раз я видел Гоголя в Большом московском театре, во время представления «Ревизора». Хлестакова играл Шумский; городничего Щепкин. Гоголь сидел в первом ряду, против середины сцены, слушал внимательно и раз или два хлопнул[*]. Обыкновенно (как я слышал от его друзей) он бывал не слишком доволен обстановкой своих пьес и ни одного Хлестакова не признавал вполне разрешившим задачу. Шумского чуть ли не находил он лучшим. Щепкин играл в его пьесах, по его мнению, хорошо. Это был один из самых близких к Гоголю людей. Все почти пьесы Гоголя шли в бенефисы Щепкина и потому не дали автору ничего ровно.

В 1851 году мне случилось жить с Гоголем на даче у Шевырева, верстах в двадцати от Москвы, по рязанской дороге. Как называлась эта дача, или деревня, не припомню. Я приехал прежде, по приглашению хозяина, и мне был предложен для житья уединенный флигель, окруженный старыми соснами. Гоголя совсем не ждали. Вдруг, в тот же день после обеда, подкатила к крыльцу наемная карета на паре серых лошадей и оттуда вышел Гоголь, в своем испанском плаще и серой шляпе, несколько запыленный.

В доме был я один. Хозяева где-то гуляли. Гоголь вошел балконной дверью, довольно живо. Мы расцеловались и сели на диван. Гоголь не преминул сказать обычную свою фразу: «Ну, вот теперь наговоримся: я приехал сюда пожить!..»

Явившийся хозяин просил меня уступить Гоголю флигель, которого я не успел даже и занять. Мне отвели комнату в доме, а Гоголь перебрался ту же минуту во флигель со своими портфелями. Людям, как водится, было запрещено ходить к нему без зову и вообще не вертеться без толку около флигеля. Анахорет продолжал писать второй том «Мертвых душ», вытягивая из себя клещами фразу за фразой. Шевырев ходил к нему, и они вместе читали и перечитывали написанное. Это делалось с такою таинственностью, что можно было думать, что во флигеле, под сению старых сосен, сходятся заговорщики и варят всякие зелья революции. Шевырев говорил мне, будто бы написанное несравненно выше первого тома. Увы! Дружба сильно увлекалась...

К завтраку и к обеду Гоголь являлся не всегда, а если и являлся, то сидел почти не дотрагиваясь ни до одного блюда и глотая по временам какие-то пилюльки. Он страдал тогда расстройством желудка: был постоянно скучен и вял в движениях, но нисколько не худ на лицо. Говорил не много и тоже как-то вяло и неохотно. Улыбка редко

мелькала на его устах. Взор потерял прежний огонь и быстроту. Словом, это были уже развалины Гоголя, а не Гоголь.

Я уехал с дачи прежде и не знаю, долго ли там оставался Гоголь. Лето того года я прожил у себя в деревне и, когда воротился в Москву, то услышал, что Гоголем написано уже одиннадцать глав второго тома, но он все ими недоволен, все поправляет и переписывает… вероятно, переписка этих одиннадцати глав повторилась более восьми заветных раз.

Зимой, в конце 1851 года и в начале 1852 года, здоровье Гоголя расстроилось еще больше. Впрочем, он постоянно выходил из дому и бывал у своих знакомых. Но около половины февраля захирел не на шутку и слег. По крайней мере уже его не видно было пробирающимся по Никитскому и Тверскому бульварам. Само собою разумеется, что все лучшие врачи не отходили от него, в том числе был и сам знаменитый А. И. Овер. Он нашел нужным поставить клистир и предложил сделать это лично. Гоголь согласился, но когда приступили к исполнению, он закричал неистовым голосом и объявил решительно, что мучить себя не позволит, что бы там ни случилось. «Случится то, что вы умрете!» — сказал Овер. «Ну что ж! — отвечал Гоголь. — Я готов… я уже слышал голоса…»

Все это передавали мне окружавшие в то время Гоголя. Он все-таки не казался так слаб, чтоб, взглянув на него, можно было подумать, что он скоро умрет. Он нередко вставал с постели и ходил по комнате, совершенно так, как бы здоровый. Посещения друзей, повидимому, более отягощали его, чем приносили ему какое-либо утешение. Шевырев жаловался мне, что он принимает самых ближайших к нему уж чересчур по-царски; что свидания их стали похожи на аудиенции. Через минуту, после двух-трех слов, уж он дремлет и протягивает руку: «Извини! дремлется что-то!» А когда гость уезжал, Гоголь тут же вскакивал с дивана и начинал ходить по комнате.

К сочинению своему он стал относиться в это время еще более подозрительно, только с другой, религиозной стороны. Ему воображалось, что, может быть, там заключается что-нибудь опасное для нравственности читателей, способное их раздражить, расстроить. В этих мыслях, приблизительно за неделю до кончины, он сказал своему хозяину, Толстому: «Я скоро умру; свези, пожалуйста, эту тетрадь к митрополиту Филарету и попроси его прочитать, а потом, согласно его замечаниям, напечатай».

Тут он передал графу довольно большую пачку бумаг, в виде нескольких тетрадей, сложенных вместе и перевязанных шнурком. Это было одиннадцать глав второго тома «Мертвых душ». Толстой, желая откинуть от приятеля всякую мысль о смерти, не принял рукописи и

сказал: «Помилуй! ты так здоров, что, может быть, завтра или послезавтра сам свезешь это к Филарету и выслушаешь от него замечания лично».

Гоголь как будто успокоился, но в ту же ночь, часу в третьем, встал с постели, разбудил своего Семена и велел затопить печь. Семен отвечал, что надо прежде открыть трубу наверху, во втором этаже, где все спят: перебудишь! «Поди туда босиком и открой так, чтобы никого не будить!» — сказал Гоголь. Семен отправился и действительно открыл трубу так осторожно, что никто не слыхал, и, воротись, затопил печь. Когда дрова разгорелись, Гоголь велел Семену бросить в огонь ту связку бумаг, которую утром отдавал Толстому. Семен говорил нам после, будто бы он умолял барина на коленях не делать этого, но ничто не помогло: связка была брошена, но никак не загоралась. Обгорели только углы, а середина была цела. Тогда Гоголь достал связку кочергой и, отделив тетрадь от тетради, бросал одну за другой в печь. Так рукопись, плод стольких тягостных усилий и трудов, где, несомненно, были многие прекрасные страницы, сгорела.

Была ли это минута *просветления*, минута высокого торжества духа над телом, убаюканным льстивыми словами недальновидных и добродушных друзей, — минута, когда великий художник проснулся в слабом, отходящем в иную жизнь человеке и сказал: «Нет! это не то, что нужно… задача не выполнена: сожги!» — Или это была совсем другая минута, — минута умственного расстройства? Я готов стоять за первое…

Подвиг (если это был подвиг) совершился, однакоже, не вполне: в шкапу нашлись потом наброски Гоголя, приведенные в некоторую полноту и довольно чисто переписанные рукою самого Гоголя на больших почтовых листах[*]. Забыл он об этих тетрадях, что ли, или оставил их умышленно?..

21 февраля Гоголя не стало. Об этом быстро узнал весь город. Скульптор Рамазанов снял в ту же минуту с покойного маску. К го-то положил лавровый венок. Двое неизвестных мне художников сделали очерк лица покойного, в гробу, с лавровым венком на голове. Эти листки ходили по Москве[*]. Но грубая спекуляция, а может и просто глупость, выпустила тогда же в свет нелепую литографию, изображавшую *сожжение рукописи*: Гоголь сидит, в халате, перед пылающим камином, мрачный, со впалыми щеками и глазами. Подле стоит на коленях Семен. Сзади подбирается смерть, с изогнутыми атрибутами. Рукопись пожирается пламенем…[*]

Похороны были торжественные. Некоторые из знакомых Гоголя вынесли гроб на плечах[*]. В том числе находился и я. Снег был чрезвычайно глубок, при легком морозе. У Никитских ворот мы передали гроб студентам, которые шли кругом кучами и постоянно

просились нас заменить. Студенты донесли гроб до своей церкви, считавшейся в то время самой аристократической и модной. Там произошло отпевание. В числе многих официальных лиц высшего круга я видел попечителя Московского учебного округа генерал-адъютанта Назимова, в полной форме. Из университетской церкви гроб понесли также на руках вплоть до кладбища, в Данилов монастырь, верст шесть-семь. Тут я опять увидел Назимова, над самой могилой, когда в нее опускали гроб.

Гоголь положен неподалеку от Языкова. На гробнице написано изречение Ефрема Сирина: «Горьким словом моим посмеюся...»

А. Т. Тарасенков. Последние дни жизни Гоголя*

...До 1852 года я знал Гоголя только по его сочинениям и по рассказам о нем. Давно мне хотелось короче узнать этого художника, творения которого имели огромное на меня влияние. Только в этот год я достиг случая с ним познакомиться, видаться, беседовать. Описанный день, в который мы с ним обедали, особенно мне памятен: он был пред его болезнью последний, в который мне пришлось провести довольно долгое время вместе. Я, как бы предчувствуя, что мне не удастся более слышать его, дорожил каждым его словом и наблюдал его внимательно. Выйдя к обеду, он говорил, что зябнет, несмотря на то, что в комнате было + 15°Р. Пока не подали кушанье, он скоро ходил по обширной зале, потирая руки, почти не разговаривая; на ходьбе только приостанавливался перед столом, где были разложены книги, чтоб взглянуть на них. Перед обедом он выпил полынной водки, похвалил ее; потом с удовольствием закусывал и после того сделался пободрее, перестал ежиться; за обедом прилежно ел и стал разговорчивее. Не помню почему-то, я употребил в рассказе слово *научный*; он вдруг перестает есть, смотрит во все глаза на своего соседа и повторяет несколько раз сказанное мною слово: «Научный, научный, а мы все говорили «наукообразный»: это неловко, то гораздо лучше». Тогда я изумился, как может так сильно занимать его какое-нибудь слово; но впоследствии услышал, что он любил узнавать неизвестные ему слова и записывал их в особенные тетрадки, нарочно для того приготовленные. Таких тетрадок им исписано было много*. Замечали, что он нередко, выйдя прогуляться перед обедом и не отойдя пяти шагов от дома, внезапно и быстро возвращался в свою комнату; там черкнет несколько слов в одной из этих тетрадок, и опять пойдет из дома.

После обеда Гоголь сидел в уголку дивана, смотрел на английскую иллюстрацию, все молчал, даже на этот раз не слушал, что говорили кругом него, хотя разговор должен был его занимать: разрешались религиозные вопросы, говорили о церковных писателях, которых он любил; однакож, по нечаянному случаю, произошел описанный разговор о театре*, и он стал оживляться. Зашла речь о «Провинциалке»

г. Тургенева*, пьесе, которой придавали тогда большое значение. «Что это за характер: просто кокетка — и больше ничего», — сказал он. Обрадовавшись, что Гоголь сделался разговорчивее, я старался, чтоб беседа не отклонилась от предметов литературных и, между прочим, завел речь о «Записках сумасшедшего». Рассказав, что я постоянно наблюдаю психопатов* и даже имею их подлинные записки, я пожелал от него узнать: не читал ли он подобных записок прежде, нежели написал это сочинение. Он отвечал: «Читал, но после». — «Да как же вы так верно приблизились к естественности?» — спросил я его. «Это легко: стоит представить себе...» Я жаждал дальнейшего развития мысли, но, к прискорбью моему, подошел к нему слуга его и доложил ему о чем-то тихо. Гоголь вскочил и убежал вниз, к себе в комнаты, не окончив разговора. После я узнал, что к нему приезжал Живокини (сын), который в этот же вечер должен был в первый раз исполнять роль Анучкина. Живокини (вероятно, по совету Гоголя) выполнил эту роль проще, естественнее, нежели она была выполнена прежде, и, главное, без кривляний и фарсов, то есть так, как Гоголь желал, чтоб исполнялись и все, даже самые второстепенные роли.

По всему видно было, что Гоголь в это время еще занят был и своими творениями, и всем житейским; а это случилось не более, как за месяц до его смерти*. В это время он перепечатывал прежние сочинения под собственным своим наблюдением, исправлял их, кое-что вставлял и сам держал корректуру, заказав единовременное печатание каждой части в особой типографии...

В эту же зиму приведен был к окончанию второй том «Мертвых душ» и еще какие-то статьи, которые должны были войти в состав прежних четырех томов полного собрания. Напечатав предположенное, он собирался посвятить себя какому-то труду, по части русской истории. Не любя раскрывать своих задушевных мыслей, особенно говорить о себе как о сочинителе, тем более слушать себе похвалы, он в это последнее время, в задушевной беседе, объявил, однако, что довольнее своими последними, приготовленными к печати трудами, в которых «слог трезвый, крупный, яркий, не такой, как был в прежних, уже изданных сочинениях, когда он *вовсе не умел писать*».

Деятельная ли жизнь имела благоприятное влияние на здоровье, или улучшенное здоровье произвело эту деятельность — решить трудно; но замечательно, что знакомые Гоголя почитали его в это время совершенно здоровым; они ожидали от него в скором времени новых сочинений, из которых ясна будет всем и каждому его великая творческая способность, и были уверены, что слово его разрешит многие вопросы, так сильно занимавшие в то время умы всей Европы; особенно на это надеялись те, кто знал, как сильно занимали его эти вопросы. По крайней мере им было известно, что он своим сочинениям посвящает

много труда, забот и времени. В последние месяцы своей жизни Гоголь работал с любовью и рвением, почти каждое утро до обеда (четырех часов) выходя со двора для прогулки только за четверть часа, и вскоре после обеда по большей части уходил опять заниматься в свою комнату.

«Литургия» и «Мертвые души» были переписаны набело его собственною рукою, очень хорошим почерком. Он не отдавал своих сочинений для переписки в руки других[*]; да и невозможно было бы писцу разобрать его рукописи по причине огромного числа перемарок. Впрочем, Гоголь любил сам переписывать, и переписывание так занимало его, что он иногда переписывал и то, что можно было иметь печатное. У него были целые тетради (в восьмушку почтовой бумаги), где его рукою каллиграфически были написаны большие выдержки из разных сочинений. Второй том «Мертвых душ» был прочтен им в Москве по главам в разных домах, но число слушателей было весьма ограничено, да и те обязывались не рассказывать о содержании слышанного до поры до времени. «Литургия» была еще меньшему числу его знакомых известна, а о других своих сочинениях он упоминал только изредка. Читал он отлично: слушавшие его говорят, что не знают других подобных примеров. Простота, внятность, сила его произношения производили живое впечатление, а певучесть имела в себе нечто музыкальное, гармоническое. При чтении даже чужих произведений умел он с непостижимым искусством придавать вес и надлежащее значение каждому слову, так что ни одно из них не пропадало для слушающих. В. А. Жуковский по этому поводу сказал, что ему никогда так не нравились его собственные стихи, как после прочтения их Гоголем.

И переписанные набело сочинения он все откладывал отдавать в цензуру, отзываясь тем, что желает еще исправить некоторые места, которые кажутся не совсем вразумительными. Впрочем, по его деятельности и распоряжениям можно было заключить, что у него многое уже окончательно готово.

...От времени до времени в нем обнаруживалась мрачная настроенность духа без всякого явственного повода. По непонятной причине он избегал встречи с известным доктором Ф. П. Гаазом. В ночь на новый 1852 год, входя из своей комнаты наверх, он нечаянно встретил на пороге доктора, выходившего из комнат хозяина дома. Гааз ломаным русским языком старался сказать ему приветствие и, между прочим, думая выразить мысль одного писателя, сказал, что желает ему такого *нового года*, который даровал бы ему *вечный год*. Присутствовавшие заметили тут же, что эти слова произвели на Гоголя невыгодное влияние и как бы поселили в нем уныние. Конечно, оно было скоропреходящее, но могло служить зародышем тех мрачных мыслей, которые впоследствии

времени при других, более ярких, впечатлениях приняли огромный размер.

В феврале захворала сестра <Н. М.> Языкова, г-жа Хомякова, с которой он был дружен. Гоголь знал ее с детства: болезнь озабочивала его. Он часто навещал ее, и, когда она была уже в опасности, при нем спросили у доктора Альфонского, в каком положении он ее находит, он отвечал вопросом: «Надеюсь, что ей не давали каломель, который может ее погубить?» Но Гоголю было известно, что каломель уже был дан. Он вбегает к графу и бранным голосом говорит: «Все кончено, она погибнет, ей дали ядовитое лекарство!» К несчастью, больная действительно умерла в скором времени[*]; смерть драгоценной для него особы поразила его до чрезвычайности. Он еще имел дух утешать овдовевшего мужа, но с этих пор сделалась приметна его наклонность к уединению…

…Кажется, изнеможение тела, дошедшее до болезненного состояния, еще более усиливало мрачное настроение духа и не дозволяло ему судить и действовать попрежнему. Его поступки сделались страннее обыкновенного, и теперь подавно нельзя было угадать его сокровенных желаний и намерений. В один из следующих дней он поехал в Преображенскую больницу на извозчике. Подъехав к воротам больничного дома, он слез с санок, долго ходил взад и вперед у ворот, потом отошел от них, долгое время оставался в поле, на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и, наконец, не входя во двор, опять сел в сани и велел ехать домой.[164] Вероятно, были с ним и другие приключения, которые остались неизвестными, как и вообще многое сокрыто из его жизни.

Привыкшие к Гоголю сначала не удивлялись необыкновенным его поступкам, потому что такие поступки бывали с ним и прежде и никогда не имели особенных последствий; но когда знакомые увидели, что он совершенно изменил все свои привычки, и это заметно действует на его здоровье, то уговорили его посоветоваться с врачом. Призван был доктор Иноземцев, давнишний знакомец Гоголя, который нашел, что у него катар кишек, посоветовал ему спиртные натирания, лавровишневую воду и ревенные пилюли, запретил выезжать. Не веря вообще медицине и медикам, Гоголь не воспользовался и его советами как следовало, хотя и чувствовал себя весьма дурно. С этих пор он перестал принимать к себе знакомых, которым прежде никогда не отказывал…

На этой же неделе (с понедельника на вторник ночью) Николай Васильевич велел своему мальчику раскрыть печную трубу, вынул из шкапа большую кипу писанных тетрадей, положил в печь и зажег их[*]. Мальчик заметил ему: «Зачем вы это делаете? может, они и пригодятся еще». Гоголь его не слушал; и когда почти все сгорело, он долго еще

сидел, задумавшись, потом заплакал и велел пригласить к себе графа. Когда тот вошел, он показал ему догорающие листы бумаг и с горестью сказал: «Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен — вот он к чему меня подвигнул! А я было там много дельного уяснил и изложил. Это был венец моей работы; из него могли бы все понять и то, что неясно у меня было в прежних сочинениях!»

Прежде этого Гоголь делал завещание графу взять все его сочинения и после смерти передать митрополиту Филарету. «Пусть он наложит на них свою руку; что ему покажется ненужным, пусть зачеркивает немилосердно». Теперь, в эту ужасную минуту сожжения, Гоголь выразил другую мысль: «А я думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали, что хотели. Теперь все пропало». Граф, желая отстранить от него мрачную мысль о смерти, с равнодушным видом сказал: «Это хороший признак — и прежде вы сжигали все, а потом выходило еще лучше; значит, и теперь это не перед смертью». Гоголь при этих словах стал как бы оживляться; граф продолжал: «Ведь вы можете все припомнить?» — «Да, — отвечал Гоголь, положив руку на лоб, — могу, могу: у меня все это в голове». После этого он, повидимому, сделался покойнее, перестал плакать.

Был ли этот поступок им обдуман прежде и произведен как следствие предшествовавших размышлений, или это решение последовало тут же, внезапно, — разгадку этой тайны он унес с собою. Во всяком случае после уничтожения своих творений мысль о смерти, как близкой, необходимой, неотразимой, видно запала ему глубоко в душу и не оставляла его ни на минуту. За усиленным напряжением последовало еще большее истощение. С этой несчастной ночи он сделался еще слабее, еще мрачнее прежнего: не выходил более из своей комнаты, не изъявлял желания видеть никого, сидел в креслах по целым дням, в халате, протянув ноги на другой стул, перед столом. Сам он почти ни с кем не начинал разговора; отвечал на вопросы других коротко и отрывисто. Напрасно близкие к нему люди старались воспользоваться всем, чем было только возможно, чтоб вывести его из этого положения. По ответам его видно было, что он в полной памяти, но разговаривать не желает. Замечательны слова, которые он сказал А. С. Хомякову, желавшему его утешить: *надобно же умирать, а я уже готов, и умру*... Когда гр. А. П. Толстой, для рассеяния, начинал с ним говорить о предметах, которые были весьма близки к нему и которые не могли не занимать его прежде (о письме Муханова, общего, близкого знакомого, об образе матери, который затерялся было, да нашелся, и проч.), он возражал с благоговейным изумлением: «Что это вы говорите! Можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте!» Потом он молчал, погружался в размышления и тем заставлял графа замолчать. Впрочем, в эти же дни он делал некоторые неважные

завещания насчет своего крепостного человека и проч., и рассылал последние карманные деньги бедным и на свечки, так что по смерти у него не осталось ни копейки. (У Шевырева осталось около 2000 р. от вырученных за сочинения денег, прочие пошли на воспитание сестер, на долги матери и в помощь бедным студентам 3000 р., розданные втайне. От наследства матери он уже давно отказался прежде.)

…Давно мне не случалось быть в доме, где жил Гоголь, и я не слыхал ничего о его болезни. В среду на первой неделе поста прислали из этого дома за мною и объяснили, что происходит с Гоголем. Иноземцев отзывался о болезни Гоголя неопределенно и один день предполагал переход ее в тиф, на другой сказал, что Гоголю лучше, однакоже запретил ему выезжать. Озабоченный положением больного, хозяин дома желал, чтоб я видел и сказал свое мнение о его болезни. По его рассказам мне пришло на мысль: не нужно ли подумать о том, как бы заставить больного употреблять пищу каким бы то ни было способом? Я передал о нескольких примерах психопатов, мною виденных и исцелившихся после того, как они стали употреблять пищу.

Однакож Гоголь на этот раз не изъявил желания меня видеть. Наконец посещавший его врач захворал и уже не мог к нему ездить. Тогда граф настоял на своем желании ввести меня к нему. Гоголь сказал: «Напрасно, но пожалуй». Тут только я в первый раз увидел его в болезни. Это было в субботу первой недели поста.

Увидев его, я ужаснулся. Не прошло месяца, как я с ним вместе обедал; он казался мне человеком цветущего здоровья, бодрым, свежим, крепким, а теперь передо мною был человек как бы изнуренный до крайности чахоткою или доведенный каким-либо продолжительным истощением до необыкновенного изнеможения. Все тело его до чрезвычайности похудело; глаза сделались тусклы и впали, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос ослаб, язык с трудом шевелился, выражение лица стало неопределенное, необъяснимое. Мне он показался мертвецом с первого взгляда. Он сидел, протянув ноги, не двигаясь и даже не переменяя прямого положения лица; голова его была несколько опрокинута назад и покоилась на спинке кресел. Когда я подошел к нему, он приподнял голову, но недолго мог ее удерживать прямо, да и то с заметным усилием. Хотя неохотно, но позволил он мне пощупать пульс и посмотреть язык: пульс был ослабленный, язык чистый, но сухой; кожа имела натуральную теплоту. По всем соображениям видно было, что у него нет горячечного состояния, и неупотребление пищи нельзя было приписать отсутствию аппетита.

Тогда еще не были мне сообщены предшествовавшие печальные события: его непреклонная уверенность в близкой смерти и самим им произведенное истребление своих творений. В это время главное внимание заботившихся о нем было обращено на то, чтоб он употреблял

питательную пищу и имел свободное отправление кишек. Приняв состояние, в котором он теперь находился, за настоящую (соматическую) болезнь, я хотел поселить в больном доверие к врачеванию и склонить его на предложения медиков. Чтоб ободрить его, я показал себя спокойным и равнодушным к его болезни, утверждая с уверенностью, что она неважна и обыкновенна, что она теперь господствует между многими и проходит скоро *при пособиях*. Я настаивал, чтоб он, если *не может* принимать плотной пищи, то по крайней мере непременно употреблял бы поболее питья, и притом питательного — молока, бульона и т. д. «Я одну пилюлю проглотил, как *последнее* средство; она осталась без действия: разве надобно пить, чтоб прогнать ее», — сказал он. Не обременяя его долгими разговорами, я старался ему объяснить, что питье нужно для смягчения языка и желудка, а питательность питья нужна, чтоб укрепить силы, необходимые для счастливого окончания болезни. Не отвечая, больной опять склонил голову на грудь, как при нашем входе; я перестал говорить и удалился вместе с графом наверх.

Испуганный, встревоженный мыслью, что *Гоголь может скоро умереть*, я должен был собраться с силами, чтоб притти в спокойное положение, в каком должно разговаривать с больным. Удалившись от графа, я почел обязанностью зайти опять к больному, чтоб еще сильнее высказать ему мои убеждения. Через служителя я выпросил у него позволение войти к нему еще на минуту. Мне вообразилось, что он колеблется в своих намерениях; я не терял надежды, что Гоголь, привыкнув видеть мою искренность, послушается меня. Подойдя к нему, я с видимым хладнокровием, но с полною теплотою сердечною употребил все усилия, чтоб подействовать на его волю. Я выразил ему мысль, что врачи в болезни прибегают к совету своих собратий и их слушаются; не врачу тем более надобно следовать медицинским наставлениям, особенно преподаваемым с добросовестностью и полным убеждением; и тот, кто поступает иначе, делает преступление пред самим собою. Говоря это, я обратил все внимание на лицо страдальца, чтоб подсмотреть, что происходит в его душе. Выражение его лица нисколько не изменилось: оно было так же спокойно и так же мрачно, как прежде: ни досады, ни огорчения, ни удивления, ни сомнения не показалось и тени. Он смотрел, как человек, для которого все задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякие слова напрасны, колебание в решении невозможно. Впрочем, когда я перестал говорить, он в ответ произнес внятно, с расстановкой и хотя вяло, безжизненно, но со всею полнотою уверенности: «Я знаю, врачи добры: они всегда *желают* добра»; но вслед за этим опять наклонил голову, от слабости ли, или в знак прощания — не знаю. Я не смел его тревожить долее, пожелал ему поскорее поправляться и простился с ним, вбежал к графу, чтоб сказать, что дело плохо, и я не предвижу ничего хорошего, если это продолжится. Граф предложил мне зайти дня через два узнать, что

делается. Неопределительные отношения между медиками не дозволяли мне впутываться в распоряжения врачебные, тем более, что Гоголь был на руках у своего приятеля Иноземцева, с которым был короток и который его любил искренно. Как сокрушаюсь я теперь, что я, по словам графа, приехал только спустя два дня, — может быть, я бы как-нибудь мог еще подействовать ко спасению его. Но как и чем? Медицина не дает правил, как действовать при таких неопределенных явлениях и для такой исключительной личности.

...Силы больного, падали быстро и невозвратно. Несмотря на свое убеждение, что постель будет для него смертным одром (почему он старался оставаться в креслах), в понедельник на второй неделе поста он улегся, хотя в халате и сапогах, и уж более не вставал с постели. В этот же день он приступил к напутственным таинствам покаяния, причащения и елеосвящения.

Спешить с медицинскою помощью теперь, казалось, еще нужнее. Приезжали врачи; каждый высказывал свое мнение. Думали, судили, толковали; никто не присоветовал ничего решительного, да и не видно еще было близкой опасности. Между тем трудно было предпринять что-нибудь с человеком, который в полном сознании отвергает всякое лечение. Уже раз спасен он был от болезни в Риме без медицинских пособий; он приписывал это *чуду*. И в настоящее время сказал он одному из убеждавших его лечиться: «Ежели будет угодно богу, чтобы я жил еще, — буду жив...» Один близкий ему земляк (И. В. Капнист) хотел также подействовать на Гоголя своим дружеским влиянием, но Гоголь ничего не отвечал на его слова, так что можно было подумать, что больной уже потерял память. Посетитель сказал: «Верно, ты, Николаша, меня не узнаешь?» — «Как не знать? — отвечал Гоголь и, назвав его по имени, прибавил: — Прошу не оставить вниманием сына моего духовника, который служит у вас в канцелярии», — и опять замолк. Между тем все соединилось не к добру. Ф. И. Иноземцев захворал и последние дни у него не был. А. И. Овер приглашен был графом войти к Гоголю в первый раз в этот же понедельник. Вероятно, из медицинской деликатности, он не посоветовал ничего другого, как не давать ему вина, которого больной спрашивал часто.

Во вторник являюсь я и встречаю гр. Толстого, чрезвычайно встревоженного сверх ожидания. «Что Гоголь?» — «Плохо: лежит. Ступайте к нему, теперь можно входить».

В Москве уже прослышали о болезни Гоголя. Передняя комната была наполнена толпою почитателей таланта и знакомых его; молча стояли все со скорбными лицами, поглядывая на него издали, и не показывались ему, боясь нарушить покой страждущего. Казалось, каждый готов был поплатиться своим здоровьем, чтобы восстановить здоровье Гоголя, возвратить отечеству его художника.

Меня впустили прямо в комнату больного, без затруднения, без доклада. Гоголь лежал на широком диване, в халате, в сапогах, отвернувшись к стене, на боку, с закрытыми глазами. Против его лица — образ богоматери; в руках четки; возле него мальчик его и другой служитель. На мой тихий вопрос он не отвечал ни слова. Мне позволили его осмотреть, я взял его руку, чтобы пощупать пульс. Он сказал: «Не трогайте меня, пожалуйста». Я отошел, расспросил подробно у окружающих о всех отправлениях больного: никаких объективных симптомов, которые бы указывали на важное страдание как теперь, так и во все эти дни не обнаруживалось. Единственным важным припадком, продолжавшимся несколько дней, была констипация. Через несколько времени больной погрузился в дремоту, и я успел испытать, что пульс его слабый, скорый, мягкий, удобосжимаемый; руки холодноваты, голова также прохладна, дыхание ровное, правильное.

Приехал Погодин с Альфонским. Этот предложил магнетизирование, чтобы покорить его волю и заставить употреблять пищу. Явился и Овер, который согласился на то же в ожидании следующего дня, в который он предполагал приступить к мерам энергическим; но для этого он велел созвать консилиум и известить о нем Иноземцева.

Целый вторник Гоголь лежал, ни с кем не разговаривая, не обращая нимания на всех, подходивших к нему. По временам поворачивался он на другой бок, всегда с закрытыми глазами, нередко находился как бы в дремоте, часто просил пить красного вина, и всякий раз смотрел на свет, то ли ему подают. Вечером подмешали вино сперва красным питьем, а потом бульоном. Повидимому, он уже не ясно различал качество питья, потому что сказал только: «Зачем подаешь мне мутное?» однакож выпил. С тех пор ему стали подавать для питья бульон, когда он спрашивал пить, повторяя быстро одно и то же слово: «Подай, подай!» Когда ему подносили питье, он брал рюмку в руку, приподнимал голову и выпивал все, что ему было подано.

Вечером этого же дня пришел врач Сокологорский для магнетизирования. Когда он положил свою руку больному на голову, потом под ложку и стал делать пассы, Гоголь сделал движение телом и сказал: «Оставьте меня!» Продолжать магнетизирование было нельзя.

Поздно вечером призван был д-р Клименков и поразил меня дерзостью своего обращения. Он стал кричать с ним, как с глухим и беспамятным, начал насильно держать его руку, добиваться, что болит. «Не болит ли голова?» — «Нет». — «Под ложкой?» — «Нет» и т. д. Видно было, что больной терял терпение и досадовал. Наконец он опять умоляющим голосом сказал: «Оставьте меня!» — завернулся и спрятал руку. Клименков советовал кровопускание, лед, завертывание в мокрые холодные простыни; я предложил отсрочить эти действия до завтрашнего консилиума. Одно только пособие сделано было в эту же

ночь: когда больной перевертывался, вложили ему suppositorium из мыла, и это не обошлось без крика и стона.

На следующий день, в среду утром, собрались для консилиума Овер, Евениус, Клименков, Сокологорский и я. Судьбе угодно было, чтобы Варвинский был задержан и приехал позднее, после того, как участь больного уже решена была неумолимым советом трех. Состояние больного было почти такое же, но слабость пульса так усилилась, что мы с Сокологорским уже утром рано думали попробовать moschus.

В присутствии графа А. П. Толстого, И. В. Капниста, Хомякова и довольно многочисленного собрания Овер рассказал Евениусу историю болезни. Тут передано было все, что случилось с больным в последнее время, и в каком положении он находится теперь. Тут взято в расчет: его сидячая жизнь; напряженная головная работа (литературные занятия); они могли причинить прилив крови к мозгу; религиозное убеждение морить себя голодом, носовое кровотечение, ускоренный пульс, неприветливость приема, по мнению Овера, обозначали meningitis, которая и была причиною его упорства не лечиться и не есть. Поэтому предложен был вопрос: оставить ли теперь больного без пособий, которые он отвергал сам, или поступать с ним, как с человеком, не владеющим собою? Решили: лечить больного, несмотря на его нежелание лечиться.

Все врачи вошли к больному, стали его осматривать и расспрашивать. Когда давили ему живот, который был так мягок и пуст, что через него легко можно было ощупать позвонки, то Гоголь застонал, закричал. Прикосновение к другим частям тела, вероятно, также было для него болезненно, потому что также возбуждало стон или крик. На вопросы докторов больной или не отвечал ничего, или отвечал коротко и отрывисто «нет», не раскрывая глаз. Наконец, при продолжительном исследовании, он проговорил с напряжением: «Не тревожьте меня, ради бога!»

Овер препоручил Клименкову поставить две пиявки к носу, сделать холодное обливание головы в теплой ванне. Тогда прибыл Варвинский, коротко передал ему Овер тот же французский рассказ по-русски. По осмотре больного Варвинский сказал: «gastro-enteritis ex inantione; пиявок, не знаю, как он вынесет по слабости, а ванну разве бульонную; впрочем, навряд ли что успеете сделать при таком положении больного». Но его суждения никто не хотел и слушать. Все разъехались. Клименков взялся сам устроить все назначенное Овером. Я отправился, чтобы не быть свидетелем мучений страдальца. Когда я возвратился через три часа после ухода (в шесть ч. веч.), уже ванна была сделана, у ноздрей висели восемь крупных пиявок, к голове приложена примочка. Рассказывают, что когда его раздевали и сажали в ванну, он сильно стонал, кричал, говорил, что это делают напрасно; после того как его

положили опять в постель без белья, он проговорил: «Покройте плечо, закройте спину», а когда ставили пиявки, он повторил: «Не надо»; когда они уже были поставлены, твердил: «Снимите пиявки», «Поднимите ото рта» (пиявки); при мне они висели еще долго, его руку держали с силою, чтобы он до них не касался. Приехали в седьмом часу Овер и Клименков; они велели подолее поддерживать кровотечение, ставить горчичники на конечности, потом мушку на затылок, лед на голову, а внутрь отвар алтейного корня с лавровишневой водой. Обращение их было неумолимое; они распоряжались, как с сумасшедшим, кричали перед ним, как перед трупом. Клименков приставал к нему, мял, ворочал, поливал на голову какой-то едкий спирт, и когда больной от этого стонал, доктор спрашивал, продолжая поливать: «Что болит, Н. В.? А? Говорите же!» Но тот стонал и не отвечал.

Они уехали, я остался во весь вечер до двенадцати часов и внимательно наблюдал за происходящим. Пульс вскоре явственно упал, делался все чаще и слабее; дыхание, затрудненное уже утром, становилось еще тяжелее. Вскоре больной перестал сам поворачиваться и продолжал лежать смирно на одном боку. Когда с ним ничего не делали, он был покоен; но когда ставили или снимали горчичники и вообще тревожили его, он издавал стон или вскрикивал; по временам он явственно произносил: «Давай пить!» уже не разбирая, что ему подают.

Позже вечером он, повидимому, стал забываться и терять память. «Давай бочонок!» — произнес он однажды, показывая, что желает пить. Ему подали прежнюю рюмку с бульоном, но он уже не мог сам приподнять голову и держать рюмку; надобно было придержать и то и другое, чтоб он был в состоянии выпить поданное.

Еще позже он по временам бормотал что-то невнятно, как бы во сне, или повторял несколько раз: «Давай, давай! ну что ж?» Часу в одиннадцатом он закричал громко: «Лестницу, поскорее, давай лестницу!..» Казалось, ему хотелось встать. Его подняли с постели, посадили на кресло. В это время он уже так ослабел, что голова его не могла держаться на шее и падала машинально, как у новорожденного ребенка. Тут привязали ему мушку на шею и надели рубашку (он лежал после ванны голый). Во все это время он не глядел и беспрерывно стонал. Когда его опять укладывали в постель, он потерял все чувства; пульс у него перестал биться; он захрипел, глаза его раскрылись, но представлялись безжизненными. Казалось, наступает смерть, но это был обморок, который длился несколько минут. Пульс возвратился вскоре, но сделался едва приметным.

После этого обморока Гоголь уже не просил более ни пить, ни поворачиваться; постоянно лежал на спине с закрытыми глазами, не произнося ни слова.

В двенадцатом часу ночи стали холодеть ноги. Я положил кувшин с горячею водою, стал почаще давать проглатывать бульон, и это, повидимому, его оживляло. Тут я мог ощупать его живот, который был, как доска, вовсе без содержимого, мягкий, вялый, позвоночник через него ощущался легко. Дыхание, однакож, вскоре сделалось постоянно хриплое и тяжкое. Лицо осунулось, как у мертвеца, под глазами посинело, кожа сделалась прохладною и покрылась испариною. В таком положении оставил я страдальца, чтобы опять не столкнуться с медиком-палачом, убежденным в том, что он спасает человека.

В десятом часу утра в четверг 21 февраля 1852 года я спешу приехать ранее консультантов, которые назначили быть в десять (а Овер в 1 час), но уже нашел не Гоголя, а труп его.

Рассказали мне, что Клименков приехал вскоре после меня, пробыл с ним ночью несколько часов: давал ему каломель, обкладывал все тело горячим хлебом по предложению Назимова; при этом опять возобновился стон и пронзительный крик (все это, вероятно, помогло ему поскорее умереть), и около восьми часов утра дыхание совершенно прекратилось. Нельзя вообразить, чтобы кто-нибудь мог терпеливее его сносить все врачебные пособия, насильно ему навязываемые; лицо умершего выражало не страдание, а спокойствие, ясную мысль, унесенную с собою за гроб.

Когда я пришел, уже успели осмотреть его шкафы, где не нашли ни им писанных тетрадей, ни денег; уже его одели в сюртук, в котором он ходил, уже положили на стол по обычному порядку и приготовились к панихиде. Москвичи еще раз собрались навестить своего любимого поэта, но увидели его уже мертвым. Тут же все узнали о сожжении его сочинений; я выслушал всю службу, поклонился, поцеловал лоб и руку и с сокрушенным сердцем отправился на службу, вздыхая и стараясь разуверить себя, что не наяву видел я невозвратную погибель великого художника вместе с его творениями!

Печальная весть в несколько часов разнеслась по городу; кто горевал о потере Гоголя, кто о потере его умственного наследия...

А. М. Щепкин. Из «Рассказов М. С. Щепкина»*

Познакомился Н. В. Гоголь с М. С. Щепкиным в 1832 году. В то время Гоголь еще был далек от тех мрачных аскетических взглядов на жизнь, которые впоследствии изменили его характер и так много повредили его творческому таланту: он бывал шутливо весел, любил вкусно и плотно покушать, и нередко беседы его с М. С. склонялись на исчисление и разбор различных малороссийских кушаний. Винам он давал, по словам М. С., названия *«Квартального»* и *«Городничего»*, как добрых распорядителей, устрояющих и приводящих в набитом желудке все в

должный порядок; а жженке, потому что зажженная горит голубым пламенем, — давал имя *Бенкендорфа*.

— А что? — говорил он М. С., после сытного обеда, — не отправить ли теперь Бенкендорфа? — и они вместе приготовляли жженку.

...М. С. говорил, что для характера Хлобуева послужила Гоголю образцом личность одного господина в Полтаве; а разнообразные присутственные места, упоминаемые при описании имения Кошкарева, действительно существовали некогда в малороссийском поместье князя Кочубея*.

М. А. Щепкин. Из «Воспоминаний о М. С. Щепкине»*

О первом знакомстве Н. В. Гоголя со Щепкиным отец мой рассказывал так. Как-то все сидели за обедом. Вдруг стукнула дверь из передней в залу, все оглянулись и увидели, что вошел незнакомый господин небольшого роста, в длинном сюртуке; слегка склонив голову набок, с улыбочкой на губах и скороговоркой он проговорил известное четверостишие: «Ходит гарбуз по горо́ду»*. Вскоре, конечно, все узнали, что это Н. В. Гоголь. Михаил Семенович бросился его обнимать, и все послеобеденное время они просидели вдвоем в диванной, о чем-то горячо беседуя. Гоголь очень часто приезжал к Щепкину и оставался несколько раз ночевать. Однажды приехал Гоголь к Михаилу Семеновичу на дачу. Щепкин жил с семьей в то время на даче под Москвой, в Волынском. Гоголь выразил ему свою радость, что застал его на даче, говорил, что думает пожить у него, отдохнуть и немного поработать, обещался кое-что прочесть из «Мертвых душ». М. С. был вне себя от восторга, всем об этом передавал на ухо, как секрет. Но не успел Гоголь прожить трех дней, как приехал в гости к Михаилу Семеновичу <И. И.> Панаев, начинающий молодой литератор, которого отец мой характеризовал как человека зоркого, пронырливого и вообще несимпатичного. Когда сошлись все к вечернему чаю, Гоголь вошел с М. С. в столовую под руку, о чем-то тихо разговаривая, но по всему видно было, что разговор этот для Михаила Семеновича был крайне интересен. Лицо Щепкина сияло радостью. Гоголь же, наклонясь к нему, со свойственною ему улыбкой на губах продолжал что-то ему тихо передавать. Подойдя к столу, Гоголь быстро окинул всех взглядом и, заметя новое лицо, нервно взял чашку с чаем и сел в дальний угол столовой и весь как будто съежился*. Лицо его приняло угрюмое и злое выражение, и во все время чаепития просидел он молча, а за ужином объявил, что рано утром на другой день ему надо ехать в Москву по делам. Так и не состоялось чтение его новых произведений, о чем сердечно горевал Михаил Семенович и все остальные члены семьи. После того Н. В. Гоголь заезжал к Щепкину еще несколько раз, но отец мой говорил, что таким веселым, каким он видел его на даче, он уже ни разу не видел Гоголя. Если Гоголь бывал, то как-то подозрительно

оглядывал всех присутствующих и вообще уж был не прежний Гоголь. Иной раз Михаил Семенович расшевелит его каким-нибудь своим рассказом, Гоголь слегка улыбнется, но сейчас же опять нахмурится и весь как бы уйдет в себя. Гоголь был очень расположен к Щепкину. Оба они знали и любили Малороссию и охотно толковали о ней, сидя в дальнем углу гостиной в доме Михаила Семеновича. Они перебирали и обычаи, и одежду малороссиян, и, наконец, их кухню. Прислушиваясь к их разговору, можно было слышать под конец: вареники, голубцы, паленицы — и лица их сияли улыбками. Из рассказов Щепкина Гоголь почерпал иногда новые черты для лиц в своих рассказах, а иногда целиком вставлял целый рассказ его в свою повесть. Это делалось по просьбе Михаила Семеновича, который желал, чтобы характерные выражения или происшествия не пропали бесследно и сохранились в рассказах Гоголя. Так, Михаил Семенович передал ему рассказ о городничем, которому нашлось место в тесной толпе, и о сравнении его с лакомым куском, попадающим в полный желудок. Так, слова исправника: «полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит»* — были переданы Гоголю Щепкиным. Нельзя утверждать, чтобы Гоголь всегда охотно принимал советы Михаила Семеновича, но последний всегда заявлял свое мнение искренно и без утайки...

Однажды Иван Сергеевич Тургенев приехал в Москву и, конечно, посетил Михаила Семеновича, заявив ему при свидании между прочим, что хотел бы познакомиться с Николаем Васильевичем Гоголем. Это было незадолго до смерти Гоголя. Михаил Семенович ответил ему: «Если желаете, поедемте к нему вместе». Тургенев возразил на это, что неловко, пожалуй, Николай Васильевич подумает, что он навязывается. «Ох, батюшки мои, когда это вы, государи мои, доживете до того времени, что не будете так щепетильничать!» — заметил Михаил Семенович Тургеневу, но тот стоял на своем, и Щепкин вызвался передать желание Ив. Серг. Тургенева Гоголю. Свой визит к Гоголю, по словам моего отца, Михаил Семенович передал так: «Прихожу к нему, Николай Васильевич сидит за церковными книгами. «Что это вы делаете? К чему эти книги читаете? Пора бы вам знать, что в них значится?» — «Знаю, — ответил мне Николай Васильевич, — очень хорошо знаю, но возвращаюсь к ним снова, потому что наша душа нуждается в толчках».

— Это так, — заметил я на это, — но толчком для мыслящей души может служить все, что рассеяно в природе: и пылинка, и цветок, и небо, и земля.

Потом вижу, что Гоголь хмурится; я переменил разговор и сказал ему: «С вами, Николай Васильевич, желает познакомиться один русский писатель, но не знаю, желательно ли это будет вам?» — «Кто же это такой?» — «Да человек довольно известный; вы, вероятно, слыхали о

нем: это Иван Сергеевич Тургенев». Услыхав эту фамилию, Николай Васильевич оживился, начал говорить, что он душевно рад и что просит меня побывать у него вместе с Иваном Сергеевичем на другой день, часа в три или четыре.

Меня это страшно удивило, потому что Гоголь за последнее время держал себя особняком и был очень неподатлив на новые знакомства. На другой день ровно в три часа мы с Иваном Сергеевичем пожаловали к Гоголю[*]. Он встретил нас весьма приветливо; когда же Иван Сергеевич сказал Гоголю, что некоторые произведения его, переведенные им, Тургеневым, на французский язык и читанные в Париже, произвели большое впечатление, Николай Васильевич заметно был доволен и с своей стороны сказал несколько любезностей Тургеневу. Но вдруг побледнел, все лицо его искривилось какою-то злою улыбкой и, обратившись к Тургеневу, он в страшном беспокойстве, спросил: «Почему Герцен позволяет себе оскорблять меня своими выходками в иностранных журналах?»[*] Тут только я понял, — рассказывал Михаил Семенович, — почему Николаю Васильевичу так хотелось видеться с Иваном Сергеевичем.

Выслушав ответ Тургенева, Гоголь сказал: «Правда, и я во многом виноват, виноват тем, что послушался друзей, окружавших меня, и если бы можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил мою «Переписку с друзьями». Я бы сжег ее»[*]. Тем и закончилось свидание между Гоголем и Тургеневым.

— После этой встречи они больше не видались», — так закончил свой рассказ Щепкин.

И. С. Тургенев. Гоголь[*]

Меня свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Помню день нашего посещения: 20-го октября 1851 года. Гоголь жил тогда в Москве, на Никитской, в доме Талызина, у графа Толстого. Мы приехали в час пополудни: он немедленно нас принял. Комната его находилась возле сеней, направо. Мы вошли в нее — и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны. За неделю до того дня я его видел в театре, на представлении «Ревизора»; он сидел в ложе бельэтажа, около самой двери, и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену, через плечи двух дюжих дам, служивших ему защитой от любопытства публики. Мне указал на него сидевший рядом со мною <Е. М.> Ф<еоктистов>. Я быстро обернулся, чтобы посмотреть на него; он, вероятно, заметил это движение и немного отодвинулся назад, в угол. Меня поразила перемена, происшедшая в нем с 41 года. Я раза два встретил его тогда у Авдотьи Петровны Е<лаги>ной. В то время он смотрел приземистым и плотным

малороссом; теперь он казался худым и испитым человеком, которого уже успела на порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению его лица.

Увидев нас со Щепкиным, он с веселым видом пошел к нам навстречу и, пожав мне руку, промолвил: «Нам давно следовало быть знакомыми». Мы сели. Я рядом с ним, на широком диване; Михаил Семенович на креслах, возле него. Я попристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого, белого лба попрежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость — именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами: в их неопределенных очертаниях выражались — так, по крайней мере, мне показалось — темные стороны его характера: когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный черный галстук. В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское, а учительское — что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. «Какое ты умное, и странное, и больное существо!» — невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем и ехали к нему, как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове… вся Москва была о нем такого мнения. Михаил Семенович предупредил меня, что с ним не следует говорить о продолжении «Мертвых душ», об этой второй части, над которою он так долго и так упорно трудился и которую он, как известно, сжег перед смертию, — что он этого разговора не любит. О «Переписке с друзьями» я сам не упомянул бы, так как ничего не мог сказать о ней хорошего. Впрочем, я и не готовился ни к какой беседе — а просто жаждал видеться с человеком, творения которого я чуть не знал наизусть. Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя; теперь же и нет никого, на ком могло бы сосредоточиться общее внимание.

Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не словоохотлив: на деле вышло иначе. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово — что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность. Он говорил на о`; других, для русского слуха менее любезных, особенностей малороссийского говора я не заметил. Все выходило ладно, складно, вкусно и метко. Впечатление усталости, болезненного, нервического беспокойства, которое он сперва

произвел на меня, — исчезло. Он говорил о значении литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям; высказал несколько тонких и верных замечаний о самом процессе работы, о самой, если можно так выразиться, физиологии сочинительства*, и все это — языком образным, оригинальным и, сколько я мог заметить, нимало не подготовленным заранее, как это сплошь да рядом бывает у «знаменитостей». Только когда он завел речь о цензуре, чуть не возвеличивая, чуть не одобряя ее, как средство развивать в писателе сноровку, умение защищать свое детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей — только тогда мне показалось, что он черпает из готового арсенала. Притом, доказывать таким образом необходимость цензуры — не значило ли рекомендовать и почти похваливать хитрость и лукавство рабства? Я могу еще допустить стих итальянского поэта: «Si, servi siam; ma servi ognor frementi»;[165] но самодовольное смирение и плутовство рабства… нет! лучше не говорить об этом. В подобных измышлениях и рассудительствах Гоголя слишком явно выказывалось влияние тех особ высшего полета, которым посвящена бо̀льшая часть «Переписки»; оттуда шел этот затхлый и пресный дух. Вообще я скоро почувствовал, что между миросозерцанием Гоголя и моим — лежала целая бездна. Не одно и то же мы ненавидели, не одно любили; но в ту минуту — в моих глазах все это не имело важности. Великий поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на него, слушал его с благоговением, даже когда не соглашался с ним.

Гоголь, вероятно, знал мои отношения к Белинскому, к Искандеру; о первом из них, об его письме к нему — он не заикнулся: это имя обожгло бы его губы. Но в то время только что появилась — в одном заграничном издании — статья Искандера*, в которой он, по поводу пресловутой «Переписки», упрекал Гоголя в отступничестве от прежних убеждений. Гоголь сам заговорил об этой статье. Из его писем, напечатанных после его смерти* (о! какую услугу оказал бы ему издатель, если б выкинул из них целые две трети, или, по крайней мере, все те, которые писаны к светским дамам… более противной смеси гордыни и подыскивания, ханжества и тщеславия, пророческого и прихлебательского тона — в литературе не существует!), — из писем Гоголя мы знаем, какою неизлечимой раной залегло в его сердце полное фиаско его «Переписки» — это фиаско, в котором нельзя не приветствовать одно из немногих утешительных проявлений тогдашнего общественного мнения. И мы, с покойным М. С. Щепкиным, были свидетелями — в день нашего посещения — до какой степени эта рана наболела. Гоголь начал уверять нас — внезапно изменившимся, торопливым голосом, — что не может понять, почему в прежних его сочинениях некоторые люди находят какую-то оппозицию, что-то такое, чему он изменил впоследствии; — что он всегда придерживался одних и тех же религиозных и охранительных начал* — и, в доказательство того, готов

нам указать на некоторые места в одной своей, уже давно напечатанной, книге… Промолвив эти слова, Гоголь с почти юношеской живостью вскочил с дивана и побежал в соседнюю комнату. Михаил Семеныч только брови возвел горе´ — и указательный палец поднял… «Никогда таким его не видал», — шепнул он мне…

Гоголь вернулся с томом «Арабесок» в руках — и начал читать на выдержку некоторые места одной из тех детски-напыщенных и утомительно-пустых статей, которыми наполнен этот сборник. Помнится, речь шла о необходимости строгого порядка, безусловного повиновения властям и т. п.[414*]«Вот видите, твердил Гоголь, я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал убеждения, как и теперь!.. С какой же стати упрекать меня в измене, в отступничестве… Меня?» — И это говорил автор «Ревизора», одной из самых отрицательных комедий, какие когда-либо являлись на сцене! Мы с Щепкиным молчали. Гоголь бросил, наконец, книгу на стол и снова заговорил об искусстве, о театре; объявил, что остался недоволен игрою актеров в «Ревизоре», что они «тон потеряли» и что он готов им прочесть всю пиесу с начала до конца. Щепкин ухватился за это слово и тут же уладил, где и когда читать. Какая-то старая барыня приехала к Гоголю; она привезла ему просфору с вынутой частицей. Мы удалились.

Дня через два происходило чтение «Ревизора» в одной из зал того дома, где проживал Гоголь[*]. Я выпросил позволение присутствовать на этом чтении. Покойный профессор Шевырев также был в числе слушателей, и — если не ошибаюсь — Погодин. К великому моему удивлению, далеко не все актеры, участвовавшие в «Ревизоре», явились на приглашение Гоголя; им показалось обидным, что их словно хотят учить! Ни одной актрисы также не приехало. Сколько я мог заметить, Гоголя огорчил этот неохотный и слабый отзыв на его предложение… Известно, до какой степени он скупился на подобные милости. Лицо его приняло выражение угрюмое и холодное; глаза подозрительно насторожились. В тот день он смотрел, точно, больным человеком. Он принялся читать — и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской; глаза расширились и посветлели. Читал Гоголь превосходно… Я слушал его тогда в первый — и в последний раз. Диккенс также превосходный чтец, можно сказать, разыгрывает свои романы, чтение его — драматическое, почти театральное; в одном его лице является несколько первоклассных актеров, которые заставляют вас то смеяться, то плакать; Гоголь, напротив, поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет — есть ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный — особенно в комических, юмористических местах; не было возможности не смеяться — хорошим,

здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренно дивясь ей, все более и более погружаться в самое дело — и лишь изредка, на губах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу Городничего о двух крысах (в самом начале пиесы): «Пришли, понюхали и пошли прочь!» — Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить — обыкновенно разыгрывается на сцене «Ревизор». Я сидел, погруженный в радостное умиление: это был для меня настоящий пир и праздник. К сожалению, он продолжался недолго. Гоголь еще не успел прочесть половину первого акта, как вдруг дверь шумно растворилась, и, торопливо улыбаясь и кивая головою, промчался через всю комнату один еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литератор*— и, не сказав никому ни слова, поспешил занять место в углу. Гоголь остановился; с размаху ударил рукой по звонку и с сердцем заметил вошедшему камердинеру: «Ведь я велел тебе никого не впускать!» Молодой литератор слегка пошевелился на стуле — а впрочем, не смутился нисколько. Гоголь отпил немного воды — и снова принялся читать: но уж это было совсем не то. Он стал спешить, бормотать себе под нос, не доканчивать слов; иногда он пропускал целые фразы — и только махал рукою. Неожиданное появление литератора его расстроило: нервы его, очевидно, не выдерживали малейшего толчка. Только в известной сцене, где Хлестаков завирается, Гоголь снова ободрился и возвысил голос: ему хотелось показать исполнявшему роль Ивана Александровича, как должно передавать это действительно затруднительное место. В чтении Гоголя оно показалось мне естественным и правдоподобным. Хлестаков увлечен и странностию своего положения, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, что врет — и верит своему вранью: это нечто вроде упоения, наития, сочинительского восторга — это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого «подхватило». «Просители в передней жужжат, 35 тысяч эстафетов скачет — а дурачье, мол, слушает, развесив уши, и какой я, мол, бойкий, игривый, светский молодой человек!» Вот какое впечатление производил в устах Гоголя хлестаковский монолог. Но, вообще говоря, чтение «Ревизора» в тот день было — как Гоголь сам выразился — не более, как намек, эскиз; и все по милости непрошенного литератора, который простер свою нецеремонность до того, что остался после всех у побледневшего, усталого Гоголя и втерся за ним в его кабинет*.

В сенях я расстался с ним и уже никогда не увидал его больше; но его личности было еще суждено возыметь значительное влияние на мою жизнь.

В последних числах февраля месяца следующего 1852 года я находился на одном утреннем заседании вскоре потом погибшего общества посещения бедных — в зале дворянского собрания, — и вдруг заметил И. И. Панаева, который с судорожной поспешностью перебегал от одного лица к другому, очевидно сообщая каждому из них неожиданное и невеселое известие, ибо у каждого лицо тотчас выражала удивление и печаль. Панаев, наконец, подбежал и ко мне — и с легкой улыбочкой, равнодушным тоном промолвил: «А ты знаешь, Гоголь помер в Москве. Как же, как же… Все бумаги сжег — да помер» — помчался далее. Нет никакого сомнения, что, как литератор, Панаев внутренне скорбел о подобной утрате — притом же и сердце он имел доброе — но удовольствие быть первым человеком, сообщающим другому огорашивающую новость (равнодушный тон употреблялся для большего форсу), — это удовольствие, эта радость заглушали в нем всякое другое чувство. Уже несколько дней в Петербурге ходили темные слухи о болезни Гоголя; но такого исхода никто не ожидал. Под первым впечатлением сообщенного мне известия я написал следующую небольшую статью[*].

ПИСЬМО ИЗ ПЕТЕРБУРГА[166]

Гоголь умер! — Какую русскую душу не потрясут эти два слова? — Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит, наконец, свое долгое молчание, что он обрадует, превзойдет наши нетерпеливые ожидания, — пришла эта роковая весть! — Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших! — Он умер, пораженный в самом цвете лет, в разгаре сил своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников… Его утрата возобновляет скорбь о тех незабвенных утратах, как новая рана возбуждает боль старинных язв. Не время теперь и не место говорить об его заслугах — это дело будущей критики; должно надеяться, что она поймет свою задачу и оценит его тем беспристрастным, но исполненным уважения и любви судом, которым подобные ему люди судятся перед лицом потомства; нам теперь не до того: нам только хочется быть одним из отголосков той великой скорби, которую мы чувствуем разлитою повсюду вокруг нас; не оценять его нам хочется, но плакать; мы не в силах говорить теперь спокойно о Гоголе… самый любимый, самый знакомый образ неясен для глаз, орошенных слезами… В день, когда его хоронит Москва, нам хочется протянуть ей отсюда руку — соединиться с ней в одном чувстве общей печали. Мы не могли взглянуть в последний раз на его безжизненное лицо; но мы шлем ему издалека наш прощальный привет — и с благоговейным чувством слагаем дань нашей скорби и нашей любви на его свежую могилу, в которую нам не удалось,

подобно москвичам, бросить горсть родимой земли! — Мысль, что прах его будет покоиться в Москве, наполняет нас каким-то горестным удовлетворением. Да, пусть он покоится там, в этом сердце России, которую он так глубоко знал и так любил, так горячо любил, что одни легкомысленные или близорукие люди не чувствуют присутствия этого любовного пламени в каждом им сказанном слове! Но невыразимо тяжело было бы нам подумать, что последние, самые зрелые плоды его гения погибли для нас невозвратно — и мы с ужасом внимаем жестоким слухам об их истреблении...

Едва ли нужно говорить о тех немногих людях, которым слова наши покажутся преувеличенными или даже вовсе неуместными... Смерть имеет очищающую и примиряющую силу; клевета и зависть, вражда и недоразумения — все смолкает перед самою обыкновенною могилой: они не заговорят над могилою Гоголя. Какое бы ни было окончательное место, которое оставит за ним история, мы уверены, что никто не откажется повторить теперь же вслед за нами:

Мир его праху, вечная память его жизни, вечная слава его имени!

Т· · ·в[167]

Я препроводил эту статью в один из петербургских журналов; но именно в то время цензурные строгости стали весьма усиливаться с некоторых пор... Подобные «crescendo» происходили довольно часто и — для постороннего зрителя — так же беспричинно, как, например, увеличение смертности в эпидемиях. Статья моя не появилась ни в один из последовавших за тем дней. Встретившись на улице с издателем, я спросил его, что бы это значило? — «Видите, какая погода, — отвечал он мне иносказательною речью, — и думать нечего». — «Да ведь статья самая невинная», — заметил я. «Невинная ли, нет ли, — возразил издатель, — дело не в том; вообще имя Гоголя не велено упоминать. Закревский на похоронах в андреевской ленте присутствовал: этого здесь переварить не могут»*. Вскоре потом я получил от одного приятеля из Москвы письмо, наполненное упреками: «Как! — восклицал он. — Гоголь умер, и хоть бы один журнал у вас в Петербурге отозвался! Это молчание постыдно!» — В ответе моем я объяснил — сознаюсь, в довольно резких выражениях — моему приятелю причину этого молчания и в доказательство, как документ, приложил мою запрещенную статью. Он ее представил немедленно на рассмотрение тогдашнего попечителя Московского округа — генерала Назимова — и получил от него разрешение напечатать ее в «Московских ведомостях». Это происходило в половине марта, а 16 апреля я — за ослушание и нарушение цензурных правил — был посажен на месяц под арест в части (первые двадцать четыре часа я провел в сибирке и беседовал с изысканно-вежливым и образованным полицейским унтер-офицером, который рассказывал мне о своей прогулке в Летнем саду и об «аромате

птиц») — а потом отправлен на жительство в деревню*. Я нисколько не намерен обвинять тогдашнее правительство: попечитель С.-Петербургского округа, теперь уже покойный Мусин-Пушкин, представил — из неизвестных мне видов — все дело как явное неповиновение с моей стороны; он не поколебался заверить высшее начальство, что *он призывал меня лично, и лично передал мне запрещение цензурного комитета печатать мою статью* (одно цензорское запрещение не могло помешать мне — в силу существовавших постановлений — подвергнуть статью мою суду другого цензора), *а я г. Мусина-Пушкина и в глаза не видал и никакого с ним объяснения не имел*. Нельзя же было правительству подозревать сановника, доверенное лицо, в подобном искажении истины! Но все к лучшему; пребывание под арестом, а потом в деревне принесло мне несомненную пользу: оно сблизило меня с такими сторонами русского быта, которые, при обыкновенном ходе вещей, вероятно, ускользнули бы от моего внимания.

Уже дописывая предыдущую строку, я вспомнил, что первое мое свидание с Гоголем происходило гораздо раньше, чем я сказал вначале. А именно: я был одним из его слушателей в 1835 году, когда он преподавал (!) историю в С.-Петербургском университете. Это преподавание, правду сказать, происходило оригинальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две*, во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре — он не говорил, а шептал что-то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран — и все время ужасно конфузился. Мы все были убеждены (и едва ли мы ошибались), что он ничего не смыслит в истории и что г. *Гоголь-Яновский*, наш профессор (он так именовался в росписании лекций), не имеет ничего общего с писателем Гоголем, уже известным нам как автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки». На выпускном экзамене из своего предмета он сидел, повязанный платком, якобы от зубной боли — с совершенно убитой физиономией — и не разевал рта. Спрашивал студентов за него профессор И. П. Шульгин. Как теперь вижу его худую, длинноносую фигуру с двумя высоко торчавшими — в виде ушей — концами черного шелкового платка. Нет сомнения, что он сам хорошо понимал весь комизм и всю неловкость своего положения: он в том же году подал в отставку. Это не помешало ему, однако, воскликнуть: «Непризнанный взошел я на кафедру — и непризнанный схожу с нее!» — Он был рожден для того, чтоб быть наставником своих современников: но только не с кафедры.

И. С. Тургенев. Из писем

Тургенев И. С. — Виардо П., 21 февраля 1852

…Нас поразило великое несчастие: Гоголь умер в Москве, — умер, предав все сожжению, — все — 2-й том «Мертвых душ», массу оконченных и начатых вещей, — одним словом, все. Вам трудно будет оценить, как велика эта столь жестокая, всеобъемлющая потеря. Нет русского, сердце которого не обливалось бы кровью в настоящую минуту. Для нас это был более, чем только писатель: он раскрыл нам себя самих. Он во многих отношениях был для нас продолжателем Петра Великого. Быть может, вам покажутся слова эти, — как написанные под влиянием горя, — преувеличением. Но вы не знаете его; вам известны только самые незначительные из его произведений; но если б даже вы знали их все, то и тогда вам трудно было бы понять, чем он был для нас. Надо быть русским, чтобы это чувствовать. Самые проницательные умы из иностранцев, как, например, Меримэ, видели в Гоголе только юмориста на английский манер. Его историческое значение совершенно ускользает от них. Повторяю, надо быть русским, чтобы понимать, кого мы лишились…

Тургенев И. С. — Феоктистову Е. М., 26 февраля 1852

Вы не можете себе представить, друзья мои, как я вам благодарен за сообщение подробностей о смерти Гоголя*, — я уже писал об этом Боткину. Я перечитываю каждую строку с какой-то мучительной жадностью и ужасом, — я чувствую, что в *этой* смерти *этого* человека кроется более, чем кажется с первого взгляда, и мне хочется проникнуть в эту грозную и горестную тайну. Меня это глубоко поразило, так глубоко, что я не помню подобного впечатления. Притом я был подготовлен другими обстоятельствами, которые вы, вероятно, скоро узнаете, если уже не узнали. Тяжело, Феоктистов, тяжело, и мрачно, и душно… Мне, право, кажется, что какие-то темные волны без плеска сомкнулись над моей головой, — и иду я на дно, застывая и немея.

Но об этом когда-нибудь при личном свидании… А оно будет довольно скоро, если ничего не случится, — около 10 апреля я в Москве, на Фоминой неделе*.

Вы мне пишете о статье, которую я должен написать в «Современник», — не знаю, удастся ли мне… В этом случае нельзя сесть и писать не обдумавши, — надо попасть в тон, а уже думать о необходимости попасть в тон, когда говоришь о смерти Гоголя, тяжело и жестоко.

Я рад, что его хоронили в университетской церкви*, и, действительно, нахожу вас счастливыми, что удостоились нести его гроб. Это будет одно из воспоминаний вашей жизни. Что вам сказать о впечатлении, произведенном его смертью здесь? Все говорят о ней, но как-то вскользь и холодно. Однако есть люди, которых она глубоко огорчила. Другие интересы тут все поглощают и подавляют.

Вы мне говорите о поведении друзей Гоголя. Воображаю себе, сколько дрянных самолюбий станут вбираться в его могилу, и примутся кричать петухами, и вытягивать свои головки — посмотрите, дескать, на нас, люди честные, как мы отлично горюем и как мы умны и чувствительны — бог с ними… Когда молния разбивает дуб, кто думает о том, что на его пне вырастут грибы — нам жаль его силы, его тени…

Я послал Боткину стихи, внушенные Некрасову вестью о смерти Гоголя*; под впечатлением их написал я несколько слов о ней для «Петербургских ведомостей», которые посылаю вам при сем письме в неизвестности, пропустит ли их и не исказит ли их цензура. Я не знаю, как они вышли, но я плакал навзрыд, когда писал их.

Прощайте, мой добрый Евгений Михайлович. Скоро напишу вам опять. Жду от вас и от Боткина всех подробностей, которые вы только услышите…

P. S. Кажется, нечего и говорить, что под статьей о Гоголе не будет выставлено моего имени. Это было бы бесстыдством и почти святотатством…

Тургенев И. С. — Аксакову И. С., 3 марта 1852*

Скажу вам без преувеличения: с тех пор как я себя помню, ничего не произвело на меня такого впечатления, как смерть Гоголя… Эта страшная смерть — историческое событие, понятное не сразу: это тайна, тяжелая, грозная тайна — надо стараться ее разгадать, но ничего отрадного не найдет в ней тот, кто ее разгадает… все мы в этом согласны. Трагическая судьба России отражается на тех из русских, кои ближе других стоят к ее недрам, — ни одному человеку, самому сильному духом, не выдержать в себе борьбу целого народа, и Гоголь погиб! Мне, право, кажется, что он умер потому, что решился, захотел умереть, и это самоубийство началось с истребления «Мертвых душ»… Что касается до впечатления, произведенного здесь его смертью, да будет вам достаточно знать, что попечитель здешнего университета гр. Мусин-Пушкин не устыдился назвать Гоголя публично писателем лакейским. Это случилось на-днях по поводу нескольких слов, написанных мною для «С.-Петербургских ведомостей» о смерти Гоголя (я их послал Феоктистову в Москву). Гр. Мусин-Пушкин не мог довольно надивиться дерзости людей, жалеющих о Гоголе. Честному человеку не стоит тратить на это своего честного негодования. Сидя в грязи по горло, эти люди принялись есть эту грязь — на здоровье. Благородным людям должно теперь крепче, чем когда-нибудь, держаться за себя и друг за друга. Пускай хоть эту пользу принесет смерть Гоголя.

Д. А. Оболенский. О первом издании посмертных сочинений Гоголя*

ВОСПОМИНАНИЯ

Автор вариантов «Мертвых душ» отыскался; г. Ястржембский многократно печатно заявил, что не ожидал от своей литературной шалости таких серьезных последствий; что читающая публика введена в заблуждение помимо его воли и желания и что, наконец, опубликованные варианты всецело принадлежат перу его — г. Ястржембского. Некоторые, однако, продолжают относиться к этому заявлению с недоверием и, повидимому, остаются в убеждении, что варианты эти писаны Гоголем. Признаюсь, меня мало интересует знать, сам ли г. Ястржембский сочинил эти варианты или кто другой; для меня несомненно только, что все, сколько-нибудь знавшие лично покойного Гоголя и знакомые с историей издания его посмертных сочинений, согласятся со мной в том, что опубликованные в «Русской старине» (в январе 1872 г.) варианты «Мертвых душ» писаны не Гоголем*.

Не касаясь здесь содержания этих вариантов и слога их, носящих явные признаки неудачной подделки под манеру Гоголя, — *материально* невозможно, чтобы в чьих-либо руках могла находиться рукопись второй части «Мертвых душ», не согласная с теми вариантами, которые изданы были в 1855 году Трушковским, а впоследствии г. Кулишом.

Судьба привела меня быть одним из участников в хлопотах и заботах об издании посмертных сочинений Гоголя. Смею думать, что правдивый рассказ о ходе всего этого дела не лишен интереса и может послужить к разъяснению возникших недоразумений.

По необходимости я должен начать рассказ свой с свидания моего с Гоголем в 1849 году.

I

В первых числах июля месяца 1849 года, проездом через Калугу в имение отца моего, я застал Гоголя, гостившего у А. О. Смирновой, и обещал ему на обратном пути заехать за ним, чтобы вместе отправиться в Москву. Пробыв в деревне недолго, я в условленный день прибыл в Калугу и провел с Гоголем весь вечер у А. О. Смирновой, а после полуночи мы решили выехать.

С Гоголем я познакомился еще в 1848 году летом в Москве*, и мы видались часто. Родственные мои отношения к графу А. П. Толстому, у которого Николай Васильевич в то время жил в Москве, и дружба моя с кругом людей, которых Гоголь, по справедливости, считал самыми близкими своими друзьями, расположили его в мою пользу, и он не раз выказывал мне знаки своего дружеского внимания. Оттого ли, что неожиданно представилась ему приятная оказия выехать в Москву, куда торопился, или от другой причины, только помню, что весь вечер Гоголь был в отличном расположении духа и сохранил его во всю дорогу. Живо справил он свой чемоданчик, заключавший все его достояние, — но

главная забота его заключалась в том: как бы уложить свой портфель так, чтобы он постоянно оставался на видном месте. Решено было поставить портфель в карете к нам в ноги, и Гоголь тогда только успокоился за целость его, когда мы уселись в дормез и он увидел, что портфель занимает приличное и безопасное место, не причиняя, вместе с тем, нам никакого беспокойства.

Портфель этот заключал в себе только еще вчерне оконченный *второй том* «Мертвых душ».[168]

Читатели моего поколения легко могут себе представить, с каким чувством возбужденного любопытства смотрел я всю дорогу на этот портфель.

Чем был для молодых людей нашего поколения Гоголь — о том с трудом могут судить люди новейшего времени.[169]

Я принадлежал к числу тех поклонников таланта Гоголя, которые и после издания его «Переписки с друзьями» не усомнились в могучей силе его дарования.

Из рассказов графа А. П. Толстого, которому Гоголь читал еще вчерне отрывки из второй части «Мертвых душ», я уже несколько знал, какой серьезный оборот должна принять поэма в окончательном своем развитии. Письма самого Гоголя о «Мертвых душах» подготовляли также публику к чему-то неожиданному. Все это усиливало мое любопытство, и я, пользуясь хорошим расположением духа Гоголя и скверной дорогой, мешавшей нам скоро уснуть, заводил на разные лады разговор о лежащей в ногах наших рукописи. Но узнал не многое. — Гоголь отклонял разговор, объясняя, что много еще ему предстоит труда, но что черная работа готова и что, к концу года, надеется кончить, ежели силы ему не изменят. Я выразил ему опасение, что цензура будет к нему строга, но он не разделял моего опасения, а только жаловался на скуку издательской обязанности и возни с книгопродавцами, так как он имел намерение, прежде выпуска второй части «Мертвых душ», сделать новое издание своих сочинений.

К утру мы остановились на станции чай пить. Выходя из кареты, Гоголь вытащил портфель и понес его с собою, — это делал он всякий раз, как мы останавливались. Веселое расположение духа не оставляло Гоголя. На станции я нашел штрафную книгу и прочел в ней довольно смешную жалобу какого-то господина. Выслушав ее, Гоголь спросил меня:

— А как вы думаете, кто этот господин? Каких свойств и характера человек?

— Право не знаю, — отвечал я.

— А вот я вам расскажу. — И тут же начал самым смешным и оригинальным образом описывать мне сперва наружность этого господина, потом рассказал мне всю его служебную карьеру, представляя даже в лицах некоторые эпизоды его жизни. Помню, что я хохотал, как сумасшедший, а он все это выделывал совершенно серьезно. За сим он рассказал мне, что как-то одно время они жили вместе с Н. М. Языковым (поэтом) и вечером, ложась спать, забавлялись описанием разных характеров и за сим придумывали для каждого характера соответственную фамилию. «Это выходило очень смешно», — заметил Гоголь и при этом описал мне один характер, которому совершенно неожиданно дал такую фамилию, которую печатно назвать неприлично. — «И был он родом из грек!» — так кончил Гоголь свой рассказ.

Утром, во время пути, при всякой остановке выходил Гоголь на дорогу и рвал цветы, и ежели при том находились мужик или баба, то всегда спрашивал название цветов; он уверял меня, что один и тот же цветок в разных местностях имеет разные названия и что, собирая эти разные названия, он выучил много новых слов, которые у него пойдут в дело.

За несколько станций до Москвы я решился сказать Гоголю:

— Однако, знаете, Николай Васильевич, ведь это бесчеловечно, что вы со мной делаете. Я всю ночь не спал, глядя на этот портфель. Неужели он так и останется для меня закрытым?

Гоголь с улыбкой посмотрел на меня и сказал:

— Еще теперь нечего читать; когда придет время, я вам скажу.

Мы расстались с Гоголем в Москве. Я отправился в Петербург и от друзей Гоголя часто получал известия, что Гоголь усердно работал. Зиму 1851 года Гоголь провел в Одессе, откуда вернулся в июле месяце в Москву* и привез с собою уже совершенно оконченный второй том «Мертвых душ».

Осенью 1851 года, будучи проездом в Москве, я, посетив Гоголя, застал его в хорошем расположении духа, и на вопрос мой о том, как идут «Мертвые души», он отвечал мне:

— Приходите завтра вечером, в восемь часов, я вам почитаю.

На другой день, разумеется, ровно в восемь часов вечера я был уже у Гоголя; у него застал я А. О. Россета, которого он тоже позвал. Явился на сцену знакомый мне портфель; из него вытащил Гоголь одну довольно толстую тетрадь, уселся около стола и начал тихим и плавным голосом чтение первой главы.

Гоголь мастерски читал: не только всякое слово у него выходило внятно, но, переменяя часто интонацию речи, он разнообразил ее и заставлял слушателя усваивать самые мелочные оттенки мысли. Помню, как он начал глухим и каким-то гробовым голосом: «Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что же делать, если уже таковые свойства сочинителя и, заболев собственным несовершенством, уже и не может он изображать ничего другого, как только бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши и отдаленных закоулков государства? И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок». После этих слов внезапно Гоголь приподнял голову, встряхнул волосы и продолжал уже громким и торжественным голосом: «Зато какая глушь и какой закоулок!»*

За сим началось великолепное описание деревни Тентетникова, которое, в чтении Гоголя, выходило как будто писано в известном размере. Все описания природы, которыми изобилует первая глава, отделаны были особенно тщательно. Меня в высшей степени поразила необыкновенная гармония речи. Тут я увидел, как прекрасно воспользовался Гоголь теми местными названиями разных трав и цветов, которые он так тщательно собирал. Он иногда, видимо, вставлял какое-нибудь звучное слово единственно для гармонического эффекта.

Хотя в напечатанной первой главе все описательные места прелестны, но я склонен думать, что в окончательной редакции они были еще тщательнее отделаны.

Разговоры выведенных лиц Гоголь читал с неподражаемым совершенством. Когда, изображая равнодушное, обленившееся состояние байбака Тентетникова, сидящего у окна с холодной чашкой чая, он стал читать сцену происходящей на дворе перебранки небритого буфетчика Григорья с ключницей Перфильевной, то казалось, как бы действительно сцена эта происходила за окном и оттуда доходили до нас неясные звуки этой перебранки.

Граф А. П. Толстой сказывал мне, что ему не раз приходилось *слышать*, как Гоголь писал свои «Мертвые души»: проходя мимо дверей, ведущих в его комнату, он не раз слышал, как Гоголь один, в запертой горнице, будто бы с кем-то разговаривал, иногда самым неестественным голосом. В черновых рукописях видны следы этой работы. Каждый разговор переделывался Гоголем по нескольку раз. Зато как живо, верно и естественно говорят все его действующие лица.[170]

Рассказ о воспитании Тентетникова, сколько мне помнится, читан был Гоголем в том виде, как он напечатан в первом издании 1855 года*. Причина же выхода в отставку Тентетникова была гораздо более

развита, чем в тех вариантах, которые до нас дошли. Но ничего подобного на глупые анекдоты о директорской шинели и галошах и о Сидоре Андреевиче, вставленных в варианты, изданные в 1872 году*, не было и быть не могло; ибо причина выхода в отставку Тентетникова имела весьма глубокое нравственное основание.

Помню, что это место в чтении Гоголя особенно меня поразило по тонкости его психического анализа борьбы, происходящей в благородной душе молодого человека, с возвышенными чувствами и бескорыстными желаниями добра и пользы поступающего на службу. Таким был Тентетников, — не нужно забывать, что под влиянием чудного наставника развилось пылкое сердце мальчика и пробуждены были в нем все честные, благородные порывы и стремления; но Тентетников лишился своего наставника, когда «еще не успел образоваться и окрепнуть начинавший в нем строиться высокий внутренний человек; что, не испытанный измлада в борьбе с неудачами, не достигнул он до высокого состояния возвышаться и крепнуть от преград и препятствий; что растопившийся, подобно разогретому металлу, богатый запас великих ощущений не принял последней закалки». Поэтому, еще в школе, когда изменился характер преподавания и воспитания, он благодаря природному уму чувствовал, что не так должно преподавать, но *как* — не знал, и он «повесил нос». Но, по мере того как приближалось время к выпуску, сердце его билось. Он говорил себе: «Ведь это еще не жизнь, это — только приготовление к жизни, настоящая жизнь на службе». Там подвиги — и он жаждет их. С таким настроением поступает Тентетников на службу. С рвением принимается за работу. Прежде всего его несколько смущает механизм занятий, которому, ему казалось, придают слишком большое значение. Но он с этим примиряется в надежде все-таки добраться до сути дела, где найдет пищу своим благородным стремлениям и где, может быть, его ожидают подвиги. Он принимается за дело, как бы оно ни казалось вначале мелким. Действительно, уже в должности столоначальника у него в руках дела, направление которых уже много от него зависит. Он пишет, пишет новые законы, пишет распоряжения о благоустройстве отдаленнейших мест, о которых не имеет ни малейшего понятия. Пишет заочно наказы, разрешающие участь целого народонаселения, о действительных нуждах которого он ничего хорошенько не знает. Решает на бумаге дела людей, живущих за три тысячи верст. Ум и совесть говорят ему, что тут есть какая-то фальшь и что из всего этого может произойти много вздору, при всем желании его добра и пользы. Он чувствовал, что не так следовало бы итти делам, а как — *не знал*. И он утратил *веру* в службу. Вот разгадка, почему Тентетников «*свыкнулся* с службой: но только она сделалась у него не первым делом и целью, как он полагал было вначале, но чем-то вторым. Она служила ему распределением времени, заставив его более дорожить оставшимися минутами». При таком настроении, легко мог Тентетников подчиниться

влиянию людей раздраженных и наискиваться на неприятности. При первом случае он выходит в отставку.

Вот тема, которая развита была Гоголем с поразительною живостию, — Тентетников выставлен был лицом в высшей степени симпатичным. Утратив веру в свой идеал, чувствуя себя безоружным в борьбе с неразрешимыми противоречиями, он, может быть, по примеру других, окончательно и примирился бы с ними, чиновное честолюбие взяло бы верх над голосом совести, ежели бы не представилось воображению его другое поприще деятельности, еще не испытанное им, но заманчивое по обилию средств к практическому приложению всего запаса добрых и благородных намерений, которыми полна была душа его. Он поехал в деревню.

Чудное описание этой деревни в чтении Гоголя выходило так прелестно, что когда он кончил его словами: «Господи, как здесь просторно!» то мы, оба слушателя, невольно вскрикнули от восхищения.

Затем приезд Чичикова, разговор его с Тентетниковым и весь конец первой главы, сколько мне помнится, Гоголь читал совершенно согласно с текстом издания 1855 года. Окончив чтение, Гоголь обратился к нам с вопросом:

— Ну, что вы скажете?

Будучи под впечатлением тех прелестных картин и разнообразных описаний природы, которыми изобилует первая глава, я отвечал, что более всего я поражен художественной отделкой этой части, что ни один пейзажист не производил на меня подобного впечатления.

— Я этому рад, — отвечал Гоголь и, передав нам рукопись, просил, чтобы мы прочли ему вслух некоторые места.

Не помню, г. Россет или я исполнил его желание, и он прислушивался к нашему чтению, видимо, желая слышать, как будут передаваться другими те места, которые особенно рельефно выходили при его мастерском чтении.

По окончании чтения г. Россет спросил у Гоголя:

— Что, вы знали такого Александра Петровича (первого наставника Тентетникова) или это ваш идеал наставника?

При этом вопросе Гоголь несколько задумался и, помолчав, отвечал:

— Да, я знал такого.

Я воспользовался этим случаем, чтобы заметить Гоголю, что, действительно, его Александр Петрович представляется каким-то лицом идеальным, оттого, быть может, что о нем говорится уже как о

покойнике, в третьем лице; но как бы то ни было, а он, сравнительно с другими действующими лицами, как-то безжизнен.

— Это справедливо, — отвечал мне Гоголь и, подумав немного, прибавил: — Но он у меня оживет потом.

Что разумел под этим Гоголь — я не знаю.

Рукопись, по которой читал Гоголь, была совершенно набело им самим переписана; я не заметил в ней поправок.

Прощаясь с нами, Гоголь просил нас никому не говорить, что он нам читал, и не рассказывать содержания первой главы.

Несколько дней спустя я уехал в Петербург, обещав Гоголю, в случае нужды, хлопотать в цензурном комитете, ежели будут какие-либо препятствия к новому изданию полного собрания его сочинений*.

Пришла осень. От общих наших друзей узнал я, что Гоголь хандрит; но никто не беспокоился насчет его здоровья. В феврале месяце 1852 года, по случаю кончины дяди моего, отправился я в отпуск в Москву. Прибыв туда 22-го февраля, я поражен был известием, что накануне скончался Гоголь и что перед смертью он сжег вторую часть «Мертвых душ».

Вечером я отправился к А. П. Толстому. Тело покойного Гоголя уже было вынесено в университетскую церковь. От гр. Толстого узнал я все подробности странной кончины Гоголя и все подробности сожжения рукописей. Убитый горем, вошел я в комнату, среди которой стояла кафельная печь, еще полная пепла от сгоревшей рукописи. Перед аналоем протяжно читал дьячок псалмы, и в ту минуту, когда я отворил заслонку печи, услышал я могильным голосом произнесенные слова:

«И бых яко человек не слышай и не имый во устех своих обличения».

II

Не стану описывать здесь похорон Гоголя. Много было толков и суждений о последних днях его и о причинах, побудивших его сжечь труд всей своей жизни. Много об этом было писано и напечатано. Всякий судил под влиянием личных впечатлений. Самые близкие друзья Гоголя не знали его, и в этом сознались уже после его смерти.

Акт сожжения «Мертвых душ» может быть только объяснен таким подробным анализом особенных нравственных свойств этого необыкновенного человека и таким подробным изучением самой задачи, задуманной Гоголем и разрешить которую он надеялся «Мертвыми душами», что нет возможности сколько-нибудь убедительно и ясно изложить это в краткой журнальной статье.

Вскоре после похорон Гоголя все находившиеся в квартире его бумаги, все до последнего листка, были переданы графом А. П. Толстым — С. П. Шевыреву.

Смерть Гоголя, как громовой удар, поразила нашу литературу. Все газеты и журналы наполнены были статьями о Гоголе. Это окончательно возмутило цензурное управление, уже прежде подозрительно относившееся к Гоголю, считая его знаменем или главою либеральной партии. Особенно злобно относился к Гоголю бывший в то время попечителем С.-Петербургского учебного округа Мусин-Пушкин, председательствовавший в главном управлении цензуры.

Цензорам объявлено было приказание — строго цензуровать все, что пишется о Гоголе, и, наконец, объявлено было совершенное запрещение говорить о Гоголе. И. С. Тургенев за коротенькую статью, напечатанную в «Московских ведомостях» 13-го марта 1852 года, где он назвал Гоголя *великим* писателем, по особому распоряжению посажен был в Петербурге на съезжую, во вторую часть, и просидел там две недели[*]. Наконец даже имя Гоголя опасались употреблять в печати и взамен его употребляли выражения: *«известный писатель»*.

Вот при каких условиях друзья и родственники Гоголя должны были начать хлопоты об издании его сочинений и в том числе найденных отрывков из второй части «Мертвых душ».

Высшее петербургское общество в то время относилось с полным равнодушием к русской литературе вообще, а к утрате Гоголя в особенности.

Весьма тесный кружок людей, ценивших творения Гоголя, был совершенно бессилен противодействовать в высших сферах влиянию «Северной пчелы», под редакцией Булгарина. Газета эта, владея искусством действовать на слабые струны лиц, в то время власть имевших, была единственною представительницею общественного мнения в глазах этих лиц. Она умела опошлить и вместе с тем представить в опасном виде восторженные похвалы поклонников Гоголя.[171] Замечательно, что арест И. С. Тургенева в съезжем доме не произвел в высшем петербургском обществе никакого особого впечатления. Место заключения — «съезжий дом», куда сажали тогда пьяниц, показался некоторым лицам только странным и знаменательным, об этом много шутили и смеялись.

...Между тем Шевырев занимался в Москве разбором бумаг покойного Гоголя. В числе их оказалось несколько оконченных глав второго тома «Мертвых душ» и несколько отрывков из второй, а может быть даже и третьей части. Рукописи эти, очевидно, были черновые, с таким множеством помарок, что разобрать их было делом весьма трудным. Шевырев, которому Гоголь успел прочесть почти весь *второй* том, мог

один только, по памяти, восстановить текст, ближе всего подходивший к той редакции, которая была сожжена. При содействии племянника покойного Гоголя, г. Трушковского, труд этот был кончен весною 1853 года.

...Вот краткий рассказ о тех затруднениях, с которыми, в течение двух с лишком лет, приходилось бороться издателям сочинений Гоголя.

Изданные в 1855 году главы второй части «Мертвых душ» совершенно сходны с тем списком, который прислан был Шевыревым великому князю Константину Николаевичу. По этому списку я читал у разных лиц в Петербурге, и, между прочим, многие из петербургских литераторов в первый раз услышали это новое произведение Гоголя при моем чтении у покойного Николая Алексеевича Милютина.

Помню, что, по просьбе многих лиц, я давал свою рукопись для прочтения на дому, причем легко могли быть сняты с нее копии. Знаю также, что и Шевырев не стеснялся выдавать копии с своего списка. Таким образом, главы второй части «Мертвых душ» ходили уже по рукам в списках в значительном числе экземпляров, еще прежде появления их в печати.

Бывший в руках г. Ястржембского экземпляр, очевидно, был тот самый первоначальный список, который издан в 1855 году. На нем, действительно, после 2-й главы написано было карандашом (в скобках): «Здесь пропущено примирение генерала Бетрищева с Тентетниковым; обед у генерала и беседа их о 12-м годе; помолвка Уленьки за Тентетникова: молитва ее и плач на гробе матери; беседа помолвленных в саду. Чичиков отправляется, по поручению генерала Бетрищева, к родственникам его для извещения о помолвке дочери и едет к одному из этих родственников — полковнику Кашкарову».

Г. Ястржембскому легко было воспользоваться этой темой, чтобы позабавиться подражанием Гоголю, — тем более, что подробности он мог узнать из статьи Л. И. Арнольди «Мое знакомство с Гоголем», напечатанной в 1862 году в «Русском вестнике». В этой статье весьма верно изложено содержание четырех первых глав второй части, и хотя статья эта появилась в свет только в 1862 году, но весьма многие лица, из рассказов Шевырева, Аксаковых и А. О. Смирновой, знали содержание многих глав, совершенно для нас утраченных. Таким образом, и г. Ястржембский мог слышать от Прокоповича или от кого-либо другого те мотивы, которые он воспроизвел в своих вариантах.

Ежели г. Ястржембский желает продолжать свою забаву, то я могу указать ему еще несколько мотивов из последних глав второй части, о которых г. Арнольди не упоминает, но которые я слышал от Шевырева. Например: в то время когда Тентетников, пробужденный от своей апатии влиянием Уленьки, блаженствует, будучи ее женихом, его

арестовывают и отправляют в Сибирь; этот арест имеет связь с тем сочинением, которое он готовил о России, и с дружбой с недоучившимся студентом с вредным либеральным направлением. Оставляя деревню и прощаясь с крестьянами, Тентетников говорит им прощальное слово (которое, по словам Шевырева, было замечательное художественное произведение). Уленька следует за Тентетниковым в Сибирь, — там они венчаются и проч.

Вероятно, в бумагах Шевырева сохранились какие-либо воспоминания о слышанных им главах второго тома «Мертвых душ»; по крайней мере мне известно, что он намерен был припомнить содержание тех глав, от которых не осталось никаких следов, и изложить их вкратце на бумаге*.

В последующих изданиях г. Кулиша приведены варианты, уцелевшие в черновых рукописях, переданных графом Толстым Шевыреву; и можно утвердительно сказать, что, кроме этих рукописей, ни *у кого и никогда* не могло быть строки из второго тома «Мертвых душ», — ибо невозможно допустить, чтобы сам Гоголь решился выпустить из своих рук сокровище, над которым постоянно дрожал, опасаясь, чтобы оно не сделалось известным прежде окончательной отделки…

Н. Г. Чернышевский. Сочинения и письма Гоголя*

Издание П. А. Кулиша. Шесть томов. Спб. 1857.

Очень долго наша критика, при каждом новом издании сочинений того или другого знаменитого писателя, должна была жаловаться на неполноту и неудовлетворительность этого издания. Наконец дожили мы до хороших изданий, составленных внимательно людьми знающими. Издание сочинений Гоголя, сделанное г. Кулишом, конечно, не свободно от некоторых недостатков. Многие из них уже указаны г. Лонгиновым*, другие, вероятно, будут указаны другими нашими библиографами. Но все эти недостатки — опущение некоторых, впрочем вовсе неважных, мелких статеек, некоторые отступления от хронологической системы, некоторые опечатки и т. п. — совершенно незначительны в сравнении с достоинствами издания, за которое нельзя не благодарить г. Кулиша. Оно уже известно большей части наших читателей и нет надобности описывать его. Читатель знает, что в четырех первых томах собраны сочинения, бывшие до сих пор рассеянными в одиннадцати книгах (шесть томов сочинений в издании г. Трушковского, два тома «Мертвых душ», два тома «Арабесков» и «Переписка с друзьями»); два последние тома составились из писем Гоголя, и о них-то мы преимущественно будем говорить в этой статье, заметив только, что г. Кулиш сделал очень хорошо, поместив в обеих редакциях те сочинения Гоголя, которые были в значительной степени переделаны автором, именно: «Тараса Бульбу», «Портрет» и

сохранившийся отрывок второго тома «Мертвых душ». «Тарас Бульба» и «Портрет» равно известны публике, как в первоначальном, так и в исправленном своем виде; но отрывок «Мертвых душ» в первый раз является теперь в двух редакциях, сравнение которых чрезвычайно интересно. Оно показывает, каким образом Гоголь давал все больше и больше развития тому, что называл в последние годы своей жизни высоким лирическим порывом и что казалось довольно неловкою напыщенностью людям, сожалевшим о том болезненном направлении Гоголя, из которого возникла «Переписка с друзьями» и «Развязка Ревизора».

Неуместный и неловкий идеализм, столь сильно отразившийся на втором томе «Мертвых душ» и бывший главной причиной не только потери Гоголя для искусства, но и преждевременной кончины его, до сих пор составляет интереснейший вопрос в биографии нашего великого поэта. «Записки о жизни Гоголя», изданные в прошедшем году*, доставили людям, не знавшим лично Гоголя, первые материалы для того, чтобы судить о причинах и характере этого направления, столь прискорбным образом изумившего публику при издании «Переписки с друзьями». «Письмами Гоголя», ныне изданными, число этих материалов значительно увеличивается, но и в настоящее время публика далеко еще не имеет всех биографических данных, нужных для совершенно точного решения сомнений и подозрений, возбужденных тем настроением, какое обнаруживал Гоголь в последние десять лет своей жизни. Воспоминаний о Гоголе напечатано довольно много, но все они объясняют только второстепенные черты в многосложном и чрезвычайно оригинальном характере гениального писателя. Мы знаем теперь из этих воспоминаний, что в молодости он был большим забавником и балагуром; мы знаем, что уже и в молодости он не любил говорить о мыслях и чувствах, наиболее занимавших его душу, стараясь шутками придать разговору легкое, смешное направление, отклонить разговор от таких предметов, говорить о которых не мог бы без волнения; мы знаем, что в молодости он любил франтить и франтил очень неудачно; мы знаем, что в молодости он два или три раза испытывал чувство страстной любви, в способности к которому иногда отказывали ему до издания записок о его жизни; мы знаем, что болезненность его происходила главным образом от геморроидального расположения и от хронического расстройства желудка. Все эти сведения, конечно, не совершенно ничтожны, но они совершенно недостаточны для разрешения вопросов, имеющих наиболее важности в нравственной истории Гоголя. «Писем Гоголя» напечатано г. Кулишом уже очень много. Корреспонденция самого Пушкина, собранная полнее, нежели переписка какого бы то ни было другого русского литератора, далеко уступает своим объемом собранию «Писем Гоголя», напечатанному в нынешнем издании. Но эти письма во многих случаях остаются еще непонятными отчасти потому, что мы все еще очень мало

знаем факты жизни Гоголя, отчасти потому, что ответы его друзей, долженствующие служить необходимым дополнением к его собственным письмам, остаются до сих пор и, вероятно, довольно долго еще останутся ненапечатанными; отчасти, наконец, потому, что эти письма напечатаны по необходимости очень неполно: в издании пропущены многие отрывки, из которых иные должны быть интереснее всего напечатанного, — пропущены, кажется, и некоторые письма*. Надобно также прибавить, что о людях, бывших в близких сношениях с Гоголем, кроме одного Пушкина, не напечатано до сих пор почти ничего; почти ничего не напечатано до сих пор и об общем характере тех кружков, к которым принадлежал Гоголь, и тех сословий, среди которых он жил. Таким образом, материалы для биографии Гоголя, хотя и имеют объем очень обширный, далеко недостаточны. Публика до сих пор почти ничего прямым образом не знает о том, какими именно стремлениями руководился Гоголь. «Желание изобличать общественные раны», — по выражению, осмеянному самим Гоголем, это желание слишком неопределительно. Тут нужно бы знать, что именно казалось Гоголю дурным в современном обществе. «Но, кажется, мы это очень хорошо знаем: ему казалось дурно, что у нас существует взяточничество и неправосудие, апатия, развлекаемая только сплетнями и преферансом, и так далее, и так далее». Все это так, но из всего этого еще ничего не следует. На взяточничество и тому подобные пороки нападал не один Гоголь, нападали чуть ли не все наши писатели от Державина (чтоб не заходить слишком далеко в древность) до г. Бенедиктова. Щедрину и графу Соллогубу одинаково неприятно, что у нас существует взяточничество. Оба они нападают на этот порок, но между тем как Щедрина все прославляют, над графом Соллогубом все посмеялись*: почему так? потому, что вражда против взяточничества возникает у этих двух писателей из убеждений совершенно различных; потому что порок, на который нападают эти писатели, понимают они совершенно различно. Мало того, чтобы знать, что нравится или что не нравится писателю, — важно также знать, на основании каких убеждений этот предмет ему нравится или не нравится; нужно знать, от каких причин производит он недостаток, на который нападает, какими средствами считает он возможным истребить злоупотребление и чем предполагает он заменить то, что хочет искоренить. Нужно знать образ мыслей писателя. Каждый знает образ мыслей Пушкина, Жуковского; но образ мыслей Гоголя до сих пор еще недостаточно известен. «Как не известен? По крайней мере очень хорошо известно то направление, какое получила его мысль в последние годы. Аскетизм подавил в нем всякие другие начала». Будто и довольно знать это? Повторим: все это слишком неопределительно; аскетизм — выражение слишком общее; аскетическое направление имеет совершенно различный смысл, смотря по тому, из каких идей и стремлений вытекает…

«Письма Гоголя» и напечатанные до сих пор воспоминания о нем людей к нему близких не знакомят нас с его образом мыслей настолько, чтобы можно было прямым образом решить по ним, каков именно был этот человек, одаренный характером, исполненный, повидимому, противоречий, какою общею идеею была проникнута его нравственная жизнь, представляющаяся на первый взгляд столь нелогическою, бессвязною и даже нелепою. Мы хотим попробовать, нельзя ли за недостатком положительных свидетельств сколько-нибудь приблизиться к решению вопроса о нравственной жизни Гоголя путем соображений.

Догадки и соображения никогда не должны иметь притязания на безусловную основательность. Гипотеза остается гипотезою, пока факты не подтвердят ее, и надобно сказать, редко гипотеза подтверждается фактами во всех своих подробностях так, чтобы не измениться при переходе в достоверную фактическую истину. Довольно уже и того, если она близка к истине.

За недостатком прямых сведений о нравственной жизни Гоголя мы прежде всего постараемся отгадать, с какими влияниями мог он встречаться в тех обществах, среди которых жил.

Мы не будем много говорить о жизни Гоголя до самого переселения в Петербург. Он скоро вышел из-под влияний, которыми окружен был в домашнем быту и потом в школе. Переехав в Петербург, он с самого начала, как человек совершенно темный, не нашел близких, знакомых ни в ком, кроме нескольких бывших сотоварищей по школе и знакомой с ними вообще молодежи, бедной и безвестной. Этот кружок юношей, оживленных веселостью среди житейских недостатков, живших нараспашку, был, без сомнения, наилучшим из всех тех кружков, к которым впоследствии примыкал Гоголь. Но кроме веселости, соединенной с молодостью, едва ли мог найти что-нибудь Гоголь между этими людьми. [То было самое жалкое и пустое время для молодого поколения, особенно в Петербурге]...

Скоро Гоголь сделался литератором, и случайность, которая до сих пор называется необыкновенно счастливой и благотворной для развития творческих сил Гоголя, ввела его в кружок, состоявший из избраннейших писателей тогдашнего Петербурга. Первым был в этом кружке человек с талантом действительно великим, с умом действительно очень быстрым, с характером действительно очень благородным в частной жизни. Пушкин ободрял молодого писателя и внушал ему, каким путем надобно итти к поэтической славе. Но каков мог быть характер этих внушений? Известен образ мыслей, вполне развившийся в Пушкине, когда прежние его руководители сменились новыми друзьями и прежняя неприятная обстановка заменилась благосклонностью со стороны людей, третировавших Пушкина некогда,

как дерзкого мальчишку. До конца жизни Пушкин оставался благородным человеком в частной жизни: человеком современных убеждений он никогда не был*; прежде, под влияниями, о которых вспоминает в Арионе, — казался, а теперь даже и не казался. Он мог говорить об искусстве с художественной стороны, ссылаясь на глубокомысленного Катенина; мог прочитать молодому Гоголю прекрасное стихотворение «Поэт и чернь» с знаменитыми стихами:

Не для житейского волненья,

Не для корысти, не для битв и т. д. мог сказать Гоголю, что Полевой — пустой и вздорный крикун; мог похвалить непритворную веселость «Вечеров на хуторе». Все это, пожалуй, и хорошо, но всего этого мало; а по правде говоря, не все это и хорошо.

Если мы предположим, что в общество, занятое исключительно рассуждениями об артистических красотах, вошел человек молодой, до того времени не имевший случая составить себе твердый и систематический образ мыслей, человек, не получивший хорошего образования, должны ли мы будем удивляться, когда он не приобретет здравых понятий о метафизических вопросах и не будет приготовлен к выбору между различными взглядами на государственные дела?

Привычки, утвердившиеся в обществе, имеют чрезвычайную силу над действиями почти каждого из нас. У нас еще очень сильно то мелкое честолюбие, которое мешает человеку находить удовольствие в среде людей менее высокого ранга, как скоро открывается ему доступ в кружок, принадлежащий к более высокому классу общества. Гоголь был похож почти на каждого из нас, когда перестал находить удовольствие в обществе своих прежних молодых друзей, вошедши в кружок Пушкина. Пушкин и его друзья с таким добродушием заботились о Гоголе, что он был бы человеком неблагодарным, если бы не привязался к ним, как к людям. «Но можно иметь расположение к людям и не поддаваться их образу мыслей». Конечно, но только тогда, когда я сам уже имею твердые и приведенные в систему убеждения, иначе откуда же я возьму основание отвергать мысли, которые внушаются мне целым обществом людей, пользующихся высоким уважением в целой публике, — людей, из которых каждый гораздо образованнее меня? Очень натурально, что если я, человек малообразованный, нахожу этих людей честными и благородными, то мало-помалу привыкну я и убеждения их считать благородными и справедливыми.

Нет, кажется, сомнения, что до того времени, когда начало в Гоголе развиваться так называемое аскетическое направление, он не имел случая приобрести ни твердых убеждений, ни определенного образа мыслей. Он был похож на большинство полуобразованных людей, встречаемых нами в обществе. Об отдельных случаях, о фактах,

попадающихся им на глаза, судят они так, как велит им инстинкт их натуры. Так и Гоголь, от природы имевший расположение к более серьезному взгляду на факты, нежели другие писатели тогдашнего времени, написал «Ревизора», повинуясь единственно инстинктивному внушению своей натуры: его поражало безобразие фактов, и он выражал свое негодование против них; о том, из каких источников возникают эти факты, какая связь находится между тою отраслью жизни, в которой встречаются эти факты, и другими отраслями умственной, нравственной, гражданской, государственной жизни, он не размышлял много. Например, конечно, редко случалось ему думать о том, есть ли какая-нибудь связь между взяточничеством и невежеством, есть ли какая-нибудь связь между невежеством и организацией различных гражданских отношений. Когда ему представлялся случай взяточничества, в его уме возбуждалось только понятие о взяточничестве и больше ничего; ему не приходили в голову понятия [произвол], бесправность, [централизация], и т. п. Изображая своего городничего, он, конечно, и не воображал думать о том, находятся ли в каком-нибудь другом государстве чиновники, круг власти которых соответствует кругу власти городничего и контроль над которыми состоит в таких же формах, как контроль над городничим. Когда он писал заглавие своей комедии «Ревизор», ему, верно, и в голову не приходило подумать о том, есть ли в других странах привычка посылать ревизоров; тем менее мог он думать о том, из каких форм [общественного устройства] вытекает потребность [нашего государства] посылать в провинции ревизоров. Мы смело предполагаем, что ни о чем подобном он и не думал, потому что ничего подобного не мог он и слышать в том обществе, которое так радушно и благородно приютило его, а еще менее мог слышать прежде, нежели познакомился с Пушкиным. Теперь, например, Щедрин вовсе не так инстинктивно смотрит на взяточничество — прочтите его рассказы «Неумелые» и «Озорники», и вы убедитесь, что он очень хорошо понимает, откуда возникает взяточничество, какими фактами оно поддерживается, какими фактами оно могло бы быть истреблено. У Гоголя вы не найдете ничего подобного мыслям, проникающим эти рассказы. Он видит только частный факт, справедливо негодует на него, и тем кончается дело. Связь этого отдельного факта со всею обстановкою нашей жизни вовсе не обращает на себя его внимания.

Виноват ли он в этой тесноте своего горизонта? Мы не вздумаем оправдывать его избитою фразою, что он, дескать, был художник, а не мыслитель: недалеко уйдет тот художник, который не получил от природы ума, достаточного для того, чтобы сделаться и мыслителем. На одном таланте в наше время не далеко уедешь; а деятельность Гоголя была, кажется, довольно блистательна и, вероятно, было у него хотя столько ума, сколько найдется у каждого из нас, так прекрасно рассуждающих о вещах, на которых запнулся Гоголь. Дело в том, что мы

с вами, читатель, воспитались в обществе гораздо более развитом, нежели Гоголь. Вспомните, было ли в вашей жизни время, когда не знакомо было вам, например, хотя бы слово «принцип»? А Гоголь, в то время, когда писал «Ревизора», по всей вероятности, и не слыхивал этого слова, хотя был знаком уже несколько лет и с Пушкиным и со многими другими знаменитыми людьми тогдашнего времени. Или другой пример: вероятно, с незапамятных лет, вы, читатель, наслышались, что префект во Франции не имеет никакого участия в судебной власти, а имеет только административную; а Гоголь, когда писал «Ревизора», очень может быть, и не слышал о существовании французских префектов, а если и слышал, то, вероятно, предполагал, что круг власти префекта тот же самый, что круг власти губернатора; а не подлежит никакому сомнению то, что он решительно не знал о так называемой теории разделения судебной власти от административной...

«Но каким же образом Гоголь, при своем гениальном уме, мог останавливаться на отдельных фактах, не возводя их к общему устройству жизни? Каким образом мог он удовлетвориться вздорными и поверхностными объяснениями, какие мимоходом удавалось ему слышать? Наконец, каким образом не сошелся он с людьми, серьезность взгляда которых, повидимому, более гармонировала с его собственною натурою?»

На последний вопрос было б очень затруднительно отвечать, если б во время своей молодости Гоголь мог знать каких-нибудь людей, имевших образ мыслей, более соответствовавший инстинктивному направлению его натуры, нежели взгляды, господствовавшие в пушкинском кружке; но в том и дело, что около 1827–1834 годов (когда Гоголю было 18–25 лет) никто и не слышал в Петербурге о существовании таких людей, да, вероятно, их и не существовало. В Москве был, правда, Полевой; но Полевой тогда находился в разладе с Пушкиным, и надобно по всему заключать, что в кругу Пушкина считался он человеком очень дурным и по своим личным качествам и по образу мыслей, так что Гоголь с самого начала проникся нерасположением к нему; правда, был тогда в Москве Надеждин, но Надеждин выступил злым критиком Пушкина и долго внушал негодование всему пушкинскому кружку. Если бы Полевой и Надеждин жили в одном городе с юношею Гоголем, быть может, в личных сношениях он научился бы ценить их личности и научился бы сочувствовать их понятиям. Но он знал их в то время только по статьям, которые каждый день приучался считать нелепыми и отвратительными.

Через много лет, — в те годы, когда уже готов был первый том «Мертвых душ» (1840–1841), сделались известны массе публики, — вероятно, только теперь сделались известны и Гоголю, — люди другого направления: но в то время Гоголю было уже тридцать лет; в то время он был окружен ореолом собственного величия, был уже великим учителем

русской публики, — ему поздно было учиться у людей, несколько младших его по летам, стоявших в тысячу раз ниже его и по общественному положению и по литературному авторитету. Если б даже Гоголь не примыкал к пушкинскому кружку, он не стал бы заботиться о сближении с ними; а для человека, принадлежавшего к пушкинскому кружку, это было решительно невозможно.

Но, главное, с 1836 года почти постоянно Гоголь жил за границею и, конечно, мог только продолжать сношения с теми людьми в России, с которыми был уже знаком прежде.

«Как он мог, при сильном уме, останавливаться на частных явлениях, не отыскивая их связи с общею системою жизни? Как мог довольствоваться объяснениями, ходившими в кругу, среди которого он жил в Петербурге?» Но вспомним, что когда Гоголь переселился за границу (1836), ему не было еще двадцати семи лет, а жил он в этом кругу с двадцатилетнего возраста. Удивительно ли, что как ни гениален и проницателен юноша, вступающий в круг знаменитых людей, далеко превосходящих его образованностью, он на некоторое время остается при том мнении, что эти люди, признанные всем образованным обществом своей страны за передовых людей века, действительно передовые люди и что образ их мыслей соответствует требованиям современности? Даже люди, получившие философское образование, не в 20–25 лет делаются самостоятельными мыслителями; даже люди наиболее расположенные от природы пренебрегать частными фактами из любви к общим принципам, не в 20–25 лет самобытно возводят к общим принципам впечатления, производимые на них отдельными фактами. Юность — время жизни, а не теорий; потребность теории чувствуется уже позднее, когда прошло первое, поглощающее всю энергию мысли увлечение свежими ощущениями жизни.

Но вот Гоголь за границею; вот он уже близок к тридцатому году жизни, из молодого человека он становится мужем, чувствует потребность не только жить и чувствовать, но и мыслить: ему нужна уже теория, нужны общие основания, чтобы привести в систематический взгляд на жизнь те ощущения, которые влагаются в него инстинктивными внушениями природы и отдельными фактами. Каково-то будет его сознательное миросозерцание?

Мы говорили, что эту часть нашей статьи читатель может считать, пожалуй, гипотезою; но эта гипотеза очень точно сходится с теми свидетельствами, которые оставил о себе Гоголь в «Авторской исповеди». Мы приведем из этой статьи одно место:

«Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому

необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставляя их мысленно в самые смешные положения...» (изд. П. А. Кулиша, том III, стр. 500).

Гоголь тут воображает, что рассказывает о себе что-то необыкновенное, неправдоподобное; а на самом деле комические писатели большею частью были люди с грустным настроением духа; в пример укажем на Мольера. Они прибегали к шутке, к насмешке, чтобы забыться, заглушить тоску, как другие заглушают ее житейским разгулом. Чему приписать свою тоску, Гоголь не знает; болезнь сам он считает объяснением недостаточным. Не ясно ли уже из одного этого, что он был похож на людей нынешнего времени, очень хорошо понимающих причину своей грусти? Он, создавший Чичикова, Сквозника-Дмухановского и Акакия Акакиевича, не знает, что грусть на душу благородного человека навевается зрелищем Чичиковых и Акакиев Акакиевичей! Это странно для нас, привыкших думать о связи отдельных фактов с общею обстановкою нашей жизни; но Гоголь не подозревал этой связи.

«...выдумывать целиком смешные лица и характеры, поставляя их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, для чего это и кому от этого произойдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала».

Некоторые вздумали говорить, что Гоголь сам не понимал смысла своих произведений, — это нелепость слишком очевидная; но то справедливо, что, негодуя на взяточничество и самоуправство провинциальных чиновников в своем «Ревизоре», Гоголь не предвидел, куда поведет это негодование: ему казалось, что все дело ограничивается желанием уничтожить взяточничество: связь этого явления с другими явлениями не была ему ясна. Нельзя не верить ему, когда он говорит, что испугался, увидев, какие далекие следствия выводятся из его нападений на плутни провинциальных чиновников.

Стройные и сознательные убеждения развиваются в человеке не иначе, как или под влиянием общества, или при помощи литературы. Кто лишен этих вспомогательных средств, тот обыкновенно на всю жизнь остается при отрывочных мнениях об отдельных фактах, не чувствуя потребности придать им сознательное единство. Такие люди до сих пор составляют большинство у нас даже между теми, которые получили так называемое основательное образование. Об отдельных случаях они судят более или менее справедливо, но вы бываете поражены бессвязностию и внутреннею разладицею их суждений, как скоро речь пойдет о каких-нибудь общих и обширных вопросах. Двадцать лет тому назад представлялось еще гораздо меньше средств и внешних

побуждений выйти из этого состояния. Литература в то время представляла гораздо меньше, нежели ныне, для развития стройного образа мыслей; мнения лучших писателей оказывались вообще очень шаткими, как скоро дело доходило до общих вопросов, о которых говорили вообще наудачу. Читая, например, прозаические статьи Пушкина, вы удивляетесь тому, как один и тот же человек мог на двух, трех страницах соединить так много разноречащих мыслей. В обществе тогда было очень мало наклонностей к размышлению: это доказывается уже чрезвычайным успехом «Библиотеки для чтения», не имевшей никакого образа мыслей [, между тем, как в настоящее время журнал, не имеющий образа мыслей, был бы никому не нужен]. Очень извинительно было бы Гоголю, если бы он остался навсегда на той ступени умственных потребностей, на какой оставались во всю жизнь почти все писатели, бывшие у нас двадцать лет назад. Но он едва пережил первую пору молодости, как уже почувствовал непреодолимую потребность приобрести определенный взгляд на человеческую жизнь, приобрести прочные убеждения, не удовлетворяясь отрывочными впечатлениями и легкими бессвязными мнениями, которыми довольствовались другие. Это свидетельствует о высокости его натуры. Но одного инстинкта натуры мало для того, чтобы пойти верным путем к справедливому решению глубочайших и запутаннейших вопросов науки; для этого нужно также или иметь научное приготовление к тому, или надежных руководителей. Припомним же теперь, в каком положении находился Гоголь, когда был застигнут потребностью создать себе прочный образ мыслей.

В обществе, среди которого он жил, пока оставался в России, он не находил заботы размышлять о тех задачах, которые теперь занимали его. О них говорилось так мало, что он не имел даже случая узнать, к каким книгам следует ему обратиться при исследовании вопросов современной жизни; он не знал даже того, что как бы ни были достойны уважения люди, жившие за полторы тысячи лет до нас, они не могут быть руководителями нашими, потому что потребности общества в их время были совершенно не таковы, как ныне, их цивилизация была вовсе не похожа на нашу. Общество оставило его под влиянием уроков и рекомендаций, какие слышал он в детстве, потому что это общество никогда не занималось теми высокими нравственными вопросами, о которых слышал некогда ребенок от своей матери. И вот теперь, когда двадцатисемилетний человек вздумал искать в книгах решения задач, его мучивших, он не знал, к каким книгам обратиться ему, кроме тех, какие некогда советовали ему читать в родительском доме. Положение странное, неправдоподобное, но оно действительно было так. Много лет спустя, когда случилось Гоголю, по поводу своей «Переписки с друзьми», вступить в спор с человеком иного образа мыслей*, он наивно ссылался на авторитеты, завещанные ему детством, никак не предполагая, чтобы его противник, или кто бы то ни был в мире, мог

иначе думать о них или итти к истине не при исключительном их руководстве. Еще позднее, когда он писал свою «Авторскую исповедь», он столь же наивно оправдывался от обвинений в заблуждениях опять-таки ссылками на эти авторитеты, и воображал, что несомненно убедит всех в истинности своего пути, как скоро объяснит, какими авторитетами он руководился: ясно видишь, когда читаешь «Авторскую исповедь», что Гоголю не приходит и в голову мысль о возможности такого возражения: «Ты читал не те книги, какие нужно было тебе читать». Он воображает, что все будут согласны с ним, когда он утверждает, что нет иной истины, кроме истины, заключающейся в книгах, завещанных ему детскими воспоминаниями.

В настоящее время такая умственная беспомощность едва ли была бы возможна; но двадцать лет тому назад многое было иначе. Теперь наша литература, какова бы она ни была, проникнута мыслию. Около 1835–1837 годов этого не было; теперь в обществе вы очень часто слышите разговоры «о предметах, вызывающих на размышление», тогда это случалось несравненно реже. Но кому покажется слишком невероятной наивность Гоголя, тот может присмотреться к своим знакомым и тогда поверить ей: как часто и теперь вы встречаете людей, которые и русские журналы и даже иностранные газеты читают, а между тем в сомнительных случаях обращаются за справкою к своим школьным урокам! Разница между ними и Гоголем не слишком значительна.

Если бы Гоголь жил в России, вероятно, он встречал бы людей, противоречащих ему во мнении о методе, им избранной, хотя и тут едва ли могло бы влияние этих людей устоять против громких имен, одобрявших путь, на который стал он. Но он жил за границею в обществе трех, четырех людей, имевших одинакие с ним понятия об авторитетах, которыми вздумал он руководствоваться. Как видно из его писем, ближайшими его друзьями были Жуковский и Языков. Тон писем показывает, что эти два знаменитые писателя могли только усиливать наклонность, развивавшуюся в Гоголе. Тот и другой далеко превосходили Гоголя своею образованностию; тот и другой в частной жизни были людьми, внушавшими к себе уважение и доверие. Кроме того, Языков имел много случаев оказывать Гоголю важные услуги; еще больше добра сделал Гоголю Жуковский; человек всегда бывает расположен с особенною симпатиею принимать мнения людей, которых считает хорошими людьми в частной жизни.

Из друзей, оставшихся в России, довереннейшим лицом Гоголя был г. Шевырев. Сочинения этого ученого доказывают, что он должен был одобрять наклонности, которые овладевали умственной жизнью Гоголя.

Этим знакомствам надобно приписывать сильное участие в образовании у Гоголя того взгляда на жизнь, который выразился «Перепиской с

друзьями». По всем соображениям, особенно сильно должно было быть в этом случае влияние Жуковского.

Направление, принятое мыслями Гоголя, давно охарактеризовано словом «аскетизм»*. В благородной душе наклонность к аскетизму развивается скорее всего при зрелище праздной роскоши. Именно в этом случае получает справедливый смысл проповедь о воздержании, о борьбе с прихотями и страстями. Гоголь за границею был именно в таком положении. Еще в Петербурге, благодаря посредничеству литературных друзей, началось его сближение с людьми высшего общества. За границею он почти исключительно встречал русских путешественников из высшего круга. Говорить им о необходимости отречения от ветхого человека значило говорить о сочувствии к бедным и страждущим, и если мы будем помнить, к какому классу принадлежали люди, которым старался внушить Гоголь презрение земных благ, то многие из его речей приобретут смысл более разумный, нежели как могло бы показаться, если бы мы забыли, что речи эти порождены были сношениями с счастливцами земли. Проповедовать умеренность бедняку, и без того уже лишенному всяких излишеств, — дело бессмысленное, внушаемое холодным сердцем. Но говорить о смирении и сострадании людям знатным и сильным чувствует наклонность каждый, желающий блага обществу.

Гоголя обвиняли за то, что он в последние годы жизни сближался почти исключительно с людьми знатными и богатыми. Почти каждому из нас легче упрекать в этом других, нежели оправдать себя. Нелепою клеветою было бы думать, что в характере русского человека от природы лежит черта, столько раз осмеянная Гоголем. Но, описав Петрушку и Селифана, Гоголь недаром замечает, что «весьма совестится занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими сословиями. Таков уже русский человек: страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений». Действительно, эта страсть до того распространена в обществе, что обвинять за нее того или другого отдельного человека почти так же несправедливо, как негодовать на даму, прекрасную во всех отношениях, за то, что она носила корсет. Быть может, носить корсеты — вредная привычка; быть может, иметь страсть к знатным знакомствам — дурная привычка. Но как осуждать отдельного человека за то, в чем виновато все общество?

Была в характере Гоголя другая черта, имеющая довольно тесное отношение с наклонностию к знатному кругу и также несообразная с идеалом человеческого характера. Те, которые говорили о Гоголе дурно, называли его человеком подобострастным, искательным. Беспристрастный судья едва ли согласится на такой резкий отзыв. Но то

справедливо, что заметна в Гоголе какая-то гибкость, какое-то излишнее желание избегать противоречий, говорить с каждым в его тоне, вообще приноровляться к людям более, нежели следовало бы. Но и эта слабость принадлежит не отдельному человеку, а всему обществу. Избитая латинская поговорка Saeculi vitia, non hominis, — «пороки эпохи, а не человека», — эта поговорка может быть очень полезна не только для оправдания личностей, но, что гораздо важнее, для исправления нравов общества. Совершенно напрасно подражать тому, который, увидев своего знакомого, имеющего часть любезности и оборотливости Павла Ивановича, «толкнет (по выражению Гоголя) под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха: «Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел!» и потом, как ребенок, позабыв всякое приличие, должное званию и летам, побежит за ним вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая: «Чичиков, Чичиков, Чичиков!» Вместо этого напрасного глумления, Гоголь предлагает каждому из нас посмотреть на себя с запросом: «А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?» Это дело, конечно, очень хорошее, но опять едва ли не бесполезное: пока не изменятся понятия и привычки общества, едва ли удастся кому-нибудь из нас, при всех возможных анализах собственной души, изменить и собственные привычки: они поддерживаются требованиями общества, обстановкою нашей жизни; отказаться от дурных привычек, господствующих в обществе, точно так же трудно, как и нарушать хорошие привычки, утвердившиеся в обществе. Никто из нас не решится отравить своего неприятеля, как отравляли в старину; едва ли многие из нас в состоянии много превзойти Гоголя стоицизмом в обращении с людьми, пока общество не будет требовать благородной прямоты в обращении. Итак, лучше всего подумать о том, какими обстоятельствами и отношениями порождены и поддерживаются в нашем обществе пороки, которыми мы недовольны, и каким образом можно было бы отстранить эти обстоятельства и улучшить эти отношения.

Как развитием всех хороших своих качеств человек бывает обязан обществу, точно так и развитием всех своих дурных качеств. На удел человека достается только наслаждаться или мучиться тем, что дает ему общество. С этой точки мы должны смотреть и на Гоголя. Напрасно было бы отрицать его недостатки: они слишком очевидны: но они были только отражением русского общества. Лично ему принадлежит только мучительное недовольство собой и своим характером, недовольство, в искренности которого невозможно сомневаться, перечитав его «Авторскую исповедь» и письма; это мучение, ускорившее его кончину, свидетельствует, что по натуре своей он был расположен к чему-то гораздо лучшему, нежели то, чем сделало его наше общество. Лично ему принадлежит также чрезвычайное энергическое желание пособить общественным недостаткам и своим собственным слабостям. Исполнению этого дела он посвятил всю свою жизнь. Не его вина в том,

что он схватился за ложные средства: общество не дало ему возможности узнать во-время о существовании других средств…

Но мы далеко уклонились от речи об аскетизме, которому предался Гоголь. Людям того поколения, которое приобрело господство в нашей литературе после отъезда Гоголя за границу, аскетизм этот казался так несообразен с их понятием о следствиях, естественно вытекающих из прежних сочинений Гоголя, что вообще распространилась мысль, будто Гоголь «Перепиской с друзьями» отказывается от своей прежней деятельности и даже должен осуждать тот огонь негодования против общественных пороков, который давал жизнь «Ревизору» и первому тому «Мертвых душ». Многие неловкие выражения о прежних своих сочинениях со стороны самого Гоголя подтверждали эту догадку. Но чтение писем, теперь изданных, заставляет нас согласиться с уверениями Гоголя, что новое направление не помешало ему сохранить свои прежние мнения о тех предметах, которых касался он в «Ревизоре» и первом томе «Мертвых душ». Сущность перемены, происшедшей с Гоголем, состояла в том, что прежде у него не было определенных общих убеждений, а были только частные мнения об отдельных явлениях; теперь он построил себе систему общих убеждений. При этом деле человек обыкновенно сохраняет те частные мнения, какие имел прежде, и если они логически не подходят под общий принцип, им вновь принимаемый, он скорее обманет себя, допустит логическую непоследовательность, допустит очевидное противоречие, нежели найдет нужным отказаться от прежних мнений. С так называемыми нравственными обращениями почти такая же история, что с променом одного языка на другой. Эльзасский немец вздумал быть французом и действительно употребляет французские слова, но выговор остался у него прежний, весь склад речи прежний, и по одной фразе, по одному слову вы тотчас узнаете, что перед вами все-таки немец, а не француз. Идолопоклонники-китайцы вздумали быть буддистами, и по общим фразам их кажется, будто они стали монотеистами; но они сохранили всех своих идолов и все свои прежние понятия.

С того времени, как Гоголем овладело аскетическое направление, письма его наполнены рассуждениями о таких предметах, которыми прежде он мало занимался. Но если вы, преодолев скуку, наводимую однообразием этих писем, всмотритесь в них ближе и точнее, сравните их с письмами прежних годов, вы увидите, что во втором периоде сохранилось, кроме молодой веселости, все то, что было в письмах первого периода, и наоборот, в письмах первого периода вы найдете уже те черты, которые, повидимому, должны были бы принадлежать второму периоду. Это убеждение нам самим долго казалось сомнительно; предполагая, что оно может показаться сомнительно и читателю, мы считаем нужным подтвердить его выписками довольно многочисленными. Если читатель найдет их излишними, тем лучше:

значит, он уже убежден, что Гоголь, если и заблуждался, то не изменял себе, и что если мы можем жалеть о его судьбе, то не имеем права не уважать его.

...И не вздумайте говорить, что Гоголь только других учил страдать, не прилагая к себе своих изуверских учений; после описания его предсмертной болезни, напечатанного доктором, его лечившим,[172] невозможно сомневаться в том, что он уморил себя. В одном человеке какие несообразные крайности! Человек [двинувший вперед свою нацию,] мучит себя и морит, как дикий изувер Брынских лесов! Да, [пока не] пришли годы, в которые человек, вместо инстинкта природы, должен принять своим руководителем разум, [он был вождем своего народа благодаря мощному и благородному инстинкту своей натуры; но] когда пришло время разуму овладеть инстинктом, когда по-настоящему должна была бы начаться плодотворнейшая эпоха его деятельности, — оказалось, о горе, о стыд нам! — оказалось, что жизнь среди нас исказила светлый дар его разума так, что он послужил только на погибель ему! Страшна и нелепа эта жизнь!

И не вздумайте сказать, что пример Гоголя — одинокое явление; нет. Правда, ни в ком не было столько энергии, как в нем, потому ничья погибель и не была так страшна, как его погибель. Но лучшие люди, так или иначе, изнемогали под тяжестью жизни: едва пришла и пора, опомнившись от страстного увлечения свежею молодостью, обозреть проницательным взглядом мужа жизнь, все они погибли. Легок и весел был характер Пушкина, а на тридцатом году, подобно Гоголю, изнемогает он нравственно [теряет силу быть руководителем своей нации] и умирает через несколько лет [не по какому-нибудь случайному сцеплению обстоятельств, — нет], потому что невыносимо было ему оставаться на свете, и он искал смерти. Лермонтов? — Лермонтов [тоже] рад был расстаться поскорее с жизнью:

За все, за все тебя благодарю я:

За тайные мучения страстей,

За горечь слез, отраву поцелуя,

За ложь врагов и клевету друзей;

За *жар души, растраченный в пустыне*,

За все, чем я обманут в жизни был...

Устрой лишь так, чтобы тебя отныне

Не долго я еще благодарил... Как вы думаете, напрашивался ли бы он на ссоры и дуэли, если бы легче казалась ему жизнь, нежели смерть? А Кольцов? О, у этого судьба была заботлива, она хотела избавить его от

желания смерти, предупредив всякие желания: железного здоровья был человек, а нехватило его железного здоровья больше, чем на тридцать два года; заботлива была судьба, хотела предупредить его желания, а все-таки не успела:

В душе страсти огонь

Разгорался не раз,

Но в бесплодной тоске

Он сгорел и погас.

Только тешилась мной

Злая ведьма судьба,

Только силу мою

Сокрушила борьба... (и т. д.)

Жизнь! зачем же собой

Обольщаешь меня?

Если б силу бог дал,

Я разбил бы тебя!

Не вспомнить ли еще Полежаева, который, по всему видно, был не хуже других, но

Не расцвел, и отцвел

В утре пасмурных дней... Но долго бы было вспоминать всех: кого ни вспомнишь из сильных душою людей, все они годятся в этот список. Что же вы, милостивый государь, претендуете на Гоголя за то, что был

Жизнью измят он...

Такова была ж его натура: не ему одному, всем была такая участь: нравственное изнеможение, ведущее за собою преждевременную, почти умышленную, во всяком случае желанную смерть. Мир тебе, человек слишком высоких и слишком сильных стремлений. Не мог ты остаться здоровым и благоразумным среди нас.

Мир тебе во тьме Эреба!..

Ты своею силой пал...

...Да, мы видим из этого, что Гоголь не только понимал необходимость быть грозным сатириком, понимал также, что слаба еще и мелка та сатира, которою он должен был ограничиться в «Ревизоре». В этой,

оставшейся неудовлетворенною, потребности расширить границы своей сатиры надобно видеть одну из причин недовольства его своими произведениями. В период аскетизма это недовольство высказывал он странным языком, объясняя странными источниками; но та причина, которая высказана в приведенных нами отрывках, обнаруживает в Гоголе то глубокое понимание обязанностей и предметов сатиры, которое только теперь начинает переходить в общее убеждение.

Не знаем, нужно ли было в настоящее время доказывать, что Гоголь, каковы ни были его заблуждения в последний период жизни, никогда не был отступником от стремлений, внушивших ему «Ревизора»; доказывать, что, как бы ни были странны многие мнения и поступки его с 1840 года, он действовал вообще не по расчетливому лицемерству — если в этом уже были убеждены все наши читатели, тем лучше, хотя в таком случае статья наша лишилась бы всякого значения...

Часто говорят: Гоголь погиб для искусства, предавшись направлению «Переписки с друзьями». Если это понимать в том смысле, что новые умственные и нравственные интересы, выраженные «Перепискою», отвлекали его деятельность от сочинения драм, повестей и т. п., в этом мнении есть часть истины: действительно, при новых заботах у него осталось менее времени и силы заниматься художественною деятельностью; кроме того, и органическое изнеможение ускорялось новым направлением. Но когда предположением о несовместимости его нового образа мыслей с служением искусству хотят сказать, что он в художественных своих произведениях изменил бы своей прежней сатирической идее, то совершенно ошибаются. Хотя в уцелевшем отрывке второго тома «Мертвых душ» встречаются попытки на создание идеальных лиц, но общее направление этого тома очевидно таково же, как и направление первого тома, как мы уже имели случай заметить при появлении второго тома, два года тому назад*. Кроме того, надо вспомнить, что когда явился первый том «Мертвых душ», Гоголь уже гораздо более года, быть может года два, был предан аскетическому направлению — это обнаруживается письмами, — однакож, оно не помешало ему познакомить свет с Чичиковым и его свитою.

Если этих доказательств мало, вот прямое свидетельство самого Гоголя о том, что он в эпоху «Переписки» не видел возможности изменять в художественных произведениях своему прежнему направлению. Странные требования и ожидания относительно присылки ему замечаний на «Переписку с друзьями» убеждают, что эти строки писаны во время самого преувеличенного увлечения ошибочными мечтами «Переписки» и «Завещания», — и тем большую цену приобретают слова Гоголя о невозможности изобразить в художественном произведении жизнь с примирительной точки зрения.

«1847 г. 27 апреля.

Появление моей книги, несмотря на всю ее чудовищность, есть для меня слишком важный шаг. Книга имеет свойства пробного камня: поверь, что на ней испробуешь как раз нынешнего человека. В суждениях о ней непременно выскажется человек со всеми своими помышлениями, даже теми, которые он осторожно таит от всех, и вдруг станет видно, на какой степени своего душевного состояния он стоит. Вот почему мне так хочется собрать все толки всех о моей книге. Хорошо бы прилагать при всяком мнении портрет того лица, которому мнение принадлежит, если лицо мне незнакомо. Поверь, что мне нужно основательно и радикально пощупать общество, а не взглянуть на него во время бала или гулянья: иначе у меня долго еще будет все невпопад, хотя бы и возросла способность творить. А этих вещей никакими просьбами нельзя вымолить. Одно средство: выпустить заносчивую, задирающую книгу, которая заставила бы встрепенуться всех. Поверь, что русского человека, покуда не рассердишь, не заставишь заговорить. Он все будет лежать на боку и требовать, чтобы автор попотчевал его чем-нибудь *примиряющим* с *жизнью* (как говорится). Безделица! Как будто можно *выдумать* это примиряющее с жизнью. Поверь, что какое ни выпусти художественное произведение, оно не возьмет теперь влияния, если нет в нем именно тех вопросов, около которых ворочается нынешнее общество, и если в нем не выставлены те люди, которые нам нужны теперь и в нынешнее время. Не будет сделано этого — его убьет первый роман, какой ни появится из фабрики Дюма. Слова твои о том, как чорта выставить дураком, совершенно попали в такт с моими мыслями. Уже с давних пор только и хлопочу о том, чтоб после моего сочинения насмеялся вволю человек над чортом». (Том VI, стр. 375–376.)

Мы кончили наши извлечения из «Писем» Гоголя, — уже слишком много приведено нами выписок, большею частью утомительных своею монотонностью и тяжелою странностью мыслей, но показавшихся нам не лишенными важности для того, чтобы хотя несколько разъяснить вопрос о Гоголе как о человеке. Чтение писем его с 1840 года чрезвычайно утомительно и очень неприятно; но мнение, внушаемое ими о Гоголе, выгодно, насколько может быть выгодно мнение о человеке, вдавшемся в заблуждения, пагубные для него самого, грустные для всех поклонников его великого таланта и ума. Мы уже сказали, что сведения, до сих пор обнародованные, слишком еще не полны и вовсе недостаточны для того, чтобы составить о характере и развитии Гоголя, как человека, точное понятие без опасности ошибиться. Но, насколько мы можем судить о Гоголе по этим недостаточным материалам, мы думаем, что наиболее близкое к истине мнение будет следующее.

Родившись среди общества, лишенного всяких прочных убеждений, кроме некоторых аскетических мнений, дошедших до этого общества по преданию старины и нимало не прилагающихся этим обществом к

жизни, Гоголь ни от воспитания, ни даже от дружеского кружка своих сверстников не получил никакого содействия и побуждения к развитию в себе стройного образа мыслей, нужного для каждого человека с энергическим умом, тем более для общественного деятеля. Потом, проведя свою молодость в кругу петербургских литераторов, он мог получить от них много хорошего для развития формальной стороны своего таланта, но для развития глубоких и стройных воззрений на жизнь и это общество не доставило ему никакой пищи. Между тем инстинкт благородной и энергической натуры обратил его к изображению общественной жизни с той стороны, которая одна могла в то время вдохновлять истинного поэта, поэта идеи, а не только формы. Литературная известность сблизила его с некоторыми литераторами, не принадлежащими к петербургскому кружку, в котором он жил, но пользовавшимися в этом кружке репутациею замечательных ученых и мыслителей*. В то время Гоголь еще мало заботился об общих теориях, и знакомство с этими мыслителями пока еще не оказывало на него особенного влияния; его мало занимали мысли, занимавшие их; они только западали, более или менее случайным образом, в его память, в которой хранились некоторое время без всякого развития и употребления. Как мнение петербургского литературного кружка, в котором жил Гоголь, содействовало сближению его с этими учеными, так оно воспрепятствовало сближению его с другими тогдашними литераторами, которые одни могли бы иметь полезное влияние на его умственное развитие: Полевой и Надеждин не пользовались уважением людей, среди которых жил Гоголь.

Юноша поглощен явлениями жизни; ему не время чувствовать потребность общих теорий, если эта потребность не развита в нем воспитанием или обществом. Гоголь писал о тех явлениях, которые волновали его благородную натуру, и довольствовался тем, что разоблачает эти вредные явления; о том, откуда возникли эти явления, каково их отношение к общим принципам нашей жизни, никто ему не говорил, а самому ему еще рано было для таких отвлеченностей отрываться от непосредственного созерцания жизни. Собственно говоря, он не имел тогда никакого образа мыслей, как не имели его в то время никто из наших литераторов [, кроме двух журналистов, от которых отстранялся он своими литературными связями*, и нескольких молодых людей, которых не мог он знать по их безвестности]. Он писал так, как рассуждает большая часть из нас теперь, как судили и писали тогда почти все: единственно по внушению впечатления. Но впечатление, производимое безобразными явлениями жизни на его высокую и сильную натуру, было так сильно, что произведения его оживлены были энергиею негодования, о которой не имели понятия люди, бывшие его учителями и друзьями. Это живое негодование было вне круга их понятий и чувств — они смотрели на него довольно индиферентно, не одобряя и не осуждая его мыслей слишком решительно, но совершенно

сочувствуя формальной стороне таланта Гоголя, которым дорожили за живость его картин, за верность его языка, наконец за уморительность его комизма.

Слабость здоровья, огорчения, навлеченные «Ревизором», и, быть может, другие причины, остающиеся пока неизвестными, заставили Гоголя уехать за границу и оставаться там много лет, почти до конца жизни, посещая Россию только изредка и только на короткое время. Вскоре после отъезда за границу начался для молодого человека переход к зрелому мужеству.

При развитии, подобном тому, какое получил Гоголь, только для очень немногих, самых сильных умом людей настает пора умственной возмужалости, та пора, когда человек чувствует, что ему недостаточно основываться в своей деятельности только на отрывочных суждениях, вызываемых отдельными фактами, а необходимо иметь систему убеждений. В Гоголе пробудилась эта потребность.

Какими материалами снабдило его воспитание и общество для утоления этой потребности? В нем ничего не нашлось из нужных для того данных, кроме преданий детства; те умственные влияния, о которых вспоминал он и с которыми встречался он в заграничной жизни, все склоняли его к развитию этих преданий, к утверждению в них. Он даже не знал о том, что могут существовать иные основания для убеждений, могут быть иные точки воззрения на мир.

Так развивался в нем образ мыслей, обнаружившийся перед публикою изданием «Переписки с друзьями», перед друзьями гораздо ранее, до издания первого тома «Мертвых душ».

В статье о сочинениях Жуковского мы говорили об одном из тех людей*, вместе с которыми, отчасти под руководством которых, жил теперь Гоголь. Теоретические основания были одни и те же у них, но результаты, произведенные этою теориею, вовсе не одинаково отразились и на нравственной, и на литературной, и даже на органической жизни Гоголя и его сотоварищей-учителей, потому что его натура была различна от их натур. То, что оставалось спокойным, ничему не мешающим и даже незаметным во внешности у них, стало у него бурным, все одолевающим, неудобным для житейской и литературной деятельности и невыносимым для организма. В этом отношении все другие, кроме Гоголя, были сходны с Жуковским, которого мы и берем для сравнения с Гоголем, ссылаясь на нашу статейку о сочинениях Жуковского, вышедших в нынешнем году.

Умеренность и житейская мудрость — вот отличительные черты натуры Жуковского по вопросу о применении теории к жизни. При таких качествах теория оказывалась содействующею у Жуковского мудрому

устроению своей внутренней жизни, мирных отношений к людям, нимало не стесняющею сил и деятельности таланта.

У Гоголя было не то. Многосложен его характер, и до сих пор загадочны многие черты его. Но то очевидно с первого взгляда, что отличительным качеством его натуры была энергия, сила, страсть; это был один из тех энтузиастов от природы, которым нет средины: или дремать, или кипеть жизнью; увлечение радостным чувством жизни или страданием, а если нет ни того, ни другого — тяжелая тоска.

Таким людям не всегда безопасны бывают вещи, которые всем другим легко сходят с рук. Кто из мужчин не волочится, кто из женщин не кокетничает? Но есть натуры, с которыми нельзя шутить любовью: стоит им полюбить, они не отступят и не побоятся ни разрыва прежних отношений, ни потери общественного положения. То же бывает и в отношении идей. Человек «разумной середины» может держаться каких угодно теорий и все-таки проживет свой век мирно и счастливо. Но Гоголь был не таков. С ним нельзя было шутить идеями. Воспитание и общество, случай и друзья поставили его на путь, по которому безопасно шли эти друзья, — что он наделал с собою, став на этот путь, каждый из нас знает.

Но все-таки что же за человек был он в последнее время своей жизни? Чему верил он, это мы знаем; но чего теперь хотел он в жизни для тех меньших братий своих, которых так благородно защищал прежде? Этого мы до сих пор не знаем положительно. Ужели он в самом деле думал, что «Переписка с друзьями» заменит Акакию Акакиевичу шинель? Или «Переписка» эта была у него только средством внушить тем, которые не знали того прежде, что Акакий Акакиевич, которому нужна шинель, есть брат их? Положительных свидетельств тут нет. Каждый решит это по своему мнению о людях. Нам кажется, что человек, так сильно любивший правду и ненавидевший беззаконие, как автор «Шинели» и «Ревизора», неспособен был никогда, ни при каких теоретических убеждениях окаменеть сердцем для страданий своих ближних. Мы привели выше некоторые факты, кажущиеся нам доказательствами того. Но кто поручится за человека, живущего в нашем обществе? Кто поручится, что самое горячее сердце не остынет, самое благородное не испортится? Мы имеем сильную вероятность думать, что Гоголь 1850 года заслуживал такого же уважения, как и Гоголь 1835 года; но положительно мы знаем только то, что во всяком случае он заслуживал глубокого скорбного сочувствия…

Да, как бы то ни было, а великого ума и высокой натуры человек был тот, кто первый представил нас нам в настоящем нашем виде, кто первый научил нас знать наши недостатки и гнушаться ими. И что бы напоследок ни сделала из этого [великого] человека жизнь, не он был

виноват в том. И если чем смутил нас он, все это миновалось, а бессмертны остаются заслуги его.

Комментарии

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Воспоминания современников о Гоголе в большинстве своем разбросаны по различным дореволюционным журналам и газетам и малодоступны для широкого читателя. Неоднократно переиздавались общеизвестные воспоминания — И. С. Тургенева, П. В. Анненкова, С. Т. Аксакова. Из других материалов перепечатывались в разное время лишь незначительные отрывки (например, в сб. «Гоголь в рассказах современников», под ред. Вл. Львова, М. 1909, и книге, сост. В. В. Каллашом «Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников и переписке», вышедшей двумя изданиями: М. 1909 и М. 1924). Свидетельства современников были широко использованы в известных книгах В. В. Гиппиуса («Н. В. Гоголь в письмах и воспоминаниях», М. 1931) и В. В. Вересаева («Гоголь в жизни», М. — Л. 1933). Однако «монтажный» принцип, положенный в основу этих изданий, лишал читателя возможности цельного восприятия мемуарных документов. Отрывки из них играли здесь лишь чисто иллюстративную роль в освещении того или иного периода биографии Гоголя. Что касается книги Вересаева, то ее порочность определялась прежде всего совершенно некритическим отношением составителя к мемуарным источникам. В. В. Вересаев воспроизводил без каких бы то ни было комментариев противоречивые, а порой и взаимно исключающие друг друга свидетельства.

Настоящее издание является наиболее полным, хотя далеко не исчерпывающим, сводом мемуарных материалов о Гоголе. В отборе этих материалов мы руководствовались желанием дать советскому читателю лишь самое ценное и важное, что помогло бы воссоздать живой облик великого русского писателя. В книгу не включены воспоминания, содержание которых основано на малозначительных или сомнительной достоверности фактах (И. Г. Кулжинского, В. Н. Репниной, А. С. Стурдзы, И. Ф. Золотарева и др.). Некоторые мемуары (С. В. Скалон, И. К. Айвазовского, К. С. Аксакова, Д. К. Малиновского и др.), не вошедшие по тем или иным причинам в книгу, но содержащие интересные свидетельства о Гоголе, используются в комментариях.

Ряд воспоминаний воспроизводится нами с сокращениями, главным образом за счет мест, не имеющих мемуарного значения или содержащих явные ошибки, грубо фальсифицирующие образ Гоголя. Из общих воспоминаний В. А. Соллогуба, И. И. Панаева, В. В. Стасова, Ф. И. Буслаева и др. даются отрывки, имеющие непосредственное отношение к теме книги.

Воспоминания расположены в книге в хронологическом порядке — в соответствии с этапами биографии Гоголя.

Тексты воспоминаний воспроизводятся по первопечатным или последним прижизненным изданиям. Мемуары С. Т. Аксакова, издававшиеся весьма неисправно, со множеством ошибок, сверены с рукописью.

Комментарии преследуют цель: дать читателю краткую характеристику личности мемуариста, раскрыть фактическую историю публикуемого материала, расшифровать содержащиеся в нем намеки, исправить ошибки и пр. Некоторые объяснения, дающиеся в тексте, заключены в угловые скобки (например, инициалы, расшифрованные нами фамилии, окончания сокращенно обозначенных слов, и т. д.). Все подстрочные примечания, за исключением переводов иностранных слов и выражений, принадлежат авторам воспоминаний.

В конце книги приложен аннотированный алфавитный указатель упоминаемых мемуаристами имен.

Т. Г. ПАЩЕНКО
ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ ГОГОЛЯ

Тимофей Григорьевич Пащенко вместе со своим братом Иваном Григорьевичем были младшими соучениками Гоголя в Нежинской «Гимназии высших наук», которую они закончили в 1830 г.

Настоящие воспоминания были записаны со слов Т. Г. Пащенко литератором Виталием Пашковым и с подзаголовком: «Рассказ современника и соученика Гоголя» опубликованы в петербургской газете «Берег» от 18 декабря 1880 г., № 268, откуда мы и воспроизводим их с некоторыми сокращениями.

[1] (Стр. 41) Нежинская «Гимназия высших наук» была рассчитана на девятилетний курс обучения. В ней было три отделения: низшее, среднее и высшее — по три класса в каждом. При гимназии существовал интернат. Помещения, в которых размещались ученики-пансионеры, назывались «музеями».

[2] (Стр. 41) Егор Иванович Зельднер служил в Нежинской гимназии надзирателем и преподавателем немецкого языка в 1820–1829 гг. Отец Гоголя в 1821 г. привез сына в Нежин и поручил Зельднеру присматривать за мальчиком и сообщать о состоянии его здоровья, об успехах в гимназии и пр. Услуги Зельднера оплачивались щедрыми дарами, присылаемыми из гоголевского имения. Система воспитания, которой придерживался Зельднер, раскрывается одной характерной его фразой в письме к Василию Афанасьевичу Гоголю: «Без маленьких благородных наказаний не воспитывается ни один молодой человек» (*П. Е. Щеголев*, «Детство Н. В. Гоголя» — в кн. «Исторические этюды»,

изд. «Прометей», изд. 2-е, стр. 89. Здесь впервые опубликован ряд писем Зельднера к В. А. Гоголю). Ограниченный и чванливый Зельднер не пользовался никаким авторитетом у воспитанников гимназии. Его терпеть не мог и Гоголь.

3 (Стр. 42). Авторство Гоголя не подтверждается.

4 (Стр. 44). Предположение Пащенко, что замысел «Вечеров на хуторе близ Диканьки» относится ко времени пребывания Гоголя в Нежинской гимназии, неверно. Эта книга была задумана в начале 1829 г., т. е. уже после переезда в Петербург.

По свидетельству школьного товарища Гоголя, Г. И. Высоцкого, «охота писать стихи высказалась впервые у Гоголя по случаю его нападок на товарища Б<ороздина>, которого он преследовал насмешками за низкую стрижку волос и прозвал Расстригою Спиридоном. Вечером, в день именин Б<ороздина>, 12 декабря,[173] Гоголь выставил в гимназической зале транспарант собственного изделия с изображением чорта, стригущего дервиша, и с следующим акростихом:

Се образ жизни нечестивой,

Пугалище (дервишей) всех,

И<нок монастыря> строптивой,

Расстрига, сотворивший грех.

И за сие-то преступленье

Достал он титул сей.

О чтец! имей терпенье,

Начальные слова в устах запечатлей».

(*П. А. Кулиш*, «Записки о жизни Гоголя», Спб. 1856, т. I, стр. 24.)

Из воспоминаний современников мы знаем названия произведений, написанных Гоголем и до нас не дошедших. Например, по свидетельству того же Высоцкого, Гоголем была написана сатира «Нечто о Нежине, или дуракам закон не писан». Н. Я. Прокопович рассказывает, что Гоголь читал ему в гимназии свою стихотворную балладу «Две рыбки», в которой изобразил в образе двух рыбок судьбу свою и брата, рано умершего. Называют еще трагедию «Разбойники», написанную пятистопным ямбом (*П. А. Кулиш*, «Записки о жизни Гоголя», т. I, стр. 24–25). Из несохранившихся ранних произведений Гоголя может быть названо еще одно — поэма «Россия под игом татар». Г. П. Данилевский, со слов М. И. Гоголь — матери писателя, воспроизвел уцелевшие в ее памяти две строки поэмы:

Раздвинув тучки среброрунны,

Явилась трепетно луна. (Наст. изд., стр. 459.)

О первых творческих опытах Гоголя сохранился ряд воспоминаний его товарищей по гимназии. «В школе Гоголь мало выдавался, — рассказывал его ближайший друг А. С. Данилевский, — разве под конец, когда он был нашим редактором лицейского журнала. Сначала он писал стихи и думал, что поэзия — его призвание» (см. запись В. И. Шенрока, «Вестник Европы», 1890, № 1, стр. 79). О содержании журнала, издававшегося Гоголем, свидетельствует К. М. Базили: «В нем были отделы беллетристики, разборы современных лучших произведений русской литературы, была и местная критика, в которой преимущественно Гоголь поднимал насмех наших преподавателей под вымышленными именами» (*В. И. Шенрок*, «Материалы для биографии Гоголя», т. I, стр. 250). В гимназии существовала литературная среда, способствовавшая пробуждению творческих интересов Гоголя. В 1825 г. здесь организовался литературный кружок, участники которого еженедельно собирались и подвергали обсуждению свои произведения. На одном из таких собраний была обсуждена первая, известная нам лишь по названию, прозаическая вещь Гоголя — «Братья Твердославичи, славянская повесть». Один из его школьных товарищей рассказывал об этом эпизоде: «Наш кружок разнес ее беспощадно и решил тотчас же предать уничтожению. Гоголь не противился и не возражал. Он совершенно спокойно разорвал свою рукопись на мелкие клочки и бросил в топившуюся печь» (*В. И. Любич-Романович*, «Рассказы о Гоголе и Кукольнике» в записи М. В. Шевлякова, «Исторический вестник», 1892, № 12, стр. 696). Вспоминая в «Авторской исповеди» начало своего творческого пути, Гоголь писал: «Первые мои опыты, первые упражнения в сочиненьях, к которым я получил навык в последнее время пребыванья моего в школе, были почти все в лирическом и сурьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим...» (Соч. Н. В. Гоголя, изд. 10-е, под ред. Н. Тихонравова, т. IV, стр. 248).

5 (Стр. 45) В гимназии впервые проявилась необыкновенная наблюдательность Гоголя. Он вспоминал в «Авторской исповеди»: «Говорили, что я умею не то что передразнить, но *угадать* человека, т. е. угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержанием самого склада и образа его мыслей и речей» (Соч. Н. В. Гоголя, изд. 10-е, т. IV, стр. 248). Когда в гимназии организовался театральный кружок, Гоголь стал одним из первых его участников. Он обладал ярко выраженным дарованием комического актера. Он владел мимикой и искусством сценического перевоплощения. Большим успехом пользовался Гоголь в пьесе Фонвизина «Недоросль», в роли

госпожи Простаковой, и в комедии Крылова «Урок дочкам», в роли няни Василисы. «Он был превосходный актер, — рассказывал А. С. Данилевский. — Если бы он поступил на сцену, он был бы Щепкиным» («Вестник Европы», 1890, № 79). Приведем еще одно свидетельство современника — К. М. Базили: «Театральные представления давались на праздниках. Мы с Гоголем и с <Любич-> Романовичем сами рисовали декорации. Одна из рекреационных зал (они назывались у нас музеями) представляла все удобства для устройства театра. Зрители были, кроме наших наставников, соседние помещики и военные расположенной в Нежине дивизии... Играли мы трагедии Озерова, «Эдипа» и «Фингала», водевили, какую-то малороссийскую пьесу, сочиненную тогда же Гоголем,[174] от которой публика надрывалась со смеху. Но удачнее всего давалась у нас комедия Фонвизина «Недоросль». Видал я эту пьесу в Москве и в Петербурге, но сохранил всегда то убеждение, что ни одной актрисе не удавалась роль Простаковой так хорошо, как играл эту роль шестнадцатилетний тогда Гоголь» (*В. Шенрок*, «Материалы...», т. I, стр. 241).

[6] (Стр. 45) Дмитрий Прокофьевич Трощинский — родственник М. И. Гоголь — матери писателя, именитый вельможа, начавший свою карьеру при Екатерине II, ставший сенатором при Павле I и министром (уделов — в 1802–1806 гг., а в 1814–1817 гг. — юстиции) при Александре I. Последние годы находился в отставке и жил «царьком» в своем богатом имении — Кибинцах. Н. В. Гоголь в детстве нередко бывал в гостях у своего сановного родственника, присутствовал на часто устраиваемых здесь домашних театральных представлениях, в которых главную роль играл его отец в качестве драматурга и актера. Будучи в Нежине, Н. В. Гоголь пользовался иногда богатой библиотекой Трощинского (см., например, его письмо к родным от 13 июня 1824 г. Полн. собр. соч., т. X, АН СССР, 1940, стр. 47).

[7] (Стр. 45) Гоголь познакомился с Пушкиным 20 мая 1831 г. на вечере у П. А. Плетнева (см. *В. Гиппиус*, «Литературное общение Гоголя с Пушкиным». Ученые записки Пермского государственного университета, отдел общественных наук, вып. 2, 1931, стр. 63–77).

[8] (Стр. 46) Это замечание Пащенко — неверно. В действительности Гоголь служил лишь в двух департаментах: с 15 ноября 1829 г. по 25 февраля 1830 г. — в департаменте государственного хозяйства и публичных зданий министерства внутренних дел, а с 10 апреля 1830 г. по 9 марта 1831 г. — в департаменте уделов министерства двора (см. «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», I, 1936, стр. 288–306).

[9] (Стр. 46) В мемуарной литературе это единственное свидетельство о встрече Гоголя с известным поэтом и баснописцем Иваном Ивановичем Дмитриевым, занимавшим в прошлом видные государственные посты (при Павле I — обер-прокурор сената, при Александре I — министр

юстиции), а с 1814 г. жившим в Москве в отставке. Гоголь познакомился с Дмитриевым в начале июля 1832 г. во время своего первого посещения Москвы, проездом из Петербурга в Васильевку. Прибыв домой, Гоголь написал письмо Дмитриеву, в котором благодарил его за «ласковый прием» (Полн. собр. соч., 1940, т. X, стр. 238–240). Эпизод с чтением «Женитьбы», о котором ниже рассказывает Пащенко, мог иметь место лишь летом 1835 г.

А. П. СТОРОЖЕНКО
ВОСПОМИНАНИЕ

Украинский писатель Александр Петрович Стороженко (1806–1874) был земляком Гоголя — уроженцем Полтавской губернии. Стороженко стал писать (на украинском и русском языках), когда Гоголя уже не было в живых. Начав с рассказов, свежо и непосредственно рисующих атмосферу украинского народного быта, Стороженко впоследствии определился как один из активных деятелей реакционно-националистического лагеря на Украине.

«Воспоминание» Стороженко рисует облик Гоголя в юношеские годы. Необходимо отметить, что оно было написано по памяти, много лет спустя после изображаемых событий, поэтому пользоваться им следует весьма осторожно. Встреча, описываемая Стороженко, относится, очевидно, к лету 1827 г. Об этом свидетельствует ряд деталей: определение возраста Гоголя — «лет восемнадцати», разговор о персидской войне и, наконец, самое существенное: замечание Гоголя, что через год он заканчивает свою учебу в Нежине.

«Воспоминание» было напечатано в «Отечественных записках», 1859, № 4, стр. 71–84, откуда мы и воспроизводим его.

Н. П. МУНДТ
ПОПЫТКА ГОГОЛЯ

Окончательному решению Гоголя посвятить себя литературной деятельности предшествовал длительный период раздумий и сомнений. Потерпев неудачу с первым своим напечатанным произведением («Ганц Кюхельгартен»), а также разуверившись в возможности найти службу, Гоголь почти через год после приезда в Петербург, осенью 1829 г., сделал попытку поступить на сцену актером. Попытка, однако, не увенчалась успехом. Много лет спустя, в письме к Жуковскому из-за границы, жалуясь на трудные условия своей жизни, Гоголь вспомнил о своем давнем и неосуществившемся намерении: «Поди я в актеры — я был бы обеспечен: актеры получают по 10 000 и больше, а вы сами знаете, что я не был бы плохой актер» (Письма, под ред. В. Шенрока, т. I, стр. 442).

Воспоминания Николая Петровича Мундта (1803–1872) являются единственным свидетельством современника об этом интересном

эпизоде в биографии Гоголя. О личности Н. П. Мундта сохранились весьма скудные сведения. Он был драматургом, беллетристом и переводчиком. Кроме того, он писал биографические очерки о деятелях театра. Некоторые очерки были положительно оценены Белинским (Полн. собр. соч., под ред. С. А. Венгерова, т. V, Спб. 1901, стр. 162, 234). В 1829–1836 гг. Мундт служил секретарем и чиновником особых поручений при дирекции петербургских императорских театров. Воспоминания Н. П. Мундта впервые опубликованы в газете «С.-Петербургские ведомости», 1861, от 24 октября, № 235, откуда мы и перепечатываем их.

[10] (Стр. 65) Описываемый эпизод мог иметь место не позднее ноября 1829 г., ибо 15 ноября этого года Гоголь был уже зачислен на службу в департамент государственного хозяйства и публичных зданий министерства внутренних дел.

[11] (Стр. 67) Гоголь решил скромно умолчать о своих сценических лаврах в Нежине (см. примеч. 5[*]).

[12] (Стр. 67) «Дмитрий Донской» — трагедия В. А. Озерова, «Гофолия и Андромаха» — трагедия Расина.

[13] (Стр. 68) «Школа стариков» — комедия К. Делавиня.

[14] (Стр. 69) А. И. Храповицкий — инспектор репертуара русского театра в Петербурге, известный своими реакционными политическими взглядами. После первого представления «Ревизора» на сцене Александринского театра он записал в своем дневнике: «Пьеса весьма забавна, только нестерпимое ругательство на дворян, чиновников и купечество» («Русская старина», 1879, № 2, стр. 348).

[15] (Стр. 69) Это предположение Н. Мундта малоправдоподобно. Гоголь никогда не считал зазорным свое влечение к сцене.

М. Н. ЛОНГИНОВ
ВОСПОМИНАНИЕ О ГОГОЛЕ

Приехав в декабре 1828 г. в Петербург, Гоголь в течение целого года не мог найти службу. Но найдя ее после долгих поисков, очень скоро разочаровался в ней и решил посвятить себя педагогической деятельности. По рекомендации П. А. Плетнева и В. А. Жуковского он получил в начале 1831 г. ряд частных уроков и 9 февраля того же года был назначен младшим учителем истории в Патриотическом институте. Об увлечении, с каким Гоголь первоначально относился к своим педагогическим обязанностям, рассказывает автор настоящего «Воспоминания».

Михаил Николаевич Лонгинов (1823–1875) — библиограф и историк русской литературы, сотрудник «Современника» в 50-е гг., автор ряда

работ о Н. И. Новикове, Я. П. Княжнине, о русском театре и т. д. Впоследствии стал реакционным администратором, дослужившись до поста орловского губернатора (1867–1871) и начальника Главного управления по делам печати (1871–1875). В начале 1831 г. Гоголь получил место домашнего учителя 8-летнего Лонгинова — будущего автора «Воспоминания» — и его двух старших братьев.

«Воспоминание» М. Н. Лонгинова было написано через два года после смерти Гоголя. Впервые оно появилось на страницах «Современника» (1854, т. XLIV, № 3, стр. 85–90) и много лет спустя перепечатано в «Сочинениях» Лонгинова (М. 1915, т. I, стр. 4–7). Мы воспроизводим текст первопечатного издания с одним незначительным сокращением.

[16] (Стр. 70) См. об этом в воспоминаниях В. А. Соллогуба, стр. 75[*].

[17] (Стр. 70) Речь идет о работе П. А. Кулиша «Опыт биографии Н. В. Гоголя», опубликованной в 1854 г. первоначально в «Современнике» (№№ 2–4) и в том же году вышедшей в Петербурге отдельным изданием.

[18] (Стр. 71) О происхождении фамилии Гоголя см. статью В. Вересаева («Звенья», 1933, II, стр. 286–291). В Нежинской гимназии Гоголь был известен под фамилией Яновского, но иногда он называл себя Гоголь-Яновским. Двойная фамилия закрепилась, видимо, в 1792 г., с момента получения дедом Гоголя — Афанасием Демьяновичем — дворянской грамоты.

[19] (Стр. 72) *Бал*[ь]*тическое море* — старинная форма, еще употреблявшаяся в первой половине XIX века. Ср. в «Евгении Онегине»: «И по балтическим волнам» (гл. I, строфа XXIII).

[20] (Стр. 72) Толки о «танцующих стульях» вызвали в конце 1833 г. большой переполох в Петербурге. 17 декабря 1833 г. Пушкин записал в «Дневнике»: «В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежащих ведомству придворной конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать; дело пошло по начальству. Кн. В. Долгорукий нарядил следствие. Один из чиновников призвал попа, но во время молебна стулья и столы не хотели стоять смирно. Об этом идут разные толки. N. сказал, что мебель придворная и просится в Аничков» (Полн. собр. соч. в одном томе, Гослитиздат, М. 1949, стр. 1437). Об этой же мистификации 4 января 1834 г. П. А. Вяземский сообщал А. И. Тургеневу («Остафьевский архив», Спб. 1899, т. III, стр. 254–255). Слухи о «танцующих стульях» дошли и до Москвы. А. Я. Булгаков запрашивал 25 декабря 1833 г. своего брата, жившего в Петербурге: «Что это у вас за чудеса были со стульями у какого-то конюшенного чиновника? Только и разговора здесь… Такая тревога, что не поверишь» («Русский архив», 1902, кн. I, стр. 626).

Сообщение Лонгинова об «уморительных» рассказах Гоголя про танцующие стулья позволяет уточнить продолжительность учительской работы Гоголя в доме Лонгиновых. Она велась с начала 1831 г. и, по словам автора воспоминаний, «продолжалась года полтора». Занятия велись, повидимому, значительно дольше, не исключено, что — до конца 1833 г.

[21] (Стр. 73) Отец автора воспоминаний — Н. М. Лонгинов — видный чиновник, в 1826 г. он был назначен статс-секретарем и ответственным за все благотворительные и учебные заведения, входившие в ведомство императрицы Марии Федоровны, а затем — Александры Федоровны. В частности, под его наблюдением находился и Патриотический институт, в котором служил Гоголь.

[22] (Стр. 73) См. примеч. 20*.

[23] (Стр. 73) О посещении Пушкиным и Жуковским лекций Гоголя см. воспоминания Н. И. Иваницкого, стр. 85*.

[24] (Стр. 73) «Ревизор» впервые был поставлен на сцене Петербургского Александринского театра 19 апреля 1836 г.

[25] (Стр. 74) Альманах «Молодик» (по-украински — всходы, поросль) издавался в Харькове литератором И. Е. Бецким при участии Г. Ф. Квитки-Основьяненко, Т. Г. Шевченко, Н. И. Костомарова и А. А. Шаховского. О портрете Гоголя, опубликованном в «Молодике», см. примеч. 379*.

[26] (Стр. 74) «Мертвые души» вышли в свет 21 мая 1842 г.

В. А. СОЛЛОГУБ
<ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ГОГОЛЕМ>

Граф Владимир Александрович Соллогуб (1814–1882) — широко известный в 40-х гг. XIX в. писатель, примыкавший к натуральной школе. Некоторые его произведения («Аптекарша», «История двух калош», «Большой свет» и особенно «Тарантас») пользовались большой популярностью и были положительно оценены Белинским. Занимаясь литературной деятельностью, он одновременно делал успешную чиновную карьеру, дослужившись до крупных административных постов. Хотя Соллогуб и Гоголь многократно встречались, но их отношения не перешли в творческую или личную дружбу.

Настоящий отрывок, условно нами озаглавленный, является частью мемуаров — «Из воспоминаний графа В. А. Соллогуба», первоначально прочитанных автором в публичном заседании Общества любителей российской словесности при Московском университете 28 марта 1865 г. и в том же году появившихся в журнале «Русский архив». Текст отрывка даем по этому изданию (стр. 740–745).

[27] (Стр. 76) Гоголь познакомился с В. А. Жуковским в конце 1830 г.

[28] (Стр. 76) См. примеч. 7*.

[29] (Стр. 78) Здесь не все точно. У Жуковского Соллогуб слушал, очевидно, черновой вариант «Женитьбы», впоследствии коренным образом переработанный Гоголем. Первоначальная редакция комедии («Женихи») действительно кончалась словами: «Как! улизнул в окно! Фю, фю! *(Слегка посвистывает, как обыкновенно делается в случае несбывшихся надежд)*» (Сочинения, изд. 10-е, т. VI, стр. 62). В окончательной же редакции это место было изменено: «Еще если бы в двери выбежал — ино дело, а уж коли жених да улизнул в окно — уж тут, просто мое почтенье!» (там же, т. II, стр. 408). Таким образом, не актриса Е. И. Гусева изменила текст, а сам Гоголь.

[30] (Стр. 78) Собирая материалы для «Истории Пугачева», Пушкин осенью 1833 г. приехал в Оренбург и в течение 18–20 сентября гостил у своего давнего знакомого В. А. Перовского, тогда занимавшего посты оренбургского военного губернатора и командира Оренбургского отдельного корпуса.

[31] (Стр. 78) К этому месту издатель «Русского архива» П. Бартенев сделал следующее примечание: «В одних неизданных записках о жизни Пушкина это рассказано следующим образом: «В поездку свою в Уральск, для собирания сведений о Пугачеве, в 1833 г. Пушкин был в Нижнем, где тогда губернатором был М. П. Б. Он прекрасно принял Пушкина, ухаживал за ним и вежливо проводил его. Из Нижнего Пушкин поехал прямо в Оренбург, где командовал его давнишний приятель гр. Василий Алексеевич Перовский. Пушкин у него и остановился. Раз они долго сидели вечером. Поздно утром Пушкина разбудил страшный хохот. Он видит: стоит Перовский, держит письмо в руках и заливается хохотом. Дело в том, что он получил письмо от Б. из Нижнего, содержания такого: «У нас недавно проезжал Пушкин. Я, зная, кто он, обласкал его, но, должно признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за документами об Пугачевском бунте; должно быть ему дано тайное поручение собирать сведения о неисправностях. Вы знаете мое к вам расположение; я почел долгом вам посоветовать, чтоб вы были осторожнее и пр.». Тогда Пушкину пришла идея написать комедию: «Ревизор». Он сообщил после об этом Гоголю, рассказывал несколько раз другим и собирался сам что-то написать в этом роде. (Слышано от самого Пушкина.)» («Русский архив», 1865, стр. 744–745). О причастности Пушкина к сюжету «Ревизора» см. названную в примеч. 7 работу В. Гиппиуса*, стр. 89-102.

А. С. ПУШКИН
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРИБАВЛЕНИЙ К РУССКОМУ ИНВАЛИДУ»

Первый отзыв Пушкина о «Вечерах на хуторе близ Диканьки» напечатан в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду», 1831, № 79 от 3 октября, в форме письма к издателю — А. Ф. Воейкову. Текст воспроизводим по изд.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., в одном томе, Гослитиздат, М. 1949, стр. 1198.

22 февраля 1831 г. П. А. Плетнев обратил внимание Пушкина на появление в русской литературе нового писателя. «Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в «Северных цветах» отрывок из исторического романа, с подписью OOOO, также в «Литературной газете» — «Мысли о преподавании географии», статью: «Женщина» и главу из малороссийской повести: «Учитель». Их писал Гоголь-Яновский. Он воспитывался в Нежинском лицее Безбородки. Сперва он пошел было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена: он перешел также в учители. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение» (Сочинения Пушкина. Переписка, под редакцией и с примечаниями В. И. Саитова. Спб. 1908, т. II, стр. 225).

Через три месяца, 20 мая 1831 года, на вечере у Плетнева состоялось знакомство Гоголя с Пушкиным. Осуществилась, наконец, заветная мечта молодого писателя, в литературной судьбе которого Пушкин сыграл огромную роль. Между Пушкиным и Гоголем устанавливаются дружеские отношения, они посещают друг друга, переписываются (см. в наст. изд. воспоминания Я. Нимченко, стр. 82[*] и Г. П. Данилевского, стр. 459[*]). Пушкин с живейшим интересом следил за творческими успехами Гоголя.

Об отношениях Гоголя и Пушкина существует большая литература: см., например, *П. Сосновский*, «Гоголь и Пушкин» (сб. уч. — лит. Общества при Юрьевском университете, 1903, т. VI); *В. Брюсов*, «Испепеленный» (М. 1909); *Б. Лукьяновский*, «Пушкин и Гоголь в их личных отношениях» («Беседы», сборник Общества истории литературы в Москве, I, М. 1915); *А. Долинин*, «Пушкин и Гоголь. К вопросу об их личных отношениях» (Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова, Гиз, 1923); *В. Гиппиус*, «Литературное общение Гоголя с Пушкиным» (см. примеч. 7[*]).

32 (Стр. 79) *«Мне сказывали...»* — Пушкин почти дословно излагает здесь одно место из только что полученного им письма Гоголя (от 21 августа): «Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору, и он, после некоторых ловких уклонений, наконец, сказал, что *штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и*

наборщикам принесли большую забаву» (*Н. В. Гоголь*, Полн. собр. соч., т. X, стр. 203).

[33] (Стр. 79) Предположение Пушкина оправдалось. В общем хоре восторженных отзывов о «Вечерах на хуторе близ Диканьки» прозвучали резким диссонансом выступления некоторых критиков, например Н. Полевого, обвинившего Гоголя во множестве грехов: в «желании подделаться под малоруссизм» и «скудости изобретения», в «отступлении от устава вкуса и законов изящного» и «ошибках против правописания» и т. д. («Московский телеграф», 1831, № 17; 1832, № 6).

[34] (Стр. 79) «Les précieuses ridicules» («Смешные жеманницы») — комедия Мольера.

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ Издание второе

Рецензия Пушкина впервые напечатана в «Современнике». 1836, т. I. Текст даем по изд.: Полн. собр. соч., в одном томе, стр. 1249.

В. П. ГОРЛЕНКО <РАССКАЗ ЯКИМА НИМЧЕНКО О ГОГОЛЕ>

Яким Нимченко (ок. 1803–1885) — крепостной слуга Гоголя. Он сопровождал писателя в 1828 г. в Петербург и жил с ним до его отъезда за границу. Незадолго перед смертью Гоголь завещал «Якима отпустить на волю». Личность Нимченко, естественно, привлекала к себе внимание людей, интересовавшихся Гоголем. Сохранилось несколько устных рассказов Нимченко, записанных современниками. Настоящий рассказ, содержащий ряд подробностей о жизни Гоголя в Петербурге, был записан литератором В. П. Горленко и включен в его очерк «Миргород и Яновщина» («Русский архив», 1893, № 3, стр. 303–304). Рассказ о событиях полувековой давности был записан со слов глубокого старика — отсюда отдельные неточности в их изложении. Наиболее существенные оговариваются ниже.

[35] (Стр. 81) Гоголь выехал в Петербург в декабре 1828 г.

[36] (Стр. 81) В действительности А. С. Данилевский не был родственником Гоголя. Они были земляками и с детских лет связаны узами глубокой и, так сказать, «наследственной» дружбы. Близкими друзьями были еще их отцы и матери. Отсюда интимный, почти «родственный» характер их отношений. Гоголь, например, в письмах к Данилевскому называл его «добрым братом и племянником», а своим сестрам писал, что Данилевский — их «кузен» (см. *В. И. Шенрок*, «Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский», «Вестник Европы», 1890, №№ 1 и 2).

[37] (Стр. 81) См. воспоминания Н. П. Мундта, наст. изд., стр. 65[*].

[38] (Стр. 82) Ср. рассказ Якима Нимченко об отношениях Гоголя и Пушкина в записи Г. П. Данилевского (наст. изд., стр. 459).

Н. И. ИВАНИЦКИЙ
<ГОГОЛЬ — АДЪЮНКТ-ПРОФЕССОР>

Годы 1833–1834 были для Гоголя периодом мучительных раздумий о характере своей дальнейшей деятельности. Уже будучи прославленным автором двух книжек «Вечеров на хуторе близ Диканьки», он продолжает терзаться сомнениями в серьезности своего художественно-литературного призвания и едва не склоняется к мысли избрать для себя поприще историка. «Ничто так не успокаивает, как история»», — пишет он в ноябре 1833 г. М. А. Максимовичу (Полн. собр. соч., т. X, стр. 284).

Гоголь увлекается историей Украины. Он погружается в изучение специальной литературы и летописей, особенно тщательно исследует памятники народно-поэтического творчества. В конце 1833 г. Гоголь загорается мечтой оставить навсегда Петербург и уехать на Украину, занять кафедру всеобщей истории в Киевском университете. Ему оказывают в этом поддержку Пушкин и Жуковский. Но, не получив желаемого назначения, Гоголь остался в Петербурге и был определен адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории в Петербургском университете.

Преподавательская деятельность Гоголя в Петербургском университете сложилась неудачно. Об этом свидетельствуют и современники и сам Гоголь. Он не смог установить контакта со студенческой аудиторией и уже вскоре после начала чтения лекций стал тяготиться ими.

Положение Гоголя в университете осложнилось еще одним обстоятельством: отчужденностью от него других профессоров и преподавателей. Многим из них казался странным приход на университетскую кафедру молодого человека, «не имеющего никакого академического звания, ничем не доказавшего ни познаний, ни способностей для кафедры — и какой кафедры — университетской!» (*А. В. Никитенко*, «Записки и дневник», т. I, изд. 2-е, Спб. 1904, стр. 263). Ф. В. Чижов, в то время также работавший в университете адъюнкт-профессором, рассказывает в своих воспоминаниях: «Гоголь сошелся с нами хорошо, как с новыми товарищами; но мы встретили его холодно» (наст. изд., стр. 225). Утверждение Гоголя в университете Никитенко объяснял «протекцией». На это же намекает и Чижов: «...самое вступление его в университет путем окольным отдаляло нас от него, как от человека». Гоголь сам хорошо чувствовал атмосферу неприязни, которая создалась вокруг него в университете. В одном из его писем мы находим прямое указание на этот счет. 22 января 1835 г. он обращается с просьбой к Погодину «изъявить свое мнение» о его исторических статьях в каком-нибудь из журналов, добавляя при этом:

«твое слово мне поможет. Потому что и у меня, кажется, завелись какие-то ученые неприятели» (Полн. собр. соч., т. X, стр. 348). В конце концов обстановка для Гоголя в университете создалась невыносимая, и он без огорчения принял весть о своем увольнении.

Профессорская деятельность Гоголя крайне необъективно освещалась многими мемуаристами. Например, явно несправедливо оценивались его познания в области истории. Воспоминания Н. И. Иваницкого являются наиболее достоверным свидетельством современника о работе Гоголя в Петербургском университете. Многие детали этих воспоминаний подтверждаются свидетельствами самого Гоголя в письмах, ставших известными после опубликования настоящих заметок Иваницкого.

Николай Иванович Иваницкий (1816–1858) был слушателем Гоголя в Петербургском университете, по окончании его (1838) занимался педагогической и отчасти литературной деятельностью; сотрудничал в «Современнике», «Отечественных записках» и вращался в литературной среде, был близко знаком с Плетневым, Максимовичем и другими писателями; в 1853–1858 гг. состоял директором псковской гимназии. Иваницкий оставил после себя содержательные воспоминания и дневник, охватывающие период 20-40-х гг. (Опубликован в VIII вып. «Щукинского сборника», М. 1909, стр. 218–358; небольшой отрывок перепечатан в XIII вып. «Пушкин и его современники», Спб. 1910, стр. 30–37.) В них содержатся интересные факты о жизни Пушкина и Гоголя.

Настоящие воспоминания Иваницкого, которые мы условно озаглавили «Гоголь — адъюнкт-профессор», появились впервые в «Отечественных записках» (1853, № 2. Смесь, стр. 119–121) без названия, в форме письма к издателю журнала. Мы воспроизводим текст первопечатного издания.

[39] (Стр. 83) Имеется в виду А. А. Краевский, издатель «Отечественных записок».

[40] (Стр. 83) Гоголь был официально утвержден в должности адъюнкт-профессора 24 июля 1834 г., а в сентябре того же года приступил к чтению лекций. 31 декабря 1835 г. он был уволен «по случаю преобразования» университета.

[41] (Стр. 84) Ректором Петербургского университета в это время был профессор истории А. А. Дегуров, занимавший этот пост с 1825 по 1836 г.

[42] (Стр. 84) Неточно. Эта лекция была первоначально напечатана в 1834 г. в сентябрьской книжке «Журнала министерства народного просвещения» под названием: «О средних веках. Вступительная лекция, читанная в С.-Петербургском университете адъюнкт-профессором Н.

Гоголем». В начале следующего, 1835 г., лекция появилась уже в виде статьи в первой части «Арабесок».

[43] (Стр. 85) Во второй части «Арабесок» помещена статья «О движении народов в конце V века», посвященная теме «великого переселения народов»; в ней есть цитируемая Н. И. Иваницким фраза. Очевидно эта статья и представляет собой литературную обработку лекции, о которой упоминает мемуарист.

[44] (Стр. 85) Об этом же сообщал сам Гоголь в письме к Погодину от 14 декабря 1834 г.: «Знаешь ли ты, что значит не встретить сочувствия, что значит не встретить отзыва? Я читаю один, решительно один в здешнем университете. Никто меня не слушает, ни на одном, ни разу не встретил я, чтобы поразила его яркая истина. И оттого я решительно бросаю теперь всякую художественную отделку, а тем более желание будить сонных слушателей... Хоть бы одно студенческое существо понимало меня. Это народ бесцветный, как Петербург» (Полн. собр. соч., т. X, стр. 344).

[45] (Стр. 85) Речь идет о статье, озаглавленной «Ал-Мамун» («Арабески», часть первая).

[46] (Стр. 86) Гоголь еще летом 1834 г. собирался поехать лечиться на Кавказ (см., например, его письма: к К. С. Сербиновичу, датированное маем 1834 г., к М. А. Максимовичу от 28 апреля того же года). Но поездка тогда не состоялась, видимо в связи с переговорами об устройстве в Петербургском университете. Весной 1835 г., охладев к университетским занятиям, Гоголь решил, наконец, осуществить свое давнее намерение. 3 апреля 1835 г. он написал на имя ректора прошение о предоставлении ему четырехмесячного отпуска, ссылаясь при этом на расстройство своего здоровья и советы врачей «употребить... как единственное средство для восстановления оного кавказские минеральные воды» (Полн. собр. соч., т. X, стр. 383). Удовлетворить ходатайство Гоголя о четырехмесячном отпуске не мог не только ректор университета, но и попечитель Петербургского округа. По представлению последнего прошение было удовлетворено 24 апреля министром просвещения. В конце апреля Гоголь отбыл из Петербурга. Но вместо Кавказа он поехал в Васильевку и в Крым.

[47] (Стр. 86) Приведем в заключение отзыв еще одного современника — бывшего студента Петербургского университета Е. А. Матисена — о лекциях Гоголя, существенно отличающийся по своему характеру от многих других крайне односторонних свидетельств:

«К сему времени относится и большой успех, который имел своими лекциями Плетнев, и появление на кафедре Гоголя; первый завлекал в свою аудиторию студентов от всех факультетов, так что, несмотря на малочисленность учеников собственно филологического отдела, малая

зала, где он читал, была всегда битком полна, что и было причиною перенесения лекций Плетнева в другую, большую аудиторию. Гоголь держал тогда вступительную лекцию древней истории и, сделавшись уже популярным своими рассказами, в особенности бытовыми из Малороссии, на сей лекции собрал около своей кафедры много юных литераторов; Гоголь не был никогда научным исследователем и по преподаванию уступал специальному профессору истории Куторге, но поэтический свой талант и некоторый даже идеализм, а притом и особую прелесть выражения, делавшие его несомненно красноречивым, он влагал и в свои лекции, из коих те, которые посвящены были идеальному быту и чистоте воззрений афинян, имели на всех, а в особенности на молодых его слушателей, какое-то воодушевляющее к добру и к нравственной чистоте влияние; жаль, что лекции Гоголя были непродолжительны: болезнь, поездка за границу и собственное его, всегда верное, чутье, что профессура не была природная его колея, стоявшая несравненно выше, — отвлекли его от сего поприща на бо́льшую пользу отечеству. Живо помню и последнюю его лекцию: бледное, исхудалое и длинноносое лицо его подвязано было черным платком от зубной боли, и в таком виде фигура его, а притом еще в вицмундире, производила впечатление бедного угнетенного чиновника, от которого требовали непосильного с его природными дарованиями труда; Гоголь прошел на кафедре как метеор, с блеском оную осветивший и вскоре на оной угасший, но блеск этот был настолько силен, что невольно врезался в юной памяти» («Воспоминания из дальних лет», «Русская старина», 1881, № 5, стр. 157–158).

С. Т. АКСАКОВ
ИСТОРИЯ МОЕГО ЗНАКОМСТВА С ГОГОЛЕМ

Воспоминания Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859) занимают видное место в мемуарной литературе о Гоголе. В них содержится немало важного материала для биографии великого писателя. Гоголь познакомился с С. Т. Аксаковым в июле 1832 г. через М. П. Погодина. Знакомство вскоре переросло в дружбу, продолжавшуюся два десятилетия. Однако отношения между Гоголем и Аксаковым были неровными и очень сложными. Годы дружбы то и дело прерывались периодами взаимного отчуждения и неприязни. И эти резкие колебания в отношениях с Гоголем дают себя чувствовать в воспоминаниях Аксакова, имеющих не только биографический, но в значительной степени и автобиографический характер.

Славянофилы прилагали немало усилий, чтобы привлечь Гоголя на свою сторону. И хотя сам С. Т. Аксаков действовал в этом направлении не столь прямолинейно и грубо, как Погодин, но суть дела оставалась та же. Восторгаясь Гоголем, Аксаковы были бесконечно далеки от понимания истинного значения его гениальных произведений (см. вступ. статью к наст. изд.[*]).

Воспоминания Аксакова в той части, в какой они воссоздают конкретные факты жизни Гоголя, — точны и правдивы. Но из мемуариста Аксаков нередко превращается в полемиста и дидактика. И тогда рассказ его теряет интерес и достоверность. Сложную историю отношений Гоголя с семейством Аксаковых, равно как со всем кругом «московских друзей», воспоминания освещают во многом односторонне, неправильно. С. Т. Аксаков совершенно недостаточно раскрывает внутреннюю борьбу Гоголя против его «друзей» славянофилов, которая происходила на протяжении многих лет.

Работу над «Историей моего знакомства с Гоголем» С. Т. Аксаков начал в 1854 г., т. е. через два года после смерти писателя. На титульном листе рукописи стоит авторская помета: «Начато 9 января 1854 г.» Воспоминаниям предшествовали две статьи Аксакова: «Письмо к друзьям Гоголя» («Московские ведомости», 1852, № 32) и «Несколько слов о биографии Гоголя» (там же, 1853, № 35). Они представляют собой как бы предварительный эскиз будущих мемуаров. В них сформулирован ряд положений, которые были вскоре развернуты Аксаковым в «Истории моего знакомства с Гоголем».

Аксаков предполагал описать историю своих отношений с Гоголем вплоть до самой его смерти. Об этом свидетельствует подзаголовок воспоминаний: «со включением всей переписки с 1832 по 1852 год». Однако обширный замысел не был доведен до конца. Помешала быстро прогрессировавшая болезнь Аксакова. Рукопись обрывается на событиях 1843 г. Часть собранных материалов оказалась необработанной.

Начало публикаций настоящих воспоминаний связано с именем П. А. Кулиша, частично использовавшего с разрешения автора в своей книге «Записки о жизни Н. В. Гоголя» (1856) материалы Аксакова. В 1880 г. И. С. Аксаков напечатал несколько отрывков из воспоминаний отца в своей газете «Русь» (№№ 4, 5 и 6). Наконец в 1890 г. в журнале «Русский архив» (№ 8) и одновременно отдельным оттиском «История моего знакомства с Гоголем» была опубликована полностью. Готовивший это издание Н. М. Павлов не только воспроизвел ту часть воспоминаний, которую успел завершить С. Т. Аксаков, но включил также черновые, мало связанные между собой материалы (главным образом — переписку Гоголя с С. Т. Аксаковым, затем выдержки из дневника В. С. Аксаковой и из ее переписки с М. Г. Карташевской), сопроводив их своими краткими пояснениями «для связности речи». К книге были приложены также обе упомянутые выше статьи Аксакова.

Все последующие публикации «Истории моего знакомства с Гоголем» («Деятель», 1913; «Муравей», 1918; Гослитиздат, 1949) являются полной или частичной перепечаткой издания 1890 г. Между тем в этом издании при проверке нами обнаружено много неточностей: пропуски слов, даже целых фраз, произвольная замена одних имен другими и т. д. Крайне

неточно воспроизведены также письма Гоголя. В настоящем издании дается лишь та часть воспоминаний Аксакова, которая была им самим закончена и обработана. Текст сверен с рукописью, хранящейся в рукописном отделе Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина (шифр: Акс. VI/1). Речь идет о рукописи, с которой набирался текст, опубликованный в «Русском архиве». Рукопись писалась под диктовку С. Т. Аксакова членами его семьи и правлена автором. Карандашные пометы Аксакова дублированы чернилами рукою редактора-издателя «Русского архива» П. И. Бартенева. Им же внесены некоторые собственные имена, в рукописи обозначенные инициалами. Тексты значительной части писем Гоголя нами сверены и исправлены по его автографам.

[48] (Стр. 87) Рукопись «Вступления» представляет собой незаконченный черновой карандашный набросок, сделанный С. Т. Аксаковым в 1856 г., т. е. два года спустя после начала работы над воспоминаниями.

[49] (Стр. 87) Имеется в виду статья С. Т. Аксакова «Несколько слов о биографии Гоголя».

[50] (Стр. 88) *«...биограф его»* — П. А. Кулиш. Его двухтомные «Записки о жизни Н. В. Гоголя» вместе с предшествовавшей им книгой того же автора — «Опыт биографии Н. В. Гоголя» (Спб. 1854) — представляли собой ценные для своего времени, хотя ныне уже отчасти устаревшие, материалы для биографии великого писателя.

Значительную часть фактических сведений Кулиш почерпнул у С. Т. Аксакова, П. А. Плетнева и других знакомых Гоголя, которые были заинтересованы в тенденциозном освещении некоторых сторон биографии писателя, — например, его отношений с Белинским и другими прогрессивными деятелями литературы. Будучи сам человеком консервативных убеждений, Кулиш послушно выполнял указания «министерства общественной нравственности», как он называет Аксакова и Плетнева. На склоне своих лет Кулиш признался в этом В. И. Шенроку: «Недостаток моих сообщений заключается в утайке от публики темных сторон жизни Гоголя; но такова была воля тогдашнего министерства общественной нравственности. Например, Плетнев с крайним негодованием рассказывал мне, что Гоголь по возвращении из-за границы, тайком от него, делал визиты журналистам и критикам». (Отдел Рукописей Госуд. публич. биб-ки УССР. Шифр: Гоголиана, 347. На это письмо от 29 апреля 1888 г. указал нам Д. М. Иофанов.)

[51] (Стр. 88) Первая встреча Гоголя с С. Т. Аксаковым состоялась не весной 1832 г., а в начале июля. Незадолго перед тем Гоголь познакомился с М. П. Погодиным, причем, вероятнее всего — уже во время пребывания Гоголя в Москве, а не в Петербурге, как указывает ниже Аксаков (см.: *Н. Барсуков*, «Жизнь и труды Погодина», т. IV, стр.

113–114; *В. И. Шенрок*, «Материалы для биографии Гоголя», т. II, стр. 110–111).

[52] (Стр. 88) Имеется в виду именно П. С. Щепкин — профессор математики Московского университета, а не знаменитый актер М. С. Щепкин, как, например, ошибочно напечатано в «Избранных сочинениях» С. Т. Аксакова, Гослитиздат, 1949, стр. 500.

[53] (Стр. 89) *Константин* — старший сын С. Т. Аксакова, известный впоследствии реакционный деятель славянофильского лагеря.

[54] (Стр. 89) Речь идет, вероятно, о портрете Гоголя работы А. Г. Венецианова (1834). Это единственный, вполне достоверный портрет Гоголя в петербургский период.

[55] (Стр. 90) Цитата из «Евгения Онегина» (гл. VII, строфа XLIII).

[56] (Стр. 90) Это свидетельство Аксакова подтверждает, как глубоко и серьезно уже в ту пору размышлял молодой писатель над вопросами драматургического искусства. Надо заметить также, что желание Гоголя познакомиться с М. Н. Загоскиным отнюдь не связано было с его интересом к личности или к творчеству этого писателя. Загоскин с 1831 г. состоял в должности директора московских театров, и знакомством с ним Гоголь несомненно преследовал определенные практические интересы в отношении театра. Гоголь, очевидно, уже в это время вынашивал замысел комедии «Владимир 3-й степени». 8 декабря 1832 г. П. А. Плетнев сообщал Жуковскому: «У Гоголя вертится на уме комедия. Не знаю, разродится ли он ею нынешней зимой; но я ожидаю в этом роде от него необыкновенного совершенства» (Сочинения и переписка П. А. Плетнева, т. III, Спб., 1885, стр. 522). Имеется также прямое свидетельство самого Гоголя. 20 февраля 1833 г. он писал Погодину из Петербурга: «Я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей, но до сих пор я ничего не написал» (Полн. собр. соч., т. X, стр. 262).

[57] (Стр. 91) Описанные выше эпизоды относятся ко времени первого посещения Гоголем Москвы (конец июня — 7 июля 1832 г.) — проездом из Петербурга в Васильевку. Второй раз он остановил, ся в Москве на обратном пути (18–23 октября 1832 г.). Встреча с Загоскиным, о которой рассказывается ниже, происходила именно в эту пору.

[58] (Стр. 92) *Ольга Семеновна и Вера* — жена и старшая дочь С. Т. Аксакова.

[59] (Стр. 92) В рукописи здесь явная описка: *«В 1834 году»*, — не исправленная в издании газеты «Русь», а также — «Русского архива» и механически перешедшая во все последующие издания С. Т. Аксакова.

События, излагаемые ниже (выход «Арабесок» и «Миргорода», а также приезд Гоголя в Москву), относятся именно к 1835 году.

[60] (Стр. 93) Гоголь впервые читал «Женитьбу» у Погодина не на обратном пути из Васильевки в Петербург — т. е. в августе 1835 г., а в начале мая 1835 г., когда он по пути из Петербурга в Васильевку сделал короткую остановку в Москве (см. *Н. И. Мордовченко*, «Гоголь и журналистика 1835–1836 гг.» — в кн. «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», АН СССР, 1936, II, стр. 117–121).

[61] (Стр. 93) М. П. Погодин так рассказывает об этом знаменитом чтении Гоголем «Женитьбы»: «Читал Гоголь так, скажу здесь кстати, как едва ли кто может читать. Это был верх удивительного совершенства. Прекрасно некоторые вещи читал Щепкин, прекрасно читают другие комические вещи Садовский, Писемский, Островский; но Гоголю все они должны уступить. Скажу даже вот что: как ни отлично разыгрывались его комедии, или, вернее сказать, как ни передавались превосходно иногда некоторые их роли, но впечатления никогда не производили они на меня такого, как в его чтении. Читал он однажды у меня, в большом собрании, свою «Женитьбу» в 1834 или 1835 году. Когда дошло дело до любовного объяснения у жениха с невестою — в которой церкви вы были в прошлое воскресенье? Какой цветок больше любите? — прерываемого троекратным молчанием, он так выражал это молчание, так оно показывалось на его лице и в глазах, что все слушатели à la lettre[175] покатывались со смеху и долго не могли притти в себя, а он, как ни в чем не бывало, молчал и поводил только глазами...» («Русский архив», 1865, № 7, стр. 891–892).

[62] (Стр. 93) Здесь, в доме С. Т. Аксакова, состоялась первая встреча Белинского с Гоголем. Познакомились ли они лично в это время — неизвестно. Хотя трудно предположить, чтобы Белинский пренебрег возможностью познакомиться с молодым писателем, творчество которого он успел уже высоко оценить.

[63] (Стр. 94) Первое представление «Ревизора» в Москве состоялось 25 мая 1836 г. на сцене Малого театра.

Чрезвычайно взволнованный общественными толками вокруг «Ревизора», Гоголь отказался от ранее им же самим предложенного участия в постановке комедии в Москве. 21 февраля 1836 г. он сообщал Погодину, что текст «Ревизора» пересылать не будет, «ибо актеры ежели прочтут без меня, то уже трудно будет переучить их на мой лад. Думаю быть, если не в апреле, то в мае в Москве» (Письма, т. I, стр. 365). Однако обстоятельства, связанные с постановкой комедии в Петербурге, побудили Гоголя решительно отказаться от своего первоначального плана. Мотивируя свой отказ от поездки в Москву, он писал М. С. Щепкину 29 апреля 1836 г.: «...я такое получил отвращение к театру, что

одна мысль о тех приятностях, которые готовятся для меня еще и на московском театре, в силе удержать поездку в Москву и попытку хлопотать о чем-либо… Мочи нет! Делайте что хотите с моею пьесою, но я не стану хлопотать о ней» (Письма, т. I, стр. 368). Никакие просьбы и уговоры со стороны С. Т. Аксакова и Щепкина не могли поколебать решения Гоголя. В дело пробовал даже вмешаться Пушкин. 5 мая 1836 г. он писал жене из Москвы: «Пошли ты за Гоголем и прочти ему следующее: видел я актера Щепкина, который ради Христа просит его приехать в Москву, прочесть «Ревизора». Без него актерам не спеться… С моей стороны я тоже ему советую: не надобно, чтобы «Ревизор» упал в Москве, где Гоголя более любят, нежели в П. Б.» (Сочинения Пушкина. Переписка, под ред. и с прим. В. И. Саитова, т. III, Спб. 1911, стр. 309). Гоголь, однако, был неумолим. Он поручил постановку комедии Щепкину. Но в результате закулисных интриг Щепкину пришлось отказаться от предложения Гоголя, и организация постановки была передана дирекции московских театров, которая отнеслась к пьесе Гоголя с полным равнодушием. Спектакль, впрочем, имел огромный успех. В нем принимали участие виднейшие актеры Малого театра: Щепкин (городничий), Ленский (Хлестаков), Орлов (Осип), Потанчиков (почтмейстер) и др. С отчетом о московской постановке «Ревизора» выступил Белинский на страницах «Молвы» (см. «Белинский о Гоголе», Гослитиздат, 1949, стр. 93).

64 (Стр. 96) В Александринском театре Хлестакова играл известный водевильный актер Н. О. Дюр. Он исполнял роль в легковесно водевильной манере, усердно комиковал, стараясь чисто внешними приемами вызывать смех в зрительном зале, и оказался, в конце концов, неспособным раскрыть социально-обличительный смысл образа. Гоголь был крайне недоволен игрой Дюра. В «Отрывке из письма, написанного автором после представления «Ревизора» к одному литератору» Гоголь отмечал: «Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков» (Сочинения, изд. 10-е, т. II, стр. 285). Гоголь считал роль Хлестакова «главной» и «труднейшей». В связи с готовящейся постановкой «Ревизора» в Москве писатель обращал внимание Щепкина на необходимость особенно тщательного выбора исполнителя этой роли: «Я не знаю, выберете ли вы для нее артистов. Боже сохрани <если> ее будут играть с обыкновенными фарсами, как играют хвастунов и повес театральных!.. Я сильно боюсь за эту роль» (Письма, т. I, стр. 372). На московской сцене Хлестакова играл первоначально Ленский, а с 1838 г. — и Самарин. Критические отзывы Белинского об игре этих исполнителей (см. «Белинский о Гоголе», стр. 99-104) подтвердили, что опасения Гоголя не были напрасными.

65 (Стр. 96) Об этом спектакле см. в воспоминаниях Л. И. Арнольди[*] и Н. В. Берга[*] (наст. изд., стр. 495 и 507).

[66] (Стр. 97) Известие о трагической гибели Пушкина застало Гоголя в Париже. Он встретил А. С. Данилевского и сказал ему: «Ты знаешь, как я люблю свою мать; но если бы я потерял даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь: Пушкин в этом мире не существует больше» (*В. И. Шенрок*, «Материалы для биографии Гоголя», т. III, стр. 166). Потрясенный горем Гоголь писал П. А. Плетневу 16 марта 1837 г. из Рима: «Что месяц, что неделя, то новая утрата; но никакой вести хуже нельзя было получить из России. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое — вот что меня только занимало и одушевляло мои силы…» (Письма, т. I, стр. 432. См. там же письма — к Погодину от 30 марта 1837 г., к Прокоповичу от 30 марта 1837 г., к Жуковскому от 18 апреля и 30 октября 1837 г.).

[67] (Стр. 98) О своих встречах с Гоголем за границей Погодин рассказывает в своих воспоминаниях «О жизни в Риме с Гоголем и Шевыревым в 1839 г.» («Русский архив», 1865, № 7, стр. 887–895). См. также: *М. Погодин*, «Год в чужих краях. Дорожный дневник» (М. 1844).

[68] (Стр. 98) *Машенька* — М. Г. Карташевская, племянница С. Т. Аксакова и близкая приятельница его старшей дочери.

[69] (Стр. 100) *Миша* — младший сын С. Т. Аксакова.

[70] (Стр. 103) В рукописи явная описка: «30-го ноября».

[71] (Стр. 105) *Вл. Ив. Панаев* — дядя писателя и мемуариста И. И. Панаева. В 1830–1831 гг. В. И. Панаев был непосредственным начальником Гоголя по службе в департаменте уделов и, судя по дошедшим до нас документам, оказывал ему покровительство (см. «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», I, 1936, стр. 295–300). В. И. Панаев впоследствии дослужился до крупных административных чинов. Одновременно он пробовал сделать литературную карьеру, сочиняя старомодные сентиментальные идиллии. В. И. Панаев был человеком реакционных убеждений и крайне неодобрительно относился к сатирическим произведениям своего бывшего подчиненного — Н. В. Гоголя. Выразительный портрет Панаева и характеристику его отношения к творчеству Гоголя оставила в своих воспоминаниях Авдотья Панаева (см. «Воспоминания», Гослитиздат, 1948, стр. 173).

[72] (Стр. 106) *Марихен* — дочь С. Т. Аксакова.

[73] (Стр. 108) *«…трагедия из истории Запорожья»* — незаконченная и сожженная историческая трагедия Гоголя из украинской жизни — «Выбритый ус», которую он начал писать в 1839 г., во время работы над второй редакцией «Тараса Бульбы». Именно об этой пьесе Гоголь

сообщал 10 августа 1839 г. Шевыреву из Вены: «Труд мой, который я начал, не идет; а чувствую, вещь может быть славная» (Письма, т. I, стр. 620). Гоголь был необычайно увлечен сюжетом новой пьесы. Он с радостью погружался в столь любимую им героическую историю Запорожской Сечи (см. письмо к Погодину от 17 октября 1840 г. — Письма, т. II, стр. 80). Литератор В. А. Панов, которому Гоголь читал в ноябре 1840 г. в Риме начало трагедии, поделился в письме к С. Т. Аксакову своими впечатлениями о ней: «Действие в Малороссии. В нескольких сценах, которые он уже написал и прочел мне, есть одно лицо комическое, которое, выражаясь не столько в действии, сколько в словах, теперь уже совершенство» (*Барсуков*, «Жизнь и труды Погодина», т. V, стр. 369). Об обстоятельствах сожжения трагедии см. в воспоминаниях Ф. В. Чижова (наст. изд., стр. 229)[*]. Сохранившиеся небольшие отрывки из этой трагедии были впервые опубликованы П. А. Кулишом («Заметки и наброски Н. В. Гоголя для драмы из Украинской истории», «Основа», 1861, № 1, стр. 116–120). См. также Сочинения Н. В. Гоголя, изд. 10-е, т. V, стр. 533–536. Материал, собранный Гоголем для исторической драмы, был им использован в новой редакции «Тараса Бульбы».

74 (Стр. 109) *Д. Е. Бенардаки* — известный откупщик, воротила, наживший спекулятивными сделками миллионное состояние. Гоголь познакомился с ним летом 1839 г. в Мариенбаде. Аксаков несомненно идеализирует характер отношений Бенардаки к Гоголю. Гоголь питал к этому человеку интерес несколько специфический, видя в нем источник полезной для себя информации. Об этом, например, свидетельствовал Погодин: «Гоголь выспрашивал его <Бенардаки> о разных исках, и, верно, дополнил свою галлерею оригинальными портретами, которые когда-нибудь увидим на сцене» («Год в чужих краях», М. 1844, т. IV, стр. 75). Есть указание того же Погодина, что Бенардаки явился одним из прототипов Костанжогло: «Мы все гуляли вместе <в Мариенбаде>. Бенардаки, знающий Россию самым лучшим и коротким образом, бывший на всех концах ее, рассказывал нам множество разных вещей, которые и поступили в материалы «Мертвых душ», а характер Костанжогло во второй части писан в некоторых частях прямо с него» («Русский архив», 1865, № 7, стр. 895).

75 (Стр. 109) *Калибан* — персонаж из трагедии Шекспира «Буря», уродливый дикарь.

76 (Стр. 109) *«...вторые «Три повести» Павлова».* — «Маскарад», «Демон» и «Миллион» (Спб., 1839). Первый сборник Н. Ф. Павлова под тем же названием вышел в 1835 г. и содержал в себе следующие произведения: «Именины», «Аукцион» и «Ятаган». Эта книга вызвала ярость Николая I и специальное цензурно-полицейское дознание. О ней тепло отозвался Белинский в статье «О русской повести и повестях г.

Гоголя». Критика особенно заинтересовала социально-острая повесть «Именины», посвященная изображению трагической судьбы крепостного музыканта. В дальнейшем, однако, антикрепостнические мотивы в творчестве Павлова почти не проявлялись. Идейная позиция писателя становилась все более умеренной. В начале 60-х гг. он перешел в лагерь реакции.

[77] (Стр. 112) Утверждение С. Т. Аксакова о том, что Пушкин якобы «не вполне ценил талант Гоголя» — совершенно безосновательно. Общеизвестные ныне факты (например, письма и дневник Пушкина, свидетельства многих современников) категорически опровергают это мнение. (О взаимоотношениях Гоголя и Пушкина см. библиографическую справку на стр. 596*.)

[78] (Стр. 113) Это письмо давно найдено. И. С. Аксаков подарил его в 1839 г. Ф. А. Бюллеру, одному из своих приятелей по училищу правоведения, который, много лет спустя, отдал его в редакцию «Русской старины» для опубликования (1871, № 12, стр. 681). Текст этого письма воспроизведен в издании Шенрока (Письма, т. II, стр. 21).

[79] (Стр. 114) Гоголь выехал с С. Т. Аксаковым из Петербурга 17 декабря 1839 г.

[80] (Стр. 117) В письме к Погодину от 23 февраля 1833 г. Гоголь совершенно ясно объяснил причину, которая препятствует ему завершить работу над комедией «Владимир 3-й степени»: «...Но вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит... Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный, которым даже квартальный не мог бы обидеться. Но что комедия без правды и злости!» (Полн. собр. соч., т. X, стр. 262–263). К этому же неосуществленному замыслу Гоголя относятся слова Плетнева в письме к Жуковскому от 17 февраля 1833 г.: «Его комедия не пошла из головы. Он слишком много хотел обнять в ней, встречал беспрестанно затруднения в представлении и потому с досады ничего не написал» (Сочинения и переписка Плетнева, т. III, стр. 528).

[81] (Стр. 118) Подробное описание этого чтения см. в воспоминаниях И. И. Панаева (наст. изд., стр. 214)*.

[82] (Стр. 119) Находясь в затруднительном материальном положении, Гоголь искал товарища, с которым можно было бы поделить дорожные издержки. С этой целью он даже опубликовал специальное «Объявление о выезде»: «Некто, не имеющий собственного экипажа, ищет попутчика до Вены, имеющего собственный экипаж, на половинных издержках: на Девичьем поле, в доме проф. Погодина; спросить Николая Васильевича Гоголя» («Московские ведомости», 1840, № 28; «Прибавления», № 90,

стр. 426). Ср. сохранившийся черновой вариант этого объявления: Сочинения Н. В. Гоголя, изд. 10-е, т. VI, стр. 454.

[83] (Стр. 120) Во всех изданиях воспоминаний С. Т. Аксакова здесь называется И. С. Тургенев. В. Вересаев первым высказал сомнение в том, присутствовал ли на этих именинах И. С. Тургенев. Свое сомнение В. Вересаев обосновывал ссылкой на то, что Тургенев ничего об этой знаменательной встрече не рассказывает в своих воспоминаниях о Гоголе и Лермонтове: «Невероятно предположить, чтоб Тургенев забыл о празднике, проведенном им с Гоголем в среде интимных его друзей, и о чтении Лермонтовым «Мцыри» («Гоголь в жизни», «Academia», М. — Л. 1933, стр. 239).

И. С. Тургенев, действительно, не мог присутствовать 9 мая 1840 г. на именинах Гоголя в Москве, потому что с января 1840 по сентябрь 1841 г. он был за границей. Присутствовал же на именинах А. И. Тургенев. Это подтверждается недавно опубликованной записью из его дневника: «9 мая <1840>. К Свербеевой. С ней у крыльца. Там и Павлов. Оттуда к Лермонтову, не застал, домой и к Гоголю на Девичьем поле у Погодина: там уже la jeune Russie <молодая Россия> съехалась: это напомнило мне и наш *поддевиченский* Арзамас при Павле I. Мы пошли в сад обедать. Стол накрыт в саду: Лермонт<ов>, к. Вязем<ский>, Баратынский, Сверб<еевы>, Хомяков, Самарин, актер Щепкин, Орлов, Попов, Хотяева и пр. Глинки; веселый обед... В 9 час. разъехались. Приехал и Чаадаев. Я домой и опять к Павлов<у>, кот<орый> ошибкой приглашен не был...» (*Э. Герштейн*, «Дуэль Лермонтова с Барантом», «Литературное наследство», № 45–46. М. Ю. Лермонтов, II, 1948, стр. 419–420).

Повод для недоразумения дала сама рукопись С. Т. Аксакова. В ней первоначально назывался А. И. Тургенев. Но затем первый инициал был ошибочно зачеркнут, а сверху, после «И», карандашом вписано «С». Так вместо А. И. Тургенева появился И. С. Тургенев.

[84] (Стр. 120) До недавнего времени считалось, что 9 мая 1840 г. состоялась единственная встреча двух великих русских писателей — Лермонтова и Гоголя. Между тем в дневнике А. И. Тургенева упоминается еще одна встреча, происходившая на другой день у Е. А. Свербеевой. «10 мая... Вечер у Сверб<еевой> с гр. Зубовой. Павлова: подарил ей лиру. Очень довольна. Лермонтов и Гоголь. До 2 часов...» («Литературное наследство», № 45–46, II, 1948, стр. 420). Это — единственное скупое свидетельство о неизвестном до сих пор эпизоде в биографии Гоголя и Лермонтова.

[85] (Стр. 121) Это предположение Аксакова совершенно неправильно. Длительное пребывание Гоголя за границей объяснялось вовсе не тем, что он «не довольно любит Россию». Гоголь горячо любил свою родину. Но Россия чиновничья, крепостническая приносила ему невыразимые

страдания. Он почувствовал это особенно остро после выхода в свет «Ревизора». Яростные нападки на Гоголя той части русского общества, против которой была обращена комедия, вызвала в нем болезненную реакцию. Почувствовав себя одиноким, всеми, как ему казалось, покинутым («Все против меня», — писал он), Гоголь уехал за границу. Но уже первые его письма из-за границы полны глубокой тоски по родине. 22 сентября 1836 г. Гоголь пишет Погодину из Женевы: «…на Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож, что невтерпеж мне пришлось глядеть на них. Даже теперь плевать хочется, когда об них вспомню. Теперь передо мною чужбина, вокруг меня чужбина; но в сердце моем Русь, — одна только прекрасная Русь…» (Письма, т. I, стр. 396). Гоголя звали домой, упрашивали вернуться, но чувство любви к родине было отравлено у него сознанием властвующей там несправедливости, сознанием невозможности писать там «с правдой и злостью». И он принимает решение: не возвращаться. Он пишет в следующем письме Погодину: «Ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить, — нет, слуга покорный! (там же, стр. 435). С подобными настроениями мы встречаемся во многих письмах Гоголя: гневные воспоминания о «гадких рожах», или «презренной черни», или «благородном нашем аристократстве», при одной мысли о котором «сердце… содрогается», неизменно переплетаются с трогательно-нежными чувствами к родной русской земле. Нельзя не вспомнить в этой связи одно характерное замечание Анненкова, близко наблюдавшего Гоголя за границей летом 1841 г.: «Вообще мысль о России была в то время… живейшей частью его существования» (наст. изд., стр. 288).

Гоголь писал, что ничто на чужбине не может вдохновить его как художника: «Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему… И я ли после этого могу не любить своей отчизны» (Письма, т. I, стр. 435). Искренность этих взволнованных строк Гоголя подтверждается всеми его художественными произведениями, проникнутыми могучим патриотическим чувством. Все это наглядно опровергает ошибочное утверждение С. Т. Аксакова.

[86] (Стр. 122) К этому месту в рукописи воспоминаний Аксакова дана сноска: «Все письма Гоголя не только списаны с точностью, но даже *скопированы*». Это, однако, не соответствует действительности. Тексты писем Гоголя воспроизведены переписчиком Аксакова неисправно. В настоящем издании письма сверены и исправлены в большинстве своем по автографам Гоголя.

[87] (Стр. 123) «Песни русского народа» И. П. Сахарова (ч. 1–5, 1838–1839).

[88] (Стр. 126) Речь идет о сборниках народных украинских песен, собранных и изданных М. А. Максимовичем: «Малороссийские песни» (М. 1827), «Украинские народные песни», ч. 1 (М. 1834), «Голоса украинских песен» (1834).

Гоголь был знатоком и собирателем народной песни. «Моя радость, жизнь моя! песни! Как я вас люблю! — писал он в 1833 г. своему другу М. А. Максимовичу, — …я не могу жить без песен. Вы не понимаете, какая это мука» (Полное собр. соч., т. X, стр. 287). Еще в юношеские годы пробудилась у Гоголя страсть к собиранию памятников народного творчества. Будучи учеником Нежинской гимназии, он завел у себя специальную тетрадь под названием «Книга всякой всячины, или Подручная энциклопедия», в которую записывал услышанные где-либо народные песни. К середине 30-х годов у Гоголя образовалось большое собрание произведений народного творчества, в котором было немало песен, совершенно неизвестных специалистам-этнографам. Намерение Гоголя издать это собрание совместно с М. А. Максимовичем не было осуществлено (см. «Песни, собранные Н. В. Гоголем» — в сборнике «Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя», выпуск 2, Спб. 1908).

[89] (Стр. 127) Имеется в виду В. А. Панов, с которым Гоголь выехал 18 мая 1840 г. из Москвы за границу и с которым жил некоторое время в одной квартире в Риме. Панов писал под диктовку Гоголя первые главы первого тома «Мертвых душ», затем его сменил Анненков.

[90] (Стр. 127) Датировка этого письма спорна. Высказывается предположение, что оно было написано 10 сентября и лишь случайно, по недосмотру помечено Гоголем 10 августа 1840 г. (см. Письма, т. II, стр. 61, прим. 1). Ср. также «Опыт хронологической канвы к биографии Гоголя» А. И. Кирпичникова (Полн. собр. соч. Гоголя, изд. Сытина, М. 1902, т. I, стр. XLII).

[91] (Стр. 128) «Дядька в хлопотах» или «Дядька в затруднительном положении» — комедия итальянского писателя Джиованни Жиро. Она помещена в 10-м издании Соч. Гоголя, т. II, стр. 517–564. В письме Гоголя упоминается лишь первое действие этой пьесы, так как второе действие было вложено в письмо к Щепкину и третье — в письмо к Погодину. В какой мере участвовал Гоголь в переводе этой комедии на русский язык точно неизвестно. В том письме, которое Гоголь выше просит Аксакова передать Щепкину, сказано: «…Комедия готова. В несколько дней русские наши художники перевели. И как я поступил добросовестно! Всю от начала до конца выправил, перемарал и переписал собственною рукою» (Письма, т. II, стр. 61–62).

[92] (Стр. 128) Гоголь имеет в виду смерть родственника С. Т. Аксакова — Г. И. Карташевского. Гоголь познакомился с ним в ноябре 1839 года в Петербурге (см. об этом в воспоминаниях С. Т. Аксакова, стр. 104*).

93 (Стр. 130) *«...нужно к спеху»* — речь идет о подготовке второго издания «Ревизора»; под работой *«не к спеху»* — имеется в виду завершение «Мертвых душ». Опутанный долгами, Гоголь должен был, вопреки своему желанию, прервать напряженный труд над «Мертвыми душами» и заняться срочной подготовкой к переизданию «Ревизора».

94 (Стр. 130) Т. е. до сведения К. С. Аксакова.

95 (Стр. 132) См. примеч. 85*. Ниже — совершенно неправильное рассуждение С. Т. Аксакова о характере влияния московских славянофилов на Гоголя. Здесь уместно вспомнить Чернышевского: «эти мудрые варяго-руссы, если и были в чем-нибудь виноваты, то разве в «Переписке с друзьями» (Полн. собр. соч. т. III, Гослитиздат, 1947, стр. 40). См. также вступительную статью к наст. изданию*.

96 (Стр. 132) Речь идет о смерти младшего сына С. Т. Аксакова — Михаила.

97 (Стр. 132) Имеется в виду «Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору». Этот «Отрывок», напечатанный в шестой книжке «Москвитянина» за 1841 г. и в том же году в качестве приложения — во втором издании «Ревизора», представлял собой блестящий авторский комментарий к комедии. «Отрывок» датирован 25 мая 1836 г. По мнению Н. Тихонравова и В. Шенрока, работа Гоголя над «письмом» была завершена в 1841 г. и, таким образом, его адресатом уже не мог быть Пушкин. Эта точка зрения, впрочем, не может считаться окончательно подтвержденной.

98 (Стр. 139) В. Г. Белинский неутомимо боролся со славянофилами, беспощадно разоблачая в своих статьях реакционный характер политических и эстетических позиций «холопов Поречья». Славянофилы ненавидели Белинского, справедливо усматривая в нем своего непримиримого идейного противника. Этим и объясняется злобный выпад против него со стороны С. Т. Аксакова.

«Секретное» свидание Гоголя с Белинским состоялось в начале января 1842 г. В связи с отказом московской цензуры разрешить к печати «Мертвые души» (см. письмо Гоголя к П. А. Плетневу от 7 января 1842 г. — Письма, т. II, стр. 135–139), Гоголь обратился к гостившему в Москве Белинскому с просьбой захватить с собой рукопись в Петербург и посодействовать скорейшему ее прохождению через тамошние цензурные инстанции. Белинский охотно согласился выполнить поручение. Что касается «секретного» характера этого свидания, то оно объясняется нежеланием Гоголя разглашать перед московскими «друзьями» (Аксаковым, Шевыревым, Погодиным) своих отношений с Белинским. Встреча с ним Гоголя была для них полной

неожиданностью. Они были сильно встревожены этим фактом и весьма опасались влияния Белинского на Гоголя.

Во время свидания критик пытался привлечь Гоголя к сотрудничеству в «Отечественных записках». От этого сотрудничества Гоголь в конце концов уклонился (см. *В. Г. Белинский*, Письма, Спб. 1914, т. II, стр. 308).

[99] (Стр. 142) Это представление «Ревизора» состоялось не в 1840 г., а 17 октября 1839 г. См. письма Грановского к Н. В. Станкевичу от 25 ноября 1839 г. («Т. Н. Грановский и его переписка», М. 1897, т. II, стр. 374–375), Н. П. Огарева к Герцену («Русская мысль», 1888, № 11, стр. 1), Н. Ф. Павлова к Шевыреву от 20 октября 1839 г. («Из собрания автографов Импер. публ. биб-ки», Спб. 1895, стр. 119). Об этом спектакле см. также в воспоминаниях И. И. Панаева (наст. изд., стр. 217)*.

[100] (Стр. 145) В связи со столь необычной задержкой в получении Гоголем рукописи Белинский писал 31 марта 1842 г. В. П. Боткину: «Мертвые души» отправлены в Москву (цензурным комитетом) 7 марта, за № 109, на имя Погодина с передачею Гоголю. Но Гоголь не получал: подозревает Плетнев, Прокопович и я, что Погодин получил, но таит до времени, с целью выманить у него пока еще статейку для журнала» (*В. Г. Белинский*. Письма, Спб. 1914, т. II, стр. 292). Хотя подозрение Белинского и не подтвердилось (рукопись была задержана цензурным комитетом и получена Гоголем 5 апреля), но это место в его письме правильно раскрывает характер отношения Погодина к Гоголю.

[101] (Стр. 145) Петербургская цензура вовсе не так благодушно отнеслась к «Мертвым душам», как это изображает Аксаков. Хотя рукопись и разрешено было после долгих хлопот печатать, но цензурный комитет при этом признал в ней 36 мест «сомнительными», кроме того от Гоголя потребовали внести существенные исправления в «Повесть о капитане Копейкине» либо снять ее вовсе и, наконец, изменить самое заглавие поэмы; вопреки воле автора, она должна была теперь называться «Похождения Чичикова или Мертвые души».

[102] (Стр. 149) *Гриша* — второй после Константина сын С. Т. Аксакова.

[103] (Стр. 151) Ср. в воспоминаниях Погодина: «Гоголь ни за что на свете не хотел никому показывать своего паспорта, и его надо было клещами вытаскивать из его кармана. Он уверял меня даже, что когда ездит один, то никогда не показывает паспорта никому по всей Европе под разными предлогами. Так и при нас, не дает да и только: начнет спорить, браниться, и смотря в глаза полицейскому чиновнику, примется по-русски ругать на чем свет стоит его императора австрийского, его министерство, всех гонфалоньеров и подест, но таким тоном, таким голосом, что полицейский думает слышать извинения, и повторяет тихо: Signore, passaporti! Так он поступал, когда паспорт у него в кармане, и стоило только вынуть его, а это случалось очень редко; теперь

представьте себе, что паспорта у него нет, что он засунул его куда-нибудь в чемодан, в книгу, в карман. Он должен наконец искать его, потому что мы приступаем с просьбами: надо ехать, а не пускают. Он начнет беситься, рыться, не находя его нигде, бросать все, что попадется под руку, и наконец, найдя его там, где нельзя и предполагать никакой бумаги, начнет ругать самый паспорт, зачем он туда засунулся, и кричать полицейскому: на тебе паспорт, ешь его, и проч., да и назад взять не хочет. Преуморительные были сцены. Кто помнит, как читал Гоголь свои комедии, тот может себе вообразить их, и никто более» («Русский архив», 1865, № 7, стр. 890–891).

[104] (Стр. 158) Этот отзыв чиновника Ф. И. Васькова характерен для того круга лиц, которые чувствовали себя как дома в семействе Аксаковых. Показателен и невозмутимо бесстрастный тон, с каким автор мемуаров воспроизводит весь этот реакционный вздор о величайшем произведении Гоголя.

[105] (Стр. 159) История пресловутой брошюры «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова или Мертвые души» такова. Она была написана Константином Аксаковым в форме статьи в июне 1842 г., одобрена его отцом и сдана в редакцию «Москвитянина». Погодин прочитал ее и склонен был принять. Но Шевырев, бывший главным критиком журнала, неожиданно воспротивился ее напечатанию. Тогда Аксаковы решили издать статью отдельной брошюрой. 7 июля 1842 г. было получено цензурное разрешение, и она вскоре вышла в свет. Брошюра вызвала большой шум в журнальных кругах, особенно после резкого выступления Белинского на страницах «Отечественных записок» (см. вступ. статью к наст. изд.*). Гоголь, узнав о брошюре и о том впечатлении, какое она произвела, неодобрительно отнесся к выступлению К. Аксакова, причем — не только потому, как ниже указывает С. Т. Аксаков, что брошюра «появилась не во-время». Гоголь был недоволен статьей К. Аксакова и по существу. В письме к С. Т. Аксакову от 18 августа 1842 г. Гоголь действительно отмечает: «ей <брошюре> рано быть напечатанной теперь»; но этой фразе предшествует другая: «Я был уверен, что Конст. Сер. *глубже и прежде поймет, и уверен, что критика его точно определит значение поэмы*». (Курсив наш. — *С. М.*) (Наст. изд., стр. 168.) Полгода спустя, когда С. Т. Аксаков однажды поставил вопрос в упор: «Я боюсь, что вы недовольны или досадуете за брошюрку Константина» — Гоголь вежливо ответил (в письме от 18 марта 1843 г.), что он и «не думал сердиться на него за брошюрку», но тут же продолжил: «горе тому, кто объявляет какую-нибудь замечательную мысль, если эта мысль еще — ребенок» (там же, стр. 184).

В течение многих лет брошюра Аксакова была предметом резкой критики со стороны прогрессивной журналистики. В 1860 г. ее высмеял

Добролюбов в статье «Благонамеренность и деятельность» (Полн. собр. соч., Гослитиздат, 1935, т. 2, стр. 241–242).

[106] (Стр. 164) *П. В. Нащокин* (1800–1854) — один из московских друзей Пушкина. Будучи в молодости очень богатым человеком, он промотал все свое состояние и последние полтора десятилетия своей жизни сильно бедствовал. Гоголь пытался принять участие в его судьбе. Письмо, о котором Гоголь наводит справки у Аксакова, было им послано Нащокину 20 июля 1842 г. из Гастейна. В этом письме Гоголь сообщал о своих переговорах с откупщиком-миллионером Д. Е. Бенардаки относительно того, чтобы Нащокин стал воспитателем его сына.

[107] (Стр. 165) Имеется в виду книга экономиста и критика В. П. Андросова — «Хозяйственная статистика России» (М. 1827).

[108] (Стр. 165) Следует: Гр. Карп. *Котошихин* — подьячий Посольского приказа. Речь идет о его книге «О России в царствование царя Алексея Михайловича» — замечательном произведении русской публицистики XVII века. Оно было обнаружено лишь в 30-х гг. XIX в. и впервые опубликовано в 1840 г.

[109] (Стр. 166) Повесть Гоголя «Портрет» впервые появилась в «Арабесках» в 1835 г. В статье «О русской повести и повестях Гоголя» Белинский дал в общем суровую оценку этому произведению: «Портрет» — есть научная попытка г. Гоголя в фантастическом роде» («Белинский о Гоголе», Гослитиздат, 1949, стр. 84). Во второй половине 30-х годов Гоголь начал коренную переработку «Портрета», завершенную весной 1842 г. и опубликованную в том же году в «Современнике» (т. XXVII, № 3). Вполне вероятно предположение, что переработку «Портрета» Гоголь осуществил под влиянием Белинского. Это подтверждается и характером переработки. Именно вторая часть, которая не понравилась Белинскому, была особенно серьезно переделана, существенно перестроена вся сюжетная канва, значительно ослаблен фантастический элемент. Однако общая концепция повести свидетельствовала об усилении в Гоголе идейных противоречий. В 1842 г. в статье «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя…» Белинский снова возвращается к «Портрету», только что появившемуся в новой редакции. Он отмечает, что первая часть «стала несравненно лучше», но итоговая оценка повести остается отрицательной («Белинский о Гоголе», стр. 236.)

[110] (Стр. 173) Здесь совершенно неверное утверждение Аксакова, будто бы Гоголь всегда придерживался того направления идей, которое нашло свое выражение в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Подобного рода ошибки допускали и некоторые другие мемуаристы и биографы Гоголя, например — Кулиш в своих «Записках». На это обратил внимание уже П. В. Анненков. В воспоминаниях «Гоголь в Риме

летом 1841 г.» он писал: «Великую ошибку сделает тот, кто смешает Гоголя последнего периода с тем, который начинал тогда жизнь в Петербурге, и вздумает прилагать к молодому Гоголю нравственные черты, выработанные гораздо позднее, уже тогда, как свершился важный переворот в его существовании» (наст. изд., стр. 263).

[111] (Стр. 175) Две статьи С. П. Шевырева о «Мертвых душах» были напечатаны в 7 и 8 книжках «Москвитянина» за 1842 год. Некоторые положения этих статей были кратко изложены в его обзоре: «Критический перечень произведений русской словесности за 1842 г.» («Москвитянин», 1843, № 1). Реакционная концепция Шевырева была неоднократно предметом резкой критики Белинского.

[112] (Стр. 177) Здесь следует еще раз подчеркнуть, что именно Белинский был первым критиком, правильно понявшим и оценившим идейное и художественное значение «Мертвых душ», как и всего творчества Гоголя (см. вступ. ст. к наст. изд.[*]).

[113] (Стр. 178) Выше С. Т. Аксаков относит предположительно это письмо к январю 1843 г. Здесь же упоминается 1842 г. В. Шенрок придерживается этой последней версии (*Н. Гоголь*, Письма, т. II, стр. 210). Точная дата письма неизвестна.

[114] (Стр. 179) Ныне эти строки Аксакова, конечно, могут быть восприняты лишь иронически. В действительности, лучшие произведения Гоголя беспощадно обличали феодально-крепостнический режим Николая I.

[115] (Стр. 179) Гоголь охотно разрешил эту перемену. «Относительно перемены ролей, — отвечал он С. Т. Аксакову, — актеры и дирекция имеют полное право, и удивляюсь, зачем они не сделали этого сами. Кто же, кроме самого актера, может знать свои силы и средства» (см. ниже в воспоминаниях Аксакова письмо от 18 марта 1843 г.[*]). С получением ответа Гоголя Щепкин и Живокини тотчас же обменялись ролями.

[116] (Стр. 180) Когда Щепкин осенью 1844 г. приехал в Петербург на гастроли и выступал в «Женитьбе» (в роли Кочкарева), Белинский дал в общем высокую оценку, хотя и с серьезной оговоркой, его исполнению: «В роли Кочкарева (в «Женитьбе») он обнаруживает больше искусства, нежели истинной натуры; но тем не менее, только его игра в этой роли показала петербургской публике, что за пьеса «Женитьба» («Белинский о Гоголе», стр. 288).

[117] (Стр. 181) Кругель, Швохнев — персонажи «Игроков».

[118] (Стр. 181) Отклик на этот эпизод содержится в «Театральном разъезде».

[119] (Стр. 182) Речь идет о второй, окончательной редакции «Тараса Бульбы», значительно отличающейся в идейном и художественном

отношении от первой «Миргородской» редакции (1835 г.). Повесть значительно расширилась в своем объеме: вместо девяти глав в первой редакции — двенадцать глав во второй. Появились новые персонажи, конфликты, ситуации. Значительно обогатился историко-бытовой фон повести, введено много новых подробностей в описание Сечи, сражений и т. д. Повесть стала более глубокой по своей идее, своему демократическому пафосу, более совершенной в художественном отношении.

[120] (Стр. 190) Поручив вести дела по изданию своих сочинений в Петербурге Прокоповичу, Гоголь вызвал острое неудовольствие московских «друзей». Этот шаг со стороны Гоголя объяснялся его стремлением хоть в какой-нибудь степени избавиться от опеки «москвичей». Они терроризовали Гоголя своими докучливыми просьбами поскорее издать второй том «Мертвых душ», работу над которым писатель считал еще далеко не завершенной. Кроме того, Гоголя особенно возмущало поведение Погодина, который, в ответ на оказываемые писателю услуги, грубо понуждал его сотрудничать в «Москвитянине», что послужило в конце концов причиной продолжительной ссоры Гоголя с Погодиным. Эти факты наглядно свидетельствуют о том, как сложны были отношения Гоголя с его так называемыми «московскими друзьями».

[121] (Стр. 192) Незадолго перед тем имела место другая выходка Погодина: когда Гоголь еще продолжал работать над окончательной редакцией «Женитьбы», в «Москвитянине» (1841, № 2) неожиданно появилось объявление, извещавшее, что «комедия «Женихи» в двух действиях давно готова». Было много и других актов самоуправства Погодина, необычайно возмущавших Гоголя (см. примечание 379[*]).

[122] (Стр. 198) Что касается Белинского, то Гоголь относился к нему вовсе не так, разумеется, как Аксаков, Шевырев и Погодин (см. примеч. 138[*]).

[123] (Стр. 201) Это письмо относится к 1846 г. В. И. Шенрок неточно датирует его: «6 мая» (Письма, т. III, стр. 181). В автографе Гоголя совершенно ясно обозначено: «5 мая». В сноске к тексту этого письма Шенрок ошибочно утверждает: «Этого письма нет между напечатанными в «Русском архиве» (1890, VIII)».

[124] (Стр. 203) По инициативе М. С. Щепкина группа артистов начала в 1843 г. в Москве проводить вечера художественного чтения. Исполнялись преимущественно произведения Гоголя. (См. отклик на эти чтения в письме Гоголя «Чтения русских поэтов перед публикою». Соч., изд. 10-е, т. IV, стр. 22–23.)

[125] (Стр. 204) Имеется в виду не статья, а письмо к К. С. Аксакову, в котором Ю. Ф. Самарин излагал свой взгляд на «Мертвые души».

Письмо было напечатано много лет спустя: в «Русском архиве» (1880, № 2, стр. 298–302) и «Русской старине» (1890, № 2, стр. 421–425).

[126] (Стр. 204) Речь идет о том, что О. С. Аксакова поторопилась сообщить матери Гоголя о больших доходах, якобы полученных от распродажи «Мертвых душ», и предложила ей взять деньги, хранившиеся у Шевырева. М. И. Гоголь стала беспокоить сына просьбами о присылке денег, которых у него в действительности не было (см. выше письмо Гоголя от 18 марта 1843 г.[*]).

[127] (Стр. 208) *«...по Глинкиной части...»* — имеется в виду Ф. Н. Глинка — поэт и публицист религиозно-мистического направления; в молодости — один из вождей Союза благоденствия.

[128] (Стр. 208) На этом обрывается та часть рукописи «Истории моего знакомства с Гоголем», которую С. Т. Аксаков успел обработать и подготовить к печати.

В начале ноября Гоголь ответил Погодину длинным письмом, проливающим яркий свет на характер его взаимоотношений с Погодиным. Письмо начиналось следующими строками: «Между нами произошло непостижимое событие: ту же тяжесть, какую ты чувствовал от моего присутствия, я чувствовал от твоего. Как из многолетнего мрачного заключения вырвался я из домика на Девичьем поле. Ты был мне страшен. Мне казалось, что в тебя поселился дух тьмы, отрицания, смущения, сомнения, боязни. Самый вид твой, озабоченный и мрачный, наводил уныние на мою душу; я избегал по целым неделям встречи с тобой» (Письма, т. II, стр. 352–353).

Это письмо было отправлено Погодину через С. Т. Аксакова. Резкость тона и беспощадная откровенность письма настолько смутили Аксакова, что он, посоветовавшись с Шевыревым, решил не передавать его адресату.

И. И. ПАНАЕВ
ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Иван Иванович Панаев (1812–1862) — автор многочисленных и в свое время популярных повестей, рассказов и очерков, не оставивших значительного следа в истории русской литературы. За ним давно уже закреплена репутация «забытого писателя». По-иному сложилась судьба Панаева-мемуариста. Он был свидетелем самых крупных событий общественно-литературной борьбы 30-50-х гг. XIX в. Один из деятелей «натуральной школы», соиздатель «Современника», Панаев был хорошо знаком со всеми видными писателями этой эпохи и в своих воспоминаниях ярко запечатлел многие характерные ее черты. Панаев был в близких отношениях с Некрасовым, Белинским, Чернышевским, Добролюбовым, он искренно сочувствовал идеям революционно-демократического движения, но активным участником

этого движения так и не стал. Идейная позиция Панаева была противоречива, в ней порой еще чувствовалась тенденция непреодоленного либерализма.

«Литературные воспоминания» писались в 1860–1861 гг. — т. е. много лет спустя после событий, о которых идет речь. Отсюда ряд неточностей в хронологии, а также в изложении некоторых фактов. Впервые опубликованы были воспоминания в «Современнике», 1861, №№ 1, 2, 9, 10, 11. В 1876 г. они вышли отдельным изданием. Мы воспроизводим несколько отрывков, непосредственно относящихся к Гоголю, по наиболее полному и выверенному по рукописи изданию 1950 г., Гослитиздат, под ред. И. Ямпольского (стр. 120–121, 140, 142, 169–176).

[129] (Стр. 209) Имеются в виду В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. В. Станкевич и др.

[130] (Стр. 209) *«… изъявлял сожаление моему дяде»* — Вл. И. Панаеву (см. примеч. 71[*]).

[131] (Стр. 211) В 1825–1834 гг. Н. А. Полевой издавал журнал «Московский телеграф», который сыграл прогрессивную роль в развитии русской литературы и общественной мысли и для своего времени был, по определению Белинского, «лучшим журналом в России». Но даже и в этот период эстетическая позиция Полевого не была лишена серьезных противоречий. Свидетельством тому является, например, враждебность, с какой он встретил появление первых повестей Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки» вызвали со стороны Полевого две резко отрицательные рецензии. В конце 30-х гг. направление литературной деятельности Полевого существенно изменилось; он перешел в лагерь реакции, став одним из самых яростных врагов передовых, демократических сил в русской литературе.

[132] (Стр. 211) Оценка Кукольником «Ревизора» была типична для реакционного лагеря, враждебно встретившего гениальную обличительную комедию Гоголя (см. примеч. 184[*]).

[133] (Стр. 212) Это неверное, антиисторическое сопоставление Гоголя с Гомером К. Аксаков делал в свой брошюре «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова или Мертвые души» (М. 1842). (О ней см. во вступ. статье к наст. изд.[*] и примеч. 105.[*])

[134] (Стр. 212) Имеются в виду два внутренне связанных между собой автобиографических произведения С. Т. Аксакова: «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова внука».

[135] (Стр. 215) И. И. Панаев здесь явно запамятовал. Чтение Гоголем «Тяжбы» у Аксаковых происходило 8 марта 1840 г., и Панаев действительно присутствовал на этом чтении. Между тем, по

свидетельству более точного в изложении фактических событий С. Т. Аксакова, Гоголь читал в его доме первую главу «Мертвых душ» вскоре после своего приезда из Петербурга в Москву — в конце декабря 1839 г. или в начале января 1840 г. За два дня до описываемого Панаевым события — 6 марта 1840 г. — Гоголь читал в доме Аксакова уже четвертую главу (см. наст. изд., стр. 118*). Где и когда слушал Панаев первую главу «Мертвых душ», неизвестно. Во всяком случае это не могло быть в тот же день, когда Гоголь читал у Аксаковых «Тяжбу».

136 (Стр. 216) См. примеч. 62*.

137 (Стр. 216) Эта характеристика отношения Пушкина к Гоголю неверна. В рецензии на второе издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Пушкин писал: «Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина!» (наст. изд., стр. 80). Сопоставление имен Гоголя и Фонвизина здесь многозначительно: оно свидетельствует о том, что уже в «Вечерах на хуторе» Пушкин проницательно увидел сатирический дар Гоголя. Тем менее оснований утверждать, как это делает Панаев, что «Пушкин восхищался только удивительным комизмом» автора «Ревизора». Пушкин, как известно, подсказал Гоголю сюжет «Ревизора» и высоко оценил значение этого произведения. Пушкин видел в «Ревизоре» выдающийся образец общественной комедии.

138 (Стр. 216) Здесь необходимо уточнение. Настроения, о которых пишет Панаев, были свойственны Гоголю в более поздний период его жизни. Имеются свидетельства о весьма положительном отношении молодого Гоголя ко многим статьям Белинского, посвященным анализу его творчества. Можно отметить, например, высокую оценку Гоголем статьи Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя». Писатель, по свидетельству Анненкова, «был доволен статьей, и более чем доволен, он был осчастливлен статьей» (см. наст. изд., стр. 318*). Столь же положительной была оценка Гоголем и статьи Белинского» о «Горе от ума», значительная часть которой была посвящена разбору «Ревизора». По этому поводу критик сообщал 14 марта 1840 г. В. П. Боткину: «Гоголь доволен моей статьей о «Ревизоре» — говорит — многое подмечено верно, это меня обрадовало» (*Белинский*, Письма, т. II, стр. 94). Гоголь проявлял также большой интерес к статьям Белинского о «Мертвых душах».

139 (Стр. 217) См. примеч. 99*.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛИНСКОМ»

Впервые опубликовано в «Современнике», 1860, № 1. Даем по журнальному тексту отрывок, непосредственно относящийся к Гоголю (стр. 364–366).

[140] (Стр. 218) Описываемая встреча имела место осенью (во второй половине сентября или начале октября) 1848 г., когда Гоголь гостил в Петербурге. О ней сообщает также Авдотья Панаева, путая, как И. И. Панаев, хронологию («Воспоминания», Гослитиздат, 1948, стр. 188–189). Об этой встрече сохранился еще рассказ Некрасова, записанный с его слов А. С. Сувориным («Новое время», 1878, № 662).

[141] (Стр. 218) Это знакомство не могло произойти летом 1839 г. по той причине, что Гоголь приехал из-за границы в Москву лишь 26 сентября. Точная дата знакомства Гоголя с И. И. Панаевым неизвестна. В. И. Шенрок, например, указывает предположительно на 1839 или 1840 г. («Материалы для биографии Гоголя», т. III, стр. 62). Сам Панаев в своих воспоминаниях сообщает противоречивые данные. Вероятнее всего это знакомство состоялось в ноябре 1839 г. в Петербурге, когда Гоголь приехал за своими сестрами, закончившими Патриотический институт. С. Т. Аксаков по крайней мере сообщает об одной встрече Гоголя с И. И. Панаевым 5 ноября 1839 г. (см. наст. изд., стр. 104*). Предположение Шенрока о 1840 г., повидимому, безосновательно.

[142] (Стр. 219) См. примеч. 135*.

[143] (Стр. 219) Еще более резкое осуждение Гоголем своих «Выбранных мест из переписки с друзьями» см. в воспоминаниях М. А. Щепкина (наст. изд., стр. 529–530)*. См. также примеч. 409*.

Ф. И. ИОРДАН
ИЗ «ЗАПИСОК»

В 30-е годы в Риме обосновалась большая группа русских художников, командированных туда Петербургской академией художеств. Живя подолгу в Италии, Гоголь сблизился с некоторыми из этих художников, особенно с А. А. Ивановым, Ф. А. Моллером, Ф. И. Иорданом, И. С. Шаповаловым. Федор Иванович Иордан (1800–1883) — известный русский гравер, впоследствии профессор и ректор Академии художеств.

Свои «Записки» Иордан начал писать на склоне лет, в 1875 г. Они представляют собой летопись важнейших событий его жизни до половины 50-х гг. В них содержится также немало фактов, характеризующих жизнь русских художников в Италии и их взаимоотношения с Гоголем. Впервые «Записки» появились в журнале «Русская старина» (1891, № 3-12) и в 1918 вышли отдельным изданием. Мы даем здесь два отрывка, имеющие непосредственное касательство к Гоголю («Русская старина», 1891, № 7, стр. 55–56, и № 8, стр. 247–249).

[144] (Стр. 220) В 1835 г. Иордан, по совету К. Брюллова, начал воспроизводить в гравюре картину Рафаэля «Преображение». Работа велась с большим напряжением в течение 15 лет и в 1850 г. Первые оттиски гравюры были привезены в Петербург.

[145] (Стр. 221) Будущий царь Александр II. Его сопровождал В. А. Жуковский. Они приехали в Рим в конце декабря 1838 г.

[146] (Стр. 221) Речь идет о молодом тогда художнике Иване Савельевиче Шаповалове, которого, ввиду его украинского происхождения, в кругу друзей называли Шаповаленко. Он был выходцем из крестьян. Своими выдающимися способностями он обратил на себя внимание и был в 1831 г., 14-летним юношей, отправлен в Италию для изучения живописи. Шаповалов был учеником А. А. Иванова. Ему покровительствовал Гоголь. Впоследствии Шаповалов стал крупным мозаичистом.

Публичное чтение «Ревизора» было задумано писателем в связи с тем, что Общество поощрения русских художников неожиданно лишило Шаповалова пособия, оставив его в крайне бедственном положении. (Об этом эпизоде см. «А. А. Иванов, его жизнь и переписка», изд. М. Боткина, Спб. 1880, стр. 137–138.)

[147] (Стр. 221) З. А. Волконская в 1829 г. уехала из России в Италию и перешла в католичество. Гоголь познакомился с ней в 1837 г. в Риме. Своим религиозным фанатизмом Волконская способствовала росту мистических настроений Гоголя во второй половине 40-х годов.

[148] (Стр. 221) Это свидетельство Иордана лишний раз характеризует отношение русской реакции к гениальной комедии Гоголя.

Ф. И. БУСЛАЕВ
ИЗ «МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Федор Иванович Буслаев (1818–1897) — известный филолог, автор многих работ по вопросам русского языка, литературы и фольклора, профессор Московского университета, впоследствии академик. В 1839 г., вскоре после окончания университета, Буслаев принял предложение попечителя Московского учебного округа гр. Строганова совершить вместе с его семьей путешествие за границу. С октября 1840 г. по апрель 1841 г. Буслаев пробыл в Риме, где в это время жил Гоголь. В. А. Панов, близко знакомый с Гоголем, рассказал Буслаеву ряд эпизодов из жизни писателя в Риме. Некоторые из них Буслаев запечатлел в своих мемуарах.

«Мои воспоминания» писались в 1889–1891 гг. и печатались на страницах «Вестника Европы» в 1890–1892 гг. В 1897 г. они вышли отдельным изданием, по тексту которого воспроизводится настоящий отрывок (стр. 258–260).

[149] (Стр. 223) Это излюбленное Гоголем кафе «Greco» служило своеобразным клубом для художников, писателей и музыкантов. В нем в разное время бывали Гете, Байрон, Мицкевич, Бизе, Гуно, Теккерей и др. В память о посещениях Гоголем кафе «Greco» по инициативе русских

художников здесь, на стене одной из зал, был повешен его портрет, написанный художником П. А. Сведомским. (См. *Aventino,* «По следам Гоголя в Риме», М. 1902, стр. 15.)

Ф. В. ЧИЖОВ
<ВСТРЕЧИ С ГОГОЛЕМ>

Федор Васильевич Чижов (1811–1877) — один из деятелей славянофильского лагеря. В нем сочетались научные и художественные интересы (он увлекался математикой, историей, живописью, литературой) с необыкновенной страстью к предпринимательской деятельности. Чижов впервые познакомился с Гоголем в 1834 г. в Петербургском университете, в котором оба служили адъюнкт-профессорами; особенно близко они соприкасались в 1843 г. в Риме, живя в одном доме; встречались они еще в 1848–1849 гг., после возвращения Гоголя на родину. Эти три этапа в отношениях Гоголя с Чижовым и освещаются в настоящих воспоминаниях. Автор их не был ни особенно ревностным почитателем таланта Гоголя, ни духовно близким ему человеком. Но в своих воспоминаниях он зафиксировал некоторые интересные для биографии Гоголя фактические подробности его жизни.

Чижов оставил после себя огромный дневник, который он вел на протяжении четырех десятилетий. В нем есть много упоминаний о встречах с Гоголем. Дневник не опубликован и хранится в рукописном отделе Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина. С именем Чижова связано также одно из изданий собр. соч. Гоголя (1867), редактором которого он являлся.

Свои воспоминания Чижов написал в начале 50-х гг. по просьбе П. А. Кулиша, опубликовавшего их в 1856 г. в книге «Записки о жизни Гоголя» (т. I, стр. 106, 326–331; т. II, стр. 240–241), откуда мы и воспроизводим текст с незначительным сокращением.

[150] (Стр. 225) См. примеч. 40*.

[151] (Стр. 225) Чижов намекает на то, что Гоголь был обязан своим зачислением на кафедру университета протекции (см. комментарий к воспоминаниям Н. И. Иваницкого — стр. 598*).

[152] (Стр. 227) Гоголь любил повторять эту мысль. Ср., например, рассказ В. А. Соллогуба: «Мне очень хотелось сойтись поближе, на «ты» с Гоголем, но это долго мне не удавалось, потому что он был необщителен. Однако я не унывал, продолжал свою тактику и достиг желаемого. Вот однажды я говорю ему: «Скажи на милость, как тебе досталась эта способность писать так легко и хорошо? Ведь вот читаешь какой-нибудь твой рассказ, все так просто, кажись, и сам бы написал (а я тогда еще не был писателем), а сядешь — ничего, изгрызешь несколько перьев, начнешь — и зачеркнешь, снова напишешь и снова

зачеркнешь». — «Для этого необходимо упражнение, привычка, надо набить руку, — сказал Гоголь. — Ты положи себе за правило ежедневно писать в течение двух-трех часов. Положи перед собой бумагу, перья, поставь чернильницу и заметь часы и пиши…» — «Да что же писать? если ничего в голову не лезет?» — «И пиши: ничего в голову не лезет. Завтра опять что-нибудь прибавишь, послезавтра еще что прибавишь и набьешь руку. И будешь писателем: так и я поступил» («Исторический вестник», 1911, № 10, стр. 85–86).

153 (Стр. 228) Речь идет о трагедии на материале из украинской истории «Выбритый ус» (см. примеч. 73*).

154 (Стр. 229) Встреча Гоголя с Жуковским во Франкфурте состоялась в сентябре 1841 г. (см. Письма, т. II, стр. 113). Таким образом, устанавливается приблизительная дата сожжения Гоголем драмы «Выбритый ус».

155 (Стр. 229) В конце мая 1848 г. Гоголь по приглашению своего старого товарища А. С. Данилевского гостил в Киеве. Здесь и состоялась новая его встреча с Чижовым, поселившимся в это время вблизи Киева, ввиду запрещения проживать в Москве и Петербурге. Это запрещение явилось результатом представления австрийского правительства, обвинявшего Чижова в том, что он, находясь в Далмации, подстрекал местное население к борьбе против Австрии.

П. В. АННЕНКОВ
Н. В. ГОГОЛЬ В РИМЕ ЛЕТОМ 1841 ГОДА

Павел Васильевич Анненков (1813–1887) — критик, публицист, автор историко-литературных работ о Пушкине и Станкевиче. Однако большая часть из того, что им написано, не выдержало испытания временем и ныне забыто. Современному читателю Анненков известен главным образом как мемуарист. Он оказался свидетелем ряда крупных исторических событий в общественной и литературной жизни России и Западной Европы, был хорошо знаком с Белинским и Гоголем, Герценом и Некрасовым, Тургеневым и Л. Толстым; он был лично знаком с К. Марксом и находился с ним в переписке. Однако Анненков не смог полноценно распорядиться всем богатством своих жизненных впечатлений. И это объяснялось прежде всего его идейной ограниченностью, мешавшей ему правильно увидеть и оценить различные явления общественной жизни. В 40-е гг. Анненков был близок к кружку Белинского, сотрудничал в «Отечественных записках» и «Современнике». В 50-е гг. он эволюционировал вправо. Вместе с А. В. Дружининым и В. П. Боткиным он порвал с «Современником» и начал активную борьбу против «партии Чернышевского» и гоголевского направления в русской литературе.

С Гоголем Анненков был знаком в течение двадцати лет. В начале 30-х гг. вокруг молодого Гоголя, в Петербурге, собралась группа его нежинских «однокорытников». Среди них были А. С. Данилевский, Н. Я. Прокопович, И. Г. Пащенко, К. М. Базили, А. Н. Мокрицкий и др. Это был кружок молодых людей, собиравшихся на квартире Гоголя и горячо обсуждавших различные вопросы искусства и литературы. В конце 1831 г. в кружке появился Анненков. По свидетельству А. С. Данилевского, его ввел сюда друг Н. Я. Прокоповича — А. А. Комаров (*В. И. Шенрок*, «Материалы для биографии Гоголя», т. II, стр. 191. Об А. А. Комарове см. в воспоминаниях И. И. Панаева, наст. изд., стр. 218[*]).

Имя Анненкова прочно связано с двумя важными эпизодами в истории русской литературы: в мае — июле 1841 г. он переписывает под диктовку автора шесть глав «Мертвых душ», в июне — июле 1847 г. он живет с Белинским в Зальцбрунне, будучи единственным свидетелем его работы над знаменитым письмом к Гоголю. Воспоминания Анненкова об этих эпизодах исключительно важны, во многих отношениях сохраняя до сих пор значение первоисточника.

Воспоминания «Гоголь в Риме летом 1851 года» не вполне соответствуют своему названию. Помимо рассказа о трехмесячной совместной жизни с Гоголем в Риме, Анненков попутно касается и других периодов биографии писателя: пребывания Гоголя в Петербурге — на самой заре его литературной деятельности, а также — и последних лет его жиани.

Анненков стремится быть точным и «беспристрастным» в изложении событий. Но этой позиции он часто изменяет. Будучи по своим идейным убеждениям дворянским либералом, Анненков не смог исторически верно воссоздать образы тех великих людей, с которыми ему приходилось соприкасаться. В освещении и анализе различных сторон их жизни и деятельности он допускает порой серьезные ошибки. Это относится и к настоящим мемуарам о Гоголе. Анненков оказался, например, бессильным понять обличительный характер творчества Гоголя, осмыслить причины его идейных противоречий.

Воспоминания «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года» печатались при жизни автора дважды: впервые они появились в 1857 г. во второй и одиннадцатой книжках «Библиотеки для чтения» и перепечатаны в «Воспоминаниях и критических очерках» (т. I, Спб. 1877), с исправлениями, сделанными М. М. Стасюлевичем в соответствии с указаниями автора (см. «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III, Спб. 1912, стр. 325–329). Для настоящего издания воспоминания Анненкова сверены с текстом «Библиотеки для чтения» и изданием 1877 г. В основу положен текст последнего прижизненного издания. Нами исправлены явные опечатки и описки автора, в ряде случаев механически воспроизведенные и в издании 1928 г.

(«Academia»). Наиболее существенные исправления оговариваются ниже.

[156] (Стр. 242) В этом доме Гоголь с перерывами прожил около четырех лет. К 50-летию со дня смерти писателя русская колония в Риме прикрепила на стене дома мемориальную доску с надписью на русском и итальянском языках: «Здесь жил в 1838–1842 годах Николай Васильевич Гоголь. Здесь писал «Мертвые души» *(Aventino*, «По следам Гоголя в Риме», М. 1902, стр. 2).

[157] (Стр. 243) В издании 1877 г. здесь и всюду ниже ошибочно упоминается имя В. А. Панаева. Эта ошибка сохранилась и в изд. 1928, «Academia», под ред. Б. М. Эйхенбаума. Дело в том, что в первопечатном тексте воспоминаний Анненкова это имя всюду воспроизводилось сокращенно: «В. А. П — в.». В ответ на специальный запрос своего издателя М. М. Стасюлевича: «В соседней комнате с Гоголем в Риме жил В. А. П — в. Панаев, что ли?» Анненков сообщил: «Прежде меня жил с Гоголем В. А. Панов, комнату которого я и занял. Это был молодой и несколько туповатый славянофил» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III, стр. 325 и 327). Ясно, что речь идет именно о В. А. Панове, с которым Гоголь выехал из Москвы в Рим в мае 1840 г. (см. *С. Т. Аксаков*, «История моего знакомства с Гоголем», наст. изд., стр. 121[*]) и который под диктовку Гоголя в начале 1841 г. переписал первые пять глав «Мертвых душ». (См. в воспоминаниях Ф. Буслаева, стр. 223[*].)

[158] (Стр. 244) В окончательной редакции «Мертвых душ» это выражение в конце III главы Гоголем снято.

[159] (Стр. 246) *Е. П. Гребенка* учился вместе с Гоголем в Нежинской «гимназии высших наук», после окончания (1831) которой переехал в Петербург и стал участником гоголевского кружка. Особенно близких отношений между Гоголем и Гребенкою никогда не было. Литературная известность Гребенки началась «Рассказами Пирятинца» (Спб. 1837), написанными на материале украинского народного быта и фольклора. Своим содержанием и формой они напоминали «Вечера на хуторе близ Диканьки». Влияние Гоголя чувствовалось и в ряде последующих произведений Гребенки. Оно было особенно сильно в повести «Верное лекарство» («Отечественные записки», 1840, № 8), написанной в форме дневника умалишенного и представляющей собой подражание «Запискам сумасшедшего» Гоголя. В 40-е гг. Гребенка примыкал к гоголевской школе.

[160] (Стр. 247) Поездка Гоголя в Любек продолжалась немногим больше полутора месяцев: с 1 августа по 22 сентября 1829 г. Она была связана с литературными неудачами, которые испытал Гоголь по приезде в Петербург (с поэмой «Ганц Кюхельгартен») и с крушением его планов

поступить на службу. Сам Гоголь давал неясные и противоречивые объяснения причин, побудивших его предпринять эту поездку.

[161] (Стр. 247) *«Ближайшими людьми»* Гоголь считал прежде всего своих нежинских товарищей А. С. Данилевского и Н. Я. Прокоповича, с которыми был связан долгими годами дружбы.

[162] (Стр. 248) Намек на «московских друзей» Гоголя: С. Т. Аксакова С. П. Шевырева, М. П. Погодина.

[163] (Стр. 248) См. примеч. 50*. Обе книги П. А. Кулиша о Гоголе подписаны криптонимом «Николай М.». Кулиш вынужден был скрывать свое имя, так как в 1847 г., после разгрома Кирилло-Мефодиевского братства (украинского тайного общества, пропагандировавшего идею объединения славян и отмену крепостного права), он был выслан на три года в Тулу с запрещением заниматься литературной деятельностью, хотя и отстаивал в братстве наиболее правую позицию.

[164] (Стр. 248) См. названные воспоминания, кроме Кулжинского, в настоящем издании.

[165] (Стр. 252) Первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки» вышла в свет в сентябре 1831 г., вторая — в марте 1832 г.

[166] (Стр. 253) Из письма Гоголя к матери от 13 августа 1829 г. (См. Полн. собр. соч., т. X, стр. 151–152).

[167] (Стр. 255) Вариант этого эпизода приводится в фальсифицированных воспоминаниях О. С. Павлищевой — сестры Пушкина (автор этой фальсификации — ее сын, Л. Н. Павлищев). Подсказав Гоголю сюжет «Мертвых душ» и узнав о начатой им работе, Пушкин якобы заметил своей жене: «Язык мой — враг мой. Гоголь — хитрый малоросс, воспользовался моим сюжетом» («Русская старина», 1890, № 5, стр. 79–80). Эта версия, равно как и анненковская — мало правдоподобна. Характерно, что даже в т. н. «воспоминаниях» О. С. Павлищевой указывается, что Пушкин с интересом встретил известие о начале работы Гоголя над «Мертвыми душами» и стал поощрять его к скорейшему завершению труда. Заметим, кстати, что имя О. С. Павлищевой связано еще с другими мемуарами — достоверными и ценными: «Воспоминания о детстве А. С. Пушкина (со слов сестры его О. С. Павлищевой), написанные в С. П. Бурге 26 октября 1851 г.». Они впервые полностью опубликованы в «Летописях Госуд. литературного музея» (М. 1936, стр. 451–457).

[168] (Стр. 255) «Мертвые души» были опубликованы после долгих мытарств в цензуре 21 мая 1842 г. Об обстоятельствах выхода в свет поэмы см. примеч. 98* и 101*.

[169] (Стр. 256) *«…свои поэтические воззрения на архитектуру…».* — Эти воззрения были изложены Гоголем в статье, «Об архитектуре нынешнего времени», появившейся в первой части «Арабесок» (Спб. 1835).

[170] (Стр. 257) *Матрена* — жена крепостного слуги Гоголя Якима Нимченко.

[171] (Стр. 258) Знаменитая картина К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» была написана в 1830–1833 гг. в Италии и привезена в Петербург в августе 1834 г. Гоголь тогда же написал восторженную статью о ней: «Последний день Помпеи (картина Брюллова)», вошедшую во вторую часть «Арабесок».

[172] (Стр. 259) Это замечание малоправдоподобно, и прежде всего в отношении Шекспира. По свидетельству С. Т. Аксакова, Гоголь очень любил Шекспира и в дорогу нередко брал с собой томик его произведений. См., напр., в наст. изд. стр. 101[*], 104[*]. См. также письма Гоголя к М. П. Балабиной (Письма, т. I, стр. 609, и т. II, стр. 149), в которых содержатся восторженные оценки Шекспира.

[173] (Стр. 259) Это утверждение Анненкова неверно. Интерес к героической истории Украины и к народной поэзии отражал не «охранительное начало» в Гоголе, а его глубокий демократизм и народность. Он советовал поэту Языкову опуститься «в глубины русской старины и в ней поразить позор нынешнего времени». Гоголь мечтал о сильных, героических характерах и в поисках их обращался к величественной борьбе украинского народа за свое освобождение, к его песням и историческим думам. Он считал эти произведения неоценимым подспорьем для писателя, желающего «выпытать дух минувшего века», ибо «это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа» (Сочинения, изд. 10-е, т. V, стр. 287).

[174] (Стр. 261) Этот анекдот о бедном чиновнике был рассказан в 1834 г. Начало фактической работы Гоголя над «Шинелью» относится к 1839 г. Впервые повесть вышла в свет в 1842 г., в третьем томе «Сочинений Н. В. Гоголя».

[175] (Стр. 261) С *Н. В. Кукольником* Гоголь учился в Нежинской гимназии, но ни тогда, ни тем более в Петербурге между ними не было близких отношений. Уже первыми своими произведениями Кукольник определился как писатель охранительного направления, враждебно относившийся ко всему прогрессивному в русской литературе и общественной мысли. Под «трескучими драмами» Кукольника имеется в виду «Торквато Тассо» (1833), «Джакобо Саназар» (1834), «Рука всевышнего отечество спасла» (1834), «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» (1835) и др. За пристрастие Кукольника к

высокопарной, напыщенной манере письма Гоголь дал ему насмешливое прозвище «возвышенный».

[176] (Стр. 261) Под «сентиментальными романами» Н. Полевого имеются в виду «Клятва при гробе господнем. Русская быль XV века» (1832), «Абадонна» (1834) и др.

[177] (Стр. 262) На эту тему см. статьи Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» и «Петербургские записки 1836 года», впервые опубликованные на страницах «Современника» (1836, № 1, 1837, № 2).

[178] (Стр. 262) Этот «поэтический дифирамб» впервые напечатан Кулишем в «Записках о жизни Гоголя» (т. I, стр. 128–129) под названием «1834» (см. также Сочинения Н. В. Гоголя, изд. 10-е, т. V, стр. 105–106).

[179] (Стр. 263) У городских застав Москвы имена приезжающих и уезжающих заносились караульным офицером в особые списки, которые потом печатались в «Московских ведомостях».

[180] (Стр. 263) Такого же рода «смешения» допускал и С. Т. Аксаков в «Истории моего знакомства с Гоголем» (см. примеч. 110*).

[181] (Стр. 264) См. в настоящем издании комментарий к воспоминаниям Н. И. Иваницкого <Гоголь — адъюнкт-профессор>, стр. 598*.

[182] (Стр. 264) Реакционная петербургская критика встретила «Миргород» крайне враждебно. Она нападала на писателя за исключительный интерес к изображению «грязных» сторон действительности. «Зачем же показывать нам эти рубища, — негодующе писала «Северная пчела», — эти грязные лохмотья, как бы ни были они искусно представлены? Зачем рисовать неприглядную картину заднего двора жизни и человека, без всякой видимой цели?» («Северная пчела», 1835, № 115). Единственным критиком, оценившим новые повести Гоголя как важное и принципиальное событие в русской литературе, был В. Г. Белинский. Его статья «О русской повести и повестях г. Гоголя» («Телескоп», 1835, № 7 и 8) положила начало упорной, страстной борьбе Белинского за Гоголя и гоголевское направление (см. вступительную статью к наст. изд.*).

[183] (Стр. 264) См. примеч. 97*.

[184] (Стр. 265) Это был действительно «общий голос» реакции в отношении гениальной комедии Гоголя. А. В. Никитенко побывал на третьем представлении «Ревизора» и занес в дневник следующую запись: «Впереди меня, в креслах, сидели князь Чернышев и граф Канкрин. Первый выражал свое полное удовольствие; второй только сказал: «Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу». Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так

жестоко порицается» («Записки и дневник», изд. 2-е, т. I, Спб. 1905, стр. 274). Видный реакционный чиновник Ф. Ф. Вигель с негодованием восклицал: «Не выводя на сцену ни одного честного русского человека, он предал нас всеобщему поруганию в лицах (по большей части вымышленных) наших губернских и уездных чиновников. И за то, о боже, половина России провозгласила циника сего великим!» («Записки», М. 1928, т. I, стр. 23). Эта единодушная ярость реакции против Гоголя наглядно свидетельствовала о громадной обличительной силе его комедии. И. С. Тургенев недаром назвал «Ревизора» «одной из самых отрицательных[176] комедий, какие когда-либо являлись на сцене» (наст. изд., стр. 534). Именно поэтому «Ревизор» был восторженно встречен в демократическом лагере. Герцен, уже будучи в эмиграции, очень ярко выразил отношение передовых слоев русского общества к «Ревизору»: «…публика своим смехом и рукоплесканиями протестовала против нелепой и тягостной администрации, против воровской полиции, против общего «дурного правления» (наст. изд., стр. 393).

185 (Стр. 266) Гоголь выехал за границу 6 июня 1836 г.

186 (Стр. 266) См. примеч. 66*.

187 (Стр. 267) Здесь приведен отрывок из письма Гоголя к Н. Я. Прокоповичу (см. Письма, т. I, стр. 420–429).

188 (Стр. 267) Цитата из письма Гоголя к М. П. Балабиной от 30 мая 1839 г. (Письма, т. I, стр. 608).

189 (Стр. 267) Неточно: в течение этих двух лет Гоголь бывал и в ряде других городов Италии, кроме того — в Париже, Марселе, Мариенбаде.

190 (Стр. 268) Анненков прибыл в Рим в конце апреля 1841 г.

191 (Стр. 271) Кроме искаженной под давлением цензуры редакции «Повести о капитане Копейкине», опубликованной Гоголем в 1842 г. в первом издании «Мертвых душ», ко времени выхода в свет настоящих мемуаров Анненкова («Библиотека для чтения», 1857, № 2 и № 11) был известен лишь еще один вариант «Повести», который в действительности, как это стало известно позднее, являлся подделкой. Этот «вариант» был опубликован Кулишом в четвертом томе «Сочинений и писем Гоголя» (Спб. 1857) и представлял собой произвольное соединение отрывков различных редакций «Повести», сделанное Н. Гербелем.

192 (Стр. 271) Случилось, однако, не так, как предполагал Гоголь. «Повесть о капитане Копейкине» вызвала резкое недовольство петербургской цензуры и была запрещена к печати. Цензор А. Никитенко сообщал Гоголю: «Совершенно невозможным к пропуску оказался эпизод Копейкина — ничья власть не могла защитить его от

гибели» («Русская старина», 1889, № 8, стр. 384–385). Гоголь был чрезвычайно огорчен подобным исходом дела. 16 апреля 1842 г. он писал П. Плетневу: «Уничтожение Копейкина меня сильно смутило! Эта одно из лучших мест в поэме, и без него — прореха, которой я ничем не в силах заплатать и зашить. Я лучше решился переделать его, чем лишиться вовсе. Я выбросил весь генералитет. Характер Копейкина означил сильнее, так что теперь видно ясно, что он всему причиною сам, и что с ним поступили хорошо» (Письма, т. II, стр. 165). Чтобы спасти поэму, Гоголь в течение нескольких дней создал новый вариант «Копейкина». «Переделал его так, — писал он И. Я. Прокоповичу, — что никакая цензура не может придраться» (там же, стр. 164).

193 (Стр.»273) Повесть «Рим» была закончена в начале 1842 г. и впервые опубликована в третьей книжке «Москвитянина» за 1842 г. Белинский увидел в этом произведении симптомы, тревожные для дальнейшего идейного и художественного развития Гоголя («Белинский о Гоголе», стр. 237). Так же резко он отозвался о повести в письмах к В. П. Боткину от 31 марта 1842 г. и 4 апреля 1842 г. (там же, стр. 435, 436). «Рим» был для Белинского доказательством того, к каким печальным результатам приходит художник, даже гений, если он отдаляется от «современного взгляда на жизнь и искусство».

194 (Стр. 277) Имеется в виду следующее место в «Риме»: «Потом черты природного художественного инстинкта: он видел, как простая женщина указывала художнику погрешности в его картине; он видел, как выражалось невольно это чувство в живописных одеждах, в церковных убранствах, как в Дженсано народ убирал цветочными коврами улицы, как разноцветные листики цветов обращались в краски и тени, на мостовой выходили узоры, кардинальские гербы, портрет папы, вензеля, птицы, звери и арабески» (Сочинения, изд. 10-е, т. II, стр. 155–156).

195 (Стр. 280) Речь идет об архитекторе М. А. Томаринском. См. об этом эпизоде в «Записках» Ф. И. Иордана (М. 1918, стр. 160–161).

196 (Стр. 282) Имеется в виду «История Малой России» Д. Н. Бантыш-Каменского (М. 1822; изд. 2-е — М. 1830; изд. 3-е — М. 1842).

197 (Стр. 282) См. примеч. 73*.

198 (Стр. 285) Джузеппе Меццофанти ведал в коллегии кардиналов при римском папе делами пропаганды.

199 (Стр. 288) См. в воспоминаниях Чижова (стр. 228)* и «Записках» Иордана (стр. 220)*.

[200] (Стр. 289) И. М. Виельгорский умер от чахотки в конце мая 1839 г. в Риме на руках Гоголя. Под впечатлением этой смерти написаны «Ночи на Вилле».

[201] (Стр. 289) *Е. М. Хомякова* — жена поэта А. С. Хомякова, сестра поэта Н. М. Языкова — умерла в Москве 26 января 1852 г.

[202] (Стр. 291) В обоих прижизненных изданиях мемуаров Анненкова здесь явная описка или опечатка: «1842».

[203] (Стр. 295) Речь идет о докторе Винценте Признице, применявшем на курорте в Греффенберге метод лечения холодной водой и другие водотерапевтические средства. Ему была создана явно преувеличенная слава исцелителя. Гоголь вначале верил в метод Призница, но затем разочаровался в нем, когда испытал его на себе.

[204] (Стр. 295) Замечание Анненкова «о полном цензорском одобрении «Мертвых душ» неверно. Помимо запрещения «Повести о капитане Копейкине» (см. выше примеч. 192[*]), а также произвольной замены гоголевского названия новым («Похождения Чичикова или Мертвые души») петербургский цензурный комитет признал 36 мест поэмы «сомнительными». Таким образом, гораздо ближе к истине вывод, что цензура скрепя сердце санкционировала произведение, которое она заведомо во многом не одобряла. Выходу в свет «Мертвых душ» содействовали хлопоты некоторых друзей Гоголя: В. Ф. Одоевского, П. А. Плетнева, М. Ю. Виельгорского.

[205] (Стр. 298) Белинский тотчас же выполнил эту просьбу Гоголя, и в шестой книжке «Отечественных записок» за 1842 г. появилась его заметка, возвестившая о выходе в свет «Мертвых душ». Она заканчивалась обещанием напечатать вскоре «подробный отчет» о новом произведении Гоголя, в котором «будет о чем поговорить, будет что сказать нового, чего еще у нас не было говорено...» (См. «Белинский о Гоголе», стр. 153). Со следующей, седьмой книжки «Отечественных записок» Белинский начал печатать свои знаменитые статьи о «Мертвых душах».

Что касается Сенковского, то он хотя и поместил в «Библиотеке для чтения» трехстрочную информацию о появлении «нового романа господина Гоголя» (1842, июнь, «Литературная летопись», стр. 68), но вскоре, в августовской книжке того же журнала, выступил против «Мертвых душ» со злобной статьей-фельетоном.

[206] (Стр. 298) В этих двух письмах, отправленных в начале марта 1842 г., Гоголь просил ускорить рассмотрение в цензурных инстанциях рукописи «Мертвых душ».

[207] (Стр. 301) О цензурных «затруднениях» с «Мертвыми душами» в Москве см. письмо Гоголя к Плетневу от 7 января 1842 г. (Письма, т. II, стр. 135–139).

[208] (Стр. 302) Уже первые статьи Белинского в «Молве» и «Телескопе» привлекли внимание Пушкина. Об этом свидетельствуют сохранившиеся в библиотеке поэта номера «Телескопа» и «Молвы», в которых разрезаны страницы со статьями Белинского («Пушкин и его современники», Спб. 1910, вып. IX–X, стр. 135).

В 1836 году в «Письме к издателю «Современника» Пушкин весьма сочувственно отозвался о Белинском, отметив в нем «талант, подающий большую надежду», «независимость мнений» и «остроумие» («Современник», 1836, т. III, стр. 425). В мае 1836 г. Пушкин просил П. В. Нащокина «тихонько от Наблюдателей» передать Белинскому экземпляр «Современника» и выразить ему сожаление, «что с ним не успел увидеться» (*Пушкин*, Переписка, Спб. 1911, т. III, стр. 325). После закрытия «Телескопа» Нащокин вел переговоры с Белинским о возможности его переезда в Петербург и о работе в пушкинском «Современнике». В этой связи Нащокин писал Пушкину осенью 1836 г.: «Теперь, коли хочешь, он (Белинский. — *С. М.*) к твоим услугам. Я его не видал, но его друзья, и в том числе и Щепкин; говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать» (*Пушкин*, Переписка, т. III, стр. 396). Ответить на это письмо Пушкину уже не довелось.

[209] (Стр. 302) О *«таинственном свидании»* Гоголя с Белинским см. примеч. 98*.

[210] (Стр. 302) *«…странным анонимом»* — статьи Белинского печатались в «Отечественных записках» по требованию издателя А. А. Краевского без подписи, анонимно, как выражающие точку зрения редакции.

[211] (Стр. 302) В этом, полном глубокой любви к Гоголю письме от 20 апреля 1842 г. Белинский продолжал тему, затронутую во время «таинственного свидания» в Москве — о необходимости сотрудничества Гоголя в «Отечественных записках». В письме содержится также ряд важных замечаний о творчестве Гоголя (см. наст. изд., стр. 356*—357). Гоголь уклонился от ответа Белинскому по существу. Через Прокоповича (письмо от 11 мая 1842 г., цитату из которого ниже приводит Анненков) он просил передать критику, что о затронутых им вопросах нужно поговорить при встрече. Но и эта вскоре состоявшаяся встреча ни к каким результатам не привела.

[212] (Стр. 303) Неточно. Гоголь выехал из Петербурга 5 июня 1842 г.

[213] (Стр. 306) Эти «слухи», как и предположение Анненкова, что второй том «Мертвых душ» в «первоначальном очерке», т. е. вчерне, был готов около 1842 г. — маловероятны.

[214] (Стр. 306) Из письма к Н. Н. Шереметевой от 24 декабря 1842 г. (Письма, т. II, стр. 248).

[215] (Стр. 309) Сборник нравственных поучений. Авторство приписывается средневековому богослову Фоме Кемпийскому.

[216] (Стр. 310) См. вступительную статью к наст. изд., стр. 32*.

[217] (Стр. 311) У Анненкова здесь явная описка или опечатка: (1843). Оба письма относятся к 1844 г.: первое — от 10 февраля, второе — от 10 мая (Письма, т. II, 383–386; 430–433). Анненков возвращается к этим письмам в «Замечательном десятилетии» (см. наст. изд., стр. 328* и 331*).

[218] (Стр. 311) Первое издание Сочинений Гоголя в четырех томах вышло в 1842 г. (фактически в январе 1843 г.)

[219] (Стр. 313) «Гец фон-Берлихинген» — романтическая трагедия Гете.

ИЗ «ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

«Замечательное десятилетие» П. В. Анненкова представляет собой значительное произведение русской мемуарной литературы. Оно посвящено тому важнейшему периоду в общественном развитии России, когда стало складываться революционно-демократическое движение, когда в полную мощь развернулась деятельность основоположника этого движения В. Г. Белинского. Крупным планом обрисованы здесь многие передовые деятели общественного и литературного движения: прежде всего — Белинский, затем — Герцен, Гоголь, Лермонтов. Перед нами раскрывается картина напряженной идейной борьбы 40-х годов. Позиция дворянского либерала не дала возможности Анненкову понять ни характера этой борьбы, ни ее действительного политического смысла. В настоящих его воспоминаниях, как и в предыдущих, немало ошибочного. Отметим, например, совершенно неправильную оценку позиции Белинского как западника. Анненкову было также чуждо понимание революционного значения деятельности великого критика.

В своей работе «От какого наследства мы отказываемся?» Ленин указывал, что с 40-х годов по 60-е «…*все* общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками» (Сочинения, изд. 4-е, т. 2, стр. 473). В борьбе с крепостным правом и крепостническим строем заключался смысл деятельности революционного демократа Белинского. Борьбе за социальное освобождение народа объективно способствовали величайшие произведения Гоголя — «Ревизор» и «Мертвые души». Но многие

существеннейшие черты духовного облика Гоголя, как автора этих обличительных произведений, либо прошли мимо внимания Анненкова, либо получили неверное освещение.

Все это ослабляет значение воспоминаний Анненкова. Но вместе с тем многообразный фактический материал, сообщаемый автором, его живые впечатления о важных событиях, непосредственным свидетелем которых он являлся, будут полезны советскому читателю, желающему познакомиться с эпохой сороковых годов XIX века. Для нас особенно интересны страницы, посвященные отношениям Гоголя и Белинского.

«Замечательное десятилетие» впервые опубликовано в «Вестнике Европы» (1880 г., №№ 1–5) и затем перепечатано в третьем томе «Воспоминаний и критических очерков» (Спб. 1881), откуда мы и воспроизводим отрывки в нашем издании.

[220] (Стр. 316) Вскоре после закрытия «Московского наблюдателя» (апрель 1839 г.) Белинский принял предложение А. А. Краевского о постоянном сотрудничестве в «Отечественных записках» и в октябре того же года выехал в Петербург.

[221] (Стр. 318) Имеется в виду «Московский наблюдатель» первой редакции (1835–1837), до перехода его к Белинскому, когда во главе журнала стояли В. П. Андросов и С. П. Шевырев. В нем сотрудничали М. П. Погодин, В. Ф. Одоевский, А. С. Хомяков и др. Направление журнала в эту пору было реакционно-идеалистическим. Выдавая себя за поклонника и «доброжелателя» Гоголя, «Московский наблюдатель», однако, проводил в области эстетической линию, враждебную реалистической позиции Гоголя. В этом отношении весьма характерен эпизод, разыгравшийся в 1835 г. в связи с отказом редакции журнала напечатать повесть Гоголя «Нос» «по причине ее пошлости и тривиальности» («Белинский о Гоголе», стр. 248).

[222] (Стр. 318) Белинский отнюдь не восхищался повестями Н. Полевого, хотя некоторые из них (напр., «Живописец», «Эмма») оценивал сочувственно.

[223] (Стр. 319) Поводом к закрытию «Московского телеграфа» (1825–1834) послужил напечатанный на его страницах неодобрительный отзыв об охранительной драме Н. В. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла».

[224] (Стр. 319) У Анненкова здесь явная описка: «1836». Ср. примеч. 225.

[225] (Стр. 319) Это рассуждение принадлежало С. П. Шевыреву («Московский наблюдатель», 1835, март, кн. 2, стр. 409) и было подвергнуто Белинским критике в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» («Белинский о Гоголе», стр. 87).

[226] (Стр. 319) Шевырев писал о «Старосветских помещиках»: «Мне не нравится тут одна только мысль, убийственная мысль о привычке, которая как будто разрушает нравственное впечатление целой картины. Я бы вымарал эти строки…» («Московский наблюдатель», 1835, март, кн. 2, стр. 406). Белинский высмеял это утверждение Шевырева в статьях «О русской повести…» и «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» («Белинский о Гоголе», стр. 71–72, 91).

[227] (Стр. 320) Имеются в виду статьи Белинского «Ничто о ничем, или отчет г. издателя «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы» («Телескоп», 1836, ч. XXXI) и «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» («Телескоп», 1836, ч. XXXII), в которых были подвергнуты резкой критике реакционные эстетические позиции Шевырева и журнала «Московский наблюдатель».

[228] (Стр. 320) Анненков ошибается: «секрет» московского свидания Гоголя с Белинским не был сохранен. Он вскоре стал достоянием московских «друзей» Гоголя. Об этом, например, прямо свидетельствует С. Т. Аксаков в своих воспоминаниях: «У нас возникло подозрение, что Гоголь имел сношение с Белинским секретно от нас» (наст. изд., стр. 139; ср. также примеч. 98).

[229] (Стр. 321) Творчество Лермонтова и Гоголя действительно способствовало преодолению кризиса в идейном развитии Белинского, связанного с его кратковременным примирением с «разумной действительностью».

[230] (Стр. 324) Известный в то время ресторан в Петербурге.

[231] (Стр. 325) Знаменитый памфлет Белинского «Педант» («Отечественные записки», 1842, № 3) был направлен против Шевырева, тотчас же узнавшего себя в образе ограниченного, тупого педанта Лиодора Ипполитовича Картофелина. В статье был высмеян также М. П. Погодин, в образе «хитрого антрепренера», «ловкого промышленника», «ученого литератора», «спекулянта» и пр. Это боевое выступление Белинского знаменовало резкое обострение отношений «Отечественных записок» с «Москвитянином» и стало прологом к той ожесточенной идейной борьбе, которую великий критик вскоре развернул против славянофильства.

[232] (Стр. 326) Об этом выступлении К. С. Аксакова см. примеч. 105*, а также вступительную статью к наст. изд. (стр. 20–21)*.

[233] (Стр. 327) Анненков говорит здесь об отношении Белинского к европейской культуре.

[234] (Стр. 328) Булгарин в целях унижения новой гоголевской школы первый назвал ее «натуральной» («Северная пчела», 1846, № 22).

[235] (Стр. 328) Это ответ Гоголя на письмо Анненкова от 11 мая 1843 г., переотправленное адресату А. А. Ивановым. Анненков писал в нем: «В октябре сего года я буду в Питере, то если вам будет что нужно приказать, поручить, спросить, осведомиться, выправиться — то почтите меня сей комиссией» (см. это единственное дошедшее до нас письмо Анненкова к Гоголю в кн. «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», т. I, АН СССР, 1936, стр. 127).

[236] (Стр. 329) Речь идет о В. И. Любич-Романовиче — третьестепенном писателе и переводчике. Впоследствии он стал известен враждебными мемуарами о Гоголе — своем нежинском товарище. Они дошли до нас в записи М. Шевлякова («Исторический вестник», 1892, № 12, стр. 694–699) и С. И. Глебова («Исторический вестник», 1902, № 2, стр. 548–560).

[237] (Стр. 331) Письмо, однако, приводится Анненковым не целиком. Начало его опущено (ср. Письма, т. II, стр. 430–431).

[238] (Стр. 335) В двух прижизненных изданиях воспоминаний Анненкова («Вестник Европы» и Спб. 1881) этот бульвар неверно назван «Никольским». В изд. Л. 1928 г. он превратился в «Николаевский». Между тем Никитский бульвар начиная с 20-х гг. XIX в., т. е. с момента своего возникновения и до 1950 г. никогда иначе не назывался. Ныне бульвар переименован в Суворовский.

[239] (Стр. 335) Гоголь приехал в Россию лишь в конце апреля 1848 года.

[240] (Стр. 335) По предположению Шенрока это письмо должно быть датировано 1850 г. (см. Письма, т. IV, стр. 311, примеч. 2).

[241] (Стр. 336) 5 мая 1847 г. Белинский по настоянию врачей выехал на лечение в силезский городок Зальцбрунн. 29 мая сюда приехал Анненков и встретился с Белинским. Здесь в это время находился также И. С. Тургенев.

[242] (Стр. 337) Это письмо Гоголя до нас не дошло. Известно его письмо к Анненкову от 12 августа 1847 г., в котором содержится отклик на знаменитое зальцбруннское письмо Белинского к Гоголю (Письма, т. IV, стр. 46–50).

[243] (Стр. 337) Таково содержание письма Гоголя к Белинскому, пересланного ему из Петербурга и датированного около 20 июня 1847 г. Гоголь здесь пытался объяснить резкий тон статьи Белинского в «Современнике» о «Выбранных местах из переписки с друзьями» его якобы «личным озлоблением». Письмо к Белинскому, о котором упоминает Анненков, неизвестно. Вероятно предположение В. В. Гиппиуса, что Гоголь, узнав о пребывании Белинского и Анненкова в Зальцбрунне, послал критику через Анненкова копию своего первого

письма, адресованного ранее в Петербург («Н. В. Гоголь в письмах и воспоминаниях», М. 1931, стр. 351). Во всяком случае в зальцбруннском письме Белинского упоминается лишь то письмо Гоголя, которое было переслано ему из Петербурга.

[244] (Стр. 338) Письмо Белинского к Гоголю и комментарии к нему см. на стр. 374*—384 и 644*—647.

[245] (Стр. 339) Письмо было написано Гоголем в Остенде 10 августа 1847 г. (см. примеч. 297*).

В. Г. БЕЛИНСКИЙ
ИЗ СТАТЕЙ И ПИСЕМ

Начиная с 1835 г. Гоголь находится в центре внимания В. Г. Белинского (1811–1848). Критик написал около двадцати статей и рецензий, посвященных Гоголю. Кроме того, он обращается к его имени, к его художественным образам в огромном большинстве своих статей и писем. Гоголь был любимым писателем Белинского. «Вы у нас теперь *один*, — писал он Гоголю в 1842 г., — и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связаны с вашею судьбою: не будь вас — и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни моего отечества» (наст. изд., стр. 357. Общую оценку Белинским творчества Гоголя см. во вступительной статье*).

Белинский не оставил мемуаров о Гоголе, он умер раньше писателя на четыре года. Однако в его статьях и письмах содержится не только глубочайший теоретический анализ творчества Гоголя, но и живое, непосредственное восприятие его как современника — писателя и человека. Кроме того, в письмах критика заключено немало отзвуков его личных отношений с Гоголем: их встреч, бесед. Вот почему эти материалы Белинского представлены в книге мемуаров о Гоголе.

В настоящем издании мы помещаем в хронологическом порядке лишь наиболее существенные высказывания критика о Гоголе, характеризующие значение писателя для современников. Отрывки воспроизводятся по изд. «В. Г. Белинский о Гоголе» (Гослитиздат, 1949), в котором тексты сверены по первоначальным журнальным публикациям и отчасти по рукописям. Два письма к Гоголю — от 20 апреля 1842 г. и от 15 июля 1847 г. — даются целиком.

[246] (Стр. 340) Впервые напечатано в «Телескопе», 1835, ч. XXVI, №№ 7 и 8.

[247] (Стр. 341) Здесь Белинский почти буквально повторяет мысль Гоголя. Ср.: «…чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина» (*Н. Гоголь*, «Несколько слов о Пушкине». Сочинения, изд. 10-е, т. V, стр. 211). Речь идет о совпадении

не случайно брошенной мысли, но тезиса, имевшего важнейшее значение в концепции Белинского. По существу, именно в этом был главный предмет спора между Белинским и Шевыревым. Последний, как известно, осуждал установку Гоголя на изображение «низкой», «обыкновенной» действительности; между тем Белинский видел в этой установке величайшее новаторство писателя. Эстетические взгляды Белинского во многом опирались на творчество Гоголя. Вместе с тем некоторые положения критика прямо перекликались с отдельными высказываниями Гоголя 30-х годов.

[248] (Стр. 344) Трагические восклицания героев Корнеля («Гораций») и Озерова («Эдип в Афинах»).

[249] (Стр. 344). *Пирогов* — герой повести Гоголя «Невский проспект».

[250] (Стр. 345). Цитата из «Невского проспекта».

[251] (Стр. 346). Намек на Шевырева, увидевшего в повестях Гоголя лишь «простодушный» юмор. Ниже Белинский полемизирует с Сенковским.

[252] (Стр. 346). Снова намек на Шевырева, утверждавшего, что источником комизма Гоголя является данный ему «от природы чудный дар схватывать эту бессмыслицу в жизни человеческой и обращать ее в неизъясняемую поэзию смеха» («Московский наблюдатель», 1835, март, кн. 2, стр. 402).

[253] (Стр. 348). Речь идет о двух отрывках (первый из них называется «Глава из исторического романа», второй — «Пленник») из задуманного Гоголем, но не доведенного до конца исторического романа «Гетьман». Оба отрывка датированы 1830-м годом.

[254] (Стр. 348) Впервые напечатано в «Молве», 1836, ч. XI, № 8.

[255] (Стр. 349). Речь идет о постановке «Ревизора» на Московской сцене. См. примеч. 63*.

[256] (Стр. 349). Особенно большим успехом пользовался Щепкин, игравший городничего. Эта роль была предназначена ему самим Гоголем. 10 мая 1836 г. он писал Щепкину: «Сами вы, без сомнения, должны взять роль городничего: иначе она без вас пропадет» (Письма, т. I, стр. 372).

[257] (Стр. 350) Статья Белинского «Горе от ума» была опубликована в «Отечественных записках», 1840, т. VIII, № 1. Значительная часть ее посвящена анализу «Ревизора».

[258] (Стр. 350). Имеется в виду статья о «Горе от ума» (см. примеч. 257*).

[259] (Стр. 352). Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1842, т. XX, № 1.

[260] (Стр. 354) Белинский писал в «Литературных мечтаниях»: «Комедия, по моему мнению, есть такая же драма, как и то, что обыкновенно называется трагедией». Реабилитация комедии имела важное значение для русской литературы. В 30-е годы эта мысль Белинского многим казалась кощунственной — и литературным староверам, воспитанным на эстетике классицизма, и поклонникам Шеллинга, утверждавшим, что предметом подлинной поэзии является лишь сфера прекрасного, «идеального», и выводившим отсюда свою консервативную систему жанровой иерархии. И те и другие третировали комедию, как низший род искусства.

[261] (Стр. 355) Оценка Белинским Державина в статье «Русская литература в 1841 году» вызвала враждебные отзывы среди сотрудников «Москвитянина». До критика дошли слухи, что и Гоголь выразил свое неодобрение статье — якобы за «неуважение Державина».

[262] (Стр. 355) Печатается по автографу (Рукоп. отд. биб-ки имени В. И. Ленина, М. 8330. 10). Настоящее письмо воспроизведено в трехтомном собрании писем Белинского (ред. и примеч. Е. А. Ляцкого, Спб. 1914) с существенными ошибками.

[263] (Стр. 355) См. примеч. 98*.

[264] (Стр. 356) *«Холопы знаменитого села Поречья»* — т. е. Погодин и Шевырев, часто гостившие в подмосковном имении министра просвещения С. С. Уварова — Поречье.

[265] (Стр. 356) Белинский имеет в виду свой отзыв об «Арабесках» в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (см. «Белинский о Гоголе», стр. 89).

[266] (Стр. 356) Речь идет о статье Белинского «Горе от ума».

[267] (Стр. 357) См. примеч. 208*.

[268] (Стр. 358) См. примеч. 211*.

[269] (Стр. 358) Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1842, т. XXIII, № 7.

[270] (Стр. 360) *«Кузьма Петрович Мирошев»* (М. 1842) — роман реакционного писателя М. Н. Загоскина.

[271] (Стр. 360) Белинский имеет в виду свою статью «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835).

[272] (Стр. 363) Цитата из Пролога к поэме Пушкина «Руслан и Людмила».

[273] (Стр. 365) Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1842, т. XXIV, № 9.

[274] (Стр. 365) Намек на О. И. Сенковского и его «Библиотеку для чтения» и Н. И. Греча — издателя «Русского вестника».

[275] (Стр. 366) Имеется в виду брошюра К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова или Мертвые души» (см. примеч. 105*).

[276] (Стр. 366) *«Написанная слогом афиши похвала»* — статья Булгарина о «Герое нашего времени» («Северная пчела», 1840, № 246).

[277] (Стр. 367) Речь идет о «Театральном разъезде после представления новой комедии», присланном Гоголем Н. Я. Прокоповичу для напечатания в четвертом томе своих сочинений. (Оценку Белинским этой пьесы см. в сб. «Белинский о Гоголе», стр. 266, 273.)

[278] (Стр. 367) Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1844, т. XXXII, № 1.

[279] (Стр. 368) Белинский не сразу верно оценил пушкинскую прозу и, в частности, «Капитанскую дочку». Например, в 1840 г. он писал Боткину, что считает «Капитанскую дочку» «не больше, как беллетристическим произведением, в котором много поэзии и только местами пробивается художественный элемент» (Письма, т. II, стр. 108). Так же сдержанно отзывается критик об этой повести и в настоящей статье. А в одиннадцатой статье о «Сочинениях А. Пушкина» (1846) Белинский дает уже исторически более верную оценку «Капитанской дочки». Он видит в ней одно из «замечательных произведений русской литературы», «нечто вроде «Онегина» в прозе» (Собр. соч., 1948, т. III, стр. 638).

[280] (Стр. 370) Белинский часто высмеивал Сенковского, утверждавшего, что в русском языке большинству существительных якобы свойственно в родительном падеже единственного числа окончание «у», а не «а».

[281] (Стр. 373) Белинский имеет в виду свою статью о «Выбранных местах из переписки с друзьями» («Современник», 1847, № 2).

[282] (Стр. 373) См. примеч. 281*.

[283] (Стр. 373) Статья Э. Губера о «Выбранных местах из переписки с друзьями» была напечатана в «Санктпетербургских ведомостях», 1847, от 14 февраля, № 35.

[284] (Стр. 374) Статья Белинского о «Выбранных местах из переписки с друзьями» произвела на Гоголя огромное впечатление. В июне 1847 г. он писал Н. Я. Прокоповичу: «Я прочел на-днях критику во 2-м № «Современника» Белинского. Он, кажется, принял всю книгу написанною на его собственный счет и прочитал в ней формальное нападение на всех разделяющих его мысли» (Письма, т. III, стр. 495). В

таком же духе было написано и письмо к Белинскому (около 20 июня 1847 г.), которое Гоголь переправил Прокоповичу с просьбой доставить критику. Белинский в это время находился за границей, в маленьком силезском городке Зальцбрунн, куда его загнал тяжкий недуг. Н. Н. Тютчев, получив от Прокоповича письмо Гоголя, переправил его по назначению в Зальцбрунн («В. Г. Белинский и его корреспонденты», под ред. Н. Л. Бродского, М. 1948, стр. 278).

О работе Белинского над письмом к Гоголю см. в воспоминаниях Анненкова (наст. изд., стр. 337[*]—338). Письмо было закончено 15 июля (по старому стилю — 3 июля) 1847 г. и отправлено в бельгийский городок Остенде, где находился в то время Гоголь.

В этом «Письме» Белинский выступает как непримиримый враг феодально-крепостнического режима в России. Белинский отразил в нем, как отметил Ленин, «настроение крепостных крестьян против крепостного права» (Сочинения, изд. 4-е, т. 16, стр. 108). После смерти Белинского его имя было запрещено употреблять в печати. Особые меры были приняты против распространения «Письма к Гоголю», революционное значение которого стало ясно уже в 1849 г., в связи с делом петрашевцев. За чтение «Письма» царские власти приговаривали к смертной казни. И тем не менее оно скоро получило громадную популярность, сыграв великую роль в истории русского революционно-освободительного движения. На протяжении двух о половиной десятилетий «Письмо к Гоголю» не могло быть опубликовано в России и тайно распространялось лишь в рукописных списках. Напечатано оно было впервые Герценом в Лондоне, в «Полярной звезде», 1855, кн. 1. стр. 65–75.

В Россия «Письмо» было опубликовано в извлечениях В. Чижовым в его работе «Последние годы Гоголя» («Вестник Европы», 1872, № 7, стр. 439–443), затем А. Пыпиным в исследовании «Белинский, его жизнь и переписка» (Спб. 1876, стр. 289–293), Н. Барсуковым в VIII томе хроники «Жизнь и труды М. П. Погодина» (Спб. 1894, стр. 596–607). После революции 1905 г. оказалось возможным издание полного текста «Письма», осуществленное С. А. Венгеровым. Но лишь в советское время Письмо Белинского к Гоголю получило широчайшее распространение и стало всенародным достоянием. Оригинал «Письма» утерян. Сохранилось большое количество рукописных списков, в тексте которых содержится много разночтений. Наиболее важными до сих пор считались списки А. А. Краевского и Н. Ф. Павлова, а также серьезно отличающаяся от них редакция «Письма», напечатанная Герценом. В настоящее время редакцией «Литературного наследства» обнаружено 16 новых списков. Среди них особенно выделяется список, предположительно приписываемый Н. Х. Кетчеру и, повидимому, в наибольшей степени приближающийся к оригиналу. Он опубликован в

56 т. «Литературного наследства (стр. 571–581; см. там же статью К. Богаевской «Письмо Белинского к Гоголю», стр. 513–570).

Мы воспроизводим текст «Письма» по указанному списку из «Литературного наследства».

[285] (Стр. 374) Это ответ на слова Гоголя, которыми начиналось его письмо к Белинскому (около 20 июня 1847): «Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне в «Современнике», — не потому, чтобы мне прискорбно было унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в нем слышен голос человека, на меня рассердившегося» (*Гоголь*, Письма, т. III, стр. 491).

[286] (Стр. 375) Намек на Аксаковых (см. вступ. статью к наст. изд., стр. 29[*]).

[287] (Стр. 375) Гоголь вынужден был согласиться с этим утверждением Белинского (см. ниже комментарий к воспоминаниям Я. К. Грота, стр. 654[*]).

[288] (Стр. 375) Белинский здесь иронически перефразировал знаменитое место из XI главы «Мертвых душ»: «Русь, Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу».

[289] (Стр. 377) Намек на реакционную идею, развиваемую Гоголем в XXV главе своей книги, о «суде божеском», которому подлежит в равной мере виновный и правый. Гоголь в этой связи вспоминает комендантшу из «Капитанской дочки» Пушкина, которая, «пославши поручика рассудить городового солдата с бабою, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такою инструкциею: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи». Об этой-то «глупой поговорке» и говорит Белинский.

[290] (Стр. 380) Об этом, например, писал С. Т. Аксаков (см. *Н. Барсуков*, «Жизнь и труды Погодина», т. VIII, стр. 526, 530).

[291] (Стр. 380) Письмо, о котором идет речь, было написано Гоголем 2 мая 1845 г. в ответ на сообщение министра просвещения С. С. Уварова о том, что писателю исходатайствована ежегодная пенсия в 1000 рублей на три года (Письма, т. III, стр. 53).

[292] (Стр. 381) В своем письме к Белинскому (дат. около 20 июня 1847 г.) Гоголь пытается объяснить причину недовольства многих людей «Выбранными местами...» тем. что дал им «небольшой щелчок», который «вышел так грубо неловок и так оскорбителен» (Письма, т. III, стр. 492).

[293] (Стр. 382) В «Выбранных местах...» есть ряд грубых выпадов против Белинского, хотя он нигде и не назван по имени. Например, в главе «Об

Одиссее…» читаем: «только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно уже остались в раздумье, не зная сами, куда повести заблудшие стада свои» («Выбранные места из переписки с друзьями», Спб. 1847, стр. 45, см. также стр. 51, 134).

[294] (Стр. 383) Белинский имел все основания квалифицировать как «донос» статью П. А. Вяземского «Языков — Гоголь» («Санкт-петербургские ведомости», 1847, № 90, 91), о которой идет речь. Вяземский не только восторженно приветствовал «Выбранные места…», но и фактически призывал к расправе с теми критиками, которые хотели Гоголя «поставить главою какой-то новой литературной школы, олицетворить в ней какое-то черное литературное знамя» (№ 90, стр. 418).

[295] (Стр. 383) У Гоголя в главе «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»: «этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского…» («Выбранные места из переписки с друзьями», Спб. 1847, стр. 266).

[296] (Стр. 383) Намек на предисловие Гоголя ко второму изданию «Мертвых душ» (1846).

[297] (Стр. 384) Гоголь был потрясен письмом Белинского. Он написал пространный ответ, в котором в очень резкой форме отрицал выдвинутые Белинским обвинения (Письма, т. IV, стр. 32–41). Это письмо, однако, Гоголь не отправил; он изорвал его. Мелкие клочки почтовой бумаги, на которой оно было написано, обнаружил первый биограф Гоголя П. А. Кулиш и восстановил почти весь текст.

10 августа 1847 г. Гоголь написал второе письмо Белинскому. Оно начиналось словами: «Я не мог отвечать скоро на ваше письмо. Душа моя изнемогла, все во мне потрясено». Это письмо существенно отличалось по своему содержанию и тону от предыдущего. Гоголь здесь уже склонен признать «часть правды» в обвинениях Белинского («бог весть, может быть, в ваших словах есть часть правды»). (Полный текст этого письма Гоголя, вместе с автографом, был опубликован лишь в советское время — см. «Красный архив», 1923, т. 3, стр. 311–312.)

[298] (Стр. 385) *«Представители побежденного риторического направления»* — Булгарин, Греч. и др.

[299] (Стр. 386) Цитата из статьи Ю. Самарина «О мнениях «Современника» исторических и литературных» («Москвитянин», 1847, ч. II, стр. 193).

[300] (Стр. 387) Герои романа Ф. Булгарина «Иван Выжигин».

А. И. ГЕРЦЕН
ИЗ ДНЕВНИКОВ, МЕМУАРОВ И СТАТЕЙ

Творчество Гоголя привлекло к себе пристальное внимание Герцена (1812–1870) уже в самом начале его общественно-литературной деятельности. С именем Гоголя мы встречаемся в дневниках, мемуарах, письмах и публицистике Герцена. В 1842 г. Герцен заносит в дневник ряд записей о Гоголе, свидетельствующих о необычайно глубоком понимании им творчества писателя. В дальнейшем Герцен часто возвращается к «Мертвым душам» и «Ревизору», неутомимо пропагандирует эти произведения, раскрывает их великое общественное значение.

Гоголь не был лично знаком с Герценом. Но уже в середине 40-х гг. он выказывает интерес к нему. В 1847 г. Гоголь выражает желание с ним встретиться. 7 сентября этого года он пишет Анненкову: «В письме вашем вы упоминаете, что в Париже Герцен. Я слышал о нем очень много хорошего. О нем люди *всех партий* отзываются как о благороднейшем человеке. Это лучшая репутация в нынешнее время. Когда буду в Москве, познакомлюсь с ним непременно, а покуда известите меня, что он делает, что его более занимает и что предметом его наблюдений» (Письма, т. IV, стр. 82–83). В начале декабря 1847 г. А. А. Иванов сообщил Гоголю в Неаполь, что Герцен — в Риме и «сильно восстает» против «Выбранных мест». Гоголь тотчас же ответил Иванову. Он повторил прежнюю характеристику Герцена как «благородного и умного человека» и добавил: «Напишите мне, каким он показался вам, что он делает в Риме, что говорит об искусствах и какого мнения о нынешнем политическом и гражданском состоянии Рима, чивиках[177] и о прочем» (Письма, т. IV, стр. 133). Просьба Гоголя не была выполнена Ивановым.

Осенью 1851 г. внимание Гоголя снова было привлечено к имени Герцена, но теперь — в особой связи. В этом году почти одновременно в Германии и Франции вышла в свет работа Герцена «О развитии революционных идей в России». Не стесняемый цензурой, Герцен нарисовал яркую картину развития революционно-освободительного движения в России, показал роль в нем передовой русской литературы. Герцен особо подчеркнул значение гениальных произведений Гоголя и вслед за Белинским беспощадно вскрыл реакционный смысл его книги «Выбранные места из переписки с друзьями».

Об этом вскоре узнал Гоголь. 13 сентября 1851 г. М. С. Скуридин — один из петербургских знакомых Гоголя — сообщил ему, что Николай I получил от парижской полиции экземпляр изданной во Франции брошюры Герцена «О развитии революционных идей в России» и что в ней содержится ряд упоминаний о Гоголе и его произведениях. Скуридин приложил к письму несколько выписок на французском языке

из герценовской брошюры (см. это письмо и выписки в кн. «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», I, 1936, стр. 133–138; см. также стр. 145–149). Суровый отзыв Герцена о «Выбранных местах…» задел Гоголя. При встрече с И. С. Тургеневым 20 октября 1851 г. Гоголь, зная о его дружеских отношениях с Герценом, естественно, коснулся этой волновавшей его темы (см. в наст. изд. стр. 529* и 533*). По свидетельству Щепкина, Гоголь, выслушав ответ Тургенева на свой вопрос — о причинах выступления Герцена против него, — заметил: «Правда, и я во многом виноват, виноват тем, что послушался друзей, окружавших меня, и если бы можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил мою «Переписку с друзьями». Я бы сжег ее». Вероятно предположение, что эта новая оценка своей книги сложилась у Гоголя под влиянием не только письма Белинского, но и книги Герцена «О развитии революционных идей в России».

Мы помещаем в хронологической последовательности отрывки из дневников, мемуаров и публицистических работ Герцена, в которых содержатся высказывания о Гоголе и его произведениях.

I

Из дневника. 11 июня 1842 г. (Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. К. Лемке, т. III, стр. 29.)

II

Из дневника. 29 июля 1842 г. (В том же изд., т. III, стр. 34–35.)

III

Из книги «О развитии революционных идей в России», 1851 г. Мы даем отрывки из V гл. «Литература и общественная мысль после 14 декабря 1825 года» и VII гл. «Московский панславизм и русский европеизм». Эта работа была написана Герценом по-французски. Перевод ее на русский язык в изд. М. К. Лемке содержит множество ошибок. Даем по изд.: *А. И. Герцен*, Избр. соч., Гослитиздат, М. 1937, стр. 406–407, 416.

301 (Стр. 390) *Лаокоон* — легендарный троянский жрец Аполлона. Греки, после безуспешной осады Трои, прибегли к хитрости — соорудили огромного деревянного коня со спрятанными внутри воинами, оставили его у стен Трои, а сами сели на корабли и отплыли в море. Лаокоон разгадал замысел греков и, вопреки решению богов погубить Трою, убеждал своих соотечественников не ввозить коня в город. За это бог Посейдон послал двух змей, которые задушили Лаокоона и его двух малолетних сыновей. Сцена удушения Лаокоона и его сыновей изображена в знаменитой скульптурной группе.

302 (Стр. 396) «Антон-Горемыка» — повесть Д. В. Григоровича.

303 (Стр. 392) Имеется в виду статья М…З…К… (Ю. Ф. Самарина) «О мнениях «Современника», исторических и литературных»

(«Москвитянин», 1847, ч. II). Статья содержала злобные выпады против гоголевской школы и ее теоретика — Белинского. Лицемерно прикидываясь поклонником таланта Гоголя, Самарин пытался фальсифицировать его творчество. Выхолащивая из него обличительное содержание, он, например, объявил, что изображение писателем гнусных явлений крепостнической действительности является всего лишь «выражением личной потребности внутреннего очищения» (стр. 193). Самарин, как и другие критики-славянофилы, оказался бессильным вскрыть действительно присущие Гоголю противоречия. Именно в этой связи и вспомнил выступление «Москвитянина» Герцен. В седьмой книжке «Современника» за 1847 г. с отповедью Самарину выступил Белинский. Его статья «Ответ «Москвитянину» не только вскрыла истинную сущность реакционных взглядов Самарина, но и подвергла сокрушительной критике политические и эстетические позиции славянофилов вообще.

IV

Из статьи «О романе из народной жизни в России». Статья была написана в 1857 г. в форме письма к переводчице романа Д. Григоровича «Рыбаки», вышедшего в 1859 г. на немецком языке (изд. под ред. М. К. Лемке, т. IX, стр. 96–97).

V

Из XV гл. «Былого и дум» (там же, т. XII, стр. 271).

VI

Из статьи «Новая фаза русской литературы», 1864 г. (Избр. соч., 1937, стр. 418, 424–425).

[304] (Стр. 394) Неточно. Лермонтов погиб 15 июля 1841 г., «Мертвые души» вышли в мае 1842 г.

VII

Из статьи «К концу года», 1865 г. (изд. под ред. Лемке, т. XVIII, стр. 273).

В. В. СТАСОВ
<ГОГОЛЬ В ВОСПРИЯТИИ РУССКОЙ МОЛОДЕЖИ 30-40-х годов>

Владимир Васильевич Стасов (1824–1906), выдающийся русский художественный критик, страстный борец за реализм и народность в искусстве, не был лично знаком с Гоголем. Но его воспоминания представляют собой драгоценнейшее свидетельство современника о Гоголе, точнее — о его произведениях и той большой роли, какую играли они в формировании мировоззрения передовой, демократической молодежи 30-40-х гг. XIX в. Стасов ярко раскрывает атмосферу необыкновенного энтузиазма, с каким встречалось молодым поколением каждое новое произведение гениального русского писателя.

Два отрывка, условно озаглавленные нами, извлечены из обширных воспоминаний Стасова «Училище правоведения сорок лет тому назад, в 1836–1842 гг.», печатавшихся в 1880–1881 гг. на страницах «Русской старины». Первый отрывок взят из февральской книжки журнала за 1881 г. (стр. 414–419), второй — из июньской (стр. 274–275).

[305] (Стр. 396) «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович о Иваном Никифоровичем» впервые была опубликована во второй части альманаха «Новоселье», в 1834 г., а в следующем году с некоторыми исправлениями вошла во вторую часть «Миргорода».

[306] (Стр. 399) Повесть «Нос» была напечатана в «Современнике», 1835, т. 3.

[307] (Стр. 399) Ср. воспоминание К. С. Аксакова — с каким восторгом воспринимались первые произведения Гоголя студенческой молодежью Московского университета и особенно в кружке Станкевича — Белинского:

«В те года только что появлялись творения Гоголя; дышащие новою, небывалою художественностью, как действовали они тогда на все юношество, и в особенности на кружок Станкевича! Во время нашего студентства вышло «Новоселье», альманах; там была повесть Гоголя «О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Помню я то впечатление, какое она произвела. Что может равняться радостному сильному чувству художественного откровения? Как освежало, ободряло оно души всех! Как само постепенное появление изданий гениального художника оживляло, двигало общество! Рад я, что испытал и видел все это. Станкевич ценил очень верно и тонко художественность Гоголя, особенно в безделицах. — Вскоре после выхода его и моего из университета Станкевич достал как-то в рукописи «Коляску» Гоголя, вскоре потом напечатанную в «Современнике». У Станкевича был я и Белинский; мы приготовились слушать, заранее уже полные удовольствия. Станкевич прочел первые строки: «Городок Б. очень повеселел с тех пор как начал в нем стоять кавалерийский полк...» и вдруг нами овладел смех, смех несказанный; все мы трое смеялись, и долго смех не унимался. Мы смеялись не от чего-нибудь забавного или смешного, но от того внутреннего веселия и радостного чувства, которым преисполнились мы, держа в руках и готовясь читать Гоголя. — Наконец смех наш прекратился, и мы прочли с величайшим удовольствием этот маленький отрывок, в котором, как в других созданиях Гоголя, — и полнота и совершенство искусства» («Воспоминания студентства 1832–1835 гг.» — «День», 1862, от 6 октября, № 40, стр. 4).

[308] (Стр. 400) *«Вечная грязь и непристойность»* — обычный аргумент, к которому прибегала реакционная критика в борьбе против Гоголя.

[309] (Стр. 401) Стихи Лермонтова и отрывки из «Героя нашего времени» стали печататься в «Отечественных записках» в 1839 г.

[310] (Стр. 401) Неточно. См. примеч. 168*.

А. Д. ГАЛАХОВ
ИЗ «СОРОКОВЫХ ГОДОВ»

Алексей Дмитриевич Галахов (1807–1892) — критик, историк литературы и педагог; автор популярных в свое время учебных пособий: «Русской хрестоматии» (1842), выдержавшей тридцать изданий, «Истории русской словесности древней и новой» (т. I — Спб. 1863, т. II — Спб. 1875), переиздававшейся тринадцать раз; в 40-е гг. сотрудничал в руководимом Белинским критическом отделе «Отечественных записок», ни в какой степени не разделяя, однако, революционно-демократических убеждений великого критика. Занимая в эту пору позицию буржуазного либерала, Галахов в 50-е гг. перешел в лагерь писателей, боровшихся против «Современника» и революционных демократов.

Воспоминания «Сороковые годы» написаны незадолго до смерти автора. В них рассказывается о встречах с различными деятелями 40-х гг.: В. Г. Белинским, И. С. Тургеневым, Н. В. Гоголем и др. Мы даем извлечение из этих воспоминаний, непосредственно относящееся к Гоголю («Исторический вестник», 1892, № 2, стр. 403–406).

[311] (Стр. 403) Первый приезд Гоголя в Москву после выхода «Арабесок» и «Миргорода» относится к началу мая 1835 г. Но, как явствует из дальнейшего, поскольку предметом обсуждения была повесть Г. Ф. Квитки-Основьяненки «Пан Халявский» (впервые появилась в «Отечественных записках», 1839, № 6–7; отдельное издание — Спб. 1840), речь очевидно идет о встрече, которая состоялась после приезда Гоголя в Москву из-за границы. День приезда — 26 сентября 1839 г.

Установить точную хронологию других встреч Галахова с Гоголем, описываемых ниже, не представляется возможным.

[312] (Стр. 404) Второе издание «Мертвых душ» вышло в 1846 г. со специальным предисловием автора. Это предисловие было сурово оценено Белинским за его проповеднический тон и фальшивую позу христианского смирения, в какой предстал здесь Гоголь («Современник», 1847, № 1). В февральской книжке «Отечественных записок» за 1847 г. (Критика, стр. 77–82) появилось открытое письмо Гоголю, написанное А. Д. Галаховым и подписанное псевдонимом «Сто — один». В легковесно-фельетонной манере Галахов вышучивал предисловие Гоголя ко второму изданию «Мертвых душ».

[313] (Стр. 405) Этот «последний приезд» Гоголя в Москву состоялся 14 октября 1848 г. Писатель жил два с лишним месяца у Погодина, а в конце декабря того же года переехал на квартиру А. П. Толстого.

[314] (Стр. 406) Гоголь не любил делать предметом публичного обсуждения свои творческие планы и произведения, работу над которыми считал незавершенной.

Д. М. ПОГОДИН
ПРЕБЫВАНИЕ Н. В. ГОГОЛЯ В ДОМЕ МОЕГО ОТЦА

Дмитрий Михайлович Погодин (1836–1890) — старший сын М. П. Погодина — был свидетелем важных событий, в разное время происходивших в доме его отца, и встречался здесь со многими известными людьми. На склоне лет своих он задумал описать все виденное и слышанное. Но замысел этот не был доведен до конца. После смерти Д. М. Погодина была опубликована часть его мемуаров под заглавием «Из воспоминаний Д. М. Погодина», из которых мы извлекаем главу, непосредственно относящуюся к Гоголю («Исторический вестник», 1892, № 4, стр. 42–48).

Ввиду особого характера отношений Гоголя с М. П. Погодиным (см. вступительную статью к наст. изд.[*]) воспоминания Д. М. Погодина могли бы представлять большой фактический интерес. Гоголь трижды по приезде из-за границы в Москву останавливался и жил у Погодина в его доме на Девичьем поле (в 1839–1840, 1841–1842 и 1848 гг.). Отношения между хозяином и его гостем были очень сложными и порой резко враждебными. Вот почему каждая подробность о пребывании Гоголя в особняке на Девичьем поле, о содержании его бесед с Погодиным была бы очень ценной. К сожалению, этой темы почти не касается в своих воспоминаниях Д. М. Погодин. В них, однако, содержится ряд интересных бытовых деталей, рисующих облик Гоголя.

[315] (Стр. 407) Здесь имеется в виду первый приезд Гоголя в Москву, в сентябре 1839 г. Он приехал в Россию, чтобы забрать своих сестер, закончивших Патриотический институт в Петербурге. Ряд эпизодов, рассказываемых ниже, относится, видимо, уже ко второму приезду Гоголя, в 1841–1842 гг.

[316] (Стр. 409) Сестры Гоголя — Елизавета (а не Мария, как ошибочно указывает Д. М. Погодин) и Анна приехали в Москву в декабре 1839 года. Обе они поселились в доме Погодина.

[317] (Стр. 413) См. примеч. 313[*].

Я. К. ГРОТ
ВОСПОМИНАНИЕ О ГОГОЛЕ

Яков Карлович Грот (1812–1893) — лингвист и историк литературы, впоследствии академик и вице-президент Академии наук, знаток

Державина и автор многих исследований по вопросам русского языка и литературы. С Гоголем Грот познакомился через своего друга — П. А. Плетнева в начале 40-х гг. Но лишь в конце десятилетия он имел возможность более или менее часто общаться с писателем. Способствовало этому одно важное обстоятельство.

Белинский в своем зальцбруннском письме упрекал Гоголя в том, что из своего «прекрасного далека» он не заметил многих перемен, происшедших в России. Гоголь должен был согласиться с этим утверждением. 10 августа 1847 г. он писал критику: «…мне показалось только непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что много изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать все что ни есть в ней теперь» («Красный архив», 1923, т. 3, стр. 312). Эту же мысль Гоголь одновременно высказал и в письме к Плетневу: «Постараюсь по приезде в Россию получше разглядеть Россию…» (Письма, т. IV, стр. 62). Вернувшись в 1848 г. на родину, Гоголь предполагал осуществить ряд поездок по стране, но от этой мысли пришлось отказаться из-за отсутствия денег. Писатель решает прибегнуть к другим источникам познания жизни. Он начинает искать людей, которые могли бы помочь ему «получше разглядеть Россию». На этой почве и складываются его личные отношения с Гротом.

Воспоминание последнего тем и ценно, что оно подтверждает серьезность намерений Гоголя, высказанных им в письме к Белинскому. Это воспоминание было опубликовано в «Русском архиве», 1864, № 2, стр. 177–180. В настоящем издании оно воспроизводится с незначительными сокращениями.

[318] (Стр. 414) Этот разговор относится, повидимому, к июню 1849 г. 25 июня Грот писал Плетневу: «Посидел у Гоголя: собирается поездить по России, но еще колеблется, ехать ли, ибо дорожит временем, а жизнь коротка» («Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. III, Спб. 1896, стр. 443–444). Колебания Гоголя объяснялись в действительности иными причинами (см. прим. 319*).

[319] (Стр. 414) Неверно, что Гоголь в это время (1849) отказался от мысли о путешествии по России. В 1850 г., продолжая лелеять мечту о «трех летних поездках во внутренность России» (Письма, т. IV, стр. 344), он писал: «Летнее путешествие по России мне необходимо потому, что на многое следует взглянуть лично и собственными глазами» (там же, стр. 342). Но Гоголь не осуществил своей мечты, так как в эти годы он терпел острую нужду. В 1850 г. он вынужден был пойти на крайне унизительную для него меру и обратиться с заявлением к правительственным властям о предоставлении ему «некоторых средств для проезда». Просьба Гоголя не была удовлетворена.

[320] (Стр. 415) В. И. Шенрок датирует это письмо Гоголя декабрем 1849 г. (Письма, т. IV, стр. 288).

А. П. ТОЛЧЕНОВ
ГОГОЛЬ В ОДЕССЕ

В последние годы жизни Гоголь напряженно трудился над вторым томом «Мертвых душ». Работа продвигалась очень медленно. Состояние здоровья писателя продолжало ухудшаться. Прожив много лет на юге Европы, Гоголь болезненно переносил зимние холода в Москве. 20 августа 1850 г. он писал из Васильевки А. П. Толстому: «…голове и телу моему необходим — и особенно во время работы — благорастворенный воздух и ненатопленное тепло, а мне нужно всю эту зиму поработать хорошо, чтобы приготовить второй том к печати, приведя его окончательно к концу» (Письма, т. IV, стр. 347–348). Гоголь решил провести зиму в Одессе. Первое пребывание писателя в этом городе относится к весне 1848 г. (21 апреля — 5 мая), по возвращении из-за границы на родину. Второй приезд был более продолжительным: с 26 октября 1850 г. до половины апреля 1851 г.

В Одессе Гоголь напряженно работал. Он обзавелся здесь широким кругом знакомых из местной интеллигенции. Одесса к середине XIX в. обладала значительными культурными традициями. Она, например, славилась своим театром, с которым были связаны имена многих крупных актеров. Здесь играли С. В. Шумский, А. И. Шуберт, сюда приезжали на гастроли М. С. Щепкин, В. В. Самойлов, В. И. Живокини. В Одессе была талантливая и интересная артистическая среда. В ней-то охотнее всего проводил свои досуги Гоголь. Здесь он познакомился с актером и драматургом Александром Павловичем Толченовым (ум. в 1888 г.). А. П. Толченов — сын известного трагического актера П. И. Толченова, после окончания в 1845 г. Петербургского театрального училища поступил в русскую драматическую труппу и дебютировал на сцене Александринского театра. В начале 50-х гг. он переехал в Одессу и прослужил на провинциальной сцене до 1875 г., затем вернулся в Петербург. А. П. Толченов написал и перевел несколько пьес. Из оригинальных его произведений могут быть отмечены — комедия «Губернские сплетни», водевиль «Кутерьма 1-го апреля» и др. Перу Толченова принадлежит также ряд театральных мемуаров.

Из всех известных нам воспоминаний о пребывании Гоголя в Одессе мемуары Толченова являются наиболее содержательными И ценными. Они впервые были опубликованы в журнале «Музыкальный свет», 1876 г., №№ 30–33, и два десятилетия спустя перепечатаны в книге «Из прошлого Одессы», сост. Л. М. де Рибасом (Одесса, 1894, стр. 104–125). Мы воспроизводим здесь журнальный текст с незначительным сокращением.

321 (Стр. 422) Младший брат Пушкина — Лев Сергеевич (1805–1852) последние десять лет своей жизни провел в Одессе, где служил членом портовой таможни. В апреле 1848 г., когда Гоголь из-за границы приехал в Одессу и был помещен в карантин, его впервые навестил Л. С. Пушкин. (Об этом эпизоде см. в воспоминаниях Н. Т. Тройницкого — «Одесский листок», 1909, № 159.) Во второй приезд Гоголя в Одессу они часто встречались. (См. рассказ А. Л. Деменитру в записи Н. О. Лернера — «Русская старина», 1901, № 11, стр. 324–325.)

322 (Стр. 426) См. примеч. 210*.

О. М. БОДЯНСКИЙ
ИЗ ДНЕВНИКОВ

Осип Максимович Бодянский (1808–1877) — известный славист, автор многих работ по истории и культуре славянских народов, профессор Московского университета (с 1842 г.), секретарь Общества истории и древностей российских (с 1845 г.) и редактор периодического издания этого общества — «Чтений», в которых печатались ценные материалы по истории России и славянских народов. Гоголь познакомился с Бодянским — тогда еще студентом Московского университета — в октябре 1832 г. Между земляками (Бодянский тоже был уроженцем Полтавской губернии) вскоре завязались весьма дружеские отношения.

Дневник Бодянского никогда не издавался отдельно. Он печатался отрывками в различных журналах. Три фрагмента, помещаемые в настоящем издании, касаются последних лет жизни Гоголя. В записях Бодянского примечательны подробности, дополнительно характеризующие отрицательное отношение Гоголя к Погодину. Весьма интересен сообщаемый Бодянским факт о предложении Гоголя начать издание нового журнала в Москве, в противовес «Москвитянину».

Отрывки из дневника О. М. Бодянского извлечены нами из следующих изданий: 1) «Русская старина», 1888, № 11, стр. 406–409; 2) 1889, № 10, стр. 133–134; 3) «Сб. Общества любителей Российской словесности на 1891 г.», М. 1891, стр. 109, 118–119.

323 (Стр. 429) Речь идет о Надежде Николаевне Шереметевой, умершей 11 мая 1850 г. (Ср. А. О. Смирнова-Россет. «Автобиография», 1931, стр. 298.)

324 (Стр. 429) «Чтения в Обществе истории и древностей российских» издавались Бодянским в 1845–1848 гг. За напечатание в июньской книжке «Чтений» перевода сочинения Флетчера «О государстве русском» журнал был закрыт, а Бодянский — отстранен на полтора года от профессуры в Московском университете и от должности секретаря Общества. Лишь десять лет спустя Бодянский возвращается на эту должность и возобновляет издание «Чтений».

325 (Стр. 431) Вацлав из Олеска (Waclaw z Oleska) в сотрудничестве с композитором К. Липинским издал в 1833 г. во Львове сборник «Польские и русские песни галицийского народа» («Piesni polskie i ruskie ludu galicyjskieno»). Гоголь заинтересовался этой книгой тотчас же по ее выходе в свет. 7 января 1834 г. он писал М. А. Максимовичу: «Знаешь ли ты собрание галицких песен, вышедших в прошлом году (довольно толстая книжка in 8)? Очень замечательная вещь. Между ними есть множество настоящих малороссийских, так хороших, с такими свежими красками и мыслями, что весьма не мешает их включить в гадаемое собрание» (Полн. собр. соч., т. X, стр. 292). Предполагая в это время издать вместе с Максимовичем большое собрание народных украинских песен, Гоголь отчасти использовал указанный сборник. (См. ст. *С. А. Красильникова*, «Источники собрания украинских песен Н. В. Гоголя» — «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», 2. 1936, стр. 377–406.)

326 (Стр. 431) В тексте «Русской старины» ошибочно: «31-го сентября». Ср. записку Бодянского, наст. изд., стр. 440.

327 (Стр. 431) Гоголь познакомился с Г. П. Данилевским незадолго перед этой встречей у Аксакова. (См. воспоминания Г. П. Данилевского, наст. изд., стр. 434*.)

328 (Стр. 432) Статья П. А. Кулиша «в ответ Данилевскому и Гаевскому» была напечатана в «Отечественных записках» (1853, № 2) под названием «Выправки некоторых биографических известий о Гоголе».

329 (Стр. 432) «Рим» был напечатан в третьей книжке «Москвитянина» за 1842 г.

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ
ЗНАКОМСТВО С ГОГОЛЕМ

Григорий Петрович Данилевский (1829–1890) — известный в свое время беллетрист, автор популярных исторических романов «Сожженная Москва», «Черный год» и др. На заре своей литературной деятельности он был арестован по делу Петрашевского, но вскоре выпущен на свободу и ревностной службой в министерстве просвещения (1850–1857), а затем в качестве редактора официозного «Правительственного вестника» успешно заглаживал мимолетные «увлечения молодости».

Данилевский не принадлежал к числу сколько-нибудь близких к Гоголю людей. Через О. М. Бодянского он познакомился с Гоголем осенью 1851 г., т. е. за полгода до его смерти. И хотя воспоминания Данилевского охватывают очень ограниченный отрезок времени, но они подробно освещают ряд существенных эпизодов биографии писателя в последний год его жизни, некоторые живые черты его характера.

Воспоминания Данилевского состоят из двух частей. В первой, и более важной из них, рассказывается о личных встречах с Гоголем. Вторая часть представляет собой очерк о путешествии, предпринятом автором через два с половиной месяца после смерти Гоголя на его родину — Васильевку. В очерке описывается встреча с родными Гоголя и воспроизводятся их рассказы о жизни писателя, не всегда, впрочем, одинаково интересные и достоверные (см. ниже примечания). Этот очерк под названием «Хуторок близ Диканьки» первоначально появился в 1852 г. на страницах «Московских ведомостей» (от 14 октября, № 124, стр. 1277–1280) и через год перепечатан «с поправками некоторых биографических подробностей» в газете «Русский инвалид» (от 1 февраля 1853 г., № 26, стр. 101–105). В полном объеме «Знакомство с Гоголем» было опубликовано в журнале «Исторический вестник», 1886, № 12, стр. 473–503. В настоящем изд. воспроизводится журнальный текст с некоторыми купюрами.

[330] (Стр. 435) «Теперь...» — т. е. в 1886 г.

[331] (Стр. 439) Здесь речь идет не об Александре Максимовиче Княжевиче — будущем министре финансов, как предполагал В. В. Гиппиус («Н. В. Гоголь в письмах и воспоминаниях», М. 1931, стр. 430), а о его брате — Владиславе Максимовиче, служившем председателем симферопольской уголовной палаты. В. И. Шенрок, комментируя в «Письмах» намерение Гоголя поехать в Крым в 1851 г., ошибочно связывает эту поездку с именем Дмитрия Максимовича Княжевича — этнографа и попечителя Одесского учебного округа (см. Письма, т. IV, стр. 400, примеч. 1 и «Алфавитный указатель», стр. 503), умершего девять лет назад (1842). Между тем и здесь речь идет о том же Владиславе Максимовиче Княжевиче.

[332] (Стр. 439) Это издание сочинений Гоголя имеет свою историю. Писатель был недоволен своим первым четырехтомным собранием (1842), ибо оно вышло, как писал Гоголь 24 сентября 1843 г. Прокоповичу, «не в том полном виде, как я думал» (Письма, т. II, стр. 338). В издании оказались пропуски, множество опечаток и недосмотров, в которых был повинен Прокопович. В конце 1850 г. Гоголь решил подготовить второе издание своих сочинений в пяти томах. Организация этого издания была возложена на Шевырева. Лишь осенью 1851 г. было получено цензурное разрешение и вслед за тем в трех типографиях одновременно приступили к набору. Гоголь читал корректуру и вносил множество поправок в свои произведения. Но смерть писателя надолго прервала работу над изданием. Правительство было перепугано огромной манифестацией, в которую вылились похороны Гоголя, и необычайно широким резонансом, который вызвала смерть писателя в передовых, демократических слоях общества. Имя Гоголя можно было упоминать в печати с величайшей осторожностью. В

таких условиях нельзя было и думать об издании сочинений Гоголя (см. воспоминания Д. А. Оболенского, наст. изд., стр. 554*). Только в половине 1855 г., уже после смерти Николая I, было, наконец, получено разрешение на издание сочинений Гоголя. Оно было осуществлено в шести томах племянником писателя — Н. П. Трушковским (в 1855 г. вышли первые четыре тома и в 1856 — последние два).

333 (Стр. 439) Упоминаемые произведения Ап. Майкова: поэма «Савонарола» и лирическая драма «Три смерти» были написаны в 1851 г., но напечатаны много лет спустя — в «Библиотеке для чтения», 1857, № 1 и № 10.

334 (Стр. 442) Здесь характерный для славянофила И. Аксакова злобный выпад против революционного демократа Белинского, резко осудившего реакционную книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Что касается «западников-либералов», то они именно и не возражали против «Выбранных мест». Валериан Майков, например, находил в них «мысли чрезвычайно светлые» («Отеч. записки», 1847, № 2, Отд. VI, стр. 70). Другой представитель либерально-западнического лагеря — А. В. Дружинин, отвергая «сатиру и карающий юмор» Гоголя, считал «Выбранные места» единственным заслуживающим признания произведением писателя.

335 (Стр. 449) В пятой книжке «Москвитянина» за 1852 г. появилась заметка М. Погодина «Кончина Гоголя», в которой содержались интересные подробности о последних днях жизни писателя. Приведем извлечения из этой заметки, имеющей мемуарный характер:

«21 февраля, в четверг, поутру, без четверти в восемь часов, умер Гоголь.

Публика требует подробностей о кончине своего любимца; в городе ходят разные слухи и толки.

Скрепя сердце приступаю к исполнению журнальной обязанности, которая никогда не была для меня так тягостна.

Чем он был болен? На этот вопрос можно отвечать только то, что он страдал, страдал много, страдал телом и душою, но в чем именно заключались его страдания, как они начались, — никто не знает, и никому не сказывал он об них ничего, даже своему духовнику.

С которого времени, по крайней мере, оказалась в нем роковая перемена? Кажется, недели за три до кончины.

А за месяц он был, повидимому, здоров, принимал еще живое участие в издании своих сочинений, которые печатались вдруг в трех типографиях, занимался корректурами, заботился об исправлениях в слоге, просил замечаний.

Летом же читал многим главы (до семи) из второго тома «Мертвых душ», и сам попросил напечатать известие в журнале о скором его издании вместе с умноженным первым.

По соображениям оказывается теперь, что в последнее время он уклонялся под разными предлогами от употребления пищи, в чем, однакож, уличить было его невозможно...

В субботу, на масленице, он посетил также некоторых своих знакомых. Никакой особенной болезни не было в нем заметно, не только опасности; а в задумчивости его, молчаливости не представлялось ничего необыкновенного.

С понедельника только обнаружилось его совершенное изнеможение. Он не мог уже ходить и слег в постель. Призваны были доктора. Он отвергал всякое пособие, ничего не говорил и почти не принимал пищи. Просил только по временам пить и глотал по нескольку капель воды с красным вином. Никакие убеждения не действовали. Так прошла вся первая неделя. В четверг сказал: «Надо меня оставить, я знаю, что должен умереть».

В понедельник на второй неделе духовник предложил ему приобщиться и пособороваться маслом, на что он согласился с радостию и выслушал все евангелия в полной памяти, держа в руках свечу, проливая слезы.

Вечером уступил было настояниям духовника принять медицинское пособие, но лишь только прикоснулись к нему, как закричал самым жалобным, раздирающим голосом: «Оставьте меня, не мучьте меня!» — Кто ни приходил к нему, он не поднимал глаз, приказывал только по временам переворачивать себя или подавать себе пить. Иногда показывал нетерпение.

Во вторник он выпил без прекословия чашку бульону, поднесенную ему служителем, через несколько времени другую, и подал тем надежду к перемене в своем положении, но эта надежда продолжалась не долго.

В среду обнаружились явные признаки жестокой нервической горячки. Употреблены были все средства, коих он, кажется, уже не чувствовал, изредка бредил, восклицая: «Поднимите, заложите, на мельницу, ну же, подайте!» Ночью дышал тяжело, но к утру затих, — и скончался.

Из расспросов об участи его сочинений оказалось:

В воскресенье, перед постом, он призвал к себе одного из друзей своих и, как бы готовясь к смерти, поручал ему отдать некоторые свои сочинения в распоряжение духовной особы, им уважаемой, а другие напечатать. Тот старался ободрить его упавший дух и отклонить от него всякую мысль о смерти.

Ночью, на вторник, он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его: тепло ли в другой половине его покоев. «Свежо», отвечал тот. «Дай мне плащ, пойдем: мне нужно там распорядиться». И он пошел, с свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришед, велел открыть трубу, как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: «Барин, что вы это, перестаньте!» — «Не твое дело», отвечал он молясь. Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал, после того как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтоб легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал. «Иное надо было сжечь, — сказал он, подумав, — а за другое помолились бы за меня богу; но, бог даст, выздоровею и все поправлю».

Поутру он сказал гр. Т<олстому>: «Вообразите, как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы «Мертвых душ», которые хотел оставить друзьям на память после своей смерти».

Вот что до сих пор известно о погибели неоцененного нашего сокровища!..» («Москвитянин», 1852, № 5, Отд. VII, стр. 48–50).

[336] (Стр. 449) Речь идет о литографии с рисунка, сделанного с Гоголя В. А. Рачинским. Позднее эта литография неосновательно приписывалась Э. А. Дмитриеву-Мамонову.

[337] (Стр. 449) Причины ареста Тургенева были глубже, чем это представлял себе Данилевский. Во всяком случае «несоблюдение формальностей цензурного устава» оказалось лишь поводом к расправе с Тургеневым, а не причиной (см. ниже комментарии к воспоминаниям Тургенева[*]).

[338] (Стр. 451) 31 мая 1931 г. прах Гоголя и памятник были перенесены на Новодевичье кладбище.

[339] (Стр. 454) Выразительную иллюстрацию к тому, как «знал» «писательство» Гоголя Николай I приводит в своих воспоминаниях А. О. Смирнова-Россет. Когда она однажды по поручению Жуковского обратилась к Николаю I с ходатайством о назначении Гоголю пенсии, он ответил: «Вы знаете, что пенсии назначаются капитальным трудам, а я не знаю, удостаивается ли повесть «Тарантас». Я заметила, что «Тарантас» — сочинение Соллогуба, а «Мертвые души» — большой роман. «Ну, так я его прочту, потому что позабыл «Ревизора» и

«Разъезд» (А. О. Смирнова-Россет. «Автобиография», М. 1931, стр. 296). Этот разговор, кстати, происходил в марте 1845 г. — т. е. почти через три года после выхода в свет «Мертвых душ». О том, как Николай I «ценил» Гоголя, достаточно красноречиво свидетельствует отмеченная выше (см. примеч. 332*) драматическая история второго издания собрания сочинений писателя, которое могло появиться в свет лишь после смерти венценосного жандарма.

340 (Стр. 458) Сам Гоголь считал днем своего рождения 19 марта 1809 г. Однако в метрической книге сорочинской церкви день рождения Гоголя указан 20 марта (см. М. Григоревский, «К вопросу о дне рождения Н. В. Гоголя», «Русская старина», 1909, № 1, стр. 197–198). В настоящее время исследователи склоняются к признанию даты, обозначенной в метрической книге.

341 (Стр. 458) Имение писателя В. В. Капниста в селе Обуховка было расположено неподалеку от Васильевки. Между семьями Капниста и В. А. Гоголя издавна установились дружеские отношения. Впоследствии Н. В. Гоголь был особенно дружен с дочерью писателя С. В. Капнист-Скалон.

342 (Стр. 459) О первых литературных опытах Гоголя см. примеч. 4*.

343 (Стр. 459) Романтическая идиллия Гоголя «Ганц Кюхельгартен» вышла из печати в июне 1829 г. После появления двух отрицательных рецензий (в «Московском телеграфе», № 12, и «Северной пчеле», № 87) в июле того же 1829 г. Гоголь сжег почти весь тираж своей первой книги. Ныне сохранилось 4–5 экземпляров этого издания, представляющего библиографическую редкость.

344 (Стр. 460) *«Накануне отъезда Гоголя...»* — слово «накануне» очевидно здесь не следует понимать буквально. По свидетельству Гоголя — он попрощаться с Пушкиным не успел. Об этом он писал Жуковскому в июне 1836 г.: «Даже с Пушкиным я не успел и не мог проститься; впрочем, он в этом виноват» (Письма, т. I, стр. 386). Дата последнего свидания Гоголя с Пушкиным неизвестна.

345 (Стр. 460) В августе 1818 г. Гоголь вместе со своим младшим братом Иваном были отданы в полтавское поветовое, т. е. уездное, училище. Иван умер летом 1819 г. Гоголь некоторое время продолжал еще учиться в Полтаве и в мае 1821 г. был определен в Нежинскую гимназию.

346 (Стр. 460) Известны две украинские комедии В. А. Гоголя. Одна из них — «Собака-вівця» («Собака-овца») — не сохранилась, краткий сюжет ее рассказан со слов матери Гоголя П. А. Кулишом («Записки о жизни Гоголя», т. I, стр. 15–16); другая — «Простак, або хитрощі жінки, перехитрені москалем» («Простак, или хитрость женщины, перехитренная солдатом») — впервые была напечатана Кулишом в

журнале «Основа», 1862, № 2, и позднее несколько раз переиздавалась. В одном из писем Гоголя эта комедия фигурирует под названием «Роман с Параскою» (Полн. собр. соч., 1940, т. X, стр. 142; ср. «Записки о жизни Гоголя», т. I, стр. 13). До нас дошел еще небольшой отрывок третьей пьесы В. А. Гоголя (*А. А. Назаревский*, «Из архива Головни». — «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», I, стр. 323–324). Из комедий отца Гоголь взял эпиграфы для «Сорочинской ярмарки» и «Майской ночи».

347 (Стр. 460) Точнее — в Нежинскую гимназию высших наук, лишь в 1832 г. преобразованную в лицей.

348 (Стр. 460) Интерес к живописи пробудился у Гоголя еще в Нежине. В Петербурге он некоторое время посещал Академию художеств (май — июнь 1830 г.).

349 (Стр. 460) Имеется в виду письмо Гоголя от 13 августа 1829 г. (Полн. собр. соч., т. X, стр. 151–155; см. примеч. 160*).

350 (Стр. 461) Имеется в виду 1885 г.

351 (Стр. 462) См. примеч. 332*.

352 (Стр. 462) А. С. Данилевский умер в апреле 1888 г.

353 (Стр. 462) Речь идет о т. н. Патриотическом институте, в котором младшие сестры Гоголя — Елизавета и Анна Васильевны — учились в 1832–1839 гг.

А. О. СМИРНОВА-РОССЕТ
ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О ГОГОЛЕ»

Александра Осиповна Россет (1809–1882), по мужу Смирнова, была знакома с крупнейшими русскими писателями: Пушкиным, Жуковским, Лермонтовым, Гоголем. С Гоголем Смирнова познакомилась в 1831 г. Они часто встречались в России и за границей и вели интенсивную переписку, продолжавшуюся до конца жизни Гоголя. Смирнова была в числе тех немногих людей, которым Гоголь читал свои еще не опубликованные произведения, доверительно раскрывал творческие планы, делился своими мыслями и настроениями. Будучи человеком реакционных убеждений, Смирнова принадлежала к тому близкому окружению Гоголя, которое во многом способствовало усилению его религиозных настроений в 40-х гг. и созреванию идейного кризиса, отразившегося в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

Смирнова выдавала себя за страстную поклонницу таланта Гоголя, хотя истинного смысла его великих обличительных произведений она никогда не могла ни понять, ни оценить. Между письмами Смирновой, ее заверениями в любви к Гоголю и тем, что она в действительности думала о его творчестве, было мало общего. И на это обратил внимание

ее современник — Н. М. Колмаков, чиновник, служивший по министерству юстиции. Когда после смерти Смирновой были опубликованы некоторые ее письма к Гоголю, Н. М. Колмаков с наивным прямодушием и сарказмом писал в своих воспоминаниях, риторически обращаясь к покойной Смирновой: «Питая к вам глубокое уважение, я должен сказать, что при жизни своей вы не такие были, как хотите казаться в ваших письмах к Гоголю! Вспомните бал 1850 г. в дворянском собрании. Я стоял возле вас, а вы, глядя на вальсирующую молодежь и вообще на приличную во всем обстановку, вспомнив фразу Гоголя: *пошла губерния плясать*, сказали: «Ну, откуда Гоголь берет свои карикатуры? У него в губернии что ни чиновник, то взяточник; и вообще что ни человек, то урод, и самого скверного свойства. Жалкий он человек!» Я согласился с вами!» («Русская старина», 1891, № 7, стр. 145).

В этой едкой характеристике правильно вскрыто двоедушие и лицемерие в отношении Смирновой к великому русскому писателю.

А. О. Смирнова оставила после себя мемуары. Они имеют свою историю. В 1893–1894 гг. в журнале «Северный вестник» и в 1895 г. отдельным изданием были напечатаны ее нашумевшие «Записки». Они оказались фальсификацией, состряпанной ее дочерью — О. Н. Смирновой. Подлинные мемуары А. О. Смирновой появились в 1929 г. («Записки, дневник, воспоминания», изд. «Федерация») и в 1931 г. («Автобиография», изд. «Мир»). Обе книги были подготовлены к печати Л. В. Крестовой по подлинным рукописям.

В своих мемуарах Смирнова часто упоминает имя Гоголя. Она написала о нем и специальные воспоминания, самый полный текст которых приложен к ее «Автобиографии» (стр. 271–311). Отсюда мы извлекли несколько отрывков, наиболее достоверно воссоздающих облик Гоголя и характер его отношений со Смирновой. Текст, заключенный в угловых скобках, принадлежит редактору первопечатного издания — Л. В. Крестовой.

354 (Стр. 466) Факт пребывания Гоголя в Испании не установлен.

355 (Стр. 466) Гоголь находился в Бадене с конца июня по август 1837 г.

356 (Стр. 467) Это не точно. Вмешательство цензуры в текст «Мертвых душ» было очень серьезно (см. примеч. 192* и 204*).

357 (Стр. 467) Смирнова пробыла в Риме с января по май 1843 г.

358 (Стр. 468) Эта встреча Гоголя с известным французским критиком и историком Сент-Бёвом имела место в июне 1839 г. Делясь впечатлениями о встрече и беседе с Гоголем, Сент-Бёв писал: «При этом случае разговор его, полный силы (доводов), отличающийся точностью и богатством наблюдений над нравами и фактами действительной

жизни, дал мне возможность схватить на лету, предвкусить, так сказать, всю оригинальность и реализм его сочинений. Г. Гоголь, как видно, прежде всего заботился о верности в изображении нравов, о правдивости в воспроизведении жизни, о естественности — будь это в настоящем или в историческом прошедшем; его интересует народный гений, и куда бы ни устремился его взор, он любит открывать присутствие этого гения и изучать его» (см. *А. И. Урусов*, Статьи его, письма его, воспоминания о нем, т. I, М. 1907, стр. 292). Когда в 1845 г. во Франции вышел сборник повестей Гоголя, переведенных Л. Виардо, Сент-Бёв напечатал в «Revue des deux mondes» (1 дек. 1845 г.) статью, в которой восторженно оценил творчество Гоголя.

[359] (Стр. 469) Еще в начале 1833 г. Гоголь задумал многотомный труд, посвященный «всеобщей истории и всеобщей географии» под энциклопедическим названием «Земля и люди» (см. Полн. собр. соч., т. X, стр. 256). К этому замыслу Гоголь возвращался и позднее, но он так и остался не осуществленным.

[360] (Стр. 470) Н. М. Смирнов был назначен калужским губернатором в 1845 г. и прослужил там до 1851 г.

[361] (Стр. 470) *Лева* — Л. И. Арнольди (о нем. см. на стр. 666*); *Клима* — К. О. Россет, брат А. О. Смирновой-Россет.

[362] (Стр. 470) Эта поездка Гоголя с Л. И. Арнольди в Калугу состоялась не весной, а в начале июля 1849 г. Она подробно описана в воспоминаниях Арнольди (см. наст. изд., стр. 472*).

[363] (Стр. 471) О первой встрече Гоголя с М. С. Щепкиным см. более подробный и достоверный рассказ М. А. Щепкина (наст. изд., стр. 527*).

[364] (Стр. 471) Этот эпизод относится к июню 1850 г. О чтении Гоголем у Смирновой глав второго тома «Мертвых душ» см. подробно в воспоминаниях Арнольди, наст. изд., стр. 483*—487.

Л. И. АРНОЛЬДИ
МОЕ ЗНАКОМСТВО С ГОГОЛЕМ

Личность Льва Ивановича Арнольди (1822–1860) малопримечательна и ныне известна лишь исключительно благодаря его непродолжительному знакомству с Гоголем и воспоминаниям о нем. Он был младшим братом (по матери) А. О. Смирновой и служил чиновником при калужском губернаторе — ее муже. С Гоголем Арнольди познакомился у своей сестры в июне 1849 г. В течение своего короткого знакомства с великим писателем он имел возможность близко наблюдать его и быть в числе тех немногих людей, которым Гоголь читал главы сожженного впоследствии второго тома «Мертвых душ». Дошедшие до нас пять черновых глав этой книги не дают возможности воссоздать в полной мере идейный и художественный замысел Гоголя.

Вот почему так ценна каждая деталь, расширяющая наше представление об этом произведении. В своих воспоминаниях Арнольди дает наиболее полный, сравнительно с другими современниками, пересказ содержания прослушанных глав второго тома «Мертвых душ». В этом прежде всего и состоит ценность его мемуаров.

Воспоминания Арнольди опубликованы в «Русском вестнике», 1862, № 1, стр. 54–95, и многократно позднее перепечатывались в отрывках. Мы воспроизводим журнальный текст с сокращениями, главным образом за счет весьма общего и пространного вступления, не имеющего мемуарного характера.

365 (Стр. 472) А. О. Смирнова приехала в Москву 25 июня 1849 г.

366 (Стр. 475) Вариант этого рассказа Гоголя воспроизводит также В. А. Соллогуб («Воспоминания», «Academia», 1931, стр. 311–313).

367 (Стр. 476) *«...постигла первый второй том»* — т. е. первый вариант второго тома «Мертвых душ», сожженный Гоголем в 1845 г.

368 (Стр. 482) Имеется в виду С. П. Шевырев (см. в воспоминаниях Н. В. Берга, стр. 504*). Подобного рода поручения Гоголя выполнял и П. А. Плетнев (см. в воспоминаниях Г. П. Данилевского, стр. 446*).

369 (Стр. 487) По свидетельству современников, во втором томе «Мертвых душ» было, как и в первом — 11 глав.

370 (Стр. 488) А. О. Смирнова, излагая П. А. Кулишу содержание читанных ей Гоголем глав второго тома «Мертвых душ», отметила еще некоторые эпизоды, отсутствующие в сохранившихся главах этого тома:

«В нем очень многого недостает, даже в тех сценах, которые остались без перерывов. Так, например, анекдот о черненьких и беленьких рассказывается генералу во время шахматной игры, в которой Чичиков овладевает совершенно благосклонностью Бетрищева; в домашнем быту генерала пропущены лица — пленный французский капитан эскадры и гувернантка англичанка. В дальнейшем развитии поэмы недостает описания деревни Вороного-Дрянного, из которой Чичиков переезжает к Костанжогло. Потом нет ни слова об имении Чегранова, управляемом молодым человеком, недавно выпущенным из университета. Тут Платонов, спутник Чичикова, ко всему равнодушный, заглядывается на портрет, а потом они встречают у брата генерала Бетрищева живой подлинник этого портрета, и начинается роман, из которого Чичиков, как из всех других обстоятельств, каковы б они ни были, извлекает свои выгоды» («Записки о жизни Гоголя», т. II, стр. 226–227). Ряд существенных подробностей о содержании не дошедших до нас глав второго тома «Мертвых душ» см. в воспоминаниях Д. А. Оболенского (наст. изд., стр. 548*—552).

[371] (Стр. 491) Правильность изложения мысли Гоголя подтверждается другим источником. Ср. письмо П. А. Плетнева от 12 марта 1852 г.: «А. О. Смирнова сказывала мне, что только И. В. Капнисту, который, хотя любил Гоголя, но терпеть не мог его сочинений, он прочитал девять глав <второго тома «Мертвых душ>, желая воспользоваться строгою критикою беспощадного порицателя своих сочинений» («Соч. и переписка П. А. Плетнева», т. III, Спб. 1885, стр. 734).

[372] (Стр. 491) Существует предание, будто бы прежде чем отдать в театр свою новую комедию, Мольер предварительно читал ее своей няне, чтобы представить себе, какова будет реакция зрителей.

[373] (Стр. 491) Село Спасское, имение А. О. Смирновой.

[374] (Стр. 491) Здесь и ниже фамилия этого человека названа неточно. Имеется в виду П. А. Григоров.

[375] (Стр. 495) «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Т. Аксакова вышли из печати в 1852 г. в Москве.

[376] (Стр. 495) Этот спектакль состоялся в середине октября 1851 г. См. о нем в воспоминаниях Н. В. Берга (наст. изд., стр. 507)[*].

[377] (Стр. 495) Ср. эту характеристику Хлестакова со словами Гоголя о нем же: «В нем все сюрприз и неожиданность… Он разговорился, никак не зная в начале разговора, куда поведет его речь» («Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизор» — Сочинения, изд. 10-е, т. VI, стр. 253). — Ср. также «Отрывок из письма, написанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору» (там же, т. II, стр. 285–290).

Н. В. БЕРГ
ВОСПОМИНАНИЯ О Н. В. ГОГОЛЕ

Автор этих воспоминаний — Николай Васильевич Берг (1823–1884) — поэт, известный в свое время переводчик и журналист; был членом «молодой редакции» «Москвитянина», но затем разошелся со славянофилами и написал ряд сатирических памфлетов на деятелей славянофильского лагеря. В 1848 г. он познакомился с Гоголем и нередко встречался с ним. Берг в это время был еще начинающим литератором. При встречах с Гоголем Берг был скорее внимательным наблюдателем, чем собеседником. Его наблюдения и легли в основу настоящих воспоминаний. Они были написаны в начале 1871 г. и напечатаны в «Русской старине», 1872, № 1, стр. 118–128, откуда мы и перепечатываем их.

[378] (Стр. 500) «Марсальским героем» называли вождя итальянского национально-освободительного движения — Джузеппе Гарибальди. В мае 1860 г. он с тысячей своих приверженцев высадился на о. Сицилии в

порту Марсала и начал отсюда свой знаменитый поход за освобождение Италии.

[379] (Стр. 501) Инцидент с публикацией портрета Гоголя дополнительно проливает свет на характер отношений писателя с М. П. Погодиным, тщетно пытавшимся привлечь Гоголя к сотрудничеству в своем журнале «Москвитянин». Дело в том, что Гоголь категорически запрещал издателям гравировать свой портрет. Обнаружив неожиданно в харьковском альманахе «Молодик на 1844 год» литографию своего портрета, Гоголь написал негодующее письмо Н. М. Языкову, в котором просил Шевырева и Погодина опубликовать на страницах «Москвитянина» решительный протест против этого возмутительного самоуправства и «мошенничества». Между тем издатель харьковского альманаха И. Е. Бецкий, путешествуя по Европе, сам прибыл во Франкфурт к Гоголю для объяснений и сообщил, что его портрет до «Молодика» был, оказывается, напечатан… в «Москвитянине» (1843, № 11). Как выяснилось, Погодин, хорошо зная о категорическом запрещении Гоголя публиковать свой портрет, все-таки напечатал его и, чтобы скрыть свое самоуправство от Гоголя, не послал ему, вопреки существовавшему условию, ни одного номера «Москвитянина» за 1843 г. Ошеломленный этим новым актом самоуправства Погодина, Гоголь писал Н. М. Языкову 26 октября 1844 г.: «Каков, между прочим, Погодин и какую штуку он со мною сыграл вновь!.. Но скажу тебе откровенно, что большего оскорбления мне нельзя было придумать. Если бы Булгарин, Сенковский и Полевой, совокупившись вместе, написали на меня самую злейшую критику, если бы сам Погодин соединился с ними и написал бы вместе все, что способствует к моему унижению, это было бы совершенно ничто в сравнении с сим» (Письма, т. II, стр. 498). Характерно, что Шевырев, которому Гоголь рассказал эту историю, отстаивал, как это бывало и раньше, правоту Погодина. «Друзья Гоголя» во всех конфликтах, какие возникали у них с великим писателем, действовали вполне согласованно и единодушно.

Нежелание Гоголя публиковать свой портрет объясняется рядом причин. Важнейшая из них, по вероятному предположению Н. Г. Машковцева, состояла в том, что портрет работы А. А. Иванова, воспроизведенный Погодиным, изображает Гоголя в халате, в домашней, бытовой обстановке и дает совсем не то впечатление, какое хотел производить своей внешностью Гоголь (см. статью Н. Г. Машковцева «История портрета Гоголя», в кн. «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», II, 1936, стр. 407–422).

[380] (Стр. 501) Речь идет об автолитографии, сделанной Э. А. Дмитриевым-Мамоновым после смерти писателя по его портрету, нарисованному художником за две недели до смерти Гоголя — 5

февраля 1852 г., а не 5 марта, как иногда ошибочно указывается (см. «Русская старина», 1902, № 9, стр. 486).

[381] (Стр. 502) Имеется в виду О. М. Бодянский.

[382] (Стр. 502) Это место в воспоминаниях Н. В. Берга вызвало возражение со стороны П. М. Щепкина — сына знаменитого артиста. В заметке, написанной с его слов В. И. Веселовским, между прочим, указывалось: «Н. В. Берг едва ли верно подметил ту черту характера Гоголя, что он был в обществе молчалив и необщителен до странности и оживлялся только столкнувшись нечаянно с кем-нибудь из малороссов. Гоголь в нашем кружке — а большинство было русское — был самым очаровательным собеседником: рассказывал, острил, читал свои сочинения, никем и ничем не стесняясь. Нелюдимом он являлся только на тех вечерах, которые устраивались так часто с *Гоголем* многими из его почитателей и почитательниц...» («Русская старина», 1872, № 2, стр. 283).

[383] (Стр. 502) Очевидно, речь идет о вечере, устроенном Погодиным по случаю своих именин — 11 ноября 1848 г. Погодин записал в дневнике: «Гоголь испортил и досадно» (*Н. Барсуков*, «Жизнь и труды Погодина», т. IX, стр. 479).

[384] (Стр. 502) Это знаменитое чтение комедии А. Н. Островского состоялось у Погодина 3 декабря 1849 г. До того Гоголь уже был знаком с пьесой Островского «Семейная картина» и весьма положительно ее оценивал (ср. *Н. Барсуков*, «Жизнь и труды Погодина», т. XI, стр. 65). «Свои люди сочтемся» произвели на Гоголя сильное впечатление. По свидетельству С. В. Максимова, Гоголь, «на вопрос хозяина <Погодина>, отозвался о пьесе одобрительно» и написал даже отзыв. «Похвальный отзыв Гоголя, написанный на клочке бумаги карандашом, передан был Погодиным А. Н. Островскому и сохранялся им как драгоценность» (*С. В. Максимов*, «А. Н. Островский. По моим воспоминаниям» — в кн. Полн. собр. соч. Островского, «Просвещение», т. XI, стр. 30). Сохранился, однако, малоизвестный отзыв Гоголя (в записи одного из его знакомых — Д. К. Малиновского) с некоторыми критическими замечаниями о комедии «Свои люди сочтемся»: «По моему мнению, автор сделал в своей пьесе то упущение, что старик отец в последнем акте вдруг без всякого ведома и ожидания читателя и зрителя является узником. Я на месте автора предпоследнее действие непременно окончил бы тем, что приходят и берут старика в тюрьму. Тогда и зритель и читатель были бы ощутительно приготовлены к силе последнего акта» (газета «Русский», 1868, от 30 июля, № 22; см. также «Записки Общества истории филологии и права при Варшавском университете», вып. I, В. 1902, стр. 91).

[385] (Стр. 503) В связи с тем, что прямых отзывов Гоголя об Островском нет, это замечание Н. В. Берга очень ценно. Достоверность его подтверждается и некоторыми другими свидетельствами. Ср., напр., запись Погодина: «И. Д. Беляев сказывал, что он хочет печатать статьи исторические. Он тоже подвигнет все-таки меня, *как Островский Гоголя*» (*Н. Барсуков*, «Жизнь и труды Погодина», т. XI, стр. 71).

[386] (Стр. 503) Т. е. к Погодину, жившему на Девичьем поле. Речь идет об именинах Гоголя, отмечавшихся 9 мая 1850 г.

[387] (Стр. 503) Это объявление напечатано в «Прибавлениях» к № 55 «Московских ведомостей» от 9 мая 1850 г. Таким образом, подтверждается, что речь у Берга идет об именинах Гоголя не в 1849 г., а именно в 1850. Содержание объявления таково: некий отставной корнет Я. Атуев из Оренбургской губернии предлагал свои услуги в качестве дрессировщика охотничьих собак; ярко расписав свои выдающиеся способности дрессировщика, он затем сообщал о появлении в своем уезде большого количества волков с белыми лапами: «Сверх сего я обучаю людей подзывать волков и так верно, что по отзыву этого зверя могу утвердительно определить число их стоп: а как в Мензелинском уезде в настоящее время показано много прибыли волков с белыми лапами, похищавших преимущественно достояние государственных крестьян, которые хотя и сами воют также волком, но не могут еще в точности определить число кочующих стай, для чего нужно время…»

Это, на первый взгляд, невинное объявление вызвало большой переполох в Москве. Запись в дневнике О. М. Бодянского от 11 мая 1850 г. помогает раскрыть истинный смысл загадочного объявления: «Говорят, что это иносказание: под волками разуметь следует чиновников министерства государственных имуществ, обирающих в Оренбургской и других губерниях государственных крестьян» («Русская старина», 1888, № 11, стр. 406).

Объявление чудом проскочило в печать. Обер-полицмейстер, обязанный визировать ряд материалов в «Московских ведомостях», продержал у себя объявление Я. Атуева более двух месяцев и, не разобравшись в нем, разрешил к печати. Редактор и корректор поплатились за помещение объявления трехдневным домашним арестом.

[388] (Стр. 503) Речь идет о балладе Е. П. Ростопчиной «Несильный брак», опубликованной в «Северной пчеле» от 17 декабря 1846 г., № 284. Содержание баллады таково: барон обвиняет свою жену в том, что она его не любит и изменяет ему; она отвечает, что не может его любить, ибо он силой овладел ею и превратил в узницу и рабу. В аллегорической форме средневековой легенды стихотворение осуждало политику царского правительства в Польше. Баллада вызвала большой шум в Петербурге. Номер «Северной пчелы», в которой была напечатана

баллада, конфисковали. Разъяренный Николай I сделал выговор цензуре и был готов отстранить Булгарина от издания газеты. Но начальник III отделения граф А. Ф. Орлов взял его под защиту, убедив царя, что Булгарин не понял смысла напечатанного им стихотворения. Ростопчина была вызвана для объяснений. (Об этом инциденте см. у *А. В. Никитенко*, «Записки и дневник», изд. 2-е, т. I, Спб. 1905, стр. 366–368, и *Н. Барсукова*, «Жизнь и труды Погодина», т. IX, стр. 21–22.)

389 (Стр. 505) Повидимому — 1838 г., во время пребывания Гоголя в Италии.

390 (Стр. 507) См. примеч. 376*.

391 (Стр. 510) Кроме черновых набросков пяти глав II тома «Мертвых душ», в бумагах Гоголя были найдены еще «Рассуждения о божественной литургии» и «Авторская исповедь».

392 (Стр. 510) Имеется в виду литография «Гоголь на смертном одре» художников Соколова и Зенькова.

393 (Стр. 510) Речь идет о литографии художника А. С. Солоницкого.

394 (Стр. 510) По свидетельству Е. Г. Сальяс (в письме к М. А. Максимовичу) гроб с телом Гоголя от его квартиры на Никитском бульваре до здания Московского университета несли помимо Берга — А. Н. Островский, Е. М. Феоктистов, Т. И. Филиппов, Руднев и студент Сотин («Русский архив», 1907, III, стр. 437).

А. Т. ТАРАСЕНКОВ
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ Н. В. ГОГОЛЯ

Обстоятельства смерти Гоголя и особенно предшествовавшие ей драматические события в последние дни его жизни нашли отражение в многочисленных мемуарах, а также — в письмах современников. Вокруг этих событий было создано немало легенд. Настоящие воспоминания отличаются прежде всего фактической достоверностью. Это подробный и точный рассказ очевидца — Алексея Терентьевича Тарасенкова (1816–1873), крупного медика, главного врача Шереметьевской больницы в Москве, лечившего и близко наблюдавшего Гоголя в последние дни его жизни.

Мемуарам Тарасенкова дал высокую оценку Н. Г. Чернышевский, назвавший их документом «драгоценным для истории нашей литературы» (Полн. собр. соч., т. IV, Гослитиздат, 1948, стр. 686). Они были впервые напечатаны в «Отечественных записках», 1856, № 12 и в следующем году вышли отдельным оттиском. По цензурным и иным причинам здесь были опущены некоторые факты и имена, восстановленные по рукописи во втором издании (М. 1902). Несколько раньше, в 1897 г., в IV томе своих «Материалов для биографии Гоголя»

В. И. Шенрок напечатал эти воспоминания, вероятно, по черновой рукописи, предоставленной ему сыном автора (стр. 850–865). Но текст здесь в ряде случаев явно неисправен. Мы воспроизводим «Последние дни жизни Н. В. Гоголя» по второму изданию (М. 1902) с сокращениями.

395 (Стр. 511) После Гоголя осталось много записных книжек, в которые он имел обыкновение заносить всякого рода наблюдения, выписки и заметки относительно интересующих его предметов, явлений, полюбившиеся ему слова и т. д. Такие записи он делал еще в Нежине в своей «Книге всякой всячины, или Подручной энциклопедии» (1826). Записными книжками Гоголь пользовался до конца своей жизни.

По свидетельству А. О. Смирновой-Россет «у Гоголя всегда в кармане была записная книжка или просто клочки бумаги. Он заносил сюда все, что в течение дня его поражало или занимало: собственные мысли, наблюдения — уловленные, оригинальные или почему-либо поразившие его выражения и проч. Он говорил, что если им ничего не записано, то это потерянный день; что писатель, как художник, всегда должен иметь при себе карандаш и бумагу, чтобы наносить поражающие его сцены, картины, какие-либо замечательные, даже самые мелкие детали. Из этих набросков для живописца создаются картины, а для писателя — сцены и описания в его творениях. «Все должно быть взято из жизни, а не придумано досужей фантазией» («Из рассказов А. О. Смирновой-Россет о Гоголе». В записи П. Висковатова. — «Русская старина», 1902, т. III, стр. 488).

396 (Стр. 512) Этот разговор касался главным образом постановки «Женитьбы» на сцене Московского Малого театра (*А. Т. Тарасенков*. «Последние дни жизни Н. В. Гоголя», изд. 2-е, М. 1902, стр. 10).

397 (Стр. 512) Комедия в одном действии «Провинциалка» И. С. Тургенева была впервые опубликована в «Отечественных записках», 1851, № 1 и в том же году поставлена на сцене.

398 (Стр. 512) А. Т. Тарасенков занимался психиатрией и написал ряд научных работ в этой области.

399 (Стр. 512) Этот факт подтверждается и другими источниками. Ср., напр., свидетельство О. М. Бодянского (в изложении Кулиша): «За девять дней до масляной <25 января 1852 — т. е. меньше чем за месяц до смерти Гоголя> О. М. Бодянский видел его <Гоголя> еще полным энергической деятельности. Он застал Гоголя за столом, который стоял почти посреди комнаты и за которым поэт обыкновенно работал сидя. Стол был покрыт зеленым сукном. На столе были разложены бумаги и корректурные листы» («Записки о жизни Гоголя», т. II, стр. 258). Ср. еще свидетельство М. Погодина (наст. изд., стр. 659, примеч. 335).

400 (стр. 513) Это неверно. Гоголь очень часто прибегал к помощи переписчиков. Его слуга Яким Нимченко, например, свидетельствует, что Гоголь это делал еще в 30-е годы, до отъезда за границу: «Когда «сочинял», то писал сначала сам, а потом отдавал переписывать писарю, так как в типографии не всегда могли разобрать его руку» (см. наст. изд., стр. 82*). «Мертвые души», как известно, писались под диктовку автора Пановым и Анненковым, а затем после многочисленных поправок Гоголя были окончательно перебелены писцом (см. воспоминания С. Т. Аксакова, наст. изд., стр. 138*).

401 (Стр. 514) См. примеч. 201*.

402 (Стр. 516) Это произошло в ночь с 11 на 12 февраля 1852 г.

А. М. ЩЕПКИН
ИЗ «РАССКАЗОВ М. С. ЩЕПКИНА»

Великий русский актер Михаил Семенович Щепкин (1788–1863) был одним из самых близких и любимых друзей Гоголя. Их знакомство состоялось в Москве летом 1832 г. и вскоре переросло в личную и творческую дружбу, закрепленную частыми встречами и в высшей степени интересной перепиской. Гоголь и Щепкин были восторженными почитателями друг друга. И это естественно: реалистическое творчество каждого из них имело общую идейную и художественную основу. Пьесы Гоголя помогли с наибольшей силой проявиться сценическому таланту великого актера. С другой стороны, именно Щепкин, создавший, по выражению Герцена, правду на русской сцене, впервые раскрыл на ней силу и глубину драматургического гения Гоголя.

По свидетельству А. Н. Афанасьева, Гоголь не раз пользовался рассказами Щепкина как материалом для своих произведений («Библиотека для чтения», 1864, № 2, стр. 7–8). Об этом же пишет и М. А. Щепкин со слов отца (см. наст. изд., стр. 528*). Дружба с Гоголем не помешала Щепкину сурово осудить «Развязку «Ревизора», написанную в период идейного кризиса писателя и представлявшую собой реакционную попытку парализовать обличительный смысл великой комедии.

Щепкин на одиннадцать лет пережил Гоголя, но умер с его именем на устах. Сохранился рассказ внука Щепкина: «По словам сопровождавшего его слуги Александра, Михаил Семенович, заболев, почти сутки лежал в забытьи, и вдруг неожиданно соскочил с постели… *«Скорей, скорей одеваться»*, — закричал он. — «Куда вы, Михаил Семенович? Что вы, бог с вами, лягте», — удерживал его Александр. — *«Как куда? Скорее к Гоголю»*. — «К какому Гоголю?» — *«Как к какому? К Николаю Васильевичу»*. — «Да что вы, родной, господь с вами, успокойтесь, лягте, Гоголь давно умер». — «*Умер?* — спросил Михаил

Семенович. — *Умер... да, вот что...*» Низко опустил голову, покачал ею, отвернулся лицом к стене и навеки заснул» («Исторический вестник», 1900, № 8, стр. 464–465).

М. С. Щепкин не оставил написанных мемуаров о Гоголе. Но до нас дошел ряд его устных рассказов и воспоминаний о любимом писателе, которыми он делился в семейном кругу. Настоящий отрывок извлечен нами из «Рассказов М. С. Щепкина», записанных его сыном Александром Михайловичем Щепкиным и впервые опубликованных в журнале «Исторический вестник» (1898, № 10, стр. 216).

403 (Стр. 526) Помещик Хлобуев и полковник Кошкарев — персонажи второго тома «Мертвых душ». В отношении Хлобуева А. Н. Афанасьев дает другую версию. Со слов М. С. Щепкина, он утверждает, что прототипом Хлобуева явился П. В. Нащокин — один из друзей Пушкина и знакомый Гоголя («Биб-ка для чтения», 1864, № 2, стр. 8; см. примеч. 106[*]).

М. А. ЩЕПКИН
ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О М. С. ЩЕПКИНЕ»

Эти воспоминания записаны внуком актера, М. А. Щепкиным. В примечании к ним он указывал: «Воспоминания о моем деде, знаменитом артисте Михаиле Семеновиче Щепкине, я записал со слов моих родителей, а также и других близких родственников». «Воспоминания» впервые опубликованы в августовской книжке журнала «Исторический вестник» за 1900 г. и перепечатаны в кн.: «М. С. Щепкин. Записки его, письма, рассказы...», Спб. 1914. Мы воспроизводим по первопечатному изданию два отрывка, непосредственно относящиеся к Гоголю (стр. 442–443, 445–446).

404 (Стр. 527) Цитата из любимой Гоголем юмористической народной песни. О первом визите Гоголя к Щепкину сохранился еще рассказ сына актера — П. М. Щепкина (в записи В. И. Веселовского): «Не помню, как-то на обед к отцу собралось человек двадцать пять — у нас всегда много собиралось: стол, по обыкновению, накрыт был в зале; дверь в переднюю, для удобства прислуги, отворена настежь. В середине обеда вошел в переднюю новый гость, совершенно нам незнакомый. Пока он медленно раздевался, все мы, в том числе и отец, оставались в недоумении. Гость остановился на пороге в залу и, окинув всех быстрым взглядом, проговорил слова всем известной малороссийской песни:

Ходит гарбуз по горо́ду,

Пытается своего роду:

Ой, чи живы, чи здоровы

Вси родичи гарбузовы?

Недоумение скоро разъяснилось — нашим гостем был Н. В. Гоголь, узнавший, что мой отец тоже, как и он, из малороссов» («Русская старина», 1872, № 2, стр. 283).

[405] (Стр. 528) Эту черту характера Гоголя отмечали и некоторые другие современники. Ср., напр., воспоминания художника И. К. Айвазовского (1817–1900), познакомившегося с Гоголем в Италии в 1841 г.: «Появление нового незнакомого лица, подобно дождевой туче, мгновенно набрасывало тень на сияющее доброю улыбкою лицо Гоголя: он умолкал, хмурился, как-то сокращался, как будто уходил сам в себя. Эту странность характера замечали в нем все его близкие знакомые. Со мной, однакоже, он довольно скоро сошелся, и я не раз наслаждался его милою беседою» («Русская старина», 1878, № 7, стр. 423–424).

[406] (Стр. 528) Из второй главы первоначальной редакции второго тома «Мертвых душ». Что Щепкин подсказал Гоголю этот эпизод, подтверждает и А. Н. Афанасьев («Библиотека для чтения», 1864, № 2, стр. 8).

[407] (Стр. 529) Эта встреча состоялась 20 октября 1851 г. (см. подробно о ней ниже в воспоминаниях Тургенева[*]).

[408] (Стр. 529) Гоголь имел в виду книгу Герцена «О развития революционных идей в России», вышедшую незадолго перед тем, в 1851 г., за границей. В указанной книге Герцен подверг резкой и справедливой критике «Выбранные места из переписки с друзьями». (Об отношении Гоголя к Герцену см. в наст. изд. стр. 647[*]—648.)

[409] (Стр. 530) Очень важное признание Гоголя. Ср. вариант этого эпизода в воспоминаниях М. С. Щепкина, записанный П. А. Кулишом:

«Разговор с Тургеневым. Французской перевод. Гоголь знал, кто помогал переводчику (Тургенев). «Что я сделал Герцену! он [срамит] унижает меня перед потомством. Я отдал бы половину жизни, чтобы не издавать этой книги [Переписка]. Жуковский такой мягкий человек. Он всякому моему слову придает вес».

— Для Герцена не личность ваша, а то, что вы передовой человек, который вдруг сворачивает с своего пути. — «Мне досадно, что друзья придали мне политич<еское> значение. Я хотел показать Перепискою, что я не то, и перешел за черту, увлекшись» («Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», I, 1936, стр. 147). См. также воспоминания И. И. Панаева (наст. изд., стр. 219)[*].

И. С. ТУРГЕНЕВ
ГОГОЛЬ

Гоголь и Тургенев впервые встретились в 1835 г., в стенах Петербургского университета, задолго до их личного знакомства.

Первый из них в то время был адъюнкт-профессором кафедры всеобщей истории, второй — студентом. В 1841 г. они случайно несколько раз встречались в известном литературном салоне А. П. Елагиной. Знакомство же их состоялось много лет спустя.

Имя Тургенева первый раз упоминается в письмах Гоголя в декабре 1847 г. (Письма, т. III, стр. 266). Из контекста письма можно предположить, что это имя Гоголю уже знакомо. Произведения Тургенева стали регулярно появляться в печати с начала 40-х гг. Однако широкая известность Тургенева начинается в 1847 г. в связи с огромным успехом очерков «Из записок охотника», печатавшихся в «Современнике». Очевидно, они и усилили интерес Гоголя к молодому писателю. 7 сентября 1847 г. он пишет Анненкову: «Изобразите мне также портрет молодого Тургенева, чтобы я получил о нем понятие как о человеке; как писателя я отчасти его знаю: сколько могу судить по тому, что прочел, талант в нем *замечательный* и обещает большую деятельность в будущем» (Письма, т. IV, стр. 83). В последние годы своей жизни, будучи уже тяжело больным, Гоголь продолжал внимательно следить за современной русской литературой, судьбы которой его глубоко волновали. В беседах со своими знакомыми Гоголь часто называл имя Тургенева. По свидетельству Е. А. Черкасской, Гоголь месяца за два до смерти сказал: «Во всей теперешней литературе больше всех таланту у Тургенева» («В. П. Боткин и И. С. Тургенев», «Academia», 1930, стр. 32–33). Ср. также в наст. изд. стр. 423 и 490.

Однажды Щепкин сообщил Гоголю о приезде в Москву Тургенева и о его желании познакомиться с ним. Знакомство состоялось 20 октября 1851 г. Тургенев и Щепкин подробно рассказывают об этой интереснейшей встрече.

Настоящие мемуары Тургенева были написаны летом 1869 г. и в цикле его «Литературных и житейских воспоминаний» опубликованы в том же году в первом томе «Сочинений И. С. Тургенева». В двух последующих изданиях произведений писателя цикл пополнялся его новыми работами. Мы воспроизводим текст по последнему прижизненному изданию «Сочинений», т. I, М. 1880, стр. 63–72. Кроме материала о Гоголе, эти воспоминания Тургенева содержат несколько заметок о Жуковском, Крылове, Лермонтове и Загоскине, нами опускаемых.

[410] (Стр. 533) В воспоминаниях А. О. Смирновой есть ряд интересных деталей о содержании этих «замечаний» Гоголя, ставших ей известными, вероятно, со слов Тургенева или Щепкина: «Тургенев был у Гоголя в Москве, тот принял его радушно, протянул руку, как товарищу, и сказал ему: «У вас есть талант, не забывайте же: талант есть дар божий и приносит десять талантов за то, что создатель вам дал даром. Мы обнищали в нашей литературе, обогатите ее. Главное — не спешите печатать, обдумывайте хорошо. Пусть скорее создастся повесть в вашей

голове и тогда возьмитесь за перо, марайте и не смущайтесь. Пушкин беспощадно марал свою поэзию, его рукописей теперь никто не поймет, так они перемараны» («Автобиография», 1931, стр. 308).

411 (Стр. 533) *Искандер* — псевдоним А. И. Герцена. Речь идет о его книге «Развитие революционных идей в России» (см. примеч. 408*).

412 (Стр. 534) Пять лет спустя после смерти Гоголя П. А. Кулиш издал «Сочинения и письма Н. В. Гоголя» в шести томах (Спб., 1857), содержавшие 780 писем Гоголя.

413 (Стр. 534) По словам Щепкина, Гоголь во время этой беседы отрицательно отозвался о своих «Выбранных местах из переписки с друзьями», сказав при этом, что он уничтожил бы их, «если бы можно было воротить назад сказанное» (наст. изд., стр. 530). Ср. также в воспоминаниях И. И. Панаева (наст. изд., стр. 219).

414 (Стр. 534) Речь, повидимому, идет о статье «О преподавании всеобщей истории».

415 (Стр. 535) Тургенев запамятовал. По верному свидетельству Г. П. Данилевского, это чтение происходило не через «два дня» (т. е. 22 октября), а спустя две недели — 5 ноября (см. наст. изд., стр. 445*).

416 (Стр. 536) Имеется в виду Г. П. Данилевский.

417 (Стр. 536) Данилевский в своих воспоминаниях дает другую версию этого эпизода. После чтения «Ревизора» его, якобы, задержал сам Гоголь, передал пакет для вручения в Петербурге П. А. Плетневу и затем просил прочитать что-нибудь из собственных произведений (см. наст. изд., стр. 445–446*).

418 (Стр. 537) Эта статья Тургенева была написана три дня спустя после смерти Гоголя — 24 февраля 1852 г., и предложена к опубликованию в «С.-Петербургские ведомости». Цензор Пейкер отказался, однако, ее пропустить. Запрет был подтвержден попечителем Петербургского учебного округа и председателем цензурного комитета М. Мусиным-Пушкиным. На запрос начальника III отделения и шефа жандармов гр. А. Ф. Орлова Мусин-Пушкин ответил, что ему «казалось неуместным писать о Гоголе в таких пышных выражениях, едва ли приличных, говоря о смерти Державина, Карамзина или некоторых других наших знаменитых писателей, и представлять смерть Гоголя как незаменимую потерю, а не разделяющих это мнение — легкомысленными или близорукими» (*М. К. Лемке*, «Арест и высылка И. С. Тургенева», «Русская мысль», 1906, кн. II, отд. VII, стр. 18). Характеризуя физиономию главы петербургской цензуры, Тургенев писал 3 марта 1852 г. И. С. Аксакову, что он, Мусин-Пушкин, «не устыдился назвать Гоголя публично писателем лакейским» (наст. изд.,

стр. 543). Между тем статья Тургенева продолжала оставаться под запретом. Жалоба издателя «С.-Петербургских ведомостей» Краевского министру просвещения Ширинскому-Шихматову оказалась без последствий.

Тургенев решил попытаться напечатать статью в Москве и переслал ее своим друзьям — Е. М. Феоктистову и В. П. Боткину. Председатель московского цензурного комитета В. И. Назимов, не зная о запрещении статьи в Петербурге, не препятствовал ее опубликоваиию. III отделение, перехватив ряд писем Тургенева, догадалось о его намерении напечатать свою статью в Москве и предупредило об этом московские власти. Но предупреждение опоздало на два дня. 13 марта 1852 г. статья Тургенева в форме «Письма из Петербурга» появилась на страницах «Московских ведомостей».

419 (Стр. 539) Присутствие московского генерал-губернатора А. А. Закревского на похоронах Гоголя было вызвано, разумеется, отнюдь не уважением его к памяти великого писателя. «Граф Закревский не читал Гоголя, но на похороны приехал», — сообщал Н. Ф. Павлов А. В. Веневитинову (*Барсуков*, «Жизнь и труды Погодина», т. XI, стр. 538). Смерть Гоголя вызвала огромное возбуждение в Москве. Власти опасались политических манифестации. Именно этими опасениями объяснялось присутствие на похоронах Закревского. В специальном донесении графу Орлову он писал: «В день погребения народу было всех сословий и обоего полу очень много, а чтобы в это время *все было тихо* (курсив наш. — *С. М.*), я приехал сам в церковь» («Красный архив», 1925, т. 2, стр. 301).

420 (Стр. 539) Последствия статьи Тургенева были таковы: III отделение запросило у А. А. Закревского сведения о Феоктистове и Боткине, содействовавших публикации «Письма из Петербурга» в «Московских ведомостях». По сообщению московского генерал-губернатора проведенное следствие установило, что они не знали о запрещении статьи Тургенева в Петербурге (см. *Н. В. Дризен*, «Арест и ссылка И. С. Тургенева» — «Исторический вестник», 1907, № 2, стр. 563). Это было сочтено смягчающим обстоятельством, и наказание в отношении Феоктистова и Боткина ограничилось тем, что их взяли под полицейский надзор (см. *Е. М. Феоктистов*, «За кулисами политики и литературы 1848–1896», 1929, стр. 17–18).

В отношении Тургенева, дело приобрело более серьезный оборот. Вмешался лично Николай I. На докладе гр. А. Ф. Орлова, предлагавшего вызвать Тургенева в III отделение для соответствующего внушения и учредить за ним секретное наблюдение, Николай I собственноручно написал: «Полагаю этого мало, а за явное ослушание посадить его на месяц под арест и выслать на жительство на родину под присмотр» («Русская мысль», 1906, кн. II, отд. VII, стр. 21).

Суровое наказание, которому подвергся Тургенев, объяснялось, конечно, не только статьей о Гоголе. Главная причина состояла в том, что Тургенев вызвал крайнее неудовольствие царского правительства своей только что вышедшей отдельным изданием антикрепостнической книгой «Записки охотника», ранее печатавшейся на страницах «Современника». Статья о Гоголе явилась поводом для расправы с Тургеневым. 1 мая 1852 г. он писал Полине Виардо: «Я, по высочайшему повелению, посажен под арест в полицейскую часть за то, что напечатал в одной московской газете несколько строк о Гоголе. Это только послужило предлогом — статья сама по себе совершенно незначительна. Но на меня уже давно смотрят косо и потому привязались к первому представившемуся случаю... Хотели заглушить все, что говорилось по поводу смерти Гоголя, — и кстати обрадовались случаю подвергнуть вместе с тем запрещению и мою литературную деятельность» (*И. С. Тургенев*, Собр. соч., т. 11, изд. «Правда», 1949, стр. 96).

[421] (Стр. 540) Это едва ли соответствует действительности. Чтение лекций в университете строго контролировалось, и трудно себе представить, чтобы кто-либо из преподавателей мог систематически и беспричинно пропускать занятия. В апреле 1835 г., например, возникло целое дело в связи с тем, что Гоголь и еще три преподавателя пропустили по одной лекции. Попечитель Петербургского учебного округа потребовал от ректора университета специального объяснения по этому поводу. Гоголь должен был написать рапорт на имя ректора о «причине небытности... на лекции» (Полн. собр. соч., т. X, стр. 364–365).

ИЗ ПИСЕМ

Мы печатаем три письма (два из них — в отрывках) Тургенева, имеющих мемуарный характер. Они являются существенным дополнением к его воспоминаниям о Гоголе. Текст писем воспроизводится по изданию: И. С. Тургенев, Собр. соч., т. 11, изд. «Правда», 1949, подготовленное Н. Л. Бродским, стр. 93–95.

[422] (Стр. 541) Это письмо было фактически адресовано и В. П. Боткину. В письме от 21 февраля 1852 г. Боткин рассказал Тургеневу некоторые подробности о последних днях жизни Гоголя («Боткин и Тургенев», «Academia», 1930, стр. 17–21).

[423] (Стр. 542) В связи с арестом Тургенева это намерение не было осуществлено.

[424] (Стр. 542) Речь идет об отпевании Гоголя в церкви при Московском университете, почетным членом которого он был. Славянофилы требовали, чтобы этот обряд был совершен в приходской церкви, в в знак протеста, по словам Е. Г. Салиас, «устранились от погребения» («Русский архив», 1907, III, стр. 437).

[425] (Стр. 542) Имеется в виду стихотворение Некрасова «Блажен незлобивый поэт», опубликованное в «Современнике», 1852, № 3.

[426] (Стр. 542) Полный текст этого письма до сих пор не обнаружен. Оно было перлюстрировано III отделением. Настоящий отрывок был найден М. К. Лемке в «деле» Тургенева, возникшем в связи с его статьей о Гоголе, и впервые опубликован в «Русской мысли», 1906, кн. II, стр. 19.

Д. А. ОБОЛЕНСКИЙ
О ПЕРВОМ ИЗДАНИИ ПОСМЕРТНЫХ СОЧИНЕНИЙ ГОГОЛЯ

Князь Дмитрий Александрович Оболенский (1822–1881) — видный судебный чиновник, впоследствии — товарищ министра государственных имуществ и член Государственного совета. В 50-е годы он вращался в литературной среде, близкой к славянофилам. С Гоголем Оболенский познакомился через А. П. Толстого в 1848 г., часто встречался с ним, слушал в чтении автора отрывки из второго тома «Мертвых душ». После смерти Гоголя Оболенский принимал участие в хлопотах по изданию его собрания сочинений (1855).

Воспоминания Оболенского содержат ряд интересных фактов, касающихся истории этого издания, а также рассказ о его встречах с писателем. Особенно важны некоторые сообщаемые им детали о недошедших до нас главах второго тома «Мертвых душ». Воспоминания Оболенского были опубликованы в журнале «Русская старина», 1873, № 12, стр. 940–953, откуда мы перепечатываем их с некоторыми сокращениями.

[427] (Стр. 544) Речь идет о нашумевшей в начале 70-х гг. мистификации. В первой книжке «Русской старины» за 1872 г. было напечатано несколько «новых отрывков и вариантов» из второго тома «Мертвых душ». Во вступительной заметке редакция журнала объяснила происхождение этих «отрывков и вариантов»: они якобы сохранились в рукописи, принадлежавшей Н. Я. Прокоповичу; эту рукопись он подарил своему сослуживцу — полковнику, литератору Н. Ф. Ястржембскому, с разрешения последнего рукопись была скопирована директором могилевских училищ М. М. Богоявленским, который и предложил редакции «Русской старины» ее опубликовать.

«Новые материалы» Гоголя естественно привлекли к себе всеобщее внимание. Некоторые критики стали делать поспешные выводы о Гоголе на основании этих «материалов» (см., напр., статью В. Чижова «Последние годы Гоголя», «Вестник Европы», 1872, № 7). Между тем оказалось, что никакой подлинной рукописи Гоголя не существовало и что вся эта история является мистификацией со стороны Ястржембского, признавшегося в том, что он сам сочинил приписанные Гоголю «отрывки и варианты», чтобы потешиться над своим доверчивым приятелем Богоявленским. (Об этом эпизоде см.: «Русская

старина», 1873, № 8, стр. 244–252; «Вестник Европы», 1873, № 8, стр. 822–840; № 9, стр. 449–456; «С.-Петербургские ведомости», 1873, №№ 167, 175, 185, 210, 220; и др. О полемике вокруг этой мистификации см. также статью Ю. Масанова «Литературные мистификации». — «Советская библиография», Сб. 1 (18), М. 1940, стр. 135–137.)

428 (Стр. 545) Знакомство не могло состояться летом 1848 г., ибо Гоголь приехал в Москву лишь в октябре.

429 (Стр. 545) Интересуясь ходом работы над вторым томом «Мертвых душ», А. О. Смирнова в одном из писем к Гоголю спрашивала: «Что делают все ваши и мои знакомые? Тентетников и проч.?» («Русская старина», 1890, № 11, стр. 360). Гоголь отвечал ей 29 июля 1849 г.: «Кланяется вам Тентетников» (Письма, т. IV, стр. 273).

430 (Стр. 546) *«Социальным бредом иноземных мыслителей»* реакционер Оболенский называет освободительные идеи, которым служили гениальные произведения Пушкина и Гоголя.

431 (Стр. 547) Гоголь находился в Одессе с 26 октября 1850 г. до середины апреля 1851 г., затем на некоторое время поехал домой, в Васильевку, а оттуда 5 июня 1851 г. вернулся в Москву.

432 (Стр. 548) Цитата из второго тома «Мертвых душ» (начальные строки первой главы).

433 (Стр. 549) После смерти Гоголя в его квартире среди немногих уцелевших бумаг были найдены пять, в разное время написанных, черновых глав второго тома «Мертвых душ». Они были впервые изданы Н. Трушковским в Москве в 1855 г.

434 (Стр. 549) См. примеч. 427*.

435 (Стр. 552) Речь идет о задуманном Гоголем втором издании своих сочинений (см. примеч. 332*).

436 (Стр. 553) См. примеч. 418*, 419*, 420*.

437 (Стр. 554) В конце февраля 1852 г. один из московских знакомых Булгарина П. В. Хавский прислал ему пучок лавровых листьев с гроба Гоголя. Восприняв этот подарок за насмешку, разъяренный Булгарин написал Хавскому письмо, полное грубой брани по адресу Гоголя. Об этом-то письме и идет речь.

438 (Стр. 556) Выполнил ли это намерение Шевырев — неизвестно. Во всяком случае его воспоминания не дошли до нас.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
СОЧИНЕНИЯ И ПИСЬМА Н. В. ГОГОЛЯ

Впервые опубликовано в журнале «Современник», 1857, № 8. В настоящем издании статья воспроизводится по тексту Полн. собр. соч. Чернышевского (т. IV, Гослитиздат, М. 1948, стр. 626–665) с сокращениями. В квадратные скобки редактором указанного тома введен текст, вычеркнутый цензурой или удаленный самим автором или редакцией «Современника» по цензурным соображениям.

439 (Стр. 557) Речь идет о статье М. Н. Лонгинова «Заметка по случаю нового издания сочинений и писем Гоголя», напечатанной в «Московских ведомостях», 1857, № 4.

440 (Стр. 558) См. примеч. 50*.

441 (Стр. 559) В издании П. А. Кулиша собрание писем Гоголя является действительно неполным. Там дано всего 780 писем. В известном четырехтомном издании писем Гоголя под ред. В. И. Шенрока (Спб., изд. Маркса, 1901) появилось почти 400 новых писем. Но и это собрание не исчерпывает всего эпистолярного наследия писателя. В издаваемом ныне Академией наук СССР Полном собрании сочинений Гоголя будет напечатано около 1300 его писем.

442 (Стр. 559) Имеются в виду резкие отзывы критики на реакционную комедию В. А. Соллогуба «Чиновник», появившуюся в 1857 г. в журнале «Русский вестник». Среди этих отзывов была замечательная статья Н. А. Добролюбова «Сочинения графа В. А. Соллогуба» («Современник», 1857, кн. 7).

443 (Стр. 561) В ряде своих статей Чернышевский правильно и глубоко определил великое историческое значение творчества Пушкина. Критик исключительно высоко оценил «художественный гений» Пушкина — «истинного отца нашей поэзии», которого «каждый русский человек наиболее обязан уважать и любить». Вместе с тем, однако, Чернышевский недооценивал идейное содержание творчества Пушкина. Отсюда ошибочное утверждение критика о том, что Пушкин будто бы никогда не был «человеком современных убеждений» и не мог оказать положительного влияния на духовное развитие Гоголя. Это утверждение объяснялось в значительной степени тем, что многие стороны биографии Пушкина не были еще во времена Чернышевского изучены. Например, широко распространена была неправильная версия Жуковского о том, что якобы поэт перед смертью «покаялся» и примирился с Николаем I. Кроме того, Чернышевскому были неизвестны факты, характеризующие глубокую связь Пушкина с декабристами, а также многие его непропущенные цензурой политические стихи, в которых с исключительной силой раскрывался прогрессивный характер убеждений великого поэта.

444 (Стр. 568) *«…случилось Гоголю… вступить в спор с человеком иного образа мыслей»* — речь идет о Белинском. Говоря о *«споре»*,

Чернышевский имеет в виду письма Гоголя к Белинскому: одно из них (дат. около 20 июня 1847 г.) было написано в ответ на статью критика в «Современнике» о «Выбранных местах из переписки с друзьями», другое (от 10 августа 1847 г.) — после прочтения знаменитого письма Белинского. Письма Гоголя стали широко известны после опубликования их Герценом в «Полярной звезде» (Лондон, 1855, кн. 1).

445 (Стр. 570) Отмечая огромную силу «творческой фантазии» Гоголя, Белинский еще в 1842 г. в статье «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» указывал на слабость Гоголя, как мыслителя, называя эту черту в писателе «умственным аскетизмом».

446 (Стр. 576) Анализ дошедших до нас отрывков второго тома «Мертвых душ» дан Чернышевским в первой статье «Очерков гоголевского периода русской литературы» (Полн. собр. соч., т. III, Гослитиздат, М. 1947).

447 (Стр. 578) Чернышевский здесь с иронией говорит о репутации «ученых и мыслителей», какой Погодин и Шевырев пользовались среди славянофилов.

448 (Стр. 579) Речь идет о Белинском и Герцене.

449 (Стр. 580) *«...об одном из тех людей»* — имеется в виду В. А. Жуковский. Статья «Сочинения В. Жуковского», на которую ссылается Чернышевский, была им написана в 1857 г. и напечатана в том же году, в пятой книжке «Современника».

Указатель имен[178]

Август Кай Юлий Цезарь Октавиан (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.) — римский император. — 239, 372.

Азаревичева Мария Аполлоновна (1804–1888) — драматическая актриса Петербургской сцены. — 67.

Аксаков Григорий Сергеевич (1820–1891) — сын С. Т. Аксакова, служил в Симбирске прокурором. — 124, 149, 150, 160, 165.

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) — сын С. Т. Аксакова, поэт и воинствующий публицист славянофильского лагеря. — 162, 441, 443–445, 448, 449, 462, 542.

Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) — старший сын С. Т. Аксакова, публицист, критик, поэт, драматург, один из основоположников славянофильства. — 89, 90, 92, 93, 97–99, 105, 108, 111, 116, 118, 119–127, 132, 135–138, 144, 145, 147, 149–152, 156, 157, 159–162, 164, 168, 169, 173, 174, 183, 184, 188, 189, 200, 203, 207, 212–214, 216, 217, 292, 325, 350, 351, 374, 411, 441, (616).

Аксаков Михаил Сергеевич (1824–1841) — младший сын С. Т. Аксакова. — 100, 101, 110, 113, 118, 124, 132.

Аксаков Николай Тимофеевич (1797–1882) — брат С. Т. Аксакова. — 109.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859). — 87-208, 212–216, 218, 248, 291, 404, 405, 411, 431, 440–442, 444, 445, 494, 495, (601–603).

Аксакова Вера Сергеевна (1819–1864) — старшая дочь С. Т. Аксакова. — 92, 100–106, 108–110, 113–115, 118, 119, 124, 128, 135, 144, 146, 148, 149, 152, 154, 155, 158, 169, 173, 177.

Аксакова Мария Сергеевна (1822–1887) — дочь С. Т. Аксакова. — 106, 152, 173.

Аксакова Надежда Сергеевна (1829–1869) — дочь С. Т. Аксакова. — 152, 431, 438, 441, 442, 444, 448.

Аксакова Ольга Семеновна (1793–1878) — жена С. Т. Аксакова. — 92, 105, 108, 109, 113, 115, 118, 123, 127, 135, 146–149, 152, 156, 159, 164–166, 172, 173, 177, 178, 183, 185, 188, 199, 200, 204, 214, 441, 444, 445.

Аксакова Ольга Сергеевна (1821–1861) — дочь С. Т. Аксакова. — 135, 208.

Аксаковы — 120, 123, 124, 127, 213, 403, 406, 438, 440, 441, 443, 444, 446, 503, 555.

Allan (Аллан-Депрео) Луиза (1809–1856) — актриса французской драматической труппы, игравшей в Петербурге в 1837–1847 гг. — 120.

Александр Македонский (356–323 до н. э.) — царь Македонии. — 493.

Алексей Михайлович (1629–1676) — русский царь. — 165, 391.

Алферьевы — 221.

Альфонский Аркадий Алексеевич (1796–1869) — профессор медицины, ректор Московского университета. — 514, 521.

Амазис I — египетский фараон (царствовал в XVI в. до н. э.). — 72.

Андреев Алексей Симонович (1792–1863) — педагог Петербургского училища правоведения в 30-40-е гг. XIX в. — 398, 399.

Андросов Василий Петрович (1803–1841) — экономист и критик, редактор журнала «Московский наблюдатель» (1835–1837). — 165.

Анненков Павел Васильевич (1813–1887). — 230–339, 374, 383, (627–628, 636–637).

Аристофан (ок. 450 — ок. 380 до н. э.) — древнегреческий драматург. — 372.

Армфельд Александр Осипович (1806–1868) — профессор судебной медицины, инспектор сиротского института Московского воспитательного дома. — 119, 120, 149, 403, 404.

Арнольди Лев Иванович (1822–1860). — 470, 472–498, 555, (666).

Базили Константин Михайлович (1809–1884) — товарищ Гоголя по Нежинской гимназии, впоследствии дипломат и историк; находился в дружеских отношениях с Гоголем, входил в петербургский кружок нежинских «однокорытников» Гоголя, встречался и переписывался с ним и позднее; оставил несколько мемуарных рассказов о Гоголе, использованных П. А. Кулишом и В. И. Шенроком. — 45, 473, 474.

Базунов Иван Васильевич (1786–1866) — московский книготорговец. — 404.

Байрон Джордж-Гордон (1788–1824). — 370, 392.

Бакунин — полицмейстер. — 174.

Балабин Петр Иванович (1776–1855) — отставной жандармский генерал. — 70, 82.

Балабина Варвара Осиповна — жена П. И. Балабина. — 113.

Балабина Марья Петровна — дочь П. И. и В. О. Балабиных; Гоголь в 1831 г. давал ей частные уроки; на протяжении ряда лет писатель находился с ней в переписке. — 113.

Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич (1788–1850) — историк, автор «Словаря достопамятных людей русской земли» и четырехтомной «Истории Малой России»; последним трудом часто пользовался Гоголь в связи с работой над «Тарасом Бульбой», драмой «Выбритый ус», впоследствии сожженной, и другими произведениями из истории Украины. — 282.

Баратынский Евгений Абрамович (1800–1844) — поэт пушкинской плеяды; был лично знаком с Гоголем и по свидетельству С. Т. Аксакова принял в 1838 г. участие в организации материальной помощи Гоголю, сообщившему из Италии о своей «болезни и трудных денежных обстоятельствах». Оценку творчества Баратынского Гоголь дал в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность». — 97, 477, 490.

Бартенев Юрий Никитич (1792–1866) — чиновник, литератор; директор училищ Костромской губернии. — 411.

Басанин Афанасий — повар Английского клуба в Москве. — 410.

Басанин Иван Афанасьевич — сын предыдущего, московский врач. — 410.

Батюшков Константин Николаевич (1787–1855). — 355, 359, 428.

Безбородко Александр Андреевич (1747–1799) — князь, виднейший сановник при Екатерине II, дипломат; его именем была названа «гимназия высших наук» в Нежине. — 41, 55.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848). — 93, 139, 176, 177, 198, 209–211, 216–218, 297, 301–303, 316–321, 325–328, 330, 334–388, 395, 401, 425, 426, 435, 436, 533, (640–641).

Беллини Джованни (1428–1516) — итальянский живописец. — 466.

Белоусов Николай Григорьевич (1799–1854) — профессор юридических наук в Нежинской гимназии и инспектор; главный обвиняемый по т. н. «делу о вольнодумстве», возникшему в 1827 г. и закончившемуся в 1830 г. отстранением по личному приказу Николая I Белоусова и ряда других профессоров от преподавательской деятельности «за вредное на юношество влияние». Гоголь горячо симпатизировал Белоусову и на допросе дал показания в его пользу. — 257.

Бенардаки Дмитрий Егорович — богатый откупщик. — 108, 109, (608–609).

Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807–1873) — поэт, реакционный романтик. — 559.

Бенкендорф Александр Христофорович (1783–1844) — шеф жандармов и начальник III отделения. — 149, 526.

Берг Николай Васильевич (1823–1884). — 411, 444, 445, 499–510, (668).

Бернини Лоренцо (1598–1680) — итальянский архитектор, скульптор и живописец. — 241.

Бецкий Иван Егорович (1818–1890) — литератор и историк, ученик Погодина; издатель альманаха «Молодик». — 74.

Боборыкин Николай Николаевич (1812–1888) — поэт; упоминается в письмах Гоголя в качестве неисправного исполнителя его поручений. — 147, 149.

Богданов А. Ф. (ум. 1877) — режиссер драматического театра в Одессе, а затем Московского Малого театра; встречался с Гоголем в Москве и Одессе. — 419, 421, 422.

Богданова Л. С. — жена предыдущего, сестра М. С. Щепкина. — 419, 420.

Бодянский Осип Максимович (1808–1877). — 428–444, 447, 448, 451, 453, 458, (656).

Бомарше Пьер (1732–1799) — французский драматург. — 237, 393.

Борецкий Иван Петрович (1795–1842) — драматический актер петербургской сцены. — 67.

Боссюэт Жак (1627–1704) — французский богослов, реакционный историк и писатель. — 469.

Боткин Василий Петрович (1811–1869) — либеральный критик, публицист; в 30-40-е гг. был близок Белинскому; в последующие годы стал проповедником «чистого искусства» и ожесточенным противником «партии Чернышевского». — 217, 350, 351, 355, 367, 373, 384, 404, 541, 542.

Боткин Николай Петрович (1813–1869) — брат предыдущего. — 131, 466, 467.

Боченков Василий Васильевич (1789–1856) — драматический актер петербургской сцены и режиссер. — 67.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) — редактор реакционнейшей газеты «Северная пчела»; беспринципный литературный делец и агент III отделения, использовавший свои связи для борьбы с передовыми силами русской литературы; ожесточенный враг Гоголя. — 126, 209, 317, 328–330, 345, 356, 385, 397, 554.

Бурачек Степан Анисимович (1800–1876) — реакционный журналист, редактор мракобесного журнала «Маяк». — 380.

Буслаев Федор Иванович (1818–1897). — 223, 224, (624–625).

Брюллов Карл Петрович (1799–1852) — художник. — 258, (630).

Быков Александр Николаевич — сын племянника Гоголя. — 461.

Быков Владимир Иванович (ум. 1862) — саперный офицер, муж сестры Гоголя — Елизаветы Васильевны. — 439, 453.

Быков Николай Владимирович — сын предыдущего; автор ряда биографических, разысканий о Гоголе. — 461.

Быкова Елизавета Николаевна — дочь племянника Гоголя. — 461.

Валентини — римский банкир, ссужавший иногда Гоголя деньгами. — 135, 159, 196, 468.

Валуев Дмитрий Александрович (1820–1845) — литератор, славянофил. — 207.

Ван-Дейк Антонис (1599–1641) — фламандский художник. — 106.

Варвинский Иосиф Васильевич (1811–1878) — врач, профессор Московского университета. — 522, 523.

Васильев Сергей Васильевич (1827–1862) — актер Московского Малого театра. — 411.

Васильчиков Алексей Васильевич — князь; в 1831 г. Гоголь жил на его даче в Павловске в качестве домашнего учителя его сына Василия. — 70.

Васильчиков Василий Алексеевич — сын предыдущего. — 75.

Васильчикова Александра Ивановна — княгиня, жена А. В. Васильчикова. — 75.

Васьков Федор Иванович — знакомый С. Т. Аксакова. — 114, 115, 158.

Вацлав из Олеска (Waclaw z Oleska) (1800–1849) — собиратель народных песен. — 431, (657).

Великопольский Иван Ермолаевич (1797–1868) — второстепенный поэт и драматург. — 94, 97, 108.

Вельтман Александр Фомич (1800–1870) — романист и археолог. — 411.

Вельяминов Алексей Александрович (1785–1838) — генерал, командующий русскими войсками на Кавказе. — 477.

Верстовский Алексей Николаевич (1799–1862) — композитор и театральный деятель; занимал должность инспектора репертуара московских театров, а затем — управляющего московской конторой императорских театров. — 180, 181, 184.

Виардо Луи (1800–1883) — французский критик и переводчик; в 1845 г. с помощью И. С. Тургенева перевел и издал в Париже сборник повестей Гоголя («Тарас Бульба», «Записки сумасшедшего», «Старосветские помещики», «Коляска» и «Вий»), имевший большой успех во Франции. — 391.

Виардо Полина (1821–1910) — французская певица; была связана многолетней дружбой с И. С. Тургеневым. — 541.

Виельгорская Анна Михайловна (1823–1861) — младшая дочь М. Ю. Виельгорского; была в дружеских отношениях с Гоголем. — 207.

Виельгорская Луиза (1791–1853) — жена М. Ю. Виельгорского. — 468.

Виельгорский Иосиф Михайлович (1817–1839) — сын М. Ю. Виельгорского; познакомился с Гоголем в Риме в 1838 г. — 289, 468.

Виельгорский Михаил Михайлович — сын М. Ю. Виельгорского, служил в русском посольстве в Берлине. — 333.

Виельгорский Михаил Юрьевич (1788–1856) — граф, близкий ко двору сановник, знаток музыки и композитор; хлопотал о разрешении постановки «Ревизора», а также содействовал прохождению через петербургскую цензуру «Мертвых душ». — 139, 303, 467.

Воейков Александр Федорович (1778–1839) — поэт, критик и журналист, издатель военно-литературного журнала «Славянин» (1827–1830), редактор газеты «Русский инвалид» (1822–1839) и «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду» (1831–1837). — 79.

Воейков — жандармский капитан. — 174.

Волков. — 431.

Волконская Зинаида Александровна (1792–1862) — княгиня, в 20-е гг. имела в Москве литературный салон, в котором бывали Пушкин, Мицкевич, Чаадаев, Веневитинов, Вяземский и др. — 221, 276, (624).

Вольтер Мари-Франсуа (1694–1778). — 325, 377.

Врасский Борис Алексеевич (1795–1880) — литератор, пайщик «Отечественных записок». — 116.

Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) — поэт, публицист и критик; в 20-30-е гг. разделял прогрессивные взгляды, был другом Пушкина; в 40-е гг. эволюционировал вправо и перешел вскоре на реакционные позиции, став ожесточенным врагом Белинского и сатирического, гоголевского направления в русской литературе; в 1836 г. опубликовал статью о «Ревизоре», в которой дал положительную оценку комедии; впоследствии выступил в защиту «Выбранных мест из переписки с друзьями». — 74, 120, 383, 436, 467.

Гааз Федор Петрович (1780–1853) — московский врач. — 514.

Гагарин Д. И. — князь. — 426.

Гагарин Сергей Сергеевич (1795–1852) — князь, царский сановник, директор императорских театров (1829–1833). — 65, 66, 68.

Гаевский Виктор Павлович (1826–1888) — литератор, библиограф, автор ряда биографических разысканий о Гоголе. — 83, 432.

Галахов Алексей Дмитриевич (1807–1892). — 403–406, (651–652).

Гедеонов Михаил Александрович (1814–1854) — театральный цензор; цензуровал комедии Гоголя «Игроки» и «Женитьба». — 180.

Гедерин — автор греко-латинского словаря. — 428.

Георгиевский Петр Егорович (1791–1852) — профессор русской словесности в Царскосельском лицее, с 1835 г. — в Училище правоведения. — 400.

Гердер Иоганн-Готфрид (1744–1803) — немецкий поэт и историк. — 397.

Герольд Луи (1791–1833) — французский композитор, автор оперы «Цампа». — 257.

Герцен Александр Иванович (1812–1870). — 338, 389–395, 529, 533, (647–648).

Гете Иоганн-Вольфганг (1749–1832). — 259, 279, 313, 347, 350, 358.

Гизо Франсуа (1787–1874) — французский историк, публицист и политический деятель. — 469.

Глинка Федор Николаевич (1786–1880) — поэт и публицист; видный член Союза Благоденствия, впоследствии реакционер и мистик. — 94, 208.

Гнедич Николай Иванович (1784–1833) — поэт, переводчик «Илиады». — 273.

Гоголь Анна Васильевна (1821–1893) — сестра писателя. — 100, 104–107, 110–115, 119, 120, 122, 141, 147, 150, 152, 154, 160, 200, 409, 453, 461–463.

Гоголь Василий Афанасьевич (1777–1825) — отец Гоголя. — 460, (663).

Гоголь (по мужу Быкова) Елизавета Васильевна (1823–1864) — сестра писателя. — 100, 104–107, 110–115, 119, 120, 122, 125, 128, 141, 147, 148, 150, 152, 154, 160, 199, 439, 453, 462.

Гоголь Иван Васильевич (1810–1819) — младший брат писателя. — 460.

Гоголь (по мужу Трушковская) Марья Васильевна (1811–1844) — старшая сестра Н. В. Гоголя. — 409, 455, 462.

Гоголь-Яновская (урожд. Косяровская) Марья Ивановна (1791–1868) — мать писателя. — 52, 82, 100, 119, 120, 122, 141, 143, 147, 148, 150, 152, 154, 155, 160, 185–187, 195, 196, 201, 204, 205, 250, 251, 451, 453–462, 481, 501, 517.

Гоголь (по мужу Головня) Ольга Васильевна (1825–1907) — младшая сестра Гоголя, — 119, 120, 122, 141, 453, 461.

Голицын Дмитрий Владимирович (1771–1844) — князь, московский генерал-губернатор. — 144.

Головня Василий Яковлевич — племянник Гоголя, сын его сестры Ольги Васильевны. — 461.

Головня Николай Яковлевич — племянник Гоголя, сын его сестры Ольги Васильевны. — 461.

Головня Яков — муж сестры Гоголя Ольги Васильевны. — 461.

Гольдони Карло (1707–1793) — итальянский комедиограф. — 285, 286.

Гомер. — 104, 161, 212, 325, 338, 346, 350, 480.

Гончаров Иван Александрович (1812–1891) — познакомился с Гоголем осенью 1848 г. в Петербурге у А. А. Комарова. — 218, 219, 490.

Гончаров Николай Афанасьевич (1788–1861) — тесть А. С. Пушкина. — 480.

Горбунов Иван Федорович (1831–1895) — драматический актер и автор сцен из русского быта. — 411.

Горбунов Кирилл Антонович (1815–1893) — художник-портретист. — 500.

Горленко Василий Петрович (1853–1907) — литератор, исследователь украинской старины. — 81, 82, (597).

Горчаковы. — 116.

Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) — профессор Московского университета по кафедре всеобщей истории; пользовался большой популярностью среди демократической молодежи; одно время был близок Белинскому и Герцену; с середины 40-х гг. все более стал проникаться либерально-западническими настроениями. — 149, 395.

Гребенка Евгений Павлович (1812–1848) — писатель. — 45, 246, (629).

Греч Николай Иванович (1787–1867) — журналист, беллетрист, филолог; крайний реакционер, друг и ближайший соратник Булгарина, издавал вместе с ним журнал «Сын отечества», а затем и газету «Северная пчела». — 209, 329, 345, 356, 397.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829). — 123, 344, 355, 356, 359, 394.

Григорий XVI — папа римский с 1831 по 1846 гг. — 272, 273, 323.

Григоров Порфирий (в воспом. Арнольди ошибочно назван Григорьевым) — монах, с которым Гоголь познакомился в 1850 г. вовремя посещения Оптиной пустыни. — 491–493.

Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899) — писатель, сотрудничал в «Современнике», но с середины 50-х гг… в период обострения идейной борьбы между сотрудниками журнала — революционными демократами

и либералами, перешел в лагерь последних и выступил против Чернышевского и Добролюбова; познакомился с Гоголем осенью 1848 г. в Петербурге у А. А. Комарова. — 218, 219, 390, 490.

Григорьев Василий Васильевич (1816–1881) — профессор-ориенталист, цензор. — 149.

Грот Яков Карлович (1812–1893). — 414, 415, (653–654).

Губер Эдуард Иванович (1814–1847) — поэт и критик; выступил в «Санктпетербургских ведомостях» со статьей, положительно оцененной Белинским, против «Выбранных мест из переписки с друзьями». — 373.

Гусева Елена Ивановна (1792–1853) — петербургская драматическая актриса. — 78.

Гюго Виктор (1802–1885). — 41.

Давыдов — сенатор. — 471.

Даль Владимир Иванович (псевд. — Казак Луганский) (1801–1872) — писатель, этнограф, впоследствии составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» и «Пословиц русского народа»; познакомился с Гоголем в первой половине 30-х гг. в Петербурге и как писатель был высоко им ценим. — 393.

Данилевский Александр Семенович (1809–1888) — земляк и друг детства Гоголя, учился вместе с ним в Полтавском поветовом училище и затем в Нежинской гимназии высших наук; один из самых ближайших друзей писателя. — 45, 46, 81, 229, 257, 266, 292, 296, 462, 464, 465, (597).

Данилевский Григорий Петрович (1829–1890). — 431, 432, 434–463, (637–638).

Данилевская (урожд. Похвиснева) Ульяна Григорьевна — жена А. С. Данилевского, ее имя якобы навело Гоголя на мысль назвать героиню второго тома «Мертвых душ» Уленькой. — 462.

Данте Алигиери (1265–1321). — 273, 389, 440.

Дегуров Антон Антонович (1765–1849) — профессор истории и французской словесности в Петербургском университете, ректор университета (1825–1836). — 83, 84.

Делавинь Казимир (1793–1843) — французский драматург и поэт. — 68.

Депре Филипп (1789–1858) — владелец винного погреба в Москве. — 410.

Державин Гавриил Романович (1743–1816). — 258, 355, 490, 559.

Диккенс Чарльз (1812–1870). — 223, 535.

Дмитриев Иван Иванович (1760–1837) — поэт карамзинской школы, баснописец; познакомился с Гоголем в июле 1832 г. в Москве. — 46, 123, (590).

Дмитриев Михаил Александрович (1796–1866) — поэт, беллетрист и критик, крайний реакционер. — 120, 147.

Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович (1823–1883) — художник, написал ряд портретов Гоголя. — 501.

Дондуков-Корсаков Михаил Александрович (1794–1869) — попечитель Петербургского учебного округа и председатель петербургского цензурного комитета. — 298, 299.

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881). — 425.

Дружинин Александр Васильевич (1824–1864) — беллетрист и критик либерально-дворянского направления; сотрудничал в «Современнике», но затем порвал с ним; в 1856–1860 гт. редактор «Библиотеки для чтения», со страниц которой вел ожесточенную борьбу с революционно-демократической критикой и обличительным, гоголевским направлением в русской литературе. — 218, 219.

Думнов В. В. — московский книгоиздатель и книгопродавец. — 461.

Дюма Александр (отец) (1803–1870) — французский романист. — 577.

Дюссо — петербургский ресторатор. — 324.

Екатерина II Алексеевна (1729–1796). — 455.

Елагина Авдотья Петровна (1789–1877) — по первому мужу Киреевская, мать Ивана и Петра Киреевских, племянница Жуковского; в ее салоне в Москве бывали крупнейшие русские писатели и ученые, в их числе — Пушкин и Гоголь. — 120, 148, 149, 405,432,531.

Елагины. — 149.

Ефрем Сирин (IV в. н. э.) — церковный проповедник. — 510.

Ефремов Александр Павлович (1815–1876) — преподаватель географии в Московском университете. — 92.

Жанен Жюль (1804–1874) — французский беллетрист романтической школы и критик. — 243.

Живокини Василий Игнатьевич (1806–1874) — артист Московского Малого театра, исполнитель ролей Добчинского, Кочка-рева и Подколесина. — 179, 184, 411.

Живокини Дмитрий Васильевич (ум. 1890) — сын предыдущего; артист Московского Малого театра. — 512.

Жиро Джиованни (1776–1836) — итальянский писатель. — 128, (613).

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) — один из самых близких литературных друзей Гоголя. Они познакомились в начале 1831 г. и находились в дружеских отношениях до конца жизни. Жуковский неоднократно оказывал Гоголю материальную помощь; в 1840-е гг. содействовал развитию у Гоголя религиозно-мистических настроений, нашедших свое выражение в «Выбранных местах из переписки с друзьями». — 69, 70, 72, 73, 76, 77, 82, 83, 85, 104–107, 109–113, 117, 139, 188, 194, 203, 205–207, 215, 216, 225, 228, 243, 282, 303, 304, 308, 329, 331, 347, 359, 436, 447, 448, 466, 467, 480, 514, 560, 564, 569, 570, 580.

Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852) — романист и драматург консервативного направления; в 1831–1842 гг. директор московских императорских театров; познакомился с Гоголем летом 1832 г.; относился к сатирическим произведениям Гоголя враждебно. — 89–91, 95, 96, 120, 143, 149, 184, 216, 319, 360.

Закревский Арсений Андреевич (1783–1865) — генерал-адъютант, министр внутренних дел, московский военный генерал-губернатор. — 539.

Замятин — соученик В. В. Стасова по Училищу правоведения. — 401.

Зверьков — владелец дома в Петербурге, у которого Гоголь на протяжении двух лет, с осени 1829 г., снимал комнату; этот огромный дом-«машина» изображен в «Записках сумасшедшего». — 81.

Зельднер Егор Иванович — надзиратель и преподаватель немецкого языка в Нежинской гимназии (1820–1829). — 41, 42, (587).

Зотов Рафаил Михайлович (1796–1871) — беллетрист, драматург, критик, театральный деятель. — 65.

Зубов Платон Александрович (1767–1822) — генерал-аншеф, фаворит Екатерины II. — 455.

Иваницкий Николай Иванович (1816–1858). — 83–86, 248, (599).

Иванов Александр Андреевич (1806–1858) — художник, познакомился с Гоголем в Риме в 1838 г. и вскоре подружился с ним; создал ряд портретов Гоголя, два самых выдающихся написаны маслом. Гоголь высоко ценил Иванова и написал о нем в 1846 г. статью «Исторический живописец Иванов», вошедшую в «Выбранные места из переписки с друзьями». — 220, 226, 227, 245, 275, 279, 283, 286, 322, 324, 438, 500, 501.

Ильин Николай Петрович — знакомый Гоголя, с которым он встречался зимой 1850–1851 гг. в театральных кругах Одессы. — 419, 420, 422, 427.

Иннокентий (Иван Алексеевич Борисов) (1800–1857) — церковный проповедник. — 146.

Иноземцев Федор Иванович (1803–1869) — известный врач-хирург, профессор Московского университета. — 515, 517, 519–521.

Иордан Федор Иванович (1800–1883). — 220–222, 227, 246, 283, 322, 411, (623–624).

Иохим — каретник, в доме которого в Петербурге жил Гоголь в апреле — июле 1829 г. — 460.

Искандер — см. Герцен А. И.*

Кавалерова Елена Матвеевна — артистка Московского Малого театра. — 180.

Кавелин Дмитрий Александрович (1778–1851) — литератор, ректор Петербургского университета (1819–1823), крайний реакционер. — 104, 111.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) — сын предыдущего; юрист, публицист; в 40-е гг. сотрудничал в «Отечественных записках» в «Современнике», был дружен с Белинским; в 60-е гг. — один из яростных врагов революционной демократии. — 384.

Кайданов Иван Кузьмич (1782–1843) — профессор истории Царскосельского лицея и затем Училища правоведения; автор весьма распространенных в свое время учебников. — 400.

Камуччини Винченцо (1775–1844) — итальянский художник. — 280.

Канина — итальянский археолог и архитектор. — 469.

Кантемир Антиох Дмитриевич (1808–1844). — 394.

Канту Чезаре (1804–1895) — итальянский историк и писатель. — 469.

Капнист Василий Васильевич (1757–1823) — драматург и поэт, автор антикрепостнической «Оды на рабство» и обличительной комедии «Ябеда». — 458.

Капнист Иван Васильевич (1795–1860) — сын предыдущего; московский гражданский губернатор (1844–1855). — 489, 490, 496, 520, 522.

Карамзин Андрей Николаевич (1814–1854) — сын писателя Н. М. Карамзина; погиб во время Крымской кампании. — 466, 470.

Карамзины. — 76.

Каратыгин Петр Андреевич (1805–1879) — актер-комик и драматург, враждебно относился к Гоголю; ему принадлежит акварельный портрет Гоголя, изображающий его на репетиции «Ревизора» в 1836 г. на сцене Александринского театра. — 67.

Карлейль Томас (1795–1881) — английский историк и писатель. — 322.

Карниолин-Пинский Матвей Михайлович (1796–1866) — учитель, впоследствии чиновник департамента юстиции. — 88.

Карский. — 81.

Карташевская Мария Григорьевна (1818–1906) — племянница С. Т. Аксакова. — 98, 104, 106, 108, 109, 113, 118, 154, 158, 162, 163, 169, 177.

Карташевская (урожд. Аксакова) Надежда Тимофеевна (1794–1887) — сестра С. Т. Аксакова. — 108, 111, 112, 124, 163.

Карташевские. — 103, 109, 110, 158.

Карташевский Григорий Иванович (1777–1840) — попечитель белорусского учебного округа, сенатор, был женат на Надежде Тимофеевне Аксаковой — сестре писателя. — 104–106, 109, 113, 124, 128.

Катенин Павел Александрович (1792–1853) — декабрист; поэт, критик и драматург. — 561.

Квитка (псевдоним — Основьяненко) Григорий Федорович (1778–1843) — писатель; автор комедии «Приезжий из столицы, или суматоха в уездном городе» (1827), близкой по сюжету «Ревизору». — 403.

Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) — критик и публицист славянофильского лагеря, в 20-е гг. входил в состав московского кружка «любомудров», в 1832 г. издавал журнал «Европеец»; познакомился с Гоголем в 1832 г. в Москве. — 122, 149, 405.

Киреевский Петр Васильевич (1808–1856) — брат предыдущего; собиратель русских народных песен и былин, славянофил. — 405.

Клименков Степан Иванович (1805–1858) — московский врач, профессор. — 521–523, 525.

Княжевич Владислав Максимович (1798–1873) — литератор, впоследствии председатель симферопольской уголовной палаты. — 439.

Княжевич Дмитрий Максимович (1788–1842) — литератор, этнограф, с 1837 г. попечитель одесского учебного округа, друг С. Т. Аксакова. — 141, 142.

Козлов Иван Иванович (1779–1840) — поэт-романтик. — 347.

Колумб Христофор (1446–1506) — 355.

Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842). — 390, 575.

Комаров Александр Александрович (ум. в 1874) — поэт, преподаватель русской словесности в петербургских военно-учебных заведениях; близкий друг Н. Я. Прокоповича и через него, вероятно, в середине 30-х гг. познакомился с Гоголем. — 217–219.

Константин Николаевич (1827–1892) — сын Николая I. — 554.

Константиновский Матвей Александрович (1791–1857) — священник, ржевский протоиерей; познакомился с Гоголем заочно, в 1847 г., через посредство А. П. Толстого; вел с Гоголем переписку, затем встречался с ним в Москве; содействовал развитию у него религиозно-аскетических настроений. — 457.

Корсаков Петр Александрович (1790–1844) — писатель и журналист, с 1835 г. — цензор. — 355.

Котошихин (ошибочно — Кошихин) Григорий Карпович {ум. 1667) — подъячий посольского приказа, автор сатирической книги «О России в царствование царя Алексея Михайловича». — 165, 391.

Кочубей Виктор Павлович (1768–1834) — министр, крупнейший помещик. — 526.

Кошелев Александр Иванович (1806–1883) — публицист славянофильского лагеря. — 503.

Краевский Андрей Александрович (1810–1889) — журналист либерального направления, сотрудничал в «Современнике» Пушкина, издатель журнала «Отечественные записки» (1839–1867), газеты «С.-Петербургские ведомости» (1852–1862) и др. — 83, 116, 198, 404, 450.

Кречетов Василий Иванович — преподаватель словесности в благородном пансионе при Петербургском университете. — 210.

Кривцов Павел Иванович — секретарь русского посольства в Италии, в 1840–1843 гг. — администратор группы русских художников в Риме, командированных туда Академией художеств. — 129, 131.

Крузе — воспитанник Межевого института в бытность там директором С. Т. Аксакова; был рекомендован С. Т. Аксаковым Гоголю в качестве переписчика. — 138.

Крутицкий — чиновник дирекции императорских театров. — 66.

Крылов Иван Андреевич (1769–1844). — 343, 359.

Кулжинский Иван Григорьевич (1803–1884) — преподаватель латинского языка в Нежинской гимназии (1825–1829), посредственный литератор; тупой и скучный педант, он был предметом постоянных насмешек со стороны гимназистов. Автор малоинтересных воспоминаний о Гоголе. — 248.

Кукольник Нестор Васильевич (1809–1868) — реакционный поэт, драматург и беллетрист; учился с Гоголем в Нежинской гимназии. Гоголь всегда относился к нему отрицательно. — 45, 211, 261, (631).

Кулиш Пантелеймон Александрович (1819–1897) — украинский писатель, этнограф и историк; один из лидеров буржуазно-помещичьего национализма на Украине. — 70, 72, 88, 200, 248, 249, 251, 253, 261–263, 266, 276, 291, 294, 298, 432, 544, 556, 557, 559, 566, (629).

Купер Фенимор (1789–1851) — американский писатель. — 351.

Куракин — князь. — 94.

Ленский Дмитрий Тимофеевич (1805–1860) — драматург и актер Московского Малого театра, первый исполнитель роли Хлестакова на Московской сцене. — 181, 411.

Лепен — петербургский домовладелец, в доме которого одно время жил Гоголь. — 255.

Лепри — римский ресторатор. — 467.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841). — 120, 125, 210, 211, 316, 317, 321, 350, 351, 355, 356, 358, 359, 361, 366, 394, 401, 574.

Липинский Карл (1790–1861) — польский скрипач и композитор. — 431, (657).

Логановский Александр Васильевич (1812–1855) — скульптор. — 280.

Лонгинов Михаил Николаевич (1823–1875). — 70–74, 248, 557, (592).

Лонгинов Николай Михайлович (1775–1853) — отец предыдущего; видный сановник, под его наблюдением находился Патриотический институт, в котором служил Гоголь. — 73, (593).

Любич-Романович Василий Игнатьевич (1805–1888) — поэт и переводчик; товарищ Гоголя по Нежинской гимназии. — 329, (639).

Мази Франческо — наставник Ф. И. Буслаева. — 224.

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) — поэт, сторонник «чистого искусства». — 439, 440, 447, 448.

Макаров Н. А. — приятель Кулиша. — 248.

Максимович Михаил Александрович (1804–1873) — выдающийся этнограф и историк, профессор ботаники Московского университета, а затем профессор русской словесности Киевского университета и его ректор; издал ряд ценных сборников народных украинских песен. Гоголь познакомился с ним в 1832 г. и до конца жизни был в дружеских отношениях. — 126, 127, 252, 409, 410, 431, 503.

Максимович Павел Петрович (1796–1888) — педагог. — 73.

Мамонов Э. А. — см. Дмитриев-Мамонов*.

Маркевич А. Н. — музыкант, сын этнографа и историка Н. А. Маркевича. — 432.

Марков. — 109.

Марлинский — литературный псевдоним декабриста Александра Александровича Бестужева (1798–1837); беллетрист и критик, страстный приверженец романтического направления в литературе. Белинский критиковал произведения Марлинского за ограниченность их содержания и манерность слога, противопоставляя им реалистическое творчество Гоголя. — 357, 361, 369, 370.

Мартынов Александр Евстафьевич (1816–1860) — актер петербургского Александринского театра, исполнявший роли Хлестакова и Подколесина. — 180.

Маршанский М. А. — знакомый Гоголя по Одессе. — 422.

Матрена — жена крепостного слуги Гоголя — Якима Нимченко. — 257.

Мейербер Джакомо (1791–1864) — немецкий композитор, автор оперы «Роберт-дьявол». — 257.

Мельгунов Николай Александрович (1804–1867) — беллетрист и публицист; в идейно-литературной борьбе 40–50 гг. занимал беспринципную позицию, в 60-е гг. окончательно перешел на реакционные позиции, став сотрудником охранительной московской газеты «Наше время». — 409, 411.

Мериме Проспер (1803–1870) — французский писатель. — 541.

Мессииг Михаил Иванович (ум. 1884) — зять М. П. Погодина. — 120, 121.

Меттерних Клеменс (1773–1859) — князь, министр иностранных дел и канцлер Австрийской империи, главный организатор «Священного союза»; один из вдохновителей реакции в Европе. — 322.

Меццофанти Джузеппе (1774–1849) — профессор Болонского университета, кардинал, знавший большое количество иностранных

языков, в том числе русский. Гоголь познакомился с ним в Риме, вероятно в 1837 г. — 285.

Мещерский Николай Иванович — князь. — 205, 207.

Микель-Анджело Буонаротти (1475–1564) — великий итальянский художник эпохи Возрождения: живописец, скульптор, архитектор и поэт. — 468.

Миллер Герард-Фридрих (Федор Иванович) (1705–1783) — русский историк; по происхождению немец, с 1825 г. поселился в России. — 397.

Милькеев Евгений Лукич (1815–1840) — сибирский поэт-самоучка. — 112.

Милютин Николай Алексеевич (1818–1872) — товарищ министра внутренних дел (1859–1861); либеральный сторонник крестьянской реформы. — 554.

Мокрицкий Аполлон Николаевич (1811–1871) — школьный товарищ Гоголя; художник, ученик Венецианова и Брюллова. — 45, 46, 81.

Моллер Федор Антонович (1812–1875) — художник; жил долго в Риме, где и познакомился с Гоголем в 1838 г.; написал несколько портретов Гоголя. — 220, 290, 457, 501.

Мольер Жан-Батист (1622–1673). — 79, 259, 419–421, 491, 566.

Мочалов Павел Степанович (1800–1848) — выдающийся драматический актер, трагик. — 181.

Муравьев Андрей Николаевич (1806–1874) — поэт, автор сочинений на религиозные темы. — 226.

Муратори (1672–1750) — итальянский историк. — 469.

Мурзакевич Николай Никифорович (1806–1883) — историк и археолог, профессор; Гоголь познакомился с ним в Одессе зимой 1850–1851 гг. — 422.

Мундт Николай Петрович (1803–1872). — 65–69, (591).

Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795–1862) — попечитель Петербургского учебного округа (1845–1856), председатель Петербургского цензурного комитета, крайний реакционер. — 450, 539, 540, 543, 553.

Муханов Владимир Алексеевич (1805–1876) — камер-юнкер. — 517.

Надеждин Николай Иванович (1804–1856) — критик и журналист, издатель журналов «Телескоп» (1831–1836) и «Молва» (1831–1835), в

которых сотрудничал Белинский; с 1831 г. профессор Московского университета по кафедре изящных искусств и археологии. — 209, 565, 579.

Назимов Владимир Иванович (1802–1874) — попечитель Московского учебного округа и председатель Московского цензурного комитета (1849–1855). — 450, 510, 539.

Назимов Михаил Леонтьевич (1806–1878) — московский врач. — 525.

Наполеон I Бонапарт (1769–1821). — 274, 411, 503.

Нащокин Павел Воинович (1800–1854) — один из московских друзей Пушкина, знакомый Гоголя. — 149, 164, 409, 411, (616–617).

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877). — 218, 219, 425, 542.

Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752–1828) — поэт-песенник. — 470.

Нерон Клавдий-Друз (37–68 н. э.) — римский император, отличавшийся крайней жестокостью. — 239, 468, 469.

Нестор (1056 — ок. 1114) — монах Киево-Печерского монастыря, летописец. — 408.

Нибби Антонио (1792–1839) — итальянский археолог. — 469.

Никитенко Александр Васильевич (1805–1877) — профессор истории русской словесности в Петербургском университете, литератор и цензор; цензуровал ряд произведений Гоголя, в их числе — первое издание «Мертвых душ». — 139, 145, 189, 190, 373, 374, 447.

Николай I (1796–1855). — 391, 395.

Нимченко Яким (ок. 1803–1885) — крепостной слуга Гоголя. — 81, 82, 256, 257, 459, 460, 462, 464, (597).

Норов Авраам Сергеевич (1795–1869) — министр народного просвещения (1854–1858), литератор. — 431, 434, 437, 441, 447, 450.

Нюландер — автор книги «Flora fennica». — 415.

Обер Даниель-Франсуа (1782–1871) — французский композитор, автор оперы «Фенелла». — 257.

Оболенский Дмитрий Александрович (1822–1881). — 544–556, (681).

Овер Александр Иванович (1804–1864) — московский врач. — 508, 520–524.

Овербек Фридрих (1789–1869) — немецкий художник, писавший картины преимущественно на религиозные темы. — 276.

Оголин Александр Степанович (род. 1821) — соученик В. В. Стасова по Училищу правоведения; служил по департаменту юстиции, впоследствии сенатор. — 401.

Одоевский Владимир Федорович (1803–1869) — князь, писатель, философ, публицист, музыкальный критик; в марте 1833 г. предполагал совместно с Гоголем и Пушкиным издать сборник «Тройчатка — или альманах в 3 этажа» из произведений трех анонимов; Гоголя — Рудого Панька, Пушкина — Белкина и Одоевского — Гомозейки; после отказа Пушкина проектировалось издание альманаха «Двойчатка», но и этот замысел не был осуществлен. — 69, 116, 149, 344, 350.

Озеров Владислав Александрович (1769–1816) — драматург. — 67, 344.

Олимпиев — учитель русского языка и словесности в одной из петербургских гимназий. — 400.

Орлай Иван Семенович (1771–1829) — директор гимназии высших наук в Нежине (1821–1826), затем директор Ришельевского лицея в Одессе; часто упоминается в материалах следствия по т. н. «делу о вольнодумстве» в Нежинской гимназии, как человек весьма сочувствовавший группе прогрессивно настроенных профессоров. — 43.

Орлов Александр Анфимович (1791–1840) — автор многочисленных бездарных романов, повестей и рассказов «нравственно-сатирического» характера, служил постоянной мишенью для насмешек Пушкина; уничтожающие отзывы о произведениях Орлова неоднократно давал и Гоголь. — 345.

Орлов Михаил Федорович (1788–1842) — участник Отечественной войны 1812 г., член «Арзамаса», один из вождей Союза Благоденствия; за участие в тайном обществе был арестован и предан суду; впоследствии был близок славянофильским кругам. — 120.

Орлова Прасковья Ивановна (р. 1810) — драматическая актриса; встречалась с Гоголем в Одессе зимой 1850–1851 гг. — 180, 419–422.

Островский Александр Николаевич (1823–1886). — 215, 502, 503.

Оттон — одесский ресторатор. — 416, 420–423, 427.

Очкин Амплий Николаевич (1791–1865) — литератор, цензор; редактор журнала «Детская литература» и «С.-Петербургских ведомостей» (1836–1862). — 450.

Павлов Николай Филиппович (1805–1864) — беллетрист, критик и публицист; в 1835 г. издал сборник «Три повести», проникнутый

антикрепостническими настроениями и положительно оцененный Белинским и Пушкиным; в 1847 г. выступил на страницах «Московских ведомостей» с «Письмами к Гоголю», в которых с умеренно-либеральных позиций подверг критике «Выбранные места из переписки с друзьями»; в 60-е гг. оказался в лагере реакционной журналистики. — 97, 109, 111, 149, 165, 173, 174, 181, 184, 203, 217, 409, 411, 503.

Павлова (урожд. Яниш) Каролина Карловна (1810–1893) — поэтесса и переводчица. — 165, 203.

Павловы. — 120, 165.

Панаев Иван Иванович (1812–1862). — 104, 116, 209–219, 527, 537, (620–621).

Панаев Владимир Иванович (1792–1859) — дядя И. И. Панаева; второстепенный писатель, автор старомодных слащаво-сентиментальных идиллий. — 105, 113, (608).

Панов Василий Алексеевич (1819–1849) — литератор славянофильского направления, впоследствии редактор славянофильского «Московского сборника». — 118–121, 127, 130, 209, 223, 224, 243, 269, 284, (613).

Паскаль Блез (1623–1662) — французский математик, физик и философ. — 325.

Пащенко Иван Григорьевич (ум. 1848) — школьный товарищ Гоголя; в течение многих лет после окончания Нежинской гимназии Гоголь был с ним в дружеских отношениях. — 45, 46, 266.

Пащенко Тимофей Григорьевич — брат предыдущего. — 41–47, (586).

Пейкер Петр Иванович — чиновник, знакомый С. Т. Аксакова. — 137, 138.

Перовский Василий Алексеевич (1795–1857) — граф, оренбургский военный губернатор и командующий отдельным Оренбургским корпусом (1833–1842). — 78.

Перонези. — 469.

Петр I (1672–1725). — 125, 391, 541.

Перуджино Пьетро (1446–1524) — итальянский художник, учитель Рафаэля. — 466.

Перфильев Степан Васильевич (1796–1878) — жандармский генерал, начальник Московского корпуса жандармов. — 122, 149, 158, 161.

Пинский М. М. — см. Карниолин-Пинский М. М.[*]

Писемский Алексей Феофилактович (1820–1881). — 215.

Платонов Валериан — знакомый А. О. Смирновой; в июле 1837 г., будучи у Смирновой в Бадене, он слушал в чтении Гоголя несколько глав «Мертвых душ». — 466.

Плетнев Петр Александрович (1792–1865) — поэт, критик, историк литературы, профессор и ректор Петербургского университета, издатель «Современника» (1837–1846); один из близких друзей Пушкина и Гоголя; познакомился с Гоголем в 1830 г., помогал молодому писателю в устройстве на службу; по поручению Гоголя издал «Выбранные места из переписки с друзьями». — 70, 82, 104, 107, 109, 116, 162, 188, 190, 299, 300, 304, 330, 414, 436, 437, 440, 441, 443, 445–447, 458, 459, 467.

Погодин Дмитрий Михайлович (1836–1890). — 407–413, (653).

Погодин Михаил Петрович (1800–1875) — реакционный историк, писатель и журналист. — 88, 89, 92–94, 96-100, 107, 115, 119–122, 125, 126, 132–141, 143–147, 149, 151–153, 159–161, 164, 168, 185–189, 193, 195–198, 201, 202, 205, 206, 208, 252, 292, 300, 331, 403, 406, 407, 409, 411, 432, 463, 500, 502, 503, 521, 535, (668–669).

Погодина Елизавета Васильевна (урожд. Вагнер) (1809–1844) — жена М. П. Погодина. — 148, 165, 409.

Погодины. — 140.

Погорецкий — военный врач, знакомый О. М. Бодянского. — 431.

Полежаев Александр Иванович (1805–1838) — поэт, творчество которого было проникнуто свободолюбием и ненавистью к самодержавному гнету; за сатирическую поэму «Сашка» был в 1825 г. отдан Николаем I в солдаты. — 395, 575.

Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) — журналист, критик, беллетрист, драматург, историк; в 1825–1834 гг. издавал журнал либерально-демократического направления «Московский телеграф»; в конце 30-х гг. эволюционировал вправо и перешел вскоре в лагерь реакции, выступая на страницах рептильного журнала «Русский вестник» с злобными нападками на Белинского и Гоголя. — 198, 211, 261, 318, 319, 329, 561, 564, 565, 579, (621).

Поль-де-Кок (1794–1871) — французский писатель, автор многочисленных романов, изображающих жизнь мещанства и приноровленных к обывательским вкусам. — 357, 369.

Понсар Франсуа (1814–1867) — французский драматург. — 374.

Потемкин Григорий Александрович (1739–1791) — деятель екатерининской эпохи. — 455.

Potot — дочь гувернантки в семье Аксаковых. — 94.

Призниц Винсент (1790–1851) — врач, содержавший на курорте в Греффенберге (австрийская Силезия) водолечебницу. — 148, (634).

Прокопович Николай Яковлевич (1810–1857) — поэт и педагог; товарищ Гоголя по Нежинской гимназии и впоследствии один из ближайших его друзей; был редактором первого издания его собрания сочинений в 1842 г. — 44, 45, 155, 156, 188–191, 197, 199, 202, 206, 216, 218, 243, 257, 265, 295–297, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 320, 328, 333, 335, 555.

Прокоповичи. — 81.

Протопопов Д. М. — приятель Я. К. Грота, рекомендованный им Гоголю в качестве человека, способного доставлять ему материалы для изучения России. — 415.

Пугачев Емельян Иванович (ок. 1730–1775). — 368.

Пушкин Александр Александрович (1833–1914) — старший сын А. С. Пушкина. — 461.

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837). — 45, 63, 73, 76, 78–80, 82, 83, 85, 96, 97, 102, 108, 112, 123, 132, 149, 211, 216, 221, 226, 253, 255, 258, 259, 266, 273, 279, 283, 301, 302, 316, 317, 344, 345, 347, 348, 350–352, 355–359, 361, 367–369, 377, 380, 381, 386, 422, 431, 436, 440, 443, 446, 459–461, 463, 477, 480, 490, 492, 493, 546, 559–565, 567, 574.

Пушкин Лев Сергеевич (1805–1852) — младший брат поэта. — 422, (656).

Пушкина Мария Александровна — внучка А. С. Пушкина, жена племянника Гоголя — Н. В. Быкова. — 461, 463.

Раевская Прасковья Ивановна (ум. 1846) — у нее в доме в мае 1840 г. Гоголь поселил свою сестру Елизавету Васильевну после окончания ею Патриотического института. — 122, 125, 147, 150.

Рамазанов Николай Александрович (1817–1867) — скульптор, в первой половине 40-х гг. познакомился в Италии с Гоголем, с которым встречался и позднее в Москве; снял с Гоголя посмертную маску; автор мраморного бюста Гоголя, сделанного через два года после смерти писателя. — 510.

Расин Жан (1639–1699) — французский драматург и поэт. — 67, 68.

Растрелли Бартоломео (Варфоломей Варфоломеевич (1700–1771) — архитектор. — 493.

Рафаэль Саицио (1483–1520) — великий итальянский художник эпохи Возрождения. — 220, 276, 324, 466.

Редкин Петр Григорьевич (1808–1891) — профессор права в Московском (1835–1848) и Петербургском (1863–1878) университетах; товарищ Гоголя по Нежинской гимназии. — 120, 149.

Репнин-Волконский Николай Григорьевич (1778–1845) — князь, царский сановник. — 426.

Репнина-Волконская Варвара Николаевна (1809–1891) — княжна, дочь Н. Г. Репнина-Волконского; литератор; познакомилась с Гоголем в 1836 г.; в дальнейшем переписывалась и встречалась с ним в Риме, Яготине и Одессе; автор малосодержательных воспоминаний о Гоголе. — 115.

Репнина (урожд. Балабина) Елизавета Петровна — княгиня, петербургская знакомая Гоголя; в ее доме в ноябре — декабре 1839 г. жили сестры Гоголя после окончания Патриотического института. — 110, 111.

Риттер Михаил Александрович — соученик Гоголя по Нежинской гимназии выпуска 1829 г.; впоследствии чиновник министерства финансов. — 42, 43.

Ричардсон Самуэль (1689–1761) — английский писатель-сентименталист. — 475.

Россет Аркадий Осипович (1811–1881) — младший брат А. О. Смирновой-Россет, впоследствии — виленский губернатор, товарищ министра государственных имуществ, сенатор; был знаком с Пушкиным и Гоголем. Выполнял поручения Гоголя, связанные с переизданием «Ревизора», а также с изданием «Выбранных мест из переписки с друзьями». — 467, 548, 551, 552.

Россет Климентий Осипович (1810–1366) — младший брат А. О. Смирновой-Россет. — 470.

Ростопчина Евдокия Петровна (1811–1858) — графиня, поэтесса, встречалась в середине 40-х гг. за границей с Гоголем. — 502, 503, (671).

Рубини Джиованни Батист (1795–1854) — итальянский оперный певец, тенор. — 438.

Сабурова Аграфена Тимофеевна (1795–1867) — московская драматическая актриса. — 180.

Садовский Пров Михайлович (1818–1872) — замечательный актер Московского Малого театра, родоначальник театральной династии Садовских. — 93, 180, 203, 411, 412, 445.

Салаевы — братья, московские книгопродавцы и издатели. — 462.

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889). — 559, 563.

Самарин Юрий Федорович (1819–1876) — публицист, критик, деятель славянофильского лагеря. — 117, 120, 149, 176, 203, 204, 385, 392, 444, 473.

Самарины. — 229.

Самборская Софья — приятельница дочери С. Т. Аксакова — Веры Сергеевны. — 118.

Сахаров Иван Петрович (1807–1863) — археолог и этнограф, собиратель народных песен. — 123.

Свербеев Дмитрий Николаевич (1799–1874) — помещик, имел в Москве литературный салон, автор двухтомных «Записок» (1899). — 149.

Свербеева Екатерина Александровна (ум. 1892) — жена Д. Н. Свербеева. — 120, 148, 149.

Свиньин Павел Петрович (1788–1839) — литератор, основатель и издатель «Отечественных записок» (1818–1830 гг.); в февральской и мартовской книжках этого журнала за 1830 г. появилось первое прозаическое произведение Гоголя «Бисаврюк, или вечер накануне Ивана Купала»; повесть была сильно искажена Свиньиным, пытавшимся «очистить» ее от просторечий и украинизмов; после коренной переработки Гоголь напечатал эту повесть в 1831 г. в первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки». — 431.

Семен — слуга Гоголя, живший с писателем в последние годы его жизни. — 497, 505, 509, 510, 515, 516, 521.

Семенова Екатерина Семеновна, по мужу кн. Гагарина (1786–1849) — драматическая актриса петербургской сцены. — 67.

Сен-Жорж — петербургский ресторатор. — 74

Сенковский Осип Иванович (1800–1858) — реакционный журналист, критик, беллетрист; профессор Петербургского университета, востоковед; редактор журнала «Библиотека для чтения», отличался крайней беспринципностью, боролся против Гоголя, Белинского и всего передового в русской литературе. В статьях и письмах Гоголь отзывался о Сенковском резко отрицательно. — 297, 317, 329, 330, 333, 370, 397.

Сент-Бев Шарль Огюст (1804–1869) — французский критик и историк. — 468.

Сервантес Мигель-Сааведра (1547–1616). — 104.

Скотт Вальтер (1771–1832). — 80, 210, 259, 351.

Слепцов — московский домовладелец. — 88.

Смирнов Николай Михайлович (1807–1870) — царский сановник, губернатор Калуги (1845–1851) и Петербурга (1855–1860), муж А. О. Россет. — 295, 467, 470.

Смирнова (урожд. Россет) Александра Осиповна (1809–1882). — 207, 226, 248, 295, 303, 331, 464–475, 480, 482, 483, 487, 488, 491, 494–496, 545, 548, 555, (663–664).

Смирдин Александр Филиппович (1795–1857) — петербургский книгопродавец и издатель. — 116, 333, 361, 396, 428.

Снегирев Иван Михайлович (1793–1868) — археолог, этнограф; профессор латинской словесности в Московском университете; в 1828–1855 гг. — цензор; представлял рукопись «Мертвых душ» в Московский цензурный комитет, откуда Гоголь вынужден был забрать ее и отправить в Петербург. — 355.

Соколов Александр Иванович — член театральной дирекции в Одессе, с которым Гоголь встречался зимой 1850–1851 гг. — 416–420, 422, 427.

Соколовский Владимир Игнатьевич (1808–1839) — поэт, друг Герцена и Огарева. — 395.

Сокологорский Константин Иванович (1812–1890) — московский врач. — 521, 522.

Соллогуб Владимир Александрович (1814–1882). — 75–78, 117, 559, (594).

Соллогуб Лев Александрович — граф, знакомый А. О. Смирновой. В июле 1837 г. он слушал у Смирновой в чтении Гоголя первые две главы «Мертвых душ». — 466.

Соллогуб (урожд. Виельгорская) Софья Михайловна (1820–1878) — графиня, первая жена писателя В. А. Соллогуба, находилась в дружеских отношениях с Гоголем и переписывалась с ним в 40-е гг. — 207.

Сосницкий Иван Иванович (1794–1871) — драматический актер, первый исполнитель роли городничего на сцене петербургского Александринского театра. — 68, 111.

Срезневский Измаил Иванович (1812–1880) — известный филолог-славист, академик; познакомился с Гоголем в сентябре 1839 г. в Москве у М. П. Погодина. — 437, 441.

Станкевич Николай Владимирович (1813–1840) — поэт, философ; глава литературно-философского кружка 30-х гг. — 92, 93.

Стасов Владимир Васильевич (1824–1906). — 396–402, (650).

Стороженко Александр Петрович (1806–1874). — 48–64, (590).

Талейран Шарль Морис (1754–1838) — французский политический деятель, дипломат. — 374.

Талызины — московские домовладельцы, их дом на Никитском бульваре был приобретен А. П. Толстым; в последние годы жизни здесь снимал квартиру Гоголь. — 413, 414, 428; 435–437, 448, 504, 531.

Тарасенков Алексей Терентьевич (1816–1873). — 511–525, 574, (672).

Тацит Публий Корнелий (ок. 55-120) — римский историк. — 469.

Тенерани Пьетро (1789–1869) — итальянский скульптор. — 280.

Толстой Александр Петрович (1801–1874) — граф, видный царский бюрократ; тверской, а затем одесский губернатор; в 1856–1862 гг. обер-прокурор синода; Гоголь познакомился с ним в 1843 г. и в дальнейшем поддерживал близкие отношения; Толстой способствовал развитию у Гоголя религиозно-аскетических настроений. — 206, 311, 335, 405, 413, 414, 428, 435, 437, 445, 449, 472, 496, 497, 504, 505, 509, 514, 516, 517–520, 522, 531, 545, 546, 549, 552, 553, 556.

Толстой Алексей Константинович (1817–1875) — поэт, драматург, романист. — 471.

Толстой Григорий Михайлович — знакомый С. Т. Аксакова. — 117.

Толстой Федор Иванович (Толстой-Американец) (1782–1846) — известный своими скандальными похождениями авантюрист, кутила и игрок; побывал на Алеутских островах (отсюда его прозвище — «Американец»); высмеян Грибоедовым в «Горе от ума» («Ночной разбойник, дуэлист. В Камчатку сослан был, вернулся алеутом, И крепко на руку не чист»). — 122.

Толченов Александр Павлович (ум. 1888). — 416–427, (655).

Томаринский Михаил Антонович (1812–1841) — архитектор. — 280.

Томашевский Антон Францевич (1803–1883) — чиновник московского почтамта, цензор, литератор. — 101, 166.

Торлони — римский банкир, услугами которого пользовался Гоголь после смерти банкира Валентини. — 173.

Тредьяковский Василий Кириллович (1703–1769) — поэт, ученый-филолог. — 79.

Трощинские. — 460.

Трощинский Андрей Андреевич (1774–1852) — генерал-майор в отставке, двоюродный брат матери Гоголя; материально поддерживал Гоголя в первые годы его пребывания в Петербурге; зимой 1850–1851 гг. Гоголь жил в его доме в Одессе. — 426.

Трощинский Дмитрий Прокофьевич (1754–1829) — царский сановник; дальний родственник Гоголя по материнской линии. — 45, (589).

Трушковский Николай Павлович (1833–1862) — сын старшей сестры Гоголя Марьи Васильевны; редактор первого посмертного собрания сочинении Гоголя (1855–1856). — 462, 544, 554, 557.

Тургенев Александр Иванович (1784–1845) — брат декабриста Н. И. Тургенева; в 1810–1824 гг. директор департамента духовных дел; близкий друг многих русских писателей — Карамзина, Жуковского, Вяземского, Пушкина; был знаком с Гоголем, встречался с ним в Москве и за границей. — 120, 303.

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883). — 390, 423, 425, 444, 445, 449–451, 490, 512, 528–543, 553, 554, (676–677).

Уваров Сергей Семенович (1786–1855) — в молодости член прогрессивного литературного кружка «Арзамас», впоследствии — один из столпов реакции; президент Академии наук, в 1833–1849 гг. — министр народного просвещения, по определению Белинского в письме к Гоголю — «министр погашения и помрачения просвещения в России». — 198, 298, 299, 380.

Федоров — архивариус и журналист. — 68.

Феоктистов Евгений Михайлович (1828–1898) — литератор, приятель И. С. Тургенева; содействовал напечатанию в «Московских ведомостях» статьи Тургенева о Гоголе; впоследствии редактор «Журнала министерства народного просвещения» (1871–1883) и начальник Главного управления по делам печати (1883–1896). — 531, 541, 543.

Ферапонтов — книжный торговец в Москве. — 471.

Феш Иосиф (1763–1839) — французский кардинал. — 374.

Филарет (Дроздов Михаил Васильевич) (1782–1867) — Московский митрополит. — 509, 516.

Фильдинг Генрих (1707–1754) — английский романист. — 79.

Фицтум фон Экстедт Александр Иванович (род. 1802) — полковник, инспектор студентов Петербургского университета (1839–1861); в 1844–1845 гг. ведал распределением денег, предназначенных для бедных студентов Гоголем. — 447.

Фонвизин Денис Иванович (1745–1792). — 80, 394, 400.

Франциск Ассизский (1182–1226) — итальянский мистик, основатель католического ордена францисканцев. — 224.

Фролов Петр Григорьевич — знакомый С. Т. Аксакова. — 88.

Хвостов Дмитрий Иванович (1757–1835) — граф, реакционный поэт, его бездарные стихи были предметом постоянных насмешек. — 67, 68.

Хмельницкий Николай Иванович (1789–1845) — драматург. — 109.

Ховрина Марья Дмитриевна — знакомая Аксаковых. — 203.

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) — поэт, драматург, публицист, философ, один из идеологов славянофильства. — 149, 176, 180, 181, 200, 201, 229, 503, 515, 517, 522.

Хомякова Екатерина Михайловна (1817–1852) — жена поэта А. С. Хомякова, сестра поэта Н. М. Языкова; была много лет знакома с Гоголем. — 120, 289, 514.

Храповицкий Александр Иванович (1787–1855) — инспектор репертуара русского театра в Петербурге. — 67–69, (592).

Цинский Лев Михайлович — московский оберполицмейстер в 1834–1845 гг., был известен своей жестокостью. — 126.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) — публицист-философ; был членом Союза Благоденствия, но затем отошел от тайного общества; близкий друг Пушкина, за опубликование в «Телескопе» «Философического письма» был объявлен правительством Николая I сумасшедшим; в связи с выходом «Выбранных мест из переписки с друзьями» в письме к П. А. Вяземскому резко осудил эту реакционную книгу. — 394.

Челли — домовладелец, у которого Гоголь снимал квартиру в Риме. — 242.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889). — 557–582.

Черныши. — 462.

Черткова Елизавета Григорьевна (1805–1858) — жена историка и нумизмата А. Д. Черткова; в ее доме в Москве часто собирались писатели и ученые; встречалась с Гоголем в Москве и за границей. — 120, 122, 125, 143, 217.

Чижов Федор Васильевич (1811–1877). — 225–229, 248, 287, (625–626).

Шаповалов (Шаповаленко) Иван Савельевич (1817–1890) — художник, мозаичист; познакомился с Гоголем в Риме в конце 30-х гг. — 221, (624).

Шевырев Степан Петрович (1806–1864) — реакционный критик, историк литературы и поэт, профессор Московского университета, один из идеологов «официальной народности», вел ожесточенную борьбу с Белинским и гоголевским направлением; с Гоголем познакомился в Риме в конце 1838 г. и был связан с ним личной дружбой, выполнял различные поручения писателя, особенно — по изданию его сочинений; был противником обличительного направления творчества Гоголя. — 96, 97, 107, 135, 140, 147–149, 154, 156, 160, 161, 173, 175, 184–186, 188, 193, 197–199, 201, 202, 205–207, 211, 405, 411, 412, 441, 444, 445, 453, 488, 499, 503–506, 508, 517, 535, 553–556, 569.

Шеллинг Фридрих-Вильгельм (1775–1854) — немецкий философ-идеалист. — 317.

Шекспир Вильям (1564–1616). — 101, 104, 126, 138, 259, 325, 344, 345, 347, 350–353, 362, 370, 443.

Шереметева (урожд. Тютчева) Надежда Николаевна (1775–1850) — тетка поэта Ф. И. Тютчева, мать жены декабриста И. Д. Якушкина, религиозно настроенная женщина; встречалась и переписывалась с Гоголем, а также с его матерью. — 122, 150, 160, 165, 306.

Шереметева Наталья Афанасьевна — московская домовладелица, в 80–90 гг. ей принадлежал дом на Никитском бульваре, в котором умер Гоголь. — 435.

Шиллер Фридрих (1759–1805). — 347, 353, 358, 370, 405,

Ширинский-Шихматов Платон Александрович (1790–1855) — князь, министр народного просвещения (с 1850 г.), ярый реакционер. — 450.

Ширяев Александр Сергеевич (ум. 1841) — московский книгопродавец и издатель. — 404.

Шлецер Август-Людвиг (1735–1809) — немецкий историк. — 397.

Штюрмер — московский домовладелец, в его доме жила семья С. Т. Аксакова. — 92.

Шуберт Александра Ивановна (1827–1909) — драматическая актриса, ученица М. С. Щепкина; встречалась с Гоголем в 1851 г. в Одессе. — 419, 421.

Шульгин Иван Петрович (1795–1869) — профессор всеобщей истории и ректор Петербургского университета. — 85, 540.

Шумский Сергей Васильевич (1820–1878) — драматический актер Московского Малого театра, с успехом играл роли Добчинского, Кочкарева и Хлестакова; Гоголь считал Шумского лучшим исполнителем роли Хлестакова. — 96, 444, 445, 495, 507.

Щепкин Александр Михайлович (1828–1885) — сын актера М. С. Щепкина. — 526, (674).

Щепкин Дмитрий Михайлович (1817–1857) — сын М. С. Щепкина. — 120, 121, 150, 151.

Щепкин Михаил Александрович — внук М. С. Щепкина. — 527–530, (675).

Щепкин Михаил Семенович (1788–1863) — гениальный драматический актер, способствовавший утверждению реализма на русской сцене; познакомился с Гоголем в 1832 г. в Москве и стал одним из ближайших его друзей. — 46, 47, 82, 94–96, 98, 99, 115, 116, 120, 121, 123, 125, 126, 128, 135–137, 150, 151, 178–181, 184, 200, 203, 211–215, 217, 292, 406, 411, 412, 419, 432, 433, 437, 443–445, 471, 502, 507, 526–532, 534, (673–674).

Щепкин Павел Степанович (1793–1836) — профессор математики Московского университета, дальний родственник артиста М. С. Щепкина. — 88.

Щербатов Дмитрий Михайлович (1760–1839) — полковник в отставке, сын историка М. М. Щербатова. — 407.

Эвениус Александр Егорович (1795–1872) — медик, профессор Московского университета. — 522.

Юзефович Михаил Владимирович (1802–1889) — литератор, археолог; помощник попечителя Киевского учебного округа (1843–1852), затем — председатель Киевской археологической комиссии. — 229.

Языков Михаил Александрович (1811–1885) — один из близких друзей И. И. Панаева, знакомый Белинского, вращался в кругу литераторов — сотрудников «Отечественных записок» и «Современника». — 218.

Языков Николай Михайлович (1803–1846) — поэт пушкинской поры, в 40-е гг. сближается с славянофилами; с Гоголем познакомился в 1839 г. за границей, часто встречался с ним и вел оживленную переписку; содействовал развитию у Гоголя религиозных настроений. — 153, 164, 185, 188, 194, 196, 225–228, 258, 288, 294, 295, 303, 331, 477, 490, 510, 514, 547, 569.

Языковы. — 153.

Яким — см. Нимченко Я.*

Ястржембский Николай Феликсович (1808–1874) — полковник, инженер путей сообщения, профессор, литератор. — 544, 555, (681).

Выходные данные

Под общей редакцией: Н. Л. БРОДСКОГО, Ф. В. ГЛАДКОВА, Ф. М. ГОЛОВЕНЧЕНКО, Н. К. ГУДЗИЯ

Редакция текста, предисловие и комментарии С. МАШИНСКОГО

Художник *Н. Шишловский*

Редактор *С. Бортник*

Худож. редактор *К. Буров*

Технич. редактор *Д. Ермоленко*

Корректор *В. Покровская*

Сдано в набор 17/VIII-51 г. Подписано к печати 22 I-52 г. А-00812.

Бумага 84 ×108 1/32=11,25 бум. л. 36,9 печ. л. + 16 вкл. 39,81 уч. — изд. л.

Тираж 50 000 экз. Заказ № 2746. Цена 12 р.

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Главполиграфиздата при Совете Министров СССР.

Москва, Валовая, 28.

Иллюстрации

1. Н. В. Гоголь. Гравюра Ф. Иордана с портрета Ф. Моллера. 1841. Фронтиспис.



2. А. Д. Пушкин у Гоголя. Рисунок М. Клодта, гравюра Ю. Барановского. 1887.



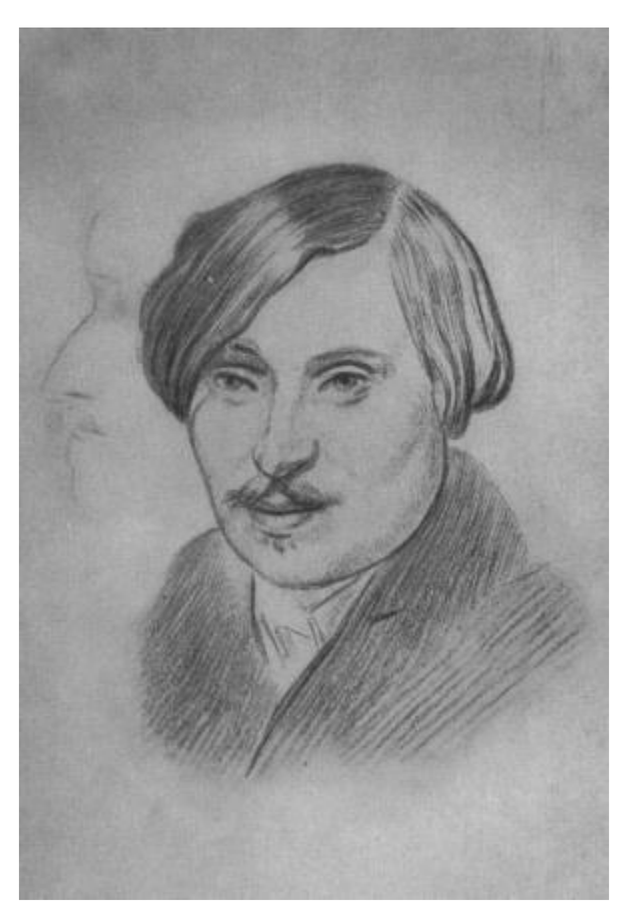
3. Н. В. Гоголь. Художник А. Венецианов. 1834.



4. Н. В. Гоголь читает «Мертвые души». Художник Э. Мамонов. 1839.



5. Н. В. Гоголь в группе русских художников в Риме. Фотография 1845 года.



6. Н. В. Гоголь. Художник А. Иванов. 1847.



7. В. Г. Белинский. Художник К. Горбунов. 1843.



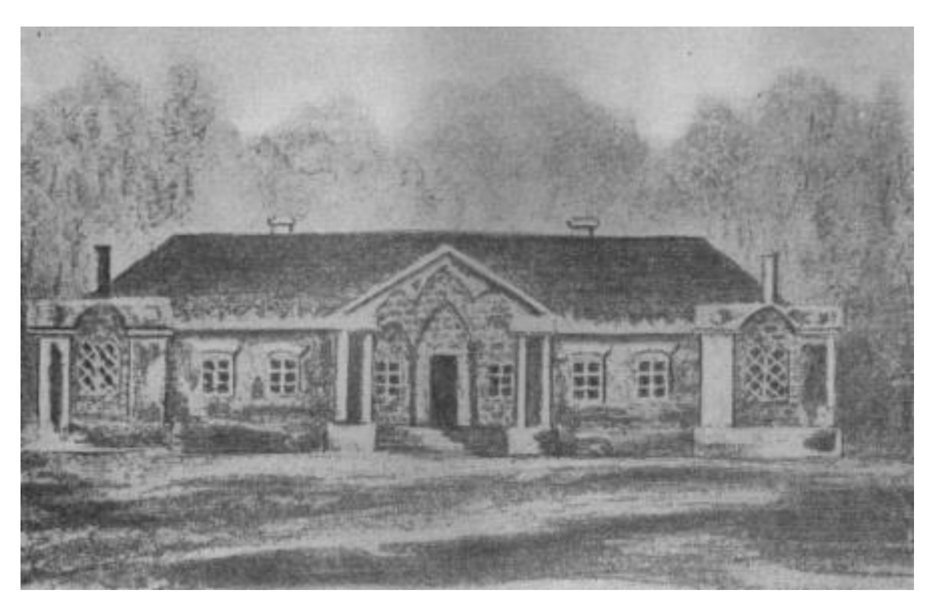
8. А. И. Герцен. Литография с портрета К. Горбунова. 1845.



9. Дом на Никитском бульваре в Москве, где умер Н. В. Гоголь. Фотография 1902 года.



10. М. И. Гоголь — мать Н. В. Гоголя. Фотография 1865 года.



11. Васильевка. Дом, в котором жил Гоголь. Рисунок Н. В. Гоголя.



12. Гоголь сжигает вторую часть «Мертвых душ». Гравюра 1892 года с рисунка М. Клодта.



13. М. С. Щепкин. Гравюра с акварели Добровольского.



14. И. С. Тургенев. Художник К. Горбунов. 1846.



15. Гоголь читает «Ревизора» перед артистами Малого театра. Гравюра с рисунка Табурина.



16. Пояснения к рисунку Табурина «Гоголь читает «Ревизора» артистам Малого театра».

1. Н. В. Гоголь, 2. П. М. Садовский, 3. М. П. Погодин, 4. Д. Т. Ленский, 5. М. С. Щепкин, 6. В. И. Живокини, 7. С. В. Шумкий, 8. И. С. Тургенев

6



17. Н. Г. Чернышевский. Редкая фотография средины пятидесятых годов.

Примечания

1

В. Г. *Белинский*, Полн. собр. соч., под ред. С. А. Венгерова, т. VII, стр. 252.

2

В. И. *Ленин*, Сочинения, т. 19. стр. 294–295.

3

Н. А. *Некрасов*, Собр. соч., М. — Л. 1930, т. V, стр. 212.

4

Н. А. *Добролюбов*, Полн. собр. соч., т. I, Гослитиздат, 1934, стр. 244.

5

В. И. *Ленин*, Сочинения, т. 15, стр. 179.

6

М. И. *Калинин*, «О моральном облике нашего народа», Госполитиздат, 1945, стр. 4.

7

В. Г. *Белинский*, Полн. собр. соч., под ред. С. А. Венгерова, т. VII, стр. 414.

8

Мих. Лемке, «Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг.», Спб. 1909, стр. 204.

9

А. В. *Дружинин*, «А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений», Собр. соч., т. VII, Спб. 1865, стр. 59, 60.

10

А. В. *Дружинин*, «А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений», Собр. соч., т. VII, Спб. 1865, стр. 60.

11

«Москвитянин», 1855, № 12, стр. 3.

12

«Русская старина», 1890, № 2, стр. 425.

13

«Московские ведомости», 1852, № 32.

14

Там же, 1853, № 35.

15

П. А. *Кулиш*, «Записки о жизни Гоголя», Спб. 1856, т. I, стр. 24–28.

16

В. И. *Шенрок*, «Материалы для биографии Гоголя», т. I, стр. 90–91, 99-107, 240–241, 250–251.

17

«Русский архив», 1877, № 3, стр. 191–192.

18

«Исторический вестник», 1890, № 12, стр. 694–699.

19

Там же, 1902, № 2, стр. 548–560. См. также «Русская старина», 1910, № 1, стр. 65–74.

20

«Москвитянин», 1854, ноябрь, кн. 1, № 21, Смесь, стр. 1-16.

21

«Московские ведомости», 1853, № 71.

22

Н. В. *Котляревский*, «Н. В. Гоголь», изд. 3-е, Спб. 1911, стр. 196–199.

23

А. В. *Никитенко*, «Записки и дневник», т. I, изд. 2-е, Спб. 1905, стр. 262–264.

24

Н. М. *Колмаков*, «Очерки и воспоминания», «Русская старина», 1891, № 5, стр. 461.

25

«Записки» А. С. Андреева были опубликованы Н. С. Ашукиным в альманахе «Сегодня», кн. 2, М. 1927, стр. 164–166.

26

Н. Г. *Чернышевский*, Полн. собр. соч., т. IV, Гослитиздат, 1948, стр. 719.

27

Н. В. *Гоголь*, Письма, ред. В. И. Шенрока, т. IV. стр. 48.

28

«Наша старина», 1914, № 12, стр. 1069.

29

М. *Погодин*, «О жизни в Риме с Гоголем и Шевыревым», «Русский архив», 1865, № 7.

30

«Письма к А. В. Дружинину», «Летописи», кн. 9, М. 1948, Гослитмузей, стр. 37.

31

Об отношениях Гоголя с семейством Аксаковых см. С. *Дурылин*, «Гоголь и Аксаковы», «Звенья», 1934, № 3–4, стр. 325–364.

32

Н. А. *Добролюбов*, Полн. собр. соч., т. 2, стр. 452.

33

«Московские ведомости», 1852, № 32.

34

К. *Аксаков*, «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души», М. 1842, стр. 4.

35

«И. С. Аксаков в его письмах», ч. I, т. I, М. 1888, стр. 391.

36

Н. В. *Гоголь*, Письма, т. II, стр. 204. См. также в настоящем изд. стр. 168* и примеч. 105.*

37

Там же, стр. 245.

38

Н. В. *Гоголь*, Сочинения, изд. 10-е, под ред. Н. Тихонравова, т. IV, М. 1889, стр. 53.

39

«Отчет Император. публ. биб-ки за 1893 год», Спб. 1896, стр. 23.

40

Н. В. *Гоголь*, Письма, т. III, стр. 117.

41

Н. *Барсуков*, «Жизнь и труды Погодина», т. VIII, стр. 343.

42

Н. В. *Гоголь*, Письма, т. II, стр. 559.

43

Там же, т. III, стр. 117.

44

«Дневник В. С. Аксаковой», ред. и примеч. Н. В. Голицына и П. Е. Щеголева, Спб. 1913, стр. 20, 27.

45

Н. В. *Гоголь*, Письма, т. III, стр. 469–470.

46

В. Г. *Белинский*, Полн. собр. соч., под ред. С. А. Венгерова, т. XI, стр. 6.

47

Н. В. *Гоголь*, Письма, т. IV, стр. 63.

48

«Отчет Император. публ. биб-ки за 1893 год», стр. 53.

49

Н. В. *Гоголь*, Письма, т. IV, стр. 115.

50

Н. *Барсуков*, «Жизнь и труды Погодина», т. VI, стр. 228–229.

51

См. Е. *Казанович*, «К истории сношений Гоголя с Погодиным», «Временник Пушкинского дома», Петроград, 1914, стр. 80.

52

Там же, стр. 82.

53

Н. В. *Гоголь*, Письма, т. II, стр. 499.

54

Н. В. *Гоголь*, Письма, т. II, стр. 355.

55

Там же, стр. 499.

56

«Отчет Император. публ. биб-ки за 1893 год», стр. 42, 44.

57

«Русский архив», 1890, № 8, стр. 162.

58

Н. М. *Павлов*, «Гоголь и славянофилы», «Русский архив», 1890, № 1, стр. 147.

59

Н. *Барсуков*, «Жизнь и труды Погодина», т. VIII, стр. 542.

60

В. Г. *Белинский*, Письма, Спб. 1914, т. III, стр. 166.

61

«Русский архив», 1890, № 8, стр. 187.

62

«Московские ведомости», 1853, № 35, стр. 361.

63

В. И. *Ленин*, Сочинения, т. 20, стр. 223–224.

64

Н. В. *Гоголь*, Письма, т. IV, стр. 46.

65

Н. В. *Гоголь*, Сочинения, изд. 10-е, т. IV, стр. 205.

66

М. *Горький*, «История русской литературы», Гослитиздат, 1939, стр. 135.

67

Н. Г. *Чернышевский*, Полн. собр. соч., т. III, Гослитиздат, 1947, стр. 10–13.

68

Помимо отрывка из воспоминаний Смирновой, помещенного в нашем издании, см. ее рассказ о втором томе «Мертвых душ» в кн. Кулиша «Записки о жизни Гоголя», т. II, стр. 226–227 и в наст. изд., примеч. 370.*

69

См. «Русский архив», 1865, № 7 и «Москвитянин», 1852, № 5.

70

Отдел Рукоп. Гос. публ. биб-ки УССР, Киев. Шифр: Гоголиана. 359. Письмо датировано 5 января 1890 г.

71

Отдел Рукоп. Гос. публ. биб-ки УССР, Киев. Шифр: Гоголиана. 347. Дата письма: 29 апреля 1888 г. (см. в наст. изд. примеч. 50[*]).

72

Н. Г. *Чернышевский*, Полн. собр. соч., т. I, Гослитиздат, М. 1939, стр. 66.

73

Там же, стр. 68–69.

74

Н. Г. *Чернышевский*, Полн. собр. соч., т. I, Гослитиздат, М. 1939, стр. 353.

75

Речь идет с статьях Белинского.

76

Н. Г. *Чернышевский*, Полн. собр. соч., т. I, Гослитиздат, М. 1939. стр. 127.

77

В. И. *Ленин*, Сочинения, т. 18, стр. 286.

78

В. Г. *Белинский*, Полн. собр. соч., т. VII, стр. 432.

79

«Отчет Импер. публ. биб-ки за 1893 год», стр. 27.

80

Н. Г. *Чернышевский*, Полн. собр. соч., Гослитиздат, М. 1947, т. III. стр. 139.

81

Заноза, насмешник.

82

Достойные виселицы, сорванцы.

83

Я полагаю, что рассказываемый мною случай должен быть известен моему старинному товарищу и сослуживцу Р. М. Зотову и некоторым из артистов русской труппы.

84

Записка эта должна храниться в архиве театральной дирекции. Мне помнится, что я отослал ее, в конце года, в контору, к бывшему в то время архивариусом и журналистом г. Федорову.

85

На-днях будет представлена на здешнем театре его комедия «Ревизор».

86

Я был тогда титулярным советником; но Гоголь, по фигуре моей, вообразил, что я непременно должен быть статским советником.

87

Незадолго до своей смерти он передал эту роль г-ну Шумскому и сам ставил пьесу. Я тогда уже не ездил в театр, но все зрители восхищались Шумским; сам Гоголь видел его из нашей ложи в продолжение двух действий и остался им доволен[*].

88

Для уплаты этих денег я написал в Москву к должнику своему Великопольскому, который сейчас выслал мне 2700 рублей, то есть весь долг.

89

Он потерян[*], но слова гоголевой записки сохранились в письме моем к жене, писанном в тот же день.

90

Но в доказательство, что оно было, прилагаю ответ мой на это первое письмо Гоголя.

91

До востребования.

92

В этот день вечером он хотел было итти к <М. А.> Дмитриеву, у которого очень давно не бывал по пятницам; но он был так расстроен, или, лучше сказать, так проникнут высоким настроением, что не имел силы итти на скучный вечер, где собирались нестерпимо скучные люди. Дмитриев,

несмотря на свой замечательный ум, никогда вполне не понимал Гоголя.

93

Сваха лучше всех.

94

Вслед за моими деньгами Гоголь получил 1000 руб. сер. от Прокоповича в счет будущих доходов за продажу сочинений.

95

Щепкин и, кажется, Садовский давали публичные чтения сочинений Гоголя. Разумеется, успех был, но не такой, какого можно было ожидать*.

96

Книжными делами заведовали Прокопович и Шевырев; в деньгах он был обеспечен, из дома его ничто не беспокоило.

97

Шедевр, образцовое произведение.

98

Проводников.

99

Служитель.

100

Синьор, я честный человек.

101

Горожан.

102

Гостинице.

103

Башня.

104

Проводниками.

105

Носильщик.

106

Кровной мести.

107

Князья.

108

Хорошего вкуса.

109

Под этими записками подписаны буквы Н. М., заимствованные г-м Кулишом у его приятеля Н. А. Макарова для своего литературного обихода*.

110

Римляне зовут ужином обед в семь часов вечера, около вечерен, когда становится прохладнее, а обедают ровно в полдень, после чего или спят, или запираются в домах своих на все время полуденного зноя. Тому же порядку следовал и я, когда он не нарушался обязанностями туриста. Сады Саллюстия — ныне живописный огород, в котором разбросаны руины бывших построек, а великолепная вилла Людовизи замечательна тем, что отворяется для немногих посетителей, наделенных особенной рекомендацией посланников или значительных лиц города. В ней, как известно, сохраняются колоссальный бюст Юноны и знаменитая статуя «Арus и Петус». Причину ее недоступности объясняют покражей или порчей, произведенной в ней какими-то английскими туристами.

111

Послеобеденного отдыха.

112

Постоялого двора.

113

Маленький водопад.

114

Первого любовника.

115

Юго-восточный ветер.

116

Гостиницы.

117

Буквально: нашим бедным больным.

118

Известный наш художник Ф. А. Моллер, окончивший свою «Русалку», писал в это время портрет Гоголя. По возвращении моем из Субиако я раз застал в его мастерской Гоголя за сеансом. Вероятно, сеансы эти и были причиной, помешавшей Гоголю принять участие в нашей прогулке. Показывая мне свой портрет, Гоголь заметил: «Писать с меня весьма трудно: у меня по дням бывают различные лица, да иногда и на одном дне несколько совершенно различных выражений», что подтвердил и Ф. А. Моллер. Портрет известен: это мастерская вещь, но саркастическая улыбка, кажется нам, взята Гоголем только для сеанса. Она искусственна и никогда не составляла главной принадлежности его лица.

119

День именин Н. В. Гоголя.

120

Отрывок из этого письма к Данилевскому приведен у нас несколько выше.

121

Письмо к Шереметьевой*.

122

Поездка эта принадлежала к числу тех прогулок, какие Гоголь предпринимал иногда без всякой определенной цели, а единственно по благотворному действию, которое производили на здоровье его дорога и путешествие вообще, как ему казалось.

123

См. первую статью «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года»*.

124

Тоже нежинский товарищ Гоголя, пробивавшийся в литераторы с большими усилиями и посещавший для того разные литературные круги[*].

125

Гостиницы.

126

«Да умрет он!», «Я!»

127

Остроты.

128

См. его «Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung». <«Трактат о наивной и сентиментальной поэзии».>

129

За и против.

130

Здесь: плуты, мошенники.

131

Религиозная мания.

132

Тогда слово *резонер* для комедии было таким же техническим словом, как и jeune premier, первый любовник или *примадонна* для оперы.

133

На небеса.

134

Все прочие.

135

«Тарас Бульба», «Старосветские помещики» и некоторые другие повести Гоголя переведены по-французски г. Виардо. На немецком языке есть перевод «Мертвых душ». *А. И. Г.*

136

Русский дипломат времен царя Алексея, отца Петра I; он бежал в Швецию, опасаясь преследований царя, и был казнен в Стокгольме за убийство. *А. И. Г.*

137

Гигантские шаги.

138

Где он был перед этим временем, не припомню.

139

Февраль, отдел критики, т. 50.

140

Большею частью я передаю, конечно, только смысл говоренного Гоголем. С буквальной точностью я, к сожалению, слов его не записывал.

141

Тот самый Оттон, одесский ресторатор, которого прославил Пушкин в своем «Евгении Онегине».

142

Имя жены А. С. Данилевского, Юлии, Уленьки, дало Гоголю, как слышно, мысль назвать героиню второй части «Мертвых душ» — Уленькою.

143

Между двором и садом.

144

По очереди.

145

Полностью.

146

Мягкая.

147

Таможню.

148

Стражу.

149

В общем.

150

Просторечие.

151

«Всеобщая история».

152

«История революций» Гизо.

153

Темнокрасного цвета с иссиня-малиновым оттенком.

154

Так грустен и спокоен.

155

Чорт возьми!.. Дьявольский тарантас!

156

Все мое всегда при мне.

157

Манера, поза.

158

Апломб.

159

Гоголь очень часто употреблял слово «слишком». Это одна из особенностей его слога, часто неправильного, иногда запутанного, но в котором зато было так много крупного, сильного и мало той легкости, с которой пишутся некоторые русские фельетоны, заботящиеся не о силе слога, верности, меткости, а только о правильности языка.

160

История этого портрета может быть рассказана как черта Гоголева характера. М. П. Погодин постоянно просил своего приятеля о портрете,

тот обещал. Проходили, однакож, дни, месяцы, годы — портрета не было. Однажды, после отъезда Гоголя из Москвы, отъезда, как все его отъезды, внезапного, таинственного, без всяких проводов, нашли в номере, где он жил, *как бы забытый портрет.* Общий голос присудил отдать его М. П., как виновнику того, что портрет, так или иначе, явился. Почему бы не отдать руками? Почему портрет не кончен? Почему это только эскиз, набросанный кое-как, когда торопят, грозят уйти, не сидят спокойно? Во всем этом, во всех этих мудреных проделках Гоголь рисуется едва ли не больше, чем на портрете, *как бы забытом* им в Москве, когда он уезжал куда-то. Наконец и то: почему портрет рисовал Иванов, живописец вовсе не портретный?..

161

Она носила тогда название: «Банкрот».

162

Я слышал это от самой графини.

163

В Папской области.

164

По случаю дурной погоды, он мог в такую погоду простудиться; впрочем, начало и течение болезни не показывали простудного (острого) характера. Вероятно, во всю масленицу он еще был здоров по обыкновенному, если не считать началом болезни уже наступавшее изнурение сил. Из дальнейшего изложения хода болезни видно будет, что и в конце первой недели поста еще не было видно лихорадочного состояния и никакой особенной формы болезни, кроме увеличившегося изнурения сил. Только за три дня до смерти он слег в постель, да и тогда еще нельзя было приметить явственного поражения в каком-либо органе. При начале лечения, которое произведено было накануне его смерти, также еще не существовало симптомов, угрожающих опасностью жизни. Настоящий бред и внезапное падение сил показались только за несколько часов перед смертью…

165

Мы рабы… да; но рабы, вечно негодующие.

166

«Московские ведомости», 1852 года, марта 13-го, № 32, стр. 328 и 329.

167

По поводу этой статьи (о ней тогда же кто-то весьма справедливо сказал, что нет богатого купца, о смерти которого журналы не отозвались бы о бо́льшим жаром) — мне вспоминается следующее: одна очень высокопоставленная дама — в Петербурге — находила, что наказание, которому я подвергся за эту статью, было незаслуженно — и, во всяком случае, слишком строго, жестоко… Словом, она горячо заступалась за меня. «Но ведь вы не знаете, — доложил ей кто-то, — он в своей статье называет Гоголя великим человеком!» — «Не может быть!» — «Уверяю вас». — «А! в таком случае, я ничего не говорю: je regrette, mais je comprends qu’on ait dú sévir (мне жаль, но я понимаю, что его следовало строго наказать).

168

Первая глава была, кажется, совершенно уже отделана, потому что он читал ее за несколько дней до нашего выезда из Калуги А. О. Смирновой. Помню, что А. О. Смирнова была в восхищении от этой главы и говорила, что влюблена в Тентетникова. По возвращении в Москву, Гоголь писал ей и кончил письмо словами «кланяется вам Тентетников!»[*]

169

Некоторые позднейшего времени статьи о Гоголе могут служить доказательством, какая бездна отделяет понимание Гоголя новейшими критиками от того непосредственного, живого и могучего влияния, которое Гоголь действительно имел на нравственное развитие современной ему молодежи. Здесь не место протестовать против странной оценки социальных и политических убеждений Гоголя; здесь не место разбирать, кто из современных писателей глубже и шире относится к жизненным вопросам общества. Скажу только, что поколение, выработавшее и осуществившее все реформы последнего десятилетия, воспитано Пушкиным и Гоголем и приготовлено их нравственным влиянием к деятельности и плодотворному труду, хотя ни Пушкин, ни Гоголь не написали ни одного трактата о какой-либо реформе и не переносили на русскую почву социального бреда иноземных мыслителей[*].

170

Неужели этой одной приметы недостаточно, чтобы признать напечатанные варианты поддельными? Неужели мог Гоголь, хотя бы начерно, написать такую фальшь, как, например, разговор крестьян Тентетникова и суждение их о барине:

171

До чего это доходило, видно из письма Ф. В. Булгарина 1852 г., по поводу смерти Гоголя; оно напечатано в «Русской старине», изд. 1872 г., т. V, стр. 481–482[*].

172

Доктор этот, г. А. Т. Тарасенков, находит («Московские ведомости», № 89), что мы вывели из его рассказа заключения, чрезвычайно далекие от выводов, какие бы должно сделать, когда сказали в январской книжке нынешнего года («Заметки о журналах»), что из фактов, представленных им, следует: «Гоголь уморил себя голодом». По мнению г. Тарасенкова, следует сказать: «Причиною смерти Гоголя было пощение», — эти слова действительно гораздо точнее, нежели выражение, нами употребленное.

173

Именины были мнимые.

174

Вероятно, имеется в виду пьеса отца Гоголя.

175

Буквально.

176

Т. е. обличительных.

177

Чивиками называли итальянскую так называемую национальную гвардию.

178

В указатель включены лица, о которых идет речь лишь в тексте воспоминаний. Ссылки даются не только на те страницы, на которых названы (или подразумеваются) имена, но и на те, на которых упоминаются произведения. Цифра в скобках указывает на страницы в комментариях, где имеется характеристика данного лица.
